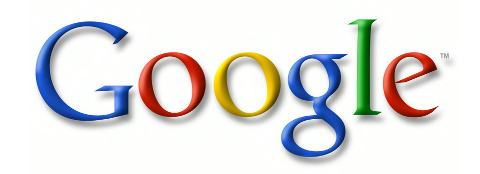


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

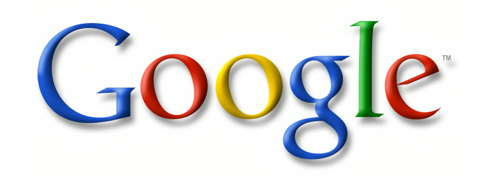
Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

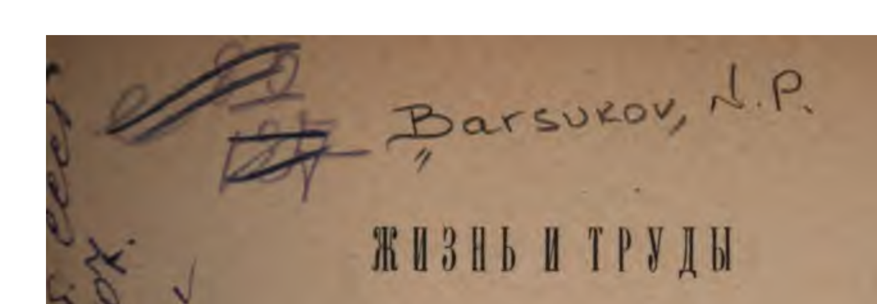
- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.
- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES

107



ЖИЗНЬ И ТРУДЫ

М. П. ПОГОДИНА

Дни минувшие и рѣчи
Ужъ замолкшія давно.
Князь Вяземскій.

Былое въ сердцѣ воскреси,
И въ немъ сокрытаго глубоко
Ты духа жизни допроси!
Хомяковъ.

И я не будущимъ, а прошлымъ оживленъ!
В. Истоминъ.

«Не извращай описанія событій. Побѣду изображай какъ побѣду, а пораженіе описывай какъ пораженіе».
(Наказъ Персидскаго Государя Наср-эддинъ-шаха Исторіографу Риза-кули-хану).

«Цари и вельможи! Покровительствуйте Музамъ: онѣ благодарны».
Погодинъ.

Николая Барсукова

КНИГА ДЕВЯТАЯ

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 лин., 28
1895

DK38.7
P56B3
v.9

2291

ПАМЯТИ

Графа Сергія Семеновича и Графа Алексѣя Сергѣевича

УВАРОВЫХЪ

посвящается книга сія.

Приступая въ 1882 году къ описанію *Жизни и Трудовъ М. П. Погодина*, я не могъ предвидѣть всѣхъ затрудненій и огорченій, мнѣ предстоявшихъ, а также объема моего сочиненія.

Суммы, завѣщанной Софіею Ивановною Погодиною на печатаніе біографіи ея мужа, оказалось достаточно лишь на изданіе двухъ первыхъ книгъ. Слѣдующія книги біографіи отъ *третьей* до *восьмой* включительно изданы *на мои собственныя сбереженія*. Истощивъ такимъ образомъ всѣ имѣвшіяся у меня денежныя средства, я оказался въ затруднительномъ положеніи относительно печатанія послѣдующихъ книгъ.

Но вотъ, первенствующее ученое сословіе Россійской Имперіи — Императорская Академія Наукъ, разсмотрѣвъ первыя семь книгъ моего сочиненія, признала его заслуживающимъ вниманія и поощренія. Она увѣнчала мой трудъ полною преміею Графа Уварова.

Присужденную Академіею Наукъ денежную премію я обратилъ на печатаніе нынѣ выпускаемой въ свѣтъ книги девятой *Жизни и Трудовъ М. П. Погодина*, въ которой завершился знаменитый въ Исторіи Русскаго Просвѣщенія, такъ называемый Строгановскій періодъ Императорскаго Московскаго Университета. Лучшаго употребленія преміи, учрежденной

Графомъ Алексѣемъ Сергѣевичемъ Уваровымъ въ память своего Родителя, біографъ Погодина не могъ придумать, и я съ сердечною признательностію посвящаю памяти ихъ эту *девятую* книгу.

Николай Барсуковъ.

1 Сентября 1894 г.
Село Яринское, Тверской губ.
Калязинскаго уѣзда.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стран.

Стран.

Стран.

Стран.

I.

Одновременно съ *Выбранными мѣстами изъ переписки съ друзьями* Гоголя, 1 января 1847 года, вышелъ въ свѣтъ первый нумеръ преобразованнаго *Современника*.

Лѣтомъ 1846 года между Петербургскими друзьями Бѣлинскаго явилось предположеніе основать въ Петербургѣ большой журналъ подъ редакціею Бѣлинскаго. Съ этою цѣлью И. И. Панаевъ вошелъ въ сношеніе съ П. А. Плетневымъ о пріобрѣтеніи отъ него права на изданіе *Современника*. Бѣлинскій съ радостною мыслью о будущемъ журналѣ отправился, какъ мы уже знаемъ, вмѣстѣ съ Щепкинымъ путешествовать по Россіи [1]).

Переговоры съ Плетневымъ увѣнчались успѣхомъ. И. С. Аксаковъ писалъ своему отцу: „Вотъ еще новость: говорятъ, Плетневъ продалъ *Современникъ* Бѣлинскому и Панаеву". И дѣйствительно, 6 октября 1846 года, Предсѣдатель Петербургской цензуры обратился въ Министерство Народнаго Просвѣщенія съ слѣдующею бумагою: „Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Плетневъ изъяснилъ, что по многочисленнымъ занятіямъ своимъ онъ желаетъ на неопредѣленное время передать изданіе журнала *Современникъ*, безъ перемѣны программы его, господину профессору здѣшняго Университета Статскому Совѣтнику Никитенку, съ возложеніемъ на него отвѣтственности предъ Правительствомъ". На бумагѣ воспослѣдовала резолюція Министра Народнаго Просвѣщенія: *Согласенъ*.

Разставаясь съ *Современникомъ*, Плетневъ написалъ *Прощальное слово къ читателю Современника*, начавъ его стихами Пушкина:

Ктобъ ни былъ ты, о мой читатель,
Другъ, недругъ, я хочу съ тобой
Разстаться нынче какъ пріятель.
Прости...

Въ этомъ прощальномъ словѣ мы между прочимъ читаемъ: „Моими постоянными сотрудниками были не подрядныя лица, а писатели... Отъ того ихъ было немного, и отъ того журналъ не вошелъ въ категорію толстыхъ... Словесность цвѣтъ умственной жизни. Благоуханіемъ своимъ она оживотворяетъ силы духа... Безъ цвѣтущей словесности ни въ чемъ нѣтъ жизни. Общество вяло и холодно. Ученые едва сами себя понимаютъ... Передаю редакцію *Современника* сослуживцу моему и товарищу по каѳедрѣ профессору А. В. Никитенку. Довольно этого ручательства, чтобы я былъ покоенъ за будущую судьбу изданія моего. Мы, кстати повторю здѣсь, *одно любимъ, одного желаемъ*" [2]).

Узнавъ отъ Шевырева о коммерческой сдѣлкѣ Плетнева съ Петербургскими Западниками, Гоголь писалъ послѣднему: „Не смѣю теперь никакихъ тебѣ дѣлать замѣчаній... Скажу тебѣ только, что мнѣ кажется, что теперь, именно въ нынѣшнее время, твое участіе въ литературѣ гораздо нужнѣе, чѣмъ до этого времени; во все же минувшее время оно мнѣ казалось совершенно безплоднымъ" [3]).

По Русскому обычаю начало дѣятельности преобразованнаго *Современника* было отпраздновано обѣдомъ у Леграна. На этомъ обѣдѣ Никитенко познакомился съ Герценомъ и записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Замѣчательный человѣкъ". Кромѣ Герцена, въ этомъ обѣдѣ принималъ участіе и графъ В. А. Сологубъ. О самомъ же обѣдѣ Никитенко замѣтилъ: „Ума было много, но онъ въ заключеніе потонулъ въ шампанскомъ".

Вслѣдъ за симъ во всѣхъ газетахъ и журналахъ появилось объявленіе, въ которомъ между прочимъ заявлено, что

„*Современникъ*, основанный А. С. Пушкинымъ, а впослѣдствіи съ Высочайшаго соизволенія перешедшій въ распоряженіе П. А. Плетнева, съ 1847 года подвергается *совершенному преобразованію*. Редакція *Современника*, съ разрѣшенія господина Министра Народнаго Просвѣщенія, переходитъ къ профессору С.-Петербургскаго Университета А. В. Никитенку. Изданіе же сего журнала, по взаимному соглашенію и условію съ прежнимъ издателемъ и редакторомъ, приняли на себя И. И. Панаевъ и Н. А. Некрасовъ". Тутъ же заявлено и о слѣдующемъ: „Въ *Современникѣ* съ 1847 года будутъ участвовать слѣдующіе ученые и литераторы: В. Г. Бѣлинскій, М. А. Гамазовъ, А. И. Герценъ (Искандеръ), Т. Н. Грановскій, Э. И. Груберъ, И. А. Гончаровъ, В. И. Даль, Ѳ. М. Достоевскій, Д. А. Засядко, К. Д. Кавелинъ, А. С. Комаровъ, Е. Ѳ. Коршъ, А. И. Кронебергъ, Н. Х. Кетчеръ, П. Н. Кудрявцевъ (Нестроевъ), Н. А. Мельгуновъ, А. Н. Майковъ, Г. П. Небольсинъ, Н. А. Некрасовъ, А. В. Никитенко, Н. И. Надеждинъ, князь В. Ѳ. Одоевскій, И. И. Панаевъ, П. А. Плетневъ, Д. М. Перевощиковъ, П. Г. Рѣдкинъ, графъ В. А. Сологубъ, А. Н. Струговщиковъ, И. С. Тургеневъ, и др."

Прочитавъ это объявленіе, Шевыревъ писалъ Погодину: „Читалъ ли ты объявленіе о *Современникѣ*? Можно бы сдѣлать наблюденіе надъ нашими журналами. Это рой отроившійся отъ *Отечественныхъ Записокъ*,—и матка въ немъ Бѣлинскій. А всетаки на ихъ сторонѣ дѣятельность. Вѣроятно, Искандеръ предложилъ капиталы отъ наслѣдованныхъ милліоновъ, а наши капиталисты сидятъ col pugno chiuso (съ кулакомъ сжатымъ), какъ говоритъ Дантъ. Но обѣщаютъ направленіе другое. Даже въ Мельгуновѣ есть какая-то мягкость и любовь ко всему Словенскому и Русскому, и какое-то стыдѣнье отъ излишней любви къ Нѣмецкому, чего прежде не было видно. Взялъ читать Гоголя... Не худо бы объявить ожиданія, что-*де* мы ужь тѣхъ-то вотъ знаемъ, объ нихъ говорить нечего, но особенно-де надѣемся на господъ Гама-

зова, Гончарова, Комарова, Небольсина, но всего болѣе на г. Засядко".

Не менѣе Шевырева и самъ М. А. Гамазовъ былъ удивленъ появленіемъ своего имени въ числѣ сотрудниковъ *Современника*. 24 ноября 1846 года онъ писалъ изъ Константинополя къ своимъ родителямъ: „И. И. Панаевъ съ ума сошелъ, включилъ меня въ сотрудники своего журнала, а и не подумалъ, что мнѣ едва есть время писать письма".

Объявленіе это было сдѣлано въ отсутствіе Бѣлинскаго изъ Петербурга. Возвратившись, онъ не безъ удивленія увидалъ, что „во главѣ изданія, на ряду съ Панаевымъ сталъ не онъ, а Н. А. Некрасовъ". Тѣмъ не менѣе, статьи, предназначенныя для *Левіоѳана*, были помѣщены въ начавшемъ выходить съ 1 января 1847 года *Современникѣ*. Это обстоятельство возмутило Московскихъ друзей Бѣлинскаго. Въ своихъ *Воспоминаніяхъ* К. Д. Кавелинъ между прочимъ пишетъ: „Что Панаевъ сталъ редакторомъ *Современника*, это было еще понятно,—онъ далъ деньги. Но какимъ образомъ Некрасовъ, тогда мало извѣстный и не имѣвшій ни гроша, сдѣлался тоже редакторомъ, а Бѣлинскій, изъ-за котораго мы были готовы оставить *Отечественныя Записки*, оказался наемникомъ на жалованьи,—этого фокуса мы не могли понять, негодовали... Барышническія рекламы *Современника* намъ очень не нравились... Стали доходить до насъ дурные слухи... Мнѣ не было никакой охоты сближаться съ новою редакціею и прервать связи съ Краевскимъ, къ чему насъ очень подзадоривали. Разницы въ редакціи не было въ сущности никакой" [4]).

Но Бѣлинскій, пылая злобою къ Краевскому, желалъ только одного: путемъ *Современника* уничтожить *Отечественныя Записки*, что вовсе, какъ видно изъ словъ Кавелина, не входило въ разсчетъ его Московскихъ друзей. Грановскій прямо объявилъ, что „такъ какъ *Отечественныя Записки* въ одномъ духѣ съ *Современникомъ*, то онъ очень радъ, что у насъ вмѣсто одного два хорошихъ журнала, и готовъ помогать обоимъ". Боткинъ, будучи связанъ узами дружбы какъ съ Бѣ-

линскимъ, такъ и съ Краевскимъ, послѣ выхода нѣсколькихъ нумеровъ преобразованнаго *Современника* писалъ Анненкову: „Я далеко не раздѣляю отвращенія Бѣлинскаго къ *Отечественнымъ Запискамъ* даже по тому одному, что какъ была плоха критика въ *Современникѣ*, такъ же была замѣчательна въ *Отечественныхъ Запискахъ*. *Современникъ* имѣетъ, къ сожалѣнію, какой-то литературный характеръ, который въ настоящее время всего менѣе можетъ возбудить въ публикѣ интересъ. А прямѣе сказать, *Современникъ* не имѣетъ никакого характера. А это отъ того, что редакція не имѣетъ никакой основной мысли, никакого направленія“.

Утѣшая Краевскаго, Боткинъ писалъ ему: „Здѣсь мнѣніе таково, что *Отечественныя Записки* не только стали не хуже, но лучше. Статьи Майкова обратили на себя вниманіе“. Замѣтимъ, что Валеріанъ Николаевичъ Майковъ заступилъ въ *Отечественныхъ Запискахъ* мѣсто Бѣлинскаго еще въ половинѣ 1846 года. Въ то же время Боткинъ вербовалъ въ Москвѣ сотрудниковъ для *Отечественныхъ Записокъ*. Такъ онъ явился посредникомъ между С. М. Соловьевымъ и А. А. Краевскимъ; а А. Д. Галаховъ, по словамъ Бѣлинскаго, „валялся въ ногахъ у Москвичей, чтобы выпросить у нихъ названій будто бы обѣщанныхъ статей для *Отечественныхъ Записокъ*“ [5]).

II.

Эти старанія Московскихъ Западниковъ въ пользу Краевскаго сильно огорчали Бѣлинскаго, и въ этомъ онъ видѣлъ подрывъ *Современнику*, съ которымъ связанъ былъ для него вопросъ о жизни и смерти. „*Библіотека для Чтенія*“, писалъ онъ Боткину,—„всегда шла своей дорогой, потому что имѣла свой духъ, свое направленіе. *Отечественныя Записки*, года въ два, въ три стали на одну съ ней ногу, потому что со дня моего въ нихъ участія онѣ пріобрѣли свой духъ, свое направленіе. Оба эти журнала могли не уступить другъ

другу въ успѣхѣ, не мѣшая одинъ другому, и если теперь *Библіотека для Чтенія* падаетъ, то не по причинѣ успѣха *Отечественныхъ Записокъ* и *Современника*, а потому, что Сенковскій вовсе ею не занимается. Совсѣмъ въ другихъ отношеніяхъ находится *Современникъ* къ *Отечественнымъ Запискамъ*. Его успѣхъ могъ быть основанъ только на перевѣсѣ надъ ними. Духъ и направленіе его одинаковы съ ними, стало-быть, ему для успѣха необходимо было доказать чѣмъ-нибудь свое право на существованіе при *Отечественныхъ Запискахъ*. Тутъ, стало-быть, прямое соперничество, и успѣхъ одного журнала необходимо условливается паденіемъ другого. Въ чемъ же долженъ состоять перевѣсъ *Современника* надъ *Отечественными Записками*? Въ переходѣ изъ нихъ въ него главныхъ сотрудниковъ и участниковъ, дававшихъ имъ духъ и направленіе. Объ этомъ переходѣ и было возвѣщено публикѣ, и это возвѣщеніе было *единственною* причиной необыкновеннаго успѣха *Современника*, пріобрѣтшаго въ первый же годъ болѣе двухъ тысячъ подписчиковъ, не смотря на то, что его объявленіе вышло только въ ноябрѣ. И это понятно: публика въ правѣ была думать, что настоящее направленіе *Отечественныхъ Записокъ* перейдетъ въ *Современникъ*, а въ *Отечественныхъ Запискахъ* останется только тѣнь, призракъ этого направленія. Но за Краевскаго судьба и честные люди— два союзника, вѣчно обезпечивающіе успѣхъ такихъ людей. Я помогъ *Современнику* только моимъ именемъ, а дѣйствительнаго моего участія въ немъ мало замѣтно было.

Умирая мудрено писать хорошо, и даже какъ я писалъ умирая, только и могъ писать, по моей привычкѣ къ дѣлу, обратившейся у меня въ натуру".

Обращаясь же къ своимъ Московскимъ друзьямъ, Бѣлинскій писалъ: „Когда Герценъ не рѣшался отдать мнѣ *Кто виноватъ* для альманаха по ложной деликатности, я писалъ къ нему: „Мѣднолобые потому и успѣваютъ въ своихъ дѣлахъ, что поступаютъ съ честными людьми, какъ съ подлецами, а честные люди поступаютъ съ мѣднолобыми, какъ

съ честными людьми". Это простая и вѣрная мысль привела Герцена въ восторгъ, а повѣсть-то онъ все-таки не далъ мнѣ, *а отдалъ Краевскому*. Слушай же далѣе. Когда еще Краевскій далеко не обозначился вполнѣ, и на *Отечественныя Записки* мои Московскіе друзья смотрѣли болѣе какъ на мой, нежели какъ на Краевскаго журналъ, — Грановскій не далъ въ нихъ ни строки, отговариваясь недосугомъ со стороны его профессорскихъ обязанностей. Ну, коли недосугъ мѣшаетъ доброй волѣ — жаль, а дѣлать нечего! Но что же? Вдругъ въ *Москвитянинѣ* является большая статья недосужаго Тимоѳея Николаевича! Почему же явилась она въ журналѣ... противнаго и ненавистнаго ему направленія? Потому только, что Погодинъ, встрѣтивъ его, обругалъ его за лѣность и присталъ къ нему—дай статью! Вотъ она подобострастная-то, запуганная Словенская природа! Презирайте же, послѣ этого, Русскаго мужика, который часто несговорчивъ и грубъ съ тѣмъ, кто обращается съ нимъ человѣчески, и внутренно благоговѣетъ передъ тѣмъ, любитъ даже того, кто начинаетъ съ нимъ обращеніе съ грубѣйшей брани и съ треуха по салазкамъ! Глупы Словенофилы, думающіе, что Европеизмъ насъ выродилъ, и что между Русскимъ мужикомъ и Русскимъ профессоромъ легла бездна. Но далѣе. Судьбѣ угодно было, чтобъ Грановскій, наконецъ, далъ статью въ *Отечественныя Записки;* но когда это случилось? Когда Краевскій обнаружился вполнѣ, а я отошелъ отъ *Отечественныхъ Записокъ*. Но тутъ еще былъ смыслъ. Хомяковъ обругалъ статью Кавелина, напечатанную въ *Отечественныхъ Запискахъ*; въ чемъ есть смыслъ, легче вынести". Затѣмъ, обращаясь лично къ Боткину, Бѣлинскій замѣчаетъ: „Ты еще имѣлъ какія-нибудь причины вязаться съ Краевскимъ и снабжать его своими трудами. Ты давно помѣщаешь свои статьи въ *Отечественныхъ Запискахъ*, давно лично знакомъ съ Краевскимъ; въ послѣднее время онъ тебѣ даже оказалъ услугу".

Мы знаемъ, какое участіе принималъ Боткинъ въ при-

влеченіи С. М. Соловьева къ участію въ *Отечественныхъ Запискахъ*; но къ этому Бѣлинскій отнесся равнодушно.

„Нечего и говорить о Соловьевѣ“, писалъ онъ. — „Это человѣкъ совершенно чуждый намъ, да не близкій и вамъ. Онъ не хочетъ принадлежать никакому журналу исключительно. Онъ наклоненъ къ Словенофильству, но его отношенія къ Погодину не позволяютъ ему печатать статьи въ *Москвитянинѣ*. Поэтому для него *Отечественныя Записки* и *Современникъ* все равно, и мы будемъ ему очень благодарны, если, печатая въ *Отечественныхъ Запискахъ*, онъ будетъ и намъ давать статьи“.

Обращаясь же опять къ своимъ Московскимъ друзьямъ, Бѣлинскій съ горечью писалъ: „Но наши друзья-враги совсѣмъ другое дѣло. Мы не того ожидали отъ нихъ, да и не то обѣщали они намъ. Давай они статьи свои въ *Библіотеку для Чтенія*, намъ это было бы крайне прискорбно, но все же не такъ, какъ видѣть ихъ въ *Отечественныхъ Запискахъ*; еще сноснѣе намъ было бы видѣть ихъ статьи въ какомъ-нибудь *Москвитянинѣ* (хотя тоже вовсе не весело), потому что между *Москвитяниномъ* и *Современникомъ* нѣтъ никакого соперничества“. Затѣмъ Бѣлинскій говоритъ о своихъ личныхъ отношеніяхъ къ *Современнику:* „Сколько я помню, наши Московскіе друзья-враги дали намъ свои имена и труды, сколько по желанію работать соединенно въ одномъ журналѣ, чуждомъ всякихъ постороннихъ вліяній, столько же и по желанію дать средства къ существованію нѣкоему Бѣлинскому. Цѣль ихъ, кажется, достигнута. *Современникъ* имѣетъ свои недостатки, дѣйствительно очень важные, но поправимые и происшедшіе отъ положенія моего здоровья. Едва ли можно обвинить его даже въ неумышленно дурномъ направленіи, не только въ умышленномъ. И другая цѣль тоже достигнута: я былъ спасенъ *Современникомъ*. Мой альманахъ, имѣй онъ даже большой успѣхъ, помогъ бы мнѣ только временно. Безъ журнала я не могъ существовать... Я почти ничего не сдѣлалъ нынѣшній годъ для *Современника*, а мои восемь тысячъ давно уже забралъ. Поѣздка за границу,

совершенно лишившая *Современникъ* моего участія на нѣсколько мѣсяцевъ, не лишила меня платы. На будущій годъ я получаю *двѣнадцать тысячъ*. Кажется, есть разница въ моемъ положеніи, когда я работалъ въ *Отечественныя Записки*. Но эта разница не покапчивается одними деньгами: я получаю много больше, а дѣлаю много меньше. Я могу дѣлать, что хочу. Вслѣдствіе моего условія съ Некрасовымъ мой трудъ больше качественный, нежели количественный, мое участіе больше нравственное, нежели дѣятельное. Но я могу не дѣлать и того, что прямо относится къ роду моей дѣятельности; стало быть, нечего и говорить о томъ, что выходитъ изъ предѣловъ моей дѣятельности. Не Некрасовъ говоритъ мнѣ, что я долженъ дѣлать, а я увѣдомляю Некрасова, что я хочу или считаю нужнымъ дѣлать. Подобныя условія были бы дороги каждому, а тѣмъ болѣе мнѣ, человѣку больному, не выходящему изъ опаснаго положенія, утомленному, измученному, усталому. *Современникъ* вся моя надежда, безъ него я погибъ въ буквальномъ, а не въ переносномъ значеніи этого слова. А между тѣмъ мои Московскіе друзья дѣйствуютъ такъ, какъ будто рѣшились погубить меня, но не вдругъ и не прямо, а помаленьку и косвеннымъ путемъ, подъ видомъ сострадація къ Краевскому. Сатинъ пишетъ къ намъ, что Московскіе друзья наши питаютъ къ *Современнику* больше симпатіи, чѣмъ къ *Отечественнымъ Запискамъ*, и что намъ желаютъ они возможныхъ успѣховъ, но жалѣютъ также и Краевскаго! О милый, добрый, наивный Сатинъ! Ай-да Галаховъ молодецъ! То-то, я думаю, доволенъ, то-то смѣется! И *Отечественнымъ Запискамъ* помогъ, слѣдовательно—и самому себѣ, и умныхъ людей заставилъ поступить по своему. И какъ было не давать Краевскому статей? Галаховъ кланялся, ползалъ, плакалъ, умолялъ, хлопоча о своемъ отцѣ и командирѣ, благодѣтелѣ и покровителѣ, кормильцѣ и милостивцѣ. Форма пошла..., но сущность поступка Галахова—разумна. Ему въ *Современникъ* не могло быть ни на столько работы, какъ въ *Отечественныхъ Запискахъ*, ни такой, какъ въ нихъ, роли.

влеченіи С. М. Соловьева къ участію въ *Отечественныхъ Запискахъ*; но къ этому Бѣлинскій отнесся равнодушно.

„Нечего и говорить о Соловьевѣ“, писалъ онъ. — „Это человѣкъ совершенно чуждый намъ, да не близкій и вамъ. Онъ не хочетъ принадлежать никакому журналу исключительно. Онъ наклоненъ къ Словенофильству, но его отношенія къ Погодину не позволяютъ ему печатать статьи въ *Москвитянинѣ*. Поэтому для него *Отечественныя Записки* и *Современникъ* все равно, и мы будемъ ему очень благодарны, если, печатая въ *Отечественныхъ Запискахъ*, онъ будетъ и намъ давать статьи“.

Обращаясь же опять къ своимъ Московскимъ друзьямъ, Бѣлинскій съ горечью писалъ: „Но наши друзья-враги совсѣмъ другое дѣло. Мы не того ожидали отъ нихъ, да и не то обѣщали они намъ. Давай они статьи свои въ *Библіотеку для Чтенія*, намъ это было бы крайне прискорбно, но все же не такъ, какъ видѣть ихъ въ *Отечественныхъ Запискахъ*; еще сноснѣе намъ было бы видѣть ихъ статьи въ какомъ-нибудь *Москвитянинѣ* (хотя тоже вовсе не весело), потому что между *Москвитяниномъ* и *Современникомъ* нѣтъ никакого соперничества“. Затѣмъ Бѣлинскій говоритъ о своихъ личныхъ отношеніяхъ къ *Современнику:* „Сколько я помню, наши Московскіе друзья-враги дали намъ свои имена и труды, сколько по желанію работать соединенно въ одномъ журналѣ, чуждомъ всякихъ постороннихъ вліяній, столько же и по желанію дать средства къ существованію нѣкоему Бѣлинскому. Цѣль ихъ, кажется, достигнута. *Современникъ* имѣетъ свои недостатки, дѣйствительно очень важные, но поправимые и происшедшіе отъ положенія моего здоровья. Едва ли можно обвинить его даже въ неумышленно дурномъ направленіи, не только въ умышленномъ. И другая цѣль тоже достигнута: я былъ спасенъ *Современникомъ*. Мой альманахъ, имѣй онъ даже большой успѣхъ, помогъ бы мнѣ только временно. Безъ журнала я не могъ существовать... Я почти ничего не сдѣлалъ нынѣшній годъ для *Современника*, а мои восемь тысячъ давно уже забралъ. Поѣздка за границу,

совершенно лишившая *Современникъ* моего участія на нѣсколько мѣсяцевъ, не лишила меня платы. На будущій годъ я получаю *двѣнадцать тысячъ.* Кажется, есть разница въ моемъ положеніи, когда я работалъ въ *Отечественныя Записки.* Но эта разница не покончивается одними деньгами: я получаю много больше, а дѣлаю много меньше. Я могу дѣлать, что хочу. Вслѣдствіе моего условія съ Некрасовымъ мой трудъ больше качественный, нежели количественный, мое участіе больше нравственное, нежели дѣятельное. Но я могу не дѣлать и того, что прямо относится къ роду моей дѣятельности; стало быть, нечего и говорить о томъ, что выходитъ изъ предѣловъ моей дѣятельности. Не Некрасовъ говоритъ мнѣ, что я долженъ дѣлать, а я увѣдомляю Некрасова, что я хочу или считаю нужнымъ дѣлать. Подобныя условія были бы дороги каждому, а тѣмъ болѣе мнѣ, человѣку больному, не выходящему изъ опаснаго положенія, утомленному, измученному, усталому. *Современникъ* вся моя надежда, безъ него я погибъ въ буквальномъ, а не въ переносномъ значеніи этого слова. А между тѣмъ мои Московскіе друзья дѣйствуютъ такъ, какъ будто рѣшились погубить меня, но не вдругъ и не прямо, а помаленьку и косвеннымъ путемъ, подъ видомъ состраданія къ Краевскому. Сатинъ пишетъ къ намъ, что Московскіе друзья наши питаютъ къ *Современнику* больше симпатіи, чѣмъ къ *Отечественнымъ Запискамъ*, и что намъ желаютъ они возможныхъ успѣховъ, но жалѣютъ также и Краевскаго! О милый, добрый, наивный Сатинъ! Ай-да Галаховъ молодецъ! То-то, я думаю, доволенъ, то-то смѣется! И *Отечественнымъ Запискамъ* помогъ, слѣдовательно—и самому себѣ, и умныхъ людей заставилъ поступить по своему. И какъ было не давать Краевскому статей? Галаховъ кланялся, ползалъ, плакалъ, умолялъ, хлопоча о своемъ отцѣ и командирѣ, благодѣтелѣ и покровителѣ, кормильцѣ и милостивцѣ. Форма пошла..., но сущность поступка Галахова—разумна. Ему въ *Современникѣ* не могло быть ни на столько работы, какъ въ *Отечественныхъ Запискахъ*, ни такой, какъ въ нихъ, роли.

Тамъ онъ теперь первый и главный; у насъ всегда былъ бы однимъ изъ нѣсколькихъ. Но вы-то, господа профессоры, изъ чего разжалобились? Девять лѣтъ издаетъ Краевскій *Отечественныя Записки*. Начались онѣ плохо, безъ всякаго направленія; я спасъ ихъ, давъ имъ направленіе, нелѣпое и дикое, но направленіе. Съ третьяго (1841) года начали онѣ поправляться денежно; на четвертый (1842) Краевскій былъ въ барышахъ".

Въ томъ же письмѣ Бѣлинскій дѣлаетъ весьма любопытныя замѣчанія о роли ученыхъ статей въ журналѣ: „Для журнала статьи ученаго содержанія тогда только важны и дороги, когда онѣ по близости интереса и по изложенію имѣютъ всю заманчивость и легкость беллетристической статьи. Такова, напримѣръ, статья Заблоцкаго: *О колебаніи цѣнъ на хлѣбъ*; ее прочли многіе и изъ тѣхъ, которые, кромѣ повѣстей, стиховъ и рецензій, ничего не читаютъ и о сельскомъ хозяйствѣ и торговлѣ понятія не имѣютъ. Такова же статья Кавелина: *О юридическомъ бытѣ Древней Россіи*. И вотъ почему статьи Кавелина для насъ въ тысячу разъ важнѣе и дороже статей Соловьева, и были бы такими даже и тогда, когда бы намъ доказали, какъ дважды два—четыре, что для науки статья послѣдняго въ тысячу разъ важнѣе статей перваго. Я никогда не забуду, какъ Герценъ въ Парижѣ, прочтя объ *Отношеніяхъ князей Рюрикова дома*, сказалъ мнѣ: „Очень хорошо, только страшно скучно и читать мука", а вѣдь Герценъ — не публика! Но каѳедра иное дѣло! Журналъ другое дѣло. Онъ занимается наукой не для науки. Его цѣль не просвѣщеніе, а образованіе, его задача поставить не занимающагося наукой человѣка въ возможность обратить для себя вопросы науки въ вопросы жизни".

Далѣе, обращаясь опять къ *Отечественнымъ Запискамъ* и Краевскому, Бѣлинскій писалъ: „Тягаться *Современнику* съ *Отечественными Записками* трудно! Краевскій въ сорочкѣ родился. Сколько подарили ему статей Боткинъ и Герценъ! Даже нѣсколько лѣтъ сряду какая-то барыня переводила ему

оптомъ все, что ни назначалъ онъ ей, за шесть сотъ рублей асс. въ годъ. Правда, ему много было труда выправлять эти переводы, но за то *выгодно*. Даровыхъ статей всегда у него было много, есть и теперь, а за переводы онъ и теперь платитъ плохо... Расходы наши всячески больше. Да, счастливы...! Примѣра подобнаго не бывало въ Русской Литературѣ. Какой-нибудь Гречь и тотъ не даромъ пріобрѣлъ себѣ извѣстность, а что-нибудь да сдѣлалъ. А Краевскій... ни ума, ни таланта, ни убѣжденія, ни знанія, ни образованности и издаетъ журналъ, бывшій лучшимъ Русскимъ журналомъ и доселѣ одинъ изъ лучшихъ, журналъ слишкомъ съ четырьмя тысячами подписчиковъ! Какой-нибудь Погодинъ, на котораго онъ больше всѣхъ похожъ..., что-нибудь знаетъ, имѣетъ убѣжденія..., хоть что-нибудь сдѣлалъ".

Письмо свое Бѣлинскій заключаетъ такъ: „Уфъ! какъ усталъ! но за то, болтая много, все сказалъ. Знаю, что не убѣжду этимъ Москвичей, но люблю во всемъ хорошемъ и худомъ лучше знать, нежели предполагать — это необходимо для истинности отношеній. Знаю горькимъ опытомъ, что съ Словенами пива не сваришь, что словенинъ можетъ дѣлать только отъ себя, а для совокупнаго, дружнаго дѣйствія обнаруживаетъ сильную способность только по части обѣдовъ въ складчину. Никакого практическаго чутья; что заломилъ, то и давай ему—никакой уступки ни въ самолюбіи, ни въ убѣжденіи; лучше ничего не станетъ дѣлать, нежели дѣлать на столько, на сколько возможно, а не на столько, на сколько хочетъ. А посмотришь на дѣлѣ, глядишь—возитъ на себѣ Погодина или Краевскаго, которые ѣдутъ, да подсмѣиваются надъ нимъ же. А послушать: общее дѣло, мысль, стремленіе, симпатія, мы, мы и мы — соловьями поютъ. Эхъ, братецъ ты мой, когда бы ты зналъ, какъ мнѣ тяжело жить на свѣтѣ, какъ все тяжелѣй и тяжелѣй день ото дня, чѣмъ больше старѣю и хирѣю!.."

Какъ бы въ отвѣтъ на упреки, дѣлаемые Бѣлинскимъ его Московскимъ друзьямъ за участіе ихъ въ *Отечествен-*

Тамъ онъ теперь первый и главный; у насъ всегда былъ бы однимъ изъ нѣсколькихъ. Но вы-то, господа профессоры, изъ чего разжалобились? Девять лѣтъ издаетъ Краевскій *Отечественныя Записки*. Начались онѣ плохо, безъ всякаго направленія; я спасъ ихъ, давъ имъ направленіе, нелѣпое и дикое, но направленіе. Съ третьяго (1841) года начали онѣ поправляться денежно; на четвертый (1842) Краевскій былъ въ барышахъ".

Въ томъ же письмѣ Бѣлинскій дѣлаетъ весьма любопытныя замѣчанія о роли ученыхъ статей въ журналѣ: „Для журнала статьи ученаго содержанія тогда только важны и дороги, когда онѣ по близости интереса и по изложенію имѣютъ всю заманчивость и легкость беллетристической статьи. Такова, напримѣръ, статья Заблоцкаго: *О колебаніи цѣнъ на хлѣбъ*; ее прочли многіе и изъ тѣхъ, которые, кромѣ повѣстей, стиховъ и рецензій, ничего не читаютъ и о сельскомъ хозяйствѣ и торговлѣ понятія не имѣютъ. Такова же статья Кавелина: *О юридическомъ бытѣ Древней Россіи*. И вотъ почему статьи Кавелина для насъ въ тысячу разъ важнѣе и дороже статей Соловьева, и были бы такими даже и тогда, когда бы намъ доказали, какъ дважды два—четыре, что для науки статья послѣдняго въ тысячу разъ важнѣе статей перваго. Я никогда не забуду, какъ Герценъ въ Парижѣ, прочтя объ *Отношеніяхъ князей Рюрикова дома*, сказалъ мнѣ: „Очень хорошо, только страшно скучно и читать мука", а вѣдь Герценъ — не публика! Но каѳедра иное дѣло! Журналъ другое дѣло. Онъ занимается наукой не для науки. Его цѣль не просвѣщеніе, а образованіе, его задача поставить не занимающагося наукой человѣка въ возможность обратить для себя вопросы науки въ вопросы жизни".

Далѣе, обращаясь опять къ *Отечественнымъ Запискамъ* и Краевскому, Бѣлинскій писалъ: „Тягаться *Современнику* съ *Отечественными Записками* трудно! Краевскій въ сорочкѣ родился. Сколько подарили ему статей Боткинъ и Герценъ! Даже нѣсколько лѣтъ сряду какая-то барыня переводила ему

оптомъ все, что ни назначалъ онъ ей, за шесть сотъ рублей асс. въ годъ. Правда, ему много было труда выправлять эти переводы, но за то *выгодно*. Даровыхъ статей всегда у него было много, есть и теперь, а за переводы онъ и теперь платитъ плохо... Расходы наши всячески больше. Да, счастливы...! Примѣра подобнаго не бывало въ Русской Литературѣ. Какой-нибудь Гречь и тотъ не даромъ пріобрѣлъ себѣ извѣстность, а что-нибудь да сдѣлалъ. А Краевскій... ни ума, ни таланта, ни убѣжденія, ни знанія, ни образованности и издаетъ журналъ, бывшій лучшимъ Русскимъ журналомъ и доселѣ одинъ изъ лучшихъ, журналъ слишкомъ съ четырьмя тысячами подписчиковъ! Какой-нибудь Погодинъ, на котораго онъ больше всѣхъ похожъ..., что-нибудь знаетъ, имѣетъ убѣжденія..., хоть что-нибудь сдѣлалъ".

Письмо свое Бѣлинскій заключаетъ такъ: „Уфъ! какъ усталъ! но за то, болтая много, все сказалъ. Знаю, что не убѣжду этимъ Москвичей, но люблю во всемъ хорошемъ и худомъ лучше знать, нежели предполагать — это необходимо для истинности отношеній. Знаю горькимъ опытомъ, что съ Словенами пива не сваришь, что словенинъ можетъ дѣлать только отъ себя, а для совокупнаго, дружнаго дѣйствія обнаруживаетъ сильную способность только по части обѣдовъ въ складчину. Никакого практическаго чутья; что заломилъ, то и давай ему—никакой уступки ни въ самолюбіи, ни въ убѣжденіи; лучше ничего не станетъ дѣлать, нежели дѣлать на столько, на сколько возможно, а не на столько, на сколько хочетъ. А посмотришь на дѣлѣ, глядишь—возитъ на себѣ Погодина или Краевскаго, которые ѣдутъ, да подсмѣиваются надъ нимъ же. А послушать: общее дѣло, мысль, стремленіе, симпатія, мы, мы и мы — соловьями поютъ. Эхъ, братецъ ты мой, когда бы ты зналъ, какъ мнѣ тяжело жить на свѣтѣ, какъ все тяжелѣй и тяжелѣй день ото дня, чѣмъ больше старѣю и хирѣю!.."

Какъ бы въ отвѣтъ на упреки, дѣлаемые Бѣлинскимъ его Московскимъ друзьямъ за участіе ихъ въ *Отечествен-*

ныхъ Запискахъ, Кавелинъ счелъ своею нравственною потребностью объяснить Бѣлинскому, почему Московскіе друзья его не сочли нужнымъ содѣйствовать *Современнику* въ ущербъ *Отечественнымъ Запискамъ*. Доводы Кавелина по всѣмъ вѣроятіямъ произвели впечатлѣніе на Бѣлинскаго, и онъ писалъ своему другу: „Вы предполагаете возможнымъ, что, при паденіи *Отечественныхъ Записокъ*, *Современникъ* будетъ ими, а Некрасовъ вполнѣ замѣнитъ Краевскаго. Я глубоко убѣжденъ, что вы ошибаетесь“. Но Бѣлинскій волей и неволей долженъ былъ защищать Некрасова и желать успѣха его журналу, ибо, какъ онъ самъ сознается: „боленъ, близокъ ко смерти, безъ средствъ, я долженъ былъ, волею или неволею, ухватиться за *Современникъ*, какъ за надежду и спасеніе“ [6]).

1847 годъ былъ нерадостенъ для Московскихъ друзей Бѣлинскаго и вообще для всѣхъ Западниковъ. Изъ ихъ среды выбылъ навсегда одинъ изъ сильныхъ борцовъ. 21 января того года Герценъ уѣхалъ въ чужіе края. „Шесть, семь троекъ“, вспоминалъ Герценъ, — „провожали насъ до Черной Грязи... мы тамъ въ послѣдній разъ сдвинули стаканы и рыдая разстались. Былъ уже вечеръ, возокъ заскрипѣлъ по снѣгу... Вы смотрѣли печально вслѣдъ, но не догадывались, что то были похороны и вѣчная разлука. Всѣ были на лицо, одного только недоставало, ближайшаго изъ близкихъ, онъ одинъ былъ боленъ и какъ будто своимъ отсутствіемъ омылъ руки въ моемъ отъѣздѣ“ [7]).

Разрывъ и разлука съ Герценомъ оставили въ Грановскомъ, по свидѣтельству его біографа, „неизлѣчимые слѣды. Въ душѣ его было такъ пусто, такъ страшно, какъ въ домѣ, изъ котораго вынесли дорогаго покойника“ [8]). Послѣдующія несчастія еще болѣе разстроили Грановскаго. 15 октября 1847 года И. И. Давыдовъ писалъ Погодину: „Грановскаго — жаль. Дай Богъ, чтобы онъ оправился“. Объясненіе къ этимъ строкамъ мы находимъ въ письмѣ Боткина къ Анненкову: „Съ нашимъ добрымъ Грановскимъ случилось несчастіе, которое

чуть-было вовсе не лишило насъ Грановскаго. У дрожекъ, на которыхъ онъ ѣхалъ, переломился шкворень; Грановскій, отброшенный на нѣсколько шаговъ, упалъ лицомъ и переломилъ себѣ правую скулу. Ударъ былъ ужасно силенъ. Къ счастію, это случилось еще около университетской клиники; тотчасъ же туда привезли его, и въ первую же минуту употреблено было все для отвращенія воспаленія въ головѣ, котораго однако опасались въ продолженіе трехъ дней. Это случилось *3 октября.* Теперь опасность миновалась... Вмѣстѣ съ этимъ отъ испуга занемогла и Елизавета Богдановна.... Всѣ эти дни я проводилъ у нихъ...“ [9]).

„Въ это же время больной старикъ отецъ Грановскаго“, свидѣтельствуетъ А. В. Станкевичъ,—„переѣхалъ въ Москву къ сыну и жилъ у него, окруженный попеченіями жены Грановскаго, и у нихъ въ домѣ скончался. Деньги, сберегаемыя имъ, были украдены. Безъ нихъ не возможно было спасти состояніе, наслѣдникомъ котораго оставался одинъ Грановскій; имѣніе старика было продано съ публичнаго торга. Случай лишилъ Грановскаго состоянія, готоваго перейти въ его руки“. Увѣдомляя объ этомъ Фролова, онъ писалъ ему: „Мнѣ слѣдовательно предстоитъ участь пролетарія, борьба съ нуждою и т. д. Спокойно смотрю и на это“. „Такимъ образомъ“, замѣчаетъ біографъ Грановскаго, „разлука съ друзьями, сильныя физическія страданія, опасеніе за жизнь больной жены и наконецъ смерть отца—вотъ обстоятельства, среди которыхъ жилъ Грановскій, когда Бѣлинскій громилъ его и всѣхъ Московскихъ друзей своихъ филиппиками за участіе ихъ въ *Отечественныхъ Запискахъ*“ [10]).

Да и самому бѣдному Бѣлинскому жилось не легко. Здоровье его было такъ плохо, что еще весною 1847 года врачи потребовали отправить его за границу. Боткинъ, извѣщая объ этомъ Краевскаго, писалъ ему (отъ 3 апрѣля 1847 г.): „Бѣлинскій ѣдетъ на воды. Я радъ, что мнѣ удалось собрать тысячи двѣ на эту поѣздку. Его надо хоть на полгода оторвать и отъ литературы, и отъ жены; онъ палъ духомъ, а

объ тѣлѣ и говорить нечего... Скажу вамъ по секрету: я считаю литературное поприще Бѣлинскаго поконченнымъ. Онъ сдѣлалъ свое дѣло. Теперь нужно больше такта и больше знанія. Еще о Русской Литературѣ онъ можетъ говорить, да и она у него, увы, сдѣлалась рутиною, а чуть не много выходитъ изъ нея, изъ рукъ вонъ плохо: доказательствомъ, напримѣръ, рецензія его въ третьемъ нумерѣ *Современника* на романы Дюма" [11]).

Это сознавалъ и самъ Бѣлинскій и по возвращеніи изъ чужихъ краевъ откровенно писалъ Кавелину: „Я ѣхалъ за границу съ тяжелымъ и грустнымъ убѣжденіемъ, что поприще мое кончилось, что я сдѣлалъ все, что дано было мнѣ сдѣлать, что я измочалился, выписался, выболтался... Каково мнѣ было такъ думать, можете судить сами: тутъ дѣло шло не объ одномъ самолюбіи, но и о голодной смерти съ семействомъ" [12]).

III.

Представивъ по доступнымъ намъ источникамъ описаніе внутренней жизни Западниковъ во время появленія преобразованнаго *Современника*, мы обратимся теперь къ ихъ общественной дѣятельности, а также къ ихъ противникамъ *Москвитянину* и Словенофиламъ.

Какъ мы уже сказали, 1 января 1847 года вышелъ первый нумеръ *Современника*, издаваемаго съ этого года И. И. Панаевымъ и Н. А. Некрасовымъ подъ редакціей А. В. Никитенка. Въ этомъ нумерѣ былъ напечатанъ переводъ съ Французскаго изслѣдованія министра народнаго просвѣщенія графа С. С. Уварова: *Объ Элевзинскихъ таинствахъ*. Помѣщая это изслѣдованіе, редакція *Современника* между прочимъ заявила: „Сочиненіе *Объ Элевзинскихъ таинствахъ*, къ чести Россіи, принадлежитъ русскому; оно написано по французски съ тою цѣлію, чтобы ознакомить ученую Европу съ идеями и взглядами автора. Но въ то время,

когда Европа признала это творенiе классическимъ, мы, по какому-то непростительному равнодушiю къ отечественной славѣ, едва знали объ его существованiи. Пора поправить эту ошибку. *Современникъ* радуется, что на него палъ этотъ прiятный долгъ, и онъ спѣшитъ передать по русски своимъ читателямъ глубокiя изысканiя знаменитаго автора, украшеннаго не одними дарованiями ученаго и писателя". Но въ томъ же первомъ нумерѣ *Современника* были напечатаны три статьи, которыя, по собственному признанiю издателей, должны были ознакомить читателей съ его *духомъ* и *направленiемъ*. Съ духомъ и направленiемъ этимъ насъ достаточно ознакомилъ *Отвѣтъ Бѣлинскаго Гоголю*, въ которомъ, какъ мы уже замѣтили, краснорѣчиво и энергично, не стѣсняясь цензурою, выражено мiросозерцанiе Западниковъ. Эти три статьи принадлежали: К. Д. Кавелину: *Взглядъ на юридическiй бытъ Древней Россiи*, А. В. Никитенку: *О современномъ направленiи Русской Литературы* и В. Г. Бѣлинскому: *Взглядъ на Русскую Литературу 1846 года.*

По свидѣтельству редактора *Современника* А. В. Никитенка, первый нумеръ *Современника* „произвелъ хорошее впечатлѣнiе. Отовсюду слышу благопрiятные отзывы его тону и направленiю" [13]).

Успѣхъ преобразованнаго *Современника* конечно не могъ радовать прежняго его редактора П. А. Плетнева, и онъ писалъ Жуковскому: „*Современника* теперь расходится болѣе двухъ тысячъ экземпляровъ. Конечно, много въ сравненiи съ тѣмъ, что и пяти сотъ не расходилось. Двѣ причины помогаютъ новымъ издателямъ: помѣщенiе глупыхъ Французскихъ романовъ, или и своихъ въ томъ же родѣ, да главное — умѣнье публиковать, чѣмъ я совсѣмъ не занимался" [14]).

Само собою разумѣется, что вышеупомянутыя статьи Кавелина, Никитенка и Бѣлинскаго возбудили полемику между Западниками и Словенофилами. Отъ лица Словенофиловъ выступилъ противъ статей Ю. Ѳ. Самаринъ. Не имѣя своего органа, Словенофилы принуждены были для этой по-

лемики избрать *Москвитянинъ*, какъ журналъ, единственный изъ свѣтскихъ, служащій Православно-Русскому ученію. Но прежде чѣмъ приступимъ къ описанію этой полемики, взглянемъ на состояніе *Москвитянина* въ 1847 году.

Одинъ изъ постоянныхъ сотрудниковъ *Москвитянина* по части беллетристики, Иванъ Тимоѳеевичъ Кокоревъ, привѣтствуя Погодина съ новымъ 1847 годомъ, писалъ ему слѣдующее неутѣшительное извѣстіе о *Москвитянинѣ*: „*Москвитянинъ* остановился. Смирновъ, кажется, отложилъ всякое попеченіе о немъ, и на вопросъ мой, когда можетъ выйти одиннадцатый нумеръ (прошлаго 1846 года!), отвѣчалъ, что *авось къ половинѣ февраля поспѣетъ*. По моему, надобно расквитаться съ старыми подписчиками въ генварѣ, не позже, съ послѣднею книжкою разослать объявленіе о преобразованіи журнала, и это уже объявленіе повторить нѣсколько разъ въ *Московскихъ* и *Петербургскихъ Вѣдомостяхъ* и проч. Такой ужь, видно, нашъ вѣкъ, что безъ шумихи ничего путнаго не сдѣлаешь“ [15]).

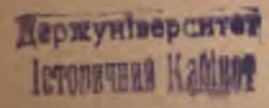
Такой печальный ходъ дѣла по части изданія *Москвитянина* побудилъ Погодина обратиться въ Министерство Народнаго Просвѣщенія съ прошеніемъ о дозволеніи ему издавать журналъ *Москвитянинъ* въ 1847 году вмѣсто двѣнадцати въ четырехъ книжкахъ, не въ видѣ журнала, а въ видѣ учено-литературнаго сборника, по прежней программѣ съ предоставленіемъ редакціи А. Е. Студитскому. Ходатайство по этому дѣлу Погодинъ поручилъ И. И. Давыдову. Но и отъ послѣдняго Погодинъ получаетъ неутѣшительное извѣстіе: „В. Д. Комовскій сказалъ мнѣ“, писалъ Давыдовъ,— „что если вы хотите издавать сборникъ,—должны отказаться отъ журнала; потому что въ сборникѣ полемическія статьи, которыми дышатъ журналы, не допускаются“. Ровно черезъ мѣсяцъ послѣ письма Давыдова Погодинъ получаетъ изъ Канцеляріи Министра Народнаго Просвѣщенія (отъ 24 марта 1847) слѣдующее офиціальное извѣщеніе: „Главное Управленіе Цензуры изъявило согласіе на изданіе журнала *Москвитя-*

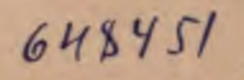
нинъ въ четырехъ книжкахъ либо въ видѣ журнала по прежней программѣ подъ редакціей г. Студитскаго, либо въ формѣ сборника, но съ исключеніемъ всего того, что допускается только въ журналахъ и сборнику принадлежать не можетъ: то-есть, права на объявленіе денежной подписки, на помѣщеніе постоянной библіографіи съ критикою литературною, какъ было объяснено въ распоряженіи Главнаго Управленія Цензурой, сдѣланномъ въ сентябрѣ 1841 года".

Между тѣмъ не выходили нумера *Москвитянина* не только 1847 года, но не были доданы подписчикамъ и нумера прошлаго 1846 года. „Но скажи пожалуйста", писалъ Погодину Шевыревъ,— „что же послѣдніе нумера *Москвитянина?* Когда же это съ себя снимешь? И невыходъ книжекъ послѣднихъ, и несвоевременный и неполный выходъ предъидущихъ неужели не лишитъ тебя надежды на послѣднихъ подписчиковъ *Москвитянина?* Пора же бы тебѣ рѣшиться на что-нибудь одно: или издавать хорошо и аккуратно, или вовсе не издавать.—Какъ бы поговорить объ этомъ?"

Это приводило Погодина въ отчаяніе, и уже подъ *26 мая 1847 года* мы читаемъ въ его *Дневникѣ:* „*Москвитянинъ* не выходитъ. Постоянные подписчики могутъ разбѣжаться". Но тѣмъ не менѣе Погодинъ не рѣшался оставить *Москвитянина.* Ему было совѣстно, какъ писалъ онъ В. В. Григорьеву, „передъ тѣнями Карамзина, Пушкина. Смѣю думать, что сохранять добрыя преданія возложено на насъ" [16]).

Наконецъ, 5 іюня 1847 года, въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* появилось слѣдующее объявленіе *о возобновленіи журнала Москвитянинъ, издаваемаго М. П. Погодинымъ на 1847 годъ,* въ которомъ, между прочимъ, заявлено: „Имѣя главнымъ предметомъ Отечество, относительно Исторіи, Словесности, Гражданственности, Православія, *Москвитянинъ* не оставляетъ безъ вниманія важнѣйшихъ явленій Европейскихъ и *преимущественно Словенскихъ.* Но возобновленное изданіе *Москвитянина* въ 1847 году будетъ состоять изъ четырехъ книжекъ, а объ этомъ измѣненіи мы должны сказать нѣ-


Держуніверситет Історичний Кабінет


64845

Мечникова · Одес

сколько словъ. У насъ выходитъ столько ежемѣсячныхъ журналовъ, что не *Москвитянину*, съ его неумѣньемъ пользоваться скороспѣлыми издѣліями иностранныхъ литературъ или пополнять книжки баластомъ всякаго рода, не ему вступать въ соперничество съ этими *вѣрными представителями и вожатыми современности*, какъ называютъ они себя. Пусть всякій идетъ своей дорогой. Поняли они современность, умѣли приноровиться къ прихотямъ публики, знакомя ее съ новостями *животрепещущими интересомъ минуты*—прекрасно, а мы будемъ продолжать свое, идти начатымъ путемъ..." Вслѣдъ за объявленіемъ и вышла первая книжка *Москвитянина* 1847 года. Прочитавъ это объявленіе, Шевыревъ писалъ Погодину: „Сейчасъ прочелъ твое объявленіе въ газетахъ—и не могу не взять пера, чтобы сказать тебѣ о твоемъ неблагоразуміи. Когда я передалъ тебѣ сообщенное графомъ Протасовымъ отъ Министра, ты суетился и безпокоился о статьѣ Стурдзы, котораго имя ручалось за статью, а содержаніе самой статьи дѣлало всякую суету напрасною. Въ то же самое время ты печатаешь объявленіе о *Москвитянинѣ*, и главная мысль и фраза объявленія: *онъ не оставляетъ* безъ вниманія важнѣйшихъ явленій Европейскихъ *и преимущественно Словенскихъ*. Согласись, мой другъ, что такъ дѣйствовать нелѣпо и неосторожно—изъ рукъ вонъ. Ты боялся молодости, а самъ путаешь и путаешься невыносимо. Если ты не въ силахъ ничего сообразить и уже вовсе не думаешь о томъ, что̀ публично дѣлаешь, — то лучше ужь ничего не дѣлать, нежели вредить себѣ, другимъ—и главное—той мысли, которую твой *Москвитянинъ* будто бы представляетъ. До сихъ поръ роняя журналъ, ты ронялъ самую мысль и не примѣчалъ этого. Теперь можешь отнять у себя своею неосторожностію послѣднія силы къ дѣйствію" [17]). Это оскорбило Погодина, и онъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Уваровъ совѣтуетъ Шевыреву не говорить о Словенахъ. А мнѣ ни слова. Что это значитъ. Или онъ считаетъ меня достаточно благоразумнымъ" [18]). Шевыреву же онъ писалъ:

6452457

„Я прочелъ сію минуту твою записку. Правда—моя *неосторожность*. Я велѣлъ напечатать старое объявленіе, позабывъ, что тамъ есть *о Словенахъ*. Мысли я не ронялъ и не роняю. Это тебѣ наболтали скоты: скажи имъ. Я пріѣхалъ сейчасъ съ архимандритскаго обѣда, слѣд. и проч.“.

Шевыревъ на эту записочку отвѣчалъ колкостями, что опять раздосадовало Погодина, и онъ писалъ своему другу: „Ты преогорчилъ меня до глубины сердца своими письмами и дѣйствіями. Нѣсколько дней я не зналъ, куда преклонить голову, и рѣшился—Богъ съ нимъ! Отъ того не ѣздилъ къ тебѣ, отъ того и не писалъ. Записка съ непріятнымъ выраженіемъ была воплемъ горести. Нашихъ съ тобою счетовъ нравственно-духовныхъ сами мы счесть не можемъ, а развѣ Тотъ, Кто видитъ сверху сердца. Твое ослѣпленіе и твоя самоувѣренность выходятъ изъ предѣловъ. А тебѣ кажется, что ты смирился! Всѣ это видятъ и пожимаютъ плечами. Точно—тебѣ надо освѣжиться и отдохнуть, а послѣ спроси кого хочешь (Павлова, Свербеева и проч.), какъ-де я представился вамъ въ послѣднее время? Сдѣлайте мнѣ благодѣяніе и скажите мнѣ откровенно. Спроси кого хочешь посторонпихъ, если не хочешь спросить меня. Со времени обѣда я нѣсколько разъ терялъ терпѣніе, перемогался, и наконецъ заключилъ: Богъ съ нимъ! Да, мы видимъ сучецъ въ чужомъ глазу, но свои бревна для насъ непримѣтны. Слишкомъ знаю, какъ ты закричишь, прочитавъ эти строки, можетъ быть, послѣднія въ такомъ родѣ, какими нелѣпостями онѣ тебѣ покажутся, но повѣрь, это также послѣдняя, можетъ быть, просьба, что онѣ выстраданы, и дай себѣ время подумать объ нихъ недѣлю, мѣсяцъ, два, а *послѣ*, если хочешь, переговоримъ вмѣстѣ. Ты плывешь по открытому морю, а я, волею или неволею, стою на берегу и вижу себя и людей яснѣе. Прощай, будь здоровъ и доволенъ и спокоенъ. Обстоятельства, опыты, несчастія, занятія,—все вмѣстѣ указало мнѣ пристань: Исторію. Тамъ я забуду скоро всѣ несправедливости, но мнѣ всегда будетъ грустно вспомнить, что въ числѣ ихъ были и

твои". На это Шевыревъ писалъ: „Отвѣчать на твою записку я могъ бы и теперь, лицомъ къ лицу передъ тобою: такъ я спокоенъ по ея полученіи. Мнѣ совсѣмъ не досадно на нее, а грустно видѣть твое тревожное состояніе. Отвѣчаю по порядку. Извини, если я чѣмъ-нибудь огорчилъ тебя. Твое *объявленіе* должно было съ моей стороны вызвать и такое письмо, и такое дѣйствіе. Ты бы и самъ на моемъ мѣстѣ поступилъ не иначе. Записка твоя была *воплемъ горести*. Въ горести слово: *скоты* не срывается съ языка. Тутъ видна досада и даже злоба. Но ты самъ написалъ, что пріѣхалъ съ какого-то обѣда. Я скорѣе отсюда могъ объяснить это выраженіе. *Мое ослѣпленіе и моя самоувѣренность выходятъ изъ предѣловъ.* Отчего же мнѣ не показать на тѣ мои дѣйствія, въ которыхъ это видно? Я за это буду весьма благодаренъ. *Всѣ это видятъ и пожимаютъ плечами... Послѣ спроси кого хочешь* (*Павлова, Свербеева и проч.*), *какъ-де я представился вамъ въ послѣднее время? Сдѣлайте мнѣ благодѣяніе и скажите мнѣ откровенно... Спроси кого хочешь.* Я желалъ бы очень, чтобы всѣ дошли до такого состоянія, въ которомъ могли бы предлагать другъ другу подобные вопросы. Но по теперешнему образу жизни я не вижу возможности и не надѣюсь на искренность отвѣтовъ. Я, по крайней мѣрѣ, ни отъ кого изъ васъ такихъ вопросовъ не слыхалъ. Къ тому же ихъ предлагать надобно друзьямъ самымъ короткимъ. Свербеевъ въ числѣ моихъ короткихъ друзей никогда не былъ: потому не понимаю, какъ обратиться къ нему съ такимъ вопрошеніемъ. Павлова спросилъ бы—да едва ли его состояніе такое, чтобы онъ могъ отвѣчать мнѣ на пользу. *Со времени обѣда я нѣсколько разъ терялъ терпѣніе, перемогался, и наконецъ заключилъ: Богъ съ нимъ.* Со времени обѣда я болѣе ничего не дѣлалъ, какъ сидѣлъ на экзаменахъ, отдавалъ визиты и читалъ до восьми сотъ студенческихъ упражненій. Чѣмъ же я могъ раздражать кого бы то ни было? Развѣ одинъ Свербеевъ разсердился на меня за то, что я сказалъ ему правду объ его сынѣ и предлагалъ дружескіе совѣты отно-

сительно будущихъ его занятій. Но если Свербеевъ за это разсердился, то надобно счесть его болѣе нежели неблагоразумнымъ отцомъ. Жена его, напротивъ, пріѣзжала благодарить меня, да и онъ самъ былъ съ благодарностію. Былъ одинъ эпизодъ: пріѣздъ графа Н. А. Протасова. Ты могъ видѣть, что я не раздѣляю себя отъ тебя въ моихъ съ нимъ сношеніяхъ,—какъ и во всемъ. На твоемъ чтеніи я нарочно сидѣлъ съ твоею семьею — и слушалъ тебя не какъ другъ только, а какъ родной. Ты говоришь, что ты въ пристани, и что же пристань: Исторія. По письму твоему судя, едва ли ты спокоенъ внутренно. Мои несправедливости противъ тебя объяви. Лучше сказать объ нихъ искренно, нежели говорить неопредѣленно".

Непріятная переписка эта окончилась по обыкновенію примиреніемъ, и Погодинъ, подъ 20 іюня 1847 г., записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Вечеромъ Шевыревъ успокоившійся. Доброе сердце, но увлекающееся". О своемъ примиреніи Погодинъ сообщилъ И. И. Давыдову, и тотъ по этому поводу писалъ: „Радъ, что недоразумѣнія ваши съ Шевыревымъ кончились. Онъ благородный и честный человѣкъ; но самолюбіе надѣваетъ ему очки, то выпуклыя, то вогнутыя, и онъ видитъ предметы то большими, то меньшими въ сравненіи съ дѣйствительностью. Я еще желалъ бы въ немъ найти болѣе терпимости къ мнѣніямъ и убѣжденіямъ другихъ, что составляетъ достоинство особенно людей, занимающихся наукою и искусствомъ. Но гдѣ же найдешь совершенство".

Съ самаго учрежденія *Москвитянина* графиня Е. П. Ростопчина питала искреннее сочувствіе къ его направленію и украшала страницы его своими произведеніями. Въ это время, то-есть, въ 1847 году превратности судьбы заставили Ростопчиныхъ поселиться въ Москвѣ. Въ декабрьскихъ листкахъ *Сѣверной Пчелы* 1846 года было напечатано нѣсколько стихотвореній графини Е. П. Ростопчиной и между прочими баллада *Насильный бракъ:* Рыцарь баронъ сѣтуетъ на жену, что она его не любитъ и измѣняетъ ему, а она возражаетъ, что

не можетъ любить его, такъ какъ онъ насильственно овладѣлъ ею. „Кажется“, замѣчаетъ Никитенко,—„чего невиннѣе въ цензурномъ отношеніи? И цензора, и публика сначала поняли такъ, что графиня Ростопчина говоритъ о своихъ собственныхъ отношеніяхъ къ мужу... Удивлялись только смѣлости, съ какою она отдавала на судъ публикѣ свои семейныя дѣла, и тому, что она связалась съ *Сѣверною Пчелою*“. Но оказалось, что подъ *барономъ* разумѣлась—*Россія*, а подъ *женою—Польша*. Это толкованіе дошло до Государя, и „въ цѣломъ городѣ пошли толки“. До этой исторіи графиня Ростопчина, скиталась за границей, писала стихи, читала ихъ въ Римѣ Гоголю“. Надо думать, что послѣ исторіи съ *Насильнымъ бракомъ* Ростопчина, „привыкшая временами показываться при Дворѣ и вообще витать въ тѣхъ сферахъ, гдѣ легко было встрѣтить Государя и другихъ Членовъ Императорской Фамиліи, — измѣняясь въ отношеніяхъ ко всѣмъ этимъ лицамъ, даже просто изгнанная изъ Дворца — сочла за лучшее скрыться изъ Петербурга и поселиться въ Москвѣ, вблизи прекрасной Ростопчинской подмосковной Воронова. И вотъ, эта „блистательная свѣтская женщина“ поселяется въ Москвѣ въ своемъ домѣ на Садовой и, по свидѣтельству Н. В. Берга, открываетъ салоны „для всѣхъ ученыхъ, поэтовъ, художниковъ, артистовъ, сперва отечественныхъ, потомъ чужихъ. Но какъ было это сдѣлать? Надо было познакомиться съ учеными, артистами, поэтами, художниками. Извѣстно, что всѣ эти люди вездѣ и въ особенности въ Москвѣ народъ исключительнаго, мудренаго закала, своебытный, необщительный... Часть ихъ пребывала въ то время въ исторической кофейнѣ Печкина, у Иверскихъ воротъ; другіе скрывались въ захолустьяхъ; третьи были черезъ-чуръ замкнуты въ самихъ себѣ, черезъ-чуръ ревниво охраняли свое одиночество и независимость... Графиня рѣшилась сдѣлать визитъ отшельнику Дѣвичьяго Поля — и просить его собрать у себя все литературное, артистовъ музыки, сцены, живописи, скульптуры. Погодинъ сдѣлалъ это очень легко. Графиня Ростоп-

чина со всѣми познакомилась — и тогда же открыла свои субботы, на которыхъ дѣйствительно можно было видѣть, нѣсколько лѣтъ сряду, до самой Крымской войны, многихъ Русскихъ и заграничныхъ литераторовъ, артистовъ, пѣвцовъ и пѣвицъ".

Съ Ростопчиными Погодинъ сблизился весьма коротко. Озабочиваясь воспитаніемъ дѣтей, графъ Ростопчинъ писалъ ему (январь 1848): „Обращаюсь къ вамъ съ всепокорнѣйшею и очень важною просьбою. Мнѣ нуженъ дядька для осмилѣтняго моего сына, къ стыду и горю моему не говорящаго по русски. Не можете ли вы помочь мнѣ и, по связямъ вашимъ въ Университетѣ, рекомендовать мнѣ надежнаго молодого человѣка, кончившаго успѣшно курсы наукъ. Хочу я, чтобы онъ былъ русскій, уважалъ бы и исполнялъ бы нашу Православную вѣру, имѣлъ бы поручительство въ отличной нравственности, и могъ бы преподавать Русскую Грамматику, Исторію Русскую и Всеобщую, Ариѳметику и начала Алгебры и Геометріи. Притомъ, разумѣется, нужно, чтобъ онъ былъ немножко *образованъ*, *то-есть*, *civilisé*, чтобъ въ немъ не было ничего *Костромскаго*, *Саратовскаго*, *Замоскворѣцкаго*..., и чтобъ былъ, такъ сказать, *d'une certaine tournure*. Жалованья сколько угодно, лишь бы стоилъ. Буде можете сдѣлать о чемъ прошу, несказанно обяжете, и я буду вѣкъ вамъ благодаренъ. Если бумаги отца болѣе вамъ не нужны, то потрудитесь прислать, или пока только Французскія рукописи" [19]).

IV.

Въ то время, когда Погодинъ и Шевыревъ вели между собою непріятную переписку, съ Западной стороны посыпался на *Москвитянина* и его издателя градъ насмѣшекъ.

Въ *Современникѣ* появилась статейка К. Д. Кавелина, въ которой между прочимъ читаемъ: „Въ нашей журналистикѣ въ іюлѣ мѣсяцѣ совершилось приращеніе, если не слишкомъ важное, то совершенно неожиданное — *Москвитянинъ*... воз-

родился!.. Въ прошломъ году безпрестанно происходили съ нимъ различные перевороты—онъ страшно опаздывалъ книжками, пока наконецъ г. Погодинъ не объявилъ, что передаетъ редакцію его г. Студитскому... Какъ скоро послѣдовало такое объявленіе, перевороты, колебанія разомъ покончились: *Москвитянинъ* уже не сталъ опаздывать книжками..., онъ пересталъ выходить... Съ тѣхъ поръ и не было о немъ ни слуху, ни духу до прошлаго мѣсяца... Теперь вдругъ нежданно, негаданно появилась первая книжка *Москвитянина на 1847 г.* уже опять съ именемъ г. Погодина и съ объявленіемъ, что „*Москвитянинъ* впредь будетъ выходить не двѣнадцатью книжками въ годъ, а только четырьмя..." Почему такъ?.. Тутъ—какъ и всегда въ подобныхъ случаяхъ—оказались какимъ-то образомъ виновными Петербургскіе журналы... Видите: они, обязанные выдавать двѣнадцать книжекъ въ годъ, принуждены пользоваться „скороспѣлыми созданіями иностранныхъ литературъ, или наполнять книжки всякаго рода баластомъ". И вотъ, чтобъ не походить на нихъ, *Москвитянинъ* рѣшился выходить только четырьмя книжками... Вы улыбнетесь и скажете, что вѣроятно онъ рѣшился на такую мѣру для того, чтобы не походить между прочимъ и на самого себя, какимъ былъ въ старые годы, когда издавался (правда съ грѣхомъ пополамъ) двѣнадцать разъ въ годъ... Теперь онъ будетъ имѣть больше времени запасаться статьями, статей понадобится меньше—стало быть—онѣ могутъ быть выбраны лучше, не станутъ запаздывать... Когда бы такъ!.. мы первые порадовались бы... Не сули журавля въ небѣ, но дай синицу въ руки: лучше имѣть четыре книжки въ годъ да хорошихъ и навѣрное... Но хотя и говорится въ объявленіи о возможности улучшить журналъ чрезъ увеличеніе промежутковъ выхода..., однакожъ вотъ передъ нами первая книжка... Что же въ ней особеннаго, улучшеннаго? Начнемъ съ наружности. Форматъ тотъ же неуклюжій, тяжеловѣсный, шрифтъ, не смотря на продолжительный отдыхъ въ типографскихъ ящикахъ, которымъ пользовался по случаю поступленія редакціи

Москвитянина къ г. Студитскому, также аляповатъ и неуклюжъ... Содержаніе... Вотъ сейчасъ посмотримъ на содержаніе..."

Свой юмористическій обзоръ *Москвитянина* Кавелинъ начинаетъ со статьи А. С. Стурдзы подъ заглавіемъ: *Записная книжка путешественника противъ воли.* Въ этой *Записной книжкѣ* Кавелинъ подмѣтилъ только одну живую сторону, гдѣ авторъ „выходитъ изъ апатіи и дѣлается говорливъ". На дорогѣ изъ Бендеръ въ Вѣну онъ съ удовольствіемъ говоритъ: „Священникъ, у котораго мы ночевали, сохраняетъ сердечную привязанность къ памяти моей возлюбленной сестры". Онъ не лѣнится объявить, что въ Кишиневѣ радушно встрѣтилъ его двоюродный братъ, „предводитель областного дворянства" и потомъ, говоря о томъ же братѣ, опять выражается такъ: „Мы были на границѣ имперіи, подъ крышею моего двоюроднаго брата, предводителя". „Далѣе къ слову сообщаетъ онъ читателю съ отраднымъ чувствомъ, что отецъ его былъ губернаторомъ..." Приводя собственное сознаніе Стурдзы, что онъ только въ угоду друзьямъ наполнялъ записную книжку свою несвязными воспоминаніями, Кавелинъ замѣчаетъ: „Въ желаніи передать своимъ друзьямъ событія времени нашей жизни, проведеннаго въ разлукѣ съ ними, нѣтъ ничего дурного, какъ бы дурно ни были переданы событія,—дѣло частное... Но зачѣмъ же *Записная книжка* явилась въ *Москвитянинѣ*?.. и великодушно ли выдавать такимъ образомъ публикѣ добродушнаго человѣка, не имѣвшаго претензіи писать для печати, даже, можетъ быть, не чувствовавшаго себя достаточно для того приготовленнымъ и способнымъ, судя по откровеннымъ признаніямъ, приведеннымъ выше... На чьей душѣ тутъ грѣхъ?..." [20]) Самъ же Стурдза писалъ къ Погодину: „Признаюсь: мнѣ было досадно и больно видѣть, какъ *Записная книжка путешественника противъ воли* черствѣла въ когтяхъ цензуры и подъ тисками печатнаго станка... Я даже не постигаю, какъ станетъ у васъ мужества и терпѣнія, чтобы издавать сборникъ зложелательствомъ угнетаемый". Засимъ Стурдза

представляетъ Погодину цѣлый списокъ опечатокъ, примѣченныхъ имъ въ его статьѣ. И. И. Давыдовъ также не благоволилъ къ Стурдзѣ и въ письмѣ своемъ къ Погодину по поводу *Москвитянина* 1847 года, писалъ: „За *Москвитянина* приношу душевную благодарность. Книжка прекрасная, кромѣ завываній шакала Стурдзы. Не стыдно ли вамъ печатать такой вздоръ? Стурдза, другъ Магницкаго, таковъ же, какъ и тотъ... Можетъ ли что добро быти отъ Назарета? Тотъ непремѣнно безбожникъ, кто хочетъ казаться набожнымъ. Мы съ вами про себя Богу молимся; а будемъ ли всѣмъ объ этомъ разсказывать?" [21])

Сдѣлавъ это отступленіе, возвратимся къ юмористическому обозрѣнію *Москвитянина*. Будучи профессоромъ Правъ, Кавелинъ останавливается однако и на стихахъ, помѣщенныхъ въ *Москвитянинѣ*. „Здѣсь," пишетъ онъ, — „прежде всего поражаетъ насъ имя г. Михаила Дмитріева... Старый знакомый! Мы именно познакомились съ нимъ изъ прежняго *Москвитянина*. Тамъ онъ создалъ особенный родъ стихотворства, названный *юридическимъ*,—тамъ онъ говорилъ своему критику:

Карамзинъ тобой ужаленъ,
Ломоносовъ—не поэтъ...

„Здѣсь онъ рисуетъ *Картины моря* и воспѣваетъ *Москву*. Стихотвореніе *Москва*, помнится, было уже напечатано въ *Московскомъ Городскомъ Листкѣ*, но *Москвитянинъ*, которому теперь такъ удобно на свободѣ запасаться матеріалами, не имѣя надобности второпяхъ наполняться *скороспѣлыми издѣліями иностранныхъ литературъ и баластомъ всякаго рода*,— счелъ нужнымъ его перепечатать—вѣроятно, отъ избытка хорошихъ матеріаловъ. Впрочемъ вѣдь за то и какое же стихотвореніе! Здѣсь Москва называется уставщицей умовъ, собирательницей силъ, возсѣдящей на холмахъ господыней, именинницей!

...Рядилася младая,
Величавая Москва,
Стѣны башни убирая
Дивныхъ водчествъ въ кружева.

Новградъ съ золотомъ полсвѣта
Ей принесъ свободу въ дань,
И рабыня Магомета
Пала въ ноги ей Казань!
. . . .
Здѣсь Россія! съ ней страдала
Въ годы тяжкіе Москва,
Съ ней она и возставала
Къ торжеству отъ торжества,
Съ ней дѣлила скорбь и горе
И на брань звала сыновъ
Въ дни когда народовъ море
Выступало изъ бреговъ... [22])".

Въ противоположность К. Д. Кавелину и И. И. Давыдову, горячимъ поклонникамъ Стурдзы былъ Н. Д. Иванчинъ-Писаревъ. „Статьи Стурдзы: его *Путешествіе* и его же *Объ Инзовѣ* превосходны. Я два раза прочиталъ его *Путешествіе*: тамъ сошлись глубокость мыслей, сила и живость образовъ, оригинальность въ изложеніи и изящный слогъ! Да, сказалъ я про себя: это сочиненіе не должно бы болѣе принадлежать нашей новой литературѣ, исключая Муравьева: оно достойно лучшихъ временъ, былыхъ, когда не ругались надъ благороднымъ и возвышеннымъ, чтобъ замѣнить ихъ какимъ-то *натуральнымъ*, а по моему — площаднымъ. Стурдза проникъ, понялъ Карамзина, умѣлъ достойно говорить о немъ; онъ умѣетъ и писать, какъ писалъ Карамзинъ. Теперь обвиняютъ Карамзина въ какомъ-то Словенофильствѣ. Какъ громко засмѣялся бы онъ, еслибъ ожилъ, — а можетъ быть и заплакалъ бы горько надъ распрею нашихъ писачекъ, а также и надъ ихъ листочками: онъ не тому училъ молодое поколѣніе, не того ждалъ отъ него!"

Въ это время неизмѣнный другъ *Москвитянина* М. А. Дмитріевъ, къ которому такъ не благоволилъ К. Д. Кавелинъ, удалился въ свое Симбирское имѣніе Богородское, а въ Москвѣ оставался его сынъ Ѳедоръ Михайловичъ, тогда студентъ Университета, и отецъ его писалъ Погодину изъ своего сельскаго уединенія (отъ 10 декабря 1847 г.): „Искренно, искренно благодарю, любезнѣйшій Михалъ Петровичъ, что вы

навѣстили моего больного Ѳедю. Добрые вы, мои Московскіе друзья... *Москвитянина* получена и третья книжка: Ѳедя имъ не нахвалится... Живите, мыслите, пишите и не забывайте насъ отшельниковъ".

Столь враждебная *Москвитянину* Московская цензура въ это время измѣнилась къ лучшему. Отъ Н. Е. Зернова *Москвитянинъ* перешелъ въ дружественныя руки В. Н. Лешкова, который, привѣтствуя возрожденіе *Москвитянина*, писалъ къ его издателю: „...Поздравляю васъ съ первымъ нумеромъ *Москвитянина*. Дай Богъ, чтобы онъ такъ постоянно, такъ хорошо, плавно и торжественно, какъ онъ теперь выступаетъ"[23]).

Погодинъ рѣшился „оставить на время Исторію и заняться однимъ журналомъ" и вмѣстѣ съ тѣмъ, „чувствуя отдаленность" своего Дѣвичьяго Поля, намѣревался „переѣхать въ типографію на мѣсяцъ".

Съ своей стороны и Шевыревъ считалъ необходимымъ „собираться однажды въ недѣлю" и при этомъ задаетъ Погодину вопросъ: „Гдѣ? Въ который день? У меня или у тебя? Или по очереди?"

Въ такомъ состояніи былъ *Москвитянинъ*, когда процвѣлъ *Петербургскій Современникъ*.

V.

Мы уже упомянули, что противъ статей Кавелина, Никитенка и Бѣлинскаго, напечатанныхъ въ первомъ нумерѣ *Современника* 1847 года, выступилъ Ю. Ѳ. Самаринъ, подвизавшійся въ то время въ Балтійскомъ краѣ, и напечаталъ въ *Москвитянинѣ* замѣчательную критическую статью подъ заглавіемъ: *О мнѣніяхъ Современника историческихъ и литературныхъ*. Написавъ эту статью, Самаринъ доставилъ ее въ рукописи Хомякову, который, познакомившись съ ея содержаніемъ, писалъ автору: „Въ Москвѣ печатать ее негдѣ, кромѣ *Москвитянина*, въ Петербургѣ не слѣдуетъ... О статьяхъ самихъ я почти готовъ сказать, что онѣ во мнѣ оставили нѣкоторое

чувство досады: у васъ столько силъ противъ такой слабости, что бой какъ будто бы едва законенъ. Съ другой же стороны вспоминаешь, что такова слабость всѣхъ нашихъ противниковъ, и что эта слабость нисколько не ручается за нашъ успѣхъ, ибо ихъ пошлость вдохновляетъ пошлость всеобщую нашего читающаго міра... Статьи превосходны по изложенію, по мыслямъ, по добросовѣстности и строгости анализа; но кто пойметъ ихъ вполнѣ?... А надобно, непремѣнно надобно ихъ напечатать... Въ первый разъ въ нихъ выставлены съ нашей стороны опредѣленные тезисы, и слѣдовательно, полагается начало положительной наукѣ... Съ своей стороны я, можетъ быть, васъ упрекну только въ излишнемъ уваженіи къ одному изъ противниковъ, къ Никитенку; но вы его, кажется, нѣсколько любите... Кстати надобно будетъ, кажется, или выкинуть, или измѣнить слово объ Никитенкѣ, что онъ самоучка" [24]). Статья Самарина, прежде чѣмъ попасть къ Погодину, прошла чрезъ многія руки. Посылая уже вторую статью, Самаринъ писалъ Погодину, чтобы за первою обратился къ Аксакову. Въ томъ же письмѣ Юрій Θедоровичъ писалъ: „Если статья покажется вамъ годною и не слишкомъ запоздалою, напечатайте ее въ *Москвитянинѣ*. При этомъ, я думаю, надобно бы сказать въ примѣчаніи, что статья написана была давно, по выходѣ первой книжки *Современника*, до появленія послѣдующихъ, но не могла быть напечатана ранѣе, по причинамъ, не зависѣвшимъ ни отъ автора, ни отъ редакціи. Дѣйствительно, она совершила путешествіе изъ Риги въ Москву, изъ Москвы въ Петербургъ и теперь отправляется опять изъ Петербурга въ Москву".

Въ томъ же письмѣ Самаринъ сообщаетъ Погодину о своихъ служебныхъ занятіяхъ: „Теперь мнѣ придется надолго отложить всѣ занятія не служебныя, потому что заданный мнѣ трудъ отнимаетъ у меня все время. Я погрузился въ грамоты Нѣмецкія, Императорскія, Ганзейскія и въ Средневѣковыя лѣтописи Остзейскаго края. Впрочемъ это занятіе наводитъ меня на многіе предметы любопытные и

важные для Русской Исторіи. Все, что попадается въ такомъ родѣ, я подвожу подъ три рубрики: 1-е. Слѣды распространенія Православной вѣры въ Остзейскомъ краѣ до нашествія Нѣмецкихъ проповѣдниковъ. 2-е. Торговыя сношенія съ Псковомъ, Новгородомъ и Волочкомъ — торговые пути и торговые права и уставы. 3-е. Война съ Іоанномъ Грознымъ; тутъ больше анекдоты и свѣдѣнія о Русскихъ, начавшихъ перебѣгать въ Нѣмецкую землю въ XVI вѣкѣ. Котошихинъ былъ далеко не первый въ своемъ родѣ. Прежде чѣмъ Петръ началъ посылать Русскихъ за границу, они сами нашли себѣ дорогу. Всего любопытнѣе сравненіе устройства Нѣмецкихъ городовъ съ Новгородомъ. Сходства и различія равно любопытны. Вообще относительно Новгорода предстоитъ разрѣшить два вопроса, послѣ которыхъ уяснится все его устройство: 1-е. Былъ ли Новгородъ замкнутымъ обществомъ и пользовались ли правами гражданства (какъ-то: правомъ производить торговлю, промыслы, участвовать въ обсужденіи дѣлъ общественныхъ) всѣ прибѣжавшіе и селившіеся въ Новѣгородѣ, или принятію въ городское общество предшествовало избраніе? 2-е. Имѣли ли право иногородные купцы торговать непосредственно съ иностранными купцами, Ганзейцами и пр., или иногородные могли торговать съ ними только черезъ посредство Новгородскихъ гражданъ? Эти двѣ данныя мнѣ важны, что на основаніи ихъ можно почти навѣрное вывести a priori все устройство и управленіе города. Не знаю, удастся ли мнѣ разрѣшить эти два вопроса. Филаретъ печатаетъ свою Церковную Исторію. Я нынче не успѣю написать къ Аксакову; потрудитесь потребовать отъ него сами начало моей статьи, оставленной у него Хомяковымъ“.

По указанію Самарина за статьею его Погодинъ обратился къ И. С. Аксакову, который (отъ 20 іюня 1847 г.) отвѣчалъ ему: „Письмецо ваше получилъ я уже въ деревнѣ. Теперь маменька ѣдетъ въ Москву, и я спѣшу васъ увѣдомить, что статья—рецензія на статью Кавелина—дѣйствительно была у насъ оставлена Хомяковымъ и нами отдана Катеринѣ Але-

ксандровнѣ Свербеевой. Никакихъ же другихъ статей мы не видали и не получали. Объясненіе всей этой загадки должно быть у Катерины Александровны. Константинъ также получилъ письмо отъ Самарина, въ которомъ онъ пишетъ, что посылаетъ вамъ статью. Константинъ съ своей стороны проситъ васъ Самаринской статьи напечатать не пятьдесятъ, а сто экземпляровъ. Всѣ наши вамъ кланяются" [25]).

Наконецъ статья Самарина была получена и напечатана въ *Москвитянинѣ*.

„Мы искренно обрадовались", писалъ между прочимъ Самаринъ,—„когда до насъ дошелъ слухъ о передачѣ и обновленіи *Современника*. Зная образъ мыслей редактора и главныхъ сотрудниковъ, мы могли предвидѣть направленіе изданія. Мы знали, что оно будетъ не согласно во многомъ съ нашимъ образомъ мыслей и возбудитъ неминуемыя противорѣчія. Но литературный споръ между Москвою и Петербургомъ въ настоящее время конечно необходимъ; дѣло въ томъ, какъ и съ кѣмъ вести его. Петербургскіе журналы встрѣтили Московское направленіе съ насмѣшками и самодовольнымъ пренебреженіемъ. Они придумали для послѣдователей его названіе *старовѣровъ* и *словенофиловъ*, показавшееся имъ почему-то очень забавнымъ, подтрунивали надъ мурмолками, и доселѣ еще не истощили этой богатой темы. Принявши разъ этотъ тонъ, имъ было трудно перемѣнить его и сознаться въ легкомысліи; они не могли или не хотѣли добросовѣстно вникнуть въ образъ мыслей Московской партіи, отличить случайное отъ существеннаго, извлечь коренные вопросы и отстранить личности. Припомните критики и библіографическія статьи *Отечественныхъ Записокъ* за два или за три года тому назадъ. Мы приводимъ въ примѣръ именно этотъ журналъ, потому что онъ серьезнѣе другихъ и въ послѣднее время имѣлъ наиболѣе успѣха. Много разсыпано было колкостей и насмѣшекъ, но много ли дѣльныхъ возраженій? Самолюбія были раздражены, но двинулся ли споръ хоть на одинъ шагъ? Можетъ быть, въ Петербургѣ это покажется страннымъ, но

конечно Московскіе ученые, не раздѣляющіе нашего образа мыслей, согласятся въ томъ, что такъ называемымъ Словенофиламъ приписывали то, чего они никогда не говорили и не думали, что большая часть обвиненій, напримѣръ, въ желаніи воскресить отжившее, вовсе къ нимъ не шли, и что вообще во всемъ этомъ дѣлѣ со стороны Петербурга замѣшалось какое-то недоразумѣніе, умышленное или неумышленное—это все равно.

„Впрочемъ, къ чести *Отечественныхъ Записокъ* должно замѣтить, что къ концу прошлаго года и въ нынѣшнемъ онѣ значительно перемѣнили тонъ и стали добросовѣстнѣе всматриваться въ тотъ образъ мыслей, котораго прежде не удостоивали серьезнаго взгляда. Въ это самое время отъ нихъ отошли нѣкоторые изъ постоянныхъ сотрудниковъ и основали новый журналъ. Отъ нихъ, разумѣется, нельзя было ожидать направленія по существу своему новаго; но можно и должно было ожидать лучшаго, достойнѣйшаго выраженія того же направленія; всего отраднѣе было то, что редакцію принялъ на себя человѣкъ, умѣвшій сохранить независимое положеніе въ нашей Литературѣ и не написавшій ни одной строки подъ вліяніемъ страсти или раздраженнаго самолюбія; наконецъ, въ новомъ журналѣ должны были участвовать лица, издавна живущія въ Москвѣ, хорошо знакомыя съ образомъ мыслей другой литературной партіи и съ ея послѣдователями, проведшія съ ними нѣсколько лѣтъ въ постоянныхъ сношеніяхъ, и узнавшія ихъ безъ посредства журнальныхъ статеекъ и сплетень, развозимыхъ заѣзжими посѣтителями.

„И такъ, думали мы, мнѣніе нашихъ литературныхъ противниковъ явится въ достойнѣйшей формѣ и наконецъ будетъ понято и оцѣнено наше мнѣніе. Скажемъ откровенно: первый нумеръ *Современника* не оправдалъ нашего ожиданія. Можетъ быть, мы ошибаемся; но по нашему мнѣнію, новый журналъ подлежитъ тремъ важнымъ обвиненіямъ: вопервыхъ, въ отсутствіи единства направленія и согласія съ самимъ собою; вовторыхъ, въ односторонности и тѣснотѣ своего

образа мыслей; втретьихъ, въ искаженіи образа мыслей противниковъ. Мы постараемся доказать это разборомъ трехъ капитальныхъ статей, которыя, по собственному признанію *Современника*, должны ознакомить читателей съ его духомъ и направленіемъ. Это: *Взглядъ на юридическій бытъ Древней Россіи—Кавелина*; *О современномъ направленіи Русской Литературы—Никитенка*, и *Взглядъ на Русскую Литературу 1846 года—Бѣлинскаго*" [26]).

Увидавъ свою статью въ печати, Самаринъ писалъ Погодину: „Я радъ, что она напечатана и вамъ понравилась; я дорожу въ ней не критикою, а тезисами, и потому не бѣда, что она выйдетъ поздно. Теперь пусть отвѣчаютъ, возражаютъ, бранятъ, я уже отвѣчать не буду, да и времени у меня бы на то недостало". Надо замѣтить, что подъ статьею своею Ю. Ѳ. Самаринъ не подписалъ своего имени, а скрылся подъ литерами *М. З. К.*; но въ объявленіи Погодинъ пропечаталъ полное имя. Примѣтивъ это, отецъ Самарина, Ѳедоръ Васильевичъ, написалъ Погодину укорительное письмо: „Послѣдняя статья сына моего, помѣщенная въ *Москвитянинѣ*, не была имъ подписана. Вѣроятно, онъ имѣлъ на то свои причины; поэтому я полагаю, что вы не должны были помѣщать его имени въ объявленіи безъ его дозволенія. Я не знаю настоящей причины, по которой сынъ мой умалчиваетъ свое имя, а догадываюсь, что онъ хотѣлъ предупредить для меня неудовольствіе читать брани въ отвѣтъ на его статьи, которыми, по несчастію, такъ часто оканчивается наша журнальная *полемика*" [27]).

VI.

Предчувствіе Ѳ. В. Самарина исполнилось, не смотря на предположеніе Шевырева, что статьи его сына „въ Петербургѣ не знаютъ, потому что тамъ *Москвитянинъ* библіографическая рѣдкость". Замѣчательная статья Ю. Ѳ. Самарина произвела именно въ Петербургѣ сильное впечатлѣніе и

вызвала оживленную полемику. Въ *Современникѣ* противъ нея выступили Кавелинъ и Бѣлинскій, и одинъ за другимъ напечатали *Отвѣты Москвитянину* [28]).

Въ письмѣ къ Анненкову Бѣлинскій описываетъ, при какихъ условіяхъ онъ писалъ *Отвѣтъ Москвитянину*: „Самаринъ тиснулъ въ *Москвитянинѣ* статью, весьма пошлую и подлую, о *Современникѣ*; мнѣ надо было отвѣтить ему. Взялся было за работу; не могу: лихорадочный жаръ, изнеможеніе. Какъ я испугался! Стало быть, я не могу работать! Стало быть, мнѣ надо искать мѣсто въ больницѣ, а женѣ—въ богадѣльнѣ! Но дня черезъ два, черезъ три лихорадка прошла совершенно. Тильманъ велѣлъ мнѣ оставить всѣ лѣкарства; я принялся за работу и въ шесть дней намахалъ три съ половиною листа! И все это съ отдыхами, съ лѣнью... И во все это время я чувствовалъ себя не только здоровѣе и крѣпче, но бодрѣе и веселѣе обыкновеннаго. Это меня сильно поощрило. Значитъ, я могу работать; стало быть, могу жить...“ [29]).

Но цензура не пощадила статьи Бѣлинскаго и „исказила“ ее „варварски“. Жалуясь на это Кавелину, Бѣлинскій для примѣра указываетъ: „Самаринъ говоритъ, что *согласіе князя съ вѣчемъ было идеаломъ Новгородскаго правленія*. Я возразилъ ему на это, что и теперь, въ конституціонныхъ государствахъ, согласіе короля съ палатою есть осуществленіе идеала ихъ государственнаго устройства: гдѣ же особенность Новгородскаго правленія? Это вычеркнуто. Цѣлое мѣсто о Мицкевичѣ и о томъ, что Европа и не думаетъ о Словенофилахъ, тоже вычеркнуто... Скажу кстати, что и вамъ угрожаетъ такая же участь. Въ засѣданіи Географическаго Общества Панаевъ столкнулся съ маленькимъ, черненькимъ Поповымъ. *Я читалъ Отвѣтъ Самарину*. „Что жъ мудренаго, когда онъ напечатанъ“. *Нѣтъ, вторую статью Кавелина*.— „Какъ же это?“ *Мнѣ показывалъ цензоръ Срезневскій, и я уговорилъ его кое-что смягчить*. — Видите ли, сколько у насъ цензоровъ и какіе — Словенофилы“.

Отвѣтомъ Кавелина *Москвитянину* Бѣлинскій остался

не совсѣмъ доволенъ. „Вамъ, милый мой юноша“, писалъ онъ ему, — „понравилось то, что Самаринъ говоритъ о народѣ: перечтите-ка да переведите эти фразы на простыя понятія, такъ и увидите, что это цѣликомъ взятыя у Французскихъ соціалистовъ и плохо понятыя понятія о народѣ, абстрактно примѣненныя къ нашему народу. Еслибъ объ этомъ можно было писать, не рискуя впасть въ тонъ доноса, я бы потѣшился надъ нимъ за эту страницу“. Вмѣстѣ съ тѣмъ Бѣлинскій упрекалъ Кавелина и за то, что онъ, въ своемъ *Отвѣтѣ* съ уваженіемъ относился къ Самарину, который въ глазахъ Бѣлинскаго былъ „не лучше Булгарина по его отношенію къ *натуральной школѣ*, а съ этими господами,“ замѣчаетъ онъ, — „надобно быть осторожному“. Въ другомъ письмѣ Бѣлинскаго къ Кавелину мы читаемъ: „Статья ваша противъ Самарина жива и дѣльна, — но я крайне недоволенъ ею съ одной стороны. Этотъ баринъ третировалъ насъ съ вами du haut de sa grandeur, какъ мальчишекъ; вы возражали ему стоя передъ нимъ на колѣняхъ. Ваше заключительное слово было то, что онъ даровитый человѣкъ. Что Самаринъ человѣкъ умный, противъ этого ни слова, хотя его умъ парадоксальный и безплодный; что Самарина нельзя никакъ назвать бездарнымъ человѣкомъ, и съ этимъ я совершенно согласенъ. Но не быть бездарнымъ и быть даровитымъ — это вовсе не одно и то же. Это, впрочемъ, общій всѣхъ насъ недостатокъ — легкость въ производствѣ въ геніи и таланты.... Въ чемъ увидѣли вы даровитость Самарина? Въ томъ, что онъ пишетъ не такъ, какъ Студитскій? Но, вѣдь, это дуракъ, а онъ уменъ. Вспомните, что онъ человѣкъ съ познаніями, съ многостороннимъ образованіемъ, говоритъ на нѣсколькихъ иностранныхъ языкахъ, читалъ въ нихъ все лучшее, да не забудьте при этомъ, что онъ свѣтскій человѣкъ. Что же удивительнаго, что онъ умѣетъ написать статью такъ же порядочно (comme il faut), какъ умѣетъ порядочно держать себя въ обществѣ? Оставляя въ сторонѣ его убѣжденія, въ статьѣ его нѣтъ ничего пошлаго, глупаго, дикаго, въ отношеніи къ формѣ, все

какъ слѣдуетъ; но гдѣ же въ ней проблескъ особеннаго таланта, вспышки ума, смысла? Надо быть слишкомъ предубѣжденнымъ въ пользу такого, чтобы видѣть въ немъ что-нибудь другое, кромѣ человѣка сухаго, черстваго, съ умомъ парадоксальнымъ, больше возбужденнымъ и развитымъ, нежели природнымъ, человѣка холоднаго, самолюбиваго, завистливаго, иногда блестящаго по причинѣ злости, но всегда мелкаго и посредственнаго... Вы имѣли случай раздавить его; вамъ это было легче сдѣлать, чѣмъ мнѣ. Дѣло въ томъ, что въ своихъ фантазіяхъ онъ опирается на источникъ Русской Исторіи; тутъ я пасъ. Мнѣ онъ сказалъ объ *Ипатьевской Лѣтописи*, а я не знаю и о существованіи ея; вы—другое дѣло, вы читали и изучали, и ею же его и могли бить. Вы это и сдѣлали, но съ такимъ уваженіемъ къ нему. А вмѣсто этого вамъ слѣдовало бы подавить его вѣжливою ироніею, презрительною насмѣшкою". Въ томъ же письмѣ Бѣлинскій обрушивается на всѣхъ друзей и единомышленниковъ Самарина, то-есть, на Словенофиловъ. „Церемониться", писалъ онъ,—„съ Словенофилами нечего. Я не знаю Кирѣевскихъ, но судя по разсказамъ Грановскаго и Герцена, это фанатики, полупомѣшанные, особенно Иванъ, но люди благородные и честные; я хорошо знаю лично К. С. Аксакова: это человѣкъ, въ которомъ благородство - инстинктъ натуры; я мало знаю брата его Ивана Сергѣевича и не знаю, до какой степени онъ Словенофилъ, но не сомнѣваюсь въ его личномъ благородствѣ. За исключеніемъ этихъ людей, всѣ остальные Словенофилы, знакомые мнѣ лично или только по сочиненіямъ, страшные и на все готовые, или, по крайней мѣрѣ, пошлецы. Самаринъ не лучше другихъ; отъ его статьи несетъ мерзостью. Эти господа чувствуютъ свое безсиліе, свою слабость и хотятъ замѣнить ихъ дерзостью, наглостью и ругательнымъ тономъ. Въ ихъ рядахъ нѣтъ ни одного человѣка съ талантомъ. Ихъ журналъ, *Москвитянинъ*, читаемый только собственными сотрудниками, и *Московскій Сборникъ*—изданіе для охотниковъ. А журналы ихъ противниковъ расходятся тысячами, ихъ чи-

таютъ, о нихъ говорятъ, ихъ мнѣнія въ ходу. Да что объ этомъ толковать много! Катать ихъ...! И Богъ вамъ судья, что отпустили живымъ одного изъ нихъ, имѣя его подъ пятою своей!..“ [30]).

Никого, разумѣется, не удивило, что въ *Современникѣ* напали на статью Самарина, но удивило всѣхъ, когда Погодинъ напечаталъ въ *Москвитянинѣ*, вслѣдъ за статьей Самарина, возраженіе на нее сотрудника *Отечественныхъ Записокъ* и *Современника* Н. А. Мельгунова „Давно мы не читали“, писалъ Шевыревъ,—„во всей современной журналистикѣ статьи, написанной столь строго діалектически и такимъ умѣреннымъ тономъ, какъ статья Ю. Ѳ. Самарина, направленная противъ мнѣній *Современника*. Три отвѣта напечатано противъ нея: два въ *Современникѣ*—и одинъ въ великодушномъ *Москвитянинѣ*, который гостепріименъ даже и къ мнѣніямъ, противоположнымъ его направленію. Вотъ какъ дружно и искусно дѣйствуютъ такъ-называемые Западники! Нельзя не отдать имъ чести. *Отвѣты* не вызвали ни одного возраженія. Конечно, написаны они большею частію съ тѣмъ только, чтобы отвѣчать, чтобы оставить за собою послѣднее слово: но все-таки было много пунктовъ, которые могли подать поводъ къ дѣльнымъ возраженіямъ. Что ни говорите, а новые Словене уже не отъ Слова происходятъ. Они скорѣе могутъ быть названы Нѣмцами“ [31]). Въ то же время Шевыревъ писалъ Погодину: „Статья Мельгунова вызываетъ отвѣтъ. Въ моей будущей статьѣ я это сдѣлаю. Мельгунова я очерчу въ моихъ *Очеркахъ*—и тамъ буду отвѣчать и за себя. Суется съ общими мѣстами на такія статьи, какъ Самаринскія, да на мой курсъ. Онъ на посылкахъ у фряговъ. Съ Павловымъ ты не долженъ сходиться въ западныхъ мнѣніяхъ. Не увертывайся“. Въ томъ же письмѣ Шевыревъ писалъ: „Вѣроятно, Самаринъ перейдетъ въ *Сѣверное Обозрѣніе* — и возражать у тебя не будетъ. Я увѣренъ въ томъ. Павловъ хвалилъ отвѣтъ Мельгунова, — и ты съ Павловымъ какъ-то во многомъ такомъ начинаешь сходиться, что мнѣ не совсѣмъ нравится. Павловъ поговаривалъ

о какихъ-то твоихъ мнѣніяхъ, да не договорилъ. Разумѣется, Строгановъ обрадовался, что ты у себя же въ журналѣ даешь отпоръ мнѣніямъ Самарина, и онъ не позволитъ возраженія для избѣжанія будто полемики, а главное для того, чтобы послѣднимъ было противное мнѣніе. Ты этого не видишь—и и даешь промаха". Еще до напечатанія своей статьи Мельгуновъ писалъ Погодину: „Полное опроверженіе Словенскаго ученія предоставляю себѣ въ большой статьѣ, за которую надѣюсь скоро приняться. Вопросъ между той и другой стороной долженъ быть поднятъ со дна.—Жаль мнѣ, что ты при свиданіи не замѣтилъ мнѣ, въ чемъ именно со мною не согласенъ, потому что я, можетъ быть, и призналъ бы справедливость твоихъ замѣчаній, и вслѣдствіе того измѣнилъ бы и самую статью".

Такимъ образомъ въ *Москвитянинѣ* явилась статья Мельгунова, скрывшаго свое имя подъ сокращеннымъ псевдонимомъ *Л—го: Нѣсколько словъ по поводу статьи: О мнѣніяхъ Современника историческихъ и литературныхъ.* Въ этой статьѣ Мельгуновъ поставилъ себѣ цѣлью намекнуть на несостоятельность той основной мысли, вслѣдствіе которой до-Петрова Русь является Самарину въ такомъ идеальномъ свѣтѣ, а весь остальной міръ со включеніемъ и Россіи Петра въ такомъ полусумракѣ. Выставляя общій смыслъ тезисовъ Самарина, Мельгуновъ между прочимъ останавливается на слѣдующемъ: „Истинное, нормальное состояніе людского общежитія, по мнѣнію Самарина, „есть общинный бытъ, основанный не на отсутствіи личности, а на свободномъ и сознательномъ ея отреченіи отъ своего *полновластія.* Слѣдовательно, все, что противорѣчитъ этому идеалу общежитія, ложно и анормально. Отсюда—истиненъ и нормаленъ первоначальный бытъ Словенъ, во сколько они не отреклись отъ него; ложенъ и анормаленъ бытъ всѣхъ тѣхъ народовъ, которымъ общинное начало неизвѣстно". Противъ этого тезиса Мельгуновъ замѣчаетъ: „Какимъ же образомъ этотъ столь совершенный общинный бытъ привелъ — не говорю уже къ

призванію чужеземныхъ князей въ самомъ началѣ нашей Исторіи,—но къ призванію чужеземной образованности, а вмѣстѣ съ нею Германскаго начала личности? Здѣсь одно изъ двухъ: или основа древней Русской жизни безусловно истинна: тогда, какимъ образомъ эта жизнь могла допустить въ себя преобразованія Петровы по образцу Германскому? Или эти преобразованія были необходимы... Тогда что же думать о безусловномъ превосходствѣ быта, который не нашелъ въ себѣ достаточной силы и для дальнѣйшаго правильнаго развитія". Далѣе Мельгуновъ замѣчаетъ: „Общинный нашъ бытъ очевидно пріостановился и замеръ. — Личное же начало дѣлаетъ съ каждымъ днемъ новые успѣхи, и не только въ такъ-называемомъ образованномъ классѣ, но и въ простомъ народѣ, въ крестьянскомъ быту. Это несомнѣнно; всякій кто сколько-нибудь заглядывалъ во внутрь Россіи, прислушивался къ народу, къ его надеждамъ и желаніямъ, скажетъ, что общинное начало мало-по-малу распадается и уступаетъ мѣсто новымъ требованіямъ, новому началу..."

Въ своемъ заключеніи Мельгуновъ прямо заявляетъ, что Самаринъ „успѣлъ доказать многое; но онъ не убѣдилъ ни въ чемъ. Таково впечатлѣніе, произведенное и на меня, и на многихъ его попыткой—силой діалектики гальванически оживить отжившее".

Надо замѣтить, что Н. А. Мельгунову бытъ нашихъ крестьянъ былъ очень хорошо извѣстенъ. Вотъ что писалъ онъ Погодину изъ своего села Петровскаго, Орловской губерніи, Ливенскаго уѣзда (отъ 30 іюля 1847 г.): „Я занимаюсь все лѣто почти исключительно хозяйствомъ, толкую много съ крестьянами и приноравливаюсь къ ихъ быту и требованіямъ; Боюсь всего болѣе идеальнаго хозяйства и не забываю ни на минуту, что я въ Русской деревнѣ имѣю дѣло съ Русскимъ народомъ. Не перетолкуй этого въ дурную сторону и не думай, чтобъ я разыгрывалъ роль помѣщика въ прежнемъ смыслѣ этого слова. Стараюсь избѣжать двухъ крайностей: и отеческой власти съ нагайкой въ рукахъ, и Англійскихъ

или Нѣмецкихъ нововведеній. Первое болѣе не годится, второе не годится вовсе, — по крайней мѣрѣ въ томъ видѣ, въ какомъ употреблялось доселѣ новомодными хозяевами. Словомъ: стараюсь быть и въ деревнѣ, чѣмъ былъ въ городѣ: *Европейскимъ Русскимъ*... Пора подымать вопросы практическіе и дѣйствовать путемъ гласности".

Статья Мельгунова нашла себѣ сочувствіе въ Павловѣ. „Дополненіе ваше", писалъ онъ Погодину, — „мнѣ чрезвычайно понравилось, а статья Самарина нѣтъ: это—дагеротипъ по по точности линій, по математической вѣрности, а между тѣмъ рисунокъ, написанный рукою живого человѣка, и вѣрнѣе, и лучше, и выше".

Но самъ Погодинъ былъ не вполнѣ согласенъ ни съ Самаринымъ, ни съ Мельгуновымъ, а потому собирался возражать обоимъ; но не собрался. „Очень радъ", писалъ ему Мельгуновъ, — „что ты собираешься писать противъ Самарина и меня, или, какъ старый витязь, рубить направо и налѣво. Только сдѣлай милость, не забывай, что есть двоякая juste-milieu: *между* крайностей и *надъ* крайностями. Я самъ стремлюсь къ послѣдней, но терпѣть не могу первой. Быть *между* крайностями значитъ—не быть ни тѣмъ, ни другимъ, ни рыбой, ни мясомъ; быть *надъ* крайностями значитъ быть и тѣмъ, и другимъ, и рыбой, и мясомъ, значитъ—быть третьимъ высшимъ. Этого достигнуть можно лишь чрезъ полное историческое уразумѣніе необходимости и той, и другой крайности. Но такое уразумѣніе не легко достается. Чтобъ достигнуть высшаго третьяго, надо искать примирить два первыхъ; а примирить ихъ можно не обоюдной сдѣлкой, не взаимными уступками и compromis (чѣмъ только компрометируешь одного себя), а уясненіемъ себѣ того разумнаго и вмѣстѣ историческаго закона, по которому крайности—только ступеньки синтезу. Говоря откровенно, на этой ли разумно-исторической точкѣ стоишь ты?" Въ томъ же письмѣ Мельгуновъ спрашиваетъ Погодина, вышелъ ли тотъ нумеръ *Москвитянина*, гдѣ помѣщена статья его противъ Самарина? „Въ

понедѣльникъ, вечеромъ, я былъ у Свербеевыхъ: тамъ были Павловъ, Аксаковъ, Поповъ, Чаадаевъ и никто не имѣлъ понятія о моей статьѣ. А я готовился спорить и ее отстаивать".

Статья Самарина была напечатана съ обычными въ *Москвитянинѣ* опечатками. Указывая на одну изъ нихъ, Мельгуновъ писалъ Погодину: „Я забылъ обратить твое вниманіе на одну *вѣроятную* опечатку въ статьѣ Самарина. Тебѣ непремѣнно надо справиться съ рукописью; иначе, ты, какъ кажется, заставляешь Самарина говорить совершенно противное тому, что онъ хотѣлъ сказать. Это на стр. 202. *Мы готовы признать такое употребленіе*, и пр. *злонамѣреннымъ*. Слѣдуетъ, вѣроятно: *не злонамѣреннымъ*. Послѣдующая фраза, да и весь тонъ статьи, какъ равно и благовоспитанность Самарина, заставляютъ думать, что и тутъ пропущена частица *не*".

Какъ бы то ни было, но за помѣщеніе статьи Мельгунова въ *Москвитянинѣ* возстали противъ Погодина и М. А. Максимовичъ, и Н. А. Ригельманъ. „Осмѣлюсь дружески тебѣ замѣтить", писалъ Максимовичъ,—„что надобно для успѣха журнала и *идеи*, намъ общелюбезной, нѣкоторое *единство*... Зачѣмъ эта статья *Л—го* противъ статьи Самарина — въ томъ же самомъ *Москвитянинѣ*?—Еслибъ она была въ *Современникѣ*, или еслибы Самаринская статья была не въ *Москвитянинѣ*, я прочелъ бы ее съ удовольствіемъ. Какой-нибудь частный вопросъ изъ какой-нибудь науки—тамъ пусть будутъ въ *Москвитянинѣ* критики, антикритики, рекритики, но то, что составлять должно *завѣтное, живое начало* въ *Москвитянинѣ*,—противъ того ему самому отъ себя говорить не подобаетъ: противъ того пусть говорятъ Петербургскіе журналы. Иначе—не будетъ *духа* и *цвѣта* въ твоемъ *Москвитянинѣ;* а только пестрота и разнообразіе мнѣній—второстепенное достоинство! Ты въ *Изслѣдованіяхъ* весь преданъ своей главной мысли: бережешь ее какъ зеницу ока; за нее готовъ друга и недруга въ грязь втоптать... Положимъ, это послѣд-

нее уже слишкомъ... Но должно же быть и въ *Москвитянинѣ* нѣчто *задушевное*, которое должно въ немъ быть хранимо и развиваемо при всякомъ способномъ къ тому случаѣ, противъ котораго не должно самому ему поднимать рукъ... Если же и прійдется поправлять, уяснять, раскрывать полнѣе эту *идею*, которая иногда выскажется не совсѣмъ правильно, не совсѣмъ доконченно, то это можно дѣлать безъ рѣзкихъ противорѣчій, безъ нарочныхъ возраженій, въ виду всѣхъ, и напоказъ, на соблазнъ общій... Журналъ въ нѣкоторомъ смыслѣ для публики доженъ бытькакъ учитель для школы, особенно *Москвитянинъ*, издаваемый Погодинымъ и Шевыревымъ. Но ты все это, конечно, знаешь не меньше меня".

Съ своей стороны и Н. А. Ригельманъ писалъ Погодину: „Отъ души желаю успѣха вашему возобновленному журналу, да возстанетъ онъ изъ пепла яко фениксъ и да обновится новымъ духомъ. Пора Московскимъ Словесникамъ собраться съ силами и показать, что и они могутъ стать за себя. Но не могу не высказать, что если будутъ помѣщать въ вашемъ журналѣ статьи, рѣзко опровергающія основныя мнѣнія, высказанныя при томъ такъ умно, какъ высказалъ ихъ Самаринъ, если всякій, помѣщающій что-нибудь, можетъ ожидать, что въ слѣдующемъ нумерѣ будетъ написана на него рѣзкая критика, то журналъ, представляющій такое комическое самоотреченіе, не можетъ имѣть успѣха, потому что тогда не можетъ быть и помину объ идеѣ, которая одна вербуетъ поклонниковъ. Это не мое одно мнѣніе: сколько удовольствія произвела статья Самарина, столько же неудовольствія произвело это опроверженіе между здѣшними читателями *Москвитянина*, не столько своею сущностію, сколько тѣмъ, что оно явилось въ томъ же журналѣ: то-есть, все негодованіе пало на редакцію, которая допускаетъ такія непостижимыя вещи и обращаетъ свое изданіе въ сборникъ хлама".

Отрывки изъ этихъ писемъ Погодинъ, безъ разрѣшенія писавшихъ, напечаталъ въ *Москвитянинѣ* съ слѣдующемъ отъ себя послѣсловіемъ:

„Долгомъ поставляю объяснить литературнымъ друзьямъ моимъ причины, почему я далъ мѣсто въ *Москвитянинѣ* возраженію г-на Л—аго:

„1. Я помѣстилъ возраженіе г. Л—аго, желая подать поводъ къ дальнѣйшему развитію положеній г-на М. З. К.

„2. *Москвитянинъ* — единственный журналъ въ Москвѣ, и я считалъ, и считаю, несправедливымъ отказывать у себя въ мѣстѣ ни для какихъ возраженій.—Если будетъ нѣсколько журналовъ,—о, тогда можно и должно дѣйствовать иначе. Притомъ начала, правила, духъ, направленіе *Москвитянина*— такъ явственны, что никто не вздумаетъ приписать ему убѣжденій, подобныхъ выраженнымъ въ статьѣ г-на Л—аго, да и самъ онъ это засвидѣтельствовалъ. Въ этомъ отношеніи я считаю журналъ свой безопаснымъ.

„3. Статья г-на Л—аго имѣетъ форму совершенно приличную, написана въ такомъ тонѣ, какой всегда пріятно встрѣчать въ самыхъ противоположныхъ мнѣніяхъ, и наконецъ заключаетъ нѣсколько частныхъ замѣчаній, кои я совершенно одобряю, хотя и не раздѣляю, въ главномъ, его образа мыслей. Продолженіе спора въ такой формѣ я считалъ полезнымъ для общаго дѣла — вотъ причины, почему я помѣстилъ статью, и едва ли я поступилъ несправедливо".

За напечатаніе своего письма М. А. Максимовичъ дружески упрекалъ Погодина: „Что ты это дѣлаешь, печатаешь изъ приватныхъ, пріятельскихъ моихъ писемъ къ тебѣ отрывки, да еще и съ возраженіями!!... На что это похоже?"...

Между тѣмъ статья Ю. Ѳ. Самарина вызвала и слѣдующія строки Н. Д. Иванчина-Писарева: „Что скажу я о статьѣ *О мнѣніяхъ Современника?* Мой умъ дряхлѣетъ вмѣстѣ съ тѣломъ, — и такъ до всего мудрено мнѣ добраться. Нахожу на стр. 210 фразу: *Которая изъ двухъ сторонъ существуетъ для другой — рѣшитъ время*. Обѣимъ завѣщеваю, и западной, и юго-восточной, прекратить свои толки. По всѣмъ отношеніямъ едва ли произойдетъ что-нибудь хорошее. Ни Жирондисты, ни Монтаньисты не уцѣлѣли, и, не видавъ ре-

зультатовъ, tous ont craché dans le sac (такъ люди 1790 года и послѣдующихъ означали слова: быть гильотированнымъ). Результатами же были: желѣзнодержавный Наполеонъ; за нимъ Хартія, на которую чада безначалія снова возстаютъ, не смотря на хитроумныя головы Филиппа и Гизо. Вотъ и результаты! Прыгунчики по стульямъ, которымъ наши протягивали руки въ надеждѣ на какое-то возродительное преобразованіе въ Россіи, уплелись, послѣ доказательствъ, что нововведенія губятъ Англію. И какую страну міра не погубятъ быстрые скачки? Вѣка съ своими навыками — вотъ что образуетъ, строитъ прочно. Добавлю: во всѣхъ этихъ многоглаголивыхъ выпискахъ одной партіи у другой я не вижу патріотизма, которымъ держится всякая народность“ [32]).

VII.

Въ 1847 году Словенофилы издали второй *Московскій Сборникъ*, въ которомъ мы встрѣчаемъ выписки изъ писемъ Карамзина къ его брату и четыре письма его же къ А. И. Тургеневу. Стихотворенія: Жуковскаго—Египетская тьма; князя П. А. Вяземскаго—Что мой свѣтикъ луна; Языкова—Посланія къ К. К. Павловой. Статьи: Погодина—О Прагѣ; Хомякова—О возможности Русской Художественной школы; К. С. Аксакова—три критическія статьи подъ псевдонимомъ *Имрекъ*; А. Н. Попова—Шлецеръ, Разсужденіе о Русской Исторіографіи; Ѳ. В. Чижова—Прощаніе съ Франціею и Женева и двѣ его критическія статьи: О Римскихъ письмахъ А. Н. Муравьева и Памятникахъ Московской Древности Снегирева. Рядъ стихотвореній И. С. Аксакова. К. А. Косовичъ напечаталъ здѣсь же свой переводъ съ Санскритскаго: Торжество свѣтлой мысли, драму въ шести актахъ. Кромѣ того, въ *Московскомъ Сборникѣ* мы встрѣчаемъ: С. М. Соловьева — О Мѣстничествѣ; И. И. Срезневскаго — Взглядъ на современное состояніе Литературы Западныхъ Словенъ; Н. А. Ригельмана: Продолженіе писемъ изъ Вѣны и пр.

Важнѣйшею статьею въ этомъ *Сборникѣ* въ отношеніи къ догматикѣ Словенофильскаго ученія слѣдуетъ почитать статью Хомякова: *О возможности Русской Художественной школы.* Напечатавъ въ первомъ *Московскомъ Сборникѣ* статью: *Мнѣніе Русскихъ объ Иностранцахъ*, Хомяковъ, приготовляясь написать другую статью для того же изданія *О возможности Русской Художественной школы*, писалъ А. Н. Попову (отъ 28 іюля 1846 г. изъ деревни): „Не знаю, что говорятъ о *Московскомъ Сборникѣ* журналы Петербургскіе. Слышу, что *Отечественныя Записки* бранятъ его, и не умно; впрочемъ это очень не важно. Важнѣе и досаднѣе то, что строгость цензуры, вѣроятно, будетъ пробуждена статьями Аксакова. Его неосторожность, которую можно уважать потому, что она отчасти происходитъ отъ его смѣлой откровенности, пріобрѣтаетъ ему безконечныя похвалы нашихъ Западниковъ. Еслибы было въ немъ побольше разсужденія, онъ понялъ бы, что его хвалятъ особенно за тотъ вредъ, который онъ намъ дѣлаетъ и сдѣлать можетъ, и за то, что онъ дѣйствуетъ въ смыслѣ современности страстной, разумѣется, почти безсознательно, а не въ смыслѣ безстрастной истины и добраго нашего дѣла. Я съ этого началъ письмо, потому что это меня очень за сердце задѣваетъ". Въ объясненіе этихъ словъ Хомякова можно указать, что К. С. Аксаковъ даже въ статьѣ: *Нѣсколько словъ о правописаніи*, напечатанной въ *Московскомъ Сборникѣ* 1846 года, ухитрился напечатать слѣдующее: „Слово, оканчивающееся на бургъ, сохраняетъ весь свой иностранный характеръ; бургъ такъ чуждъ, такъ противенъ Русскому уху. Что дѣлать? Петербуржанинъ — всѣ засмѣются, Петербуржакъ — еще смѣшнѣе. Петербургецъ или Петербурецъ, какъ употребляютъ, — точно также чуждо и неловко, особенно въ женскомъ: Петербурка или Петербуржка. Петербуржичъ тоже смѣшно. Что дѣлать? Какъ-то совѣстно къ имени иностранному прибавить Русское окончаніе. Нѣтъ, видно, какъ ни бейся, а отъ иностраннаго имени не получить Русскаго окончанія. Вмѣстѣ съ наше-

ствіемъ иноземнаго вліянія на всю Россію, на весь ея бытъ, на всѣ начала, и языкъ нашъ подвергся тому же; его подвели подъ формы и правила иностранной грамматики, ему совершенно чуждой, и, какъ всю жизнь Россіи, вздумали и его коверкать и объяснять на чужой ладъ. И для языка должно настать время—освободиться отъ этого тѣснящаго ига иностраннаго".

Далѣе въ томъ же письмѣ къ Попову Хомяковъ продолжаетъ: „Я готовлю послѣднюю свою статью. Въ предпослѣдней я уже указалъ, кажется, почти все; теперь хочу досказать остальное и указать не только на болѣзнь, но и на единственное средство къ ея лѣченію; но боюсь, чтобы напуганная цензура не положила препятствій. Глупо съ нашей стороны давать себѣ видъ политическихъ дѣйствователей. По сущности мысли своей мы не только выше политики, но даже выше соціализма, который есть не что иное, какъ выводъ, и выводъ односторонній, изъ общаго воспитанія человѣческаго духа. Признаюсь я... безпокоюсь теперь мыслію, что цензура остановитъ мою послѣднюю статью, тѣмъ болѣе, что, не смотря на ловкость, пріобрѣтенную мною въ осторожномъ выраженіи своихъ мнѣній, многое изъ основныхъ принциповъ будетъ по необходимости не только смѣло думано, но и смѣло выражено, безъ чего оно осталось бы совершенно непонятнымъ. А если статью кончу и статью пропустятъ, я буду очень счастливъ; прощусь съ публикою надолго, если не навсегда, и посвящу себя вполнѣ одному своему дѣлу, моей милой и слишкомъ долго оставленной *Семирамидѣ*. Живу теперь въ деревнѣ; купаюсь, ѣзжу съ собаками, стрѣляю, обыгрываю Василія Александровича Трубникова на билліардѣ и отпускаю бороду, съ которою не хочется разставаться" [33]).

Опасенія Хомякова оказались напрасны, и статья его была пропущена цензурою. Познакомившись съ нею, И. С. Аксаковъ писалъ своему отцу (отъ 5 апрѣля 1847 г.): „Статья Хомякова не нравится А. О. Смирновой, а мнѣ очень нравится. Все, что онъ говоритъ объ анализѣ, его безсиліи, о

разсудочности безъ живаго начала, прекрасно, современно и можетъ служить темою для повѣсти, по крайней мѣрѣ, совпадаетъ вполнѣ съ задуманной мною повѣстью" [34]).

Извѣщая о выходѣ второго *Московскаго Сборника*, Хомяковъ писалъ А. Н. Попову: „У насъ все по старому, по прежнему; только и новаго, что вышелъ *Сборникъ*... По моему, всего въ немъ замѣчательнѣе конецъ Аксаковской *Зимней Дороги*. Странный финалъ и производящій, какъ мнѣ кажется, самое тяжелое впечатлѣніе. Не говорю обо всей пьесѣ, въ которой много художественнаго достоинства, но объ концѣ:

...Черезъ мѣсяцъ, говорятъ, по пяти душъ съ тысячи, наборъ!

„И это послѣднее слово этого толстаго изданія. Имѣяй очи да видитъ, но никто не увидитъ урока. О моей статьѣ *О возможности Русской Художественной школы* только слышу, что ее Шевыревъ обвиняетъ въ какой-то Англійской гордости. Этого я просто не понимаю...."

Въ статьѣ самого А. Н. Попова *О Шлецерѣ* Хомякову особенно понравилось одно слово, „за которое", пишетъ онъ,—„я вамъ тысячу поклоновъ отвѣшиваю". Это: *оторвавшись отъ прошлаго и фантастически вѣруя въ силу будущаго*... Славно и глубоко! Вообще *Московскій Сборникъ* хорошая и полезная вещь". Въ томъ же письмѣ Хомяковъ весьма одобрительно отзывается и о статьѣ С. М. Соловьева *О Мѣстничествѣ*, посвященной памяти Д. А. Валуева. „Соловьева статья очень хороша. Она, по правдѣ, содержитъ только то, что сказано было Валуевымъ; но въ ней достоинство ясности, которой у Валуева не всѣ могли доискаться, и для меня это важное достоинство, что Соловьевъ отдалъ полную справедливость труду Валуева, чего не сдѣлали тѣ, которымъ даже слѣдовало это сдѣлать" [35]).

Иначе отозвался Погодинъ и о *Сборникѣ*, и о статьѣ Соловьева.—„Прочелъ *Московскій Сборникъ*", записываетъ онъ въ своемъ *Дневникѣ*,—„и досадовалъ на Попова, а болѣе на .... въ полномъ смыслѣ этого слова Соловьева" [36]).

Погодина въ этой статьѣ особенно возмутили слѣдующія строки: „Съ своей высокою добросовѣстностью", писалъ Соловьевъ,—„которая руководила Валуева, при всѣхъ ученыхъ занятіяхъ, онъ понялъ, что въ такомъ предметѣ, какъ мѣстничество, гдѣ наука еще не имѣетъ никакихъ предшествующихъ, уже выработанныхъ ею данныхъ, повѣркою могутъ служить лишь факты, взятые въ той случайности, въ коей представляетъ ихъ всякій современный памятникъ, а не въ той намѣренной разстановкѣ, въ какой передаетъ ихъ прямое систематическое изложеніе предмета". Погодинъ возражалъ: „Эти строки было бы смѣшно читать покойному Валуеву съ его высокой добросовѣстностію, точно какъ и двумъ-стамъ товарищей его и Соловьева, ибо я предъ всѣми ими разбиралъ такъ дѣла по мѣстничеству, лишь только напечаталъ ихъ въ *Русскомъ Историческомъ Сборникѣ*, анализировалъ въ подробности первое дѣло князя Голицына съ княземъ Шуйскимъ, коимъ доказывалъ свою систему счета, потомъ указывалъ уклоненія отъ этого счета въ другихъ дѣлахъ, и заключилъ (что̀ напечатано въ 1838 году): „Чтобъ объяснить современемъ мѣстничество вполнѣ, нужно издать: сводную Разрядную книгу, родословныя таблицы древнихъ родовъ, іерархію должностей и порученій, или адресъ-календарь за древнее время, сперва безъ именъ, статистическій, а потомъ съ именами, историческій.—Все это возможно и не мудрено..." Для упражненія задалъ я всѣмъ студентамъ, въ томъ числѣ и покойному Валуеву (Кудрявцеву, Ригельману, Мстиславскому и проч.) разобрать по данному имъ публично образцу прочія дѣла, а впослѣдствіи времени и передалъ ему даже всѣ эти упражненія, узнавъ, что онъ занялся мѣстничествомъ".

Не смотря на это личное неудовольствіе, Погодинъ отъ себя послалъ *Московскій Сборникъ* А. В. Горскому, который въ своемъ благодарственномъ письмѣ сдѣлалъ весьма лестный отзывъ объ этомъ изданіи: „Особенно благодарны вамъ за второй томъ *Сборника Московскаго*, въ которомъ Индія и Словенство составляютъ все. Съ услажденіемъ читалъ я всѣхъ

повѣдующихъ свою душевную любовь къ нашимъ добрымъ братьямъ. Ради этой любви прощаешь и мечтательныя предположенія, которыя встрѣчаемъ тамъ и здѣсь" [37]).

Само собою разумѣется, что Западники враждебно приняли и этотъ *Сборникъ*. „Вышелъ *Московскій Сборникъ*", писалъ Герценъ Краевскому, — „прескучной и препустой". Но еще до выхода въ свѣтъ этого изданія, вотъ что́ писалъ Боткинъ П. В. Анненкову вообще о Словенофилахъ: „Хотѣлось бы мнѣ сообщить вамъ обстоятельно о здѣшнихъ Словенофилахъ; но эти господа такъ раздѣлены въ своихъ доктринахъ, такъ что что̀ голова, то и особое мнѣніе; разумѣется, и въ нихъ есть правая и лѣвая сторона, и правой сторонѣ книга Гоголя пришлась совершенно по сердцу. Издали эти Словенскія стремленія имѣютъ много привлекательности: я это испыталъ на себѣ; а какъ присмотришься и прислушаешься, то видишь, что въ сущности лежитъ вопросъ о невѣжествѣ и цивилизаціи. Въ Словенскомъ вопросѣ упущена только бездѣлица — принципъ политико-экономическій и государственный; это есть не болѣе какъ романическія фантазіи о сохраненіи національныхъ предразсудковъ. Замѣчательно, что ни одинъ журналъ съ Словенскимъ направленіемъ здѣсь не можетъ удержаться; и послѣдній органъ ихъ, *Москвитянинъ*, переходя изъ рукъ въ руки, потерялъ подписчиковъ, теперь сданъ какимъ-то двумъ студентамъ. Разработка историческихъ матеріаловъ вмѣсто того, чтобы помочь Словенской доктринѣ, на каждомъ шагу бьетъ ее, обличая только безалаберность и скотство древней жизни. Акты Археографической Коммиссіи есть великое дѣло. Статья Кавелина была бы несравненно лучше, еслибъ не была написана съ Нѣмецко-философской точки зрѣнія".

Въ другомъ письмѣ Боткина къ тому же лицу читаемъ: „Приглядѣвшись къ Словенофиламъ, я теперь вижу, что эти господа — все самые отвлеченные теоретики, и притомъ вовсе лишены государственнаго смысла. Наконецъ, скажу вамъ, рискуя получить упрекъ въ аристократизмѣ, я не понимаю этого

обожающаго поклоненія массамъ, я чувствую глубокое сострадание къ ихъ положенію, и пр., но это не мѣшаетъ мнѣ видѣть все глубокое невѣжество массъ".

Между тѣмъ статья Хомякова *О возможности Русской Художественной школы* вовлекла автора ея въ полемику съ Грановскимъ.

Въ 1846 году К. Д. Кавелинъ написалъ разборъ Валуевскаго *Сборника Историческихъ и Статистическихъ свѣдѣній о Россіи и о народахъ ей единовѣрныхъ и единоплеменныхъ.* Разборъ этотъ весьма понравился Московскимъ Западникамъ, и Герценъ писалъ Краевскому: „Кавелинъ статью о *Сборникѣ* написалъ превосходную. Подобнаго Словепе не испытывали; зло, основательно, бойко, ну просто объяденіе. Я бы совѣтовалъ вамъ помѣстить ее въ отдѣлѣ критики".

Въ этой статьѣ К. Д. Кавелинъ напалъ на Хомякова за его *Вмѣсто введенія къ Сборнику.* Хомяковъ не смолчалъ и въ выноскѣ къ своей статьѣ: *О возможности Русской Художественной школы* сказалъ: „Прошу читателей моихъ не пенять на меня за то, что я предполагаю въ нихъ не только знаніе, но и пониманіе историческихъ фактовъ. Это предположеніе, разумѣется, не относится къ такимъ читателямъ, каковъ рецензентъ, написавшій въ одномъ изъ Петербургскихъ журналовъ разборъ *Историческихъ и Статистическихъ свѣдѣній* и пр. Этотъ рецензентъ, по видимому, очень добродушно увѣряетъ меня, что Гунны не могли подвинуть Бургундовъ на западъ, потому-де, что Бургунды жили давно уже на Рейнѣ. Ему неизвѣстно, что въ началѣ V вѣка часть Бургундовъ жила еще на верховьяхъ Дуная у Римскаго вала, и что отдѣленіе Бургундовъ при-Балтійскихъ было увлечено общимъ движеніемъ племенъ даже въ Гишпанію. Ему также, по видимому, совсѣмъ неизвѣстны критическіе труды Нѣмцевъ объ сагахъ и старыхъ пѣсняхъ Германіи. Тамъ могъ бы онъ сколько-нибудь узнать про отношенія Гунновъ къ Бургундамъ. Рецензентъ увѣряетъ публику, что я подшучиваю надъ нею, говоря о развратѣ

Франковъ: видно, онъ много читалъ писателей IV и V столѣтій. Что сказать о такой учености? Мой деревенскій сосѣдъ называетъ ее первокласною въ томъ смыслѣ, что она годна только для перваго класса гимназіи, а и такіе рецензенты ратуютъ за просвѣщеніе на западный ладъ! Впрочемъ, можетъ быть, г. критикъ пожелаетъ когда-нибудь узнать что-нибудь о тѣхъ вещахъ, о которыхъ онъ писалъ, ничего объ нихъ не зная, напримѣръ, что-нибудь объ исторіи Бургундовъ,— о томъ, какъ они сражались съ Гепидами на нижнемъ Дунаѣ, какъ бѣжали на западъ и поселились около верховьевъ Майна, гдѣ жили при Валентиніанѣ; какъ потомъ въ началѣ VI вѣка подались на самые берега Рейна вслѣдъ за народами, бѣгущими отъ Гунновъ (Аланами, Свевами и Вандалами); какъ потомъ были на берегахъ Рейна разбиты Гуннами и, потерявъ царя своего Гундихара, убѣжали подъ предводительствомъ новаго царя Гундіоха (отца Гундебальдова) на юго-западъ, прося убѣжища и покровительства у Римлянъ, и пр. и пр. На этотъ случай я могу ему рекомендовать на память (такъ какъ книгъ при мнѣ нѣтъ) Тюрка (Розыски въ области Исторіи, тетрадь 2), Цейса (Нѣмцы) и Миллера (Нѣмецкія племена и ихъ князья). Современемъ можно будетъ дойти и до древнихъ памятниковъ западныхъ или Византійтійскихъ. Полагая, что я такимъ образомъ уже получилъ нѣкоторыя права на благодарность моего рецензента, осмѣливаюсь прибавить маленькій совѣтъ. Если онъ когда-нибудь вздумаетъ опять на меня нападать, ему выгоднѣе будетъ стрѣлять въ меня изъ непроходимой чащи пустыхъ словъ и теорій, чѣмъ отважиться на открытое поле историческихъ фактовъ" [38]).

Эти крайне рѣзкія слова очень возмутили Грановскаго, и онъ вступился за своего собрата по каѳедрѣ. По этому поводу Хомяковъ писалъ А. Н. Попову: „Мнѣ досадно то, что я, стрѣлявъ по Кавелину, попалъ еще въ другого противника, котораго, конечно, я оскорбить не хотѣлъ,—въ Грановскаго. По видимому, фактъ историческій данъ Кавелину имъ. По

крайней мѣрѣ онъ отвѣчаетъ статьею, которую обѣщалъ мнѣ прочесть. Я буду его уговаривать не отвѣчать. Промахъ дать не бѣда. Статья же безъ подписи, а факты несомнѣнны. Если мнѣ придется опровергать, я буду уже принужденъ поднять обвиненіе не въ незнаніи только, а въ недобросовѣстности, что было бы мнѣ крайне непріятно" [39]).

Такимъ образомъ завязалась полемика между Хомяковымъ и Грановскимъ.

VIII.

3 апрѣля 1847 года Боткинъ писалъ Краевскому: „Вы вѣрно получили письмо Грановскаго, и мы ждемъ его въ *Отечественныхъ Запискахъ*. Изъ-за этого письма завяжется споръ Словенской науки съ западной. Хомяковъ хочетъ отвѣчать, а Грановскій рѣшился не спускать Хомякову, да и нельзя— тутъ задѣто его самолюбіе, какъ профессора Исторіи. Напечатанное письмо Грановскаго въ *Отечественныхъ Запискахъ* приведетъ въ негодованіе друзей".

Вслѣдъ за симъ въ *Отечественныхъ Запискахъ* было напечатано *Письмо Т. Н. Грановскаго*, которое начинается похвалою критической статьи Кавелина о Валуевскомъ Сборникѣ. „Можетъ быть", говорилось тамъ, „нѣкоторымъ изъ читателей еще памятно содержаніе этой статьи, которой нельзя не отнести къ числу замѣчательныхъ явленій нашей журнальной литературы. Прекрасныя особенности изложенія и взгляда даютъ право узнать въ безъименномъ рецензентѣ молодого ученаго, уже извѣстнаго дѣльными изслѣдованіями по Исторіи Русскаго Права и Древней Руси вообще. Но Критика *Отечественныхъ Записокъ* не поправилась Хомякову... Можно позволить себѣ надежду, что *въ будущей наукѣ*, которую намъ обѣщаетъ Хомяковъ, критика будетъ говорить съ большимъ смиреніемъ и съ меньшею заносчивостью. Гордость порокъ западный". Сказавъ это, Грановскій обращается къ содержанію и разсмотрѣнію замѣчаній Хомякова объ истори-

ческой судьбѣ Бургундовъ. Возраженія свои Грановскій заключаетъ такими словами: „Зачѣмъ же было подымать такой громкій кличъ! Къ чему было пугать робкихъ своею силою на открытомъ полѣ историческихъ фактовъ? Это поле скользкое, и кàкъ ни крѣпокъ на ногахъ авторъ статьи *Московскаго Сборника*, онъ можетъ оступиться... У г. Хомякова есть безусловные противники. Согласиться съ ними не возможно. Его обширной образованности, его многостороннимъ дарованіямъ нельзя отказать въ признаніи. Но являясь органомъ новаго мнѣнія въ обществѣ, новой школы въ наукѣ, осуждая такъ строго ограниченность западной мысли и поверхность согласившихся съ нею въ Россіи, онъ долженъ поддержать достоинство своихъ убѣжденій уваженіемъ къ истинѣ и добросовѣстностью трудовъ. Русской, да и всякой другой публикѣ мало дѣла до Бургундовъ; она никого не обязываетъ говорить ей объ ихъ исторіи, но никому не даетъ права себя морочить. Вопросъ этотъ касается собственно до однихъ ученыхъ въ узкомъ смыслѣ слова; онъ требуетъ мелкихъ розысканій, справокъ и т. д., а г. Хомяковъ перенесъ его въ сферу легкой литературы. Вмѣсто дѣльныхъ опроверженій онъ бросилъ въ своего рецензента нѣсколько колкостей, подкрѣпивъ ихъ по ученой привычкѣ ссылками на три книги, которыхъ, по собственнымъ словамъ, у него не было подъ рукою, да на деревенскаго сосѣда, своеобразно раздѣляющаго ученость на классы. Неужели новая наука, во имя которой говорятъ г. Хомяковъ и другіе, раздѣляющіе его образъ мыслей, останется при такихъ начаткахъ? Обѣщанія ея мы слышали давно, такъ давно, что они перестали для насъ быть надеждами и превратились въ воспоминанія. Гдѣ жъ исполненія? Гдѣ великіе, на почвѣ исключительной національности совершенные труды, предъ которыми могли бы сознать свое заблужденіе люди, также глубоко любящіе Россію и, слѣдовательно, дорожащіе самостоятельностью Русской мысли, но не ставящіе ее во враждебную противоположность съ общечеловѣческою и не приписывающіе ей

особенныхъ законовъ развитія? Изъ всѣхъ свойствъ молодости новая наука обнаружила преимущественно чрезъ г. Хомякова, одну только самонадѣянность. Во всѣхъ остальныхъ она дѣйствуетъ осторожно, довольствуется общими формулами, неохотно вдается въ опасность частныхъ розысканій и рѣдко выходитъ на открытое поле историческихъ фактовъ, на которыхъ, до сихъ поръ,—употребимъ выраженіе Великаго Петра,—она *въ авантажѣ не обрѣталась*" [40]).

Хомяковъ не сдавался и въ *Московскомъ Городскомъ Листкѣ* напечаталъ *Возраженіе на статью Грановскаго*, которое заключаетъ такъ: „Статья Грановскаго, за исключеніемъ содержанія и отчасти направленія, все-таки служитъ украшеніемъ *Отечественныхъ Записокъ*. Онъ замѣчаетъ очень справедливо двѣ опечатки въ хронологіи и очень искусно нападаетъ на нихъ, какъ на ошибки, въ чемъ я готовъ ему уступить; онъ шутитъ очень остроумно надъ равнодушіемъ публики къ спорному вопросу, надъ *новою наукою*, которая, разумѣется, неравнодушна ни къ какому вопросу; надъ тѣмъ, что эта наука *обрѣтается не въ авантажѣ*, хотя, разумѣется, не на сей разъ и пр. и пр. Вся статья можетъ быть прочтена съ удовольствіемъ" [41]). Въ своемъ *Отвѣтѣ* на это *Возраженіе* Грановскій благодаритъ Хомякова за его благосклонный отзывъ о трехъ страницахъ, помѣщенныхъ имъ въ *Отечественныхъ Запискахъ*. „Онъ говоритъ", продолжаетъ Грановскій,—„что, не смотря на недостатокъ содержанія и направленія, они служатъ украшеніемъ журналу, и что вообще могутъ быть прочтены съ удовольствіемъ. Прошу у читателей снисхожденія къ самолюбію, заставившему меня перепечатать эти строки. Я не могу не гордиться похвалою даже умѣренною, изъ устъ столь знаменитаго ученаго". Но вмѣстѣ съ тѣмъ считаетъ споръ свой съ Хомяковымъ законченнымъ: „Я понимаю теперь", писалъ Грановскій,—„что Исторія Бургундскаго племени такъ, какъ ее разсказываетъ Хомяковъ, не принадлежитъ наукѣ" и свой споръ заключаетъ слѣдующими словами: „Такого рода словесные турниры могутъ быть блиста-

тельны, но я не чувствую призванія ломать на нихъ копья. Охотно признаю превосходную ловкость моего противника въ умственной гимнастикѣ, готовъ любоваться его будущими подвигами,—но въ качествѣ зрителя, безъ всякаго желанія возобновить борьбу" [42]).

Но последнее слово въ этомъ спорѣ Хомяковъ пожелалъ оставить за собою и, приступая къ отвѣту на отвѣтъ Грановскаго, писалъ Погодину: „Есть ли у тебя Іорнандъ, любезный Погодинъ? Если есть—пришли на денекъ. Онъ мнѣ нуженъ. Хорошъ *Отвѣтъ* Грановскаго: онъ и возраженія не стоитъ, да надобно сказать слова два, чтобъ глядя на него и другимъ не было повадно дуровать. А молодцы! тиснули-таки въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ*" [43]).

Свое послѣднее слово Хомяковъ заключаетъ упрекомъ: „Я долженъ замѣтить, что равнодушіе и пренебреженіе къ факту нравственному нисколько не доказываетъ особой строгости въ критикѣ фактовъ вещественныхъ: оно показываетъ только односторонность въ сужденіи и ложное пониманіе Исторіи, ибо явленія жизни нравственной оставляютъ такіе же глубокіе слѣды, какъ и явленія жизни политической... Грановскій, отступая съ поля сраженія, еще отстрѣливается, по обычаю Парѳянъ. Впрочемъ, отказываясь отъ дальнѣйшей борьбы, онъ обезоруживаетъ противника, и я отлагаю съ истинною радостью оружіе, не охотно поднятое мною для собственной обороны" [44]).

Споръ, происходившій между Хомяковымъ и Грановскимъ, очень интересовалъ Погодина, и онъ даже хотѣлъ въ него вмѣшаться, о чемъ свидѣтельствуетъ слѣдующая лаконическая запись въ его *Дневникѣ*: „Написалъ о Хомяковѣ и Грановскомъ" [45]).

Въ этой полемикѣ Западники, разумѣется, увидѣли свое торжество надъ Словенофилами. „Вы, конечно, изъ письма Грановскаго къ Герцену знаете", писалъ Боткинъ Анненкову,— „объ этомъ спорѣ, возставшемъ изъ пустяковъ (изъ переселеній Бургундовъ); въ сущности его лежала ошибка Словенства

съ обще-Европейской точкой зрѣнія; по этому случаю Грановскій наговорилъ Хомякову нѣсколько язвительныхъ колкостей. Эта схватка, разумѣется, надѣлала очень много шуму въ Московскомъ учено-салонномъ мірѣ, гдѣ послѣ отвѣта Грановскаго ореолъ Хомякова дѣйствительно много потускнѣлъ. Замѣчательно, что Словенофилы до сихъ поръ печатно постоянно были побиваемы, и на всѣхъ пунктахъ. Словенизмъ не произвелъ еще ни одного дѣльнаго человѣка: это — или цыганъ, какъ Хомяковъ, или благородный сонамбулъ Аксаковъ, или монахъ Кирѣевскій, это лучшіе!“

Но вмѣстѣ съ тѣмъ въ томъ же письмѣ Боткинъ долженъ былъ сознаться, что „Словенофилы выговорили одно истинное слово: народность, національность. Въ этомъ великая заслуга; они первые почувствовали, что нашъ космополитизмъ ведетъ насъ только къ пустомыслію и пустословію; это такъ называемая *Русская цивилизація* исполнена была ихъ великой заносчивости и гордости, когда они вдругъ пришли ей сказать, что она пуста и лишена всякаго національнаго развитія. Вообще въ критикѣ своей они почти во всемъ справедливы; и въ самомъ дѣлѣ, пора была напомнить недорослю, который потому только, что, стыдясь знать свой родной языкъ, считалъ себя гражданиномъ міра, — что онъ не болѣе какъ недоросль. Но въ критикѣ заключается и все достоинство Словенъ! Какъ только выступаютъ они къ положенію, — начинаются ограниченность, невѣжество, самая душная патріархальность, незнаніе самыхъ простыхъ началъ государственной экономіи, нетерпимость, обскурантизмъ и проч. Оторванные своимъ воспитаніемъ отъ нравовъ и обычаевъ народа, они дѣлаютъ надъ собою насиліе, чтобъ приблизиться къ нимъ, хотятъ слиться съ народомъ искусственно: такъ, напримѣръ, Аксаковъ не ѣстъ телятины, ходитъ къ обѣднѣ и ко всенощной. Въ этомъ направленіи о цивилизаціи, освобожденіи отъ предразсудковъ нѣтъ помину. Въ сущности это не что другое, какъ до-Петровская Россія, которая поднимаетъ голову и осматривается, и которая вовсе не есть прошедшее, а окру-

жающее, въ которомъ мы составляемъ самое незамѣтное, ничтожное меньшинство. А самая большая часть этого soi-disant *образованнаго* меньшинства, только платьемъ и пущею безалаберностью отличается отъ массы; мало-мальски умный и дѣльный человѣкъ есть рѣдчайшее исключеніе изъ этого безалабернаго и ребячески тщеславнаго класса *образованныхъ*. Горсть Словенофиловъ остается изолированною; а какую бы получила она силу, опираясь, напримѣръ, на купцовъ, гдѣ старая Русь сохраняется во всемъ своемъ нравственномъ и общественномъ безобразіи! Но, не смотря на утопическія и фантастико-историческія очки, въ которыя они смотрятъ на все это, образованіе слишкомъ близко къ нимъ и прямо бросается имъ въ глаза; *это не народъ*, говорятъ они, — *это мерзкій осадокъ народа*. А почему же мерзкій? Развѣ зажиточные крестьяне не то же, что̀ купцы? Конечно, бѣдный человѣкъ вездѣ добродушнѣе богатаго, но это потому, что чувство собственности всегда развиваетъ за собою много дурныхъ сторонъ, хранящихся въ природѣ человѣческой; только на этомъ основаніи парижскій ouvrier лучше bourgeois; но чуть разбогатѣетъ ouvrier, тотчасъ становится bourgeois такъ же, какъ разбогатѣвшій мужикъ становится купцомъ" [46]).

Покончивъ свой споръ съ представителемъ Западнаго ученія въ нашемъ Отечествѣ, Хомяковъ предпринялъ путешествіе на Западъ. Подробныхъ свѣдѣній о немъ мы, къ сожалѣнію, не имѣемъ и знаемъ только, что путь свой онъ направилъ чрезъ Петербургъ и посѣтилъ Эмсъ, Остенде, Лондонъ, Парижъ и Прагу.

Путешествіе свое Хомяковъ предпринялъ съ семействомъ. Выѣзжая въ концѣ мая 1847 года изъ Москвы, онъ писалъ А. Н. Попову: „На силу, на силу собрались мы изъ Москвы, послѣ страшныхъ споровъ и толковъ и, такъ сказать, междоусобій. Авось и вправду мы выѣдемъ и попадемъ въ Германію, Англію, Францію и Италію".

Петербургъ произвелъ на Хомякова непріятное впечатлѣніе. „Петербургъ выросъ", писалъ онъ Ю. Ѳ. Самарину, — „въ

великолѣпіи, въ громадности размѣровъ, въ художественномъ безвкусіи, въ пустотѣ и пошлости... Сначала на меня напалъ смѣхъ при видѣ всего, потомъ досада, потомъ грусть; но видно первое чувство лучше: въ послѣдніе дни я нашелъ нѣкоторое утѣшеніе. Очевидно, не только прежнія направленія теряютъ силу въ мнѣніи, но иногда слышится отзывъ Москвы, безсознательный, затерянный во всякомъ вздорѣ, или даже скрываемый самолюбивыми оговорками, но все-таки слышится. Не должно слабѣть. Наше дѣло — борьба нравственная, а въ такой борьбѣ побѣда покупается не днями, а годами труда и самоотверженія".

Еще рѣзче досталось Петербургу въ письмѣ Хомякова къ Лондонскому протоіерею Е. И. Попову: „Для человѣка, прокатившагося по Европѣ", пишетъ Хомяковъ, — „очень разительна въ Петербургѣ вся нелѣпость его притязаній быть городомъ Европейскимъ. Даже въ вещественномъ смыслѣ онъ уже и потому не Европейскій городъ, что ровно ничего въ немъ нѣтъ для удобствъ житейскихъ. Все въ немъ дорого, въ три раза дороже дорогаго Лондона, и все неудобно: нѣтъ ни одного порядочнаго трактира не только Англійскаго, но даже Московскаго. Вонь, грязь и безпокойство. Въ умственномъ отношеніи другое дѣло. Я думаю и даже увѣренъ, что нигдѣ нѣтъ общества просвѣщеннѣе Петербургскаго; но это просвѣщеніе своего рода. Оно ограничивается однимъ пониманіемъ. Все понимаютъ, ничему не сочувствуютъ. Такое просвѣщеніе грустнѣе невѣжества. Администрація идетъ своимъ ходомъ, своимъ отчасти канцелярскимъ, отчасти государственнымъ ходомъ; торговля идетъ своимъ; наука (въ тѣсномъ смыслѣ заучиванія чужихъ знаній и мыслей) своимъ ходомъ, а общество не идетъ совсѣмъ. Умственное праздношатаніе, сопряженное съ научнымъ удовлетвореніемъ житейскихъ потребностей — вотъ и все. Для послѣдняго есть Россія, которой соки притягиваются къ Петербургу; для перваго — Европа, которой умственныя произведенія туда же приливаютъ для праздныхъ досуговъ лѣнивой мысли. Торговля есть въ Петербургѣ, но

онъ не торговый городъ; есть наука, но онъ равнодушенъ къ наукѣ, и такъ далѣе. Петербургъ есть совершеннѣйшій дармоѣдъ въ цѣломъ мірѣ. Правительственные люди, которыхъ я тамъ видѣлъ и изъ которыхъ я многихъ уважаю, внушили мнѣ глубокое состраданіе. Я, проѣзжій, имъ сочувствовалъ, а то, что̀ окружаетъ ихъ, не сочувствуетъ нисколько ни трудамъ ихъ, ни цѣлямъ".

30 мая 1847 года Хомяковъ выѣхалъ изъ нелюбимаго имъ города и въ іюлѣ былъ уже въ Эмсѣ, откуда Жуковскій писалъ князю П. А. Вяземскому: „Знаешь ли, съ кѣмъ я живу подъ одною кровлею въ Эмсѣ? — съ Хомяковымъ. Онъ здѣсь съ женою, которая лечитъ Эмсомъ свою больную грудь. Хомяковъ — живая, разнообразная, поэтическая библіотека; добродушный, пріятный собесѣдникъ. Онъ мнѣ всегда былъ по нутру; теперь я впился въ него, какъ паукъ голодный въ муху: навалилъ на него чтеніе вслухъ моихъ стиховъ... Къ намъ подъѣхалъ и Гоголь, и мы на досугѣ тріумвиратствуемъ" [47]). Въ Остенде Хомяковъ провелъ нѣсколько времени съ Гоголемъ. „Хомяковъ", писалъ послѣдній Шевыреву, — „между прочимъ, привезъ съ собой катихизисъ, отысканный имъ на Греческомъ языкѣ въ рукописи, и переводъ его на Русскій, тоже въ рукописи. Катихизисъ необыкновенно замѣчательный. Еще нигдѣ не была доселѣ такъ отчетливо и ясно опредѣлена Церковь, ея границы, ея предѣлы. Все въ такомъ видѣ и въ такой логической послѣдовательности, что можетъ сильно подѣйствовать на Нѣмцевъ и Англичанъ. По моему мнѣнію, на Французскій языкъ его не слѣдуетъ вовсе переводить" [48]).

По собственному свидѣтельству Хомякова, въ Остенде онъ „пріятно дѣлилъ время между купаньемъ, шатаньемъ по безплоднымъ дюнамъ, пистолѣтной стрѣльбой и бесѣдой съ Русскими пріятелями", и тутъ ему явилась мысль „посѣтить землю Угличанъ, иначе Англичанъ, которая такъ близко къ Остенде. Былъ теплый вечеръ. Послѣ чаю пошелъ онъ гулять по городу. Часовъ въ 10 зашелъ въ кофейную и видитъ,

что въ 12 часовъ ночи отходитъ въ Англію Тритонъ..." Тогда Хомяковъ „поспѣшилъ домой, сообщилъ это извѣстіе всей своей компаніи, и послѣ очень короткаго совѣщанія рѣшено было ѣхать... Въ половинѣ 12-го отправились они—большіе и малые на пристань. Гоголь провожалъ ихъ.

„...Въ полночь заворчалъ котелъ, завертѣлись колеса, и они пошли" [49]).

Это было 2 сентября 1847 года, и Гоголь, вернувшись домой, написалъ Шевыреву: „Сейчасъ только что проводилъ Хомякова. Какъ мнѣ пріятно было съ нимъ встрѣтиться! Пріѣздъ его былъ точно Божій подарокъ. Но онъ пробылъ такъ мало. Я не успѣлъ съ нимъ наговориться, и только по отъѣздѣ его я почувствовалъ, что о многомъ не разспросилъ. Напиши мнѣ о себѣ: я соскучилъ, не имѣя такъ долго о тебѣ вѣсти" [50]).

Въ Англіи Хомяковъ былъ принятъ съ большимъ почетомъ. Надо замѣтить, что онъ говорилъ и писалъ по-Англійски,—какъ англичанинъ. Свѣдѣнія о дальнѣйшемъ путешествіи Хомякова мы находимъ въ письмѣ его къ протоіерею Е. И. Попову: „Оставивъ Лондонъ, гдѣ мнѣ было во многихъ отношеніяхъ такъ хорошо и отрадно, гдѣ я находилъ такъ много добраго и поучительнаго, побывалъ я въ Парижѣ, который я уже издавна зналъ, но не любилъ. Жена моя порадовалась тамъ на картинную галлерею, а города также не полюбила. Лондонъ ей испортилъ Парижъ. Слава Богу, что васъ судьба не призвала въ этотъ городъ. Грустна бы вамъ была въ немъ жизнь; не нашли бы вы въ немъ никакого сочувствія, ничего серьезнаго и достойнаго обратить на себя вниманіе человѣка, понимающаго достоинство человѣческое. Все мелко и какъ-то размельчаетъ душу. Потомъ, черезъ Бельгію, въ которой я убѣдился, что католицизмъ мало-по-малу вытѣсняется такъ называемымъ либерализмомъ, то-есть, равнодушіемъ религіознымъ, переѣхалъ я опять въ Германію; поскучалъ нѣсколько дней въ Берлинѣ, въ которомъ не нашелъ ни Шеллинга, ни Неандера" [51]).

Во время пребыванія своего въ Прагѣ Хомяковъ въ альбомѣ Ганки записалъ слѣдующее: „Когда-то я просилъ Бога о Россіи и говорилъ:

Не дай ей рабскаго смиренья,
Не дай ей гордости слѣпой,
И духъ мертвящій, духъ сомнѣнья
Въ ней духомъ жизни успокой.

„Эта же молитва у меня для всѣхъ Словенъ. Если не будетъ сомнѣнья въ насъ, то будетъ успѣхъ. Сила въ насъ будетъ, только бы не забывалось братство. Что я это могъ записать въ книгѣ вашей, будетъ мнѣ всегда помниться какъ истинное счастіе“ *).

30 сентября 1847 г. С. Т. Аксаковъ писалъ Погодину: „Я переѣхалъ въ Москву... Можете ли вы дать мнѣ денегъ, и сколько? Хомяковъ здѣсь. Видѣли вы его? На Сивцевомъ вражкѣ въ домѣ Герцена“. Но изъ Москвы Хомяковъ уѣхалъ въ деревню, и уже въ декабрѣ Погодинъ получилъ отъ Мельгунова слѣдующее письмо: „Вчера утромъ пріѣхалъ сюда Хомяковъ, и сегодня ѣдетъ въ деревню. Онъ въ восторгѣ отъ Англіи и Лондона, да и остальной Европы уже не побраниваетъ. *Въ мірѣ только два города, изъ которыхъ одна деревня*, говоритъ онъ, *это Лондонъ и Москва — Архимедовъ рычагъ, который долженъ поворотить міръ, Лондонъ — точка, на которую онъ долженъ опереться.* — Остроумно, да и только!“ [52]).

Самъ же Хомяковъ, возвратившись изъ своего путешествія въ Россію, писалъ въ Лондонъ протоіерею Е. И. Попову: „Наконецъ воротился я въ свою Москву, проживъ нѣсколько мѣсяцевъ въ деревнѣ. Я право гордъ Москвою, и, странно сказать, я чувствую въ ней какое-то родство съ Лондономъ и Англіею, не смотря на то, что нѣтъ между ними никакого видимаго сходства. Теперь начался Великій постъ, и онъ мнѣ напоминаетъ Англійское Воскресенье; но

*) Эти строки списаны изъ альбома Ганки П. И. Бартеневымъ во время бытности его въ Прагѣ.

у насъ выраженіе духовности въ жизни торжественнѣе, полнѣе и разумнѣе (ибо праздникъ не долженъ бы глядѣть постомъ). Встрѣчаю своихъ знакомыхъ раскольниковъ и вспоминаю, какъ я слышалъ не далеко отъ Беркелей-Сквера поученіе какого-то бродящаго диссидента, окруженнаго толпою слушателей изъ простаго народа. Въ обоихъ мѣстахъ религіозный интересъ хоть и дурно направленъ, но очевидно серьезенъ и живъ, то-есть, люди вѣруютъ или по крайней мѣрѣ искренно желаютъ вѣрить. Наконецъ, въ обществѣ есть довольно сильная умственная дѣятельность. Недавняя перемѣна въ начальствѣ Университета была происшествіемъ для города, не потому, чтобы у этого начальства были значительныя связи, а потому, что общество дорожитъ Университетомъ и его успѣхами. До сихъ поръ не умолкаютъ вопросы, конечно, мелкіе, объ общественной благотворительности, о богоугодныхъ балахъ, о нравственномъ вредѣ отъ баловъ для дѣтскаго возраста, о неприличіи общественныхъ увеселеній во время поста и т. д. Конечно, болѣе или менѣе это явленія неважныя, но все-таки они свидѣтельствуютъ о требованіи вопросовъ нравственныхъ и о желаніи участвовать въ нихъ.

„Кажется, мнѣ путешествіе принесло нѣкоторую пользу, не столько въ томъ отношеніи, что я узналъ многое, мнѣ неизвѣстное (особенно въ Англіи), сколько въ томъ, что, отдѣлившись на время отъ своего домашняго, я могъ опять взглянуть на домашнее освѣженнымъ глазомъ и съ большимъ безпристрастіемъ“ [53]).

IX.

Среди физическихъ страданій, 25-го ноября 1845 года, С. Т. Аксаковъ, изъ своего Абрамцова, писалъ Гоголю: „Я затѣялъ написать книжку объ уженьи не только въ техническомъ отношеніи, но въ отношеніи къ природѣ вообще; страстный рыбакъ у меня также страстно любитъ и красоты природы: однимъ словомъ, я полюбилъ работу и надѣюсь, что эта

книжка не только будетъ пріятна охотнику удить, но и всякому, чье сердце открыто впечатлѣніямъ ранняго утра, поздняго вечера, роскошнаго полдня и пр. Тутъ займетъ свою часть чудесная природа Оренбургскаго края, какою я зназалъ тому сорокъ-пять лѣтъ. Это занятіе оживило и освѣжило меня“ [54]).

Въ 1847 году С. Т. Аксаковъ уже обогатилъ Русскую Литературу книгою *Записки объ уженьи рыбы* и во *Вступленіи* заявилъ: „Я написалъ записки объ уженьи рыбы для освѣженія своихъ воспоминаній, для собственнаго удовольствія. Печатаю ихъ для рыбаковъ по склонности, для охотниковъ, для которыхъ слово удочка и уженье слова магическія, сильно дѣйствующія на душу...“ Защитивъ уженье отъ незаслуженнаго презрѣнія къ нему нѣкоторыхъ и указавъ, что „самъ нашъ знаменитый полководецъ Румянцовъ преданъ былъ этой охотѣ до страсти“, Аксаковъ съ одушевленіемъ описываетъ деревню: „Деревня, миръ, тишина, спокойствіе! Безыскусственность жизни, простота отношеній!.. На зеленомъ, цвѣтущемъ берегу, надъ темной глубью рѣки или озера, въ тѣни кустовъ, подъ шатромъ исполинскаго осокоря, или кудрявой ольхи, тихо трепещущей своими листьями въ свѣтломъ зеркалѣ воды, на которомъ колеблются или неподвижно лежатъ наплавки ваши,—улягутся мнимыя страсти, утихнутъ мнимыя бури, разсыплются самолюбивыя мечты, разлетятся несбыточныя надежды! Природа вступитъ въ вѣчныя права свои, вы услышите ея голосъ... Вмѣстѣ съ благовоннымъ, свободнымъ, освѣжительнымъ воздухомъ вдохнете вы въ себя безмятежность мысли, кротость чувства, снисхожденіе къ другимъ... Непримѣтно, мало-по-малу, разсѣется это недовольство собою, эта презрительная недовѣрчивость къ собственнымъ силамъ, твердости воли и чистотѣ помышленій — это эпидемія нашего вѣка, эта черная немочь души, чуждая здоровой натурѣ Русскаго человѣка, но заглядывающая и къ намъ за грѣхи наши...“

Хомяковъ отнесся къ этой книгѣ съ горячимъ сочувствіемъ. „Страстный рыболовъ“, писалъ онъ,—„лишенный случайно-

стями жизни привычнаго наслажденія, онъ захотѣлъ вспомнить старые годы, прежнія, тихія радости..., и написалась книга, о которой авторъ и не мечталъ, чтобы она доставила ему литературную извѣстность. И читатель бралъ ее также добродушно... и потомъ, вчитываясь, онъ съ страннымъ удивленіемъ замѣчалъ, что ему все занимательнѣе становится предметъ, заманчивѣе и красивѣе прихоти водяныхъ потоковъ и разливовъ озеръ и прудовъ, милѣе самыя рыбы, отъ пошлаго пискаря до рѣдкаго лоха. Нашлись люди, которые догадались, что тутъ скрывается искусство, и искусство истинное...", и что тутъ „природа Русская раскинулась въ чудной красотѣ, и Русскій писанный языкъ сдѣлалъ шагъ впередъ даже послѣ Пушкина и Гоголя. Слава С. Т. Аксакова была упрочена и утверждена навсегда" [55]).

Записки объ уженьи заинтересовали и Погодина. „Письмецо ваше", писалъ ему авторъ *Записокъ* (отъ 16 мая 1847 г.), — „мнѣ было очень пріятно прочесть. Особенно важно для меня то, что вы не охотникъ, даже не любите этой охоты! Стало быть, независимо отъ уженья, существуетъ интересъ въ моей книжкѣ: слышны дѣйствительность, правда, искренность. Признаюсь, что все это я находилъ въ ней... Что говоритъ Шевыревъ о моей книжкѣ? Я очень давно послалъ ему" [56]).

Возлюбленный первенецъ Аксаковыхъ, послѣ успѣшнаго диспута, увѣнчавшаго его званіемъ магистра, пребывалъ въ самодовольствіи и пользовался авторитетнымъ положеніемъ въ семействѣ. Въ *Дневникѣ* Погодина мы находимъ записи, весьма живо рисующія личность К. С. Аксакова и положеніе его въ семействѣ:

Подъ *3 января 1847* года: „Къ Аксаковымъ. Что за суетность у Константина".

— *25 апрѣля*: „Къ Аксаковымъ прочесть (Исторію). Сначала длился споръ о Плесси, которая, по мнѣнію всего семейства, не можетъ быть хорошею актрисою, и что, во Франціи нѣтъ актеровъ. Даже слышать несносно, какъ все семейство сводитъ съ ума Константинъ. Очень не хотѣлось

читать имъ Исторіи, но принесъ жертву старой пріязни. Всѣ несчастные слушали, ожидая, что скажетъ Константинъ".

— *21 мая*: „Обѣдалъ у Аксаковыхъ. Самолюбіе жестокое Константина, который думаетъ, что хорошо рисуетъ. Непріятно становится у нихъ".

Въ дополненіе къ этимъ записямъ Погодина приводимъ нижеслѣдующія строки И. С. Аксакова, который, рекомендуя своему отцу двухъ студентовъ, сына Унковскаго и его товарища, писалъ: „Константина же прошу не выругать ихъ съ перваго раза, какъ нѣкогда онъ сдѣлалъ это съ Ѳ. С. Унковскимъ, обѣдавшимъ у насъ по просьбѣ Гриши, раздражившись тѣмъ, что Унковскій никакъ не могъ вдругъ понять, отчего у Віардо, пріѣхавшей изъ Петербурга, и голосъ долженъ быть скверенъ, и сама она подлецъ!.."

Въ это время К. С. Аксаковъ выступилъ противъ общественной благотворительности. Вотъ что писала А. О. Смирнова Гоголю (отъ 25 марта 1847 года) о проявленіи этой общественной благотворительности въ Москвѣ: „А знаете ли, что было въ Москвѣ Великимъ постомъ? Въ пользу бѣдныхъ выдумали катанье по городу и глисады съ горъ съ факелами. Народъ толпился по улицамъ и вокругъ горъ и говоритъ: хорошо придумали господа! баринъ сядетъ, да къ себѣ барыню посадитъ на колѣни, а тамъ ужинаютъ, — вотъ ихъ постъ. Князь С. М. Голицынъ писалъ объ этомъ Генералъ-Губернатору; но такъ какъ его супруга предсѣдательница Общества благотворительности, то письмо князя Сергія Михайловича осталось безъ вниманія. Говорятъ, что преосвященный Филаретъ тоже просилъ князя Щербатова отмѣнить эти катанья, которыя К. С. Аксаковъ называетъ богоугоднымъ коверканьемъ. Вспомните, что Тихонъ Задонскій тому семьдесятъ лѣтъ, въ Воронежѣ, на масляницѣ, остановилъ безчинствующій народъ однимъ словомъ. А преосвященнаго Филарета не послушался высшій кругъ, безчинствующій изъ ложныхъ понятій о благотворительности и просвѣщеніи! На что-де намъ, людямъ просвѣщеннымъ, постъ и соб-

люденіе церковныхъ постановленій! И все искупается словами: *въ пользу бѣдныхъ*. Вотъ пагубный примѣръ для губерній!“ [57]). Этотъ возмутительный фактъ привелъ К. С. Аксакова въ благородное негодованіе, и онъ въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* напечаталъ статью подъ заглавіемъ: *Общественная благотворительность нашихъ дней*, безъ подписи автора. Въ концѣ статьи означено: *Сообщено по городской почтѣ*. „О, какъ весело благотворить!“ писалъ онъ между прочимъ,— „....Можно ли, смотря... на балы въ пользу бѣдныхъ, на катанья въ пользу бѣдныхъ и т. д., можно ли сомнѣваться, что мы совершенствуемся. Стоитъ только посмотрѣть на то, какъ благотворили прежде, это *прежде* и теперь еще хранится у крестьянъ... Прежде дѣлали добро просто; замѣтьте, что даже самое слово *благотворить* какъ-то нейдетъ къ этому дѣланію добра. . Мы знаемъ, какъ крестьянинъ, въ которомъ конечно сохранился древній бытъ, подаетъ милостыню: крестится получившій, да крестится и давшій ее, и оба благодарятъ Бога, что привелъ ихъ подѣлиться между собою... Оно правда, но вѣдь это благотворительность... грубая, необразованная, не цивилизованная, однимъ словомъ мужицкая... Неужели же намъ брать примѣръ съ необразованнаго, грубаго народа, который не умѣетъ и благотворить цивилизованно?.. Теперь нѣтъ нужды умиляться душою и непремѣнно имѣть желаніе помочь; теперь все облегчено... Нѣтъ, цивилизованная благотворительность не такова. Посмотримъ на прекрасное зрѣлище, ею представляемое. Заведены благородные театры въ пользу бѣдныхъ, катанья въ пользу бѣдныхъ, и мало ли еще чего въ пользу бѣдныхъ.—Вообразите же, какъ все это удобно! Вы идете на балъ: правда, вы потратите на туалетъ свой очень много, но вѣдь тутъ же вы даете и десять рублей въ пользу бѣдныхъ: вы танцуете, вамъ весело, вы находитесь среди пышности, блеска, богатства, и все это въ пользу бѣдныхъ!.. Посмотрите, еще примѣръ: сгоритъ городъ, деревня, погорѣлые плачутъ, рыдаютъ... Поскорѣе балъ, музыку, музыку!.. Намъ скажутъ, можетъ быть, что надо дѣлать добро

втайнѣ... Но стоитъ ли на подобное возраженіе обращать вниманіе?.. О, тысячу разъ правы мы, сказавши, что теперь весело благотворить! Мы увѣрены, что эта *веселая* благотворительность будетъ дѣлать такіе успѣхи, что удесятерится..., усотерится при нашей цивилизаціи число баловъ, катаній и прочихъ увеселеній въ пользу бѣдныхъ, —и въ то же время, какъ подвинется мода, какъ усилится общественное довольство, сколько будетъ прелестныхъ, богатыхъ костюмовъ... О, чудная перспектива! О, какъ вы счастливы, бѣдные нашихъ временъ!" [58]).

У насъ имѣется листокъ, на которомъ рукою Шевырева написаны слѣдующіе стихи:

Благотворительность танцуетъ,
Благотворительность поетъ,
Благотворительность торгуетъ,
И ѣстъ, и тѣшится, и пьетъ.
Благотворительность устала,
Благотворительность полна:
Благотворительность пропала,
Забавѣ праздной предана.

„Ты вѣрно прочтешь", писалъ С. Т. Аксаковъ своему сыну Ивану, — „въ *Московской газетѣ* статью *Общественная благотворительность нашихъ дней*. Эта статья начинаетъ поднимать и, безъ сомнѣнія, подниметъ ужасный шумъ. Знатнѣйшія дамы, попечительницы и благотворительницы рвутъ на себѣ волосы отъ гнѣва, а мужья и большая часть мужчинъ ихъ поддразниваютъ. Быть великому шатанью! Я опасаюсь, чтобъ сочинитель и редакторъ не подверглись жестокому гоненію прекраснаго пола". На это И. С. Аксаковъ отвѣчалъ: „Дѣятельность Константина меня необыкновенно радуетъ: скачетъ, ѣздитъ, рыскаетъ, говоритъ, читаетъ, пишетъ драму и мимоходомъ статейки въ газетахъ. Статью объ общественной благотворительности я прочелъ, и она мнѣ очень нравится: она такъ жива, и такъ мѣтка, такъ ловка, такъ егозиста, что я никакъ не ожидалъ этого отъ Константина. Увы! Огромныя *С.-Петербургскія Вѣдомости* начинаютъ здѣсь мало-по-малу вытѣснять *Московскія*. Статью эту здѣсь едва ли кто замѣ-

тилъ, исключая старика Унковскаго, который мнѣ ее указалъ, изъявивъ въ то же время предположеніе, что это должна быть или моя статья, или кого-нибудь изъ братьевъ моихъ. Купцы Калужскіе, читающіе *Вѣдомости*, обратили болѣе всего любопытное вниманіе на рожденіе какого-то жеребенка" [59]).

Но тотъ же И. С. Аксаковъ, получивъ возможность по служебнымъ обязанностямъ ближе познакомиться съ народнымъ бытомъ, вотъ что̀ писалъ отцу своему изъ Углича 21 октября 1849 года: „Вчера явился ко мнѣ мѣщанинъ (между прочимъ онъ ходитъ въ Русскомъ платьѣ и съ широкой бородой) и удивилъ меня, признаюсь, просьбою сдѣлать обществу предложеніе слѣдующаго рода. „Мы всѣ", говорилъ онъ,—„и я въ томъ числѣ, подаемъ каждую субботу нищимъ, но число нищихъ не уменьшается, потому что подаемъ зря и подаемъ большею частью недостойнымъ и обманщикамъ, между тѣмъ какъ истинные бѣдные, больные и престарѣлые или не хотятъ таскаться по окнамъ, или же не въ силахъ и добрести до чужихъ дворовъ. А потому не лучше ли будетъ, чтобы каждый сосчиталъ, сколько въ теченіе года онъ передаетъ черезъ окошко (у купцовъ это дѣлается довольно аккуратно), и эту сумму вложилъ бы въ общій складочный капиталъ, который такимъ образомъ и долженъ составиться: затѣмъ выбрать изъ среды себя нѣсколько человѣкъ, учредить комитетъ или въ родѣ этого, который бы подлинно розыскивалъ о всѣхъ нищихъ и раздавалъ бы пособія истинно нуждающимся и пр." Словомъ, повторилъ общіе уставы подобныхъ учрежденій въ Москвѣ и въ Петербургѣ,—учрежденій, съ которыми онъ впрочемъ не знакомъ. Это меня поразило. Да, какъ же, братъ, хотѣлъ я сказать ему, а статья Константина?.. Разумѣется, я этого не сказалъ, но вспомнилъ тебя, Константинъ, тотчасъ. Вспомнилъ свои слова, сказанныя въ моей статейкѣ, что мы почти готовы ревновать къ современности, если она выставитъ такой вопросъ, о которомъ не задумывалась старина. Подумалъ я также, что слишкомъ мы рѣшительны въ своихъ выводахъ a priori о Русскомъ народѣ, что изучая на-

родъ по древнимъ памятникамъ, мы сами себѣ ставимъ рамки— слишкомъ правильныя, повидимому же, строго логическія, какъ иностранцы, слишкомъ правильно говорящіе на чужомъ языкѣ; подумалъ, не посягаемъ ли мы черезъ-чуръ на свободу жизненнаго народнаго тока, если это выраженіе не покажется слишкомъ вычурнымъ... Я не имѣю твердости убѣжденій Константина, рѣшился смиренно, безъ взглядовъ a priori изучать современные явленія и факты и, признаюсь, поколебалось во мнѣ многое, оробѣли мои умствованія, потерялъ я вѣру въ свои выводы. Выдвигая какое-нибудь положеніе, я говорю, какъ Каролина *): „Да, можетъ быть, а можетъ быть и нѣтъ!“ Ужасный 1848-й годъ и просто жизнь въ комъ не поколебали вѣры въ человѣческія истины... Неужели ты не почувствовалъ ихъ ударовъ? Но что касается до внутренняго моего духа, то онъ прожилъ тяжелое, удушливое время,—да и теперь не легко“.

Между тѣмъ статья К. С. Аксакова возбудила полемику между Шевыревымъ и Мельгуновымъ. Мельгуновъ, прочитавъ статью Аксакова, безъ подписи автора, да къ тому же въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ*, редакторомъ которыхъ былъ въ то время одинъ изъ столповъ Московскихъ Западниковъ, впалъ въ забавное недоразумѣніе. Онъ вообразилъ, что авторъ статьи самъ стоитъ за благотворительность современную и иронически относится къ благотворительности древней. По этому поводу Мельгуновъ въ *Московскихъ* же *Вѣдомостяхъ* напечаталъ: *Нѣсколько словъ въ дополненіе къ статьѣ: Общественная благотворительность нашихъ дней.* „Неизвѣстный авторъ“, писалъ между прочимъ Мельгуновъ,—„этой статьи беретъ сторону общественной благотворительности нашего времени и преслѣдуетъ насмѣшкой грубую частную благотворительность. Нельзя ему не сочувствовать во многихъ отношеніяхъ; но, съ другой стороны, нельзя въ немъ не признать и и нѣкоторой односторонности. Мнѣ кажется, было бы гораздо сообразнѣе съ истиною, еслибъ онъ, признавъ необхо-

*) Каролина Павлова.

димость и того, и другого рода благотворительности, вмѣстѣ съ тѣмъ указалъ намъ на то, чтó въ каждой изъ нихъ есть истиннаго, и чтò ложнаго и пр.“ [60]).

Противъ послѣдней статьи Мельгунова въ свою очередь выступилъ Шевыревъ и въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* напечаталъ мистерію подъ слѣдующимъ заглавіемъ: *Послѣдніе на землѣ бѣдные или человѣколюбивая утопія, очеркъ драмы въ трехъ лицахъ и четырехъ дѣйствіяхъ, съ эпилогомъ.*

Дѣйствующія лица драмы:

1) *Человѣчество*, которому унизительно подавать.

2) *Передпослѣдній бѣдный*, которому еще не унизительно просить.

3) *Послѣдній бѣдный*, которому унизительно просить.

Дѣйствіе I.

Передпослѣдній бѣдный, которому не унизительно просить: Человѣчество! подай милостыню!

Человѣчество: Не хочу унизить ни себя, ни тебя: нѣтъ тебѣ милостыни.

Передпослѣдніи бѣдный: Человѣчество! подай милостыню во имя любви!

Человѣчество: Любовь, а съ нею и благотворительность, должны быть на землѣ не нужны. Ты одинъ мѣшаешь исполненію этого идеала.

Передпослѣдній бѣдный: Человѣчество! подай же милостыню во имя разума!

Человѣчество: Разумъ долженъ уничтожить послѣднее безуміе на землѣ.

Передпослѣдній бѣдный: умираетъ съ голоду.

Дѣйствіе II.

Нѣмая сцена.

Послѣдній бѣдный, которому унизительно просить, молчитъ и терзается муками голода.

Человѣчество, которому унизительно подавать, смотритъ на него и не подаетъ.

Послѣдній бѣдный умираетъ съ голоду.

Дѣйствіе III.

Человѣчество: Я торжествую: нѣтъ на землѣ бѣдныхъ, не нужна милостыня.

Голосъ изъ Человѣчества: Да, мы торжествуемъ; но на насъ лежитъ разумная обязанность: предадимъ забвенію имя того бѣднаго, который еще унижался до просьбы о милостынѣ, но воздвигнемъ великолѣпный памятникъ изъ чистаго золота тому, кто не хотѣлъ этого униженія и умеръ съ голоду.

Дѣйствіе IV.

На землѣ дѣлаются ужасныя бури, землетрясенія и наводненія. Разрушаются многія благоразумныя заведенія, которыя Человѣчество устроило для подобныхъ случаевъ. Богатые не подаютъ, бѣдные не просятъ и умираютъ съ голоду.

Занавѣсъ опускается.

Эпилогъ.

Предположеніе другого идеала.

На землѣ всѣ разумны и всѣ любятъ другъ друга: никто никого не обманываетъ, никто лишняго не издерживаетъ. Кто не нуждается, тотъ не проситъ; кто нуждается, тотъ, безъ ложной мысли объ униженіи, проситъ. Имѣющій не сомнѣвается въ томъ, который проситъ, и подаетъ ему. Бушуютъ бури, дѣлаются землетрясенія, наводненія; благотвореніе, основанное на всеобщемъ разумѣ и взаимномъ довѣріи, вездѣ готово: можетъ ли тогда нужда владычествовать надъ человѣкомъ?

Послѣднее слово въ этомъ спорѣ Мельгуновъ оставилъ за собою и въ *Современникѣ* напечаталъ *Отвѣтъ г. Шевыреву*, въ которомъ, между прочимъ, читаемъ: „Я не люблю мистерій, начиная съ Греческихъ или какихъ угодно, и оканчивая

Парижскими. И потому на поэтическую мистерію Шевырева я буду отвѣчать простой и откровенной прозой“. Въ заключеніе своего отвѣта Мельгуновъ замѣчаетъ: „Въ прологѣ къ своей мистеріи Шевыревъ намекаетъ, что мои слова, подавшія къ ней поводъ, были внушены новыми открытіями Политической Экономіи. Политическая Экономія—наука, а Шевыревъ — извѣстный ученый, то мнѣ кажется, что положеніе ея, хотя бы и ошибочныя, должны были бы вызвать съ его стороны болѣе серьезное опроверженіе. — Ему болѣе, чѣмъ кому-либо, должно быть извѣстно, какъ почтенны самыя заблужденія науки, если они искренни. На комъ же обязанность внушать уваженіе къ наукѣ, какъ не на ея служителѣ“ [61]).

Слѣдя за этимъ споромъ, Погодинъ отмѣтилъ въ своемъ *Дневникѣ:* „Читалъ *Московскія Вѣдомости* и споръ Шевырева съ Мельгуновымъ. Мельгуновъ вѣрно задѣлъ за живое Шевырева давно, и тотъ не можетъ успокоиться“ [62]).

Въ то время, когда, возбужденный К. С. Аксаковымъ, шелъ такой горячій споръ объ общественной благотворительности, Н. В. Сушковъ издалъ въ Москвѣ драму въ пяти дѣйствіяхъ, подъ заглавіемъ: *Бѣдность и Благотворительность.* „Жаль“, писалъ М. А. Дмитріевъ Погодину,—„что вы не воспользовались благотворительностію и бѣдностію Николая Васильевича! Говорятъ, что въ ней всего интереснѣе предисловіе, гдѣ онъ доказываетъ, что истинная философія, согласная съ Религіей, существуетъ только въ Россіи. Судя по этому, въ его книгѣ должно быть много новаго, чего мы еще не знаемъ! О, добрая душа!“. По указанію М. А. Дмитріева познакомимся же съ этимъ предисловіемъ: „Сочинитель *современной* драмы: *Бѣдность и Благотворительность* имѣлъ въ виду: 1) Коснуться мимоходомъ ложныхъ мудрованій Запада и смѣшной стороны такъ называемыхъ Европейцевъ, или *Западниковъ*, бредящихъ ученіемъ Гегелистовъ, Коммунистовъ, Пантеистовъ и т. д., языкомъ не человѣческимъ для Русскаго. Насмѣшка и шутка — единственное противъ нихъ оружіе. Русская жизнь не сливается ни съ древними,

ни съ новыми философіями: наша философія беретъ свое начало въ вѣчныхъ истинахъ Божественнаго Откровенія, недостижимаго для пытливаго ума, въ духовности мышленія, въ чистотѣ нравовъ, въ священныхъ преданіяхъ Церкви. 2) Посмѣяться надъ ново-Вавилонскимъ лепетомъ и оградить Русскій языкъ, какъ одну изъ стихій, какъ одно изъ орудій народности, отъ искаженія чужеземными словами и оборотами. Гдѣ уничтожался природный языкъ, тамъ разъединялись племена, дробились народы, слабѣли правительства, распались государства. 3) Показать, что у насъ народная благотворительность, корень которой въ Святомъ Евангеліи, развита искони, вполнѣ и во всѣхъ слояхъ общества; что Москва, какъ сердце Россіи, особенно отличается подвигами любви къ ближнему; что Правительство наше поддерживаетъ, поощряетъ и распространяетъ христіанскую любовь въ Государствѣ, не только къ бѣднымъ и недугующимъ по стеченію обстоятельствъ, невинно, но и ко впавшимъ въ несчастія отъ необузданности страстей, отъ преступленій вольныхъ. 4) Выказать дурную сторону поддѣльныхъ въ своемъ ремеслѣ нищихъ. Жалобы ихъ на Дамское Попечительство о бѣдныхъ и на Комитетъ для разбора и призрѣнія нищихъ — лучшая похвала начальству и его дѣйствіямъ, сообразно Высойшимъ цѣлямъ. Впрочемъ и въ толпѣ нищихъ введено лицо, кающееся и отказавшееся отъ всѣхъ обмановъ и продѣлокъ. Подобнымъ образомъ и бредни *оксидантала*, *Льва* и невѣжи возвышаютъ не понятыя имъ чувства сострадательности и самоотверженія благотворителей и благотворительницъ. 5) Обратить вниманіе на особое сословіе бѣдныхъ — на сиротъ и вдовъ духовнаго званія и подвигнуть еще болѣе народъ на благотворительность. 6) Выразить исконную любовь и преданность народа Помазанникамъ и Дому ихъ, и 7) Обнаружить похвальное, безотчетное, смежное съ священною любовью къ Отечеству, пристрастіе народа къ *Матушкѣ Москвѣ*" [63]).

X.

Младшій сынъ С. Т. Аксакова, Иванъ Сергѣевичъ, въ то время еще не вполнѣ раздѣлялъ убѣжденія своего старшаго брата, хотя, въ особѣ А. О. Смирновой, не меньше его ненавидѣлъ Петербургъ. Коментируя одни свои стихи, И. С. Аксаковъ писалъ своему отцу: „Эти стихи написаны были вслѣдствіе негодованія, возбужденнаго во мнѣ Петербургскими воспоминаніями А. О. Смирновой. Не даромъ прожила она двадцать лѣтъ въ этомъ вонючемъ мѣстѣ. Я не вѣрю никакимъ клеветамъ на ея счетъ, но отъ нея иногда вѣетъ атмосферою разврата, посреди котораго она жила. Она показывала свой портфель, гдѣ лежатъ письма, начиная отъ Государя до всѣхъ почти извѣстностей включительно. Есть такія письма, написанныя къ ней чуть ли не тогда, когда она была еще фрейлиной, которыя она даже посовѣстилась читать вслухъ... Столько мерзостей и непристойностей. Много разсказывала она про всѣхъ своихъ знакомыхъ, про Петербургъ, объ ихъ образѣ жизни и толковала про ихъ гнусный развратъ и подлую жизнь такимъ равнодушнымъ тономъ привычки, вовсе не возмущаясь этимъ. Признаюсь, я подъ конецъ вечера ругнулъ всѣхъ ея пріятелей довольно энергически“ [64]).

Не смотря на эту ненависть И. С. Аксакова ко всему Петербургскому, вотъ что̀, 29 марта 1847 года, писалъ о немъ Боткинъ Анненкову: „Иванъ Аксаковъ не принадлежитъ къ Словенскому согласію и пишетъ иногда очень недурные стихи“ [65]). Справедливость этого показанія подтверждается и собственными признаніями самого Аксакова. „Я чувствую“, писалъ онъ своему отцу,—„ежеминутную возможность или стать безбожникомъ, или сдѣлаться отчаяннымъ аскетомъ; противно мнѣ это равнодушное, ничего не разрѣшающее примиреніе, этотъ нравственный комфортъ...“ Собираясь послать свои стихи, И. С. Аксаковъ писалъ отцу: „Хотѣлъ было

послать вамъ свои стихи, но раздумалъ, вообразивъ себѣ живо, что стихи придутъ въ самый развалъ масляницы, когда человѣкъ, наѣвшись блиновъ, дѣлается скотиной, клонитъ его ко сну, а жизнь духа отложена до Великаго поста. Необыкновенно гадка мнѣ масляница, особенно, когда представлю себѣ, что шестьдесятъ милліоновъ челюстей ѣдятъ въ одно время блины съ икрой, масломъ, сметаной, и шестьдесятъ милліоновъ подбородковъ засалены жиромъ и лоснятся. Грустна мнѣ также эта дѣтская черта человѣчества, устроившаго себѣ подобное обжорливое пиршество и безумное грѣшное веселье — предъ Великимъ постомъ. Церковь не такъ смотритъ на это, и жизнь здѣсь опять врозь съ Религіей. *Мнѣ это, пожалуй, все равно*, но міръ, называющій себя христіанскимъ, не долженъ былъ бы узаконять подобнаго учрежденія..." Въ другомъ его письмѣ читаемъ: „Когда опять примусь за стихи, не знаю. Надоѣло мнѣ это отвлеченное, не всѣмъ доступное содержаніе. Холодомъ вѣетъ отъ этихъ высокихъ мыслей, и ничьей души не грѣютъ эти порывы безприкладнаго благородства, все равно, какъ не грѣютъ они и моей. Прощайте. Поздравляю васъ съ Великимъ постомъ. Я ему несказанно радъ".

На Страстной 1847 года И. С. Аксаковъ говѣлъ и послѣ Причастія писалъ отцу: „На этой недѣлѣ я говѣлъ и въ четвергъ пріобщился. Заутреню слушалъ здѣсь на дому. Говѣнье мое было самое обыкновенное. Человѣкъ такая дрянь и такое дитя, что дай ему глубокое содержаніе съ внѣшними формами, онъ сейчасъ ухватится за однѣ формы, а внутренній смыслъ убѣжитъ. Поэтому-то я такъ и боюсь всякихъ опредѣленныхъ, условныхъ формъ и не люблю пока монашескихъ уставовъ, которые назначаютъ человѣку способы, виды и формы покаянія, напримѣръ, прочти сто пятьдесятъ разъ акаѳистъ и т. п. Грустно видѣть, что въ церкви вамъ читаютъ правило такъ, что ни читающій, ни слушающіе ничего понять не должны и не могутъ, но всѣ расходятся предовольные сами собой и другъ другомъ: отстоялъ правило, ну

и совѣсть спокойна. А какая чудесная служба! Весь послѣдовательный историческій ходъ событія повторяется предъ глазами чрезъ осьмнадцать вѣковъ. Вообразите, что на нынѣшней недѣлѣ я не ѣлъ рыбы, а вчера весь столъ былъ изготовленъ безъ масла!...“

Поздравляя съ Свѣтлымъ Воскресеньемъ, И. С. Аксаковъ писалъ: „Свѣтлое Воскресенье встрѣчается въ Калугѣ не очень торжественно: всему мѣшаетъ чиновническій характеръ, какъ и во всѣхъ губернскихъ городахъ. Въ 12 часовъ отправился я въ церковь, противъ дома стоящую, со всѣми Унковскими, кромѣ старика, который боленъ. Заутреня продолжалась почти три часа, по милости священно- и церковно-служителей, которые то и дѣло что обходили церковь и собирали деньги то въ руку, то въ кружку“.

Въ виду наступающаго лѣта И. С. Аксаковъ писалъ: „Слава Богу, что я не обремененъ животомъ древняго Русскаго боярина, и подобно ему, не обязанъ въ лѣтній зной носить горлатную шапку!“ [66])

Приведенные отрывки изъ писемъ знакомятъ насъ съ тогдашнимъ міросозерцаніемъ И. С. Аксакова и свидѣтельствуютъ о не-единомысліи его съ старшимъ братомъ Константиномъ. Это предположеніе наше подтверждается и слѣдующимъ свидѣтельствомъ В. П. Боткина, который (14 мая 1847 года) писалъ Анненкову: „У Аксакова есть братъ, который, по несчастію, не словенофилъ; онъ на канунѣ Вознесенья пошелъ смотрѣть Плесси въ театръ. На другой день вечеромъ были у нихъ гости, и тамъ все Словенство возстало съ упреками на молодого человѣка, какъ могъ онъ въ то время, когда народъ Русскій слушалъ всенощную, быть въ театрѣ да еще смотрѣть игру Французской актрисы! Онъ не зналъ, куда дѣться отъ упрековъ и нападковъ!“ [67])

Въ то время, когда Хомяковъ велъ полемику съ Грановскимъ о Бургундахъ, Шевыревъ передъ Московскимъ обществомъ читалъ свой публичный курсъ объ Исторіи Всеобщей Поэзіи.

Свое публичное чтеніе Шевыревъ началъ 7 декабря 1846 г. такими словами: „Послѣ разлуки одного года слишкомъ я снова имѣю счастіе предстоять этому собранію. Вы опять готовы внимать публичному слову, которое предлагается отъ имени науки. Радуюсь не столько за себя, сколько за науку, что она болѣе и болѣе привлекаетъ общественное вниманіе. Есть скептики, которые разочаровываютъ, говорятъ, что это мода; но если это мода, то она не вынесла бы четырехлѣтняго опыта, и слишкомъ непріятно было бы для насъ подвергать науку превратностямъ моды: это обидно для ея достоинства.

„Два года тому назадъ я открывалъ курсъ Исторіи Словесности Отечественной и обратилъ вниманіе преимущественно на періодъ Древній, въ которомъ таится основа всей нашей жизни. Въ нынѣшнемъ году мысль влечетъ меня къ другимъ народамъ...“ [68]).

Посѣтивъ первую лекцію Шевырева, Погодинъ писалъ ему: „Саша пристаетъ ко мнѣ, чтобы я пустилъ ее на лекціи, любезнѣйшій Степанъ Петровичъ, утверждаетъ, что поняла много, и уже я слышу въ дѣтской имена Зодчества, Живописи и даже Ваянія. Слѣдовательно, прошу тебя и проч. Давыдовъ сѣтуетъ, что ты не пригласилъ его на лекцію и не доставилъ билета, тѣмъ болѣе, что и жена его желаетъ слушать лекціи аккуратно. Я увѣрилъ ихъ, что имъ никогда не нужно билетовъ для твоей лекціи, что они могутъ всегда, но онъ, блюститель формъ, никакъ не соглашается, слѣдовательно, пошли. О лекціи твоей я долго думалъ — говорить ли теперь или нѣтъ, и рѣшился сказать: Заключеніе прекрасное, но вообще простѣе, простѣе, гораздо простѣе, и, Бога ради, не дѣлай измѣненія и возвышенія въ голосѣ. Читая твою статью въ началѣ года о *Петербургскомъ Сборникѣ*, я порадовался твоему воздержанію и умѣренности и похвалилъ съ удовольствіемъ (а тебѣ это, къ моему тогдашнему огорченію, показалось непріятнымъ!!), но въ лекціи этого воздержанія не было вовсе. Въ этомъ отношеніи ты представлялся мнѣ Щепкинымъ, ко-

торый, начиная роль, опасается, что зрители мало трогаются ею, и спѣшитъ тронуть ихъ усиленіемъ, жаромъ и прочими способами, прежде нежели доходитъ до тѣхъ мѣстъ, на которыя долженъ беречь свой огонь. Не доказываю, потому что ты поймешь и такъ. Отчего Строгановъ уѣхалъ отъ лекціи, бывши предъ тѣмъ въ Университетѣ, и слушалъ Фишера и еще кого-то? Ты увѣдомляй меня краткими записками обо всемъ, что будетъ касаться до тебя и твоего курса". Письмо это Шевыревъ прочелъ съ признательностью и писалъ Погодину: „Благодарю, благодарю тебя, другъ мой, за всѣ замѣчанія. Они вылились отъ такого теплаго сердца, что мнѣ пріятно. Буду стараться быть проще... Давыдову не посылалъ потому, что думалъ, что скоро ѣдетъ въ Питеръ. Пошлю. Простота должна придти сама собой. Авось придетъ. А замѣчанія всѣ прекрасны и справедливы. Строгановъ извинялся чрезъ инспектора и лично, что не могъ быть. Былъ въ Комитетѣ. Сегодня былъ очень любезенъ".

Послѣдующія лекціи Шевырева Погодинъ посѣщалъ изрѣдка и за это получилъ дружескій упрекъ: „Хорошъ ты: никогда и на лекцію не пріѣдешь, точно чужой читаетъ".

Но изъ посѣщеній, хотя и рѣдкихъ, Погодинъ выносилъ неблагопріятное впечатлѣніе отъ лекцій. Въ *Дневникѣ* его мы находимъ слѣдующія записи:

Подъ *9 января 1847*: „Съ Шевыревымъ говорить нельзя ничего. Не способенъ разсуждать хладнокровно въ первую минуту".

— *23 февраля*: „Шевыревъ пріѣзжалъ и удивилъ меня своимъ экстазомъ. Страсть проповѣдывать... Къ Аксаковымъ, которые подтвердили тоже".

— *25 февраля*: „На лекціи Шевырева. Рѣшительно встревоженъ и говоритъ, что̀ не слѣдуетъ... Жаль его. Публики мало и скучаетъ".

Сердечное участіе, принимаемое Погодинымъ во всѣхъ дѣлахъ Шевырева, понудило его написать ему слѣдующее: „Другъ мой! Ты долженъ непремѣнно уменьшить твои заня-

тія и успокоиться. Нѣтъ силъ человѣческихъ читать лекціи, учить, писать статьи, выѣзжать, принимать, исправлять студенческія упражненія. Поневолѣ взволнуется кровь отъ такихъ напряженныхъ занятій, со множествомъ разныхъ неудовольствій, въ придачу и досадъ, которыя въ такое время сильнѣе напираютъ на сердце. Какъ уменьшить? Вопервыхъ, не помѣщать двухъ лекцій въ одну, а читать по одной. Вчера ты прочелъ слишкомъ полтора часа, а это двѣ университетскія лекціи. Шутка втискать всю *Одиссею* въ одну лекцію! Это тяжело и для публики. Не только Московская, даже Парижская не выдержитъ двухъ часовъ самыхъ краснорѣчивыхъ. Тѣ выводы, которые тебѣ услаждаютъ сердце, которыми дорожатъ знатоки, для нея не заключаютъ вѣдь ничего особеннаго, потому что ей все ново, даже до имени *Одиссеи*. Отъ тона проповѣдника избѣгать, напримѣръ: *Я не хочу, чтобъ здѣсь было что-нибудь лишнее.* Это чистый Гоголь! Такъ близко къ сердцу принимаешь ты теперь всѣ впечатлѣнія, и они отражаются въ словахъ, въ голосѣ, въ лицѣ, въ глазахъ. Я тебя знаю; когда ты пріѣхалъ ко мнѣ въ воскресенье, въ полчаса я замѣтилъ, что кровь у тебя течетъ живѣе и сердце взволновано. Ввечеру отправился въ городъ, будто за другими дѣлами, и среди разговоровъ, нечаянно выспрашивалъ о лекціяхъ, чтобъ узнать, не замѣтили ли чего особеннаго. Одинъ сказалъ мнѣ, что послѣ субботней лекціи не ходилъ въ воскресенье къ обѣднѣ. Другой пересказалъ мнѣніе о духѣ и душѣ, и проч. Вчера я пріѣхалъ самъ на лекцію—и удостовѣрился. Весь споръ о благотворительности, весь Гоголь, — сквозилъ для меня въ лекціи. Ужасный процессъ въ тебѣ совершался, мыслями загромождалась голова, вотъ отъ чего ты долженъ былъ остановиться. Для публики эти процессы невидимы и непонятны. Но возвратимся къ рецепту. Вовторыхъ, никого не долженъ ты принимать и ни съ кѣмъ не говорить ни о чемъ текущемъ. Эти праздношатающіеся люди, эти сплетники безчувственные выведутъ хоть кого изъ себя. Втретьихъ, не печатать ничего кромѣ относя-

щагося къ лекціямъ — ни Листика, ни Газетъ, ничего. Пока довольно. Повторю только первый совѣтъ: лекція должна быть въ 45, много въ 50 минутъ, пока дойдешь до новой Словесности.

„Написалъ бы больше, но и это пишу по долгомъ колебаніи. Вы всѣ такъ меня загнали, застращали, что я не смѣю выговорить слова. Можетъ быть, и ты разсердишься теперь. А что же мнѣ дѣлать! Я не могу выдержать ни за-что, чтобъ не сказать тебѣ, что думаю, справедливо ли то или нѣтъ. Обнимаю тебя!“

Но и это письмо Шевыревъ принялъ благодушно: „Благодарю тебя“, отвѣчалъ онъ Погодину, — „любезный другъ, за совѣты — и все исполню — что́ надобно. Ты подтвердилъ многое, что̀ я и самъ уже сознавалъ въ себѣ. Меня всего болѣе разстроилъ Попечитель своимъ запрещеніемъ статьи Мельгунова въ отвѣтъ на мою и мнѣніемъ, что я обвинилъ Мельгунова въ коммунизмѣ, мнѣніемъ, которое распустили по городу. Я рѣшился никогда не возражать ни на что̀ въ Москвѣ выходящее, потому что мнѣ отвѣчать не позволютъ. На лекціи взволновали меня Нѣмцы, особенно Нѣмцы Русскіе. Сильнѣе, чѣмъ когда-нибудь, чувствую вредъ, ими приносимый. Высказалось задушевное — и я взволновался. Разстроили меня также подлые стихи въ честь Фишера *), въ которыхъ сказано, что онъ образовалъ множество наставниковъ: всего одинъ **) — и тотъ едва ли имъ образованъ — и, къ сожалѣнію, вино Русское и того губитъ, а собственный сынъ его, отнявшій каѳедру Ботаники у Максимовича, причиною того, что Ботаника не идетъ у насъ въ ростъ. Но надѣюсь успокоиться отъ всего. Совѣтъ твой, сокращать лекціи, приму непремѣнно: онъ и тогда мнѣ былъ полезенъ. Читать ничего текущаго не буду, не принимать не возможно. Впрочемъ я вижусь съ весьма

*) 22 февраля 1847 года происходило въ Москвѣ *великольпное торжество*, которымъ чествовали пятидесятилѣтіе ученыхъ трудовъ „Его Превосходительства Григорія Ивановича Фишера фонъ-Валдгеймъ“ (*Московск. Вѣдомости* 1847 г., № 27).

**) Рулье.

немногими, и даже свѣтъ почти покинулъ. Тотъ, кто сказалъ тебѣ объ обѣдни, знаю: это Перевозщиковъ. Врядъ ли онъ и прежде ходилъ. Ты по сужденіямъ его и какой-то дамы не можешь судить о лекціяхъ, потому что самъ ты не былъ. Къ твоимъ совѣтамъ напрасно ты еще не прибавилъ одинъ: *Коль слушать всѣ людскія рѣчи* и пр. Впрочемъ выслушивать все надобно, только спокойно. Слухи о лекціяхъ меня нисколько не раздражаютъ. Лишь бы ѣздили, да слушали, а вниманіе не ослабѣваетъ. Публика наша доросла до лекцій— и ты напрасно ею пренебрегаешь: причиной твое удаленіе отъ людей. Грановскій прошлаго года читалъ по полтора часа. Я въ теченіе лекціи ни на одномъ изъ лицъ, предо мною сидѣвшихъ, не замѣтилъ ни усталости, ни скуки. Но, разумѣется, въ другой разъ полтора часа читать не буду. Съ одной стороны, ты дорожишь словами какихъ-нибудь отдѣльныхъ лицъ, а не обратишь вниманіе на постоянное участіе такого многолюднаго общества, котораго не уважать было бы не только гордо, но и глупо. Имя *Одиссеи*, говоришь, было ново для публики (ужь это слишкомъ): зачѣмъ же воображать всѣхъ невѣждами? Вотъ тутъ-то въ тебѣ высказывается то презрѣніе, которое ты питаешь къ обществу, которое тебя удалило на Поле и виною многихъ твоихъ неудачъ. Содержаніе же Одиссеи было ново не только для публики, но, признайся, и для тебя, ученаго, въ томъ видѣ, какъ я разсказалъ его. А ты вѣдь въ письмѣ своемъ хоть бы слово сказалъ въ пользу его. Сколько труда, чтобы выяснить такъ поэму Гомерову — и дать о ней понятіе на полтора часа! Публика это признаетъ—и ко мнѣ ѣздитъ и сидитъ, и не скучаетъ. Вѣрь, что во всѣхъ людяхъ больше правды, чѣмъ въ каждомъ изъ насъ. Обнимаю тебя“.

Между тѣмъ наступило 15 марта 1847 года—день памяти Д. В. Веневитинова, и оставшіеся въ живыхъ друзья покойнаго собрались въ Троицкій трактиръ на дружескую трапезу. Еще на канунѣ Шевыревъ писалъ Погодину: „Я только хотѣлъ писать тебѣ о завтрашнемъ днѣ, чтобы всѣмъ обѣдать

въ Троицкомъ. Завтра послѣ лекціи я заѣду домой надѣть сюртукъ — и оттуда въ Троицкій. Мельгунову ты бы далъ знать: онъ отъ тебя въ двухъ шагахъ. Хомяковъ и Кирѣевскій знаютъ. Павловъ также".

29 апрѣля 1847 г. Шевыревъ прочелъ послѣднюю свою публичную лекцію. Ее посѣтилъ Погодинъ и записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Послѣдняя лекція Шевырева пренеудачная, и я горѣлъ за него, а всѣ послѣ принялись хвалить. Извольте же вѣрить. Обѣдалъ у него. Онъ однакожъ спокоенъ".

По окончаніи публичнаго курса друзья Шевырева возъимѣли благое намѣреніе почтить его 7 мая 1847 г. торжественнымъ обѣдомъ. На канунѣ торжества Н. Ф. Павловъ писалъ Мельгунову: „Обѣдъ Шевыреву завтра, въ среду, 7 мая, въ домѣ Училища Живописи и Ваянія. На тебя я уже надѣюсь и твое имя внесъ въ реестръ. Окажи мнѣ ради Бога услугу. Погодину я предлагалъ участвовать, а онъ отвѣтилъ на это шуткой, что слѣдуетъ имѣть нѣсколько почетныхъ гостей, то-есть, ему хочется безъ денегъ, а этого я сдѣлать не могу. Пожалуйста увѣдомь его, что обѣдъ завтра, и если онъ хочетъ обѣдать, то получи съ него деньги и дай мнѣ знать. Вѣдь надо распорядиться съ поваромъ нынѣ же. Объясни Погодину, что тутъ, кромѣ Шевырева, почету никому не будетъ, и что онъ можетъ пожертвовать двѣнадцать руб. сереб. — въ честь своего сотрудника по *Москвитянину* и пр.".

Эту записку Мельгуновъ имѣлъ неосторожность представить въ подлинникѣ Погодину, и тотъ, разумѣется, обидѣлся и написалъ рѣзкую записку Павлову. Мельгуновъ оправдываясь писалъ Погодину: „Павловъ получилъ твою записку, гдѣ ты, между прочимъ, говоришь, что нѣкоторыя изъ его выраженій, *по крайней мѣрѣ, неприличны*. Выходитъ, что я quasi поссорилъ тебя съ Павловымъ. Мнѣ это очень прискорбно. Въ то утро мнѣ рѣшительно некогда было писать къ тебѣ пространно, и, признаюсь тебѣ, я какъ-то ничего не нашелъ неприличнаго въ его запискѣ, хотя она и назна-

чалась для меня одного. Онъ сказалъ въ ней, что ты, повидимому, не хочешь взнести деньги за обѣдъ. Ну, что же? На то была твоя воля. То же самое, что Павловъ сказалъ *мнѣ* про тебя, мы всѣ сказали *въ глаза* Свербееву. Но ты возразилъ побѣдоносно, пріѣхавъ на обѣдъ.

Прошу тебя убѣдительно, не упоминай больше объ этомъ при свиданіи съ Павловымъ, который также будетъ молчать! Только не забудь же отдать ему двѣнадцать р. сер., въ которыхъ я ему поручился" [69]).

Надо замѣтить, что извѣстный намъ публичный споръ Хомякова съ Грановскимъ прекратился одновременно съ окончаніемъ публичнаго курса Шевырева, и на обѣдѣ въ честь послѣдняго, по свидѣтельству В. П. Боткина, К. С. Аксаковъ „сводилъ Грановскаго и Хомякова для ихъ взаимнаго примиренія, которое состоялось, какъ и всѣ внѣшнія примиренія, изъ приличія". О самомъ же обѣдѣ Боткинъ писалъ Анненкову: „Чтó жъ сказать мнѣ вамъ, мой тысячу разъ милый Павелъ Васильевичъ? Чѣмъ отплатить мнѣ вамъ за ваше мастерское описаніе выставки? Развѣ разсказомъ обѣда, даннаго Шевыреву, по случаю окончанія его публичныхъ лекцій? Но онъ замѣчателенъ былъ только тѣмъ, что Шевыревъ предложилъ тостъ за поэзію и за представителя ея Ѳ. Н. Глинку въ особенности" [70]).

Но на Погодина этотъ обѣдъ произвелъ пріятное впечатлѣніе, и подъ *7 мая 1847 г.* онъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ:* „Къ Шевыреву, и рѣшился ѣхать на обѣдъ къ нему. Поѣхали вмѣстѣ. За тостомъ засвидѣтельствовалъ ему предъ всѣми благодарность свою за его помощь, ободреніе, утѣшеніе. Былъ тронутъ и онъ, и я, и всѣ. Потомъ онъ предложилъ тостъ за меня, еще Грановскаго, съ которымъ много было объясненій, и я радъ былъ его доброму расположенію. Предложилъ за здоровье молодыхъ ученыхъ. Все шло весело и хорошо. Пѣсни и стихи".

XI.

Погодинъ, по своемъ выздоровленіи, занялся пристально Древнею Русскою Исторіею, и окончательно отдѣлалъ, нѣсколько отрывковъ изъ нея, а именно о Святославѣ, Ольгѣ и пр... Эти отдѣланные отрывки ему вздумалось прочесть предъ „избраннымъ" Московскимъ обществомъ, предъ всѣми „образованными и знающими людьми", чтобы „судить о впечатлѣніи". Съ этою цѣлію онъ сдѣлалъ вечеръ. Мысль объ этомъ внушилъ Погодину его доброжелатель М. А. Дмитріевъ. „Хотѣлось бы", писалъ послѣдній 19 февраля 1847 года,— „послушать что-нибудь изъ вашей Русской Исторіи, чтобы могъ похвалиться внукамъ, что я изъ первыхъ ее слушалъ. Вспомните, что вы одинъ разъ сдѣлали параллель — насъ съ вами — съ дядей и Карамзинымъ".

Наконецъ, 4 мая 1847 года, Погодинъ рѣшился устроить вечеръ, на который созвалъ западныхъ и восточныхъ. „Изъ западныхъ, сколько мнѣ извѣстно," писалъ ему Мельгуновъ,— „будутъ у тебя: Грановскій, Коршъ, Кавелинъ и Рѣдкинъ. Да еще, какъ слышу, князь Г. А. Щербатовъ. Поздравляю!" На свой вечеръ Погодинъ пригласилъ и С. М. Соловьева, который съ удовольствіемъ принялъ приглашеніе и писалъ ему: „Записку вашу я получилъ. Усерднѣйше благодарю за приглашеніе и буду непремѣнно самъ... Что же касается до моихъ товарищей, то... Катковъ боленъ, впрочемъ я увѣдомлю его о вашемъ желаніи, равно какъ Ефремова, Буслаева, Кавелина и Баршева".

Къ сожалѣнію Погодина на вечеръ не могъ попасть его старинный пріятель С. Д. Нечаевъ. Сначала онъ принялъ приглашеніе и писалъ: „Если я уже такъ необходимъ для васъ, то всячески постараюсь добраться до васъ къ 8-ми часамъ"; но въ тотъ же день прислалъ отказъ: „Крайне сожалѣю, что лишенъ буду сегодня рѣдкаго удовольствія послушать нашего *Русскаго* историка, въ полномъ смыслѣ этого

эпитета. На нынѣшній вечеръ хотѣли ко мнѣ собраться нѣсколько добрыхъ пріятелей, чтобъ со мною проститься. Къ концу наступающей недѣли я располагаю быть уже на пути къ *Западному* краю *Словенскаго* міра" [71]).

На свой вечеръ Погодинъ разсудилъ пригласить и графа С. Г. Строганова, съ тою цѣлію, чтобы онъ, какъ пишетъ Погодинъ, „не имѣлъ причины предположить что-нибудь не литературное". На канунѣ торжества Погодинъ отправился самъ къ нему съ приглашеніемъ. Графъ Строгановъ принялъ его „съ обычною любезностью" и принялъ приглашеніе, но завелъ съ нимъ колкій разговоръ:

Графъ Строгановъ: А какъ хорошо читаетъ лекціи Соловьевъ.

Погодинъ: Я очень радъ, что онъ оправдываетъ мое о немъ ходатайство предъ вами.

Графъ Строгановъ: Какъ отлично идутъ дѣла по Историческому Обществу. Бодянскій работаетъ неутомимо.

Погодинъ: И это мнѣ пріятно, потому что все-таки я представилъ вамъ Бодянскаго.

Графъ Строгановъ: А *Москвитянинъ*-то вашъ идетъ какъ плохо!

Погодинъ: Если и плохо, то вѣдь большею частію благодаря вашей цензурѣ.

Графъ Строгановъ: Но историческихъ-то матеріаловъ, до которыхъ цензура не касается, у васъ гораздо меньше, чѣмъ въ *Чтеніяхъ*.

Погодинъ: Захохоталъ.

Графъ Строгановъ: Чему же вы смѣетесь?

Погодинъ: Вотъ чему, графъ: я вижу, что вамъ хочется колоть меня, это-то и доставляетъ мнѣ удовольствіе. Я говаривалъ вамъ прежде также горькія вещи, и мнѣ всегда казалось, что онѣ васъ не трогали, что вы пропускали ихъ мимо ушей, а теперь я вижу, что онѣ попадали прямо въ цѣль, и вы за нихъ мнѣ теперь мстите. Я боюсь только по этому расположенію увидѣть въ васъ завтра самаго строгаго судію.

Графъ Строгановъ: Такъ вы не хотите, чтобъ я пріѣхалъ.

Погодинъ: Нѣтъ, милости просимъ, я васъ просилъ и прошу [72]).

Возвратившись домой, Погодинъ нашелъ у себя слѣдующую записку М. А. Дмитріева: „Ваша Исторія — проста, живописна, подробна, какъ лѣтопись, и занимательна, какъ романъ. Если вы ее кончите, ее первую будутъ читать *всѣ*: и ученые, и народъ, и дамы, и пожилые люди, и отроки“ [73]). Но Погодинъ увидѣлъ въ этомъ отзывѣ пристрастіе дружбы.

На другой день, то-есть, 4 мая, вечеромъ, къ Погодину собрались профессоры, литераторы и всѣ его пріятели. Пріѣхалъ и Строгановъ. „Я“, пишетъ Погодинъ, — „старался не оказывать ему никакого предпочтенія и, какъ теперь помню, говорилъ, разсаживая гостей: *Тимоѳей Николаевичъ* (Грановскій), *пожалуйте сюда, графъ, пожалуйте сюда.* Онъ уѣхалъ послѣ перваго отрывка, и мнѣ не случилось спросить его о чтеніи“ [74]).

Вечеръ сошелъ повидимому благополучно. По крайней мѣрѣ вотъ что записалъ Погодинъ въ своемъ *Дневникѣ*, подъ 4 мая 1847 года: „Начали съѣзжаться поздно, и досадно. Опасался, что не соберутся. Сцена: Ермоловъ и Строгановъ. Однако всѣ собрались. Для вступленія сказалъ нѣсколько словъ очень неловко, хоть и думалъ о нихъ. Чтеніе доставило, кажется, удовольствіе. Ну, радъ. Были и враги всѣ, кромѣ Бодянскаго. Были даже тѣ, у кого не былъ я никогда, и суетно-пріятно. Когда я ложился спать, образъ Лизы носился въ воображеніи, а мысли обращались къ другой“.

Прочитанные отрывки: *Святославъ*, *Ольга* и пр. Погодинъ напечаталъ въ *Москвитянинѣ* [75]).

Съ сочувствіемъ, но и съ пристрастіемъ дружбы писалъ ему М. А. Дмитріевъ: „*Святослава* вашего два раза слышалъ въ вашемъ чтеніи (одинъ разъ, помните, при громѣ и бури); и въ третій разъ прочиталъ съ тѣмъ же свѣжимъ удовольствіемъ, какъ новость. Такъ надо писать Исторію, чтобы читалась скоро, а оставалась въ памяти; чтобы читатель ви-

дѣлъ своими глазами, что̀ разсказываетъ историкъ; наконецъ, чтобы она была книга для всѣхъ! Прочитавъ *Святослава*, я послѣ перваго впечатлѣнія, произведеннаго этимъ чтеніемъ, написалъ и о вашей будущей Исторіи, и о васъ къ моему Ѳедѣ; не помню, что̀ именно, но что-то почти пророческое. Теперь хочу на пробу дать вашего *Святослава* прочитать Сонѣ; увѣренъ, что и на нее произведетъ это чтеніе, разумѣется, сообразно ея лѣтамъ, то же дѣйствіе".

И. И. Давыдовъ прочиталъ *Святослава* съ сочувственнымъ вниманіемъ, но и съ критикою, и по поводу его завязалъ съ Погодинымъ переписку. „Отправивъ къ вамъ", писалъ онъ,—„почтеннѣйшій Михаилъ Петровичъ, письмо мое, я принялся за вашего *Святослава*; за чтеніемъ этого отрывка застало меня ваше письмо отъ 2 октября. Вы спрашиваете моего мнѣнія о немъ: и я готовъ передать вамъ свѣжія впечатлѣнія. Нарочно перечиталъ я *Святослава* въ Карамзинѣ. Касательно *содержанія* въ вашемъ отрывкѣ мнѣ нравятся подробности, которыхъ нѣтъ въ Карамзинѣ, болѣе ясно описаніе мѣстностей, народовъ. *Форма* отрывка имѣетъ свѣтлую сторону и темную. Свѣтлую сторону составляетъ живой разсказъ, кстати вставленныя мѣста изъ Лѣтописи; къ темной сторонѣ относится неправильный тонъ повѣствованія, недоконченность образовъ и ситуацій и промахи въ языкѣ. Объяснимся. Тонъ неправиленъ и неровенъ въ первой половинѣ отрывка. Этотъ тонъ приличенъ журнальной статьѣ, а не Исторіи, которая начертывается на скрижаляхъ. Такъ, ужели Кліо можетъ говорить: „И вотъ предъ нами необозримое Хвалынское море. Могли ль потомки Норманновъ преодолѣть искушеніе разгуляться по широкому его раздолью, поиграть съ его вѣтромъ и волнами... и проч.". Святославъ не внималъ убѣжденіямъ матери и, по словамъ Лѣтописи, „продолжалъ творить норовы поганскіе". Но къ чему прибавлено: „юноша отворачивался отъ нея"? Недоконченность образовъ и ситуаціи. Возьмемъ картину свиданія съ Цимисхіемъ. Святославъ, говорите вы, приплылъ по рѣкѣ въ

простой лодкѣ, а Цимисхій пріѣхалъ на берегъ Дуная: въ чемъ или на чемъ? Карамзинъ сказалъ именно на конѣ: и это довершило картину. Далѣе: „Сидя на лавкѣ въ ладьѣ, говорилъ онъ съ Императоромъ". Гдѣ жъ тогда былъ Императоръ и какъ онъ тутъ очутился? Карамзинъ съ намѣреніемъ прибавилъ: Императоръ *сошелъ съ коня*; иначе ему нельзя было разговаривать со Святославомъ. Все изображеніе Святослава правильно и отчетливо у Карамзина: „Онъ былъ средняго роста, довольно строенъ, но мраченъ и дикъ видомъ; имѣлъ грудь широкую, шею толстую, голубые глаза, брови густыя, носъ плоскій (а не съ плоскимъ носомъ), длинные усы, бороду рѣдкую (а не брилъ бороду) и на головѣ клокъ (а не пукъ) волосъ... и т. д." Прекрасная картина. У васъ описаніе перебито: послѣ стройности стана говорится о глазахъ, носѣ, бородѣ—даже и о клокѣ волосъ— и наконецъ о шеѣ и плечахъ: это значитъ идти назадъ. Промахи въ языкѣ. *Милаго* сына: почему милаго?—*Тотчасъ* начала убѣждать: будто тотчасъ?—*Отвѣдалъ ужъ жизни?*— Развѣ христіанская религія запрещаетъ отвѣдать жизни?— Чѣмъ *мила* жизнь—опять милый. *Произошло* сраженіе—вяло.—*Произошла* битва—опять произошла.—Тризны надъ собою Ольга отправлять *заповѣдала*. Напротивъ запретила; а заповѣдать значитъ приказать.—Русь *побѣгла:* какъ? Побѣгла вмѣсто побѣжала.—Отъ пыли *слипались* глаза: мудрено слипаться отъ пыли.—Былъ *съ* голубыми глазами, *носомъ плоскимъ*, такъ не говорятъ. О наряжающихся въ Святки можно сказать такъ, а о природныхъ свойствахъ должно выразиться: глаза у него были голубые, носъ плоскій.

„Вотъ нѣсколько дружескихъ откровенныхъ замѣчаній. Обмолвки и недосмотры неизбѣжны у всякаго художника. Буду говорить объ этомъ отрывкѣ съ Сергіемъ Семеновичемъ Уваровымъ".

Въ другомъ письмѣ Давыдовъ писалъ: „Воззрѣніе здѣшнее на *Святослава* вашего вы теперь знаете. Перемѣните тонъ и колоритъ—и будетъ прекрасно. Вѣдь Кліо не Аспазія, а

степенная и величавая Муза. Странно бы было, еслибы мы съ вами пустились вальсировать, какъ нѣкоторые изъ Московскихъ профессоровъ дурачатъ себя: послѣ всякаго бала, на которомъ бывали подобныя каррикатуры, я слыхалъ отъ студентовъ насмѣшки. Однажды самъ командиръ (то-есть, графъ С. Г. Строгановъ) надъ этимъ смѣялся. Вотъ какъ важно соблюденіе decorum".

По поводу замѣчаній И. И. Давыдова о тонѣ Исторіи Погодинъ отвѣчалъ пространнымъ письмомъ: „Наконецъ собрался я отвѣчать вамъ на послѣднее письмо ваше, почтеннѣйшій Иванъ Ивановичъ, хотя собственно отвѣтъ готовъ былъ у меня тотчасъ по его прочтеніи. О тонѣ Исторіи своей, о тонѣ Исторіи вообще для нашего времени я думалъ ни много, ни мало лѣтъ десять; принимался писать въ продолженіе этого же времени нѣсколько разъ, и недовольный оставлялъ; смотря и слушая Гоголя, записалъ на своей тетради, 1840 года, января 5: вотъ какихъ *живыхъ* людей надо въ исторію; вышелъ изъ Университета на два года (какъ полагалъ сначала) въ особенности для того, чтобъ на досугѣ, въ уединеніи, безъ заботы о текущихъ дѣлахъ, найти желанный тонъ, и найдя приняться за прежнее дѣло, пишучи между тѣмъ Исторію. Дѣла оборотились иначе, какъ вы знаете. Прошли два года, несчастные въ моей жизни. Въ концѣ прошедшаго отдохнувъ, воскликнулъ я: нашелъ, нашелъ! и принялся писать, написалъ до Удѣловъ, созвалъ къ себѣ семьдесятъ толковниковъ, друзей и враговъ, образованныхъ людей и необразованныхъ, знатныхъ и съ бородами, стариковъ и дѣтей, пожилыхъ дамъ и дѣвицъ, Русскихъ и полу-Русскихъ. Мнѣ хотѣлось подмѣтить впечатлѣніе, вниманіе или скуку, прислушаться къ толкамъ, разумѣется, заглазнымъ,—и я удостовѣрился, что тонъ мой настоящій для нашего времени, и я держусь его, и буду держаться, благодарный за частныя замѣчанія.—Иногда, смотря по предмету, онъ мѣняется и будетъ мѣняться у меня, возвышаясь и понижаясь, но главное: простота и живость должны остаться

характеристикою сочиненія. Простолюдинъ долженъ читать ее, между тѣмъ какъ ученикъ Шлецера, строжайшій историко-критикъ, не долженъ найти ни сучка, ни задоринки (все вслѣдствіе точнѣйшихъ разысканій—девять томовъ), и свѣтскій человѣкъ находитъ удовольствіе въ живыхъ картинахъ, драматическое участіе. Я хотѣлъ было дать первому періоду колоритъ саги, сообщить характеръ піэтическій, но благодаря, или лучше не благодаря своимъ изслѣдованіямъ, зналъ о немъ столько истиннаго, вѣрнаго, несомнѣннаго, что никакъ не могъ отнимать его отъ Исторіи. Decorum Карамзинъ соблюлъ въ высшей степени, но въ его мантію не смѣетъ наряжаться уже никто. Онъ драпировался такъ, какъ никому уже не удастся. Покушеніе тщетное! Языка *его* никто не перейметъ. Самое искусное подражаніе всегда останется подражаніемъ, лишеннымъ жизни. Я дѣлалъ опыты написать къ нему окончаніе, то-есть, довести его повѣствованіе до избранія Романовыхъ — выходило порядочно, но Кановину даже руку знатокъ отличитъ всегда отъ древней статуи. Можетъ быть, современемъ я это однакожъ сдѣлаю, то-есть, допишу его двѣ главы, дабы показать между прочимъ нашимъ читателямъ, что могу управлять языкомъ по произволенію. Живопись Карамзина – мало хроматическая. И Олегъ, и Мстиславъ, и Иваны языкомъ его подводятся подъ одинъ уровень, между тѣмъ какъ эти люди совершенно различные. Скажу еще вотъ что: съ его decorum нельзя даже положить имъ различіе: такъ онъ связываетъ. А у меня, кажется, выскочитъ нищій изъ среды трепещущихъ Псковитянъ и закричитъ царю: Ивашко, Ивашко, долго ли лить тебѣ кровь христіанскую. Такія черты Карамзинъ долженъ былъ заваливать въ примѣчаніяхъ. О выходахъ царей Михаила Ѳеодоровича и пр. нельзя вѣдь говорить съ важностью, а надо представить живо, какъ обветшали старыя формы ея. Герои Печерскаго монастыря, они суть и герои Русской Исторіи (отверженные ею до сихъ поръ),—явятся у меня въ полномъ decorum своего высокаго смиренія, созерцанія и благочестія.

Наконецъ вы, воспитанникъ Древности, не обращаете вниманіе на духъ времени. Знаю, что вы будете отвѣчать на это вѣчностью законовъ изящества и проч. Но надо различить и въ духѣ времени его преходящее, постоянное и не постоянное, которое принадлежитъ ему по тѣмъ же вѣчнымъ законамъ развитія. Простоты, простоты онъ требуетъ, и Расинъ, Ливій, Карамзинъ не могутъ произвести теперь на нашихъ современниковъ никакого дѣйствія. Задача для историческаго писателя—не унизить простоты до пошлости. Вотъ отъ этого паденія прошу друзей искусства, людей вкуса, меня удерживать. Съ этою цѣлію я рѣшился печатать отрывки".

Въ отвѣтъ Погодину на это письмо И. И. Давыдовъ писалъ: „Все, что вы пишите о тонѣ Исторіи, справедливо и вѣрно; но точность описываемыхъ характеровъ и событій извѣстнаго какого-либо времени зависитъ не отъ слога, а отъ самого изображенія, равно какъ вѣрность портрета въ живописи бываетъ не отъ красокъ, а отъ очертаній, или рисовки. Брюловъ и карандашемъ начертитъ портретъ сходнѣе, нежели другой живописецъ красками. Отъ того картины Карамзина, не смотря на яркость и прелесть красокъ слога, не вѣрны, не соотвѣтствуютъ своему времени въ древней Исторіи. Но тѣ же самыя краски, тотъ же самый слогъ какъ хорошъ тамъ, гдѣ и рисовка вѣрна, напримѣръ, съ Исторіей Годунова. На этомъ основаніи я и повторяю, что выражаться должно такъ, какъ выражался Карамзинъ, а воззрѣніе на времена, событія, дѣйствующія лица должно быть другое—болѣе точное, согласное съ каждымъ періодомъ времени. О герояхъ монастырей говорите, какъ говорилъ Карамзинъ о Филиппѣ митрополитѣ. Восклицаніе нищаго во Псковѣ: Ивашко, долго ли тебѣ лить кровь христіанскую, ни мало не помѣшаетъ изящному разсказу величавой Кліо. Вѣдь Исторія—особый міръ Божій: развѣ прелесть вещественнаго міра нарушается отъ того, что тамъ, гдѣ водятся слоны и львы, водится и мартышка?"

И. И. Давыдовъ не ограничился замѣчаніемъ о тонѣ

Исторіи, но дѣлалъ Погодину и другія замѣчанія: „Заповѣдь, говорите вы, то же, что запрещеніе. Поэтому заповѣдь: *чти отца и матерь твою*—есть запрещеніе? Заповѣдный лѣсъ—говорятъ у насъ справедливо. Да что жъ это значитъ? Лѣсъ, который заповѣдано беречь, *заповѣдано* не рубить. Наконецъ припомните слова: *Учаще ихъ блюсти вся, елика заповѣдахъ вамъ.* Развѣ здѣсь *заповѣдахъ* значитъ: запретилъ. *Побѣла* никогда не употребляется грамотными“.

Послѣднее замѣчаніе И. И. Давыдова о словѣ *побѣла* приводитъ на память замѣчаніе митрополита Филарета, сдѣланное ректору Московской Духовной Академіи Алексѣю по поводу примѣченныхъ митрополитомъ въ переводѣ *Лѣствичника* простонародныхъ выраженій: „*Начинать съ Бога.* Надобно говорить: *начинать отъ Бога.* Почему же переводчикъ говоритъ иначе? Не видно иной причины, какъ потому, что такъ, по его мнѣнію, говоритъ народъ, и притомъ безграмотный. Надобно ли, чтобы и въ Духовную Словесность проникало это идолопоклонство народу, отъ котораго падаетъ не одна Словесность“.

Письмо свое къ Погодину И. И. Давыдовъ заключаетъ такими словами: „Для образованія формъ съ языкомъ бываютъ извѣстные періоды, по совершеніи которыхъ формы, какъ лава, остываютъ, крѣпнутъ—и тогда нововведенія не позволительны“.

Отдавая справедливость историческимъ отрывкамъ Погодина, М. А. Максимовичъ былъ противъ печатанія ихъ въ *Москвитянинѣ.* „Какъ они ни прекрасны“, писалъ онъ,—„сами по себѣ, но для журнала постоянное ихъ помѣщеніе едва ли будетъ такъ занимательно, какъ было бы совмѣстное ихъ помѣщеніе въ цѣльной книгѣ. Журналъ отъ того не столько выиграетъ, сколько будущая книга утратитъ интересъ новости. Одинъ, два отрывка—это иное дѣло! Такъ по крайней мѣрѣ мнѣ кажется. *Вѣдь ужъ теперь отъ Погодина Русская Исторія должна быть не то, что его прежняя,* или Устряловская. Она должна быть *монументальная,* должна быть цѣль-

нымъ, изящнымъ созданіемъ, поэмою. Господь да благословитъ тебя на это дѣло! А я того мнѣнія, что это дѣло при изданіи журнала и Изслѣдованій—не можетъ исполниться".

Съ полнымъ сочувствіемъ къ Историческимъ отрывкамъ Погодина отнесся писатель, принадлежавшій къ Карамзинской школѣ и тогда доживавшій свои послѣдніе дни. „Вашъ *Святославъ*", писалъ Погодину Н. Д. Иванчинъ-Писаревъ,—„написанъ съ знаніемъ историка и съ чувствомъ русскаго. Напрасно думаютъ новые писаки, что Исторію Государства должно писать такъ, чтобы не узнали, кто писалъ ее, китаецъ или французъ, японецъ или русскій. Я стою, вмѣстѣ съ Карамзинымъ, въ противномъ этому. *Гдѣ нѣтъ любви*, сказалъ онъ, *тамъ нѣтъ души*".

„Мнѣ нужна", писалъ Шевыревъ Погодину (13 іюня 1847 г.), „поѣздка. Хочется освѣжиться и отдохнуть". Желаніе Шевырева исполнилось. Пользуясь вакаціонными днями, онъ предпринялъ поѣздку на Сѣверъ. Предъ отъѣздомъ онъ просилъ Погодина доставить ему Житія Корнелія Комельскаго, Нила Столбенскаго, Павла Вологодскаго, Макарія Колязинскаго и Никиты Переяславскаго [76]).

М. Н. Катковъ, узнавъ о предпринятомъ Шевыревымъ путешествіи, не безъ нѣкоторой зависти писалъ А. Н. Попову: „Шевыревъ хочетъ этимъ лѣтомъ сдѣлать поѣздку по нѣкоторымъ губерніямъ, какъ-то: Тверской и Новгородской, для своихъ розысканій. Доброе дѣло, давно бы пора! Какъ бы хотѣлъ отправиться и я на такую поѣздку" [77]).

24 іюня 1847 г. Шевыревъ выѣхалъ изъ Москвы. „Мнѣ нуженъ былъ отдыхъ", писалъ онъ, — „отъ трудовъ академическаго года. Я хотѣлъ согласить его съ занятіемъ по сердцу. Ни на чемъ такъ нельзя отдохнуть человѣку, утомленному кабинетною жизнію, какъ на пути скоромъ и и дѣятельномъ. Здѣсь мысль, не прерывая своего занятія, живетъ внѣшними предметами. Впечатлѣнія смѣняются быстро: душа, освѣжившись, бодрѣй возвращается въ свой внутренній міръ. Давно желалъ я взглянуть на предѣлы нашего Сѣвера.

Особенно хотѣлось мнѣ посѣтить Бѣлозерскія мѣста, съ которыми связана память преподобнаго Кирилла, одного изъ просвѣтителей тамошнихъ краевъ въ эпоху Татаръ".

Намѣреваясь подѣлиться съ соотечественниками впечатлѣніями своего путешествія, Шевыревъ писалъ: „Мыслящая бесѣда съ замѣчательнымъ человѣкомъ, живыя рѣчи простолюдиновъ, мѣстность природы, впечатлѣнія городовъ и селъ, памятники древней Руси, монастыри, храмы, иконы и хартіи, обычаи и нравы, преданія, языкъ народный и его физіогномія — все взойдетъ въ мой разсказъ, безъ строгаго порядка и связи, все, какъ случилось". Вмѣстѣ съ тѣмъ Шевыревъ возстаетъ противъ тѣхъ, которые готовы *осмѣять даже мысль о путешествіи по Россіи*. „Выдавая себя за строгихъ поклонниковъ Запада, они въ этомъ случаѣ однако позволяютъ себѣ отступать отъ него, потому что Западъ не только не пренебрегаетъ такими путешествіями, но ввелъ ихъ въ моду и безпрерывно обогащаетъ свою литературу ихъ описаніями. Мы также весьма охотно читаемъ ихъ, но въ этомъ чтеніи насъ не столько занимаютъ разсказы объ нашемъ Отечествѣ, сколько мнѣніе, какое объ насъ составили западные путешественники. Данныя мы всегда признаемъ невѣрными, неосновательными, и даже извиняемъ въ томъ: гдѣ же иностранцу, говоримъ мы, не знающему языка, ни исторіи нашей, собрать вѣрные факты о землѣ и народѣ? Но мнѣніе, не смотря на то, для насъ все-таки имѣетъ великую цѣну и важность, хотя логически слѣдовало бы такъ заключить: данныя неосновательны, слѣдовательно, и мнѣніе, изъ нихъ выведенное, таково же. Но подобное заключеніе требуетъ другого условія. Надобно имѣть для того мнѣніе о самихъ себѣ, какъ націи, а мы покамѣстъ его еще не составили — и потому дорожимъ мнѣніемъ другихъ" [78]).

Возвратившись въ Москву, Шевыревъ извѣстилъ о своемъ пріѣздѣ Погодина (24 іюля 1847): „Пріѣхалъ я вчера, другъ мой, и очень доволенъ своей поѣздкой. Разговоровъ будетъ много" [79]).

Благодаря этой поѣздкѣ, Русская Литература обогатилась драгоцѣнною книгою, вышедшею въ свѣтъ только въ 1850 году, подъ слѣдующимъ заглавіемъ: *Поѣздка въ Кирилловъ Бѣлозерскій монастырь. Вакаціонные дни профессора С. Шевырева въ 1847 году.*

По поводу выхода въ свѣтъ этой книги Погодинъ между прочимъ писалъ: „Далеко ушла бы Русская наука, еслибъ всѣ наши ученые работали такъ, какъ Шевыревъ отдыхаетъ. Онъ поѣхалъ прогуляться послѣ трудовъ, да и открылъ происхожденіе Святославова Сборника, нашелъ новое слово Серапіоново, открылъ примѣчательный образъ въ Переяславлѣ, познакомилъ публику съ житіями Святыхъ и пр., и пр., и пр." Въ заключеніе своей краткой рецензіи Погодинъ замѣтилъ: „Всякому Русскому человѣку" книга Шевырева „принесетъ истинное удовольствіе, *а кто морщится отъ ладона, тому лучше и не читать ея*" [80]).

XII.

Лѣтомъ 1846 года Погодинъ выпустилъ въ свѣтъ три тома своихъ *Изслѣдованій, Замѣчаній и Лекцій о Русской Исторіи.* Это событіе своей жизни Погодинъ отпраздновалъ обѣдомъ. По этому поводу въ *Дневникѣ* его, подъ 8 іюня 1846 года, находимъ слѣдующую оригинальную запись: „Обѣдалъ у меня Шевыревъ. Праздную окончаніе изданія. Приглашены покойники: Карамзинъ, Шлецеръ, Кругъ. Они рады моему труду. А изъ живыхъ? Не друзья, а развѣ посторонніе. Шевыревъ принималъ нѣсколько участіе. Дмитріевъ спрашивалъ — и только".

Въ предисловіи къ своимъ Изслѣдованіямъ Погодинъ между прочимъ сообщаетъ и автобіографическія данныя. „Предлагаемые нынѣ три тома", писалъ онъ,— „Изслѣдованій о Русской Исторіи (862—1054 г.) были давно уже приготовлены къ печати, хоть и не вполнѣ, но изданіе ихъ замедлялось по разнымъ причинамъ.

„Сначала ожидалъ я возвращенія Археографической Экспедиціи, въ надеждѣ получить отъ ея поисковъ какія-нибудь новыя важныя свидѣтельства. Потомъ останавливало меня мнѣніе, поданное ею, въ *Хронологическомъ указаніи источниковъ Русской Исторіи* (1834) *), что наши Лѣтописи не такъ древни, какъ мы полагали, и что извѣстные подъ этимъ именемъ сборники принадлежатъ къ XIV столѣтію.

„Это объявленіе было для меня слишкомъ важно, ибо всѣ мои изслѣдованія основывались на Несторѣ, какъ лѣтописателѣ XI вѣка. Должно было ожидать доказательствъ новаго мнѣнія, которое, противоположное моему, измѣняло совершенно видъ дѣла, чтобы, сообразуясь съ ними, исправить, передѣлать, или дополнить, подтвердить мои положенія. Желая вызвать скорѣе эти доказательства, я бросилъ тотчасъ противникамъ перчатку разсужденіями о Несторѣ, кои началъ печатать въ журналахъ; но отвѣта не воспослѣдовало, и я вскорѣ увидѣлъ, что шумъ былъ сдѣланъ по пустому, какъ говоритъ Шекспиръ, и что бояться за Нестора нѣтъ никакихъ причинъ, а сомнѣнія такъ названной скептической школы, начавшей почти тогда же свой дѣтскій лепетъ, не заслуживали никакого вниманія знатоковъ.

„За то, съ другой стороны, Копенгагенское Общество Сѣверныхъ Антикваріевъ сообщило ученому свѣту свое намѣреніе издать *Русскія Древности* (Antiquitates Rossicae), обѣщая извлечь изъ сѣверныхъ источниковъ, большею частію неизвѣстныхъ, свидѣтельства, до насъ касающіяся, точно какъ Стриттеръ сдѣлалъ то съ Византійскими лѣтописями. Новая причина останавливаться—уже отъ радости, какъ прежде отъ отъ страха: я ласкалъ себя надеждою утвердить свое мнѣніе новыми доказательствами.

„Копенгагенское изданіе откладывалось однакожъ годъ отъ году по разнымъ уважительнымъ причинамъ, и я по тщет-

*) *Хронологическое указаніе матеріаловъ Отечественной Исторіи, Литературы, Правовѣдѣнія, до начала XVIII столѣтія* П. М. Строева, стр. 7.

номъ ожиданіи рѣшился приступить къ своему, по крайней мѣрѣ,—издать вступленіе: въ 1838 году напечатанъ былъ мой *Несторъ*, дополненный новыми разсужденіями, въ особенности о древнихъ договорахъ, въ отношеніи къ Несторовой Лѣтописи,—договоровъ, которые составляли главный камень преткновенія для новыхъ судей. Въ 1840 году, мая 4 дня, Императорское Московское Общество Исторіи и Древностей Россійскихъ, содѣйствовавшее, въ послѣднее время, своимъ пособіемъ всѣмъ трудамъ въ Москвѣ по части Русской Исторіи, опредѣлило печатать продолженіе моихъ изслѣдованій на свой счетъ, и я занялся происхожденіемъ Руси, вопросомъ, который, по моему мнѣнію, наименѣе могъ измѣниться при какихъ бы то ни было новыхъ открытіяхъ.

„По окончаніи его, въ 1842 году, отправился я въ Копенгагенъ, чтобъ познакомиться съ тамошними знаменитыми учеными и узнать навѣрное, чтó и когда должно ожидать отъ Общества Сѣверныхъ Антикваріевъ. Изданія его только что обдумывались, приготовлялись. Притомъ я удостовѣрился, что Русская Исторія должна ожидать отъ нихъ величайшей пользы въ смыслѣ дополненій, поясненій, подтвержденій, но отнюдь не переворотовъ, и что мои изслѣдованія не могутъ ни въ какомъ случаѣ подвергнуться значительнымъ измѣненіямъ.

„Итакъ, возвратясь, я принялся опять за изданіе. Кто знакомъ съ подобными трудами, тотъ согласится, что книга, съ тысячами справокъ и подлинныхъ словъ изъ разныхъ свидѣтельствъ, не можетъ идти слишкомъ скоро. Я приближался къ половинѣ, какъ вдругъ тяжкая болѣзнь и разныя несчастныя обстоятельства прервали мои занятія въ 1844 году.

„Уже въ 1845 г., собравшись съ силами, я могъ предаться имъ вполнѣ,—и теперь кончилъ три первые тома, лежавшіе у меня камнемъ на сердцѣ.

„Первый томъ посвященъ источникамъ древнѣйшей Русской Исторіи, и преимущественно Несторовой лѣтописи. Въ составъ его вошло прежде напечатанное, извѣстное публикѣ,

изслѣдованіе, къ которому присоединены замѣчанія о прочихъ источникахъ, какъ-то: Русской Правдѣ, церковныхъ уставахъ, сѣверныхъ сагахъ и проч.,—также разборъ всѣхъ мнѣній о Несторовой лѣтописи, вопросовъ, къ ней соприкосновенныхъ, разборъ всѣхъ разсужденій скептической школы, объясненіе ея недоразумѣній и разрѣшеніе ея сомнѣній. Разборы эти были слишкомъ для меня скучны и утомительны, отняли у меня много драгоцѣннаго времени, но я почелъ обязанностью очистить заданный себѣ вопросъ со всѣхъ сторонъ, отклонить всякій поводъ или предлогъ къ обвиненію въ неполнотѣ, вразумить молодыхъ людей, готовыхъ всегда гоняться за новизною, расположенныхъ по природѣ болѣе къ сомнѣнію и отрицанію, чѣмъ утвержденію и довѣрію, и, наконецъ, предохранить Русскую Исторію на будущее время отъ подобныхъ покушеній.

„Предметъ второго тома есть происхожденіе Варяговъ-Руси. Здѣсь помѣщено первое мое разсужденіе объ этомъ предметѣ, исправленное и дополненное новыми открытіями и изслѣдованіями, сдѣланными въ продолженіе двадцати слишкомъ лѣтъ послѣ его перваго изданія, какъ мною, такъ и другими, отъ чего оно увеличилось почти вдвое. Я почелъ также необходимымъ разобрать новыя мнѣнія о происхожденіи Варяговъ-Руси, опровергнуть возникшія сомнѣнія, какъ у противниковъ, такъ и у поборниковъ, и отвѣчать на всѣ относящіеся сюда вопросы. Ко второму тому присоединилъ и лекціи свои о Словенахъ, въ коихъ заключается краткое извлеченіе изъ *Словенскихъ Древностей* Шафарика, переведенныхъ Бодянскимъ, почти вездѣ собственными словами автора. Извлеченіе это дѣлалъ я вотъ съ какою цѣлію: мнѣ хотѣлось показать при этомъ случаѣ, въ какой связи Русская Исторія находится съ древле-Словенскою, на которую многіе молодые люди начали обращать у насъ особенное вниманіе, чего отъ нея, на какихъ путяхъ, ожидать можно, и отъ какихъ заблужденій остерегаться должно; наконецъ это извлеченіе доставляетъ данныя, съ коими слѣдуетъ приступать къ разсмотрѣнію на-

шихъ Словенъ, пропускаемыхъ нами до сихъ поръ безъ вниманія, хотя изъ нихъ собственно составилось государство.

„Третій томъ содержитъ изслѣдованія и замѣчанія о событіяхъ и прочихъ явленіяхъ перваго періода, который я называю Варяжскимъ или Норманскимъ (862—1054), съ объясненіемъ, по принадлежности, всѣхъ мѣстъ Несторовой лѣтописи, и наконецъ сравненіе нашего начала съ началомъ прочихъ Западныхъ государствъ, гдѣ показанъ источникъ различія между ихъ послѣдующими исторіями, даже до настоящаго времени".

Въ заключеніе своего предисловія Погодинъ обращается къ молодымъ друзьямъ Русской Исторіи: „Посвящаю мои Изслѣдованія молодымъ друзьямъ Русской Исторіи, студентамъ университетовъ, и въ особенности студентамъ Московскаго Университета, между которыми произошли они, среди лекцій, въ продолженіе двадцати лѣтъ. Желаю искренно, чтобы ученики мои воспользовались моими трудами и распространили ихъ далѣе и далѣе, лучше и лучше, на пользу науки, на славу Отечества, къ чести своего имени. Русская Исторія, по своей обширности, по богатству источниковъ, по своему значенію въ кругу наукъ, по своей важности въ системѣ гражданскаго образованія, по своимъ отношеніямъ къ настоящему времени, которое можетъ, если захочетъ, научиться отъ нея многому, и наконецъ по своей близости къ нашему сердцу, къ нашей плоти и крови, есть предметъ достойный изученія внимательнаго, глубокаго, постояннаго! Чѣмъ больше будемъ мы искать въ ней, тѣмъ больше находить.

„Методъ, употребленный мною, смѣю почитать сообразнѣйшимъ съ цѣлію, еще болѣе—думаю, что только посредствомъ его можно и достигать до заключеній вѣрныхъ и положительныхъ. Прежде всѣхъ разсужденій, толкованій и высшихъ взглядовъ должно, по моему мнѣнію, собирать всѣ мѣста изъ лѣтописей, грамотъ и другихъ источниковъ, объ извѣстномъ предметѣ, и потомъ уже, имѣя ихъ предъ глазами, дѣлать выводы объ его значеніи и отношеніи, въ ка-

комъ онъ находится къ другимъ смежнымъ предметамъ, и вообще ко всей Исторіи, повѣряя свои выводы прочими свѣдѣніями. Работа трудная и вмѣстѣ легкая, за которую можетъ приниматься всякій юноша, не имѣя даже нужды въ особливыхъ способностяхъ. Объясните намъ такимъ образомъ бояръ, дѣтей боярскихъ, пасынковъ, дѣтскихъ, дворянъ, жильцовъ, тіуновъ, цѣловальниковъ, куны, гривны, рубли, деньги, города, слободы, помѣстья, отчины, поле, правежъ, полюдье, кормленіе, опричину, поклоны, пошлины, дары; составьте сводныя грамоты всѣхъ родовъ; разберите по частямъ все управленіе, духовное, гражданское, военное, такимъ образомъ въ теченіе немногихъ лѣтъ Русская Исторія возведена будетъ на степень, на которой быть ей подобаетъ, и вразумленная публика перестанетъ толковать о вещахъ, противныхъ нашему духу, развитію, происхожденію, научится уважать свой народъ, воспользуется своими опытами, и начнетъ искать добра тамъ, гдѣ его найти можно, то-есть, въ своей землѣ, а не подъ тропиками Рака или Козерога.

„Я говорилъ о работѣ, доступной для всякаго трудолюбиваго молодого человѣка, но она не должна останавливать другихъ, одаренныхъ особенными способностями, чующихъ въ себѣ присутствіе высшей силы. Пусть такіе избранные обращаются къ самой Исторіи, выбираютъ себѣ тотъ или другой періодъ — Нормановъ, Монголовъ, Москву, Новгородъ, пятнадцатый вѣкъ, Смутное время, Малороссію, стрѣльцовъ, или посвящаютъ свое перо одному какому-либо лицу — Ивану третьему, Грозному, Годунову, Хмельницкому, Петру. У насъ распространилось недавно повѣрье, что за такія сочиненія приниматься не время еще теперь, пока не обработаны всѣ источники, и пока не кончились всѣ приготовительные труды. Это мнѣніе совершенно ложное. Еслибъ имѣли его Татищевъ, Стриттеръ, Карамзинъ, то до сихъ поръ у насъ не было бы никакой Исторіи. Если же Татищевъ, Стриттеръ, Карамзинъ принимались въ свое время за сочиненіе Исторіи и поступили въ этомъ случаѣ прекрасно, то кольми

паче возможно это теперь, послѣ ихъ трудовъ, при обнародованіи матеріаловъ, когда проложена уже, такъ сказать, столбовая дорога Исторіи. Лишь былъ бы умъ, жаръ, талантъ, даръ Божій! Отъ Историка не должно спрашивать новыхъ изслѣдованій, а только искусства воспользоваться сдѣланными. Всякій вѣкъ имѣетъ свои требованія и свой взглядъ на вещи, и во всякомъ вѣкѣ должна возобновляться картина Исторіи, сообразно съ состояніемъ науки и матеріаловъ въ его время.

„Я почелъ нужнымъ сказать здѣсь нѣсколько словъ объ этомъ повѣрьѣ, опасаясь, чтобъ оно не задержало какой-нибудь талантъ испытывать свои силы на прекрасномъ и блистательномъ поприщѣ.

„Но довольно—въ слѣдующихъ томахъ молодые читатели увидятъ еще яснѣе мои совѣты о предлежащихъ работахъ для Русской Исторіи: четвертый и пятый томы, объ удѣльномъ періодѣ, которые мнѣ должно только исправить и дополнить по новымъ изданіямъ Археографической Коммиссіи, надѣюсь я издать въ слѣдующемъ году; о прочихъ томахъ, обнимающихъ продолженіе Русской Исторіи, до единодержавія Петра I, хотя не смѣю теперь ничего загадывать, но могу сказать, что приложу все свое стараніе, дабы кончить ихъ какъ можно скорѣе и отдать полный отчетъ соотечественникамъ въ своей университетской службѣ.

„Закончу мое предисловіе словами мниха Лаврентія, которому одолжены мы древнѣйшимъ спискомъ Несторовой Лѣтописи, положеннымъ въ основаніе этихъ изслѣдованій:

„Радуется купецъ прикупъ створивъ, и кормчій въ отишье приставъ, и странникъ въ отечество свое пришедъ; такожe радуется и книжный списатель, дошедъ конца книгамъ... И нынѣ, господа отци и братья, оже ся гдѣ буду описалъ, или переписалъ, или не дописалъ, чтите исправливая Бога дѣля, а не клените!...“

Вскорѣ послѣ изданія въ свѣтъ своихъ изслѣдованій Погодинъ встрѣтился съ однимъ изъ *молодыхъ друзей Русской*

Исторіи съ С. М. Соловьевымъ и съ грустью записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Соловьевъ не подошелъ поговорить объ изслѣдованіяхъ“ [81]).

Какъ на Шевырева, такъ и на преосвященнаго Иннокентія произвели непріятное впечатлѣніе рѣзкіе отзывы Погодина, въ его предисловіи, о такъ называемыхъ скептикахъ. „Мнѣ кажется“, писалъ Шевыревъ, — „что ты напрасно задѣваешь Строева, а потомъ скептиковъ. Какъ можно на заглавіи такого труда помнить о нихъ, а не выдержать спокойствія! Все ты какъ-то раздраженъ. О молодыхъ людяхъ неопытныхъ и легкомысленныхъ—я бы оставилъ“. Въ томъ же укорялъ Погодина и преосвященный Иннокентій: „Видите, я правду говорилъ, что напрасно вы въ своихъ лекціяхъ слишкомъ бранили школу Каченовскаго. То же замѣчаютъ въ *Отечественныхъ Запискахъ* и дѣльно! Брань вамъ не къ лицу. Вамъ надобно быть добрымъ для всѣхъ и со всѣми“.

Много утѣшенія доставляло Погодину то сочувствіе, съ которымъ приняли его изслѣдованіе Троицкіе ученые. „Усерднѣйше благодарю васъ за драгоцѣнныя ваши книги“, писалъ ему А. В. Горскій, — „въ которыхъ древняя наша Исторія и бытъ народный разсматриваются такъ подробно, какъ еще не бывало на Руси. Сколько дорогихъ замѣтокъ и для нашей Церковной Исторіи. Между прочимъ я съ удовольствіемъ встрѣтилъ убѣжденіе, съ какимъ высказана у васъ мысль о вліяніи на насъ христіанства чрезъ Варяговъ. Мнѣ кажется, что этими обстоятельствами можно объяснить и ту загадку, почему Св. Ольга посылала къ Императору Германскому за Епископомъ, когда уже сама крестилась въ Константинополѣ и пребывала твердою въ Православіи. Не позволительно ли думать, что она это сдѣлала для собравшихся въ Кіевѣ христіанъ Латинской вѣры изъ Варяговъ? Отвергать, что довольно было у насъ Варяговъ Латинской вѣры, какъ дѣлаетъ о. Макарій, значитъ заподозрѣвать нѣсколько историческія свидѣтельства, или перетолковывать ихъ совершенно произвольно“ [82]).

Не смотря на то, что М. А. Максимовичъ былъ противникъ Норманской теоріи, Погодинъ ему одному изъ первыхъ послалъ свои Изслѣдованія. „Вотъ тебѣ и Изслѣдованія", писалъ онъ 16 іюня 1846 г.; — „что ты совсѣмъ пропалъ?" [83]).

Отвѣчать Максимовичъ не торопился и только 14 декабря 1846, г., изъ Кіева, отправилъ Погодину отвѣтное письмо, въ которомъ между прочимъ читаемъ: „Я воображалъ тебя уже въ Палестинѣ; но слышу, что ты опять въ Москвѣ... Спасибо за *Изслѣдованія*, которыя прочелъ съ великимъ вниманіемъ. Третій томъ особенно интересенъ и важенъ, — но воля твоя: натяжекъ на Скандинавство слишкомъ много. Объ этомъ я настрочилъ тебѣ предлинное посланіе, которое, какъ удосужусь, перепишу и доставлю тебѣ".

Вмѣстѣ съ тѣмъ Погодинъ упрекалъ В. В. Григорьева за молчаніе объ его *Изслѣдованіяхъ*. На это Григорьевъ написалъ ему откровенный отвѣтъ, который едва ли понравился Погодину. „Упрекъ—*зачѣмъ не напишу я чего-нибудь о вашихъ лекціяхъ и пр.*? Затѣмъ,—что я не чувствую довольно силъ и не имѣю довольно свѣдѣній, чтобъ взяться за серьезный разборъ такой книги. Писать же что-нибудь — и охоты нѣтъ и ни къ чему бы не повело. Потомъ, признаюсь, *лекціи* ваши не произвели на меня сильнаго впечатлѣнія Все это было уже читано прежде. Процессъ мышленія совершается у васъ, какъ у нѣмца, вѣроятно, оттого, что вы выросли въ уваженіи къ Нѣмецкимъ авторитетамъ. Вы сами не знаете, сколько въ васъ Нѣмецкаго. Вы до сихъ поръ занимаетесь Русскою Исторіею, идя по слѣдамъ Нѣмцевъ. Былъ бы я профессоромъ Русской Исторіи, не знаю до чего бы дошелъ, а повелъ бы дѣло иначе. Вслѣдствіе всего сказаннаго разборъ мой вашихъ лекцій, еслибы я его написалъ, былъ бы довольно враждебный, а толку отъ него было бы не много: къ чему же писать?"

Сдѣлавъ этотъ весьма не лестный отзывъ, Григорьевъ сообщаетъ Погодину слѣдующее: „Что касается до Святославова похода—я не писалъ ничего отдѣльнаго объ немъ,

а бросилъ только одну замѣтку въ *Обзоръ Политической Исторіи Хазаровъ* и въ *Походахъ Руссовъ на Востокъ*. Картѣ похода Руссовъ на Бердау дѣлать не къ чему. До Дагестана могли они пробраться точно также, какъ Петръ Великій, во время похода на Персію: по Волгѣ до Астрахани (или до Итиля); тамъ берегомъ Каспійскаго моря; а тамъ, встрѣтивъ въ горахъ сопротивленіе или физическія трудности, сѣли на суда, которыя сопровождали ихъ около берега отъ Итиля до Дагестана,—и моремъ въ устье Куры. Не понимаю, въ чемъ видите вы трудности, мимо которыхъ я, по выраженію вашему, *шмыгаю*".

Чрезъ Надеждина Погодинъ отправилъ экземпляръ своихъ *Изслѣдованій* къ Уварову для представленія ихъ Государю и другимъ членамъ Императорской Фамиліи; но Надеждинъ очевидно не торопился ихъ представить по принадлежности. Погодинъ обратился съ запросомъ къ И. И. Давыдову, и послѣдній отвѣчалъ: „До сихъ поръ Графъ не могъ представить Государю Императору *Изслѣдованій* вашихъ, потому что до сихъ поръ Надеждинъ не доставилъ экземпляра. Я самъ у него былъ, не засталъ дома, и все дожидаюсь, не пожалуетъ ли онъ ко мнѣ. Пока ожиданія напрасны".

За свои *Изслѣдованія* Погодинъ мечталъ получить чинъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника. Но эта мечта не осуществилась. Во всеподаннѣйшемъ докладѣ Уварова (5 мая 1847 г.) было сказано: „Имѣю счастіе представить Вашему Императорскому Величеству по одному экземпляру нынѣ изданныхъ бывшимъ профессоромъ Московскаго Университета Погодинымъ сочиненій: 1) *Изслѣдованія, Замѣчанія и Лекціи о Русской Исторіи* и 2) *Историко-критическіе отрывки*. Профессоръ Погодинъ есть одинъ изъ самыхъ ревностныхъ воздѣлывателей Отечественной Исторіи. Въ изданныхъ имъ книгахъ заключаются объясненія и разрѣшенія, болѣе или менѣе удовлетворительныя, на всѣ вопросы о древнемъ періодѣ Русской Исторіи. Въ уваженіе этого достоинства сочиненія Погодина всеподданнѣйше испрашиваю дозволенія

объявить автору Высочайшее Вашего Императорскаго Величества благоволеніе". На этомъ докладѣ Государемъ начертано карандашемъ: „*Согласенъ*".

Но Погодинъ, очевидно, остался недоволенъ результатомъ поднесенія, и въ своемъ *Дневникѣ* подъ 13 мая 1847 года записалъ слѣдующее: „Въ газетахъ мнѣ благоволеніе. Вотъ тебѣ и награда. Подлецы!"

И. И. Давыдовъ, желая успокоить Погодина, написалъ ему (10 іюля 1848 г.): „Мнѣ любопытно было прочесть представленіе, сдѣланное Графомъ Государю о васъ, при поднесеніи книгъ вашихъ: къ величайшему моему удовольствію, узналъ я, что оно продиктовано было Графомъ и согласовалось съ вашимъ желаніемъ. Но сердце Царево въ руцѣ Божіей: на представленіе послѣдовало извѣстное рѣшеніе. Будемъ надѣяться на будущее. Повторяю, что̀ и прежде писалъ: за Богомъ молитва, а за Царемъ служба не пропадаютъ. Наслѣднику книги ваши были представлены, о чемъ я также удостовѣрился лично, но отвѣта не было, вѣроятно, по той причинѣ, что представленіе книгъ совпадаетъ съ семейными заботами Августѣйшаго Супруга и Отца. Что̀ же дѣлать? Вѣдь отчета спрашивать не будешь. Терпѣніе, товарищъ, терпѣніе. Этой добродѣтели хоть у меня поучитесь..." [84]).

Все это нѣсколько успокоило Погодина, и онъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Уваровъ представлялъ меня, кажется, въ дѣйствительные статскіе совѣтники, а Царь, видно, не захотѣлъ, а я было разсердился на Уварова и хотѣлъ было писать ему укоризненное письмо".

XIII.

Изслѣдованія, Замѣчанія и Лекціи о Русской Исторіи подверглись нападенію со стороны Западниковъ. Въ *Отечественныхъ Запискахъ* появилась рецензія на нихъ, написанная К. Д. Кавелинымъ [85]). Погодинъ, „имѣя въ виду особенно поясненіе своихъ мыслей для молодыхъ друзей Исторіи

и читателей его книги", напечаталъ въ *Москвитянинѣ*: *Отвѣтъ моимъ рецензентамъ*.

Кавелинъ свои нападенія на книгу Погодина началъ съ заглавія ея, въ которомъ онъ почему-то усмотрѣлъ *неискренность*. На это Погодинъ отвѣчалъ вопросомъ: „Какъ же приличнѣе мнѣ назвать книгу? Я не смѣлъ дать ей имя Изслѣдованій, потому что о нѣкоторыхъ, хотя немногихъ, предметахъ дѣлаю только замѣчанія. Замѣчаніями назвать могъ еще менѣе потому, что большая часть ея состоитъ изъ Изслѣдованій. Лекцій же помѣщено только пять или шесть. Изслѣдованіями назвать мою книгу слишкомъ гордо. Замѣчаніями слишкомъ смиренно, лекціями вовсе невѣрно".

Далѣе Кавелинъ обвинялъ Погодина въ ненависти къ теоріямъ, въ пристрастіи къ частностямъ. На это обвиненіе Погодинъ восклицаетъ:

„Милостивый государь! Я учился подъ вліяніемъ Шиллинговой философіи, въ 1829 году перевелъ Астово введеніе въ Исторію, а въ первой своей лекціи, вступая на каѳедру Всеобщей Исторіи, сказалъ: „Міръ нравственный со всѣми своими явленіями, вѣрно, подчиненъ такимъ же непреложнымъ законамъ, какъ и міръ физическій. Сотвореніе міра физическаго происходило высокимъ порядкомъ,—это сказуетъ намъ Моисей, и объясняютъ и доказываютъ Лапласъ, Кювье, Филаретъ. Царство прозябаемыхъ, напримѣръ, возникло прежде животныхъ, а суша устроилась, когда слились воды; свѣтъ сосредоточился по раздѣленіи хаоса, и за вторымъ днемъ не могъ слѣдовать пятый, но третій. Такъ, вѣрно, происходило и въ Исторіи. Вѣрно, духъ человѣческій также постепенно выдѣлывался, какъ природа; вѣрно, дѣйствія его составляютъ такую же непрерывную цѣпь, какую составляютъ естественныя произведенія, въ которой всякое кольцо необходимо безъ излишку и недостатку, держится всѣми предыдущими и держитъ въ свою очередь всѣ послѣдующія; вѣрно, и для сотворенія природы нравственной есть вторые шесть дней творенія, коихъ историкомъ долженъ быть новый Моисей". Я люблю,

люблю въ особенности общія, мысли, ничто не доставляетъ мнѣ столько удовольствія, какъ ясныя обозрѣнія, и я горько соболѣзную, что въ наше время, даже въ Европейской Литературѣ, при множествѣ талантовъ второкласныхъ, общихъ мыслей объ Исторіи встрѣчается очень мало, — на высоту никто не возводитъ,—горизонтъ Исторіи сузился,—историки обмелѣли,—и Шлецеры, Гердеры, Миллеры остаются безъ наслѣдниковъ. Корпя надъ буквами, разбирая кавыки и запятыя, сличая свидѣтельства, подводя мѣста, роясь въ подземельѣ, въ пыли, въ хламу, убивая въ нѣкоторомъ смыслѣ свое время, я дѣлаю насиліе своей душѣ, приношу жертву Русской Исторіи, или, лучше, необходимости. Не обработавъ источниковъ, нѣкоторыхъ хотя вчернѣ, нельзя разсуждать, нельзя строить системъ: вотъ въ чемъ рано я убѣдился, и почему принялся за трудъ тяжелый, скучный, утомительный. Двѣсти лѣтъ отъ Рюрика до удѣловъ разобралъ я и анализировалъ *по слову*, во всѣхъ источникахъ, и напечаталъ свои Изслѣдованія. Вторыя двѣсти лѣтъ, до Монголовъ, поступаютъ въ печать въ нынѣшнемъ году. Третьи двѣсти лѣтъ, до Ивана III, приготовляются къ печати въ слѣдующемъ. Но продолжать своего труда въ одинаковомъ объемѣ болѣе мнѣ нельзя вслѣдствіе ужаснаго размноженія источниковъ съ XV столѣтія. Вотъ почему приглашалъ я, *и приглашаю*, молодыхъ друзей Исторіи, къ обработанію источниковъ".

На обвиненіе Кавелина въ насмѣшкахъ Погодина надъ *высшими взглядами* послѣдній отвѣчаетъ такъ: „Я дѣлалъ свои изслѣдованія о Норманскомъ періодѣ въ то время, какъ Полевой издавалъ *Телеграфъ*, ругалъ Карамзина, путалъ Исторію Русскаго народа, получалъ рукоплесканія въ Петербургскихъ журналахъ и цитаты даже въ сочиненіяхъ Академическихъ. Не противъ высшихъ взглядовъ и теоріи вообще я вооружался, а противъ высшихъ взглядовъ Полеваго, къ которымъ теперь присоединяю такіе же высшіе взгляды Соловьева, и нѣсколько—извините—вашихъ (напримѣръ, о поэзіи царя Ивана Васильевича Грознаго), хотя скажу вамъ искренно, у васъ я

вижу гораздо болѣе отчетливости и послѣдовательности, нежели у вашего товарища, который построилъ на пескѣ *новые города*, пустилъ по воздуху *дружинниковъ* спорить о *мѣстахъ* за небывалыя *отношенія*, а восхищаться ими на землѣ разставилъ *остальныхъ*—черныхъ людей! Вотъ такихъ высшихъ взглядовъ и теорій я не люблю, и буду ихъ преслѣдовать критикой, какъ преслѣдовалъ Славистовъ и скептиковъ Каченовскаго".

Затѣмъ Погодинъ переходитъ къ третьему пункту обвинительнаго противъ него акта Кавелина: „Принадлежа къ школѣ толкователей, экзегетиковъ", говоритъ Кавелинъ о Погодинѣ,—„а не историковъ въ настоящемъ смыслѣ слова, онъ никогда не могъ подняться до высшаго историческаго воззрѣнія. Отсюда его несправедливая, пристрастная, крайне ограниченная оцѣнка соперника, котораго имя, если не навсегда, то на долго будетъ памятно для всѣхъ, занимающихся Русской Исторіею: мы говоримъ о покойномъ Каченовскомъ. Каченовскій первый почувствовалъ неудовлетворительность прежняго, теперь мало-по-малу исчезающаго, натянутаго, неестественнаго воззрѣнія на Русскую Исторію. Онъ не былъ геніальнымъ человѣкомъ, но былъ человѣкомъ съ талантомъ, начитанный, знакомый съ требованіями науки и критикой. Подъ перомъ Карамзина наше прошедшее, только относительно къ послѣдующему важное и значительное, выросло въ нѣчто колоссальное и величественное. Каченовскій возсталъ противъ этихъ преувеличеній и старался привести Русскую Исторію къ ея естественнымъ размѣрамъ, снять съ глазъ повязку, которая показывала многое въ превратномъ видѣ, и возвратить, или, правильнѣе, привести насъ къ воззрѣнію, равному времени, въ которое совершались событія".

На это Погодинъ отвѣчалъ: „Этой мысли, милостивый государь, чуть ли не сто уже лѣтъ! Эта мысль была общею за пятьдесятъ лѣтъ въ нашемъ ученомъ мірѣ, и подъ вліяніемъ этой мысли изслѣдователи всѣхъ послѣднихъ поколѣній, съ нашимъ включительно, начинали свои занятія и изслѣ-

дованія... Выразилъ ее всѣхъ рѣзче и прежде Шлецеръ, за которымъ повторяли прочіе. Но между тѣмъ какъ мы здѣсь остановились на Шлецерѣ, въ Европѣ мысль о первоначальной дикости была приведена въ потрясеніе. Добровскій своими изслѣдованіями о Словенскомъ *языкѣ* началъ доказывать, что такого языка не могъ имѣть народъ *дикій*. Гриммъ разсуждалъ такъ о Германцахъ, разсматривая ихъ языкъ и древности. Вильгельмъ Гумбольдтъ сказалъ *вообще* послѣ изслѣдованія о Кельтахъ и Иберахъ: „Мы должны остерегаться, чтобы народовъ, которыхъ древніе называютъ варварами, не смѣшивать съ дикарями, находимыми въ новѣйшее время въ Америкѣ и на Южномъ океанѣ; степень образованія, которой достигли первые, была совершенно иная. И даже по сю пору еще никѣмъ удовлетворительно не рѣшенъ важный вопросъ о послѣднихъ: дикость или одичалость представляютъ они...“ Всѣ эти мысли начали распространяться мало-по-малу съ начала нынѣшняго столѣтія, и наконецъ старая теорія была уничтожена. Слышите—ваша теорія, которую вы даете намъ за новость, которой обѣщаете тріумфъ еще въ будущемъ времени, была проповѣдуема еще въ прошломъ столѣтіи и уничтожена повсемѣстно почти за пятьдесятъ лѣтъ! Шафарикъ дополнилъ, распространилъ, утвердилъ изслѣдованія Добровскаго о Словенахъ; новое мнѣніе его принято въ ученомъ мірѣ и нашло продолжателей. Слушайте! Языкъ доказываетъ намъ развитіе понятій. Пѣсни доказываютъ намъ развитіе чувствованій. Раздѣленіе земли доказываетъ какъ бы то ни было политическое развитіе. Находимыя монеты доказываютъ развитіе торговли и промышленности. Вотъ съ какой точки должно начинать теперь изслѣдованія о древней Русской Исторіи, а вы указываете намъ на Шлецерову, совершенно опровергнутую. Каченовскій за двадцать пять лѣтъ отсталъ на этомъ пути отъ современныхъ требованій науки, а вы хотите оборотиться къ нему, и посылаете слѣдующія поколѣнія за нимъ слѣдовать. Неужели это прогрессъ?—Развѣ ретроградивный.“

вижу гораздо болѣе отчетливости и послѣдовательности, нежели у вашего товарища, который построилъ на пескѣ *новые города*, пустилъ по воздуху *дружинниковъ* спорить о *мѣстахъ* за небывалыя *отношенія*, а восхищаться ими на землѣ разставилъ *остальныхъ*—черныхъ людей! Вотъ такихъ высшихъ взглядовъ и теорій я не люблю, и буду ихъ преслѣдовать критикой, какъ преслѣдовалъ Славистовъ и скептиковъ Каченовскаго".

Затѣмъ Погодинъ переходитъ къ третьему пункту обвинительнаго противъ него акта Кавелина: „Принадлежа къ школѣ толкователей, экзегетиковъ", говоритъ Кавелинъ о Погодинѣ,—„а не историковъ въ настоящемъ смыслѣ слова, онъ никогда не могъ подняться до высшаго историческаго воззрѣнія. Отсюда его несправедливая, пристрастная, крайне ограниченная оцѣнка соперника, котораго имя, если не навсегда, то на долго будетъ памятно для всѣхъ, занимающихся Русской Исторіею: мы говоримъ о покойномъ Каченовскомъ. Каченовскій первый почувствовалъ неудовлетворительность прежняго, теперь мало-по-малу исчезающаго, натянутаго, неестественнаго воззрѣнія на Русскую Исторію. Онъ не былъ геніальнымъ человѣкомъ, но былъ человѣкомъ съ талантомъ, начитанный, знакомый съ требованіями науки и критикой. Подъ перомъ Карамзина наше прошедшее, только относительно къ послѣдующему важное и значительное, выросло въ нѣчто колоссальное и величественное. Каченовскій возсталъ противъ этихъ преувеличеній и старался привести Русскую Исторію къ ея естественнымъ размѣрамъ, снять съ глазъ повязку, которая показывала многое въ превратномъ видѣ, и возвратить, или, правильнѣе, привести насъ къ воззрѣнію, равному времени, въ которое совершались событія".

На это Погодинъ отвѣчалъ: „Этой мысли, милостивый государь, чуть ли не сто уже лѣтъ! Эта мысль была общею за пятьдесятъ лѣтъ въ нашемъ ученомъ мірѣ, и подъ вліяніемъ этой мысли изслѣдователи всѣхъ послѣднихъ поколѣній, съ нашимъ включительно, начинали свои занятія и изслѣ-

къ нему еще слишкомъ холодны; въ послѣднемъ засѣданіи Общества Исторіи и Древностей я было заговорилъ объ его біографіи,—никто не отозвался. Благо вамъ, что вы отдадите ему все слѣдующее, и вашимъ словамъ публика, конечно, повѣритъ больше, чѣмъ всякому другому. Вотъ почему я бы радъ былъ служить вамъ всѣмъ, чѣмъ могу, но, къ сожалѣнію, объ Каченовскомъ у меня очень мало библіографическихъ свѣдѣній. Пошлю сегодня же къ Перевлѣсскому, который собираетъ матеріалы біографій: если онъ доставитъ мнѣ что-нибудь особенное, тотчасъ же вамъ перешлю. Пока же вотъ все, что̀ могу сказать. Возьмите *Роспись Россійскимъ книгамъ* Смирдина. Тамъ въ *Указатель* авторовъ вы найдете ссылку едва ли не на всѣ болѣе замѣчательныя изданія Каченовскаго. Потомъ, чтобы познакомиться полнѣе съ его взглядомъ на Исторію, переберите всѣ статьи по Русской Исторіи, напечатанныя въ *Ученыхъ Запискахъ* Московскаго Университета. Онѣ написаны почти исключительно подъ его вліяніемъ, какъ сознается самъ Каченевскій, и даже въ указаніяхъ подъ этими статьями. Наконецъ, издававшійся въ послѣднее время Каченовскимъ *Вѣстникъ Европы* въ 1808 г. и въ 1811 г. до 1830 г. укажетъ вамъ на всѣ его мысли, убѣжденія и, сверхъ того, познакомитъ васъ съ его журнальною дѣятельностью, его статьями по этой части и разными предпріятіями. Дѣло не къ спѣху, можетъ быть, я еще буду въ состояніи служить вамъ. Другія замѣтки и отчасти касающіяся до служебной дѣятельности Каченовскаго вы найдете въ *Трудахъ* Московскаго Общества Исторіи и Древности (особенно въ лѣтописяхъ) и въ *Москвитянинѣ* (если не ошибаюсь) за 1842 годъ, гдѣ напечатана библіографія его, составленная И. И. Давыдовымъ, и извѣстія о немъ Погодина *). Знаю я тоже изъ личныхъ отзывовъ многихъ знакомыхъ Каченовскаго,

*) Біографія Каченовскаго, написанная И. И. Давыдовымъ, помѣщена не въ *Москвитянинѣ*, а въ *Рѣчахъ и отчетѣ о состояніи Московскаго Университета за 1842 г.* Некрологъ Каченовскаго, написанный Погодинымъ, помѣщенъ въ *Москвитянинѣ* 1842 г., кн. V, стр. 208—210.

(Примѣчаніе *Д. А. Корсакова*).

что онъ отличался чрезвычайною честностью, благородствомъ души и прямотою; литературными трудами и службой нажилъ себѣ въ Москвѣ домъ тысячъ въ пять—едва ли не все имущество, оставленное имъ, кромѣ книгъ, дѣтямъ; былъ женатъ на нѣмкѣ, имѣлъ двухъ сыновей и одну дочь, уже теперь взрослыхъ, и отличался строгимъ формальнымъ исполненіемъ обязанностей. Въ семейной жизни былъ кротокъ и добродушенъ и любилъ лѣтомъ съ пріятелями бесѣдовать въ саду, который находился при его домѣ".

Сдѣлавъ это невольное отступленіе, перейдемъ къ пятому пункту обвинительнаго акта. Этотъ пунктъ имѣетъ общее значеніе, хоть и предложенъ косвенно: „Возьмите, напримѣръ, профессора Русской Исторіи", говоритъ Кавелинъ,—„что прикажете ему дѣлать. Налечь на какую-нибудь спеціальную сторону предмета и читать ее цѣлый годъ, потомъ въ двѣ, три, лекціи изложить все прочее? Наука черезъ это выиграетъ, правда, но слушатели, навѣрное, потеряютъ. Цѣль преподаванія — дать полное обозрѣніе предмета, а не частности, мелочи, важныя въ наукѣ, неважныя и ненужныя для того, кто ищетъ только общаго образованія".

Слова эти Погодинъ, разумѣется, принялъ на свой счетъ и отвѣчалъ: „Радъ случаю объясниться (не публичныхъ обвиненій я боюсь, а приватныхъ). Объясняюсь и съ другою цѣлью: доставить своимъ товарищамъ по ремеслу данное, которое они могутъ принять къ свѣдѣнію и употреблять по благоусмотрѣнію. Самъ я читать университетскихъ лекцій, вѣроятно, нигдѣ уже не буду, и потому могу говорить свободно и безпристрастно. Точно — я налегалъ во всякій курсъ на одну какую-нибудь спеціальную сторону предмета, и читалъ въ одинъ годъ преимущественно о Новѣгородѣ, въ другой о Норманскомъ періодѣ, въ третій о происхожденіи Руси, въ четвертый о Монголахъ, въ пятый о Несторѣ, Петрѣ Первомъ, и проч. Почему я поступалъ такъ? Не безъ разсужденія, молодой мой товарищъ! Берегись бросать въ меня камень, хоть я и не остерегаюсь отъ твоего (и ни отъ чего)

удара, а лучше выслушай меня: Фридрихъ Шлегель, кажется, въ предисловіи къ лекціямъ своимъ о Всеобщей Исторіи, сказалъ, что при занятіяхъ этой наукой всего полезнѣе подробное, всестороннее, долговременное изученіе одного какого-нибудь предмета: это частное изученіе, говоритъ опытный ученый, дастъ масштабъ, руководство, точку опоры, вѣрное пособіе для правильнаго взгляда на всю Исторію и на какое угодно ея отдѣленіе. Справедливость этого замѣчанія я испыталъ на себѣ очень рано: нѣсколько лѣтъ посвятилъ я вопросу о происхожденіи Руси, перечелъ по нѣскольку разъ всѣ источники, изучилъ всѣ мнѣнія, и овладѣлъ имъ, *какъ мнѣ казалось*, совершенно. За то къ какому предмету послѣ я ни приступалъ, занятіе шло у меня легко, и, повторяю — *какъ мнѣ казалось*, успѣшно: тотчасъ открывался путь, раскидывался горизонтъ, представлялись средства, обозначались вопросы, требованія, однимъ словомъ, будто въ рукахъ былъ у меня ключь. Это хотѣлъ я передавать всегда и студентамъ, забывая, можетъ быть, что изъ нихъ не всѣ сдѣлаются учеными. Общее обозрѣніе предмета in statu quo, расчитывалъ я, могутъ они получить всегда, прочтя пять-шесть книгъ, кои мною и требовались. Пристрастіе къ этой мысли обольщало меня надеждою, что она принесетъ имъ пользу даже и во всякой службѣ, не только въ наукѣ. Это была моя idée fixe! А вотъ въ чемъ состояли личные мои недостатки: я приготовлялся къ каждой лекціи, и въ двадцать лѣтъ не наберется, можетъ быть, двадцати, кои читалъ я не приготавливаясь, хотя плодомъ приготовленія бывала иногда одна строка, которую несъ я на лекцію, какъ сокровище, и которая пропадала для большинства! (Не такъ думаю я теперь, когда, спокойный, смотрю на пройденное поприще, а тогда, на оборотъ, думалъ я, что эта строка именно и блеснетъ-то ярко во всѣ глаза, освѣтитъ мракъ и произведетъ дѣйствіе). Далѣе — читать извѣстное всегда казалось мнѣ скучнымъ: когда я кончилъ изслѣдованіе о Несторѣ, мнѣ уже тяжело было повторять объ немъ одно и то же, узнанное, ясное для меня:

я ссылался большею частію на книгу, и выбиралъ другой темный предметъ, читая который могъ изслѣдовать! Наконецъ: однѣ части Исторіи я любилъ, другія нѣтъ, напримѣръ, Новую Исторію. Это уже общій порокъ профессоровъ: изъ нихъ у всякаго бываетъ свой конекъ. Можетъ быть, я ошибался, можетъ быть, большинство студентовъ точно теряло, особенно сначала, отъ такой методы, которая слилась у меня съ жизнію, но въ оправданіе себѣ могу я сказать, что съ этою методою я накопилъ восемь или девять томовъ изслѣдованій, которыя пригодятся для студентовъ, равно какъ и для профессоровъ всѣхъ поколѣній, и отъ которыхъ не откажется, можетъ быть, наука. Теперь читать будетъ легче, кто захочетъ идти по моему пути: главные матеріалы о первой половинѣ Исторіи почти всѣ обработаны, и разсуждай кому какъ угодно!“

Нижеслѣдующія строки Кавелина задѣли Погодина прямо за живое. „Споръ старый“, писалъ Кавелинъ,—„а потому уже скучный, споръ о томъ, какое значеніе имѣетъ для насъ, современниковъ, прошедшее Руси. Узнавъ его, мы поймемъ себя, яснѣе увидимъ путь, по которому двигаемся въ Исторіи, но вмѣстѣ съ тѣмъ, чего никакъ не должно забывать, поймемъ и необходимость, заставившую насъ искать добра не у себя, а у другихъ. Наука можетъ дать вамъ средства облегчить путь, сдѣлать его сознательнымъ и чрезъ это возможно менѣе тяжкимъ, но перемѣнить его не можетъ. Притомъ, что умерло, того уже не воскресимъ. Мы теперь не знаемъ только, почему умерло, хотя и догадываемся, а тогда будемъ знать: вотъ и все. Смотрѣть иначе на науку Исторіи — значить не понимать ея“.

На это Погодинъ писалъ: „Радъ случаю замѣтить здѣсь различіе между Западнымъ и Восточнымъ толкомъ, между Словенами и Фрягами (имени Европейцевъ едва ли они заслуживаютъ), двумя партіями, раздѣляющими современную нашу Литературу, какъ ни бѣдна, какъ ни слаба она. Вотъ одинъ изъ пунктовъ ихъ раздѣленія: Фряги признаютъ „не-

обходимость заставившую искать добра *не у себя*, *а* Словене утверждаютъ, что надо было искать добра у себя. (Оттѣнки въ отношенiи къ слѣдующему времени: больше у себя, чѣмъ у другихъ; сперва у себя, потомъ у другихъ; ультра: только у себя).

„Вы говорите: чтò умерло, того не воскресишь. Такъ! Чтò умерло, того не воскресишь, — но гдѣ же вы научились, чтобы въ Исторiи что-нибудь умирало! Этого не завѣщалъ и Гегель. Мѣстничество сожжено, а Табель о рангахъ развѣ не есть Мѣстничество, исправленное и усовершенствованное, по времени и обстоятельствамъ. Обветшалыя формы возобновляются, укрѣпляются и начинаютъ безпрестанно новую жизнь въ Исторiи. Такъ Рейнъ упалъ въ Констанцское озеро, а потомъ выбрался же изъ него, и потекъ своей дорогою".

Послѣ общихъ обвиненiй Кавелинъ предложилъ въ своей рецензiи „частныя замѣчанiя", отвѣтъ на которыя Погодинъ заключилъ такими словами: „Я долженъ поблагодарить Кавелина за указанiе мнѣ нѣсколькихъ обмолвокъ, неточностей, просмотровъ, наконецъ, за желанiе его быть безпристрастнымъ, по крайней мѣрѣ, при оцѣнкѣ частностей. О моемъ такъ названномъ имъ остроумно историческомъ мистицизмѣ имѣетъ право онъ говорить, что угодно. Что я увлекаюсь мыслiю о мирномъ занятiи въ противоположность западному завоеванiю, при объясненiи нѣкоторыхъ событiй, въ началѣ Русской Исторiи, и оно бываетъ отъ того натянуто, — *можетъ быть*, онъ правъ.

„Вообще онъ пишетъ *ясно* — большое достоинство! Понимаешь всегда, чтò онъ хочетъ сказать, видишь, съ какой точки онъ смотритъ. Въ этомъ отношенiи онъ беретъ большее преимущество предъ Соловьевымъ, который рѣшительно видитъ все на выворотъ и не помнитъ, чтò говоритъ, хоть и говоритъ, пишетъ, легко и живо. Оба они *отдѣлали* или хотѣли отдѣлать меня одинаково (знать сильны!), слѣдовательно, и въ этомъ отношенiи я могу судить объ нихъ, *не склоняясь ни на чью сторону*. Въ успѣхѣ Соловьева я отчаяваюсь,

окончимъ сравненіе, если онъ не подвергнется радикальному леченію, а на успѣхъ Кавелина я надѣюсь, лишь только откинь онъ *предубѣжденія.*

„И для этого-то успѣха, для успѣха науки я приглашаю васъ, господа, заниматься вмѣстѣ, сообща. Личности я желаю всякаго благополучія, свободу мнѣній уважаю — повѣрьте, что вы отъ меня получите больше, чѣмъ я отъ васъ, а наука выиграетъ безъ сравненія.

„Послѣ вашихъ въ высшей степени несправедливыхъ, не говорю уже неприличныхъ, выходокъ, коими вы, на первыхъ порахъ, хотѣли показать свое преимущество предо мною, старымъ учителемъ, другой не сталъ бы и думать объ васъ, а я подаю руку, для пользы любимаго предмета, для пользы вашей. Не хотите принять ее — прощайте!“ [86]).

XIV.

1847-й годъ — былъ годомъ полнаго расцвѣта ученой дѣятельности С. М. Соловьева. По своимъ убѣжденіямъ онъ не принадлежалъ ни къ Западникамъ, ни къ Словенофиламъ. „Это человѣкъ“, писалъ Бѣлинскій,— „совершенно чуждый намъ“. „...Онъ не хочетъ принадлежать ни къ какому журналу исключительно. Онъ наклоненъ къ Словенофильству, но его отношеніе къ Погодину не позволяетъ ему печатать статьи въ *Москвитянинѣ*. Поэтому для него *Отечественныя Записки* и *Современникъ* все равно; и мы будемъ ему очень благодарны, если, печатая въ *Отечественныхъ Записках*ъ, онъ будетъ и намъ давать свои статьи“ [87]). Религіозное чувство, которое сохранилъ Соловьевъ до конца своей жизни, сближало его съ Словенофилами и отталкивало отъ Западниковъ. „Соловьевъ“, писалъ Боткинъ къ Краевскому,— „находится въ близкихъ отношеніяхъ съ Словенами, а Словене ругаются *Отечественными Записками*; дѣйствительно, на участіе въ *Отечественныхъ Запискахъ* ему надобно рѣшиться, и въ этомъ-то рѣшеніи состоитъ вся трудность. Чтобъ сколько-нибудь

подвинуть его, я готовъ ему кадить, сколько его душѣ угодно. Его заподозриваютъ въ Словенизмѣ, но онъ держится какого-то juste milieu. Та и другая стороны упрекаютъ его въ нерѣшительности, даже назначенъ былъ какъ-то вечеръ, чтобъ выслушать его profession de foi, но до сихъ поръ вечеръ не состоялся".

Въ Словенофильскомъ кружкѣ Соловьевъ былъ особенно близокъ съ Д. А. Валуевымъ, В. А. Пановымъ и К. С. Аксаковымъ. Но въ то же время, по собственному сознанію Соловьева, пристальное занятіе Русскою Исторіе не дозволяло ему сдѣлаться настоящимъ Словенофиломъ. Боткинъ, представляя Анненкову образчикъ нетерпимости Словенофиловъ, писалъ ему: „Соловьевъ до того вчитался въ лѣтописи и старыя грамоты, что усвоилъ языкъ ихъ; онъ свободно говоритъ имъ и пишетъ. Изъ шутки завелъ онъ на немъ переписку съ Аксаковымъ. Въ одномъ обществѣ Аксаковъ читаетъ одно изъ *посланій* къ нему Соловьева. Вдругъ Иванъ Кирѣевскій, бывшій тутъ, съ негодованіемъ возстаетъ, какъ смѣть употреблять языкъ, на которомъ написаны наши Священныя Книги, для писанія шутливыхъ записокъ; это такъ возмутило его, что онъ сдѣлался боленъ. Вотъ корифеи Словенства!"

Не смотря однако на близость Соловьева къ Словенофиламъ, Боткинъ, по порученію Краевскаго, продолжалъ принимать всѣ мѣры, чтобы привлечь Соловьева къ *Отечечественнымъ Запискамъ*. „Я", писалъ Боткинъ Краевскому,— „съ Соловьевымъ незнакомъ, хотя и встрѣчался съ нимъ у Свербеевыхъ, да я и нарочно бы съѣздилъ къ нему, но не выхожу еще. Я рѣшился снестись съ нимъ письменно... Я говорилъ объ этомъ съ Грановскимъ, который увѣряетъ, что Соловьевъ съ удовольствіемъ приметъ ваше предложеніе; но въ настоящее время онъ готовится къ докторскому экзамену и сидитъ дома..."

Получивъ отвѣтъ отъ Соловьева, Боткинъ писалъ Краевскому: „Вчера получилъ я письмо отъ Соловьева: онъ бла-

годаритъ васъ за ваше предложеніе, но теперь не можетъ дать рѣшительнаго отвѣта, потому что, какъ онъ говоритъ, надо за всякое дѣло приниматься подумавши. Весь этотъ мѣсяцъ, пишетъ онъ, будетъ онъ занятъ сначала экзаменомъ (на доктора), а потомъ приготовленіемъ къ диспуту и наконецъ самымъ диспутомъ, — вслѣдствіе этого и проситъ „подождать его рѣшительнаго отвѣта до окончанія наступающаго мѣсяца. Впрочемъ“, прибавляетъ онъ, — „я не хочу стѣснять этимъ Андрея Александровича: онъ имѣетъ полное право искать себѣ другого сотрудника“. Я на это отвѣчалъ ему, благодаря его за добрый отвѣтъ, и прибавилъ, что Андрей Александровичъ столько дорожитъ его сотрудничествомъ, что до полученія отъ него рѣшительнаго отвѣта онъ остановится пріисканіемъ себѣ сотрудника по части критики Русской Исторіи. Не будете ли вы меня бранить за такую галантерейность, но она сдѣлана была вслѣдствіе моего большого желанія втянуть Соловьева въ *Отечественныя Записки*. Вѣдь это человѣкъ очень дѣльный, хотя, къ сожалѣнію, и очень сухой. Его статьи важны для людей спеціально занимающихся Русскою Исторіей; но во всякомъ случаѣ это дѣльный сотрудникъ“. Въ концѣ концовъ домогательства Боткина увѣнчались успѣхомъ, и Соловьевъ сдѣлался постояннымъ сотрудникомъ *Отечественныхъ Записокъ*. Извѣщая объ этомъ Краевскаго, Боткинъ писалъ: „Вчера я былъ у Соловьева и получилъ отъ него рѣшительный отвѣтъ, и прилагаю при семъ его условія. По данному вами мнѣ полномочію я ихъ принялъ, потому что не нашелъ въ нихъ ничего для васъ отяготительнаго; но хотя я ихъ и принялъ, а все вашъ голосъ тутъ необходимъ, — потому напишите сами къ Соловьеву. Долго былъ онъ въ колебаніи; я просилъ Грановскаго убѣдить его, и Грановскій принялся за это съ жаромъ и намъ много помогъ. Галаховъ будетъ сегодня или завтра у Соловьева, чтобъ переговорить съ нимъ на счетъ рецензій мелкихъ книгъ; хотя Соловьевъ не упоминаетъ объ этомъ въ своемъ писанномъ условіи, но на мое объ этомъ замѣчаніе онъ мнѣ отвѣтилъ, что займется и этимъ: Соловьевъ

затруднялся еще тѣмъ обстоятельствомъ, что обѣщалъ свои статьи въ *Современникъ*, но я представилъ всю важность для него постояннаго участія въ одномъ журналѣ, и въ особенности критическое участіе, ну и прочее; я говорилъ очень хорошо, какъ вы легко можете представить себѣ; впрочемъ, постоянное участіе его въ *Отечественныхъ Запискахъ* нисколько не мѣшаетъ ему, по данному имъ слову, послать иногда статью въ *Современникъ*" [88]).

Между тѣмъ приближалось время докторскаго экзамена и защиты написанной Соловьевымъ диссертаціи: *Исторія отношеній между Русскими князьями Рюрикова Дома*. Экзаменъ прошелъ блистательно, о чемъ свидѣтельствуетъ М. Н. Катковъ въ письмѣ своемъ А. Н. Попову (отъ 1 мая 1847 г.): „Соловьевъ кончилъ свой экзаменъ и защищалъ въ факультетскомъ засѣданіи свою диссертацію съ блистательнымъ успѣхомъ. Не правда ли, какой чудесный трудъ его диссертація? Какъ все въ ней зрѣло, обдуманно и живо? Прекрасно разработаны Москва, Иванъ Васильевичъ. Честь ему и слава!" [89]). На этотъ экзаменъ Погодинъ приглашенъ не былъ. „Удивляюсь", писалъ ему И. И. Давыдовъ изъ Петербурга,— „что васъ не пригласили на экзаменъ Соловьева. Что жъ смотритъ Степанъ Петровичъ Шевыревъ. Вѣдь на него только и надежда. Такъ повторяется это здѣсь въ кабинетѣ Министра" [90]). Вообще слѣдуетъ замѣтить, что И. И. Давыдовъ, переселившись въ Петербургъ, сталъ къ Соловьеву во враждебныя отношенія. Въ другомъ своемъ письмѣ онъ писалъ Погодину: „Хвастовство Соловьева на лекціяхъ, какъ слышно, доходитъ до нахальства..." Посѣтивъ же Шевырева, Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Къ Шевыреву, который разсказывалъ диспутъ Соловьева. Досадно слушать о подлыхъ каждeніяхъ" [91]). Еще до публичнаго защищенія Соловьевымъ своей диссертаціи И. И. Давыдовъ писалъ Погодину: „Слышно, что Соловьевъ представилъ чудную диссертацію на степень доктора: *Іоаннъ Грозный*. Читали ли вы ее и что это за трудъ?" [92])

Наконецъ, 6 іюня 1847 года, состоялся публичный диспутъ

С. М. Соловьева. По свидѣтельству Московскихъ лѣтописцевъ, „диспутъ былъ блестящій" и происходилъ въ большой аудиторіи Московскаго Университета, которая, не смотря на лѣтнее время, была полна. Передъ диспутомъ Соловьевъ „съ чувствомъ" объяснилъ мысль, что нынѣ болѣе, нежели когда-либо, необходимо открыть въ нашей Исторіи внутреннюю связь настоящаго съ прошедшимъ, разумное оправданіе одной эпохи другою. Возражать Соловьеву началъ Грановскій и между прочимъ замѣтилъ, что въ диссертаціи Соловьева „начало родовое проведено съ такою исключительностью, которая не допускаетъ вліянія начала семейнаго, и что этотъ средній терминъ какъ бы опускается Соловьевымъ въ излагаемой имъ борьбѣ начала родового съ началомъ государственнымъ". Второе возраженіе Грановскаго коснулось вліянія Монголовъ, которое Соловьевъ ставитъ на второй планъ. Послѣ Грановскаго вступилъ въ диспутъ Бодянскій. *Начну съ конца*, началъ онъ, и прочиталъ послѣднее *положеніе*: „Періодъ времени отъ Іоанна III до пресѣченія Рюриковой династіи характеризуется послѣднею ожесточенною борьбою между родовыми и государственными отношеніями". По мнѣнію Бодянскаго, эту борьбу не должно почитать слѣдствіемъ однихъ родовыхъ понятій... Въ боярахъ, съ которыми боролся Іоаннъ, онъ преслѣдовалъ и *затѣи феодальнаго Запада*, принесенныя къ намъ выходцами изъ Бѣлоруссіи... Другое возраженіе Бодянскаго относилось къ основной мысли всего сочиненія Соловьева: Бодянскій утверждалъ, что междоусобія князей объясняются борьбою за право родича, что первое мѣсто въ этихъ междоусобіяхъ занимаетъ право собственника, отчина. Сторону Бодянскаго принялъ Кавелинъ. По окончаніи ученаго обряда диспута громкія рукоплесканія свидѣтельствовали объ уваженіи посѣтителей и посѣтительницъ къ трудамъ молодого ученаго. Погодина на диспутѣ не было [93]). Болѣе подробныя и интересныя свѣдѣнія объ этомъ диспутѣ мы находимъ въ письмѣ М. Н. Каткова къ А. Н. Попову: „Вчера былъ диспутъ Соловьева. Возражали Грановскій (ex officio), Бодян-

скій, Кавелинъ и еще кто-то. Вы, я думаю, замѣтили, читая диссертацію Соловьева, нѣсколько рѣзкій систематизмъ въ первой главѣ, гдѣ рѣчь идетъ о родовыхъ отношеніяхъ. Эта рѣзкость отчасти полезна и нужна, производя и впечатлѣвая рѣшительнѣе внутреннее начало древняго быта; но тѣмъ не менѣе этимъ изложеніемъ производится невѣрный видъ, что древній бытъ управлялся какъ бы заранѣе обдуманною и постановленною системою. Эта система еще только сама вырабатывалась жизнію и потому вездѣ вылита не въ строгихъ очеркахъ, а въ смѣшеніи съ другими ингредіентами, вслѣдствіе которыхъ фактъ слагался часто иначе, нежели какъ можно было ожидать. На это бы и слѣдовало обратить вниманіе; но Кавелинъ завязалъ споръ, не оставляя своей любимой мысли о присутствіи и развитіи подъ сѣнью родовыхъ отношеній другого начала, именно семейнаго, которымъ разлагалась и разстраивалась система первыхъ, откуда будто бы исключительно выходитъ вотчинный характеръ Сѣверныхъ княженій. Оба противника вспылили, но споръ кончился не совсѣмъ удовлетворительно или, лучше сказать, былъ оставленъ безъ конца“ [94]).

Боткинъ въ письмѣ своемъ къ Анненкову дополняетъ извѣстіе о диспутѣ Соловьева новыми свѣдѣніями: „Былъ диспутъ Соловьева на доктора“ писалъ онъ,—„на которомъ самымъ сильнымъ и рѣзкимъ противникомъ Соловьева оказался Кавелинъ. Но вопросы были поставлены такъ рѣзко и радикально, что Шевыревъ вмѣшался въ споръ и прекратилъ его, оставя каждаго при его мнѣніи; отчетливость мысли и выводовъ были вполнѣ на сторонѣ Кавелина“ [95]). Свой споръ съ Соловьевымъ Кавелинъ перенесъ изъ аудиторіи въ *Современникъ* и тамъ напечаталъ обширную критику на диссертацію своего друга.

„Основная мысль этой книги“, повѣствуетъ К. Н. Бестужевъ-Рюминъ,—„и ея главная заслуга зачлючаются въ стремленіи найдти связь между періодами, и связь не внѣшнюю, а внутреннюю, прослѣдить ростъ Русскаго общества и

памѣтить смѣну его общественныхъ состояній. Въ предисловіи авторъ возстаетъ противъ названія періодовъ: удѣльный, Татарскій; доказываетъ, что въ первое время не было удѣловъ и что не Татарамъ, а внутреннимъ причинамъ надо приписать измѣненіе въ общественномъ строѣ Русской земли. Онъ признаетъ два начала, смѣною которыхъ характеризуется время до конца Рюриковой династіи: родовое и государственное; родъ, полагаетъ онъ, разложился подъ вліяніемъ началъ государственныхъ, появленіе которыхъ, по его мнѣнію, объясняется гипотезою о старыхъ и новыхъ городахъ... Книга Соловьева вызвала жаркую полемику: первый выступилъ Погодинъ" [96]).

Вскорѣ послѣ диспута Соловьева И. И. Давыдовъ писалъ Погодину изъ Петербурга: „Новое поколѣніе превозноситъ до небесъ Соловьева; но посмотримъ и подождемъ конца. Право, я не вижу, что новаго сказалъ онъ? Развѣ въ перифразахъ содержится новая мысль? Онъ знаетъ уловки своего поколѣнія—выворотить на изнанку старое. Во всемъ этомъ я вижу дѣтство и удивляюсь, какъ С. П. Шевыревъ смотритъ на это равнодушно. Юное поколѣніе умѣетъ его обнять, а потомъ и располагать имъ по своей волѣ. Будущему преемнику попечителя много будетъ стоить трудовъ привести хаосъ въ космосъ" [97]).

XV.

Успѣхъ Соловьева не могъ радовать Погодина, и ему вздумалось печатно побесѣдовать съ своими учениками, въ томъ числѣ и съ Соловьевымъ, объ ихъ трудахъ по Русской Исторіи. Въ *Москвитянинѣ* онъ напечаталъ статью подъ слѣдующимъ заглавіемъ: *О трудахъ гг. Бѣляева, Бычкова, Калачева, Попова, Кавелина и Соловьева по части Русской Исторіи.*

„Почитаю долгомъ", писалъ Погодинъ, — „побесѣдовать съ молодыми учеными, которымъ имѣлъ я честь преподавать Русскую Исторію въ Московскомъ Университетѣ, и которые,

къ особенному моему удовольствію, выступили теперь съ такимъ жаромъ, блескомъ, честію или почетомъ, на поприще этой прекрасной науки; предложить имъ нѣсколько замѣчаній, можетъ быть, не безполезныхъ тѣмъ, кто захочетъ принять ихъ не для спора, наконецъ, подать имъ нѣсколько совѣтовъ, внушенныхъ искреннимъ желаніемъ добра и успѣха, какъ имъ, такъ и наукѣ. Буду говорить съ ними откровенно, какъ говорилъ всегда, и постараюсь, чтобъ по моей рѣчи не было замѣтно, кто мнѣ лично, по сохранившимся дружескимъ отношеніямъ, пріятенъ, и кто, по какимъ-нибудь обстоятельствамъ, отошелъ далече".

Порядокъ бесѣды Погодинъ выбираетъ по старшинству курсовъ, когда кто окончилъ оный. И начинаетъ съ И. Д. Бѣляева, который напечаталъ въ то время: Разсужденіе о Несторѣ, объ его хронологіи, о Русскомъ войскѣ до Михаила Ѳедоровича, о древней монетной системѣ на Руси, о станичномъ распоряженіи, разборъ Изслѣдованій Погодина. Сверхъ того, онъ трудился надъ писцовыми книгами, надъ исторіей Москвы какъ города, надъ исторіей пошлинъ и даней и описаніемъ Погодинской библіотеки; но это описаніе никогда не выходило въ свѣтъ.

Въ виду такого разнообразія предметовъ, изучаемыхъ И. Д. Бѣляевымъ, Погодинъ совѣтуетъ ему ограничиться однимъ-двумя предметами, и отдѣлавъ ихъ, приступать къ прочимъ. „Всего вдругъ", замѣчаетъ Погодинъ, — „передѣлать нельзя. Эти господа рвутся на работу, какъ будто опасаясь, что ихъ предупредятъ, и что имъ ничего не останется дѣлать. Похвальное рвеніе, которое служитъ къ чести молодости, но которое остается обыкновенно безъ послѣдствій въ исторіи науки. Они могутъ успокоиться: не только мы, но наши дѣти и внуки найдутъ себѣ работы. Наши предшественники трудились не меньше нашего, а мы вѣдь говоримъ же, что ничего не сдѣлано для Русской Исторіи, и что мы только начинаемъ! Требованія науки безпрестанно возобновляются, увеличиваются, распространяются. Особенно посовѣтую я Бѣ-

ляеву, какъ окончившему курсъ уже давно, избрать себѣ одинъ предметъ, напримѣръ, войско отъ Іоанна III до Петра I, или исторію пошлинъ, или наконецъ описаніе моей библіотеки. Если Востоковскій каталогъ принесъ столько пользы наукѣ и чести автору, то что же можетъ обѣщать ему описаніе библіотеки, которая втрое или вчетверо обширнѣе Румянцевской, не говоря о выборѣ рукописей".

Затѣмъ Погодинъ разсматриваетъ каждое изъ названныхъ разсужденій Бѣляева.

Въ *Чтеніяхъ* Императорскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ (1846 г.) А. Ѳ. Бычковъ напечаталъ краткое *Изслѣдованіе о Новгородскомъ посадникѣ Моторицинѣ*, отысканномъ имъ въ одномъ послѣсловіи. По поводу этого изслѣдованія Погодинъ съ большою похвалою отозвался объ ученыхъ трудахъ А. Ѳ. Бычкова. Его „пріемы въ изслѣдованіи прекрасные, настоящіе ученые, и ихъ можно поставить въ примѣръ верхоглядамъ". Побесѣдовавъ съ А. Ѳ. Бычковымъ о посадникѣ Моторицинѣ и давъ ему нѣсколько совѣтовъ, Погодинъ переходитъ къ Н. В. Калачову и къ его *Русской Правдѣ*. „Это", писалъ Погодинъ,—самый „тщательный изъ всѣхъ молодыхъ ученыхъ, любящій науку для науки, трудолюбивый. Онъ готовъ быть нашимъ...; не поставлю его идеаломъ, потому что похвалы въ наше время, послѣ всѣхъ заемныхъ и покупныхъ, сдѣлались просто гадкими, и почти всякому молодому человѣку онѣ могутъ причинить вредъ, а не принести пользы". Сдѣлавъ и Калачову замѣчаніе за раздѣленіе текста *Русской Правды*, Погодинъ преподаетъ молодымъ людямъ слѣдующее наставленіе: „Разница—читать лѣтопись или памятникъ для разсужденія объ немъ, или читать его просто, къ свѣдѣнію. Всѣмъ этимъ господамъ, съ которыми теперь я имѣю честь бесѣдовать, извѣстно, что Несторову лѣтопись я знаю почти всю наизусть, и однакожь скажу имъ теперь, она произвела на меня иное впечатлѣніе, когда я прочелъ ее сподрядъ по изданію Археографической Коммиссіи, нежели когда я изслѣдовалъ ее по частямъ. Знатокъ

древностей, читая Правду, не можетъ не почувствовать, что первыя семнадцать статей дышатъ древностію. Вотъ первые записанные законы! На это чутье должно обращать вниманіе. Нынѣ въ модѣ смѣяться надъ авторитетами. Вообще—пожалуй; еще Шлецеръ сказалъ: *въ царствѣ истины нѣтъ авторитетовъ*. Это правило имѣетъ однакожъ исключенія: собирая лѣтъ двадцать пять Русскія Древности, я встрѣчался и встрѣчаюсь со многими людьми, которые, *не зная даже грамотѣ*, отличаютъ безошибочно вѣкъ рукописей. Отчего? отъ опыта, отъ наглядности. Такъ другіе въ образахъ различаютъ письмо Греческое отъ Новогородскаго, Московскаго, не зная почему. Древности, въ высшемъ значеніи, то-есть, по содержанію, имѣютъ также свои примѣты, доступныя вслѣдствіе многолѣтнихъ занятій; слѣдовательно, авторитетами пренебрегать нельзя. Вы хотите, напримѣръ, описывать библіотеку — ступайте же къ П. М. Строеву, описавшему ихъ двадцать, и просите у него совѣта, а одни вы потеряете много труда попусту, прежде нежели попадете на прямую дорогу. Для изданія справляйтесь съ Шлецеромъ!"

Обращаясь затѣмъ къ сочиненію Н. В. Калачова о *Русской Правдѣ*, Погодинъ восклицаетъ: „Самъ Шлецеръ объявилъ бы автору свое благоволеніе. Это—важнѣйшее изъ всѣхъ разбираемыхъ мною здѣсь сочиненій. Многіе изъ нихъ только *красивые мыльные пузыри* въ сравненіи съ этимъ изданіемъ, украшающимъ литературу".

Приступая къ бесѣдѣ съ другими своими учениками А. Н. Поповымъ, К. Д. Кавелинымъ и С. М. Соловьевымъ, Погодинъ дѣлаетъ слѣдующее предварительное замѣчаніе:

„Перехожу къ трудамъ другого направленія, обнаруживающимъ болѣе желаніе разсуждать (raisonner), чѣмъ разыскивать. Это направленіе хорошо, но въ свое время, когда накоплено много свѣдѣній, когда пріобрѣтена опытность, когда умъ созрѣлъ, а до тѣхъ поръ оно не обѣщаетъ никакой пользы, хотя профессоръ Никитенко и предрекаетъ отъ него Русской Исторіи большой успѣхъ, а какіе-то невѣжи ждутъ

даже переворотовъ. Совѣтую молодымъ людямъ не увлекаться минутными успѣхами, столько у насъ легкими, за недостаткомъ истинныхъ судей, и не обольщаться похвалами невѣждъ и ихъ помощниковъ, помня стихи Сумарокова:

Достойной похвалы невѣжда не умалитъ,
А то не похвала, когда невѣжда хвалитъ".

Съ А. Н. Поповымъ Погодинъ бесѣдуетъ о Шлецерѣ: „Поповъ", пишетъ онъ, — „напечаталъ (въ *Московскомъ Сборникѣ*) разсужденіе о Шлецерѣ, прекрасно, — бойко и живо, — написанное, но грустно мнѣ было прочесть его. Я самъ не пристрастенъ къ Нѣмцамъ, но Шлецеръ, Миллеръ, Стриттеръ — это благодѣтели Русской Исторіи, и забывать ихъ услуги или отзываться объ нихъ какъ о людяхъ обыкновенныхъ, своекорыстныхъ, — есть просто неблагодарность. Результаты Шлецеровы теперь ничего уже не значатъ, на три тома его изслѣдованій можно надиктовать пять въ пять недѣль: все это не уменьшаетъ его чести и славы. Его метода, его пріемы, его уроки, его впечатлѣнія, его огонь — о, ихъ достанетъ еще на много поколѣній, имѣющихъ уши слышати и разумъ разумѣти! Студентъ, который на первыхъ годахъ не восхитится Шлецеромъ, тотъ не занимайся Русской Исторіей..."

Защиту свою Шлецера Погодинъ заключаетъ такими словами: „Перестанемъ тревожить прахъ его, не станемъ заставлять его ворочаться въ могилѣ (которой никакъ не могъ я отыскать прошлаго года, хотя нарочно заѣзжалъ въ Геттингенъ поклониться ей), не станемъ заставлять его ворчать, что Русскіе все еще не вразумились въ его наставленія, и ступивъ три шага впередъ, обыкновенно отступаютъ на два назадъ".

Мы уже знаемъ, что К. Д. Кавелинъ напечалъ въ *Современникѣ* 1847 года свое замѣчательное разсужденіе объ *Юридическомъ бытѣ Древней Россіи*. Разсужденіе это обратило на себя всеобщее вниманіе и между прочимъ Ю. Ѳ. Самарина, который въ *Москвитянинѣ* выразилъ о немъ свое мнѣніе. Главная мысль этого разсужденія та, „что въ древней нашей

Исторіи не развилась личность, а начинается это развитіе съ Петра I, которому Іоаннъ Грозный былъ въ этомъ отношеніи предшественникомъ и образцемъ". Приступая къ бесѣдѣ съ своимъ ученикомъ, Погодинъ дѣлаетъ слѣдующее предварительное замѣчаніе по поводу его разсужденія: „По всему видно, что Кавелинъ не извлекъ системы изъ Исторіи, а приложилъ ее готовую къ Исторіи". Замѣтивъ это, Погодинъ продолжаетъ: „Личность очень хороша. Кто не пожелаетъ ей добраго развитія; но Кавелинъ видитъ ее тамъ, кажется, гдѣ ея нѣтъ, и не видитъ тамъ, гдѣ она, или что-нибудь ей соотвѣтственное, однородное, параллельное, есть. Оттуда у насъ большое разногласіе; личность, пожалуй, мы любимъ одинаково, но лица—совершенно различно! Говорить объ этомъ въ нашихъ предѣлахъ какъ-то неловко, но вкратцѣ я представлю ему однакоже слѣдующія замѣчанія на разсужденіе: Бояре въ древней Россіи имѣли право переходить отъ князя къ князю, имѣли право считаться родами и службою. Крестьяне имѣли право жить гдѣ угодно и переходить съ мѣста на мѣсто. Спрашивается, что̀ есть соотвѣтственнаго этимъ явленіямъ въ законодательствѣ Петра I и проч.? А что касается до Ивана Грознаго, то въ одно время, какъ я прочелъ у Кавелина панегирикъ его личности и поэзіи, получилъ я отъ Свіяжскаго архимандрита Мартирія списокъ съ видѣннаго мною въ Свіяжскомъ Германовомъ монастырѣ поминанья: „помяни, Господи, души усопшихъ рабъ своихъ побитыхъ". Таковыхъ рабовъ Божіихъ, ихъ же имена Онъ вѣсть, Господи, насчитывается не одна тысяча! Какова личность и какова поэзія! Избави насъ Богъ отъ той и другой! Нѣтъ, Исторія противорѣчитъ системѣ Кавелина. Точно съ такимъ же основаніемъ онъ думаетъ, что Опричнину учредилъ Иванъ, желая возвысить худородныхъ людей: совсѣмъ нѣтъ! Въ Опричнину онъ бралъ и князей, и бояръ наравнѣ съ людьми худородными. Онъ просто выдѣлилъ себѣ частицу изъ *всего* народа, какъ и изъ всей земли, для своего личнаго употребленія, если можно такъ выразиться".

Отъ Кавелина Погодинъ переходитъ къ С. М. Соловьеву и бесѣдуетъ съ нимъ о его системѣ древнихъ и новыхъ городовъ, которая служитъ основаніемъ его диссертаціи: *Объ отношеніяхъ Новгорода къ Великимъ Князьямъ.* „Главная мысль автора", писалъ Погодинъ, — „относится къ различію между древними и новыми городами. Мысль эта принадлежитъ Карамзину, а авторомъ лишь доведена до крайности. Не различіе между городами важно, а различіе во времени. Одинъ и тотъ же городъ, древній, новый, то-есть, построенный княземъ, Русскій и иностранный, переходятъ въ теченіе времени разныя степени политическаго развитія. Одинъ и тотъ же Парижъ при Гуго Капетѣ, не то, что при Филиппѣ Августѣ, Францискѣ, Лудовикѣ XIV или Луи Филиппѣ. Древній Кіевъ не то при Олегѣ, что при Мономахѣ, Всеволодѣ III, Олгердѣ, Александрѣ или Петрѣ. Одна и та же новая Москва не то при Калитѣ, что при Донскомъ, Иванѣ III или Петрѣ I. Городъ XII иля XIII вѣка не похожъ на городъ X или XI вѣка, точно также какъ и Донской не похожъ на Георгія Долгорукаго. Что Соловьевъ приписываетъ древности и новости городовъ, то другой припишетъ различію племенъ, Малороссіянъ и Великороссіянъ, третій времени выступленія ихъ на сцену, четвертый Монголамъ и другимъ обстоятельствамъ, развитію княжеской власти и пр. Но Исторія ничего не выиграетъ отъ всѣхъ этихъ предположеній, какъ бы иныя изъ нихъ и не были блистательны, а только ослѣпятся глаза тѣхъ, у кого впрочемъ вообще не слишкомъ надежно зрѣніе. Составьте списокъ древнихъ и новыхъ городовъ, и вы увидите тотчасъ, что вся система разлетится отъ одного дуновенія. Попытайтесь объяснить, чѣмъ Рязанскій князь отличался отъ Владимірскаго или Тверского. Попытайтесь доказать, что Суздаль и Ростовъ повиновались менѣе Боголюбскому, чѣмъ Владиміръ, а древніе Кіевъ и Новгородъ были одинаковы". Также неодобрительно отнесся Погодинъ и къ только-что защищенной диссертаціи Соловьева: *Исторія отношеній между Русскими князьями Рюрикова Дома.* Тутъ Погодинъ вооружился про-

тивъ положеній автора, что у насъ *не было удѣловъ*, и что Монголы не имѣли на насъ того вліянія, какое имъ приписываютъ. Разобравъ это положеніе, Погодинъ снисходительно замѣчаетъ: „Извинимъ парадоксы молодого человѣка; они служатъ намъ знакомъ его силы, а *примѣрное трудолюбіе* его ручается, что онъ останется не долго подъ ихъ властію".

Бесѣду съ своими учениками Погодинъ заключаетъ такими словами: „Теперь же обращусь съ покорнѣйшею просьбою къ нѣкоторымъ молодымъ ученымъ, чтобъ они съ мыслями и замѣчаніями, переданными имъ на лекціяхъ, обходились нѣсколько... поделикатнѣе: берите ихъ цѣликомъ—о, для меня это очень пріятно, ибо всякая мысль, публично сказанная на лекціи, есть достояніе общее; но мнѣ досадно бываетъ встрѣчать мысли, раздѣленныя на двѣ, на три части, изъ коихъ одна поносится, а другая поступаетъ во владѣніе, только не благопріобрѣтенное. Подождите, пока я напечатаю сполна всѣ свои Лекціи и Изслѣдованія, тогда дѣлайте съ ними что угодно! Причина моего неудовольствія ясная: мысль, вырванная изъ цѣлой системы и изуродованная или украшенная на другой ладъ (даже указанное мѣсто изъ лѣтописи), лишается до времени своей силы, свѣжести и новости. Я укажу для примѣра на одну: о происхожденіи дворянства отъ благородныхъ пришельцевъ. Этой мыслію я очень дорожу: она имѣетъ значеніе въ цѣлой системѣ моихъ изслѣдованій о Русской Исторіи, въ системѣ моихъ понятій о Словенахъ, наконецъ, въ системѣ моего историческаго мистицизма, который справедливо замѣчаетъ во мнѣ Кавелинъ. Она была у меня *заявлена* еще въ 1833 году: послѣ пустили ее въ ходъ, да какимъ образомъ? Сосчитавъ роды, по Бархатной книгѣ или родословной, откуда-де сколько вышло, и выведя разныя пропорціи: „За исключеніемъ изъ общаго счета 163 княжескихъ родовъ Рюриковичей и 96 родовъ, неизвѣстно откуда пришедшихъ, оказывается, что на 36 родовъ не пришлыхъ приходится 351 выѣхавшихъ въ Россію со всѣхъ концовъ міра, въ томъ числѣ изъ Франціи, Италіи,

Англіи, Цесаріи, Венгріи и проч. 65; изъ Пруссіи 65; изъ Польши и Литвы, считая и Гедиминовичей, 214; изъ Нѣмцевъ и Варягъ 56; изъ Грековъ, Сербовъ и проч. 17; изъ разныхъ Татарскихъ Ордъ, Сарацинъ, Кафы, Персіи, Грузіи 143; слѣдовательно, отношеніе какъ 1 къ 15 *).

„Все это было бы очень хорошо и остроумно; но дѣло-то въ томъ, что изъ чужихъ странъ вышли къ намъ не всѣ эти роды, *а только родоначальники*, отъ которыхъ чрезъ пятьдесятъ, сто, двѣсти, триста и болѣе лѣтъ, расплодилось такое множество родовъ. Пришелъ къ намъ *одинъ* Рюрикъ, а чрезъ нѣсколько столѣтій, произошло отъ него 150 или болѣе родовъ. Какъ нельзя сказать, что къ намъ пришло 150 княжескихъ родовъ, такъ точно нельзя считать и дворянскіе. Пришло ихъ десять, двадцать, а прочіе разродились у насъ. Вотъ что̀ значитъ взять чужую мысль!

„Впрочемъ—эти очень непріятныя обстоятельства имѣютъ и свою хорошую сторону для меня, побуждая спѣшить изданіемъ моихъ Изслѣдованій“ [98]).

XVI.

Бесѣды Погодина съ своими учениками причинили много ему непріятностей. Ученики возстали противъ учителя. Кавелинъ ѣдко осмѣялъ его въ *Современникѣ*, а Соловьевъ вступилъ съ своимъ учителемъ въ непріятную для послѣдняго полемику.

„Къ числу истинно утѣшительныхъ явленій“, писалъ Кавелинъ,—„въ современной Русской Литературѣ—безспорно принадлежитъ недавно вышедшая статья г. Погодина: *О трудахъ г. Бѣляева, Бычкова, Калачова, Попова, Кавелина и Соловьева по части Русской Исторіи*. Посреди безплодныхъ

---

*) Замѣтимъ здѣсь кстати: этотъ счетъ пришлымъ родамъ сдѣланъ не по *Бархатной Книгѣ*, а по приложенію къ ней издателя ея, исторіографа Миллера (см. сочиненіе моего брата Александра Барсукова, изданное Императорскою Академіею Наукъ: „Обзоръ источниковъ и литературы Русскаго родословія“. С.-Петербургъ, 1887.

литературныхъ распрей и битвъ, приправленныхъ всегда желчью и какими-то затаенными arrière-pensées, она является отраднымъ и умилительнымъ исключеніемъ. Любовь и первобытная простота, руководившая перомъ г. Погодина, живо возрождаютъ передъ вами времена давно прошедшія и служатъ тяжкимъ укоромъ современному злому, развращенному человѣку. Въ самомъ дѣлѣ, посмотрите, что за прекрасная картина! Въ половинѣ XIX вѣка маститый ученый, послѣдній представитель старой Русской исторической школы, мирно, дружески бесѣдуетъ съ бывшими своими питомцами! Всѣ они съ жаромъ бросились на „прекрасную науку Русской исторіи"; но нѣкоторые, по пылкости, свойственной юнымъ лѣтамъ, осмѣлились не совсѣмъ уважительно отозваться о трудахъ своего заслуженнаго наставника; другіе даже дерзновенно возмечтали, что прокладываютъ новые пути въ изученіи Русской исторіи. Золотая молодость! Конечно, эти замашки заслуживаютъ нѣкоторое порицаніе: онѣ показываютъ неблагодарность..., но Богъ съ ними! это увлеченіе такъ естественно!

То—кровь кипитъ, то—силъ избытокъ!

„Такимъ ли грѣхамъ молодости опечалить или раздражить опочившаго на долголѣтнихъ лаврахъ знаменитаго изслѣдователя Русской исторіи? Нѣтъ! Стоя на недосягаемой высотѣ, онъ съ кротостью смотритъ на всѣ эти впрочемъ невинныя уклоненія отъ прямого пути и благодушно извиняетъ ихъ: „Поповъ—говоритъ знаменитый изслѣдователь—придирается къ Шлецеру, какъ Кавелинъ ко мнѣ. Ко мнѣ, пожалуй, можно придираться, хоть и не изъ чего" или: „извинимъ парадоксы молодого человѣка". Вотъ какими чувствами онъ проникнутъ къ молодымъ подросткамъ Русской исторической литературы. Гдѣ, скажите, встрѣтишь подобные примѣры въ нашъ вѣкъ, исполненный вражды? Прислушайтесь, какъ просто, патріархально, маститый ученый бесѣдуетъ съ своими слушателями. Много генерацій прошло передъ нимъ въ Университетѣ, въ продолженіи его слишкомъ двадцатилѣтней про-

фессуры. Время быстро течетъ! Нѣкоторые изъ его учениковъ уже заняли каѳедры въ томъ же Университетѣ, гдѣ онъ такъ блистательно проходилъ свое ученое поприще; всѣ стали болѣе или менѣе дѣйствительными, самостоятельными гражданами; но для г. Погодина они остались тѣми же студентами, молодыми людьми двадцати лѣтъ, и не смотря, можетъ быть, на искреннее желаніе объясняться съ ними иначе, онъ, конечно, по привычкѣ, все продолжаетъ бесѣдовать съ ними по прежнему, тономъ профессора съ студентами, какъ бесѣдовалъ лѣтъ пятнадцать, двадцать тому назадъ. Перебирая по порядку учениковъ, г. Погодинъ обращается, между прочимъ и къ Калачову: „Теперь — говоритъ онъ — чередъ доходитъ до Калачова и его Русской Правды. Это самый тщательный изъ всѣхъ молодыхъ ученыхъ, любящій науку для науки, трудолюбивый. Онъ готовъ быть нашимъ... не поставлю его идеаломъ, потому что похвалы въ наше время, послѣ всѣхъ заемныхъ и покупныхъ, сдѣлались просто гадки, и почти всякому молодому человѣку онѣ могутъ причинить вредъ, а не принести пользы". Въ другомъ мѣстѣ: „Совѣтую молодымъ людямъ не увлекаться минутными успѣхами, столько у насъ легкими за недостаткомъ истинныхъ судей, и не обольщаться похвалами невѣждъ и ихъ помощниковъ, помня стихи Сумарокова:

Достойной похвалы невѣжда не умалитъ,
А то не похвала, когда невѣжда хвалитъ".

„Поистинѣ эти слова трогаютъ душу! Такъ мы видимъ иногда, что неохотно отецъ хвалитъ своего пятидесятилѣтняго сына, чтобъ онъ не зазнался и не возмечталъ о себѣ Богъ знаетъ что! Почтенный старецъ и не подозрѣваетъ, что его сынъ давно совершеннолѣтній. Умилительное заблужденіе! По обычаю старины, г. Погодинъ не церемонится и съ молодежью. Да и зачѣмъ! Сочиненій своихъ учениковъ онъ разумѣется и не читаетъ, да и зачѣмъ ему читать слабые опыты незрѣлыхъ, полустуденческихъ сочиненій? Ему ли, достопочтенному ветерану Русской исторіи, тратить время на такіе

пустяки! Статью Кавелина, помѣщенную въ первой книжкѣ нашего журнала за 1847 годъ „онъ просмотрѣлъ случайно"; о новомъ сочиненіи Соловьева говоритъ: „Я не прочелъ всей книги, потому что видѣлъ съ первыхъ страницъ путь не прямой, путь, не ведущій къ цѣли". Вѣдь не учиться же въ самомъ дѣлѣ Нестору Русской исторической литературы у начинающихъ юношей! Онъ замѣтилъ безпорядокъ въ изученіи Русской исторіи. Ну, и надо было того пожурить, этого немножко похвалить, другого похвалить побольше, еще другого, заблудшаго, направить на прямой путь, а для этого стоило ли внимательно читать статейки.

„Маститости лѣтъ и заслугъ свойственна иногда брюзгливость. Что дѣлать! всякій возрастъ имѣетъ свои неизбѣжныя слабости! За то какъ ошибаются тѣ, которые думаютъ, что она признакъ ожесточенія или досады! Если вы, читатель, имѣли несчастіе впасть въ такое заблужденіе, — прочтите статью Погодина, вотъ лучшее опроверженіе! У достопочтеннаго изслѣдователя Русской исторіи сердце такое доброе, такое кроткое! Прочитавъ свое твореніе, когда оно было уже напечатано, онъ замѣтилъ, что мѣстами слишкомъ строго отозвался о своихъ питомцахъ; разумѣется, онъ не подумалъ о невозможной съ ихъ стороны досадѣ; могутъ ли они быть щекотливы или придирчивы, слушая бывшаго заслуженнаго наставника, который такъ отечески о нихъ печется? Нѣтъ; но вотъ бѣда: они опечалятся, впадутъ въ уныніе, потеряютъ всякую вѣру въ свои силы. За что жъ губить молодость, Богъ съ ней, пусть себѣ работаетъ, будетъ современемъ умнѣй. И подъ вліяніемъ этой кроткой, нѣжной мысли г. Погодинъ оторвалъ клочекъ бумажки и написалъ: „Я указалъ главные, существенные недостатки, въ похвалахъ теперь распространяться не стану; впрочемъ могу завѣрить, что не останется ни одной хорошей мысли, ни одного дѣльнаго замѣчанія во всѣхъ сихъ трудахъ, коимъ не отдамъ я въ своемъ мѣстѣ должной чести". Урокъ, подумалъ онъ, имъ надо было дать, ну за то вотъ имъ и утѣшеніе, чтобъ слишкомъ не горевали" [99]).

Эта статейка Кавелина привела въ восторгъ Бѣлинскаго. „Это не просто зло“, писалъ онъ—„c'est mordant. И чѣмъ эта злость добродушнѣе и спокойнѣе, тѣмъ вострѣе ея щучьи зубы. Какъ все ловко, мѣтко, какъ съ начала до конца ровно выдержанъ тонъ! Этого я, признаться, и не ожидалъ отъ васъ, ученый другъ мой. Ваша статья, не смотря на ея содержаніе и тяжесть многихъ доводовъ, вышла истинно-фельетонная — родъ сочиненій, который такъ рѣдко дается Русскимъ литераторамъ, не говоря уже объ ученыхъ. Что еслибы вы такъ же высѣкли Самарина, какъ Погодина!“ [39]).

Въ девятой книжкѣ *Чтеній* въ Императорскомъ Обществѣ Исторіи и Древностей Россійскихъ 1847 года М. А. Максимовичъ напечаталъ *Отрывокъ изъ Записокъ профессора Московскаго Университета Харитона Андреевича Чеботарева о Русской Исторіи*, содержащій въ себѣ вступленіе „въ настоящую Исторію Россіи“.

Разбирая эту книгу *Чтеній* въ *Современникѣ*, К. Д. Кавелинъ воспользовался *Записками* Чеботарева, чтобы еще разъ кольнуть ими своего наставника Погодина. „Чеботаревъ“, писалъ Кавелинъ,—„сколько мы можемъ судить по *Отрывку*, былъ человѣкъ трудолюбивый, знающій и умный. Не теряясь въ фантазіяхъ и ничѣмъ не подтверждаемыхъ гипотезахъ — этой язвѣ нашего времени, онъ строго придерживался положительныхъ фактовъ, и когда они ничего не говорили, онъ, какъ человѣкъ здравомыслящій, воздерживался отъ всякаго заключенія. Оттого правила исторической критики, которыя онъ изрѣдка, мимоходомъ, высказываетъ, очень бы пригодились иному и теперь. Взглядъ его и раздѣленіе на періоды (Шлецеровское, Россія рождающаяся, раздѣленная, порабощенная, побѣдоносная), разумѣется, теперь ужь никуда не годятся; но мы не станемъ за это винить автора, потому что время и понятія были другія“. Высказавъ это, Кавелинъ переходитъ къ Погодину и язвительно замѣчаетъ: „Между прочимъ мы узнаемъ изъ *Записокъ*, чего никогда не подозрѣвали, а именно, что г. Погодинъ составилъ свою вступительную лекцію по *За*-

пискамъ покойнаго профессора". Въ доказательство приводимъ слѣдующій отрывокъ изъ начала Чеботаревскихъ *Записокъ*: „Писать Россійскую Исторію какое смѣлое предпріятіе! Почти теряюсь въ великости о ней. Писать Исторію такого Государства, которое составляетъ девятую часть всего обитаемаго земного шара и вдвое больше цѣлой Европы; такого Государства, которое вдвое обширнѣе самого древняго Рима, бывшаго обладателемъ цѣлаго міра;—писать Исторію такого народа, который уже болѣе девяти сотъ лѣтъ па театрѣ міра играетъ большую роль, и который въ наши времена господствуетъ съ сѣвера на югъ, отъ Ледовитаго и Балтійскаго моря до Чернаго, Каспійскаго и Байкала, а съ запада на востокъ, отъ рѣки Кименя, Вислы и Днѣстра до Анадыра и Авачи, яко дальнѣйшихъ предѣловъ багряныя зари;—писать Исторію такого Государства, которое подъ скипетромъ своимъ соединяетъ Словенъ, Нѣмцевъ, Финновъ, Татаръ, Самоѣдовъ, Калмыковъ, Тунгусовъ и Курильцевъ, народовъ совсѣмъ различнаго языка и различнаго происхожденія, и которое граничитъ со Шведами, Пруссаками, Турками, Персами, Бухарцами, Китайцами, Японцами и Гуронами; словомъ писать Исторію Россіи, сей, такъ сказать, великой колыбели, изъ которой вышли столь многіе народы, разрушившіе въ Европѣ и вновь основавшіе многія знаменитыя государства!

„Раскройте лѣтописи всѣхъ временъ и народовъ и покажите мнѣ такую Исторію, которая бъ пространствомъ своимъ не обширнѣе, но только бъ равна была Россійской. Она не Исторія земли какой простой, но знаменитой части свѣта, она не Исторія одного какого, но множества народовъ, которые всѣ и языкомъ, и религіею или закономъ, и нравами, и происхожденіемъ своимъ различны, но завоеваніями, неисповѣдимою судьбою и счастіемъ Россовъ соединены въ одно государство".

Сравнивая этотъ отрывокъ съ вступительною лекціей Погодина, Кавелинъ говоритъ: „нельзя не быть пораженну необычайнымъ сходствомъ. Въ послѣдней есть только нѣкото-

рыя распространенія, но они такъ ловко подлажены къ основному взгляду, что и не видно спаекъ. Источникъ, можетъ быть, немножко слишкомъ старъ и несовременен; но въ этомъ случаѣ г. Погодинъ поступилъ на основаніи личнаго вкуса; онъ издавна былъ поклонникомъ старины и недовѣрчиво смотрѣлъ на всякую новизну—до того недовѣрчиво, что даже, противодѣйствуя ей, не всегда разбиралъ средства. Вѣчный поклонникъ и защитникъ всякаго рода авторитетовъ, г. Погодинъ въ блестящую эпоху своей дѣятельности представлялъ въ нашей исторической литературѣ вспять идущее направленіе, вездѣ гибельное, тѣмъ болѣе у насъ, гдѣ покуда нечего останавливать, а надо еще понукать. Чѣмъ больше, выше была его ученая репутація, тѣмъ вреднѣе его вліяніе, наложившее печать на столькихъ людей. На немъ вина, что многіе замѣчательные дѣятели по Русской Исторіи были забыты, или несправедливо и пристрастно оцѣнены современной литературой и критикой. Ни литературу, ни критику нельзя въ этомъ винить. Могли ли онѣ поступать иначе, когда взгляды и понятія, давно отжившіе свой вѣкъ, начали выдавать публикѣ за непреложныя истины и навязывать молодежи подъ страхомъ отлученія? Къ счастію, это время проходитъ: мысль проясняется; все противное здравому смыслу видимо теряетъ авторитетъ. Теперь каждый можетъ безпристрастно судить о Русскихъ писателяхъ всѣхъ вѣковъ и всякихъ направленій, не боясь явиться поддержкой и поборникомъ историческаго обскурантизма, и мы очень счастливы, что можемъ исполнить этотъ долгъ въ отношеніи къ Чеботареву, не смотря на разительное сходство его взглядовъ съ воззрѣніями г. Погодина".

XVII.

Мы уже знаемъ, что въ бесѣдѣ съ учениками своими Погодинъ сдѣлалъ одному изъ нихъ, а именно С. М. Соловьеву, замѣчанія: за его систему древнихъ и новыхъ городовъ, за отрицаніе удѣловъ и Монгольскаго періода, за родовой бытъ;

а также и за остальныя его сочиненія, а именно: о значеніи слова черный, о мѣстничествѣ.

Но ученикъ не остался безмолвнымъ и, какъ иронически замѣчаетъ К. Д. Кавелинъ, „явилъ своему бывшему профессору чувства глубокой признательности“.

И дѣйствительно, 17 іюля 1847 года, въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* появился *Отвѣтъ* С. М. Соловьева *г-мъ Погодину и М—му на ихъ отзывы о моихъ сочиненіяхъ.* Отвѣтъ этотъ былъ таковъ, что Погодинъ, прочитавъ его, въ тотъ же день записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Получилъ газеты и нахожу ругательство подлѣйшее и невѣжественное Соловьева. Вотъ подлецъ-то. И какъ разъ открылся“ [101]). Вмѣстѣ съ тѣмъ Погодинъ недоумѣвалъ: отвѣчать ли, и за совѣтомъ обратился къ Шевыреву. „Сейчасъ пришли газеты“, писалъ онъ, — „читалъ ли? Это изъ рукъ вонъ уже? Неужели отвѣчать мнѣ? Стыдно связываться надолго съ такимъ мальчишкой и вмѣстѣ съ такимъ негодяемъ! Что за честь топтать его! Все выдумки и плутни! Или доколачивать? А каковъ Строгановъ! У меня исключилъ самыя легкія выраженія, и позволяетъ чтó и кому! Не написать ли къ нему второго письма, а первое отправилъ я. Дайте же мнѣ совѣтъ. Не увидишь ли ты Павлова. Посовѣтуйтесь вмѣстѣ“. Шевыревъ посовѣтовалъ отвѣтить. Написавъ отвѣтъ, Погодинъ отправилъ его для напечатанія въ *Московскія Вѣдомости*; но редакторъ ихъ Е. Ѳ. Коршъ не согласился печатать въ органѣ Московскаго Университета бранный отвѣтъ Погодина и писалъ ему (отъ 20 іюля 1847 г.): „Я никакъ не ожидалъ, чтобы вы, имѣя свой органъ, обратились именно къ *Университетскимъ Вѣдомостямъ* съ цѣлью ратовать въ нихъ противъ преподавателей Университета. Согласитесь, что еслибъ я допустилъ подобную вещь, то заслуживалъ бы немедленно лишиться своего редакторства“ [102]).

„Не могу скрыть моего удивленія отъ вашего письма“, отвѣчалъ Погодинъ Коршу. — „Европейскій ли редакторъ написалъ оное? Предъ кѣмъ должны оправдываться обвиняемые? Разумѣется — предъ кѣмъ обвинены бы [illegible] бываетъ во всей

образованной Европѣ, куда вы себя причисляете. Я не думалъ *ратовать*, а оправдываюсь, объясняюсь объ дѣлѣ. Вы не допускаете; но зачѣмъ же допустили противное? Развѣ я не преподаватель, хотя умолкшій, но все-таки членъ Университета. Неужели только нынѣшніе имѣютъ право на охрану въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ*? А вчерашнихъ можно позорить безнаказанно? Вы могли бы помѣстить статью г. Соловьева въ такомъ случаѣ, когда я отказался бы отъ нея, когда бы ему нельзя было защищаться. Но я не отказывался, какъ вамъ извѣстно было и прежде. Согласитесь, что такъ дѣйствовать можно только въ Азіи. Не говорите же по крайней мѣрѣ объ Европѣ!“ Въ концѣ концовъ Погодинъ настоялъ на своемъ, и *Отвѣтъ его Соловьеву* былъ напечатанъ въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ*. Въ этомъ *Отвѣтѣ*, по поводу положенія Соловьева, что *названіе Монгольскаго періода должно быть исключено изъ Русской Исторіи, потому что Монголамъ нельзя приписать такого сильнаго вліянія, какое до сихъ поръ имъ приписывали*, Погодинъ между прочимъ замѣчаетъ: „*Исключить* — легко сказать, но чего стоило нашимъ предкамъ прожить этотъ періодъ? Исключить однимъ почеркомъ пера воспоминаніе о двухъ слишкомъ столѣтіяхъ рабства, позора, страданій, слезъ, крови, убитаго чувства, — двухъ слишкомъ столѣтіяхъ, въ продолженіе коихъ всѣ князья должны были, какъ сказалъ я, ѣздить въ Орду, на берега Амура и Волги, для поклоненія ханамъ, всѣ митрополиты, между коими были Петръ и Алексій, смиренно просить ярлыковъ даже для свободнаго Богослуженія, всѣ граждане должны были преклонять свою голову предъ послѣднимъ татариномъ, и считать себя рабами, — о, это такой періодъ, на который Татары наложили глубоко клеймо свое, и исключать ихъ имя изъ него, — не знаю, значитъ ли понимать этотъ періодъ? Не нужно мнѣ обращаться въ журнальной статьѣ ни „къ фактамъ, ни къ свидѣтельствамъ лѣтописцевъ, ни къ актамъ неоспоримымъ“, хотя и они представили бы для меня слишкомъ много доказательствъ *внутренняго*, пагубнаго вліянія Монголовъ, остановившихъ насъ на

пути нашего развитія и образованія,—нѣтъ, одинъ кнутъ, которымъ Европа упрекала Россію до нашего времени, и отъ котораго избавилась она только въ нынѣшнее царствованіе, два года тому назадъ, — вотъ свидѣтель, ужасный свидѣтель, укрѣпляющій за этими варварами ихъ кровавое право звучать для насъ въ имени страшнаго періода и напоминать намъ вмѣстѣ, къ нашему утѣшенію, что Россія въ древней своей исторіи, точно какъ и въ настоящемъ положеніи, имѣетъ много залоговъ твердости, жизни и долговѣчности. Да, тѣлесныя наказанія неизвѣстны были въ Россіи до Татаръ, и справедливо говоритъ Карамзинъ, что „можетъ быть, самый нынѣшній характеръ Россіянъ еще являетъ пятна, возложенныя на него варварствомъ Монголовъ". Я привожу слова Карамзина, думая, что лучше повторить чужую мысль, дѣльную и основательную (впрочемъ не присвоивая ее себѣ), чѣмъ придумывать напряженно свою новую, которая не всегда можетъ имѣть означенныя качества".

Отвѣтъ свой Погодинъ заключаетъ такъ: „Соловьевъ говоритъ наконецъ о моемъ непониманіи Исторіи, о моемъ незнаніи фактовъ, о моей недобросовѣстности въ изслѣдованіяхъ. Объ этомъ спорить я не могу,—можетъ быть—все это и правда. Пусть судятъ другіе, а мое дѣло стараться понять, чего не понималъ; узнать—чего не зналъ, и учиться, учиться, учиться: ибо чѣмъ больше учишься, тѣмъ болѣе узнаешь, что знаешь меньше того, чего не знаешь. Лѣтъ двадцать назадъ, мнѣ казалось, что я постигъ всю Исторію, и она была у меня какъ на ладони, а теперь—нѣтъ; часто задумываюсь я, часто перо останавливается, и отхожу я ко сну, послѣ труднаго рабочаго дня, не съ отвѣтомъ, а съ вопросомъ!

„Я надѣюсь, что молодой ученый освободитъ меня *теперь* отъ такого же обстоятельнаго разбора его такъ называемыхъ мыслей о пригородахъ, которые онъ смѣшалъ съ новыми городами, о мѣстникахъ и дружинникахъ, которыхъ списокъ разстроитъ такъ же его систему, какъ и списокъ городовъ; о черныхъ людяхъ, которыхъ напрасно лишилъ онъ ихъ опре-

дѣленнаго цвѣта. Если же онъ пожелаетъ—то я не отказываюсь предложить его на листахъ *Москвитянина*, который былъ, есть и будетъ готовъ помѣщать также всѣ возраженія, и всѣ антикритики, чьи бы то ни было" [103]).

Отвѣтъ Погодина произвелъ на этотъ разъ благопріятное впечатлѣніе какъ на его друзей, такъ и на нѣкоторыхъ его противниковъ. „Браво, браво!" писалъ ему Шевыревъ: —„славно написано. Только сдѣлай милость уничтожь *халатныя* и *ночныя* подробности, которыя ты любишь. Что за дѣло до вечеровъ и до того, что у тебя глаза слипались". „Вчера мы съ Грановскимъ", читаемъ въ письмѣ Н. Ф. Павлова Погодину,—„говорили объ васъ, а сегодня вы объ немъ. Онъ многое хвалитъ мнѣ въ вашей статьѣ". Но В. Н. Лешковъ какъ бы съ упрекомъ писалъ Погодину: „Что же вы такъ немилосерды къ Соловьеву?" [104])

Но этотъ упрекъ можно также отнести и къ Соловьеву: и онъ былъ немилостивъ къ своему учителю. Въ слѣдующемъ же нумерѣ *Московскихъ Вѣдомостей* онъ напечаталъ рѣзкій *Отвѣтъ г-ну Погодину на его Отвѣтъ.* Въ этомъ *Отвѣтѣ* Соловьевъ, защищая Монголовъ, писалъ: „Погодинъ, вооружаясь опять противъ моего положенія о Монголахъ, опять приводитъ голословное свидѣтельство Карамзина!.. Говоритъ также о кнутѣ, какъ остаткѣ Монгольскаго ига, и что до Монголовъ не было тѣлеснаго наказанія. Но за то, отвѣчаю, не было ничего опредѣлено юридически, господствовалъ полный произволъ, князья и народъ, въ припадкахъ гнѣва, безъ соблюденія всякихъ законныхъ формъ, терзали и умерщвляли, не разбирая ни сана, ни святости... Погодинъ указываетъ на кнутъ, а я укажу на пытку, которая хуже кнута, а потому и прежде уничтожена. Откуда же получили пытку? Все отъ Татаръ? Какъ будто во всей Западной Европѣ не существовала она!" [105]). Останавливаясь передъ этою картиною, Погодинъ, въ своемъ заключительномъ отвѣтѣ, восклицаетъ: „Вотъ вамъ и Древняя Русская Исторія! Возражать ли на это мѣсто или обойти его? Пощадимъ —

обойдемъ". И вмѣсто отвѣта представляетъ противоположное изображеніе древняго нашего быта, сдѣланнаго Ю. Ѳ. Самаринымъ въ его статьѣ противъ *Современника*: „Кажется", писалъ онъ,—„значеніе Кіевскаго княжества доселѣ никѣмъ еще не было принято. Карамзинъ навелъ на него, какъ и на весь періодъ удѣловъ, ложный колоритъ. Въ этомъ, разумѣется, его винить нельзя. Послѣдующіе ученые занялись спеціальными изслѣдованіями, и ни одинъ изъ нихъ не обнялъ тогдашней жизни во всей ея полнотѣ. Теперь, благодаря изданію *Ипатьевской Лѣтописи* и многихъ памятниковъ церковной Литературы, воскресаетъ передъ нами эта древняя, свѣтлая Русь. Она озарена какимъ-то весельемъ, праздничнымъ сіяніемъ. Разноплеменное населеніе окрестностей Кіева, торговый путь Греческій и другіе, проходившіе мимо Кіева или примыкавшіе къ нему, безпрерывныя сношенія съ Византіею и съ Западною Европою, церковныя торжества, соборы, княжескіе съѣзды, соединенныя ополченія, привлекавшія въ Кіевъ множество народа изъ всѣхъ концовъ Россіи, довольство, роскошь; множество церквей, засвидѣтельствованное иностранцами, рано пробудившаяся потребность книжнаго ученія, при этомъ какая-то непринужденность и свобода въ отношеніяхъ людей различныхъ званій и сословій, наконецъ внутреннее единство жизни, всеобщее стремленіе освятить всѣ отношенія религіознымъ началомъ, такъ ярко озарившееся въ воззрѣніи нашего древнѣйшаго лѣтописца—все это вмѣстѣ указываетъ на такіе условія и зародыши просвѣщенія, которые не всѣ перешли въ наслѣдство къ Руси Владимірской и Галицкой. Въ Кіевскомъ періодѣ не было вовсе ни тѣсной исключительности, ни суроваго невѣжества позднѣйшихъ временъ. Это не значитъ, чтобы Исторія пошла назадъ; явились иныя потребности, иныя цѣли, которыхъ необходимо было достигнуть во что бы то ни стало; теченіе жизни стѣснилось—и за то пошло быстрѣе по одному направленію; но Кіевская Русь остается какимъ-то блистательнымъ прологомъ къ нашей Исторіи" [106]).

Въ заключеніи послѣдняго *Отвѣта* Соловьева мы читаемъ: „Погодинъ говоритъ, что *ему не нужно въ журнальной статьѣ обращаться къ фактамъ, свидѣтельствамъ лѣтописцевъ, актамъ неоспоримымъ.* Къ чему же хочетъ обращаться Погодинъ въ своихъ журнальныхъ статьяхъ? Отъ души благодарю Погодина за это наивное признаніе, потому что въ такомъ случаѣ я не могу продолжать съ нимъ споръ, ибо оружіе будетъ неравное: и въ журнальной статьѣ, какъ во всякомъ ученомъ трудѣ, я могу обращаться только къ фактамъ, къ свидѣтельствамъ лѣтописцевъ, къ актамъ неоспоримымъ; не могу, признаюсь откровенно, говорить съ читателями о томъ, какъ я ложусь спать,—съ вопросомъ, или съ отвѣтомъ: это можетъ дѣлать только г. Погодинъ; не отставать же ему отъ своихъ старыхъ привычекъ!.. И такъ, повторяю, споръ нашъ конченъ, потому что у насъ оружіе неравное. Это мое послѣднее слово г. Погодину и всѣмъ его сотрудникамъ“ [107]).

Одновременно съ Погодинымъ противъ Соловьева выступилъ и Мстиславскій и тоже порывался продолжать полемику; но Шевыревъ умолялъ Погодина не печатать въ *Москвитянинѣ* „возраженія Мстиславскаго на Соловьева“; ибо, какъ писалъ Шевыревъ: „Мстиславскій радъ тебѣ навязывать свои статьи, потому что ихъ не хочетъ брать *Современникъ*“.

На Соловьева Погодинъ жаловался И. И. Давыдову, и тотъ писалъ ему изъ Петербурга: „Я нѣсколько дней провелъ въ Царскомъ Селѣ и потому запоздалъ отвѣтомъ на послѣднее ваше письмо, душевно уважаемый Михаилъ Петровичъ. Тревогу вы подняли сами: слѣдовательно, должны терпѣть. Притомъ, назвавшись грибомъ, полѣзай въ кузовъ. Развѣ журналистъ можетъ освободиться когда-либо отъ такихъ тревогъ? Вамъ прискорбно, что ученикъ вашъ поноситъ васъ? А помните ли, какъ мой ученикъ *) поносилъ меня въ вашемъ же журналѣ? Ужели вы ожидаете благодарности отъ тѣхъ, кому

*) Ѳ. И. Буслаевъ.

вы оказали добро? Полемики газетной впредь начинать не совѣтую: тутъ моськи и шавки всегда восторжествуютъ, потому что этого люда всегда больше. Графъ С. С. Уваровъ также не желалъ бы, чтобы вы выходили на эту травлю. Развѣ вы убѣдите дерзкое и наглое самолюбіе, желающее отличиться? Если толпа говоритъ: *Ай, моська, знать она сильна, что лаетъ на слона* — моська и довольна... Вѣра Александровна изъявляетъ вамъ глубочайшее почтеніе. Она поручила написать вамъ, что, послѣ полемики вашей, она перестала читать *Московскія Вѣдомости.* Дерзость и наглость вашихъ противниковъ оскорбляютъ чувство, не привыкшее къ этому" [108]).

Но не смотря на совѣты Давыдова и на нежеланіе Соловьева продолжать полемику, Погодину все-таки хотѣлось оставить за собою послѣднее слово, и въ эпилогѣ онъ писалъ: „Грубыя, бранныя и дерзкія выходки Соловьева, напечатанныя въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ,* я пропустилъ мимо ушей, надѣясь, что такое умолчаніе на него подѣйствуетъ, но во второй статьѣ, тамъ же напечатанной, ихъ явилось еще болѣе... Оскорблять меня онѣ не могутъ, а признаюсь, мнѣ грустно, очень грустно, даже тяжело было ихъ читать и объ нихъ слышать! Отвѣчать на нихъ я опять не стану... Но чѣмъ же кончу я свою статью? Какъ нарочно въ эту минуту приноситъ мнѣ одинъ мой коммиссіонеръ-антикварій книжку, напечатанную при Петрѣ I, подъ заглавіемъ: *Краткихъ витіеватыхъ и нравоучительныхъ повѣстей книги три,* 1711 года. Развертываю и читаю слѣдующее мѣсто объ Аристиппѣ, которое пусть и будетъ моимъ заключеніемъ: *Нѣкоему лающу его, молча, иде прочь отъ него, оному же за німъ въ слѣдъ юнящу и глаголющу: что бѣжіши и почто? рече Арістіпъ: того для, яко ты имѣеши сілу злая глаголати: азъ же имамъ мочь того не слушати*" [109]).

Хотя Аксаковы, по словамъ Погодина, и негодовали на Соловьева за его полемику, но тѣмъ не менѣе поддерживали съ нимъ дружескія сношенія. Это раздражало Погодина, и

онъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Какъ жаль Аксаковыхъ, которые, покорные своему изувѣру, принимаютъ Соловьева такъ же, какъ меня. О, скорѣе прочь отъ всѣхъ". И вотъ однажды, когда Погодинъ сидѣлъ у Аксаковыхъ, является „вдругъ женихъ Соловьевъ". Доброе сердце Погодина взяло верхъ, и у него, по его собственному свидѣтельству, не оказалось „мѣсто враждѣ и еще что-то въ этомъ родѣ. Я поцѣловалъ Соловьева со слезами, сказавъ, „что всегда желалъ ему добра, а теперь кольми паче" [110]).

Бесѣды Погодина съ учениками накликали на него негодованіе и графа С. Г. Строганова, который написалъ ему по этому поводу письмо, о рѣзкости коего можно судить по сохранившемуся черновому отвѣту Погодина: „Наконецъ я разобралъ, къ прискорбію моему, всѣ неясныя и мудреныя черты въ письмѣ вашего сіятельства. Вы пишете, что я взялъ *диктаторскій тонъ, не имѣя на то никакого права.* Имѣлъ ли я право употребить избранный мною тонъ—должны судить люди, знающіе Исторію; для прочихъ доказательство моего права—въ званіи академика, почетнаго члена Университета за *отличныя въ ученомъ смыслѣ заслуги, оказанныя Русской Исторіи*, какъ сказано въ дипломѣ, подписанномъ вашимъ сіятельствомъ, и мои печатные труды, которыхъ никакая ненависть, никакая клевета и никакое невѣжество уничтожить уже не могутъ. Что касается лично до васъ, то я могу напомнить вамъ собственныя ваши слова при моемъ увольненіи: *вы считали себя счастливымъ, что вашъ сынокъ успѣлъ воспользоваться моими уроками.* Были ли студенты моими слушателями только, какъ вы пишете, а не учениками, отвѣтятъ вамъ они сами. Впрочемъ, и безъ ихъ отвѣта всякій посторонній человѣкъ, видя, что двадцать человѣкъ принялось вдругъ писать о Русской Исторіи, изъ одного Московскаго Университета, не припишетъ ихъ стремленіе одному просвѣщенному и великодушному, безпристрастному попечительству вашего сіятельства. Еслибы вы ихъ одни образовали, то мы должны бы были имѣть отличныхъ юристовъ,

натуралистовъ и по крайней мѣрѣ вдвое болѣе... Есть еще филологи—ученики Шевырева, въ доказательство, чье ученіе было плодотворно, и чье производило одинъ пустоцвѣтъ...." Когда съ этимъ отвѣтомъ своимъ графу Строганову Погодинъ познакомилъ И. И. Давыдова, то сей послѣдній писалъ ему: „Письмо къ графу Строганову, по моему мнѣнію, весьма умѣренное. Я слыхалъ, какъ вы лично съ нимъ объяснялись, и послѣ знакомыхъ мнѣ объясненій подобныя письма учтивость".

Не одни враги, но и друзья отнеслись несочувственно къ бесѣдѣ Погодина. „Твои статьи", писалъ ему М. А. Максимовичъ изъ своей Михайловой Горы, отъ 6 декабря 1847 года,—„объ историческихъ трудахъ твоихъ учениковъ, хоть и дѣльны, да непріятны: не вѣкъ же имъ считаться у тебя *учениками*; и что за радость тебѣ навязываться въ *учители*, когда они *чураются* этого! Это великій въ тебѣ порокъ; явился онъ въ послѣднее время; имъ пропитаны твои *Изслѣдованія* и прочее. — Подчасъ, конечно, можно о себѣ замолвить; но съ учениками возня твоя, право, непріятна, именно по тону твоему. Ты другъ Исторіи — всякъ знаетъ это, какъ дважды-два четыре: но почему же тѣ не друзья, кто не такъ думаетъ, какъ ты. Не сердись на меня за эти непустыя тебѣ слова. Я золъ на тебя, потому что люблю тебя, золъ за *Москвитянина*, потому что вижу всю его важность и необходимость въ настоящее время... Но Богъ въ помощь тебѣ и ему! Отъ души желаю ему всевозможной силы и успѣха".

Впослѣдствіи почтенный Троицкій ученый П. С. Казанскій, защищая предъ Погодинымъ *новую школу Русской Исторіи*, писалъ ему (23 января 1849 г.): „Мнѣ кажется, напрасно вы такъ горячо нападаете на такъ-называемую вами новую школу Исторіи Русской. Если и есть тутъ односторонность, за то сколько новыхъ, свѣжихъ мыслей брошено въ сокровищницу свѣдѣній о нашей Древней Руси. Хотя бы и всѣ эти мысли были несправедливы, но не онѣ ли заста-

вляютъ васъ, ветерановъ науки, вновь переизслѣдовать многія стороны жизни Русской, на которыя прежде не такъ много обращали вниманія? А развѣ это маловажная заслуга? Взглядъ расширяется, открываются новыя стороны, и истина восторжествуетъ. Стало быть, есть слабыя стороны и въ старой школѣ, когда она подвергается нападеніямъ; аксіомы не станутъ опровергать. Укрѣпите эти слабыя стороны, объясните неясное еще, и нападенія, если они неосновательны, падутъ сами собою".

На это Погодинъ отвѣчалъ П. С. Казанскому: „Согласенъ съ вами касательно пользы скептицизма. Соглашусь, можетъ быть, даже въ пользѣ новой школы, — но всетаки въ пользѣ отрицательной (какъ и отъ скептицизма), то-есть, она можетъ побуждать другихъ къ разсмотрѣнію Исторіи съ другихъ сторонъ. Можетъ быть, я слишкомъ горячо нападаю на нее, но вина въ ея наглости: безъ всякихъ основаній, на-обумъ, защуривъ глаза, не имѣя силы ни на одно положеніе, чтобъ сказать только что-нибудь новое, она покусилась коверкать Русскую Исторію, точно какъ покойный Полевой: тотъ закричалъ, напримѣръ, что Мономахъ никуда не годится, потому только, что всѣ считали его добродѣтельнымъ княземъ; тотъ вздумалъ честить Шемяку, потому только, что всѣмъ служилъ онъ пословицей беззаконія, безъ всякихъ другихъ основаній. Точно такъ и теперь: раздѣленіе Руси было для насъ аксіомой — намъ говорятъ, что удѣловъ не было, и періодъ удѣльнымъ называть не должно; мы проклинали Монголовъ — намъ говорятъ, что они не имѣли на Русь почти никакого вліянія. Сынъ шелъ на отца, отецъ на сына, братъ на брата, племянникъ на дядю, за власть, за владѣніе, за волости, — намъ говорятъ, что родовыя отношенія играли у насъ главную роль. Грозный слѣдовалъ старой системѣ, а Сильвестръ былъ нововводителемъ — намъ говорятъ, на оборотъ, вопреки всѣхъ свидѣтельствъ. Читать, слышать такія вещи, признаюсь, я не могу безъ негодованія и безъ желчи... Дайте только мнѣ издать 4, 5 и 6 томъ Изслѣдованій, я раздѣлаюсь съ

этими удалыми молодцами Русской Исторіи покрѣпче, чѣмъ съ покойными скептиками, и выведу ихъ на чистую воду, если они не уймутся. И вотъ слово на миръ! Уймись они, покажи въ своихъ писаніяхъ хоть слегка (я пощажу ихъ самолюбіе и не стану доводить ихъ до крайности), что они начинаютъ раскаяваться, признаваться въ опрометчивости своихъ заключеній, я готовъ забыть все прошлое и идти съ ними вмѣстѣ, рука въ руку, по прекрасному полю Русской Исторіи, работать такъ, какъ предлагалъ въ предисловіи къ первому тому..." [111]).

XVIII.

Въ то время, когда Погодинъ велъ лютую войну съ родоначальниками новой Исторической школы, профессорами Московскаго Университета Кавелинымъ и Соловьевымъ, въ это самое время является къ нему юноша, окончившій курсъ въ Нижегородской гимназіи, и вручаетъ ему два рекомендательныя письма. Въ одномъ изъ нихъ (29 іюля 1847), отъ Александра Ивановича Мессинга, Погодинъ прочелъ: „Съ предположеніемъ и надеждою пріумножить со временемъ ученое сословіе, отправляется къ вамъ, для поступленія въ Университетъ, питомецъ Нижегородской гимназіи, вручитель сего письма, г. Бестужевъ-Рюминъ, сынъ стариннаго и хорошаго пріятеля моего. Зная вліяніе, которое имѣете вы на дѣла Университета, и сколь много пользы приноситъ протекція ваша молодымъ людямъ, поступающимъ въ оный, я убѣдительнѣйше васъ прошу оказать таковую г. Бестужеву и дать ему нужное наставленіе и поощреніе при поступленіи къ экзамену; онъ хотя очень хорошо приготовленъ и имѣетъ отличныя способности, но при всемъ томъ родители его, зная застѣнчивость, крайне безпокоятся въ ожиданіи результата предстоящаго ему испытанія; принимая истинное участіе въ его положеніи и въ полной увѣренности, что вы не откажетесь быть руководителемъ этого юноши, я обращаю его

къ вамъ, облегчите ему путь къ пріобрѣтенію мудрости и къ чести быть сочленомъ знаменитаго Университета вашего". Другое письмо было отъ бывшаго преподавателя Нижегородской гимназіи и впослѣдствіи знаменитаго писателя нашего, П. И. Мельникова: „Позвольте вамъ представить молодого человѣка, поступающаго въ вашъ Университетъ, Константина Николаевича *Бестужева-Рюмина*. Восемь лѣтъ былъ я преподавателемъ Исторіи въ двухъ гимназіяхъ и смѣло могу сказать, что никогда не видалъ другого молодого человѣка, который бы съ такою ревностью и съ такими успѣхами занимался Исторіей и въ особенности Русской. Примите его подъ свое археологическое покровительство. Вамъ можно будетъ изъ него сдѣлать одного изъ самыхъ замѣчательныхъ будущихъ дѣятелей Русской Исторіи. Онъ поступаетъ въ Московскій Университетъ болѣе для того, чтобъ, среди старины Московской, учиться Русской Исторіи въ такомъ заведеніи, гдѣ эта наука постоянно шла лучше, нежели въ другихъ университетахъ. Я увѣренъ, что *Бестужевъ-Рюминъ* оправдаетъ ваше довѣріе, если вы удостоите его имъ. Дайте средства и возможность ему усовершенствовать себя. Введите его въ свои сокровищницы" [112]).

Прошло много, много лѣтъ. Погодинъ уже состарѣлся и стоялъ при дверяхъ гроба, а К. Н. Бестужевъ-Рюминъ стяжалъ себѣ славу Историка Россіи. 29 декабря 1871 года Москва торжествовала пятидесятилѣтіе гражданской и ученой службы М. П. Погодина. Въ этотъ день К. Н. Бестужевъ-Рюминъ, будучи самъ профессоромъ Русской Исторіи, имѣлъ утѣшеніе во всеуслышаніе заявить слѣдующее: „Позвольте мнѣ, Михаилъ Петровичъ, заявить о старомъ уже, но неоплатномъ долгѣ, который лежитъ на мнѣ. Не вашъ ученикъ, я имѣлъ однако неоцѣненное счастіе пользоваться вашими указаніями и совѣтами въ то время, когда былъ еще студентомъ перваго курса. Вы заставили меня изучить Шлецера, вы задали мнѣ работу надъ составомъ лѣтописей, которую тогда я не успѣлъ исполнить, но къ которой обратился че-

резъ двадцать лѣтъ *). Какъ ни драгоцѣнны были для меня ваши указанія и совѣты въ критикѣ источниковъ, еще драгоцѣннѣе были ваши разговоры, и одинъ случай врѣзался въ мою память: пришелъ я разъ къ вамъ и сталъ съ юношескою самоувѣренностью защищать модное тогда мнѣніе объ *исключительномъ, будто бы, юридическомъ характерѣ Древней Русской Исторіи*. Слушали вы меня долго и отвѣтили краткимъ замѣчаніемъ: *А св. Сергія куда вы дѣнете съ вашимъ юридическимъ элементомъ?* Много разъ въ позднѣйшіе годы моей жизни задумывался я надъ этимъ глубокомысленнымъ отвѣтомъ, и чѣмъ болѣе самъ работалъ, тѣмъ болѣе убѣждался въ истинѣ того, что̀ такъ вѣрно и мѣтко выражено въ этихъ немногихъ словахъ. Въ самомъ дѣлѣ, какъ много въ жизни такого, что не укладывается въ опредѣленныя и ясныя рамки, и какое сильное вліяніе на всю жизнь народа, на всю его Исторію оказываетъ это *неопредѣленное*: вся нравственная, вся религіозная жизнь народа относится къ разряду фактовъ, которые нельзя ни свѣсить, ни смѣрить, ни опредѣлить, а въ нихъ-то всего болѣе выражается духъ народный. Перечитывая труды ваши и вдумываясь въ нихъ, я убѣдился, что этихъ-то сторонъ вы искали преимущественно, и въ вашихъ *афоризмахъ* часто сказывается такое вѣрное пониманіе самой сущности жизни, что нерѣдко однимъ такимъ афоризмомъ можно разрушить цѣлую теорію" [113]).

Будучи въ 1846 году въ Маріенбадѣ, Погодинъ познакомился и сблизился съ однимъ молодымъ человѣкомъ, дальнѣйшая судьба котораго намъ, къ сожалѣнію, неизвѣстна; но, судя по сохранившимся двумъ письмамъ его къ Погодину, съ достовѣрностью можно было предположить, что изъ него могъ бы выработаться замѣчательный Русскій ученый. То былъ Александръ Григорьевичъ Яновскій. Въ письмѣ своемъ, отъ 12 февраля 1847 года, Яновскій, „вспоминая пріятные часы", проведенные имъ съ Погодинымъ въ Маріенбадѣ и

---

*) О составѣ Русскихъ лѣтописей до конца XIV в. С.-Пб. 1868.

въ Теплицѣ, гдѣ бесѣды его доставляли столько удовольствія, проситъ „о продолженіи знакомства“. Разставшись съ Погодинымъ, Яновскій „провелъ нѣсколько времени въ Саксоніи и оттуда отправился въ Россію сухимъ путемъ черезъ Пруссію, Литву, Остзейскія губерніи“. Съ результатами своихъ путевыхъ наблюденій Яновскій и дѣлится съ Погодинымъ, въ двухъ своихъ замѣчательныхъ къ нему письмахъ, изъ Петербурга. „Курляндія и Лифляндія“, писалъ онъ, — „прежде вовсе не были мнѣ знакомы, а Литву видѣлъ только мелькомъ зимою, сквозь замерзшее стекло почтоваго брика. Теперь же, проѣзжая на перекладной, я имѣлъ возможность останавливаться тамъ, гдѣ могъ болѣе удовлетворить свое любопытство. Но главный интересъ представляла для меня Пруссія; я очень желалъ видѣть внутреннее ея устройство, столь прославленное въ Европѣ. Мнѣ довелось ѣхать Поморскою дорогою по древне-Словенскимъ или правильнѣе Вендскимъ землямъ, черезъ Померанію и Кашубію. Природа вообще бѣдна и очень сходна, особливо въ Помераніи, съ нашею Новгородскою. Мѣстами болота, песокъ, та же угрюмая ель, та же хилая растительность. Это и причина, что прежнее Словенское народонаселеніе добывало себѣ хлѣбъ сперва морскими разбоями, а послѣ мореплаваніемъ и торговлею. Соображая мѣстность Поморянъ съ мѣстностью древней Новгородской области, невольно приходитъ на мысль, что тамъ первыя Словенскія поселенія были не иначе, какъ отъ Вендовъ Поморскихъ торговыми колоніями, кои послѣ распространились, усилились и возросли до Великаго Новгорода. Судя по географическому положенію, это такъ сбыточно, что кажется, и не могло быть иначе, хотя противорѣчитъ нашему почтенному Нестору. Но, принявъ во вниманіе, что южные Словене вообще мало имѣютъ склонности къ торговлѣ, что имъ противна мрачная природа сѣвера, что при переселеніи съ юга имъ ближе было бы остановиться гдѣ-либо въ обширныхъ тогдашнихъ лѣсахъ средней Россіи, чѣмъ забиться въ пустую, болотную и голодную страну межъ чу-

ждыхъ народовъ, куда сухопутный проходъ едва ли былъ возможенъ, должно было ѣхать по рѣкамъ на плотахъ или лодкахъ, кои нужно было строить, а между тѣмъ кормиться нечѣмъ,—вы согласитесь, что для массы народа сколько-нибудь значительной такое переселенiе едва ли было возможно, а что болѣе чѣмъ вѣроятно, что почтенный Несторъ смѣшалъ преданiе объ основанiи какого-либо другого Новгорода съ Новгородомъ Великимъ. Впослѣдствiи, когда Новгородцы имѣли осѣдлость, они могли мало-по-малу проложить дорогу къ Смоленску и въ другiя мѣста; но въ началѣ какъ пройти цѣлому народу тамъ, гдѣ и одному человѣку пробраться трудно, и зачѣмъ же? Чтобъ поселиться на болотахъ, когда ихъ никто туда не гналъ.—Съ другой стороны, представляется соображенiю, что Новгородъ на Ильменѣ былъ въ началѣ окруженъ Финскими племенами, кои и прежде, и теперь называли и называютъ Русскихъ Ванами или Вандами, и что Вендамъ Поморскимъ, народу торговому, такъ удобно было проѣхать по Балтiйскому морю, по Невѣ, Ладожскому озеру и основать сначала Ладогу, а послѣ и Новгородъ. Потомъ, когда народонаселенiе умножилось, владѣнiя распространились и имъ понадобился князь, то они послали искать его въ свою метрополiю или къ ея сосѣдямъ Вилкамъ или Оботритамъ, извѣстнымъ своею воинственностью. Само собою разумѣется, что колонiи Вендовъ были не въ одной Новгородской области и въ началѣ не въ большихъ размѣрахъ. Они, безъ сомнѣнiя, имѣли нѣсколько пристанищъ между Финами по берегу моря и Двины, только тѣ не возросли до такого величiя, какъ Новгородъ. Городокъ Венденъ въ Лифляндiи, Перновъ въ Эстляндiи, — можетъ быть даже Полоцкъ, были торговыми пунктами промышленнаго народа между полудикими обитателями страны. Еслибы внимательно разобрать Остзейскiй край, который донынѣ не изслѣдованъ въ историческомъ отношенiи, какъ и вся наша Матушка Россiя, то памятники, оставшiеся на землѣ и въ устахъ народа, можетъ быть, яснѣе сказали бы истину о томъ, что̀ было въ древно-

сти, чѣмъ всѣ старые пергаменты, писанные по слухамъ въ монастырскихъ уединеніяхъ". Всѣ эти соображенія Яновскій представляетъ на благоусмотрѣніе Погодина. „Вы", пишетъ онъ,—„какъ знатокъ Русской Исторіи лучше другихъ можете судить объ этомъ предметѣ, и мнѣ весьма интересно было бы прочитать ваше основательное возраженіе. Можетъ быть, я недовольно ясно изложилъ свои мысли, но правдоподобіе предположенія само собой замѣнитъ ясность изложенія. Я писалъ къ Ганкѣ о передачѣ этого мнѣнія Шафарику, но еще не получилъ отвѣта".

Въ другомъ своемъ письмѣ Яновскій касается *Изслѣдованій* Погодина, которыя въ Петербургѣ онъ едва отыскалъ у одного только книгопродавца Юнгмейстера, и въ этомъ письмѣ Яновскій продолжаетъ свою бесѣду съ Погодинымъ объ Исторіи Великаго Новгорода. „Вы догадываетесь", пишетъ онъ,—„не было ли близъ Новгорода колоніи Западныхъ Словенъ, отъ коей Новгородцы могли заимствовать свою гражданственность; но васъ отталкиваетъ отъ этой мысли сходство Новгородскаго нарѣчія съ Малороссійскимъ.—А знаете ли, что это самое нарѣчіе служитъ подтвержденіемъ идеи о происхожденіи Новгородцевъ отъ Поморянъ. Поклонники Нестора могутъ возразить, что гражданственность проникла въ Новгородъ отъ безпрерывныхъ его торговыхъ сношеній съ Западомъ. Извѣстно, что торговля есть легчайшій проводникъ для гражданственности. Но что они скажутъ о Малороссійскомъ нарѣчіи? Не примутъ ли они его за доказательство къ подтвержденію словъ лѣтописца, что Новгородцы пришли отъ Дуная? Въ отвѣтъ на это я бы имъ указалъ на жителей Курской губерніи, ближайшихъ сосѣдей Малороссіи, кои, судя по извѣстіямъ Нестора, тоже должны быть переселенцы отъ Дуная, а имѣютъ въ своемъ языкѣ менѣе Малороссійскихъ словъ, чѣмъ Новгородцы, и отличаются отъ Малороссіянъ видомъ, костюмомъ, образомъ жизни, постройкою зданій, характеромъ и пр. и пр., тогда какъ Чехи и Лужичане, коихъ я наблюдалъ въ деревняхъ, имѣютъ во всемъ этомъ съ

нашими Хохлами разительное сходство. Въ мужчинахъ оно еще не такъ замѣтно по различію занятій, образованія, особливо отъ столкновенія съ Нѣмцами, которые зовутъ ихъ Цопаками, отъ частыхъ отзывовъ ихъ: цо пакъ (по Малороссійски що пакъ), но женщины, по физіономіи, костюму, пріемамъ, ухваткамъ точь въ точь наши Малороссійскія мѣщанки; глядя на нихъ, я переносился мысленно въ Малороссію. Постройка и расположеніе домовъ, утварь и пр. все Малороссійское, только чище и лучше. Я самъ малороссіянинъ, и для меня всѣ тонкія черты народности понятнѣе, чѣмъ для человѣка другой націи, даже Русскаго, ибо Русскіе очень и очень многимъ отличаются отъ Малороссіянъ. Въ языкѣ Чеховъ я находилъ всѣ слова Малороссійскія и ни одного чисто Русскаго. Не знаю, откуда Русскіе набрали въ свой языкъ такихъ словъ, коихъ нѣтъ ни на одномъ Словенскомъ парѣчіи. Напримѣръ, *глазъ*, *рубаха* и пр. Вездѣ говорятъ, какъ и Малороссіяне, *око*, *сорочка* или *кошуля*. Слово *понимаю*—видимо, что Русскіе составили сами, корень его замѣтенъ; а у всѣхъ Словенскихъ племенъ говорятъ Малороссійское *розумію*, слова: *лошадь*, *башмакъ*, *кушакъ* и пр. чисто Татарскія, ихъ нѣтъ ни у Малороссіянъ, кои тоже подвергались Татарскому игу, ни у нашихъ западныхъ собратій. У тѣхъ и другихъ говорятъ одинаково: *конь*, *черевикъ*, *пасъ* (*поясъ*). Ваша Московская *сайка* должна быть чухонскаго происхожденія, тамъ *саинъ* называется бѣлый хлѣбъ. Обычаи Малороссіянъ болѣе сходны съ Чешскими, чѣмъ съ Русскими. Для примѣра укажу на *Щедрый вечеръ* (канунъ новаго года), на дѣвичье цѣломудріе и пр. Названія селеній и городовъ часто и у Чеховъ, и у Малороссіянъ одинаковы, какъ-то: Опочно, Купно и пр. Названія начальствъ, платья: *панъ*, *жупанъ* и пр. Еслибы этотъ предметъ разобрать подробно, то открылось бы яснѣе дня, что Западные Словене несравненно болѣе имѣютъ общаго съ Малороссіянами, чѣмъ съ Русскими даже Курской губерніи, и болѣе даже, чѣмъ съ Поляками. — Къ сожалѣнію, въ Помераніи уже никто не говоритъ по-Словенски; заботливые

Нѣмцы постарались искоренить языкъ, но въ Кашубіи еще говорятъ и Чеховъ понимаютъ, а Русскихъ нѣтъ".

Погодинъ весьма заинтересовался соображеніями Яновскаго и просилъ его развить *идею о происхожденіи Новгородцевъ*. „Съ удовольствіемъ готовъ исполнить ваше желаніе"; писалъ Яновскій,—„но прежде нужно собрать и внимательно сообразить все то, что можетъ служить противорѣчіемъ этой идеи. Въ особенности собираніе этихъ противорѣчій для меня крайне затруднительно. Нѣтъ ничего досаднѣе, когда накупивши дорого толстыхъ книгъ, по прочтеніи не найдешь въ нихъ или вовсе ничего, что̀ нужно было, или самую безделицу. Вы бы сдѣлали мнѣ большое одолженіе и помощь, еслибы изволили указать, гдѣ собственно сосредоточены свѣдѣнія, противорѣчащія моему мнѣнію, начиная отъ лучшаго и вѣрнѣйшаго изданія Нестора, какъ главнаго противника. Нѣкоторые, въ томъ числѣ и академикъ Эйхвальдъ, признаютъ Новгородскую Іоакимову лѣтопись подлинною. Мнѣ не случалось ее видѣть. Помню только изъ университетскихъ лекцій, что тамъ говорится, что Словене, подобно орламъ, достигли Новгорода отъ Дуная. Дѣйствительно, надобно было быть орломъ, чтобъ перелетѣть это пространство, пройти по землѣ едва ли было возможно".

Изъ этого же письма Яновскаго мы извлекаемъ слѣдующія о немъ біографическія свѣдѣнія: „Хандра моя проходитъ, но ее мѣсто замѣняетъ иногда скука, которая прежде при хандрѣ не смѣла являться. О будущемъ повторю ваши слова, что оно въ руцѣ Божіей, но во всякомъ случаѣ до лѣта остаюсь здѣсь. Желалъ бы поступить на службу и могъ бы быть тамъ полезнѣе прежняго, потому что ровно десять лѣтъ читалъ, ѣздилъ, многое изучалъ, — но не имѣю протекціи, а безъ нея никуда не попадешь".

XIX.

Дружелюбное общеніе Погодина съ Троицкими учеными не только не прекращалось, но еще болѣе укрѣплялось и распространялось. Въ ту пору А. В. Горскаго постигли семейныя несчастія, и онъ находилъ душевную потребность раздѣлить свою скорбь съ Погодинымъ: „Вы“, писалъ Горскій (16 октября 1847 г.),—„прогнѣвались на меня, высокопочтеннѣйшій Михайло Петровичъ! И подѣломъ. Я стою того. Простите по христіански виноватаго. Но не держите въ мысли, будто чьимъ-то постороннимъ вліяніемъ разстроены прежнія отношенія наши. Богъ свидѣтель, нѣтъ! Если вы лишите меня своего расположенія, я не ропщу, — какъ недостойный его: но въ душѣ моей всегда буду сохранять и глубочайшее уваженіе къ вамъ, и искреннюю признательность за вашу любовь и за все, что вы сдѣлали для меня добраго. Тяжелы были для меня прошедшіе мѣсяцы. Въ іюлѣ я узналъ о смерти единственнаго брата моего, который былъ въ Пекинѣ, и долженъ былъ эту горькую вѣсть передать своимъ родителямъ, которые уже начинали считать близкимъ его возвращеніе на родину. Въ сентябрѣ, во время пожаровъ Костромскихъ, у отца моего сгорѣлъ домъ; сестра, вдова съ малыми дѣтьми, осталась безъ крова. Удивительно ли, что я разстроился и въ духѣ, и въ дѣлахъ своихъ“. Въ это же время Погодинъ возобновилъ сношенія съ другомъ Горскаго, Капитономъ Ивановичемъ Невоструевымъ, занимавшимъ въ 1847 году скромный постъ наставника Симбирской Семинаріи. Живя въ Симбирскѣ, Невоструевъ углубился въ тамошніе архивы. Погодинъ, разумѣется, съ полнымъ сочувствіемъ отнесся къ этимъ трудамъ почтеннаго ученаго и ожидалъ отъ нихъ богатыхъ результатовъ; но Невоструевъ съ свойственнымъ ему смиреніемъ писалъ (24 января 1847 г.): „Смѣю благодарить васъ, Михаилъ Петровичъ, за милостивое ваше къ настоящему труду моему вниманіе. На ваше же ожиданіе отъ него какихъ-ни-

будь плодовъ признаюсь вамъ, что сіи будутъ бѣдны (не отъ моей впрочемъ неработности, а отъ скудости здѣшней археологической почвы), и что въ настоящее время они еще не готовы. Теперь я все еще читаю здѣшніе архивы (богатые не качествомъ, а количествомъ бумагъ) и собираю свѣдѣнія. И только по окончаніи сего (вѣроятно, къ наступающей веснѣ) могу и буду писать по нимъ статьи, въ надеждѣ, вами подаваемой, что присылаемымъ къ вамъ вы не откажете дать, по разсмотрѣніи ихъ, гдѣ-нибудь мѣсто. Онѣ будутъ какъ духовнаго, такъ и гражданскаго содержанія, хотя сперва исключительно, а потомъ преимущественно цѣлію моею было изслѣдованіе монастырей въ здѣшней епархіи бывшихъ и существующихъ. Только при этомъ будетъ стѣснять, какъ и теперь не мало стѣсняетъ меня, невозможность сдѣлать въ вашихъ Московскихъ архивахъ нѣкои нужныя мнѣ справки, неимѣніе здѣсь всѣхъ печатныхъ пособій и указателей по части моихъ изслѣдованій, и отсюда проистекающее не совершенное знаніе мое современныхъ вопросовъ и требованій".

Неразрывными узами духа былъ связанъ съ Троицкими учеными и преосвященный Филаретъ, тогда епископъ Рижскій. Съ нимъ также состоялъ Погодинъ въ дружелюбныхъ отношеніяхъ и живо интересовался его трудами по Исторіи Русской Церкви. „Вышла говорятъ", писалъ преосвященный Иннокентій Погодину,—„Исторія Церкви преосвященнаго Филарета Рижскаго. Будто—вещь не мудреная. Такъ отзывается о. Макарій! Посмотримъ!".

Въ то время преосвященный Филаретъ напечаталъ въ *Чтеніяхъ* Императорскаго Московскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ отрывокъ изъ своего труда подъ заглавіемъ: *Богослуженіе Русской Церкви до Монгольскаго времени*. Отрывокъ этотъ навлекъ на автора неудовольствіе митрополита Филарета. Объ этомъ печальномъ недоразумѣніи сообщилъ изъ Лавры Погодину П. С. Казанскій: „У насъ теперь", писалъ онъ (14 мая 1847 года),—„Митрополитъ, и ужасно горячится за напечатанную въ *Чтеніяхъ* статью Фи-

ларета Рижскаго о крестномъ знаменіи. Крѣпилось бы Общество, чтобы его не подчинили гибельной цензурѣ духовной. Все изъ-за крестнаго знаменія. Какой-то купецъ сказалъ Митрополиту, что архіереи ереси учатъ. Отъ насъ Митрополитъ хочетъ уѣхать въ четвергъ. Въ Академіи былъ, но мирно, потому что любитъ Ректора *). Проповѣди не говорилъ" [114]).

Самъ же Митрополитъ писалъ Филарету, епископу Рижскому: „Знаете ли вы, что разысканіями о крестномъ знаменіи вы сдѣлали услугу раскольникамъ? Они говорятъ, что въ *Поморскихъ отвѣтахъ* о двуперстномъ сложеніи было сто пять доказательствъ, а вы представили сто шестое, особенно сильное, потому что отъ епископа Великороссійскія Церкви. Кажется, можно бы было не спѣшить изданіемъ безъ совѣта, или не выставлять имени" [115]). Письмо это очень огорчило епископа Филарета, и онъ съ грустью писалъ своему другу А. В. Горскому: „По одной и той же почтѣ съ вашимъ письмомъ получилъ я письмо Владыки Митрополита. Онъ гнѣвается... Православіе не требуетъ для своей твердости гнилыхъ подпоръ, каковы ни на чемъ не основанныя слова объ Апостольскомъ происхожденіи троеперстія. Боятся крика невѣждъ? Ихъ не заставишь молчать тѣмъ, что будешь кричать неправду. Правда сама по себѣ защита, а подмостки человѣческія только годны на то, чтобы сломало ихъ время" [116]).

Между тѣмъ Шафарикъ (5 декабря 1847 года) писалъ Погодину: „Меня очень завлекли разсужденія епископа Филарета о Кириллѣ и Меѳодіи и его же разсужденіе *о церковномъ служеніи до временъ Монгольскихъ* въ *Чтеніяхъ*. Очень основательны и поучительны. Столь же поучительны я нашелъ сочиненія Макарія *о Введеніи Христіанства въ Россіи* и еще Горскаго *Житіе Свв. Кирилла и Меѳодія* въ *Москвитянинѣ*, *Лекціи* Шевырева и наконецъ ваши *Изслѣдованія*. Какія радостныя и возвышающія душу явленія!".

---

*) Ректоромъ Московской Духовной Академіи въ то время былъ архимандритъ Алексій, скончавшійся въ санѣ архіепископа Тверскаго и Кашинскаго.

Изъ среды Троицкихъ ученыхъ въ это время выступилъ на поприще учености любимый ученикъ и Филарета, и Горскаго, Петръ Симоновичъ Казанскій. Сей почтенный труженикъ на нивѣ Божіей былъ сынъ священника, родился 19 ноября 1819 года, въ селѣ Сидоровскомъ, Звенигородскаго уѣзда, Московской губерніи. По свидѣтельству ученика-сослуживца его, высокопреосвященнѣйшаго Алексія, архіепископа Литовскаго и Виленскаго, „благочестивая мать, благочестивый и ученѣйшій архипастырь дядя, даровитые и благочестивые старшіе братья въ душѣ даровитаго мальчика зажигаютъ два свѣточа—свѣточъ любви къ Церкви и свѣточъ любви къ ученію. И этими двумя свѣточами освѣщается вся послѣдующая жизнь П. С. Казанскаго до могилы". По окончаніи курса въ Виѳанской Семинаріи Казанскій въ 1838 году поступилъ въ Московскую Духовную Академію. Еще будучи десятилѣтнимъ мальчикомъ, Казанскій, по выраженію высокопреосвященнѣйшаго Алексія, „открылъ себѣ доступъ къ сердцу осминадцатилѣтняго юноши", А. В. Горскаго, и съ того времени „это искреннѣйшее дружество продолжалось во всю ихъ жизнь". Въ Академіи предъ Казанскимъ открылась богатая сокровищница разныхъ знаній—„и Исторія Свѣтская, и Исторія Церковная, Общая Исторія и Русская, Отцы Церкви, Богословіе, Древности, Уставъ Церкви, Филологія—ничто ему не чуждо; вездѣ онъ какъ у себя дома". По окончаніи академическаго курса Казанскій назначенъ былъ въ Московскую Духовную Академію баккалавромъ по Гражданской Исторіи; но этотъ предметъ не выходилъ у Казанскаго отдѣленнымъ „отъ Исторіи вѣры и Церкви, какъ это бываетъ у нѣкоторыхъ историковъ. Душею внѣшней, свѣтской Исторіи, по убѣжденію Казанскаго, была все-таки Исторія вѣры, Исторія Церкви, градъ Божій; тутъ былъ центръ его науки". Образцомъ для Казанскаго всегда былъ его старшій другъ А. В. Горскій. „Это", пишетъ высокопреосвященнѣйшій Алексій,—„два ученые аскета, для науки отрекшіеся отъ всѣхъ радостей, даже самыхъ чистыхъ и благословенныхъ, отрекшіеся однажды,

но навсегда, и уже не зрѣвшіе вспять. Жизнь для науки, жизнь для знанія, жизнь для труда, жизнь для передачи ихъ знаній другимъ учащимся поколѣніямъ — вотъ ихъ жизнь, жизнь высокая, жизнь самоотверженная, жизнь не для многихъ досягаемая. Весь вѣкъ учиться, весь вѣкъ сидѣть за книгою, весь вѣкъ писать, — какъ это скучно, какъ это сухо, — скажутъ иные изъ насъ, временно-обязанныхъ ученыхъ; и однако же вотъ люди, весь вѣкъ учившіеся, весь вѣкъ сидѣвшіе за книгою, весь вѣкъ писавшіе и не находившіе ни скуки, ни сухости въ своемъ дѣлѣ“ [117]).

Вотъ съ такимъ-то замѣчательнымъ человѣкомъ, въ 1847 году, сблизился Погодинъ.

Въ январѣ 1847 года П. С. Казанскій обратился къ Погодину со слѣдующимъ письмомъ: „Занимаясь составленіемъ жизни Іосифа Волоколамскаго для нашего журнала, я встрѣтилъ нѣкоторыя свѣдѣнія, которыя показались мнѣ любопытны, но не могли вполнѣ войти въ составъ моего труда, а потому я и рѣшилъ отдѣльно издать ихъ въ вашемъ журналѣ. Пусть поддержится этимъ малое знакомство, котораго я имѣлъ счастіе удостоиться съ вашей стороны, во время вашего пребыванія въ Лаврѣ. Рѣшаясь себя болѣе посвятить изученію Русской старины, при милостивомъ вашемъ вниманіи къ первымъ моимъ трудамъ, я буду дѣлиться иногда съ вашимъ журналомъ своими изслѣдованіями. Прошу васъ обратить вниманіе на открытый мною Саввинъ-Тверскій монастырь, доселѣ неизвѣстный. Прошу покорнѣйше не обнародывать моего письма“. Чрезъ посредство Погодина Казанскій вступаетъ въ сношенія съ Московскимъ Обществомъ Исторіи и Древностей Россійскихъ и въ его изданіяхъ печатаетъ свои труды.

Въ 1847 году Казанскій напечаталъ книжку подъ слѣдующимъ заглавіемъ: *Село Новоспасское, Деденево тожъ, и родословная Головиныхъ, владѣльцевъ онаго* съ посвященіемъ Гавріилу Павловичу Головину, издателю книги. Въ предисловіи, обращаясь къ владѣльцу, Казанскій писалъ: „Древ-

ности Новоспасскія невольно переносятъ къ прошедшему, приводятъ на память столь многихъ изъ вашихъ предковъ, что для поясненія своего описанія, я прибавлю и родословную вашего дома. Прошло уже четыре вѣка съ половиною, какъ благородная вѣтвь вашего дома привилась къ великому древу Россіи. Въ теченіе этого продолжительнаго времени ваши доблестные предки служили новому отечеству на всѣхъ поприщахъ: проливали кровь свою на полѣ брани, засѣдая среди Царскаго Сѵнклита и въ Боярской Думѣ, ревностно пеклись о внутреннемъ благоденствіи Отечества. Во всѣ великія эпохи Древней Руси являются они усердными дѣятелями для пользы Отечества. Обозрѣвая исторію вашихъ предковъ, пріятнѣе всего видѣть то, что духъ благочестія и усердія къ Церкви, отличавшій первыхъ вашихъ предковъ, сохраняется до настоящаго времени: это благочестіе совокупило столько святыни въ одномъ домѣ и обогатило храмъ села Новоспасскаго такими драгоцѣнными церковными сокровищами. Вамъ, какъ настоящему владѣльцу Новоспасскаго и наслѣднику не одного только имени, но и благочестиваго духа предковъ вашихъ, посвящаю трудъ мой. Пусть онъ будетъ служить выраженіемъ моего къ вамъ почтенія и всегдашняго дружескаго расположенія".

Но книжка Казанскаго подверглась нѣкоторымъ нежеланнымъ исправленіямъ со стороны владѣльца села Новоспасскаго, что, само собою разумѣется, не могло быть пріятно ея автору. Посылая Погодину отрывокъ изъ своего труда о родословіи Головиныхъ, для напечатанія въ *Москвитянинѣ*, онъ сообщаетъ ему и исторію изданія своей книги. „Проводя нерѣдко", писалъ онъ, — „вакаціальное время въ селѣ Новоспасскомъ (Дмитровскаго уѣзда) у Гавріила Павловича Головина, замѣчательномъ церковною святынею, я захотѣлъ описаніе этого села составить и подарить помѣщику. Къ описанію какъ-то приклеилась родословная. Это бы хорошо, да вотъ худо. Помѣщикъ мой добрый пріятель, человѣкъ почтенный и благочестивый, къ сожалѣнію, только далеко негра-

мотный. Онъ не доучился даже и до того, до чего доучился Сократъ, то-есть, до убѣжденія, что онъ ничего не знаетъ. Описавши село и приложивъ къ нему родословную Головиныхъ, я отправилъ ее къ Головину, чтобы онъ отдалъ въ цензуру и напечаталъ. Но тутъ-то и начались искушенія. Онъ началъ поправлять и дополнять, лишать смысла и вставлять безсмыслицы. Кое-что успѣлъ я спасти отъ этого потопа невѣжества, но многое долженъ былъ уступить, много прибавлено безъ меня, и въ такомъ видѣ присылаютъ мнѣ уже совсѣмъ отпечатанное сочиненіе. Не зная никакого иностраннаго языка, онъ перевралъ всѣ цитаты, индѣ вставилъ ложныя свѣдѣнія, а въ другихъ мѣстахъ допустилъ безсмыслицу. Человѣкъ добросовѣстный отличитъ эти вставки отъ текста, но другой подтрунитъ надъ авторомъ. Поэтому начало родословной посылаю подъ ваше покровительство, желая издать его такъ, какъ я думаю. Если вамъ будетъ угодно, я пришлю вамъ для помѣщенія въ вашемъ журналѣ и біографіи другихъ лицъ изъ Головиныхъ, болѣе замѣчательныхъ, особенно, если они пострадали отъ неграмотнаго издателя" [118]).

Подъ этимъ письмомъ Казанскій подписался такъ: *Бакалавръ Московской Духовной Академіи Петръ Казанскій, сынъ іерея Симона.*

Желаніе Казанскаго Погодинъ, разумѣется, исполнилъ, и присланный имъ отрывокъ напечаталъ въ *Москвитянинѣ* [119]).

Общеніе Погодина съ его Петербургскими учеными друзьями также не прерывались. Въ то время А. А. Куникъ трудился надъ Введеніемъ къ издаваемымъ имъ отъ Академіи Наукъ сочиненіямъ Круга, но подъ скромнымъ заглавіемъ Введеніе вышла цѣлая любопытная біографія знаменитаго академика. Для этого Введенія А. А. Кунику пришлось между прочимъ просмотрѣть академическіе протоколы за сорокъ лѣтъ и прослѣдить отношенія Круга къ Румянцову, къ Археографической Экспедиціи и пр. и пр. „Для Введенія", писалъ А. А Куникъ къ Погодину, — „я собралъ весьма интересный матеріалъ, который по большей части уже и обработалъ. Вы познакоми-

тесь съ Кругомъ со многихъ сторонъ, дѣлающихъ ему честь; между прочимъ также съ его воззрѣніемъ на избраніе коренныхъ Русскихъ. На *нѣкоторыхъ* академиковъ его слова произведутъ дурное впечатлѣніе, но я ни подъ какимъ условіемъ не допущу, чтобъ они остались не напечатанными, такъ какъ—entre nous—послѣ назначенія меня экстраординарнымъ академикомъ я рѣшился внести предложеніе о выборѣ (въ академики) чисто-Русскихъ. Теперь самая подходящая пора, чтобы Академія это устроила".

Въ то же время А. А. Куникъ рекомендуетъ Погодину будущаго историка царя Бориса Годунова, Платона Васильевича Павлова, который въ іюнѣ 1847 года отправлялся въ Кіевъ для занятія тамъ осиротѣлой послѣ Костомарова каѳедры Русской Исторіи. „Павловъ", отзывался А. А. Куникъ,—„голова съ большими дарованіями, отъ него нельзя ожидать чего-нибудь зауряднаго. Поэтому вы можете дать ему много хорошихъ наставленій, Давыдовъ тоже очень интересуется имъ". Съ своей стороны и И. И. Давыдовъ замолвилъ о Павловѣ доброе слово Погодину: „Павловъ дѣйствительно хорошъ. Отъ него можно ожидать наставника добросовѣстнаго. Это Нафанаилъ, въ немъ же льсти нѣсть".

Для свиданія съ отцомъ своимъ А. А. Куникъ, на канунѣ революціоннаго 1848 года, совершилъ путешествіе на Западъ. По возвращеніи въ Петербургъ, 25 октября 1847 года, онъ писалъ Погодину: „Мое путешествіе, какъ оно ни было кратко, весьма меня удовлетворило. У меня камень свалился съ сердца, послѣ того какъ я еще разъ навѣстилъ своего болѣзненнаго старика-отца. Теперь я живу, ничѣмъ не смущаемый, и довѣрчиво смотрю на будущее, что бы оно ни принесло. Я, кромѣ того, вполнѣ возстановилъ свое физическое здоровье, которое дѣйствительно было разшатано. Путевыхъ впечатлѣній у меня сохранилось немного — я пробылъ всего три недѣли въ Пруссіи и въ Австрійской Силезіи; тѣмъ не менѣе я возвратился пораженный политическимъ и религіознымъ броженіемъ въ Пруссіи. Меня скоро стало тя-

нуть къ спокойной Петербургской жизни, гдѣ можно по крайней мѣрѣ играть роль спокойнаго наблюдателя. Что-то произойдетъ изъ этого броженія? Конечно, на ряду съ хорошимъ (которое пока еще мало проявляется) много грубаго и отвратительнаго".

На обычные вопросы Погодина, задаваемые имъ молодымъ ученымъ о ходѣ ихъ занятій, В. В. Григорьевъ отвѣчалъ: „Вамъ хорошо, сидя въ Москвѣ и блаженствуя въ отставкѣ, прогуливаться вдоль Русской Исторіи и задавать нашему брату всякіе вопросы, а намъ куда какъ трудно отвѣчать на нихъ, находясь въ постоянной зависимости и распоряженіяхъ другихъ. Не то, чтобъ много дѣла дѣлали, а много приходится за дѣломъ и по бездѣлью бѣгать". Не смотря однако на это, Григорьевъ даетъ отчетъ Погодину о своей ученой дѣятельности: „Во всякомъ случаѣ однакоже, о учитель, я не сидѣлъ сложа руки съ тѣхъ поръ, какъ видѣлся съ вами въ Петербургѣ. Свидѣтельствуютъ сіе, вопервыхъ, книжица издѣлія нашего, рекомая *Еврейскія религіозныя секты въ Россіи*. Вовторыхъ, брошюра, заключающая въ себѣ разысканія мои о письменахъ у Монголовъ, по поводу недавно найденной въ Сибири Монгольской надписи. Брошюра эта подала поводъ къ ученой войнѣ. Академикъ Шмитъ задѣлъ меня въ *Библіотекѣ для Чтенія* и *С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ*. Я отвѣчалъ ему въ *Отечественныхъ Запискахъ;* но, кажется, этимъ бой не кончился: Шмитъ намѣревается дать новое сраженіе въ *Bulletin Scientifique*. Я, разумѣется, тоже не буду молчать".

Съ такимъ же вопросомъ Погодинъ обращался и къ другимъ ученикамъ. Такъ, на запросъ, сдѣланный имъ въ Казань А. И. Артемьеву, послѣдній отвѣчалъ Погодину: „Вы спрашиваете меня, чѣмъ я занимаюсь? Если нескучно будетъ выслушать, то выслушайте. Въ прошедшемъ году, съ мая мѣсяца до октября, я былъ въ разъѣздахъ по всей Казанской губерніи и по смежнымъ съ нею уѣздамъ губерній Вятской, частію Оренбургской и Симбирской. Поѣздка эта

была давно желанна мною, но удалась неожиданно. Цѣль этой поѣздки было собраніе различныхъ свѣдѣній о Казанской губерніи; я въ особенности обратилъ вниманіе на остатки старины, но результатовъ добился мало: письменныхъ памятниковъ, особенно важныхъ, я не нашелъ, кромѣ небольшого отрывка изъ *Синодиковъ* Грознаго, копію съ котораго, я знаю, уже вы получили отъ отца Мартирія. Осмѣливаюсь приложить при семъ статейку, написанную мною для *Казанскихъ Губернскихъ Вѣдомостей* объ этомъ фрагментѣ. Въ ней, я знаю, много пустословія и нѣтъ никакихъ выводовъ; но, полагаю, для васъ не нелюбопытно будетъ палеографическое описаніе всего Свіяжскаго Синодика.—Еще я отыскалъ въ частныхъ рукахъ и пріобрѣлъ для себя *Сборникъ* духовнаго содержанія, не старѣе конца XVII вѣка и писанный поморскимъ почеркомъ. Въ немъ, между прочимъ, содержатся *ярлыки*, что̀ и побудило меня пріобрѣсти эту рукопись. Гораздо удачнѣе были мои развѣдки остатковъ старины неписьменныхъ, безмолвныхъ, но краснорѣчивыхъ. Уѣзды Мамадышскій, Казанскій, Чистопольскій и Спасскій, особенно же два послѣдніе, доставили мнѣ въ этомъ отношеніи довольно пищи, которая услаждала меня за всѣ непріятности ѣзды по проселкамъ и офиціальныхъ сношеній съ лицами „предержащими“ для полученія отъ нихъ свѣдѣній по той или другой части. Но это въ сторону! Я обозрѣлъ очень много *городищъ* (только не Ходаковскаго), и почти со всѣхъ нихъ снялъ глазомѣрные планы. Изъ этихъ городищъ только два или три упоминаются въ *Путевыхъ Запискахъ* — Рычкова, остальные всѣ не были никогда описаны и, можно почти навѣрное сказать, что были неизвѣстны: многіе я *открывалъ* по догадкѣ... Замѣчу здѣсь, хоть и не кстати: еслибы съ такою спеціальною цѣлью — обозрѣнія городищъ объѣхать губерніи Симбирскую, Саратовскую, Пензенскую и Астраханскую, то, кажется, мы лучше узнали бы географію Золотой Орды, нежели знаемъ ее доселѣ, по монетамъ. Ходаковскому не удалось быть въ этомъ краѣ и не удалось получить объ

немъ свѣдѣній. Какъ уроженецъ Саратовской губерніи, я знаю, что тамъ и кромѣ Увѣка и Царева есть мѣстности, замѣчательныя въ археологическомъ отношеніи, которыя давно бы, давно пора описать. То же могу сказать и о Симбирской губерніи, которую довольно знаю. *Симбирскій* же *Сборникъ* служить доказательствомъ, что и письменные памятники не истощились въ этомъ краѣ. Впрочемъ я отвлекся... Статью о *Казанскихъ Городищахъ* я обработываю и потомъ вмѣстѣ съ чертежами думаю представить или Московскому Обществу Древностей, надѣясь на ваше посредничество, или въ Петербургское Археологическое чрезъ П. С. Савельева. Поѣздка эта познакомила меня съ мѣстностью и жителями Казанской губерніи и доставила въ мой портфель нѣсколько этнографическихъ и топографическихъ замѣтокъ, часть которыхъ уже представлена въ Географическое Общество; на дняхъ надѣюсь препроводить туда и еще статью. Вотъ вамъ краткій перечень всего, что̀ я могъ достать, разъѣзжая по Казанской губерніи". Кромѣ того, Артемьевъ сообщаетъ Погодину: „Недавно здѣсь у насъ вышла изъ печати *Казанская Исторія* Баженова, книга ужасная... и вдругъ разбору ея *Современникъ* въ 9-й книжкѣ посвятилъ нѣсколько страницъ да еще заключилъ свою статью такою обидною для Казанцевъ фразою! Это невольно вызываетъ на отвѣтъ, и я накропалъ для *Финскаго Вѣстника* статейку, хоть, признаюсь, книга Баженова не стоила того: шумъ изъ пустяковъ! Кстати о литературѣ Казанской: Бакалавръ здѣшней Духовной Академіи Елисеевъ издалъ *Жизнеописанія Свв. Гурія, Варсонофія и Германа*, составленныя съ знаніемъ дѣла и полно. Явленіе такой книжки, право, дѣлаетъ честь провинціальной исторіографіи".

Получивъ извѣстіе отъ Писарева, что М. А. Максимовичъ занялъ мѣсто въ Кіевской Археографической Коммиссіи, Погодинъ просилъ его увѣдомить объ этомъ. Исполняя желаніе друга, Максимовичъ писалъ ему изъ своей Михайловой Горы (отъ 9 марта 1847 года): „Изъ этого подписанія ты

видишь, любезный другъ Михайло Петровичъ, что я не въ Кіевѣ, и что не тамъ, а здѣсь получилъ я письмо твое. Я здѣсь живу съ декабря, и не знаю, что̀ тамъ творится. Я съ той поры, какъ потрудился надъ Луцкимъ братствомъ въ въ первомъ томѣ *Памятниковъ*, занимался немного еще (въ 1845 г.) *Памятниками* Кіевскаго братства (коихъ редакторомъ былъ Чеховичъ); да съ той поры ничѣмъ, кромѣ имени, не принадлежу и не участвую въ дѣлахъ Коммиссіи. Тамъ все—предсѣдательская воля и дѣлопроизводительное исполненіе: тотъ хватаетъ звѣзды, а другому достается что иное, въ томъ числѣ—петличная вмѣсто нашейной; а нашего брата до сихъ поръ отбывали только одобреніями, одобреніями и обѣщаніями, которыя до сихъ поръ не исполнились. Кто бы ни говорилъ тебѣ, что я тамъ получилъ мѣсто, но это—одно изъ обѣщаній, которыхъ не жалѣютъ. Я очень радъ былъ безыменно издать памятники Луцкаго братства, и тѣмъ исполнить желаніе несравненнаго Иннокентія; а къ тому жъ и Дмитрій Гавриловичъ Бибиковъ объ этомъ изданіи написалъ ко мнѣ очень лестное письмо, на которое отвѣчалъ я трудомъ моимъ съ полнымъ удовольствіемъ; ибо я люблю этого сановника“ [120]).

XX.

Не взирая на то, что духъ Погодина былъ возмущенъ его полемикою съ учениками своими, въ тишинѣ кабинета, онъ продолжалъ трудиться съ миромъ въ любезной ему области Русской Исторіи, и онъ считалъ несчастнымъ тотъ день, когда отрывали его отъ этихъ занятій. Подъ *22 ноября 1847 года* въ *Дневникѣ* его мы читаемъ слѣдующую запись: „Какъ я всегда бываю радъ, когда дома. Но вотъ опять другая недѣля, какъ я не могу приняться за Исторію! О горе!“ Но отъ своихъ *Изслѣдованій* Погодинъ, по своей живой природѣ, безпрестанно отвлекался въ разныя стороны. Такъ, среди занятій его древнимъ вѣчемъ, мы совершенно неожиданно встрѣ-

чаемся въ *Дневникѣ* (подъ *4 ноября 1847 года*) съ такою записью: „Додѣлывалъ вѣче. Наметывалъ первую главу романа, безъ надежды впрочемъ на успѣхъ. Ахъ, какъ мнѣ горько, что отвлекаютъ меня отъ дѣла."

Кромѣ занятій древнѣйшимъ періодомъ нашей Исторіи, Погодинъ въ то время трудился надъ изслѣдованіемъ *о Древней Русской Аристократіи*, и подъ такимъ заглавіемъ появилась его статья въ *Москвитянинѣ*, которая начинается изложеніемъ положенія Россіи послѣ кончины великаго князя Іоанна Іоанновича, въ 1362 году. Въ то время князья Московскіе были всѣ малолѣтніе и старшему изъ нихъ Димитрію было только восемь лѣтъ; въ то время явились искатели великаго княженія, и Московскіе князья нисходили на степень князей удѣльныхъ, а Москва переставала быть столицею. „Тогда-то", пишетъ Погодинъ, — „и выступили на спену Московскіе бояре. Они сумѣли воспользоваться междоусобіями, возникавшими въ Ордѣ, и исходатайствовали первенство своему молодому князю Димитрію Іоанновичу у новаго хана Мурута. Получивъ его соизволеніе, они силою выгнали князя Суздальскаго Димитрія Константиновича изъ Владиміра, и даже послѣ, когда черезъ два года Мурутъ, оскорбленный ихъ сношеніями съ его соперникомъ Авдуломъ, повелѣлъ возвратить Димитрію Константиновичу отнятый у него престолъ, они осмѣлились презрѣть ханское повелѣніе, предприняли новый походъ на Владиміръ, выгнали опять Димитрія Константиновича и утвердили великое княженіе за своимъ княземъ. Этого мало: они начали стѣснять удѣльныхъ князей, присоединять къ Москвѣ ихъ города, принимать участіе въ ихъ распряхъ, звать на судъ въ Москву; однимъ словомъ — они утвердили Московскую политику, поставили ей цѣль, дали примѣры, *коимъ Димитрій имѣлъ заслугу слѣдовать*; а выстроивъ каменныя стѣны (1365 г.) вокругъ Москвы, показали ясно, что имѣютъ еще важнѣйшіе виды".

Изобразивъ эти подвиги Московскихъ бояръ, Погодинъ восклицаетъ: „Удивительна Исторія государства! Два-три способныхъ человѣка, согласныхъ между собою въ благое время,

и они опредѣляютъ надолго народную судьбу. Кажется, какъ это просто, легко и обыкновенно, а между тѣмъ оно бываетъ рѣдкимъ явленіемъ, особеннымъ счастіемъ народовъ". Затѣмъ Погодинъ спрашиваетъ: „Кто эти бояре?" И отвѣчаетъ: „Мы не знаемъ ихъ вовсе. Лѣтописи молчатъ объ ихъ именахъ, приписывая всѣ дѣйствія князьямъ... Карамзинъ видѣлъ, что малолѣтній князь Димитрій Іоанновичъ не могъ, естественно, предпринять и совершить всѣхъ сихъ дѣйствій, и предположилъ участіе бояръ, но слегка, оставляя все еще слишкомъ много за княземъ". Объ именахъ бояръ и Карамзинъ ничего не сказалъ. „Вотъ и здѣсь", пишетъ Погодинъ,—„замѣчу мимоходомъ, отличіе Русской Исторіи отъ Исторіи Запада: тамъ на всякое дѣло есть по нѣскольку героевъ, истинныхъ и мнимыхъ... У насъ не найдешь часто ни одного. За самыя важныя дѣйствія не знаешь кого и благодарить, кромѣ Русскаго Бога..." Но вопросъ: „Кто же были эти бояре?" долго мучилъ Погодина. Ему непремѣнно хотѣлось отыскать ихъ имена и „украсить ими Исторію". И вотъ Погодинъ пускается въ поиски. Для поученія молодыхъ ученыхъ онъ „передаетъ весь процессъ своей работы". Сначала онъ обратился къ Лѣтописямъ, потомъ перечелъ Карамзина, Татищева, князя Щербатова, сталъ изучать духовныя грамоты Московскихъ князей, Родословныя книги, въ которыхъ онъ „пыталъ имена, какъ В. В. Григорьевъ пыталъ Арабскія монеты". Результатомъ всѣхъ этихъ поисковъ Погодина былъ слѣдующій списокъ „главныхъ дѣйствующихъ лицъ во время малолѣтства великихъ князей Димитрія Іоанновича и сына его Василія Димитріевича, стяжавшихъ своими заслугами вѣчную славу въ Исторіи Отечества":

1) Василій Васильевичъ Тысяцкій, потомокъ варяга Шимона, родоначальника Вельяминовыхъ, Воронцовыхъ, Щедриныхъ, Соловцовыхъ, Башмаковыхъ, Аксаковыхъ, Облѣзовыхъ, Исленьевыхъ и пр. Скончался въ 1373 г.

2) Братъ его Тимоѳей Васильевичъ (1371, 1389 г.).

3) Иванъ Родіоновичъ Квашня (1330, 1371, 1389 гг.),

родоначальникъ Квашниныхъ, Дудиныхъ, Жоховыхъ, Самариныхъ, Разладиныхъ, Невѣжиныхъ, Ѳоминыхъ, Ивановыхъ, Поярковыхъ, Тушиныхъ. Скончался въ 1389 г.

4 и 5) Александръ Андреевичъ Елка и Ѳедоръ Андреевичъ Кошка, сыновья Андрея Кобылы, родоначальника Ладыгиныхъ, Коновницыныхъ, Кокаревыхъ, Образцовыхъ, Кобылиныхъ, Колычовыхъ, Хлызневыхъ, Лошаковыхъ, Немятыхъ, Неплюевыхъ, Боборыкиныхъ, Юрьевыхъ, Захарьиныхъ, Романовыхъ, Шереметевыхъ, Добрынскихъ, Зайцевыхъ, Викентьевыхъ, Симскихъ, Хабаровыхъ.

6) Ѳедоръ Андреевичъ Свибловъ, потомокъ Радши, родоначальника Свибловыхъ, Товарковыхъ, Замыцкихъ, Каменскихъ, Застолбскихъ, Пушкиныхъ, Курчевыхъ, Рожновыхъ, Кологривовыхъ, Поводовыхъ, Чеботовыхъ, Чулковыхъ, Жулебиныхъ, Бутурлиныхъ, Слизневыхъ, Мятлевыхъ, Челядниныхъ.

7) Братъ его Иванъ Андреевичъ.

8) Онанья Александровичъ, окольничій, потомокъ Гавріила, пришедшаго изъ Нѣмецъ служить Невскому, родоначальника Кутузовыхъ, Коровиныхъ, Клешниныхъ, Лапенковыхъ...

Свои изысканія Погодинъ заключаетъ такими словами: „Много обрадовался Леверрье, найдя новую планету, но не мало обрадовался и я, когда нашелъ *старыхъ спутниковъ* Димитрія и Василія, забытыхъ ихъ неблагодарными потомками“. Эти предположенія Погодина блистательно подтвердились хранящеюся въ Библіотекѣ Академіи Наукъ *Разрядною книгой*, которою пользовался А. Н. Поповъ. Въ этой книгѣ читается: „Того жъ году воліею Божіею великаго князя Дмитрія Іоанновича Донского не стало, а у духовной сидѣли прикащики: отецъ его духовный преподобный игуменъ Сергій да игуменъ Севастьянъ, да бояре: Дмитрій Васильевичъ Волынскій, Тимоѳей Васильевичъ Воронцовъ, Иванъ Родіоновичъ Квашня, Семенъ Васильевичъ да Иванъ Ѳедоровичъ Воронцовы, Александръ Андреевичъ Азтѣй, Ѳедоръ Андреевичъ Свибловъ, Ѳедоръ Андреевичъ Кошка, Иванъ Ѳедоровичъ Кошка, Иванъ Андреевичъ Хромой“. Сообщая объ этомъ По-

годину, Поповъ прибавляетъ: „Сличая сіи прозванія съ тѣми, которыя вамъ удалось опредѣлить въ вашемъ изслѣдованіи, оказывается, что большая часть опредѣлены правильно, и приведенный отрывокъ Разрядовъ окончательно доказываетъ справедливость вашихъ выводовъ“.

Въ томъ же письмѣ А. Н. Поповъ дѣлаетъ слѣдующее важное замѣчаніе: „Нигдѣ историческая память о лицахъ, дѣятеляхъ въ жизни общественной и государственной, не была такъ слаба, какъ въ нашей Древности Читая лѣтописныя сказанія о жизни Древней Россіи, вникая во взглядъ лѣтописцевъ, нельзя не замѣтить, что для нихъ существовало только три историческихъ дѣятеля: Провидѣніе, управлявшее судьбою народовъ, собирательное цѣлое — Русь, и Князь — общая мысль о представителѣ народномъ по преемству поколѣній, переходившая отъ одного лица къ другому... Даже въ государственныхъ грамотахъ, духовныхъ завѣщаніяхъ князей и договорахъ сами частныя лица, какъ бы участвуя въ общемъ невниманіи къ заслугамъ частныхъ лицъ вообще и стало быть своимъ собственнымъ, подписывали свои имена почти всегда безъ прозваній родовыхъ...“ Получивъ это сообщеніе отъ А Н. Попова, Погодинъ съ восторгомъ восклицаетъ: „Найдти такое подтвержденіе своимъ выводамъ ничего не можетъ быть пріятнѣе для изслѣдователя: благодаримъ усердно почтеннаго ученаго, отыскавшаго историческое свидѣтельство, столь любопытное“ [121]).

Когда статья Погодина была уже напечатана, его посѣтилъ Вигель и прочелъ ему отрывокъ изъ своихъ *Записокъ* объ Аристократіи. По поводу этого посѣщенія и этого чтенія въ *Дневникѣ* Погодина (*4 іюля 1847 г.*) появилась какая-то странная запись: „Боялся, чтобы не было недоразумѣнія отъ моихъ статей“. Съ своей стороны Н. Д. Иванчинъ-Писаревъ сѣтовалъ на Погодина за то, что онъ наше боярство назвалъ аристократіею, „чудовищемъ Запада“. „У насъ“, замѣчаетъ Писаревъ, — „были случаи или измѣнники, но не возстатели царя своего военною силою“.

Мы уже неоднократно замѣчали, что Погодинъ духомъ своимъ виталъ по всему пространству Русской Исторіи древней, средней и новой. Отъ временъ древнѣйшихъ онъ переходилъ къ новѣйшимъ и отъ новѣйшихъ къ древнѣйшимъ. Погодина, какъ мы тоже знаемъ, давно интересовала судьба Сперанскаго, а потому онъ не могъ равнодушно относиться къ предпринимаемому въ это время барономъ М. А. Корфомъ собиранію матеріаловъ для біографіи этого государственнаго мужа. Съ своей стороны и баронъ Корфъ счелъ полезнымъ по поводу своего предпріятія завязать съ Погодинымъ дѣятельныя сношенія. Памятникомъ этихъ сношеній могутъ служить сохранившіяся письма барона Корфа къ Погодину. Первое письмо относится къ 19 мая 1847 года. „Приношу вамъ", писалъ баронъ Корфъ,— „искреннюю благодарность за обязательное участіе, которое вы, по собственному движенію, приняли и обѣщаете принять въ моемъ добросовѣстномъ и, конечно, уже во всѣхъ отношеніяхъ и безкорыстномъ трудѣ, потому что самое предназначеніе его развѣ только для читателей публики XX-го вѣка. Матеріаловъ собрано уже у меня множество и, по мѣрѣ скопленія ихъ, расширяются и самые предѣлы работы. Великое лицо Сперанскаго является такимъ сильнымъ двигателемъ во всѣхъ событіяхъ его вѣка, что ихъ, большею частію, не возможно почти отдѣлить, и потому книга моя будетъ сборникомъ матеріаловъ не только для личнаго его жизнеописанія, но и для исторіи двухъ царствованій. Она ростетъ видимо и написана, можетъ быть, уже до двухъ или трехъ томовъ. Занятія по службѣ, въ послѣднее время очень еще увеличившіяся, нѣсколько пріостановили, но не прекратили мою дѣятельность. Съ Божіею помощью и при томъ общемъ сочувствіи и содѣйствіи, которое я вездѣ нахожу, надѣюсь идти далѣе и далѣе, пока станетъ силъ".

Вмѣстѣ съ тѣмъ Погодинъ указалъ барону Корфу и на лица, отъ которыхъ онъ могъ бы получить желанныя ему свѣдѣнія. И это указаніе было не безполезно для барона Корфа: „Всю извѣстную коллекцію писемъ", писалъ онъ,—

„отъ Бартенева я уже получилъ. Словцова я имѣлъ и имѣю въ виду. Обращусь и къ его душеприкащикамъ. Съ Батенковымъ нѣтъ никакихъ средствъ сообщенія, и притомъ говорятъ, что онъ въ разстроенномъ положеніи ума. Та эпоха, которая извѣстна ему, извѣстна, впрочемъ, близко и мнѣ. Отъ де-Санглена все получено, а отъ Ф. Ф. Вигеля ожидается съ нетерпѣніемъ. Съ М. А. Дмитріевымъ я незнакомъ: Г. де-Сангленъ обѣщалъ мнѣ достать выписку изъ записокъ И. И. Дмитріева; но не знаю, получу ли что-нибудь и что именно этимъ путемъ. Сверхъ того, очень интересно было бы взглянуть и на письма Карамзина. Но какъ это достать? Съ сыномъ М. Л. Магницкаго я уже вошелъ въ сношеніе и получилъ отъ него кой-что, но жду еще болѣе. Весьма бы интересно видѣть то письмо, которое у васъ. Съ Рѣпинскимъ я въ постоянномъ сношеніи, и теперь еще болѣе прежняго, потому что онъ служитъ во Второмъ Отдѣленіи, которымъ я управляю до возвращенія графа Блудова. Калашникова отыщу. Надеждинъ передалъ мнѣ все полученное отъ Е. М. Багрѣевой. Статьи *Москвитянина* тоже всѣ имѣлъ въ виду. Весьма благодаренъ за указаніе трехъ профессоровъ. Непремѣнно снесусь съ ними, хотя показанія ихъ могутъ относиться лишь къ новѣйшему времени, близко мнѣ самому извѣстному". Въ заключеніе баронъ Корфъ обращается къ Погодину съ слѣдующей просьбою: „Не найдете ли еще чего-нибудь въ собственныхъ вашихъ замѣткахъ и въ бумагахъ, а также у Снегирева, который, какъ мнѣ сказывали, имѣетъ много свѣдѣній о замѣчательныхъ лицахъ духовнаго происхожденія. Всякая черта, всякое слово для меня драгоцѣнны, и въ этомъ отношеніи, чрезвычайно благодарю и за переданный мнѣ характеристическій анекдотъ. Кромѣ названныхъ вами лицъ", продолжалъ баронъ Корфъ,—„я исчерпалъ еще множество письменныхъ и изустныхъ источниковъ. Исторія моихъ поисковъ могла бы сама по себѣ составить цѣлый романъ, и я непремѣнно напишу ее, когда кончу. Если когда-нибудь кончу—главное дѣло.... Насъ связываетъ теперь общій инте-

ресъ—интересъ исторіи, подъ которою я всегда разумѣлъ нелицепріятную правду, а въ біографіи моего героя и правда такъ заманчива, что не нуждается ни въ какихъ прикрасахъ. Здѣсь связывается интересъ великихъ дѣлъ и великихъ событій съ самымъ романическимъ, похожимъ почти на вымыслъ, теченіемъ жизни".

За свѣдѣніями о Сперанскомъ баронъ Корфъ обращался и къ митрополиту Филарету; но отвѣта не имѣлъ. По указанію Погодина, баронъ Корфъ обратился къ М. А. Дмитріеву съ просьбою доставить ему записки его дяди, И. И. Дмитріева. Не получая отъ него ни отвѣта, ни привѣта, баронъ Корфъ жалуется Погодину: „Къ М. А. Дмитріеву я написалъ и не только не получилъ записокъ его дяди, но даже и словомъ отвѣта отъ него не почтенъ, такъ что иногда сомнѣваюсь даже, дошло ли до него мое письмо".

По видимому, М. А. Дмитріевъ собирался отвѣчать барону Корфу, ибо писалъ Погодину: „Увѣдомьте меня, какъ титулъ Корфа, тайный совѣтникъ или дѣйствительный тайный?"

Напоминая самому Погодину объ исполненіи данныхъ имъ обѣщаній, баронъ Корфъ писалъ: „Извините, если, основываясь на собственномъ вашемъ, столько меня порадовавшемъ вызовѣ вашемъ, и на сродствѣ нашихъ занятій, хотя вы въ дремучей древности, а мои изысканія относятся къ вчерашнему почти дню,—рѣшаюсь напомнить вамъ объ этомъ дѣлѣ. Жизнь человѣческая коротка, а время течетъ. Нетерпѣливость моя послужитъ вамъ лишь новымъ доказательствомъ, что и среди теперешнихъ, гораздо многочисленнѣйшихъ прежняго, занятій моихъ, я нисколько не остываю къ задушевному моему предпріятію. Въ письмѣ вашемъ былъ еще намекъ о возможности узнать что-нибудь, стороною, и отъ Филарета. Это было бы въ высшей степени интересно".

Изъ одного письма барона Корфа мы узнаемъ, что записки И. И. Дмитріева были ему доставлены его племянникомъ, но въ спискѣ, „испещренномъ описками", затемняющими смыслъ текста.

По порученію одного своего деревенскаго сосѣда М. А. Дмитріевъ писалъ Погодину, изъ своего Симбирскаго села Богородскаго (10 декабря 1847 г.): „Здѣсь живетъ двоюродный братъ Сперанскаго, Ксенофонтъ Матвѣевичъ Делекторскій,—человѣкъ бѣдный и во всемъ противоположный своему родственнику. Онъ желаетъ знать, гдѣ живетъ дочь Сперанскаго, Фролова-Багрѣева, и думаетъ, что вы должны знать это. Если знаете, то прошу васъ увѣдомьте. Вѣроятно, онъ хочетъ попросить у ней какой-нибудь помощи“.

XXI.

Въ маѣ 1847 года Академія Наукъ командировала въ Москву академика Н. Г. Устрялова для собиранія въ Московскомъ Главномъ Архивѣ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ свѣдѣній о Петрѣ Великомъ. По пріѣздѣ въ Москву Устряловъ посѣтилъ Погодина и просилъ его посвятить въ таинства своего Древлехранилища. Погодинъ принялъ своего соперника очень дружелюбно и открылъ предъ нимъ двери Древлехранилища. „Я началъ“, писалъ Погодинъ въ своихъ позднѣйшихъ воспоминаніяхъ,—„вынимать изъ шкаповъ всѣ свои рукописи. Чередъ дошелъ до тетрадки въ осьмушку на простой сѣрой бумагѣ, заключающей въ себѣ донесенія боярину Ѳ. А. Головину о ратномъ поведеніи, напечатанное Розановымъ въ 1801 году и перепечатанное мною въ 1842 году *). Ба! воскликнулъ профессоръ Устряловъ. Эта рука Головина,— и показалъ мнѣ замѣтку на тетрадкѣ: *подалъ Посошковъ въ 1701 году*. Я такъ и обмеръ отъ радости, бросился тотчасъ къ своему историческому альбому, гдѣ есть почеркъ Головина,—сличили, такъ точно! Мы удостовѣрились такимъ образомъ, что это есть подлинное донесеніе Посошкова, поднесенное Головину, имъ принятое и помѣченное...“ По поводу этого открытія Погодинъ замѣчаетъ: „Кстати замѣчу здѣсь, что при собираніи древностей и достопримѣчательностей Рус-

*) Въ Посошковѣ.

скихъ, я пользовался какимъ-то особеннымъ, спеціальнымъ счастіемъ: ну, какъ безъ такого счастья могла бы въ продолженіе ста слишкомъ лѣтъ сохраниться маленькая тетрадка *безъ переплета*, ветхая, на простой дряблой бумагѣ, не интереснаго вообще содержанія, и попасться именно мнѣ въ руки? И принесъ мнѣ ее, я помню, не букинистъ, не записной антикварій, а такъ какой-то прохожій, и я, взглянувъ мелькомъ, между другими рукописями, на тетрадку, не подорожилъ ею, потому что она заключала извѣстное, печатное сочиненіе, а взялъ такъ, для стараго почерка, за рубль, кажется, серебромъ. И лежала она у меня лѣтъ десять, въ небреженіи, какъ вдругъ случайно оказалось, что это есть драгоцѣннѣйшій автографъ".

Само собою разумѣется, что всѣ старые счеты съ Устряловымъ позабылись, и Погодинъ оказалъ Петербургскому гостю пресловутое Московское гостепріимство и хлѣбосольство. Къ двумъ историкамъ присоединился и почтенный археографъ нашъ П. М. Строевъ, какъ старый знакомый Устрялова. „Согласно приглашенію вашему", писалъ Строевъ Погодину,— „я и Н. Г. Устряловъ пріѣдемъ къ вамъ обѣдать въ *воскресенье*, 7 сентября, въ 3 часа". Въ это время Археографическая Коммиссія поручила П. М. Строеву составить Указатель къ Полному Собранію Русскихъ Лѣтописей. Это порученіе было предметомъ толковъ на вечерахъ, даваемыхъ Погодинымъ въ честь Устрялова. Послѣ одного такого вечера подозрительный Строевъ писалъ Погодину: „*Не слишкомъ* ли мы были вчера откровенны передъ Петербургскимъ гостемъ? Сегодня утромъ я получилъ утвержденіе проекта объ *Указатель къ Лѣтописямъ*, о которомъ вчера столько толковали".

Надо при этомъ замѣтить, что пріѣздъ въ Москву Устрялова совпалъ съ тѣмъ временемъ, когда между Погодинымъ и и Строевымъ возстановились мирныя отношенія, и даже послѣдній могъ убѣдиться въ добромъ въ сущности къ нему расположеніи и Погодина, и Шевырева. Въ это время старшій сынъ Строева, Петръ Павловичъ, тогда студентъ Универси-

тета, потерпѣлъ какія-то экзаменаціонныя непріятности. 26 мая 1847 года отецъ обратился къ Погодину съ слѣдующимъ письмомъ: „Участь сына моего въ рукахъ вашихъ: при переводномъ экзаменѣ на третій курсъ у него недостаетъ одного балла, а прошлаго года онъ не переведенъ, слѣдовательно, надо будетъ оставить Университетъ. Жена моя проситъ хлопотать, но еслибы я обѣгалъ всѣхъ профессоровъ и кланялся имъ въ ноги, то увѣренъ, что ничего не могъ бы сдѣлать; остается только прибѣгнуть къ покровительству вашему. Писулька отъ васъ Степану Петровичу все можетъ исправить: недостающій баллъ можетъ прибавить И. Н. Гернигъ, но, кажется, опасается, будетъ ли это угодно выше. Сдѣлайте благое дѣло, почтеннѣйшій Михаилъ Петровичъ, и мы всѣ ваши покорнѣйшіе слуги". Въ концѣ письма Строевъ прибавилъ: *по прочтеніи истребите.* Но Погодинъ письма не истребилъ, а горячо и настойчиво сталъ хлопотать объ исполненіи просьбы Строева и въ *Дневникѣ* своемъ (подъ *28 мая 1847 г.*) записалъ: „Строева просьба о сынѣ. Лишь проснулся къ Шевыреву, просить для него—не засталъ". Вскорѣ Погодинъ получаетъ отъ Шевырева слѣдующее письмо: „Ты суетишься о пустякахъ. Я и безъ тебя принимаю участіе въ сынѣ П. М. Строева. Изъ Греческаго языка онъ не отвѣчалъ ни слова: мы рѣшили проэкзаменовать его послѣ вакаціи, а баллъ ему не выставленъ. Изъ Русской Словесности онъ не подалъ сочиненія, а въ этомъ только и состоялъ экзаменъ. Баллъ также ему не выставленъ; но послѣ вакаціи онъ сочиненіе подастъ и экзаменъ изъ Греческаго языка выдержитъ и будетъ переведенъ на третій курсъ. И такъ онъ поставленъ теперь *въ числѣ не докончившихъ экзамена.* Слѣдовательно, тутъ суетиться не о чемъ. Успокой отца и мать, но скажи имъ также, чтобъ дали ему средства заняться поболѣе Греческимъ языкомъ, потому что на слѣдующихъ курсахъ будетъ еще труднѣе. Что же касается до меня, то я и прежде, и теперь всегда готовъ радѣть о сынѣ Павла Михаиловича. Успокой его и супругу его" [122]).

Во время пребыванія Устрялова въ Москвѣ онъ имѣлъ неудовольствіе навлечь на себя гнѣвъ А. П. Ермолова. Дѣло въ томъ, что въ началѣ того же 1847 года, въ Петербургѣ, Устряловъ напечаталъ *Историческое Обозрѣніе Царствованія Государя Императора Николая I*. Въ своихъ *Воспоминаніяхъ* Устряловъ напечаталъ любопытныя свѣдѣнія, касающіяся этого изданія. До печати сочиненіе это „прочиталъ" самъ Государь въ одинъ вечеръ, 1 декабря 1846 г., сдѣлалъ много исправленій, иногда рѣзкихъ, какъ сообщилъ Устрялову, „улыбаясь", графъ В. Ѳ. Адлербергъ. Въ главѣ III. Война Персидская. „За Кавказомъ содержался малочисленный корпусъ, разсѣянный мелкими отрядами по крѣпостямъ и въ совокупности не составлявшій даже одной полной дивизіи" *это зачеркнуто Государемъ*. Далѣе Устряловъ пишетъ: „Но тамъ былъ Ермоловъ, недоступный страху, онъ умѣлъ вселить мужество въ каждаго солдата, и Русскій штыкъ остановилъ врага на первомъ шагу". Это тоже Государемъ зачеркнуто, и на полѣ написано имъ: *Неправда, Ермоловъ въ это время донесъ мнѣ, что не чувствуетъ въ себѣ силу начальствовать войсками въ подобное время, и просилъ присылки довѣреннаго лица, тогда я послалъ къ нему Паскевича и впослѣдствіи Дибича*. Далѣе Устряловъ пишетъ: „Паскевичъ немедленно принялъ, *по Высочайшей волѣ*, начальство надъ войсками, назначенными противъ Персіянъ". Къ этимъ строкамъ Государь съ боку написалъ: *Неправда*. Слова *по Высочайшей волѣ* зачеркнуты Государемъ и вмѣсто этого написано имъ: *по волѣ Ермолова* [123]). На основаніи этихъ исправленій Устряловъ напечаталъ: „Подъ стѣнами Елисаветполя встрѣтилъ Аббаса-Мирзу тотъ, кому судьба предназначила быть въ наше время грозою враговъ Россіи въ Азіи и въ Европѣ, вождь достойный Русскаго воинства: тамъ встрѣтилъ его Паскевичъ. Прибывъ за нѣсколько дней на Кавказъ, для содѣйствія Главнокомандующему, съ особенною довѣренностію Императора, онъ немедленно принялъ, *по волѣ генерала Ермолова*, начальство надъ войсками, назначенными противъ Пер-

сіянъ“ [124]). Вотъ этими-то строками былъ оскорбленъ Ермоловъ и не скрылъ объ этомъ предъ Погодинымъ. Съ своей стороны о неудовольствіи Ермолова Погодинъ сообщилъ Устрялову. Послѣдній объяснилъ все какъ было, чтó написалъ онъ въ рукописи и какъ исправилъ сказанное самъ Государь. Погодинъ нѣсколько разъ ѣздилъ къ Ермолову и говорилъ ему о невинности Устрялова. Не взирая на это, Ермоловъ написалъ Устрялову рѣзкое письмо, которое предварительно отправилъ Погодину. „Препровождая письмо мое г-ну Устрялову, я высоко цѣню одобреніе ваше умѣренности, съ которою я сдѣлалъ возраженіе.—Легко могъ бы я обойтись безъ него, убѣжденъ будучи, что мало вреда принесетъ мнѣ изложенное г. Устряловымъ на счетъ мой мнѣніе, ибо въ настоящее время я нѣсколько извѣстенъ, а Исторіографъ оцѣненъ будетъ по достоинству и теперь, и впослѣдствіи, но такъ долженъ я былъ поступить по причинамъ, изъясненнымъ въ концѣ письма сего. Не думалъ ли Исторіографъ, бросивъ на меня черную тѣнь, придать блеску Фельдмаршалу Князю Варшавскому, но и меня не трогая, довольно той подлой лести, которую расточаетъ въ похвалахъ ему“. Но прежде чѣмъ письмо Ермолова попало по адресу, оно долго ходило по Москвѣ и Петербургу. По возвращеніи домой Устряловъ писалъ Погодину: „Здѣсь ходитъ по рукамъ копія съ письма ко мнѣ, отъ Ермолова, отъ 17 сентября. Одинъ изъ друзей автора разсказываетъ, что оригиналъ отданъ вамъ для отсылки ко мнѣ. Само собою разумѣется, что письмо читаютъ здѣсь съ любопытствомъ и, не зная обстоятельствъ дѣла, винятъ меня. Но какъ я имѣю средства оправдать себя предъ авторомъ письма, то убѣдительнѣйше прошу васъ съ первой почтой прислать мнѣ оное, адресуя на мое имя въ Университетъ. Прощайте, достопочтенный Михаилъ Петровичъ. Когда пріѣдете къ намъ, посѣтите меня на новосельи; мнѣ назначена квартира покойнаго Шмита—прелестнѣйшее помѣщеніе окнами на Неву, съ паркетными полами, близъ новаго моста“ [125]). Въ своихъ же *Воспоминаніяхъ* Устряловъ сообщаетъ слѣдующія свѣдѣнія:

„Возвратившись изъ Москвы въ Петербургъ, я получилъ письмо Ермолова. Я не зналъ, что̀ дѣлать: писать къ Ермолову отвѣтъ и выставить все какъ было—не видѣлъ никакой возможности; оставить безъ отвѣта тоже не хотѣлъ. Письмо Ермолова я отвезъ графу Уварову съ просьбою доложить Государю. Дѣло тѣмъ и кончилось“. [126]).

Признательный за гостепріимство и хлѣбосольство, Устряловъ писалъ Погодину: „Возвратившись къ своимъ пенатамъ, я считаю первымъ долгомъ поблагодарить васъ за доброе ваше ко мнѣ расположеніе во время пребыванія моего въ Москвѣ“. Но вслѣдъ за симъ И. И. Давыдовъ писалъ Погодину другое: „Я радовался было, что вы сошлись съ Устряловымъ. Но полученное изъ Москвы свѣдѣніе о его рѣчахъ въ гостиныхъ, за обѣдами—о вѣроломствѣ и коварствѣ—обдало меня холодомъ. Дальнѣйшее развитіе этого требуетъ личной бесѣды“. Въ томъ же письмѣ Давыдовъ сообщаетъ: „Недавно въ кабинетѣ графа Уварова былъ разговоръ о Русской Исторіи. Какъ пріятно, тутъ было сказано, *читается Исторія Устрялова*... Я вступился въ разговоръ и старался доказать, что *Изслѣдованія* ваши передъ упомянутою *Исторіею* то же, что университетъ передъ гимназіей“. Черпая изъ того же, какъ мы сейчасъ увидимъ, источника, Давыдовъ сообщалъ Погодину и слѣдующее: „Одинъ изъ нашихъ старинныхъ товарищей пишетъ мнѣ, что С. П. Шевыревъ поднялъ голову и не узнаетъ никого. Ужели это правда? Поэтому если Богъ велитъ будущимъ лѣтомъ къ вамъ пріѣхать, я ничего и никого не узнаю, когда всѣ будутъ съ поднятыми головами“.

На дознанія Погодина объ источникѣ, изъ котораго почерпнуты подобныя свѣдѣнія, Давыдовъ показалъ: „О Шевыревѣ писалъ тотъ же Д. М. Перевощиковъ, который писалъ и объ Устряловѣ“ [127]).

Мы уже знаемъ, что Погодинъ сообщалъ матеріалы для біографіи Ермолова. Живымъ источникомъ подобной біографіи былъ самъ Ермоловъ, и біографъ черпалъ изъ него нео-

скудно. Вскорѣ, послѣ Устряловской исторіи, Погодинъ посѣтилъ своего героя и записалъ слѣдующее въ своемъ *Дневникѣ*: „Къ Ермолову. Слышалъ много любопытнаго, но фальшивъ онъ!“ [128]). На другой же день за этою записью Погодинъ получаетъ слѣдующее письмо отъ Ермолова: „Долго не отвѣчалъ я на письмо ваше, обѣщавая себѣ удовольствіе лично за него благодарить васъ. Сохраняю его какъ изъявленіе лестнаго мнѣ вашего расположенія; тетрадь, приложенную при немъ, оставляю у себя и въ свободное время внесу въ нее нѣкоторыя подробности о предметѣ разговора нашего, который казался мнѣ обратившимъ вниманіе ваше. Многое въ разговорѣ этомъ касалось до меня собственно, и потому ко вниманію вашему я не могу быть равнодушнымъ.—Рѣдко встрѣчалъ я любопытныхъ узнать случайности жизни моей, человѣка проходившаго путемъ обыкновеннымъ, развѣ отблескъ на мнѣ милостей покойнаго Императора, благодѣтеля моего, удерживаетъ еще меня въ памяти нѣкоторыхъ изъ современниковъ. Обязательное благорасположеніе ваше ко мнѣ я особенно уважаю и поставлю за честь быть всегда съ совершеннымъ почтеніемъ и преданностію“.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Ермоловъ не чуждался входить въ сношенія и съ людьми разныхъ званій. Такъ, извѣстный Московскій комерсантъ А. И. Лобковъ писалъ Погодину: „Пріѣзжайте въ воскресенье въ 3 часа обѣдать, пригласилъ вмѣстѣ и Степана Петровича Шевырева. У меня слово далъ быть общій нашъ великій мужъ Алексѣй Петровичъ Ермоловъ“.

XXII.

Въ началѣ 1847 года, какъ мы уже знаемъ, И. И. Давыдовъ переселился изъ Москвы въ Петербургъ и вступилъ въ управленіе Императорскимъ Педагогическимъ Институтомъ. Водворившись въ Петербургѣ, Давыдовъ писалъ Погодину: „Прежде всего обнимаю васъ мысленно и благодарю васъ за дружбу и пріязнь, съ какими вы напутствовали меня на но-

вое поприще. Такія минуты торжественны и остаются незабвенными. Тоска по родинѣ и Москвѣ овладѣваютъ нами; боюсь, чтобъ не пасть подъ ея бременемъ. Но Богъ призвалъ меня на новое дѣланіе; Богъ подастъ и силы къ совершенію подвига. Объ Институтѣ надобно говорить или много, или ничего; въ настоящемъ случаѣ держусь послѣдняго. Лучше мы поговоримъ о вашихъ дѣлахъ". Эта должность еще болѣе сблизила Давыдова съ графомъ С. С. Уваровымъ. „Съ Министромъ", писалъ онъ Погодину,—„давно и нѣсколько разъ говорилъ о васъ и о всемъ, до васъ касающемся. Его сіятельство уважаетъ и любитъ васъ, готовъ сдѣлать все для васъ пріятное и полезное, но только все требуетъ порядка и извѣстныхъ формъ" [120]).

Между тѣмъ Перевощиковъ, возвратившійся изъ Петербурга, сообщилъ Погодину, что правитель Канцеляріи Министра Народнаго Просвѣщенія В. Д. Комовскій „ему врагъ и портитъ всѣ дѣла его". „Вотъ тебѣ разъ!" восклицалъ по этому поводу Погодинъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Перевощиковъ совѣтовалъ Погодину ѣхать въ Петербургъ. „Скучно таскаться", замѣчалъ Погодинъ,—„и изъ чего. А надо: дѣла плохи" [13]).

О слышанномъ Погодинъ счелъ полезнымъ довести до свѣдѣнія И. И. Давыдова, и послѣдній писалъ: „Наконецъ вы прозрѣли касательно извѣстнаго лица, о которомъ разсказалъ вамъ Д. М. Перевощиковъ". Въ томъ же письмѣ Давыдовъ сообщаетъ объ удовольствіи, который доставилъ имъ Перевощиковъ своимъ пріѣздомъ: „Кстати о дорогомъ гостѣ, который всему семейству нашему доставилъ самое сладостное утѣшеніе нечаяннымъ своимъ пріѣздомъ. Въ его присутствіи, въ пріемной залѣ Министра, Товарищъ Министра говорилъ о предшественникѣ моемъ то, что лишь только я вамъ сказалъ. И это нѣмцу съ рукъ сходило семнадцать лѣтъ!"

Не смотря однако на нерасположеніе, впрочемъ по увѣренію Перевощикова, къ Погодину Правителя Канцеляріи Министра Народнаго Просвѣщенія, самъ Министръ, повидимому, былъ очень расположенъ къ нашему герою. „У меня на дачѣ",

писалъ ему графъ Уваровъ (25 іюля 1847 г.), — „гостит Розбергъ не совсѣмъ здоровый и на дняхъ украшенный орде номъ св. Анны второй степени. Весьма часто посѣщаетъ мен И. И. Давыдовъ, весьма дѣятельно принявшійся за дѣло; мног говорилъ о Москвѣ и объ Исторіи и о Словесности; и сожа лѣетъ, что васъ нѣтъ среди насъ". Съ своей стороны Давы довъ совѣтовалъ Погодину писать „побольше о всякой вся чинѣ Московской". „Графъ Сергій Семеновичъ", писалъ онъ, — „удивляется, что Москвичи мало о себѣ пишутъ, а лишь тольк кушаютъ и потчиваютъ. Вы не развлечены, какъ мы". В другомъ письмѣ Давыдовъ какъ бы съ упрекомъ писалъ Пого дину: „Вы среди мирныхъ занятій наукою забыли дѣла жи тейскія. Что вы до сихъ поръ не пишете графу Сергі Семеновичу?"

По счастливому выраженію С. М. Шпилевскаго „граф С. С. Уварову посчастливилось видѣть въ своемъ сынѣ граф Алексѣѣ Сергѣевичѣ достойнаго наслѣдника своихъ идей стремленій".

Еще въ 1846 году графъ А. С. Уваровъ въ качеств члена-учредителя С.-Петербургскаго Археологическо-Нуми матическаго Общества выступилъ на поприще изыскател Русскихъ Древностей и этой чредѣ, въ ущербъ своей служе ной карьерѣ, онъ оставался вѣренъ до конца своей жизни Тяжкая болѣзнь постигла его весною 1847 года и едва н прервала дней его жизни. „Графъ С. С. Уваровъ былъ в большой тревогѣ", писалъ Г. В. Грудевъ Погодину (21 апрѣл 1847 г.), — „его Алексѣй простудился на похоронахъ Губер котораго онъ очень любилъ, и занемогъ опасно, но тепер кажется, опасность миновалась. Онъ нѣсколько ночей провел у постели сына".

По выздоровленіи графъ Алексѣй Сергѣевичъ Уваров предпринялъ путешествіе по Россіи. 25 іюля 1847 года ег отецъ писалъ Погодину: „Вручитель сихъ строкъ, мой сын страстный охотникъ до Древностей и Исторіи, особенно д Русскихъ. Благоволите, любезный Михаилъ Петровичъ, открыт

ему драгоцѣнныя ваши коллекціи и быть ему путеводителемъ въ осмотрѣ другихъ. Онъ отправляется, чтобы посмотрѣть на матушку Россію и себя будущимъ своимъ крестьянамъ показать; онъ любознателенъ и много видѣлъ въ Европѣ; пора посмотрѣть и на свое" [131]).

Въ августѣ 1847 года графъ А. С. Уваровъ былъ уже въ Москвѣ. Древлехранилище Погодина привлекло все его вниманіе, и они непрестанно толковали о монетахъ, древностяхъ и тому подобномъ [132]).

Изъ Москвы Погодинъ вмѣстѣ съ графомъ А. С. Уваровымъ предприняли путешествіе въ Муромъ, подъ которымъ лежитъ знаменитое Уваровское село Корочарово, а оттуда въ Нижній на ярмарку. Здѣсь Погодинъ познакомился съ Кобденомъ, который, въ то время путешествуя по Россіи, посѣтилъ Нижегородскую ярмарку. Въ Москву Погодинъ вернулся одинъ. Какъ пребываніе въ Москвѣ молодого Графа, такъ и его дальнѣйшее путешествіе подробно описывалось и въ формѣ писемъ посылалось И. И. Давыдову: „Здравствуйте, почтеннѣйшій, душевно уважаемый Михаилъ Петровичъ", писалъ послѣдній (30 августа 1847 г.),—„вотъ вы уже прокатились, отдохнули и благополучно возвратились въ свой пріютъ, слава Богу! Письма ваши, равно письма С. П. Шевырева и И. М. Снегирева перечитывались Графомъ и Графиней съ величайшимъ удовольствіемъ. Сергій Семеновичъ васъ благодаритъ за сына, который писалъ, что онъ пріобрѣлъ въ васъ друга задушевнаго. Я радъ этому несказанно".

Подъ *8 сентября 1847 года*, Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Странное соединеніе занятій и впечатлѣній. Вѣче, Уваровъ молодой, въ деревнѣ, Ламартинъ, Тургеневъ, Кобденъ. Не приняться ли мнѣ за Тацита".

По возвращеніи въ Москву, въ сентябрѣ 1847 года, графъ А. С. Уваровъ почти не выходилъ изъ Погодинскаго Древлехранилища. Онъ сидѣлъ надъ монетами, отбиралъ себѣ дублеты. Въ своемъ *Дневникѣ* (подъ *9 сентября 1847 г.*), Погодинъ упоминаетъ объ обѣдѣ, данномъ графомъ А. С. Ува-

ровымъ, и сообщаетъ слѣдующія подробности: „Обѣдалъ у Уварова. Строевъ прицѣплялся къ нему и проч., такъ что гадко, когда подпилъ. Проигралъ, и я долженъ былъ платить за него! Играли и смѣялись“. Но П. М. Строевъ всегда помнилъ свои долги и отличался примѣрною честностью въ денежныхъ разсчетахъ. 17 ноября 1847 года онъ писалъ Погодину: „Считаю необходимымъ нижайше просить у васъ извиненія, что до сихъ поръ *должникъ* предъ вами неисправный: карманъ мой не лучше брюха. Въ будущемъ мѣсяцѣ постараюсь привезти лично и возвратить съ благодарностью; а вы, какъ человѣкъ зажиточный, огнищанинъ, будете такъ добры, что потерпите безъ ропота“. Вскорѣ послѣ этого обѣда графъ А. С. Уваровъ уѣхалъ въ свое Порѣчье и тамъ зажился. „О молодомъ графѣ Алексѣѣ Сергѣевичѣ“, писалъ Погодину Давыдовъ,—„и здѣсь ничего не слышно. Полагаютъ, что онъ въ Порѣчьѣ. Видно, тамъ и монеты пока забыты. Отецъ и мать теряютъ терпѣніе отъ желанія его видѣть....“

Наконецъ, подъ *5 октября 1847 года*, Погодинъ записываетъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Пріѣхалъ Уваровъ. Обѣдалъ у него и весь вечеръ“. 15 октября онъ уже былъ въ Петербургѣ, и Давыдовъ извѣщалъ о томъ Погодина: „Графъ Алексѣй Сергѣевичъ возвратился, слава Богу, здоровъ, къ утѣшенію отца, матери. Покупокъ его я еще не видалъ“. Вскорѣ за эти „покупки“ Погодинъ получаетъ отъ Г. В. Грудева деньги при слѣдующихъ строкахъ: „Препровождаю при семъ къ вамъ триста рублей отъ графа А. С. Уварова за купленную у васъ старину“.

Повидимому, на Уварова Погодинъ произвелъ самое благопріятное впечатлѣніе, въ этомъ удостовѣряютъ насъ слѣдующія строки къ нему И. И. Давыдова: „Молодой Графъ отъ васъ въ восхищеніи“.

Вскорѣ и самъ „молодой Графъ“ написалъ Погодину нѣжное письмо (отъ 10 ноября 1847 года): „Благодарю васъ“, писалъ онъ,—„очень благодарю, любезный Михаилъ Петровичъ, за ваше письмо и за вашу дружескую брань, вы напрасно

обвиняете меня; правда, я виноватъ, что до этихъ поръ не написалъ еще вамъ ни слова, но между тѣмъ поминутно думаю о васъ, ибо уже показалъ ваши монеты почти всѣмъ нумизматикамъ и Русскимъ, и Чухонскимъ, и скоро надѣюсь дать вамъ удовлетворительный отвѣтъ по этому дѣлу. Такъ какъ другъ Куникъ не посылалъ мнѣ остальныхъ вашихъ монетъ, то я написалъ ему преучтивое письмо, которое не удостоилось отвѣта, но спустя недѣлю получилъ я ваши монеты. Со дня моего пріѣзда я цѣлые дни занимаюсь окончаніемъ моей Нумизматической Исторіи Россіи; я спѣшу теперь окончивать введеніе и общій обзоръ Русской исторіи съ нумизматической точки, и привожу въ порядокъ мои Московскія пріобрѣтенія. Знаменитый полтинникъ всѣмъ понравился, говорятъ только, что я слишкомъ высокую цѣну далъ за него, что же касается до моего собранія монетъ, то многіе начинаютъ уже его бранить; вы поймете, любезный Михаилъ Петровичъ, что эта брань весьма пріятна, потому что доказываетъ зависть нѣкоторыхъ людей и льститъ мое самолюбіе. Если вамъ случится встрѣтить образа или крестиковъ, которыхъ у меня нѣту, не забывайте меня въ ту минуту; у меня есть ковшикъ серебряный Анны Іоанновны, если можете мнѣ достать ковши Петра Великаго, Екатерины I, Екатерины II, Елисаветы Петровны и проч. за выгодную и не очень дорогую цѣну, вы мнѣ оказали бы этимъ большое одолженіе. Прощайте, любезный Михаилъ Петровичъ, поклонитесь отъ меня Шевыреву, Снегиреву, Спасскому и проч. и проч. Я вамъ пришлю нумизматическій нашъ журналъ; какъ я бранился съ нашими Нѣмцами, при первомъ засѣданіи. На дняхъ принесли мнѣ проповѣди Лазаря Барановича 1674; очень дешево“.

Н. Н. Мурзакевичъ, совершивъ путешествіе по Кавказу, писалъ Погодину: „Узнавъ о возвратѣ вашемъ изъ Нижняго въ Москву, пишу посланіе, почтеннѣйшій Михаилъ Петровичъ. И я истекшее лѣто провелъ въ разъѣздахъ по всему Закавказью. Много, много видѣлъ величественнаго и разнороднаго

въ природѣ. Не смотря на зной, достигающій до 50°, все время моей поѣздки провелъ здорово, хотя повсюду былъ окруженъ холерою. Вотъ что я видѣлъ: рѣку Ріонъ, Кутаисъ, Тифлисъ, Эривань, Эчміадзинъ, Александрополь, Сигнахъ, Телавъ и Нуху. Потомъ — Владикавказъ, Пятигорскъ, Ставрополь и болотный Екатеринодаръ, наконецъ Тамань. Три мѣсяца ровно я съ восхода и до запада солнечнаго не слѣзалъ съ коня, или повозки. Послѣ видѣннаго столько, конечно, вы, добрый Михаилъ Петровичъ, скажете, все видѣнное надлежитъ описать. Но не тутъ-то было. Именно, писать-то и не должно. Говоря такъ, или этакъ, какую-либо сторону да затронешь. А этого дѣлать не гораздо. Церковныя древности, которыхъ много, и при томъ онѣ единственные памятники края, многословно опишетъ Муравьевъ, посѣщавшій мѣста не задолго предъ мною. *Москвитянинъ* я еще не получилъ. Послѣ просьбы о пищѣ духовной обременяю васъ пищею плотскою. Вы были въ Нижнемъ, и конечно запаслись добрымъ чаемъ. Сдѣлайте милость, удѣлите мнѣ фунтовъ пять. Если не имѣете, то поручите извѣстному вамъ чайному торговцу поскорѣе мнѣ выслать. Сквернаго Англійскаго чаю пить никакъ не могу. Духъ пуризма такъ мною овладѣлъ, что зимою рѣшаюсь посѣтить Москву и С.-Петербургъ. Привезу тогда „нѣчто и отъ старья". Какъ нарочно, почти одновременно съ этимъ, Погодинъ получаетъ отъ Лобкова слѣдующее пріятное извѣщеніе: „Вчерашній день только получилъ прямо съ мѣста лучшій чай. При семъ вамъ оный имѣю честь представить" [133]).

XXIII.

1 апрѣля 1847 года преосвященный Иннокентій, епископъ Харьковскій, по Высочайшему повелѣнію, былъ вызванъ въ С.-Петербургъ для присутствованія въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ. Указъ объ этомъ былъ полученъ въ Харьковѣ 14 апрѣля, и Иннокентій тогда же началъ готовиться къ отъѣзду въ С.-Петер-

бургъ, гдѣ для его помѣщенія было отведено Псковское архіерейское подворье. Но отъѣздъ Иннокентія изъ Харькова въ Петербургъ замедлился по причинѣ довольно серьезной болѣзни, постигшей въ то время Преосвященнаго. „Послѣ праздника", писалъ онъ одному своему Петербургскому другу,— „посѣщенъ былъ двумя тяжкими недугами... Теперь, слава Богу, прошли оба, оставивъ за собою только сугубую слабость въ силахъ... Странное дѣло! Въ жизни моей какъ будто какой законъ, что предъ поѣздкою изъ одного мѣста въ другое я подвергаюсь всегда тяжкой болѣзни" [134]).

Когда вѣсть объ этомъ достигла Кіева, то Софійскій протоіерей Иванъ Михайловичъ Скворцовъ писалъ Преосвященному: „Итакъ вамъ путь въ столицу Петрову? Благословенъ грядый во имя Господне! Разсказываютъ у насъ слѣдующее: *Читая проповѣди Херсонскаго Преосвященнаго, я нахожу, что это человѣкъ очень умный, почему жъ не вызовутъ его въ Петербургъ?* Такъ спросила Государыня о. Бажанова. — *Да потому и не вызываютъ, Ваше Величество, что очень умный*— былъ отвѣтъ послѣдняго".

Вызовъ въ Сvнодъ заставилъ Иннокентія навсегда покинуть Харьковъ. „Не безъ горести душевной", писалъ онъ А. С. Стурдзѣ,— „для меня разлука съ Харьковымъ, къ коему привязанъ я многими неразрывными узами вѣры и любви о Христѣ" [135]).

Предъ пріѣздомъ Иннокентія въ Москву Погодинъ, читая его проповѣди, записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Прочелъ нѣсколько проповѣдей Иннокентія и принялъ къ сердцу: неси тотъ крестъ, который данъ тебѣ и люби его".

4 іюня 1847 года преосвященный Иннокентій прибылъ въ Москву и весьма часто видался съ Погодинымъ [136]).

Свиданіе Иннокентія съ Филаретомъ состоялось въ Лаврѣ преподобнаго Сергія. Еще изъ Харькова Иннокентій писалъ Митрополиту Московскому и выражалъ желаніе имѣть съ нимъ свиданіе. 22 мая 1847 года изъ Лавры Филаретъ отвѣчалъ ему: „Въ Лаврѣ получилъ я извѣстіе о путешествіи

вашемъ черезъ Москву, и сіе было одною изъ причинъ ускореннаго возвращенія моего въ Москву. Но теперь обстоятельства вновь увлекли меня въ Лавру... Предлагаю не ради меня, а ради преподобнаго Сергія, немного увеличить длину вашего пути. Преподобный Сергій вознаградитъ то, что вы сдѣлаете для него". По свидѣтельству очевидцевъ, свиданіе въ Лаврѣ было самое дружелюбное. „Для встрѣчи гостя Филаретъ вышелъ даже изъ своихъ покоевъ. Оба они были одѣты въ черныя рясы, съ однѣми только панагіями на груди. Поясной поклонъ съ той и другой стороны предшествовалъ братскому лобзанію" [137]).

11 іюня 1847 года Г. П. Погодинъ писалъ своему брату: „Проводилъ ли ты своего Иннокентія. Ахъ какой дивный человѣкъ. Какая благовидная наружность, какой сладкій голосъ. Вотъ человѣкъ, который съ перваго взгляда заставляетъ уважать и вмѣстѣ съ тѣмъ любить себя" [138]).

Проводивъ Иннокентія, Погодинъ писалъ ему въ Петербургъ: „Какъ вы доѣхали, Преосвященнѣйшій Владыко? Все ли въ добромъ здоровьи? Какъ показался вамъ Петербургъ послѣ долговременнаго отсутствія? О себѣ же скажу ничего добраго: двѣ недѣли или болѣе не принимался за Исторію, которая призываетъ меня всѣми силами. А отчего? Съ недѣлю писалъ статью о древней Аристократіи Русской, которая очень стала примѣчательна по процессу изслѣдованія; дня съ три писалъ замѣчанія о трудахъ молодыхъ ученыхъ; дня съ три отхватили проѣзжіе" [139]).

Въ Петербургѣ преосвященный Иннокентій сблизился съ И. И. Давыдовымъ. „У преосвященнаго Иннокентія былъ", писалъ онъ Погодину,—„и бесѣдовалъ съ наслажденіемъ". Чрезъ Погодина познакомился съ Преосвященнымъ и Н. А. Загряжскій. Сохранившіяся письма послѣдняго весьма важны для біографіи знаменитаго Святителя. „Благодарю тебя сердечно", писалъ Загряжскій Погодину (13 октября 1847),—„за доставленіе мнѣ знакомства съ Иннокентіемъ; я уже видѣлся съ нимъ три раза; кажется, человѣкъ хорошій, талантъ пре-

восходный, бесѣда пріятная, и я полагаю, что сердце у него доброе. Но, между нами, я не нашелъ въ немъ духовнаго человѣка; можетъ быть, при дальнѣйшемъ знакомствѣ онъ будетъ откровеннѣе со мною, но теперь пока я въ немъ нашелъ только свѣтскаго человѣка. Что онъ въ проповѣдяхъ своихъ излагаетъ духовныя истины такъ ясно, просто, увлекательно, какъ будто бы онъ ихъ въ жизни своей практически усвоилъ, и вмѣстѣ съ симъ видишь его не духовнымъ, это противорѣчіе объясняю себѣ примѣромъ: Державинъ написалъ оду *Богъ* и далеко очень далеко не былъ духовнымъ. Впрочемъ я легко могу ошибаться, и дай Богъ, чтобы ошибался; однако слышу съ разныхъ сторонъ, что онъ хорошій, свѣтскій человѣкъ, съ большимъ талантомъ. Онъ вчера мнѣ сказывалъ, что все это время былъ очень занятъ, что-то печаталъ, я не спросилъ — что. Трудно его видѣть; но теперь онъ мнѣ велѣлъ присылать къ нему спросить: когда пріѣхать? Я ему за это очень благодаренъ. На дняхъ повезу къ нему Ѳ. И. Прянишникова". Въ другомъ письмѣ Загряжскій писалъ: „Достань у Бартенева службу Софіи Премудрости Божіей. Онъ при тебѣ мнѣ говорилъ, что онъ досталъ списокъ древній. Спиши и пришли его мнѣ. Это нужно Иннокентію, съ которымъ я видаюсь довольно часто".

Подъ *14 декабря 1847 года* Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Непріятные слухи объ Иннокентіи". Для своего успокоенія Погодинъ обратился къ Преосвященному съ запросомъ: „Что вы дѣлаете со мной, Преосвященнѣйшій Владыко? Или что дѣлается съ вами? Мнѣ горько, тяжело, грустно, досадно. Давно не имѣлъ я такъ рѣдко извѣстій. А между тѣмъ ходятъ непріятные слухи, которые тревожатъ меня, о подысканіяхъ Петербургскихъ подъ вами, о распусканіи слуховъ о васъ, Боже мой! Что за гадкое время, въ которое мы живемъ! Если все у васъ такъ дурно, то проситесь по крайней мѣрѣ домой изъ-за климата. Будьте осторожны, но что я пишу! Развѣ вы этого не знаете лучше всего? Услышалъ я что-то нехорошее объ знаменіи, будто

остановленномъ. Вѣдь вы только перепечатали его со стараго изданія...“ На эти запросы Иннокентій спокойно отвѣчалъ: „Да кто это васъ такъ много и напрасно смущаетъ? Натурально, наше положеніе здѣсь *не простое*, но болѣе ничего: все идетъ своимъ порядкомъ. Только съ климатомъ здѣшнимъ не скоро сладить. Вотъ и для новаго года посѣтила меня изрядная простуда, такъ что я съ недѣлю не выходилъ изъ комнаты... Пишете что-то объ акаѳистахъ. Не смѣшиваете ли вы Греческаго, Іерусалимскаго съ моимъ? О первомъ точно есть дѣло. О моемъ ничего. Впрочемъ, если что слышали опредѣленно, то такъ и слѣдовало написать. Нѣтъ ничего хуже, какъ бросить мысль, но не опредѣлить ее. Это вашъ манеръ Московскій.—Если что вздумаете передать для насъ полезное, то дѣлайте это ясно и опредѣленно. Господь и благодать Его съ вами“.

Вскорѣ послѣ этой переписки (24 февраля 1848 года) Иннокентій былъ возведенъ къ санъ архіепископа Херсонскаго и Таврическаго, а къ Пасхѣ Всемилостивѣйше сопричисленъ къ ордену св. Владиміра второй степени. По поводу этой награды Погодинъ написалъ Иннокентію рѣзкое письмо: „Награду вамъ я принялъ за оскорбленіе. *За проповѣданіе*, да вы уже проповѣдуете пятнадцать лѣтъ. Нѣтъ, за двѣ проповѣди—цѣна цѣнѣ... Ни за что не допустилъ бы я ихъ въ этомъ видѣ. Вы забываете, что вы человѣкъ Всероссійскій, что на васъ смотритъ все Отечество, которое не кликали—сошлись, что всякое слово ваше принимается къ сердцу и составляетъ предметъ размышленія... Подумайте объ этомъ, а на меня не сердитесь. Я смотрю на васъ какъ на звѣзду Отечества (не Владимірскую) и плачу, если блескъ ея потухнетъ хоть на одну минуту, хоть бы за этимъ затмѣніемъ послѣдовала и страшная яркость. Обнимаю васъ и цѣлую руки“.

Съ своею Харьковскою паствою Иннокентій простился заочно въ такихъ выраженіяхъ: „Оставляя паству Харьковскую, не имѣя возможности проститься съ нею лично, пріятнѣйшимъ долгомъ поставляю, призвавъ на нее благословеніе Божіе, изъявить ей

мою полную душевную благодарность за ея любовь о Христѣ, радушное содѣйствіе всѣмъ благимъ видамъ и начинаніямъ. Память о духовенствѣ Харьковскомъ, о его усердіи въ исполненіи своего долга, о его благонравіи, будетъ служить для меня въ утѣшеніе на всю жизнь. Усерднѣйше прошу его молиться у Престола Божія, да сила Божія продолжаетъ совершаться въ немощи нашей".

Вскорѣ послѣ праздника Пасхи Иннокентій сталъ хлопотать объ отпускѣ въ свою новую епархію. Въ началѣ мая онъ выѣхалъ изъ Петербурга въ Одессу. Въ *Дневникѣ* Погодина, подъ *8 мая 1848 г.* записано: „О Русской Исторіи. Вдругъ пріѣзжаетъ Иннокентій. Былъ очень радъ видѣть его. Походили—поговорили".

Въ ожиданіи Иннокентія Мурзакевичъ писалъ Погодину изъ Одессы: „Соколовъ готовитъ вамъ статейку о послѣднихъ дняхъ, проведенныхъ у насъ архіепископомъ Гавріиломъ, который переведенъ въ Тверь. Жаль, крѣпко жаль, всѣмъ, буквально всѣмъ, этого добраго старика. Не знаю, каковъ будетъ его преемникъ. Кстати, въ проѣздъ, вѣроятно, Иннокентій будетъ у васъ. Вотъ случай познакомить его со мною, чрезъ ваше письмо." Изъ Петербурга же И. И. Давыдовъ писалъ: „Иннокентія, безъ сомнѣнія, вы видѣли, а я на него, признаюсь, посѣтовалъ: Его Преосвященство обѣщалъ или видѣться предъ отъѣздомъ, или прислать на канунѣ увѣдомить объ отъѣздѣ—и не исполнилъ обѣщанія". 29 мая 1848 года Высокопреосвященный прибылъ въ Одессу. По свидѣтельству одного изъ Одесскихъ соборныхъ протоіереевъ, „пріѣздъ его въ Одессу послѣдовалъ предъ самымъ праздникомъ Троицы, въ полночь, съ пятницы на субботу. Знавшіе его по Кіеву не нашли въ немъ той свѣжести и крѣпости, которыми прежде свѣтлѣло лицо его. Лѣта и труды и еще недавнее пребываніе въ Петербургѣ, который, по собственнымъ словамъ его, всегда разрушительно дѣйствовалъ на его здоровье,—много измѣнили его. Всенощное бдѣніе того дня было первымъ служеніемъ его въ Одессѣ и первымъ вхожденіемъ въ каѳедральный Со-

боръ. Бывши въ то время седмичнымъ, я предначиналъ всенощную и, по кажденіи церкви, сталъ, какъ было въ обычаѣ при прежнемъ Владыкѣ, по лѣвую сторону престола, движеніемъ руки Преосвященный указалъ мнѣ мѣсто предъ престоломъ. Далѣе: на входѣ вечернемъ, который обыкновенно совершается однимъ священникомъ, онъ велѣлъ облачиться еще двумъ священникамъ, – и входъ совершенъ былъ соборнѣ. По его же слову, шестопсалміи читалъ ключарь соборный; канонъ, кажется—архимандритъ. Въ самый день Троицы, ко встрѣчѣ Преосвященнаго, по его приказанію, были приготовлены букеты цвѣтовъ. При встрѣчѣ у входа въ храмъ, подходя къ кресту, служащіе принимали изъ рукъ Владыки цвѣты, и съ ними, равно какъ и самъ Владыка, шли къ царскимъ дверямъ для совершенія входной молитвы".

Вслѣдъ за прибытіемъ въ Одессу Иннокентій получилъ отъ Погодина слѣдующее письмо: „Привѣтствую васъ, Преосвященный Владыко, на новомъ полѣ. Подай Богъ вамъ силу обсѣять его подобно Вологодскому и Харьковскому—а въ Тверь бы лучше. Ваше появленіе (въ Москвѣ) было для меня, удрученнаго, какимъ-то озареніемъ. Благодарю васъ усердно. Но какъ жаль, что оно было такъ кратковременно, и я не успѣлъ ничего поговорить съ вами. Есть въ Одессѣ профессоръ Мурзакевичъ. Онъ явится засвидѣтельствовать вамъ свое почтеніе".

Самъ Мурзакевичъ о своемъ свиданіи съ Иннокентіемъ вотъ что написалъ Погодину: „Съ Иннокентіемъ всего видѣлся разъ, и то оффиціально: невѣдомо, сойдусь ли съ нимъ? Сегодня ѣду къ нему: отъ этого свиданья все будетъ зависѣть, на будущее время". Послѣ этого свиданія Мурзакевичъ писалъ Погодину: „Съ Иннокентіемъ сошлись, но какъ-то учтиво слишкомъ: онъ все бьетъ въ политику, а сверхъ сего: утерялъ мнѣ рѣдчайшую книжечку *Канонъ Іисусу*, сочиненіе князя Потемкина" [140]) *).

Предъ возвращеніемъ Иннокентія въ Петербургъ Погодинъ

---

*) Этотъ канонъ сообщенъ графомъ А. А. Бобринскимъ П. И. Бартеневу и напечатанъ послѣднимъ въ *Русскомъ Архивѣ* 1881, II, стр. 17—23.

нокентія чувство. Слова Филарета можно раздѣлить на разныя эпохи. *Первыя* слова его (говоренныя въ Петербургѣ Архимандритомъ, и проч.) отличаются высотою и умомъ. *Вторыя* (къ Московской паствѣ) глубиною и мистицизмомъ, или проницаніемъ въ тайны духовнаго міра. *Третьи* (со времени холеры 1830 года) простотою изложенія христіанскихъ истинъ, и болѣе практическихъ. Наконецъ, поздравительныя и торжественныя его рѣчи—искусствомъ и тонкостію. Вотъ что я думаю о Филаретѣ. О Иннокентіи у васъ сказано: „языкъ только что развертывается".—Я понимаю что̀ вы хотѣли сказать; но не приняли бы это такъ, какъ будто вы говорите, что языкъ еще не сформировался" [141]).

XXIV.

Съ каждымъ годомъ Древлехранилище Погодина пріобрѣтало все болѣе и болѣе почетную извѣстность, а потому сокровища нашихъ Древностей стекались въ него со всѣхъ сторонъ. Въ 1847 году, счастливый обладатель Древлехранилища получаетъ изъ Вятки, отъ Ивана Никонова: *Камень Вѣры* Стефана Яворскаго съ автографическими подписями. Изъ Одоева, отъ Ивана Ѳедорова Тархова: два древнихъ серебряныхъ ларчика для сохраненія драгоцѣнностей; блюдцо съ древнѣйшимъ изображеніемъ внутри двуглаваго орла. Изъ Шуи, чрезъ Ѳедора Михайлова Тюрина: Новгородское поминаніе на харатейномъ сверткѣ, съ означеніемъ главныхъ Новгородскихъ сраженій; поминанье, вѣроятно, фамиліи Головиныхъ; наидревнѣйшее изъ изображеній крещенія съ человѣческимъ лицомъ на другой сторонѣ среди змѣй, какъ на Черниговской гривнѣ; рѣзной деревянный крестъ, очень древній, и еще древнѣйшій мѣдный. Изъ Жиздры, отъ Ѳедора Порфиріевича Стрѣлкова: нѣсколько вещей, отысканныхъ въ тамошнихъ курганахъ. Изъ Тобольска, отъ Ивана Порфиріевича Помазкина: Собраніе собственноручныхъ писемъ Сперанскаго къ другу его Петру Андреевичу Словцову. Изъ Свіяжска,

дятъ на умъ Боссюетъ и Массильонъ. Сравнивая съ ними Филарета и Иннокентія, я думаю впрочемъ, что я больше дѣлаю чести Французскимъ проповѣдникамъ, чѣмъ нашимъ; то-есть, не Филаретъ возвышается сравненіемъ съ Боссюетомъ, а развѣ Боссюетъ. Такъ точно и Иннокентій въ нашихъ глазахъ выше Массильона. Это можно сказать о немъ даже и теперь, а что онъ дастъ намъ впослѣдствіи, чѣмъ онъ станетъ впредь, этого предвидѣть еще не можемъ, но надѣяться смѣемъ. Касательно языка намъ кажется, что языкъ Филаретовъ выше языка Иннокентіева, хотя они оба великіе мастера и полные хозяева, которые распоряжаются свободно всѣми его сокровищами. Языкъ Русскій у Филарета какъ будто возростаетъ, расширяется, распространяетъ предѣлы свои; у Иннокентія только что развертывается, обнаруживается; у Филарета церковный языкъ вошелъ какъ-то въ мѣру Русскаго языка, такъ что ихъ никакъ уже и не различишь; у Иннокентія церковный языкъ явственнѣе, и даже иногда слишкомъ, что дѣлается уже порокомъ рѣчи; за то языкъ Филарета всегда ровенъ, надъ звѣздами онъ носится такъ же спокойно и мѣрно, какъ и въ виду земли; языкъ Иннокентіевъ несравненно живѣе, разнообразнѣе, живописнѣе; въ языкѣ Филарета преимуществуетъ Философія, въ языкѣ Иннокентіевомъ Поэзія... Но довольно! предоставимъ другимъ судіямъ, болѣе законнымъ, характеристику нашихъ витій. Оба они стоятъ на такой высотѣ духа, славы, искусства, что имъ можно говорить не только всякую правду, но даже всякое мнѣніе, хотя несправедливое, но искреннее. Съ такимъ убѣжденіемъ осмѣлился и я мимоходомъ произнести эти слова, хотя предметъ ихъ не принадлежитъ къ моей области".

Прочитавъ эту рецензію Погодина, М. А. Дмитріевъ писалъ ему: „Все, что вы написали о Филаретѣ и Иннокентіи, кажется мнѣ, можно назвать вѣрною ихъ характеристикою, любезнѣйшій Михайло Петровичъ: только о Филаретѣ вы сказали мало; а объ Иннокентіи несоразмѣрно больше. Вотъ мое мнѣніе о первомъ. У Филарета преобладаетъ умъ, у Ин-

нокентія чувство. Слова Филарета можно раздѣлить на разныя эпохи. *Первыя* слова его (говоренныя въ Петербургѣ Архимандритомъ, и проч.) отличаются высотою и умомъ. *Вторыя* (къ Московской паствѣ) глубиною и мистицизмомъ, или проницаніемъ въ тайны духовнаго міра. *Третьи* (со времени холеры 1830 года) простотою изложенія христіанскихъ истинъ, и болѣе практическихъ. Наконецъ, поздравительныя и торжественныя его рѣчи— искусствомъ и тонкостію. Вотъ что я думаю о Филаретѣ. О Иннокентіи у васъ сказано: „языкъ только что развертывается".—Я понимаю что̀ вы хотѣли сказать; но не приняли бы это такъ, какъ будто вы говорите, что языкъ еще не сформировался" [141]).

XXIV.

Съ каждымъ годомъ Древлехранилище Погодина пріобрѣтало все болѣе и болѣе почетную извѣстность, а потому сокровища нашихъ Древностей стекались въ него со всѣхъ сторонъ. Въ 1847 году, счастливый обладатель Древлехранилища получаетъ изъ Вятки, отъ Ивана Никонова: *Камень Вѣры* Стефана Яворскаго съ автографическими подписями. Изъ Одоева, отъ Ивана Ѳедорова Тархова: два древнихъ серебряныхъ ларчика для сохраненія драгоцѣнностей; блюдцо съ древнѣйшимъ изображеніемъ внутри двуглаваго орла. Изъ Шуи, чрезъ Ѳедора Михайлова Тюрина: Новгородское поминаніе на харатейномъ сверткѣ, съ означеніемъ главныхъ Новгородскихъ сраженій; поминанье, вѣроятно, фамиліи Головиныхъ; наидревнѣйшее изъ изображеній крещенія съ человѣческимъ лицомъ на другой сторонѣ среди змѣй, какъ на Черниговской гривнѣ; рѣзной деревянный крестъ, очень древній, и еще древнѣйшій мѣдный. Изъ Жиздры, отъ Ѳедора Порфиріевича Стрѣлкова: нѣсколько вещей, отысканныхъ въ тамошнихъ курганахъ. Изъ Тобольска, отъ Ивана Порфиріевича Помазкина: Собраніе собственноручныхъ писемъ Сперанскаго къ другу его Петру Андреевичу Словцову. Изъ Свіяжска,

отъ архимандрита Мартирія: Списокъ о родѣ Авраамія Палицина. Московскій торговецъ, Василій Яковлевъ Лопухинъ, доставилъ Погодину современный списокъ Лѣтописи Авраамія Палицина, писанный уставомъ, но не полный. Изъ Вязникова, отъ Василія Ѳедорова Моржокова: Львовскій Часовникъ 1692 г.

Не безплодна была для Древлехранилища Погодина и его поѣздка въ Нижній вмѣстѣ съ графомъ А. С. Уваровымъ. „Ярмарка“, писалъ Погодинъ,— „посѣщенная мною въ пятый разъ, была нынѣ для меня не безъ добычи. Замѣчу, что на ярмарку пріѣзжаютъ много торговцевъ съ древностями—изъ Москвы, Ярославля, Тулы, Вятки, Петербурга, Владимира, къ которымъ присоединяются Нижегородскіе. Здѣсь можно достать рукописи, старопечатныя книги, монеты, вещи, старое серебро, образа и пр. Я пріобрѣлъ нынѣ: *Скорининскій Акаѳистникъ* у Нижегородскаго торговца Зубова, впрочемъ безъ начала и конца, 1525 (?) года. Я заплатилъ за него, вмѣстѣ съ Виленской азбучкой и шитымъ образомъ св. Николы, двѣсти руб. асс. Скорининскій Акаѳистникъ есть величайшая рѣдкость. Кеппенъ въ своемъ описаніи старопечатныхъ книгъ указалъ на единственный его экземпляръ въ Ландсгутѣ, у профессора Маннерта. У Добровскаго былъ отрывокъ. Есть отрывокъ у А. Д. Черткова. Я имѣлъ отрывокъ, не помню гдѣ и когда полученный мною,—чуть ли не отъ Ганки, въ первое мое путешествіе 1835 года. Этотъ отрывокъ вмѣстѣ съ купленнымъ мною теперь составляетъ почти полный экземпляръ, въ коемъ недостаетъ только начала, то-есть, Псалтири, и одного листика въ концѣ. (Вотъ съ какимъ трудомъ составляются полные экземпляры нѣкоторыхъ книгъ!) Кстати скажу здѣсь нѣсколько словъ о Скоринѣ и объ его трудахъ.

„Докторъ Скорина есть лицо важное въ исторіи нашего образованія по своимъ замышленіямъ. Довольно сказать, что въ XVI столѣтіи онъ *думалъ* о переводѣ Священнаго Писанія на живой простонародный языкъ, *перевелъ* его сполна и *напечаталъ*, большею частью въ Прагѣ. Жаль, что мы не имѣемъ рѣшительно никакихъ подробностей объ этомъ знаменитомъ

человѣкѣ: какъ могъ онъ привесть въ исполненiю свою мысль, какъ потомъ попалъ въ Прагу, какъ могъ напечатать свой великiй трудъ? Языкъ его (нарѣчiе Бѣлорусское) достоинъ полнаго изслѣдованiя, а у насъ *никто* къ нему не обращается. Далось всѣмъ Остромирово Евангелiе да Слово о полку Игоревѣ (безспорно—важные памятники, особенно первый), и написали о нихъ цѣлую библiотеку, а прочiе памятники остаются въ пренебреженiи. Скорининскаго собранiя всѣхъ книгъ нѣтъ, кажется, нигдѣ. Полнѣйшее въ Публичной Императорской Библiотекѣ, потомъ у покойнаго Кастерина, которое стоило ему больше двухъ тысячъ руб. асс. У Лобкова есть Книга Бытiя, за кою заплатилъ онъ недавно семьсотъ руб. асс. У меня есть книгъ десять мелкихъ. Цѣна за каждую книгу средняя до ста руб. асс. Въ моемъ собранiи есть *единственная* драгоцѣнность Скорининская: современный *списокъ* Пророковъ, о которыхъ и неизвѣстно было, чтобъ они были переведены, не только напечатаны. Когда изготовится мой каталогъ, тогда любители узнаютъ подробнѣе объ этой рукописи, прiобрѣтенной мною въ третье мое путешествiе, въ Галицiи.

„Но возвратимся къ покупкамъ. Виленская азбука, 1585 г., неизвѣстная библiографамъ. Виленскiй Часословецъ, въ одномъ переплетѣ съ азбукою 1592 г., неизвѣстный библiографамъ. Отъ А. Г. Головастикова прiобрѣлъ я за семьдесятъ р. Слободскую Псалтирь, царя Ивана Васильевича. Это уже третiй экземпляръ, мною прiобрѣтаемый: первые два очень ветхи, безъ послѣдняго, *главнаго*, листика, гдѣ значится имя *Слободы Александровской*. А въ новомъ листикъ этотъ довольно крѣпокъ. Изъ рукописей прiобрѣлъ я до двадцати-пяти отъ А. Г. Головастикова, четыре отъ Ѳ. В. Лопухина, восемь отъ Ефима Григорьева, шесть отъ В. Ѳ. Моржокова,—большею частiю неважныя, развѣ въ сборникахъ откроются какiя-нибудь новыя вещи. Отъ Г. Дребежжанова получилъ мѣдный складной крестъ, который считаю важнѣйшимъ въ моемъ собранiи, а у меня ихъ уже до тысячи. Онъ долженъ принадлежать къ первымъ вѣкамъ Христiанства въ Россiи.

Въ срединѣ изображенъ на одной сторонѣ Саваоѳъ съ распростертыми руками (а съ другой крестъ на престолѣ), по четыремъ концамъ Евангельскія животныя. Два серебряныхъ креста изящной работы. Мѣдныхъ образовъ, очень древнихъ, до двадцати-пяти. Шитый образъ Николая Чудотворца, лѣтъ триста. Двѣ пищали, весьма старыя, съ принадлежащими пулями. Нѣсколько запястьевъ, кои я считалъ прежде Норманскими по сходству съ видѣнными мною въ Копенгагенѣ, а чуть ли они не Татарскія, какъ я теперь думаю, судя по вновь пріобрѣтеннымъ. По крайней мѣрѣ витая гривна (обручъ) непремѣнно должна быть Норманская. Нѣсколько вещей вырытыхъ изъ земли—въ родѣ обручей серебряныхъ, но плоскихъ, не понимаю—для какого употребленія. Этой частію Археологіи у насъ никто еще не занимается, и мнѣ очень жаль, что я не могу посвятить ей нѣсколько времени; по крайней мѣрѣ я собралъ много вещей, и мой Музей, открытый для всѣхъ любителей, предлагаетъ богатое пособіе для этого изученія, кому то будетъ угодно. Нѣсколько старинныхъ горшковъ, ендовъ, братинъ. Попадался было мнѣ еще примѣчательный идольчикъ, кажется Финскій, но перехватилъ его у меня одинъ молодой горячій охотникъ, лишь только я, торгуя его у купца, оборотился къ другимъ вещамъ; разумѣется, онъ заплатилъ за него впятеро больше, чѣмъ далъ бы я“.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Погодинъ сообщаетъ, что „въ Москвѣ купилъ князь М. А. Оболенскій примѣчательный образъ, изваянный изъ камня, Божіей Матери; заплатилъ двѣсти руб. асс. купцу Родіонову. Графъ А. С. Уваровъ пріобрѣлъ за семьсотъ р. асс. отъ Т. Ѳ. Большакова прекрасный полтинникъ мѣдный, царя Алексѣя Михайловича, котораго извѣстенъ былъ по Шодуару одинъ экземпляръ въ Эрмитажѣ. Кажется, безъ сомнѣнія, что эта монета подлинная; по крайней мѣрѣ исторія перехожденія ея изъ руки въ руки теперь извѣстна, а то у насъ въ Москвѣ завелась-было ужасная фабрикація, которая однакожъ, благодаря ловкому удару одного охотника, вотъ уже года два посмолкла“.

Въ Древлехранилищѣ Погодина образовалось замѣчательное собраніе Словенскихъ Богослужебныхъ книгъ, печатанныхъ Сербами въ Венеціи, на Черной Горѣ и по монастырямъ въ южныхъ Турецкихъ областяхъ. Печатаніе ихъ началось еще въ XV столѣтіи. „Съ перваго своего путешествія, — въ 1835 году“, говоритъ Погодинъ въ своей статьѣ, — „я обратилъ вниманіе на эти изданія, важныя для насъ между прочимъ въ состязаніяхъ съ старообрядцами, и началъ искать ихъ. Въ Венеціи, колыбели ихъ, я не нашелъ и слѣдовъ, ни одинъ антикварій не могъ достать мнѣ ничего; нарочно ѣздилъ я на островъ Св. Лазаря, чтобъ поразспросить Мехитаристовъ, но также безъ пользы. Покойный Копитаръ, Шафарикъ, Ганка, Вукъ Караджичъ дорожили этими изданіями, какъ древнѣйшими печатными памятниками церковнаго языка, но обѣщались мнѣ хлопотать, и въ продолженіе десяти лѣтъ получилъ я отъ нихъ книгъ семь или восемь. Въ Россію книгъ этихъ попадало, видно, очень мало въ свое время, такъ что въ десять лѣтъ я могъ купить только двѣ: 1) Псалтирь, печ. въ монастырѣ Милешовѣ, 1554 года, отъ Ржевскаго своего коммиссіонера Мясникова, 2) Евангеліе Бѣлградское 1552 г., отъ Московскаго купца Пискарева. Продавцы не знали еще имъ цѣны, однакоже я заплатилъ все-таки безъ выходовъ за Псалтирь 150 руб., а за Евангеліе 100 руб. Въ доказательство ихъ рѣдкости у насъ довольно привести, что графъ Ѳ. А. Толстой въ продолженіе всей своей жизни не успѣлъ пріобрѣсти ни *одной книги*; графъ Н. П. Румянцевъ имѣлъ ихъ, кажется, не больше пяти; И. Н. Царской—три; А. И. Кастеринъ—также. Въ продолженіе второго и третьяго своего путешествія, я не думалъ о Сербскихъ драгоцѣнностяхъ, отчаясь достать что нибудь, послѣ Шафарика, Копитара и другихъ собирателей, которые живутъ на мѣстахъ, и, разумѣется, думалъ я, не упускаютъ ни одного случая пріобрѣсть, гдѣ что попадется. Притомъ я посѣщалъ тогда западныя Славянскія земли, гдѣ господствуетъ католичество. Я пропустилъ только одинъ случай, получивъ поздно

въ Москвѣ извѣстіе о продажѣ библіотеки послѣ извѣстнаго епископа Мушицкаго, въ Венгріи.

„Въ прошломъ году я пустился по Дунаю и заѣзжалъ въ Венгрію, Сирмію, на Военную границу, въ Сербію, осмотрѣлъ монастыри на Фрушкѣ Горѣ, главныя мѣста Сербскаго Православія, познакомился съ епископами, архимандритами, благочинными, началъ разспрашивать ихъ,—по всей дорогѣ отъ Праги до Галаца, и что же? Отъ того услышалъ я, что можно достать Скадарскую Псалтирь, отъ другого Венеціанскую Тріодь, отъ третьяго Бѣлградское Евангеліе. Я назначилъ цѣны, предложилъ мѣну, оставилъ денегъ, поручилъ пріобрѣтать — и досталъ такимъ образомъ въ собственныя руки десять книгъ и получилъ вѣрное обѣщаніе еще на нѣкоторыя, кои теперь въ три транспорта и пришли сюда послѣ многихъ однакожъ хлопотъ, заботъ и опасностей.

„За то я имѣю теперь:

1. Цѣтинскій Октоихъ (на Черной Горѣ), съ выходнымъ листомъ. Въ Россіи нѣтъ ни у кого. Въ Европѣ извѣстенъ только одинъ экземпляръ въ Крушедольскомъ монастырѣ, въ Сирміи.

2. Цѣтинскій Псалтирь 1495 года (на Черной Горѣ), съ выходнымъ листомъ. У меня былъ уже экземпляръ этой рѣдчайшей книги, считавшійся драгоцѣнностію (и полученный мною отъ Шафарика, который вымѣнялъ его отъ Ганки), но безъ выходнаго листа. Есть одинъ экземпляръ въ Публичной Петербургской Библіотекѣ.

3. Служебникъ, Венеція, 1519. Есть экземпляръ въ Библіотекѣ Академіи Россійской и у графа Н. П. Румянцева.

4. Псалтирь, Венеція, 1519 г. Нѣтъ ни у кого, даже не описанъ, ни у Кеппена, ни у Сахарова.

5. Октоихъ, Венеція, 1536.

6. Соборникъ, Венеція, 1538.

7. Псалтирь, Венеція, 1546.

8. Молитвословъ, Венеція, 1547.

9. Служебникъ, Венеція, 1554.

10. Служебникъ, Венеція, 1554, съ нѣкоторыми типографскими отмѣнами.

11. Молитвословъ, Венеція, 1560.

12. Тріодь Постная, Венеція, 1561.

13. Псалтирь, Венеція, 1561.

14. Часословецъ, Венеція, 1566.

15. Молитвенникъ, Венеція, 1570.

16. Молитвословъ, Венеція, 1597. Неизвѣстный даже Шафарику.

17. Молитвенникъ, Венеція, безъ означенія года.

18. Псалтирь, Венеція, 1638.

„Такимъ образомъ, изъ всѣхъ Венеціанскихъ изданій у меня недостаетъ только четырехъ: Служебника и Молитвослова 1527, Молитвослова 1538 и Псалтиря 1569. Не говорю о первомъ Часословцѣ 1493 года, котораго нѣтъ нигдѣ“.

Прочитавъ приведенную статью Погодина, Н. Д. Иванчинъ-Писаревъ писалъ къ нему: „Библіоманская статья о вашихъ пріобрѣтеніяхъ очень интересна. Я самъ фанатикъ по части гравированія отъ его начала и до нынѣшнихъ временъ. Эстампы, а еще болѣе достоинство ихъ экземпляровъ для меня до сихъ поръ важны. Совершенно понимаю ваше чувство самодовольствія, при увѣренности, что у васъ собраны теперь почти всѣ книги Словенскаго Богослуженія, чего ни у кого (по крайней мѣрѣ изъ партикулярныхъ) нѣтъ“.

Высокопреосвященный Иннокентій обогатилъ Древлехранилище Погодина драгоцѣнностью, приславъ ему изъ Харькова списокъ *Софійскаго Временника*. Подъ *9 марта 1847 года* Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Получилъ *Софійскій Временникъ*, и нашелъ тамъ Тверскую Лѣтопись. Сколько вещей я открылъ! Съ Бѣляевымъ о каталогѣ“. Само собою разумѣется, что открытіе Тверской Лѣтописи произвело сильное впечатлѣніе. „Отчего не присылаете вы мнѣ“, писалъ графъ А. С. Уваровъ изъ Петербурга Погодину,—„Тверскаго Лѣтописца? Видно, что магнатъ Дѣвичьяго поля позабылъ меня“. Одновременно съ открытіемъ Тверской Лѣтописи

Н. Д. Иванчинъ-Писаревъ пожертвовалъ въ Древлехранилище кинжалъ императора Карла V. Погодинъ поторопился подѣлиться своею радостью съ Шевыревымъ: „Спѣшу сообщить тебѣ мою археологическую радость: Тверской Лѣтописецъ. Это еще ничего, но вотъ Европейская драгоцѣнность: кинжалъ императора Карла V съ его именемъ, годомъ и короною, рѣзной отличной работы Среднихъ Вѣковъ". Но Шевыревъ не безъ ироніи отвѣчалъ Погодину: „Поздравляю съ находкою. Тверской Лѣтописецъ я считаю болѣе Европейскою находкою, чѣмъ кинжалъ Карла V. Извините, г. Западный".

Много лѣтъ Тверской Лѣтописецъ пролежалъ въ Древлехранилищѣ Погодина, какъ бы подъ спудомъ, и только въ 1851 году, П. М. Строевъ принялся за его разработку. Въ 1863 году этотъ драгоцѣнный источникъ нашей Исторіи напечатанъ Археографическою коммиссіею, подъ редакціей А. Ѳ. Бычкова.

Ко времени пріобрѣтенія Тверскаго Лѣтописца относятся хлопоты Погодина получить, черезъ посредство Н. П. Кирѣевской, отъ Е. Ѳ. Муравьевой бумаги ея мужа. „Порученіе ваше", писала Погодину Кирѣевская, отъ 17 марта 1847 г.,— „исполнила успѣшно. Въ среду во второмъ часу пополудни пожалуйте сами къ Катеринѣ Ѳеодоровнѣ Муравьевой, и получите всѣ бумаги покойнаго Михаила Никитича, которыми она чрезвычайно дорожитъ и желаетъ сохранить каждый листокъ, почему проситъ васъ *черезъ недѣлю* возвратить ихъ въ томъ же порядкѣ, въ которомъ получите".

Но попытка Погодина пріобрѣсти бумаги Михаила Никитича Муравьева не увѣнчалась желаемымъ успѣхомъ.

Князь П. И. Шаликовъ предлагалъ Погодину пріобрѣсти имѣющіяся у него письма Карамзина. По поводу этого предложенія между ними происходила такая оригинальная переписка: *Князь Шаликовъ*: Не купите ли, Михаилъ Петровичъ, писемъ Карамзина у князя Шаликова? *Погодинъ*: Желаю взглянуть прежде и возвращу немедленно чрезъ контору. *Шаликовъ*: Мнѣ кажется *взглядъ* здѣсь вовсе не нуженъ. Письма *Карамзина*,—и довольно".

Отъ сына М. Т. Каченовскаго Погодинъ пріобрѣтаетъ за пятьдесятъ рублей асс. собраніе журнальныхъ статей, по разнымъ отраслямъ наукъ, составленное покойнымъ его родителемъ [141]).

Слухъ о богатствѣ, собранномъ въ Древлехранилищѣ Погодина, манилъ въ Москву самого М. А. Максимовича. Его не остановили даже слѣдующія строки къ нему Погодина (22 января 1847): „Въ Москву въ эту минуту не зову тебя; такой разладъ, такое равнодушіе, глухота, что право, и грустно, и страшно. Поцѣлуютъ тебя, обнимутъ, пригласятъ на обѣдъ, вечеръ — и только! Наши богачи... ну, да Богъ съ ними!" [142]). Максимовичъ отвѣчалъ своему другу: „... Ты такую картину Москвы мнѣ представилъ, что я долженъ испугаться ее, какъ Богорисъ и Владиміръ — картины Страшнаго Суда. Впрочемъ, какъ не безладна Бѣлокаменная, а все не то, что Богоспасаемый; и я очень охотно пожилъ бы въ ней еще годикъ — другой, да поработалъ бы, пользуясь богатствами твоей библіотеки. Сколько вижу и слышу объ ней — у тебя, братъ, чудеса тамъ. Радъ или не радъ будешь мнѣ, а я пріѣду таки къ тебѣ, и покопаюсь малую-толику; а чтобъ охотнѣе было нюхать эту ароматическую мертвечину, пригласи меня къ себѣ въ гости — на это словесное кладбище, — на которомъ подчасъ поминку учинимъ и по нашемъ быломъ. Да, тебѣ должно звать меня къ себѣ, за то именно, что въ послѣднемъ письмѣ ты отворачиваешь меня отъ Москвы. Вѣдь вотъ и Языкова нѣтъ (Царство Небесное ему), и ты вдовецъ; нѣтъ Павлова, Дядьковскаго..., и многихъ не станетъ, можетъ, съ кѣмъ хотѣлось бы повидаться еще и поговорить въ сласть, если я съ году на годъ буду откладывать ѣздою въ Москву. Да и самъ-то заплѣсневѣю здѣсь и потрачусь въ дѣйствіи пустомъ... Летитъ время часами, аки птица крылами! — Пора-пора ужъ мнѣ освѣжиться и прохладиться на вашемъ сѣверѣ, въ Москвѣ и Питерѣ; пора повидаться и наговориться съ вами..., а потому съ первою или второю почтою, я прошу тебя, любезный друже, извѣстить меня: гдѣ ты будешь udесновать и лѣтовать въ этомъ

году? Авось хоть въ этомъ году доберусь до васъ, старые други-товарищи; тогда мы натолкуемся съ тобою и объ Варягахъ, и объ Словесности, и объ Словенахъ... А между тѣмъ отъ души желаю тебѣ вдохновенія на Исторію, терпѣнія на *Москвитянина*, благополучія во всѣхъ твоихъ предпріятіяхъ" [143]).

Это задушевное письмо запало въ сердце Погодина, и онъ писалъ своему искреннему другу; „Милости просимъ, милости просимъ, любезный товарищъ! Мои ворота были всегда для всѣхъ отворены, а для тебя, разумѣется, всегда настежъ! Лѣто я думаю оставаться въ Москвѣ, развѣ поѣду на недѣльку къ А. П. Ермолову..., но тогда ты остался бы хозяйничать... Картина Москвы... что касается до ученаго начальства. А впрочемъ она прекрасна по прежнему, и добрыхъ людей на всякое доброе дѣло найдется... Здѣсь было торжество юбилея Фишера—торжественнѣе Линнея или Барцеліуса. Вотъ каковы Нѣмцы, а мы чего дождались? Только пряжки".

XXV.

Пріобрѣтеніе Древностей истощало однако денежныя средства Погодина. „Я нахожусь теперь", писалъ онъ М. А. Максимовичу,—„въ самомъ затруднительномъ положеніи. Все свое, что̀ было, есть и отчасти будетъ, я положилъ въ свои собранія. Онѣ, конечно, неоцѣненны, да кто скажетъ о нихъ слово Царю! Когда онѣ пристроятся къ мѣсту, разумѣется, въ Москвѣ, тогда я буду богатъ... Помолись" [144]).

Подъ *3 марта 1847 года* Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Купилъ на послѣднія деньги много рукописей". Это книжное любостяжаніе принудило наконецъ Погодина сдѣлать денежный заемъ. Онъ обратился къ Н. Ф. Павлову съ слѣдующимъ письмомъ: „Вы купили картины, а я купилъ шерсть; вы—на семьдесятъ пять тысячъ, а я на пятьдесятъ. Вамъ нужно призанять, и у меня недостаетъ. У кого теперь найти денегъ, истинно не знаю. Есть у Свербеева; можетъ быть, онъ вамъ и дастъ. Еще есть у меня знакомая барыня, кото-

рая, думаю, ссудила бы васъ, да лежитъ больная. Впрочемъ, если ей будетъ лучше, я вамъ скажу, черезъ кого къ ней отнестись. Бартенева я видѣлъ на дняхъ, но неловко было заговорить. Надо рѣчь завести какъ-нибудь, за рюмкой вина. Да что же вы были ли тамъ, гдѣ слѣдуетъ? Вѣдь странно вступать въ переговоры, когда вы и не показываетесь. Поѣзжайте непремѣнно, да побывайте и у Бартенева. Ей-ей, вы пречудакъ!" Для поправки своихъ денежныхъ дѣлъ Погодинъ пожелалъ сбыть часть изъ своего нумизматическаго собранія. Съ этою цѣлью онъ обратился съ предложеніемъ къ графу С. Г. Строганову, но получилъ отъ него отрицательный отвѣтъ. „Честь имѣю вамъ сообщить", писалъ графъ,—„что, не занимаясь теперь этимъ родомъ монетъ, я не намѣренъ пріобрѣсти предложеннаго собранія. Мнѣ помнится, что оно было у меня нѣсколько лѣтъ тому назадъ, и что я вамъ даже передалъ мнѣніе мое о его достоинствѣ".

Съ имѣющимися въ Древлехранилищѣ восточными монетами Погодинъ обратился къ В. В. Григорьеву и просилъ его о сбытѣ ихъ, но и здѣсь успѣха не имѣлъ. „Бартоломея я не видалъ еще", писалъ ему Григорьевъ, — „и не могъ передать ему вашего предложенія; но такъ, отъ себя замѣчу, что вы ужасный жидъ: можно ли чортъ знаетъ чего хотѣть за дрянныя монеты; дрянныя, говорю я потому, что въ нихъ нѣтъ ничего особеннаго, и если Бартоломею хочется имѣть ихъ, такъ единственно потому, что у него коллекція такихъ монетъ, а не вамъ объяснять, что̀ значитъ желаніе пополнять коллекцію: вы сами страдаете тою же болѣзнію".

Наконецъ Погодинъ обращается съ своими монетами къ А. А. Кунику, который на первыхъ порахъ не могъ понять въ чемъ дѣло. „Два пакета съ монетами", писалъ онъ Погодину, отъ 14 апрѣля 1847 года,—„я получилъ, но что мнѣ съ ними дѣлать—я не знаю, такъ какъ самъ я не нашелъ отъ васъ никакого письма; а изъ письма къ Зенкову не могу понять, чего вы собственно отъ меня требуете. Вы пишете о какомъ-то г. *Келе*, такого я не знаю; можетъ быть, вы разумѣете Кене?

Но у васъ совершенно ясно написано Келе. Нужно ли намъ ихъ оцѣнить? Объ этомъ ничего нѣтъ въ письмѣ къ Зенкову; говорится только о томъ, чтобы разобрать. Но *что* вы хотите знать и *сколько*? Съ Кене я не въ ладахъ, у него скверный характеръ; впрочемъ посмотримъ. Пока я тщательно храню монеты".

Въ концѣ концовъ, когда дѣло выяснилось, А. А. Куникъ принялъ всѣ мѣры къ оцѣнкѣ монетъ Погодина. „Монеты ваши", писалъ онъ ему, — „Кёне оцѣнивалъ въ моей комнатѣ: я не рѣшался выпустить ихъ изъ моихъ рукъ. Будете ли вы довольны оцѣнкой — я не знаю. Каждый пакетикъ оцѣнивался отдѣльно и преднамѣренно—*минимально* для того, чтобы вы, смотря по обстоятельствамъ, могли повысить цѣну каждаго отдѣльнаго пакетика. Я полагаю, Кене правъ, находя въ вашемъ собраніи мало рѣдкихъ монетъ, онъ утверждаетъ, не знаю — на сколько справедливо, что настоящіе *знатоки монетъ* дадутъ немного дороже его оцѣнки. Онъ предложилъ свои услуги продать нѣкоторыя монеты; я объяснилъ ему, что на это не имѣю отъ васъ никакого полномочія".

Предугадывая, что Погодинъ останется недоволенъ оцѣнкою его монетъ, сдѣланною Кене, А. А. Куникъ откровенно ему писалъ: „Думаю, что вы цѣните слишкомъ высоко это маленькое собраніе, которое, по видимому, составлено безъ всякой системы и за которое вы платили слишкомъ дорого, если мнѣ не измѣняетъ память. Здѣсь, въ Петербургѣ, вы врядъ ли получите за него желаемую сумму. Здѣшніе нумизматы съ удовольствіемъ выберутъ изъ собранія все лучшее, и ваша коллекція утратитъ всякую цѣну, если вы пожелаете продать отдѣльные ея экземпляры. Кене предлагаетъ для этого свои услуги, но я долженъ предостеречь васъ относительно Кене и Рейхеля — не потому, чтобы у меня было доказательство ихъ неблагонадежности, но единственно потому, что это воплощенные нумизматы, которые, будучи таковыми, уже нюхомъ чуютъ достоинство вашей коллекціи. Было бы всего лучше, еслибъ у васъ былъ каталогъ, тогда была бы возможность указать,

какіе отдѣльные экземпляры имѣютъ особую цѣнность. Но это конечно невозможно. Если вы пожелаете продать здѣсь отдѣльные экземпляры, то я охотно приму на себя попеченіе о томъ".

Въ то самое время, когда Погодинъ хлопоталъ о продажѣ своего нумизматическаго собранія, онъ получилъ изъ Кіева, отъ Н. А. Ригельмана, слѣдующія строки: „Въ недавнемъ времени имѣлъ я удовольствіе получить письмо ваше, въ которомъ вы между прочимъ спрашиваете о монетахъ, оставленныхъ у васъ моимъ отцомъ. Такъ какъ вы желаете расплатиться за нихъ, то батюшка Аркадій Александровичъ проситъ васъ выслать ему въ Черниговъ *Москвитянина* за текущій годъ, такъ какъ цѣнность монетъ по вѣсу серебра почти равняется подписной цѣнѣ—чѣмъ вы его очень обяжете".

Не смотря на денежныя затрудненія, страсть къ пріобрѣтеніямъ все болѣе и болѣе овладѣвала Погодинымъ. А тутъ какъ нарочно Сахаровъ увѣдомляетъ его о желаніи извѣстнаго собирателя Кузьмина продать свое собраніе рукописей. „У него", писалъ Сахаровъ Погодину,—„ихъ ста три набралось. Въ розницу онъ не продаетъ, а купи *партіями*... За всѣ рукописи онъ проситъ тысячу пятьсотъ рублей серебромъ..."

Въ то же время Погодина не оставляла мысль пріобрѣсти бумаги покойнаго профессора Даниловича. Для достиженія своей цѣли онъ дѣйствовалъ чрезъ Н. А. Ригельмана, который о судьбѣ, постигшей бумаги Даниловича, сообщилъ Погодину слѣдующее: „До вдовы Даниловича насилу добрался, никто не зналъ, гдѣ она обрѣтается; но, увы, кажется, поздно. Всѣ рукописи, по ея словамъ, куплены частію графомъ Свѣдзинскимъ, однимъ здѣшнимъ любителемъ старины, съ сильною Польскою закваской, который держитъ свои сокровища подъ спудомъ, особенно то, что говоритъ не въ пользу Поляковъ, и имѣетъ складочные магазины здѣсь, въ Варшавѣ и въ Познанѣ;—частію же куплены графомъ Тышкевичемъ. Книги также распроданы разнымъ лицамъ. Впрочемъ, если что окажется по дальнѣйшему моему изслѣдованію, то не премину васъ увѣдо-

мить. Одно только предположеніе — что г-жа Даниловичъ, увидѣвши Русскаго, притаилась изъ Польскаго патріотизма, и не хотѣла предать ему въ жертву матеріаловъ, драгоцѣнныхъ для ея соотечественниковъ. Впрочемъ она открыла мнѣ, что можетъ еще располагать дѣйствительно дорогою вещью: это лекціи или сочиненіе ея мужа о Правѣ Литовско-Польскомъ. Имѣя понятіе о свѣдѣніяхъ, которыми обладалъ покойникъ, нельзя сомнѣваться, что это замѣчательное сочиненіе. Оно состоитъ изъ множества тетрадей, въ нѣсколькихъ стахъ листахъ". Въ другомъ же письмѣ Ригельмана читаемъ: „О бумагахъ Даниловича ничего нельзя узнать положительнаго, и слѣдъ имъ совершенно потерянъ; во всякомъ случаѣ, онѣ вѣроятно попали въ такія патріотическія руки, откуда ихъ никакими способами достать нельзя. Очевидно, что сочиненіе о Правѣ Литовско-Русскомъ, которое я видѣлъ, не есть собраніе грамотъ, которое вы упоминаете. Кажется, ихъ пріобрѣли два большіе любители Польской старины; и если мы ихъ не увидимъ, то можемъ утѣшиться тѣмъ, что онѣ будутъ сбережены для потомства".

Такимъ образомъ, мысль о пріобрѣтеніи бумагъ Даниловича, Погодинъ долженъ былъ оставить навсегда. Но въ то же время онъ былъ утѣшенъ приношеніемъ въ Древлехранилище, сдѣланнымъ въ то время его другомъ А. В. Веневитиновымъ. „Пользуюсь отъѣздомъ Николая Леонтьевича Гурко", писалъ онъ,— „чтобы поклониться тебѣ, любезный другъ Погодинъ, тремя старинными образами, вырытыми на Куликовомъ полѣ. Если они достойны войти въ твою превосходную коллекцію, то пріими благосклонно мою лепту и благослови ими нашу старую дружбу... О моемъ житьѣ-бытьѣ и о прочемъ ты вѣрно знаешь чрезъ пріѣзжихъ отселѣ, и слѣдовательно лишне бы распространяться объ этомъ.—О тебѣ же я мало знаю, потому что ты зарытъ едва ли не на Куликовомъ полѣ, и на вопросъ о тебѣ отвѣчаютъ: слыхали о немъ, но не видали. Если лѣнь тебя не преодолѣетъ, то скажи мнѣ хоть что-нибудь о себѣ, о моемъ крестникѣ, о твоихъ занятіяхъ, и о томъ,

что вообще у васъ дѣлается близъ Дѣвичьяго монастыря. Скоро ли выдетъ продолженіе Исторіи Русской Словесности Шевырева? Вы вообще думаете умно, а дѣйствуете лѣниво. Спасибо хоть и за то. Оно все-таки лучше, *чѣмъ дѣйствовать скоро, а думать глупо.* А этимъ мы здѣсь можемъ похвалиться [145])".

Въ 1847 году сошли въ могилу Корнилій Яковлевичъ Тромонинъ и Александръ Ивановичъ Кастеринъ, люди близкіе Погодину по его Древлехранилищу. Первый скончался 4 февраля. Въ *Дневникѣ* Погодина (подъ 5 февраля 1847 года) записано: „Умеръ Тромонинъ. Къ нему, и такъ перемѣнился, что узнать нельзя. Въ два года! Написалъ записку для собранія пожертвованій. Строгановъ подписалъ десять р. с., Чертковъ семь, Оболенскій пять. Каковы богачи! Скучно, грустно, или лучше тяжко". Шевыревъ почтилъ память почтеннаго труженика слѣдующимъ сочувственнымъ словомъ: „4 февраля 1847 года скончался въ Москвѣ нашъ безкорыстный художникъ и литографъ, К. Я. Тромонинъ, столько любившій Русскую Древность, столь усердно посвящавшій себя ея изученію и изданію ея памятниковъ. Не на что было похоронить умершаго. Немногіе цѣнители его памяти сошлись около его гроба. Гостепріимный и радушный архимандритъ Новоспасской обители Аполлосъ предложилъ безмездную могилу праху честнаго труженика и добраго человѣка" [146]).

Отпѣваніе и погребеніе въ Новоспасскомъ монастырѣ происходило 7 февраля. Въ числѣ „немногихъ" присутствовалъ на ономъ и Погодинъ. По возвращеніи домой онъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „На отпѣваніи Тромонина. Все порядочно. Женскій крикъ. Подлецъ Лобковъ ни копѣйки не далъ. Монахи противные".

Вслѣдъ за Тромонинымъ сошелъ въ могилу и Кастеринъ. Еще въ маѣ 1847 года онъ писалъ Погодину: „Радуюсь свѣтлой вашей мысли снарядить экспедицію для поиска алмазовъ, въ родѣ Черногорскаго Октоиха 1493 года. У меня есть Евангеліе, такъ и кажется Грозновскимъ? Не схоже со всѣми извѣстными. Не знаю не схоже ли съ вашей Псалтырью. А

куда дѣвались литеры, о томъ, полагаю, обратиться къ вашимъ Московскимъ ясновидящимъ: одна надежда на ихъ и на пиѳію Охотнаго ряда? А нашихъ Питерскихъ спрашивалъ, и жегъ фиміамъ понапрасну. Сумѣли найтить Часовникъ Грозновскій, найдите и Евангеліе; на васъ наша надежда. Сахаровъ, по довѣренности Ескулапа, завелъ большую корреспонденцію съ Плутономъ, не успѣваетъ снабжать свидѣтельствами отправляющихся въ царство его степенности—и продолжаетъ, кажется, печатать общій каталогъ".

По просьбѣ Погодина Сахаровъ, въ письмѣ къ нему, сообщилъ о покойномъ Кастеринѣ слѣдующія біографическія свѣдѣнія: „Родился онъ въ 1806 году, въ Пошехонскомъ уѣздѣ, Ярославской губерніи. Отецъ его тогда былъ еще господскимъ крестьяниномъ. Съ отцомъ переселился въ Москву послѣ 1812 года. Прежде собиралъ онъ голубей, потомъ началъ сбирать для сада цвѣты. Въ это время познакомился онъ съ садоводомъ, купцомъ Зубчаниновымъ, извѣстнымъ писателемъ. Этотъ пріучилъ его читать книги—повѣсти и романы. Брошены были голуби и цвѣты, и груды книгъ всякой всячины полетѣли изъ лавки Исаева. Кто-то внушилъ ему сбирать мистическія книги: онъ сбиралъ и ихъ. Это было въ разгаръ Смирдинской торговли: здѣсь онъ сблизился съ книгопродавцами. Долго глядѣлъ онъ на нихъ—и потомъ началъ съ ними уже книжныя дѣла. Кладовыя Смирдина, давно заложенныя, поступили наконецъ въ его руки; онъ ихъ въ одинъ годъ пустилъ по міру чрезъ руки толкучаго рынка. Тутъ онъ своими оборотами создалъ десятки рыночныхъ книгопродавцевъ. Старинаромъ онъ сдѣлался послѣ 1839 года. Одинъ собиратель уступилъ ему всю коллекцію печатныхъ и рукописныхъ книгъ. Съ Кастеринымъ я познакомился въ 1837 году. Тогда не было помина собиранія книгъ. Сближеніе его съ Полевымъ произвело изданіе книгъ. Онъ издалъ изъ его книгъ: 1) *Чрезполосныя владѣнія*, комедію; 2) *Уголино;* 3) *Очерки Русской Литературы*. За все были даны Полевому деньги впередъ. Изъ моихъ книгъ онъ издалъ только

Пѣсни и тотчасъ вымѣнилъ на старопечатныя книги съ Ширяевымъ. Тутъ ему за *Пѣсни* достались: Апостолъ Скорины, Слободская Псалтирь, Виленская Псалтирь и Статутъ Литовской. Не помню хорошо, только знаю, что онъ издалъ на свой счетъ чьи-то три водевильныя книги. Романы, повѣсти и мистику онъ давно согналъ со двора. Остался при однѣхъ старопечатныхъ книгахъ, которыхъ онъ собралъ до тысячи книгъ, съ 1491 до 1800 г. Приступили къ печатанію каталога. Описано было первыхъ сто книгъ. Набрано было два листа, и все дѣло остановилось въ корректурѣ. Чистыхъ оттисковъ не было. То ждалъ новыхъ книгъ, то сбирался самъ побывать въ Москву. Смерть только не дожидалась. Заболѣлъ онъ послѣ купанья, съ 16 іюля. Десять дней скрывалъ свою болѣзнь—ходилъ и дѣлалъ все житейское. Наконецъ, болѣзнь одолѣла: открылось воспаленіе—*воспаленіе въ желудкѣ и кишкахъ, окончившееся антоновымъ огнемъ*. Онъ померъ 1 августа въ 9 часу утра. Послѣдніе четыре часа былъ уже безъ памяти. Въ 2 часа утра я навѣстилъ его: онъ былъ уже въ смертныхъ мукахъ. Тутъ я предложилъ отцу исповѣдать его. Его исповѣдали и пріобщили. Схороненъ на Смоленскомъ кладбищѣ 3 августа. Наслѣдники сбираются продавать его собраніе старопечатныхъ книгъ, кому достанется—невѣдомо. Онъ сбирался открыть свою книжную лавку. Готовилъ старшаго сына къ этому дѣлу. Но этотъ утонулъ въ августѣ 1846 года. Онъ началъ пріучать второго сына къ книжной торговлѣ. Послѣ него осталось два сына и дочь. Отецъ женилъ его осьмнадцати лѣтъ. Къ чести Кастерина должно отнести готовность на все доброе: онъ имѣлъ доброе сердце. Я зналъ, что онъ многимъ скрытно помогалъ изъ своей братіи. Въ торговлѣ былъ живъ, скоръ и дѣятеленъ. Своею братіею онъ управлялъ, и всѣ его слушались. Отъ слова никогда не отступался—что было очень важно въ торговлѣ. Дальновидность въ дѣлахъ была изумительна: года за два начиналъ сводить свои дѣла. Неудачи онъ не зналъ. Ему все везло: счастливъ былъ во всемъ. Только смерть старшаго сына омрачила его. Съ тѣхъ поръ онъ за-

скорбѣлъ и загрустилъ. Временами онъ началъ чувствовать въ правомъ боку боль. По Русской привычкѣ онъ считалъ это ни во что, въ надеждѣ на свое крѣпкое здоровье".

По временамъ Погодину приходило на мысль продать свое Древлехранилище. Въ этомъ поддерживалъ его и И. И. Давыдовъ. 25 февраля 1847 года онъ писалъ ему: „О драгоцѣнныхъ собраніяхъ вашихъ бесѣдовалъ съ графомъ С. С. Уваровымъ. Я думалъ объ этомъ, сказалъ онъ, а можетъ быть, они будутъ пристроены; но не надобно слишкомъ дорожиться. Вы сообразите издержки свои и пожертвованія, и отпишите ко мнѣ, какую назначаете цѣну за коллекцію рѣдкихъ вещей старинныхъ и за рукописи съ книгами старопечатными особо". Давыдовъ даже совѣтовалъ Погодину уступить свои коллекціи, если дадутъ, за сумму отъ пятидесяти до семидесяти пяти тысячъ. „Я прошу васъ", писалъ онъ,—„за дѣтей вашихъ, объ этомъ, не упускайте времени. Кто знаетъ, что съ нами будетъ завтра?" Думая произвести впечатлѣніе, Погодинъ писалъ Давыдову, что онъ намѣренъ свое Древлехранилище продать частнымъ лицамъ, но это не произвело желаннаго дѣйствія. Давыдовъ спокойно писалъ ему: „Недавно графъ Сергій Семеновичъ спрашивалъ о вашихъ коллекціяхъ и старопечатныхъ книгахъ, рукописяхъ. На вопросъ его я отвѣчалъ, что у васъ покупаютъ все драгоцѣнное собраніе — и сказалъ цѣну, о которой вы писали. Что жъ онъ не отдаетъ за эту цѣну, былъ его отвѣтъ. И я прибавлю: отдавайте, а сами переѣзжайте сюда. Ни который пророкъ въ отечествѣ своемъ, говоритъ Св. Писаніе". Вѣроятно, по просьбѣ Погодина, Давыдовъ однажды прямо завелъ рѣчь съ Уваровымъ о покупкѣ Древлехранилища въ казну и о назначеніи Погодину жалованья изъ Академіи. Но Уваровъ, по обычаю, далъ уклончивый отвѣтъ. „Высокой цѣнѣ собраній", писалъ Давыдовъ, — „онъ удивляется, а о второмъ дѣлѣ сказалъ: увидимъ— это требуетъ соображенія. Тутъ надобно соблюсти порядокъ и дождаться князя Дондукова-Корсакова". Не смотря на видимо уклончивыя дѣйствія Министра, Давыдовъ продолжалъ

настаивать на томъ же. „По моему мнѣнію", писалъ онъ Погодину,— „прежде всего вамъ надобно продать собранія ваши, потомъ пріѣхать къ намъ и стараться о знакомствѣ съ Академіей: даже можно здѣсь остаться на нѣсколько времени, а можетъ быть, и навсегда. Петербургъ лучше оцѣниваетъ людей, нежели Москва, потому что люди здѣсь нужнѣе. Вы можете здѣсь употребить въ пользу и пристроить ваши книги. На пятилѣтнее вступленіе въ Университетъ нѣтъ моего благословенія: *не пришиваютъ бо мѣхи ветси къ ризѣ новой*. Съ кѣмъ вы будете стоять въ рядахъ школьныхъ.

Въ другомъ письмѣ Давыдовъ писалъ Погодину: „Вамъ въ Академію поступленіе съ жалованьемъ законное и справедливое. Объ Университетѣ не должно и думать съ вашимъ здоровьемъ, а имѣйте въ виду Академію: это вашъ Капитолій. Delenda est Carthago — vendendae sunt collectiones. Продавайте ваши коллекціи—и переѣзжайте на берега Невы. Кажется, здѣсь Москвичами болѣе дорожатъ, нежели въ Москвѣ: *николиже пророкъ въ отечествѣ* своемъ. Здѣсь удобнѣе воспитаніе и пристроеніе дѣтей. Не продавайте только пристанища своего: рано или поздно надобно возвратиться въ Москву".

Но, не смотря даже на участіе, принятое высокопреосвященнымъ Иннокентіемъ въ устройствѣ дѣлъ Погодина, ему въ то время не удалось ни продать своего Древлехранилища, ни самому вступить на службу.

Между тѣмъ А. А. Куникъ, напуганный извѣстіемъ объ уничтоженіи всѣхъ Исландскихъ рукописей пожаромъ въ Копенгагенѣ, 2 января 1848 года, писалъ Погодину: „Подумайте о вашемъ деревянномъ домѣ!" Онъ же настаивалъ на продажѣ Древлехранилища именно въ казну. „Свое рукописное собраніе", писалъ А. А. Куникъ Погодину,— „вы должны продать казнѣ, а не въ частныя руки. Императоръ въ концѣконцовъ заплатилъ бы. Впослѣдствіи вамъ же поставятъ въ вину, что вы допустили такое драгоцѣнное собраніе снова (попасть) въ частныя руки" [147]).

XXVI.

Вслѣдъ за выходомъ Погодина въ отставку его ученики, одинъ за другимъ, стали получать каѳедры Московскаго университета. Въ 1845 году каѳедру Философіи занялъ Михаилъ Никифоровичъ Катковъ. Вступивъ на эту каѳедру, онъ писалъ А. Н. Попову: „Новое положеніе мое меня очень взволновало... Все смутно и тревожно. Дѣло застигло меня такъ внезапно, а дѣло—вы знаете, какое трудное дѣло! Сколько условій я долженъ былъ имѣть въ виду: и наука, согласно съ моими собственными, внутренними требованіями, наука, притомъ не имѣющая предметнаго содержанія, а потому необязательная для непривычныхъ, какими я долженъ былъ, и не ошибся, считать моихъ слушателей, наука, перешедшая столько системъ и головъ, и доселѣ столь спорная; и слушатели, которымъ нужно было многое разжевывать, многое обрѣзывать, соображаясь съ ихъ понятіями; и наконецъ зловѣщія рожи, которыя, какъ филины, смотрѣли на меня со всѣхъ угловъ профессорской. И хоть, конечно, съ ними нечего было соображаться, и на содержаніе и ходъ моихъ лекцій они не могли имѣть вліянія, но на меня, — признаюсь вамъ, грѣха таить нечего,—имѣло вліяніе при моемъ глупо-раздражительномъ и нервномъ характерѣ. Хоть я никому изъ нихъ не показывалъ ни малѣйшаго вида того, но тѣмъ паче тревожился внутри. Отъ такого дѣла, каково мое, нельзя, безъ сомнѣнія, ожидать скорыхъ плодовъ. Къ тому же самой прочности этихъ плодовъ могла бы повредить излишняя торопливость и заботливость о минутномъ успѣхѣ. Однако я не могу пожаловаться на невнимательность: особенно въ юридическомъ факультетѣ замѣтилъ я интересъ къ дѣлу; въ аудиторію мою сходились слушатели другихъ факультетовъ и курсовъ. Но лекціи мои, особенно первыя, перевирались въ запискахъ студентовъ такъ безбожно, что я приходилъ въ отчаяніе“ [148]).

Въ послѣдніе дни попечительства графа С. Г. Строганова возвратились въ Москву, изъ чужихъ краевъ, П. М. Леонтьевъ и П. Н. Кудрявцевъ, и оба вступили на каѳедры Московскаго Университета.

Павелъ Михайловичъ Леонтьевъ происходилъ изъ дворянъ Тульской губерніи. Онъ родился въ городѣ Тулѣ, 18 августа 1822 года. По собственному его свидѣтельству, „первую молодость провелъ въ деревнѣ Епифанскаго уѣзда, Тульской губерніи, въ домѣ родителей, употреблявшихъ всѣ средства своего весьма небольшого состоянія для хорошаго воспитанія дѣтей. Съ ранняго возраста онъ привыкъ видѣть постоянныя занятія людей, окружавшихъ его: отца, любившаго чтеніе и хозяйство, мать, приготовлявшую лѣкарства для окрестныхъ простолюдиновъ, со всѣхъ сторонъ стекавшихся къ ней за пособіями домашней медицины, и употреблявшую досугъ съ особенною охотою на рукодѣлья, трудныя и изысканныя. Ею былъ, напримѣръ, сдѣланъ чепецъ изъ паутины, обращавшій на себя вниманіе въ собраніи П. П. Свиньина. Любознательное уваженіе къ книгамъ получилъ Леонтьевъ вмѣстѣ съ первыми впечатлѣніями младенчества; дома было книгъ много и еще болѣе у прапрадѣда его по матери, Андрея Тимоѳеевича Болотова, къ которому каждый годъ его возили родители до смерти почтеннаго старца въ 1832 году...“ По окончаніи курса въ Дворянскомъ Институтѣ, лѣтомъ 1837 года, Леонтьевъ поступилъ въ Московскій Университетъ. „Собственное желаніе вело его въ математическій факультетъ; но графъ С. Г. Строгановъ, постоянно слѣдившій за успѣвающими не только въ Университетѣ, но и въ гимназіяхъ, совѣтовалъ ему избрать филологическій факультетъ и на томъ же настаивалъ профессоръ Д. Л. Крюковъ. Будучи студентомъ, Леонтьевъ занимался преимущественно подъ его руководствомъ. Въ 1841 году, по окончаніи университетскаго курса, Леонтьевъ былъ опредѣленъ графомъ Строгановымъ въ должность помощника университетскаго библіотекаря, а въ 1843 году былъ отправленъ за границу, гдѣ слушалъ лекціи въ Кёнигсберг-

скомъ, Лейпцигскомъ, Берлинскомъ и другихъ университетахъ и посѣтилъ замѣчательнѣйшіе города Италіи [149]).

Вернувшись, лѣтомъ 1847 года, въ Москву, Леонтьевъ былъ опредѣленъ исправляющимъ должность адъюнкта по каѳедрѣ Римской Словесности и Древностей въ Московскомъ Университетѣ и, такимъ образомъ, сталъ преемникомъ своего любимаго наставника Д. Л. Крюкова. Преподаваніе свое Леонтьевъ началъ вступительнымъ чтеніемъ: *О классицизмѣ, Европеизмѣ и народности*. „Я приступаю", сказалъ Леонтьевъ,— „къ преподаванію вмѣстѣ съ чувствомъ радости и съ чувствомъ печали... Съ чувствомъ печали, потому что не нахожу болѣе на этой каѳедрѣ того незабвеннаго профессора, который еще недавно съ такимъ успѣхомъ и въ столь изящныхъ формахъ преподавалъ здѣсь тѣ же самые предметы, которыми теперь я, его ученикъ, буду занимать моихъ гг. слушателей. Память Дмитрія Львовича Крюкова еще свѣжа въ Университетѣ..." Говоря о полезности Классической Древности въ педагогическомъ отношеніи, Леонтьевъ дѣлаетъ слѣдующее важное замѣчаніе: „Древніе были не только что даровиты; они писали не спѣша, а потому имѣли время художнически отдѣлывать каждую фразу; они писали только по собственному побужденію, а не по заказу. Поэтому ихъ произведенія отличаются вмѣстѣ и изящностью, и дѣльностью. Къ тому присоединяется, что во многихъ изъ нихъ мысль и знаніе представляются намъ въ юношеской свѣжести ихъ перваго явленія, а это ихъ дѣлаетъ въ педагогическомъ отношеніи просто безцѣнными. Въ школѣ ничто такъ не вредно, какъ кажущаяся многосторонность. Кого въ первой юности учили наравнѣ по Латыни и по Французски, по Нѣмецки и по Гречески, тотъ непремѣнно будетъ нѣчто въ родѣ того юноши, о которомъ говоритъ Теренцій:

Quod plerique omnes faciunt adolescentuli,
Ut animum ad aliquod studium adjungant, aut equos,
Alere, aut canes ad venandum, aut ad philosophos,

Horum ille nihil egregie praeter caetera
Studebat, et tamen omnia haud mediocriter *).

„Платонъ поставляетъ въ своемъ идеальномъ государствѣ правиломъ, что каждый дѣлаетъ что-либо одно, ἕκαστος ἓν πράττει. Онъ говоритъ также, что незнаніе не есть величайшее зло, что гораздо вреднѣе многознаніе и многоученіе при дурномъ руководствѣ. Къ этимъ словамъ великаго древняго философа я присоединяю то, что сказалъ великій филологъ Готфридъ Германъ: Сохрани неприкосновеннымъ твой Палладій Греческихъ и Латинскихъ музъ, которыя образуютъ языкъ, острятъ мышленіе, пробуждаютъ умъ, укрѣпляютъ душу, украшаютъ всю жизнь... Далѣе онъ проситъ охранить себя отъ той болѣзни времени, которая состоитъ въ знакомствѣ съ очень многими вещами безъ основательнаго какого-либо знанія... Древніе учились немногому. Древніе учились думать, судить и чувствовать, и не наполняли своихъ головъ безсвязными познаніями и не ослабляли своихъ силъ изученіемъ разнородныхъ предметовъ. Этимъ объясняется ясность мыслей и та находчивость ума, ἀγχίνοια, мать лаконизмовъ, которою въ особенности отличался Спартанскій народъ, по нашимъ понятіямъ вовсе необразованный. Этимъ объясняется живость, полнота и сила того, что̀ древніе намъ оставили, то господство надъ своими познаніями, и та геніальность, которая постоянно освѣжаетъ къ нимъ приближающагося“ [150]).

Когда Погодинъ прочелъ это вступительное чтеніе въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ*, то писалъ Шевыреву: „Прочелъ рѣчь Леонтьева: можетъ ли ослѣпленіе быть больше. Гдѣ читана эта лекція? Въ Алжирѣ, Тибетѣ? Только не въ Европѣ, не въ Христіанскомъ государствѣ. Христіанства здѣсь не видать даже какъ историческаго явленія!!! Помилуйте, что это происходитъ. Не хочу говорить о нечестіи, но каково невѣже-

*) Что по большей части дѣлаютъ всѣ юноши, примѣняясь душой къ къ какому-либо одному занятію—или къ воспитанію лошадей, или собакъ для охоты, или къ философамъ—этимъ онъ не занимался ничѣмъ преимущественно передъ прочимъ, но однако всѣмъ, и притомъ не въ посредственной степени.

ство. Филологовъ въ Университетѣ не было, а Маттей, Буле, Тимковскій!? Культъ, маны—надо лексиконъ варварскихъ словъ! И это въ Московскомъ Университетѣ! Въ словесномъ факультетѣ! Система твоя, которая долго была моею, слишкомъ долго, не годится: нечего щадить, а надо съ перваго раза давить. Проученные они еще могутъ поправиться. Рѣчь эту надо уничтожить съ перваго раза. Если ты не хочешь, я примусь, но дѣло принадлежитъ тебѣ. А посмѣяться надъ нею могъ бы Павловъ. Впрочемъ въ рѣчи есть и хорошее. Ему надо отдать справедливость. Да не перевелъ ли онъ ее откуда?" Съ своей стороны и И. И. Давыдовъ писалъ Погодину: „Лекція Леонтьева такъ глупа, что я не узнаю этого юноши. Прежде онъ подавалъ хорошую надежду; а теперь съ манами Крюкова изъ рукъ вонъ. Можно ли такому панегиристу поручать образованіе будущаго поколѣнія?" [151]).

Вступительная лекція Леонтьева послужила матеріаломъ для *Словаря различныхъ измовъ*, печатаемаго въ *Москвитянинѣ*, и нѣкоторыя ея выраженія, безъ означенія имени автора, нашли себѣ мѣсто въ отдѣленіи *Берлинизмы*, такъ напримѣръ: „Его гуманное, но искусно импонированное обращеніе... рѣдкая способность, мистифицируя слушателя, въ немъ возбуждать интересъ и самодѣятельность".

„Желая въ эту минуту почтить маны покойнаго".

„Всѣ эти нормальныя и абнормальныя явленія могутъ быть изучены генетически и вмѣстѣ телетически только на древнихъ народахъ". „Благоговѣніе предъ объективными благами ограничило культъ личности" [152]).

Такъ отнеслись профессора стараго поколѣнія къ первымъ шагамъ молодого профессора. Но иначе отнеслись тогдашніе студенты къ этой вступительной лекціи Леонтьева. Прошло много лѣтъ. П. М. Леонтьевъ позналъ западъ свой и переселился въ вѣчность. Вечеромъ, 27 марта 1875 года, когда еще тѣло его не было предано землѣ, Московское Отдѣленіе Общества Классической Филологіи и Педагогики имѣло по случаю его кончины экстренное засѣданіе, на кото-

ромъ А. И. Георгіевскій сказалъ между прочимъ слѣдующее: „Я узналъ покойнаго почти двадцать восемь лѣтъ тому назадъ, осенью 1847 года, тотчасъ по возвращеніи его изъ-за границы. Какъ теперь помню первое его появленіе предъ огромною массою студентовъ, собравшихся на первую вступительную лекцію его въ большой словесной аудиторіи здѣшняго Университета. Предметъ этой лекціи и теперь еще, чрезъ двадцать восемь лѣтъ, не утратилъ своего великаго современнаго значенія для Россіи. Она была посвящена раскрытію предъ нами, его слушателями, важности всесторонняго изученія Классической Древности. Она была какъ бы программою, осуществленію которой была посвящена затѣмъ вся дальнѣйшая жизнь его, какъ профессора, какъ публициста, какъ дѣятельнаго соучастника въ учебной реформѣ 1871 года. Лекція эта заслуживала бы того, чтобы быть теперь перепечатанною во главѣ сочиненій покойнаго...“

Къ этому времени относится сближеніе П. М. Леонтьева съ М. Н. Катковымъ, которое вскорѣ превратилось въ крѣпкую, неразрывную дружбу, продолжавшуюся до смерти.

О настроеніи университетской молодежи той эпохи мы находимъ свѣдѣнія въ письмѣ къ Погодину почтеннаго Троицкаго ученаго П. С. Казанскаго. „Будучи въ Москвѣ“, писалъ онъ,—„я наслышался отъ молодежи, изъ вашего Московскаго Университета вышедшей, идей атеизма, матеріализма, коммунизма и проч. Больно мнѣ было за нихъ, потому что въ душѣ они добрые люди“.

Вотъ въ это-то время Катковъ, по свидѣтельству В. К. Истомина, имѣлъ спасительное вліяніе на Леонтьева въ религіозномъ отношеніи, утвердивъ его въ истинахъ Православной Вѣры, и за это благо Леонтьевъ остался ему благодарнымъ на всю жизнь.

Свидѣтельство г. Истомина вполнѣ подтверждается нижеслѣдующимъ позднѣйшимъ письмомъ Леонтьева къ Каткову, полученнымъ мною отъ князя Николая Владиміровича Шаховского. „Я сегодня пріобщился Святыхъ Таинствъ,“ писалъ

Леонтьевъ, отъ 10 апрѣля 1854 года,—„любезный Михаилъ Никифоровичъ, и лобызаю васъ мысленно, васъ, бывшаго для меня орудіемъ спасенія. Я не знаю, что было бы со мною, еслибы Богъ не привелъ сблизиться съ вами. Благія сѣмена, упавшія на мою почву, были совершенно заглушены, духовное зрѣніе подавлено мракомъ самодовольной умственной лѣности, внутренняя пустота казалась даже нормальнымъ состояніемъ, когда я ближе узналъ васъ. Повѣрьте истинѣ, въ которой нѣтъ и тѣни преувеличенія, вы, и вы одни, сдѣлались на землѣ орудіемъ благости Божіей для меня доступнымъ, когда все остальное потеряло доступъ ко мнѣ. Если я теперь ясно вижу передъ собой путь истинный, то это произошло безъ моего вѣдома. Я и думалъ мало, и хотѣлъ еще меньше, и только не могъ не смотрѣть на васъ. Я незамѣтно и совершенно не человѣчески привязался къ вамъ послѣ того, какъ не разъ и мысленно, и рѣчами оскорблялъ васъ. Мнѣ суждено было потомъ болѣе всего извлечь внутренней пользы изъ вашего семейнаго горя; годъ смерти вашей матушки былъ годомъ моего рожденія, когда я въ первый разъ не въ судъ пріобщился Тайнъ Спасителя. Но и я съ тѣхъ поръ, такова слабость мысли моей и воли, я ни на волосъ не преувеличиваю, только въ вашемъ присутствіи я нахожу должное настроеніе и спокойствіе. Я увѣренъ, что вамъ это покажется невѣроятнымъ. Но предполагая, что вы замѣчали во мнѣ лишь одно хорошее, а можетъ быть, видѣли хорошее въ дурномъ, я только спрошу васъ, какъ объяснить, что съ 1845 г. въ Петербургѣ до 1851 г. и въ Москвѣ шесть лѣтъ были мною потеряны? что съ 1848 до 1851 г. я пользовался, благодаря вамъ, лекціями, которыя не слушалъ“.

Одновременно съ П. М. Леонтьевымъ прибылъ въ Москву Петръ Николаевичъ Кудрявцевъ.

Сынъ Московскаго кладбищенскаго священника, Петръ Николаевичъ родился 4 августа 1816 года. Учился въ Московской Духовной Семинаріи; дальнѣйшее образованіе продолжалъ въ Московскомъ Университетѣ, гдѣ обратилъ на себя вниманіе

Грановскаго и сталъ его любимымъ ученикомъ. Еще будучи студентомъ, подъ псевдонимомъ Нестроева, своими повѣстями онъ пріобрѣлъ извѣстность въ литературѣ и сдружился съ Бѣлинскимъ, когда сей послѣдній, въ 1838 году, былъ негласнымъ редакторомъ *Московскаго Наблюдателя*. Въ 1840 году онъ окончилъ курсъ въ Московскомъ Университетѣ, а въ мартѣ 1845 года, по ходатайству Грановскаго, Кудрявцевъ былъ отправленъ въ Берлинъ и нѣкоторыя мѣста Германіи и Италіи; сдѣлалъ поѣздку чрезъ Саксонію и Богемію въ южныя части Германіи и Италіи, преимущественно въ Австрію и Баварію, для осмотра памятниковъ искусства древняго и новаго. Съ этою цѣлію наиболѣе оставался въ Мюнхенѣ. Одинъ семестръ пробылъ въ Берлинѣ, одинъ въ Парижѣ [153]).

За границей Кудрявцевъ совершенно углубился въ науку, но вмѣстѣ съ тѣмъ продолжалъ писать повѣсти подъ прежнимъ псевдонимомъ Нестроевъ и печатать ихъ въ *Отечественныхъ Запискахъ*. Отчужденіе отъ современности и равнодушіе къ ея жгучимъ вопросамъ очень огорчало его друзей Западниковъ. „А нашъ рыцарь, Нестроевъ“, писалъ Боткинъ Краевскому,— „онъ ждетъ, не дождется... своей родной, привольной среды (институтской) Посмотрите, онъ въ Парижѣ весь живетъ въ своихъ институтскихъ образахъ, а знаете ли, эти образы, эта сфера доконаютъ его талантъ. Замѣтьте: онъ дѣлается однообразенъ, ни разу не выходитъ онъ изъ своего давняго, постояннаго созерцанія, въ которое не проникло ни одного новаго, свѣжаго луча; между нами сказать, я начинаю бояться за его талантъ“ [154]).

Въ *Отечественныхъ Запискахъ* печатались письма Кудрявцева о Луврѣ, и это не нравилось его друзьямъ Западникамъ. „Долженъ вамъ сознаться“, писалъ тотъ же Боткинъ Анненкову,— „они (письма) сильно меня огорчаютъ. Представьте: нашъ общій пріятель остается неизлѣчимымъ нѣмцемъ. По поводу Лувра онъ все говоритъ о Греческомъ и Римскомъ искусствѣ; современность ни съ какой стороны не касается его, и все это такъ вяло, такъ педантически, что изъ рукъ вонъ. Вездѣ виденъ

романтикъ, отвлеченное чувство, стоячесть мысли, отсутствіе живого порыва.—И это обстоятельство огорчаетъ меня,—не то, что Кудрявцевъ остается романтикомъ, а то, что онъ—такой педантическій романтикъ, патріархальный и консервативный" [155]). Въ томъ же духѣ сталъ отзываться о Кудрявцевѣ и Бѣлинскій. „Кажется, таланту Кудрявцева", писалъ онъ,—„вѣчная память. Этотъ человѣкъ, видно, никогда не выйдетъ изъ своей коры. Онъ и въ Парижъ привезъ съ собою свою Москву. Что за узкое созерцаніе, что за бѣдные интересы, что за ребяческіе идеалы, что за исключительность типовъ и характеровъ". Сравнивая повѣсти Кудрявцева съ повѣстями И. А. Гончарова, Бѣлинскій продолжаетъ: „Сильно ли понравится тебѣ повѣсть Гончарова, или вовсе не понравится,—во всякомъ случаѣ ты увидишь великую разницу между Гончаровымъ и Кудрявцевымъ, въ пользу перваго. Эта разница состоитъ въ томъ, что Гончаровъ человѣкъ взрослый, совершеннолѣтній, а Кудрявцевъ духовно-малолѣтній, нравственный и умственный недоросль. Это досадно и грустно. Читая его повѣсти, чувствуешь, что онѣ могутъ быть понятны и интересны только для людей, близкихъ къ автору. Вотъ отчего нѣкогда я съ ума сходилъ отъ повѣстей Кудрявцева: я зналъ и любилъ его, въ немъ и въ нихъ было много моего, то-есть, такого, что было моимъ конькомъ. Того конька давно нѣтъ, и повѣсти не тѣ. Талантъ вижу въ нихъ и теперь, но чорта ли въ одномъ талантѣ. Земля цѣнится по ея плодородности, урожаямъ; талантъ—та же земля, но которая вмѣсто хлѣба родитъ истину. Порождая однѣ мечты и фантазіи, талантъ, даже большой—песчаникъ или солончакъ, на которомъ не родится ни былинки. Что же это? Слабость таланта?—Нѣтъ, вся бѣда въ томъ, что Кудрявцевъ москвичъ... Ахъ, господа, изображайте любовь и женщинъ, я вамъ не запрещаю этого на томъ основаніи, что я начисто раздѣлался съ подобными интересами; но изображайте не какъ дѣти, а какъ взрослые люди. Вонъ и въ повѣсти Гончарова любовь играетъ главную роль, да еще такая, какая субъективно всего менѣе можетъ

интересовать меня: а читаешь, словно ѣшь холодный, полупудовой сахаристый арбузъ въ знойный день“ [156]).

Возвратившись въ Москву, Кудрявцевъ не торопился навѣстить Боткина. „Представьте“, писалъ послѣднiй Анненкову (25 августа 1847 г.), — „Кудрявцева я не видалъ еще! Да онъ, кажется, не очень спѣшитъ со мной видѣться—это меня огорчаетъ. Впрочемъ, я чувствую, что Кудрявцевъ будетъ больше отдаляться отъ насъ, нежели искать сближенiя“.

Въ Московскомъ Университетѣ Кудрявцевъ занялъ должность адъюнкта по каѳедрѣ Всеобщей Исторiи. „Кудрявцевъ“, писалъ Боткинъ Анненкову, — „начинаетъ свои лекцiи въ сентябрѣ. Я не знаю еще, гдѣ онъ будетъ жить, но то, что онъ будетъ жить вмѣстѣ съ своею сестрою, вдовой священника, и у которой четверо малолѣтнихъ дѣтей,—и Кудрявцевъ не имѣетъ достаточно силы воли, чтобы отдѣлаться отъ этого родственнаго деспотизма. Поймите, чтò это за мiръ, чтò за сфера! Да досадно еще то, что Кудрявцевъ чувствуетъ себя хорошо въ этой сферѣ... Въ его умѣ нѣтъ ни малѣйшей смѣлости, онъ набитъ авторитетами... Мнѣ сдается, что Бѣлинскiй раздѣляетъ мои предчувствiя“.

Наконецъ Боткину удалось видѣть Кудрявцева, и онъ, въ сентябрѣ 1847 года, „съ урочища Маросейка“, писалъ Анненкову: „Только сегодня увидѣлся я съ Кудрявцевымъ, между тѣмъ какъ онъ уже болѣе двухъ недѣль въ Москвѣ. Онъ пришелъ ко мнѣ, словно убитый. „Чтò съ вами, Кудрявцевъ?“ „Да такъ, разныя семейныя обстоятельства“. Эти семейныя обстоятельства его ужасно отдѣлали: глаза впали, лицо цвѣта пергамента. Кудрявцевъ не сообщителенъ, я не могъ отъ него ничего узнать, но всячески старался развеселить его и часа черезъ два немного успѣлъ. Изъ Европы попасть въ сферу духовную! А силы воли нѣтъ, чтобъ рѣшительно отдѣлаться отъ нея. И за это онъ дорого заплатитъ. Поселился онъ съ сестрой, у которой четверо дѣтей, за Москвой рѣкой, чтобъ быть поближе къ отцу. Въ такихъ положенiяхъ juste milieu никуда не годится. Addio“ [157]).

Напрасно хулитъ Боткинъ ту почтенную духовную среду, изъ которой вышелъ Кудрявцевъ. Въ *Дневникѣ* моего брата Александра Барсукова *за 1870 годъ* нашлись слѣдующія важныя біографическія свидѣтельства о знаменитомъ профессорѣ Московскаго Университета:

„*Марта 26...* Послѣ обѣда была у насъ Настасья Ѳедоровна Тулянкина и за чаемъ много разсказывала о Петрѣ Николаевичѣ Кудрявцевѣ. Въ сороковыхъ годахъ она была его ученицей, съ перваго и до послѣдняго класса, въ Московскомъ Николаевскомъ Институтѣ, а потомъ, до самой его смерти, была очень близкой знакомой въ его домѣ. По разсказу Тулянкиной, Кудрявцевъ сейчасъ же съ университетской скамьи получилъ, черезъ Алексѣя Димитріевича Галахова, мѣсто учителя Словесности и Исторіи въ Николаевскомъ Институтѣ. Въ то время это былъ неуклюжій семинаристъ-атлетъ, огромнаго роста, не очень красивый собою, но съ удивительными лазуревыми глазами и необыкновенно музыкальнымъ голосомъ. Институтки обожали его, а онъ называлъ всѣхъ ихъ не иначе, какъ своими сестрами. Онъ влюбился въ одну изъ нихъ — въ Варю Нелидову, но никто не замѣчалъ этого, тѣмъ болѣе, что въ ней, дѣйствительно, не было ничего особеннаго. Влюбленные дали другъ другу слово. Затѣмъ Кудрявцева послали на два года за границу, а она вышла изъ Института и, кажется, занялась уроками. По возвращеніи изъ-за границы Кудрявцевъ поразилъ всѣхъ худобой и изнуреннымъ видомъ. Онъ совсѣмъ охладѣлъ къ Варѣ, но все-таки женился на ней. И тутъ-то начинается его трагедія. Кудрявцевъ уже давно былъ влюбленъ въ другую! Несчастный все хилѣлъ и хилѣлъ. Въ это же время Кудрявцевъ страшно разбогатѣлъ. Отецъ его, священникъ Даниловскаго кладбища, умеръ, оставивъ своему сыну капиталъ въ сто тридцать пять тысячъ рублей. Почти столько же получилъ Кудрявцевъ отъ своего дяди, Александра Петровича (фамилію забыла) *), бывшаго секретаремъ у митрополита Филарета. Но Петру Николаевичу было уже не до

*) Святославскій. *Н. Б.*

того. Варвара Арсеньевна повезла его, по совѣту докторовъ, въ Италію. Они поѣхали вмѣстѣ съ графиней Саліасъ (Евгенія Туръ), Е. М. Ѳеоктистовымъ и еще съ какою-то очень красивою особою (фамилію ея отказалась сказать). Кудрявцевы съ этою особой поселились во Флоренціи, а тѣ—въ Римѣ. Варвара Арсеньевна заболѣваетъ и умираетъ... Похоронивъ жену, Кудрявцевъ возвратился въ Москву уже живымъ мертвецомъ...“

Возвращеніе Леонтьева и Кудрявцева очень обрадовало Каткова. „Недавно прибыли сюда“, писалъ онъ А. Н. Попову (8 августа 1847 г.),—„новые преподаватели: Кудрявцевъ для Исторіи, Леонтьевъ, Пѣховскій для Древней Филологіи. Съ Кудрявцевымъ видѣлся. Вы, кажется, его знаете. Университетъ, кажется, можетъ ожидать отъ него многаго. Онъ много разсказывалъ мнѣ о Шеллингѣ, котораго слушалъ три лѣта, и который произвелъ на него самое сильное жизненное вліяніе; тоже и на Леонтьева, съ которымъ, однако, я еще не успѣлъ видѣться. Для меня утѣшительно, что около меня будутъ люди, съ которыми я схожусь въ этомъ пунктѣ“ [158]).

Съ своей стороны и Грановскій съ радостью писалъ Фролову: „Я крѣпко готовлюсь къ лекціямъ. Боюсь соперничества съ Кудрявцевымъ, который дѣйствительно будетъ замѣчательнымъ профессоромъ. Такое соперничество хорошо дѣйствуетъ на душу“ [159]).

XXVII.

Обновленіе Московскаго Университета свѣжими, молодыми силами произошло въ неблагополучный 1847-й годъ. Холера, политическія броженія, предварившія февральскую революцію, омрачили горизонтъ нашего Отечества и наконецъ несчастный годъ сей окончился прискорбнымъ событіемъ, какъ для самого Московскаго Университета, такъ и для всего Русскаго просвѣщенія. Мы говоримъ о выходѣ въ отставку графа С. Г. Строганова, болѣе десяти лѣтъ, въ должности попечи-

теля, со славою и честію державшаго въ своихъ рукахъ бразды правленія Московскимъ Учебнымъ Округомъ.

13 сентября 1847 года митрополитъ Московскій Филаретъ писалъ своему лаврскому намѣстнику Антонію: „Что вы боитесь холеры, можетъ быть, это къ лучшему. Лучше помолитесь. Я что-то смотрю на приближеніе холеры, какъ просто на приближеніе осени. Это равнодушіе не хуже ли? Господу помолимся о всѣхъ и за вся“ [160]).

На другой день, предъ молебствіемъ въ Успенскомъ соборѣ, святитель произнесъ слово, въ которомъ между прочимъ сказано: „...Губительная болѣзнь, въ которой за семнадцать лѣтъ предъ симъ испытали мы частію судъ, частію помилованіе Божіе, вошла въ предѣлы Отечества нашего изъ той же, какъ прежде, чужой страны. Нѣтъ пророка, который бы предварилъ насъ, дойдетъ ли она до насъ, и который бы, хотя не безъ страха, насъ избавилъ отъ нея. Но есть уже милосердіе Божіе въ томъ, что сама она издали намъ о себѣ возвѣщаетъ и возбуждаетъ насъ къ осторожности.

„Что̀ же должны мы дѣлать? — Безъ сомнѣнія, благоразумно и благонадежно будетъ употребить въ предосторожность отъ бѣдствія, болѣе или менѣе угрожающаго, тѣ испытанныя средства, которыя для Ниневитянъ достаточны были для отвращенія совершенной погибели.

„Итакъ, если угрожаетъ намъ скорбное посѣщеніе Божіе: признаемъ въ ономъ правосудіе Божіе — и побудимъ себя къ улучшенію нашей жизни, въ отношеніи къ благочестію, благонравію, воздержанію, человѣколюбію.

„Да не медлимъ прибѣгать къ Богу съ молитвою, частію о избавленіи братій нашихъ, — которыхъ уже постигло скорбное посѣщеніе, частію о себѣ самихъ, да не приблизится къ намъ Ангелъ смерти, или да не отягчитъ руку свою; Ангелы же хранители наши да не преминутъ насъ своимъ охраненіемъ, подкрѣпленіемъ и вразумленіемъ...“ [161])

За два дня до молебствія, то-есть, 12 сентября, въ *Дневникѣ* Погодина записано: „Холера, говорятъ, предъ городомъ“.

13 сентября Шевыревъ сообщалъ ему: „Холера, говорятъ, въ Тулѣ. По инымъ и здѣсь есть случаи. Изъ Саратова, отъ 4 сентября, получилъ письмо отъ брата, что слава Богу въ городѣ прошла. Успокоило меня это письмо, а то я тревожился за своихъ“ [162]).

Въ день молебствія Погодинъ былъ у обѣдни и „молился за все человѣчество“ [163]).

Въ это время въ Москвѣ пребывалъ Великій Князь Михаилъ Павловичъ. „Успокоительный примѣръ“, писалъ митрополитъ Филаретъ къ своему намѣстнику Антонію, 13 сентября 1847 г.,—„представился мнѣ въ Князѣ Великомъ, который съ семьею, во время холеры въ Воронежѣ, не усумнился остаться тамъ на нѣсколько дней и причащался Святыхъ Тайнъ, тогда какъ въ монастырѣ уже было нѣсколько умершихъ. Онъ замѣчаетъ, что тамъ въ сіе время ощутительно мертвеннымъ запахомъ наполненъ былъ воздухъ... Однако путешествующіе здоровые пріѣхали въ Кіевъ, и потомъ безвредно проѣхали чрезъ Курскъ, въ которомъ тогда была холера, въ которомъ, впрочемъ, и они только приложились къ образу Святителя Николая и перемѣнили лошадей. Это разсказывалъ мнѣ Великій Князь лично въ среду на сей недѣлѣ“ [164]).

Въ честь Великаго Князя Московскій генералъ-губернаторъ князь А. Г. Щербатовъ сдѣлалъ вечеръ, на который былъ приглашенъ и Погодинъ. Въ *Дневникѣ* его записано: „Вечеръ у князя Щербатова. Много знакомыхъ. Какъ все подобострастно предъ Великимъ Княземъ. Мнѣ тяжело“ [165]).

Между тѣмъ моровое повѣтріе все подвигалось. „Холера“, писалъ Лобковъ,—„говорятъ, въ предградіи. Да будетъ воля Божія!“ „Какъ вы съ холерою ладите“, писалъ Загряжскій Погодину, — „а мы ее ожидаемъ, но, кажется, не очень ею озабочены, Москва молится, а Питеръ—Русскій нѣмецъ идетъ въ театръ и циркъ. Горе да и только. Иннокентій напечаталъ акаѳистъ Покрову“. О спокойствіи Петербурга свидѣтельствовалъ и И. И. Давыдовъ: „О холерѣ у насъ никто не думаетъ. Теперь врачи съ нею ознакомились—и она болѣе не

опасна. Но о холерѣ нравственной, о которой вы упоминаете, мы ничего не знаемъ. Откуда вы это знаете?"

Къ концу года холера въ Москвѣ стихла. 17 ноября 1847 года П. М. Строевъ писалъ Погодину: „Какъ вы проводили холерное время и поживаете теперь? Дай Богъ, по добру, по здорову. Что касается до меня, я былъ очень нездоровъ и теперь еще не слажу съ пищевареніемъ. Дожидаюсь снѣгу, чтобы предпринять къ вамъ путешествіе".

По порученію самого Ѳ. И. Иноземцева, въ декабрѣ 1847 года, Н. И. Крыловъ писалъ Погодину: „Ѳ. И. Иноземцевъ проситъ васъ завтра въ три часа на холерный супъ. Вы встрѣтите у насъ многихъ членовъ Университета, истинно васъ уважающихъ".

„Нынѣ такое время", писалъ изъ Варшавы (1 іюля 1847 г.) Дубровскій Погодину, – „что человѣкъ свято любящій науку и желающій спокойно, въ смиреніи духа, проводить дни свои, — бродитъ въ потемкахъ... Ахъ, еслибы наша молодежь поболѣе трудилась, да не занималась безразсудными теоріями, которыя портятъ доброе дѣло".

Въ 1847 году въ Русскомъ Словенскомъ мірѣ произошло прискорбное событіе, надѣлавшее много шуму и произведшее печальныя послѣдствія. Въ началѣ сего года было открыто въ Кіевѣ Украйно-Словенское Общество Свв. Кирилла и Меѳодія. Изъ всеподаннѣйшаго доклада графа А. Ѳ. Орлова мы узнаемъ, что „Украйно-Словенское Общество существовало, но только нѣсколько мѣсяцевъ, въ исходѣ 1845 и въ началѣ 1846 года, между тремя лицами Гулакомъ, Бѣлозерскимъ и Костомаровымъ. Нѣкоторые изъ нихъ называли его Обществомъ Свв. Кирилла и Меѳодія и носили кольца во имя сихъ святыхъ. Трудно опредѣлить, кто первый вздумалъ общество, ибо всѣ они равно преданы были Словенскимъ идеямъ, побуждая другъ друга къ дѣятельности; но мысль называть Общество во имя Свв. Кирилла и Меѳодія, равно имѣть кольца или образа сихъ святыхъ, произошла отъ Костомарова". Къ этимъ тремъ присоединились и другіе, и между ними Кулишъ и Шевченко [166]).

Кулишъ, какъ намъ извѣстно, жилъ въ Петербургѣ, пользовался покровительствомъ П. А. Плетнева и, по его рекомендаціи и ходатайству, въ это самое время былъ отправленъ Академіею Наукъ съ ученою цѣлію въ Словенскія Земли [167]). Эта командировка удивила многихъ и въ томъ числѣ А. А. Куника, который писалъ Погодину: „Кулишъ не рожденъ быть филологомъ. Настоящая филологія болѣе, чѣмъ какая-либо другая наука, требуетъ самоотверженія. Сомнѣваюсь, чтобъ онъ обладалъ имъ. Куторги сильно возставали противъ посылки Кулиша, я также высказалъ разнымъ лицамъ, что Кулишъ не годится въ филологи, но прекраснодушный Плетневъ и т. д. не хотѣли ничего слушать. Филологъ въ строгомъ смыслѣ не пустится въ такія Малорусскія фантазіи“ [168]).

Предъ отъѣздомъ своимъ въ Словенскія Земли Кулишъ напечаталъ, въ самомъ благонамѣренномъ дѣтскомъ журналѣ *Звѣздочкѣ* Краткую Исторію Малороссіи. Въ *Дневникѣ* Никитенка, подъ 2 мая 1847 года, мы читаемъ: „Въ нѣсколькихъ нумерахъ дѣтскаго журнала *Звѣздочка*, издаваемаго Ишимовою, была въ прошломъ году напечатана Краткая Исторія Малороссіи. Авторъ ея Кулишъ. Теперь изъ-за нея поднялась страшная исторія. Кулишъ былъ лекторомъ Русскаго языка у насъ въ Университетѣ: его выписалъ сюда и пристроилъ Плетневъ. По ходатайству послѣдняго, онъ былъ признанъ Академіей Наукъ достойнымъ отправленія за границу на казенный счетъ. Его послали изучать Словенскія нарѣчія. Онъ поѣхалъ и взялъ съ собою пачку отдѣльно отпечатанныхъ экземпляровъ своей Исторіи Малороссіи и по дорогѣ раздавалъ ихъ, гдѣ могъ. Теперь эту Исторію и самого Кулиша схватили. Онъ былъ уже въ Варшавѣ, съ молодою женою, на которой всего два мѣсяца женатъ... Съ этой маленькой книжкой, впрочемъ, соединены, говорятъ, гораздо болѣе важныя обстоятельства. На югѣ, въ Кіевѣ, открыто общество, имѣющее цѣлью конфедеративный союзъ всѣхъ Словенъ въ Европѣ на демократическихъ началахъ, на подобіе Сѣверо-Американскихъ Штатовъ.

Къ этому обществу принадлежатъ: профессоръ Кіевскаго Университета Костомаровъ, Кулишъ, Шевченко, Гулакъ и пр. Имѣютъ ли эти южные Словене какую-нибудь связь съ Московскими Словенофилами—неизвѣстно, но Правительство, кажется, намѣрено за нихъ взяться. Говорятъ, что все это вывело наружу представленіе Австрійскаго Правительства" [169]).

Западники къ этому обществу отнеслись враждебно. „Нѣкто Кулишъ", писалъ Бѣлинскій Анненкову, — „въ *Звѣздочкѣ*, журналѣ, который издаетъ Ишимова для дѣтей, напечаталъ Исторію Малороссіи, гдѣ сказалъ, что Малороссія должна или отторгнуться отъ Россіи, или погибнуть... Прошелъ годъ—и ничего, какъ вдругъ Государь получаетъ отъ кого-то эту книжку съ отмѣткою фразы... Можете представить, въ какомъ ужасѣ было Министерство Просвѣщенія... Мусинъ-Пушкинъ накинулся на переводы Французскихъ повѣстей, воображая, что въ нихъ-то Кулишъ набрался хохлацкаго патріотизма... Вотъ что дѣлаютъ эти скоты, безмозглые либералишки! Охъ, эти мнѣ хохлы! Либеральничуютъ во имя галушекъ и вареиковъ съ свинымъ саломъ! И вотъ теперь писать ничего нельзя: все мараютъ. А съ другой стороны, какъ и жаловаться на Правительство? Какое же Правительство позволитъ печатно проповѣдывать отторженіе отъ него области". Въ числѣ сообщниковъ Украйно - Словенскаго общества былъ также и извѣстный Шевченко. „Наводилъ я справки о Шевченкѣ", писалъ Бѣлинскій же Анненкову, — „и убѣдился окончательно, что внѣ религіи вѣра есть никуда негодная вещь. Вы помните, что вѣрующій другъ мой говорилъ мнѣ, что онъ вѣритъ, что Шевченко — человѣкъ достойный и прекрасный. Вѣра дѣлаетъ чудеса, творитъ людей изъ ословъ и дубинъ, стало быть, она можетъ и изъ Шевченка сдѣлать, пожалуй, мученика свободы. Но здравый смыслъ въ Шевченкѣ долженъ видѣть осла, дурака и пошлеца, а сверхъ того, горькаго пьяницу, любителя горѣлки по патріотизму хохлацкому. Этотъ хохлацкій радикалъ написалъ два пасквиля. Читая одинъ пасквиль, Государь хохоталъ, и вѣроятно дѣло тѣмъ

и кончилось бы, и дуракъ не пострадалъ бы за то только, что онъ глупъ. Но когда Государь прочелъ другой пасквиль, то пришелъ въ великій гнѣвъ... И это понятно, когда сообразите, въ чемъ состоитъ Славенское остроуміе, когда оно устремляется на женщину. Я не читалъ этихъ пасквилей, и никто изъ моихъ знакомыхъ ихъ не читалъ (что, между прочимъ, доказываетъ, что они нисколько не злы, а только плоски и глупы), но увѣренъ, что второй пасквиль долженъ быть возмутительно гадокъ по причинѣ, о которой я уже говорилъ. Шевченка послали на Кавказъ солдатомъ. Мнѣ не жаль его: будь я его судьею, я сдѣлалъ бы не меньше. Я питаю личную вражду къ такого рода либераламъ. Это—враги всякаго успѣха. Своими дерзкими глупостями они раздражаютъ Правительство, дѣлаютъ его подозрительнымъ, готовымъ видѣть бунтъ тамъ, гдѣ нѣтъ ровно ничего, и вызываютъ мѣры крутыя и гибельныя для литературы и просвѣщенія" [170]).

Графъ А. Ѳ. Орловъ засвидѣтельствовалъ предъ Государемъ, что Московскіе Словенофилы не имѣли ничего общаго съ членами Украйно-Словенскаго общества. И дѣйствительно, находившійся въ то время въ Петербургѣ Хомяковъ вотъ что писалъ Самарину (30 мая 1847 г.): „Малороссіянъ, повидимому, заразила политическая дурь. Досадно и больно видѣть такую нелѣпость и отсталость. Когда общественный вопросъ только поднятъ и не только не разрѣшенъ, но даже и не близокъ въ разрѣшенію, люди, повидимому, умные, хватаются за политику! Это похоже на Одоевскаго съ его пріютами. Не знаю, до какой степени было преступно заблужденіе бѣдныхъ Малороссіянъ; а знаю, что безтолковость ихъ очень ясна. Время политики миновало. Это Кирѣевскій напечаталъ тому уже два года, а люди все толкуютъ про старыя дрожжи..." [171]). Погодинъ же въ дѣйствіяхъ Украйно-Словенскаго общества видѣлъ козни Австріи. „Дня съ три", писалъ онъ Иннокентію (20 іюня 1847)—„отхватили проѣзжіе, кто изъ Кіева, кто изъ Казани. Да и тутъ былъ смущаемъ разными слухами о Словенахъ, которыхъ, вы знаете, какъ я люблю. Боюсь, чтобы здѣсь не

Къ этому обществу принадлежатъ: профессоръ Кіевскаго Университета Костомаровъ, Кулишъ, Шевченко, Гулакъ и пр. Имѣютъ ли эти южные Словене какую-нибудь связь съ Московскими Словенофилами—неизвѣстно, но Правительство, кажется, намѣрено за нихъ взяться. Говорятъ, что все это вывело наружу представленіе Австрійскаго Правительства“ [169]).

Западники къ этому обществу отнеслись враждебно. „Нѣкто Кулишъ“, писалъ Бѣлинскій Анненкову, — „въ *Звѣздочкѣ*, журналѣ, который издаетъ Ишимова для дѣтей, напечаталъ Исторію Малороссіи, гдѣ сказалъ, что Малороссія должна или отторгнуться отъ Россіи, или погибнуть... Прошелъ годъ—и ничего, какъ вдругъ Государь получаетъ отъ кого-то эту книжку съ отмѣткою фразы... Можете представить, въ какомъ ужасѣ было Министерство Просвѣщенія... Мусинъ-Пушкинъ накинулся на переводы Французскихъ повѣстей, воображая, что въ нихъ-то Кулишъ набрался хохлацкаго патріотизма... Вотъ что дѣлаютъ эти скоты, безмозглые либералишки! Охъ, эти мнѣ хохлы! Либеральничуютъ во имя галушекъ и вареников съ свинымъ саломъ! И вотъ теперь писать ничего нельзя: все мараютъ. А съ другой стороны, какъ и жаловаться на Правительство? Какое же Правительство позволитъ печатно проповѣдывать отторженіе отъ него области“. Въ числѣ сообщниковъ Украйно - Словенскаго общества былъ также и извѣстный Шевченко. „Наводилъ я справки о Шевченкѣ“, писалъ Бѣлинскій же Анненкову, — „и убѣдился окончательно, что внѣ религіи вѣра есть никуда негодная вещь. Вы помните, что вѣрующій другъ мой говорилъ мнѣ, что онъ вѣритъ, что Шевченко — человѣкъ достойный и прекрасный. Вѣра дѣлаетъ чудеса, творитъ людей изъ ословъ и дубинъ, стало быть, она можетъ и изъ Шевченка сдѣлать, пожалуй, мученика свободы. Но здравый смыслъ въ Шевченкѣ долженъ видѣть осла, дурака и пошлеца, а сверхъ того, горькаго пьяницу, любителя горѣлки по патріотизму хохлацкому. Этотъ хохлацкій радикалъ написалъ два пасквиля. Читая одинъ пасквиль, Государь хохоталъ, и вѣроятно дѣло тѣмъ

однако же назвалъ его при этомъ бѣдовымъ и пресердитымъ. Недѣли черезъ двѣ его выпустили на свободу" [174]). Получивъ свободу, Чижовъ посѣтилъ своего товарища и друга А. В. Никитенка, который въ своемъ *Дневникѣ*, подъ 1 іюня 1847 года, записалъ слѣдующее: „Чижовъ былъ схваченъ по повелѣнію Правительства, на границѣ, у таможенной заставы, и, въ качествѣ опаснаго Словенофила съ своей бородой привезенъ въ Третье Отдѣленіе. Послѣ девяти-дневнаго заключенія и нѣсколькихъ допросовъ онъ третьяго дня выпущенъ на волю. Онъ былъ у меня и разсказывалъ мнѣ много любопытнаго о вопросахъ, которые ему предлагались, и о своихъ отвѣтахъ на нихъ. Отвѣты эти онъ давалъ сначала устно, а потомъ самъ же излагалъ на бумагу, для доклада Государю. Если вѣрить ему, онъ не говорилъ ничего компрометирующаго убѣжденія, противныя его школѣ. Но я считаю Чижова хитрѣйшимъ изъ всѣхъ настоящихъ и будущихъ Словенофиловъ. Я думаю, что онъ — конечно, тонко, ловко и, не вдаваясь въ личности — въ массѣ не пощадилъ тѣхъ, которые думаютъ не за одно съ нимъ. Не выдаю за непреложное свое мнѣніе, но вотъ какое сложилось оно у меня изъ его словъ. Онъ раздѣлилъ свою исповѣдь на двѣ части. Въ первой онъ какъ бы признавался въ нѣкоторыхъ своихъ заблужденіяхъ, а именно, относительно соединенія всѣхъ Словенъ въ одну монархію подъ скипетромъ Россіи. Само собою разумѣется, что это заблужденіе... было ему охотно прощено. Во второй части своей исповѣди онъ явился горячимъ патріотомъ, совсѣмъ въ духѣ Православія, Самодержавія и Народности, чуждой всего Европейскаго, и даже враждебной Европѣ. Онъ въ припадкѣ увлеченія даже воскликнулъ, что *Петръ I былъ величайшимъ и опаснѣйшимъ революціонеромъ.* Это уже не мое предположеніе, а Чижовъ дѣйствительно сказалъ это, какъ самъ мнѣ признался. Въ заключеніе его почтенные духовники Л. В. Дубельтъ и графъ А. Ѳ. Орловъ остались имъ вполнѣ довольны. Конечно, онъ въ своей исповѣди не коснулся демократическихъ началъ Словенофильской пропо-

вѣди и вышелъ изъ допроса совершенно бѣлымъ и чистымъ. Его даже поблагодарили, но замѣтили ему на прощанье, что онъ слишкомъ пылокъ, и потому ему еще пока нельзя разрѣшить изданіе журнала въ Москвѣ. Какъ онъ впереди соединитъ свои Словенофильскія идеи съ тѣмъ, что теперь долженъ будетъ писать и дѣлать, не знаю. Это тѣмъ труднѣе, что онъ отнынѣ обязанъ всѣ свои сочиненія представлять на цензуру въ Третье Отдѣленіе" [175]).

Во всеподданѣйшемъ докладѣ графа А. Ѳ. Орлова между прочимъ сказано: „Арестованъ возвращавшійся изъ-за границы бывшій адъюнктъ-профессоръ С.-Петербургскаго Университета надворный совѣтникъ Чижовъ, который однакоже оказался только Словенофиломъ, поборникомъ Русской народности въ родѣ Московскихъ ученыхъ, и не имѣлъ никакихъ сношеній съ Украйно-Словенистами. Его откровенное показаніе имѣло послѣдствіемъ то, что ему Высочайше разрѣшено, отстранивъ всѣ мечты и идеи Словенофиловъ, продолжать литературныя занятія, но съ тѣмъ, чтобы онъ свои произведенія представлялъ на предварительное разсмотрѣніе шефа жандармовъ".

Въ Петербургѣ освобожденный Чижовъ посѣтилъ также и Хомякова. „Здѣсь", писалъ послѣдній (30 мая 1847 г.) Самарину, — „видѣлъ я Чижова. Онъ совершилъ ускоренное путешествіе отъ границы сюда съ провожатыми, потомъ получилъ квартиру на двѣнадцать дней съ отопленіемъ, освѣщеніемъ и столомъ; наконецъ уѣхалъ въ Малороссію, получивъ почти благодарность отъ Его Величества, который объявилъ себя его цензоромъ впередъ. Слава Богу! Онъ писалъ, и Государь прочелъ его и, разумѣется, видѣлъ, какъ неосновательны всѣ подозрѣнія".

Послѣ этихъ превратностей Чижовъ уединяется въ Малороссію и поселяется въ Трипольѣ, мѣстѣ, освященномъ преданіями Кіевопечерскими, гдѣ разводитъ плантацію тутовыхъ деревьевъ и „съ своимъ обычнымъ упрямствомъ, лѣтъ пять или шесть, проживаетъ въ этомъ уединеніи только съ книгами и червями".

XXVIII.

Политическія броженія вызвали циркуляръ Министра Народнаго Просвѣщенія, отъ 30 мая 1847 года, разосланный, по Высочайшему повелѣнію, попечителямъ учебныхъ округовъ, слѣдующаго содержанія:

„Въ концѣ прошлаго столѣтія родилось между соплеменными намъ народами на Западѣ, именно въ Богеміи, мысль, что всѣ народы Словенскаго происхожденія, разсѣянные по Европѣ и подвластные разнымъ скипетрамъ, должны когда-либо слиться въ одно цѣлое и составить государство Словенское. Эта мысль мало-по-малу овладѣла всѣми вѣтвями Словенскаго племени въ Европѣ, сперва въ литературномъ, потомъ и въ политическомъ смыслѣ.

„Отъ этого движенія повсюду между народами Словенскаго происхожденія усилилось стремленіе къ изученію языковъ, древностей и всѣхъ памятниковъ Словенскихъ племенъ; но, къ сожалѣнію, это развитіе отдѣльныхъ вѣтвей Словенскихъ недолго оставалось въ мирныхъ предѣлахъ науки: скоро подпало оно искаженію, частію отъ вліянія общихъ тревожныхъ идей политическихъ, частію отъ возбужденныхъ предразсудковъ религіозныхъ, частію и отъ собственныхъ недоразумѣній каждаго племени.. Названіе Словенства, драгоцѣнное для восьмидесяти милліоновъ, раздѣленныхъ на многіе народы, по языку своему помнящихъ единое происхожденіе и древнее родство, какъ оказывается нынѣ, употребляется во зло подъ личиною чистаго братства.

„Эти идеи Запада о Словенствѣ естественно тяготѣютъ къ Россіи, какъ средоточію племенъ Словенскихъ, потому что и въ языкѣ Русскомъ, и въ вѣрѣ, и въ законахъ дышетъ и бодрствуетъ древнее начало народной жизни, отъ различныхъ судебъ историческихъ давно умершее въ другихъ Словенскихъ народахъ. Но у насъ западныя понятія могутъ увлечь людей пылкихъ и не прозрѣвающихъ опасности своихъ мечтаній.

„Для охраненія преподавателей, принадлежащихъ къ вѣдомству Министерства Народнаго Просвѣщенія, долженствующихъ проливать въ юные умы учащихся благотворный свѣтъ истинныхъ, полезныхъ знаній и чувство любви къ Престолу и Вѣрѣ, отъ вреднаго вліянія разрушительныхъ началъ, почитаю священнымъ долгомъ, съ Высочайшаго соизволенія Государя Императора, изложить значеніе *народнаго начала* въ видахъ Правительства и мысли о семъ важномъ современномъ вопросѣ передать вамъ для конфиденціальнаго сообщенія ихъ преподавателямъ, цензорамъ и нѣкоторымъ изъ членовъ ученыхъ обществъ, въ кругъ занятій коихъ входитъ преимущественно Словесность и Исторія Отечественная.

„Вопросъ о Словенствѣ въ отношеніи къ намъ представляетъ двѣ стороны: одну, которую злонамѣренные могутъ употребить на возбужденіе умовъ и распространеніе опасной пропаганды, преступной и возмутительной; другая же сторона содержитъ святыню нашихъ вѣрованій, нашей самобытности, нашего народнаго духа, въ предѣлахъ законнаго развитія имѣющую неоспоримое право на попеченіе Правительства. Русская Словесность въ чистотѣ своей должна выражать безусловную приверженность къ Православію и Самодержавію... Раскрытію этого начала мы обязаны ближайшимъ знакомствомъ съ Церковно-Словенскимъ языкомъ, на которомъ чтеніе Священнаго Писанія, недавно чуждое высшимъ слоямъ общества, нынѣ понятно юному поколѣнію, одолжены знакомствомъ и съ другими Словенскими нарѣчіями, полезнымъ и необходимымъ для ученыхъ изслѣдованій языка отечественнаго. Этимъ же направленіемъ главнѣйшіе памятники нашей древней Словено-Русской Словесности вышли изъ забвенія, и множество актовъ и документовъ, служащихъ къ разысканіямъ историческимъ, обнародовано на иждивеніе Правительства.

„Но этому Словенству Русскому—должна быть чужда всякая примѣсь политическихъ идей; тогда остальнымъ началомъ, въ немъ сокровеннымъ, будетъ наше государственное начало,

на которомъ непоколебимо стоитъ тронъ и алтарь, собственно *Русское* начало, *Русскій* духъ, наша святыня...

„...Святая Русь бѣдствовала и страдала одна, одна проливала кровь свою за Престолъ и Вѣру, одна подвигалась твердымъ и быстрымъ шагомъ на поприщѣ гражданскаго своего развитія; одна ополчалась противъ двадцати народовъ, вторгнувшихся въ ея предѣлы съ огнемъ и мечемъ въ рукахъ. Все, что имѣемъ мы на Руси, принадлежитъ намъ однимъ, безъ участія другихъ Словенскихъ народовъ, нынѣ простирающихъ къ намъ руки и молящихся о покровительствѣ, не столько по внушенію братской любви, какъ по разсчетамъ мелкаго и не всегда безкорыстнаго эгоизма...“

Въ заключеніи Министръ Народнаго Просвѣщенія обращается къ Московскому Университету съ такими словами: „Московскій Университетъ, старый блюститель отечественнаго языка, въ сердцѣ Россіи, предъ стѣнами священнаго Кремля, свидѣтеля и бѣдствій, и радостей народныхъ, въ особенности долженъ показать пламенное усердіе въ развитіи Русскаго Просвѣщенія изъ Русскаго начала нашей народности. Разливая на учащихся свѣтъ истинныхъ, полезныхъ знаній объ Отечественной Исторіи, Словесности, объ отечественныхъ законахъ и преданіяхъ, Университетъ, безъ сомнѣнія, истребитъ вліяніемъ своимъ необдуманные порывы нѣкоторыхъ изъ прежнихъ его питомцевъ, отдѣлившихъ себя отъ общихъ историческихъ мнѣній не столько по какому-либо убѣжденію, сколько по легкомыслію и добродушной мечтательности. Не славнѣе ли для насъ имя Русскаго, то знаменитое наше имя, которое съ основанія государства нашего повторялось и повторяется милліонами народа въ жизни общественной? Да слышится въ университетахъ имя Русскаго, какъ слышится оно въ Русскомъ народѣ, который, не мудрствуя лукаво, безъ воображаемаго Словенства, сохранилъ вѣру отцевъ нашихъ, языкъ, нравы, обычаи, всю народность...“ [176]).

На другой же день по выходѣ этого циркуляра, въ Петербургскомъ Университетѣ, 31 мая 1847 года, состоялось

чрезвычайное собраніе Университетскаго Совѣта, подъ предсѣдательствомъ Попечителя Округа, и, по свидѣтельству А. В. Никитенка, въ Совѣтъ былъ приглашенъ и директоръ Педагогическаго Института И. И. Давыдовъ. Читали предписаніе Министра, составленное по Высочайшей волѣ, „гдѣ объясняется, какъ надо понимать намъ нашу народность и что такое Словенство по отношенію къ Россіи. Народность наша состоитъ въ безпредѣльной преданности и повиновеніи Самодержавію, а Словенство западное не должно возбуждать въ насъ никакого сочувствія. Оно само по себѣ, а мы сами по себѣ. Мы симъ самымъ торжественно отъ него отрекаемся. Оно и не заслуживаетъ нашего участія, потому что мы безъ него устроили свое государство, безъ него страдали и возвеличились, а оно всегда пребывало въ зависимости отъ другихъ, не умѣло ничего создать и теперь окончило свое историческое существованіе. На основаніи всего этого Министръ желаетъ, чтобы профессора съ каѳедры развивали нашу народность не иначе, какъ по этой программѣ, и по повелѣнію Правительства. Это особенно касается профессоровъ: Словенскихъ нарѣчій, Русской Исторіи и Исторіи Русскаго законодательства. По прочтеніи этой бумаги Попечитель объявилъ, что онъ не сомнѣвается въ благонамѣренности нашей и въ готовности слѣдовать этому призыву; что онъ видитъ, какъ мы тронуты, и непремѣнно доведетъ это до свѣдѣнія Министра. Ректоръ Плетневъ счелъ нужнымъ поблагодарить Попечителя отъ имени Совѣта за довѣріе Правительства и увѣрилъ его во всеобщемъ усердіи. По выходѣ изъ Совѣта Попечителя наличные цензора тутъ же образовали чрезвычайное собраніе Комитета, который, не долго думая, поспѣшилъ запретить остроумную и совсѣмъ невинную статью противъ Словенофиловъ, написанную Сенковскимъ совершенно въ духѣ тѣхъ идей, какія за полчаса мы слышали въ Совѣтѣ. А три дня тому назадъ за такую же точно статью, напечатанную въ *Отечественныхъ Запискахъ*, Краевскій получилъ въ Третьемъ Отдѣленіи благодарность отъ имени Государя“ [177]).

О томъ, какъ принятъ этотъ циркуляръ въ Университетахъ Казанскомъ и Харьковскомъ, мы узнаемъ изъ письма И. И. Давыдова къ Погодину: „О циркулярѣ пишетъ Д. М. Перевощиковъ, что онъ читалъ его у Казанскаго Попечителя, и находитъ его мастерски написаннымъ. Харьковскій Университетъ прислалъ Министру адресъ благодарственный за циркуляръ, чрезъ посредство новаго попечителя Кокошкина. Этотъ адресъ представленъ Государю Императору“.

Но иное произошло въ Московскомъ Университетѣ. Отправляя этотъ циркуляръ къ Строганову, Уваровъ писалъ ему по Французски: „Посылая вашему сіятельству прилагаемую служебную бумагу, считаю долгомъ довѣрительно присоединить къ ней нѣсколько строкъ. Предметъ, къ которому она относится, очень тонкаго свойства и очень сложенъ, и потому необходимо нужно заявить прямо, какъ намѣренія, коими Его Величество одушевленъ, такъ и путь, предначертанный его мудростію и одинаково далекій отъ всякихъ крайнихъ мнѣній. Дѣло состоитъ въ томъ, чтобы упрочить идею и предостеречь отъ злоупотребленій, на каковыя могло бы соблазниться юношество, легко увлекаемое воображеніемъ къ принятію видимостей за сущность“. Вмѣстѣ съ тѣмъ Уваровъ предлагалъ Строганову созвать чрезвычайное засѣданіе Университетскаго Совѣта и приказать, чтобы бумага эта была прочитана въ его присутствіи. Въ заключеніи письма Уваровъ выражаетъ надежду, что Строгановъ, „усвоивъ себѣ смыслъ этой служебной бумаги, не преминетъ содѣйствовать успѣху мѣръ, которыя, въ сущности, *предупредительны* и принимаются съ тою цѣлію, чтобы устранена была всякая возможность прибѣгать потомъ къ мѣрамъ другого свойства“.

Одновременно съ этимъ письмомъ Уварова И. И. Давыдовъ писалъ Погодину: „Что̀ значитъ, душевно уважаемый Михаилъ Петровичъ, молчаніе ваше́—и что съ вами дѣлается? Министръ спрашивалъ, давно ли отъ васъ получалъ я грамотки, и поручилъ мнѣ засвидѣтельствовать вамъ свой привѣтъ. Видно, душа настроилась ко гласу Кліо: тогда не-

обходимо оставить на время житейскія дрязги. Въ Университетскій Совѣтъ посланъ секретный циркуляръ, по содержанію своему чрезвычайно важный, потому что онъ касается Русскаго ума и Русскаго сердца. Въ здѣшнемъ Университетѣ и въ Педагогическомъ Институтѣ онъ принятъ былъ съ восхищеніемъ. Любопытно знать, какое дѣйствіе произведетъ въ Москвѣ, въ сердцѣ Святой и Православной Руси. Вы вѣрно будете участникомъ въ выслушаніи этого циркуляра, какъ одинъ изъ дѣятелей Историческаго Общества. Потрудитесь увѣдомить, для сообщенія тому, кому это дѣло очень близко, и кто всю тяготу дѣла взялъ на свои рамена, какъ предстатель у Престола. Дай Богъ, чтобы раскрытіе истинно-Русскихъ началъ и истинно-Русской народности дало прозрѣніе слѣпотствующимъ! Къ чему Русскимъ быть Чехами или Сербами? Напротивъ, какъ сладостно произносить имя Русскаго, быть Русскимъ и по душѣ, и по сердцу".

Вскорѣ по полученіи этого письма Погодинъ написалъ Уварову что-то въ защиту Словенъ и получилъ за это дружескій укоръ отъ И. И. Давыдова. „Я радовался", писалъ онъ, — „что вы напослѣдокъ написали письмо къ графу Сергію Семеновичу. Только къ чему о Словенахъ? Вы, мой почтеннѣйшій товарищъ, не знаете ихъ вѣроломства и козней противъ насъ; въ противномъ случаѣ вы стали бы другое думать о нихъ и говорить. При личномъ свиданіи съ Графомъ вы все узнаете" [178]).

Строгановъ же, получивъ отъ Уварова приватное письмо, отвѣчалъ ему въ строго официальной формѣ, которая еще болѣе оттѣнила рѣзкій тонъ отвѣтнаго письма его: „Отношеніемъ вашего сіятельства, отъ 27 мая, сообщены мнѣ изложенныя вами и одобренныя Государемъ Императоромъ мысли о важномъ современномъ вопросѣ народнаго начала. Еслибы мнѣ въ одно время съ нимъ объявлено было Высочайшее повелѣніе о передачѣ вашего голоса ученому сословію Московскаго Университета въ томъ видѣ, въ какомъ оно было указано мнѣ въ частномъ Французскомъ письмѣ вашего сіятельства, то я не преминулъ бы донести о томъ Его Им-

ператорскому Величеству и всеподданнѣйше представить ему мое собственное мнѣніе объ этомъ странномъ и необычномъ способѣ касаться двусмысленными и неопредѣленными выраженіями до столь важнаго и щекотливаго вопроса. Но какъ отношеніемъ вашего сіятельства мнѣ предоставлено конфиденціально передать лицамъ, въ кругъ занятій коихъ входятъ преимущественно Словесность и Отечественная Исторія, положительное изложеніе видовъ Правительства о началахъ Русскаго Просвѣщенія, то я усумнился придерживаться строгому смыслу этого предложенія и дѣйствовалъ по сдѣланнымъ мнѣ указаніямъ или, лучше сказать, продолжалъ дѣйствовать такъ, какъ мнѣ казалось полезнымъ для блага ввѣреннаго мнѣ Университета еще съ тѣхъ поръ, какъ ваше сіятельство объявили мнѣ, что вопросъ о Словенской пропагандѣ далеко выходитъ изъ предѣловъ вашего вѣдомства..." *).

Между тѣмъ изъ всѣхъ Университетовъ, кромѣ Московскаго, въ Министерство Народнаго Просвѣщенія пришло извѣстіе о томъ, что приказаніе Министра исполнено, о чемъ Уваровъ и долженъ былъ доложить Государю [179]).

Посвященный во всѣ таинства Министерства и въ Петербургѣ враждуя противъ Строганова, И. И. Давыдовъ писалъ Погодину: „Окружную бумагу отъ Министра Московскій Попечитель еще держитъ у себя, но теперь принужденъ выполнить предписаніе высшаго начальства. Какъ онъ къ себѣ не примѣняетъ того, что дѣлаетъ самъ съ начальникомъ? Что̀, еслибъ кто-нибудь изъ его подчиненныхъ не выполнилъ его предписанія?" [180]). Письмо это было писано 10 іюля 1847 года, а 3 августа того же года Строгановъ получилъ письмо отъ графа А. Ѳ. Орлова, въ которомъ между прочимъ прочелъ слѣдующее: „Государь Императоръ, прочитавъ донесеніе вашего сіятельства къ Министру Народнаго Просвѣщенія, изволилъ признать оное въ высшей степени неприличнымъ и не соотвѣтствующимъ тѣмъ отношеніямъ, въ которыхъ обязанъ

*) *Жизнь и Труды М. П. Погодина.* С.-Пб. 1892. VI, 144—146.

находиться подчиненный къ своему начальнику. Его Величество Высочайше повелѣть мнѣ соизволилъ возвратить къ вамъ означенное, при семъ прилагаемое, донесеніе ваше, поставивъ вамъ на видъ, что вы никогда и ни подъ какимъ предлогомъ не должны были выходить изъ надлежащаго уваженія къ вашему начальнику; а съ тѣмъ вмѣстѣ вмѣнить вамъ въ обязанность, чтобы вы немедленно исполнили данное вамъ господиномъ дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтникомъ графомъ Уваровымъ, предварительно одобренное Его Императорскимъ Величествомъ, циркулярное предписаніе о Словенофилахъ". Въ заключеніи письма Строгановъ прочелъ: „Государь Императоръ соизволилъ повелѣть сообщить вамъ о вышеизложенномъ не черезъ статсъ-секретаря Танѣева и даже не черезъ непосредственнаго вашего начальника Министра Народнаго Просвѣщенія, но черезъ меня, единственно изъ уваженія къ особѣ вашей и той извѣстной преданности, которую вы всегда питали къ Его Императорскому Величеству" [181]). Освѣдомившись объ этомъ письмѣ Орлова, И. И. Давыдовъ не безъ радости писалъ Погодину: „Циркуляръ, вѣрно, уже прочтенъ въ Университетѣ. Досталось же извѣстному лицу за неисполненіе предписаній начальства. Здѣсь всѣ убѣждены, что послѣ этого извѣстная особа должна идти въ отставку. Такъ думаетъ даже братъ извѣстнаго лица. Дай Богъ! Мы съ вами порадуемся за астронома и другихъ тружениковъ, которые избавятся кошмара. Кромѣ жестокаго выговора, напоминанія о подчиненности, возвращено ему донесеніе его, какъ не дѣльное и дерзкое" [182]).

Вскорѣ послѣ того по Москвѣ разнесся слухъ, что Строгановъ оставляетъ попечительство. Къ сожалѣнію, на этотъ разъ слухъ оказался вѣренъ. 3 ноября 1847 года онъ обратился къ Государю со слѣдующимъ всеподданнѣйшимъ письмомъ: „Одно только сознаніе, что служеніе мое въ званіи попечителя Московскаго Учебнаго Округа не безполезно Отечеству, дало мнѣ силы на исполненіе въ продолженіе двѣнадцати лѣтъ всегда священной для меня воли Вашего Ве-

личества. Но это время довело меня до зрѣлаго убѣжденія, что понятія мои о службѣ Вашего Величества не могутъ сблизиться съ понятіями о ней Министра Народнаго Просвѣщенія. Опасаясь, что, при постоянномъ состязаніи съ графомъ Уваровымъ, я легко могу преступить границы, указанныя мнѣ служебными отношеніями, и, не чувствуя себя способнымъ оставаться безгласнымъ исполнителемъ его направленій, я прибѣгаю къ Вашему Императорскому Величеству съ всеподданнѣйшею просьбою уволить меня отъ должности попечителя Московскаго Учебнаго Округа и дозволить, оставаясь при другихъ занимаемыхъ мѣстахъ, продолжить еще на нѣкоторое время пребываніе мое въ Москвѣ, гдѣ удерживаетъ меня воспитаніе дѣтей моихъ".

Просьба эта была исполнена, и 20 ноября 1847 года состоялся Высочайшій указъ Правительствующему Сенату, въ которомъ начертано: „Нашего генералъ-адъютанта, генералъ-лейтенанта графа Строганова 1-го всемилостивѣйше увольняемъ, согласно его прошенію, отъ должности попечителя Московскаго Учебнаго Округа и отъ всѣхъ обязанностей по учебной части, съ оставленіемъ въ званіи генералъ-адъютанта, присутствующаго въ Правительствующемъ Сенатѣ и при прочихъ занимаемыхъ имъ должностяхъ" [183]). „Вы, безъ сомнѣнія", писалъ И. И. Давыдовъ Погодину,— „любопытствуете знать, какъ это случилось? Въ гордости и надменности своей Строгановъ думалъ, что его будутъ удерживать или что дадутъ ему безсрочный отпускъ. Но колебанія не было ни минуты, и немедленно дано приказаніе представить кандидата. Въ одинъ день данъ указъ объ отставкѣ прежняго, на другой назначенъ новый. Странная участь людей эгоистовъ: паденію ихъ радуются и тѣ, которые ни мало не участвуютъ въ дѣлахъ Университета. Всѣ повторяютъ одно и то же: миръ и благоденствіе старѣйшему храму наукъ! Что-то говоритъ Московская аристократія? Князь Сергій Михайловичъ Голицынъ, думаю, полагалъ, что тутъ нуженъ дѣйствительный тайный совѣтникъ или генералъ отъ кавалеріи? Какой пре-

красный урокъ гордости и невѣжеству! Какое прекрасное ободренiе терпѣливому усердiю и полезному служенiю!"

Къ чести человѣчества слѣдуетъ отмѣтить, что не всѣ, подобно Давыдову, злорадствовали паденiю Строганова.

Разставаясь съ графомъ Строгановымъ, Совѣтъ Московскаго Университета, „желая навсегда оставить въ памяти ревностные труды и заслуги на пользу сего Университета бывшаго попечителя Московскаго Учебнаго Округа генералъ-адъютанта графа Сергiя Григорьевича Строганова, изъявилъ единодушное всѣхъ своихъ членовъ желанiе имѣть его сiятельство въ числѣ почетныхъ членовъ сего Университета".

Вмѣстѣ съ тѣмъ профессора и студенты Московскаго Университета „почувствовали сердечную потребность выразить своему бывшему начальнику чувства своей благодарности. Когда объ этомъ благородномъ движенiи сердецъ узналъ графъ С. С. Уваровъ, то 18 февраля 1848 года представилъ Государю слѣдующую всеподданнѣйшую докладную записку: „Дошло до моего свѣдѣнiя, что по увольненiи бывшаго попечителя Московскаго Университета графа Строганова отъ сей должности, профессора считали приличнымъ изъявить бывшему начальнику свою благодарность и, въ отвѣтъ на отношенiе графа Строганова представили ему лично письменное излiянiе своихъ чувствъ. Студенты, увлеченные, вѣроятно, примѣромъ наставниковъ, согласились сперва сдѣлать бюстъ графу Строганову, потомъ положили заказать на свой счетъ альбомъ съ серебряными украшенiями и со внесенiемъ въ оный собственноручно имени каждаго студента. Въ Сводѣ Законовъ изображено: „Всѣ такъ называемыя приношенiя начальствующимъ лицамъ отъ обществъ и сословiй, какъ въ совокупности, такъ и отдѣльно, подъ какимъ бы то видомъ ни было, въ изъявленiе благодарности памятниками, выставленiемъ въ публичныхъ мѣстахъ портретовъ, адресами, вещами и денежными пожертвованiями, запрещаются". Между тѣмъ Ваше Императорское Величество изволите иногда допускать исключенiя отъ строгости вышеизложеннаго правила и разрѣ-

шать подобные подарки. Принимая въ уваженіе, что въ настоящемъ случаѣ молодежь слѣдовала нѣкоторымъ образомъ примѣру наставниковъ, и что въ первые дни своего управленія трудно было новому начальнику соразмѣрить дѣйствіе тѣхъ и другихъ съ сущностью закона; съ другой стороны, находя, что не слѣдовало бы безъ предварительнаго разрѣшенія Вашего Величества допускать учащееся юношество къ открытію подписки и складчинѣ, и вообще къ дѣйствіямъ, какъ будто происходящимъ отъ самобытнаго сословія студентовъ, тогда, когда всѣ мѣры Правительства клонятся къ тому, чтобы ни подъ какимъ видомъ не дозволять подобнымъ мечтамъ овладѣть умами юношества, я осмѣливаюсь представить Вашему Величеству, не благоугодно ли будетъ на сей разъ позволить, чтобы альбомъ былъ доставленъ графу Строганову не чрезъ студентовъ самихъ, а частнымъ образомъ чрезъ Попечителя; между тѣмъ внушить сему послѣднему, что неправильность допущенныхъ распоряженій не должна впредь ни въ какомъ случаѣ быть терпима, съ тѣмъ, чтобъ онъ это замѣчаніе къ надлежащему наблюденію передалъ Ректору, Профессорамъ и Инспектору студентовъ, но безъ внесенія въ послужные списки". Альбомъ былъ готовъ только въ концѣ 1848 года, и 16 декабря Д. П. Голохвастовъ писалъ Уварову: „Альбомъ уже изготовленъ и 15 декабря доставленъ мною лично его сіятельству графу Сергію Григорьевичу. Кромѣ заглавнаго листа, безъ всякаго эпиграфа, въ означенномъ альбомѣ заключаются три рисунка, представляющіе: а) зданіе факультетской клиники Московскаго Университета, что на Рождественкѣ, б) новый домъ Университета, в) здѣшній Дворянскій Институтъ и собственноручныя подписи ста восьмидесяти-двухъ студентовъ и кандидатовъ. Подписываніе своихъ именъ и фамилій студентами происходило, по распоряженію моему, въ квартирѣ Инспектора".

Это изъявленіе благородныхъ чувствъ всего ученаго сословія произвело непріятное впечатлѣніе въ министерскихъ сферахъ, и эхомъ ихъ были слѣдующія строки И. И. Давы-

дова Погодину: „Мы ожидали съ нетерпѣніемъ изъ Москвы двухъ бумагъ: увѣдомленія графа Строганова о своемъ увольненіи и благодарственнаго адреса отъ Университета, написаннаго Шевыревымъ. Пишутъ, что Ректоръ, Инспекторъ и Шевыревъ при чтеніи адреса проливали горькія слезы; ужели это не горькая насмѣшка? Объ Инспекторѣ ни слова; онъ давно измѣнилъ графу Сергію Семеновичу, который поднялъ его на ноги: а Ректоръ, а Шевыревъ? Послѣ этого я ожидаю и отъ васъ цѣлое ведро слезъ" [184]).

Западники и Словенофилы одинаково сожалѣли объ отставкѣ Строганова. „Я человѣкъ посторонній Московскому Университету", писалъ Бѣлинскій Кавелину,— „а вѣсть объ отставкѣ Строганова огорчила меня даже помимо моихъ отношеній къ вамъ, Грановскому, Коршу. Это событіе прискорбно для всѣхъ друзей общаго блага и просвѣщенія въ Россіи. О васъ, господа, я и не говорю: все это время не было дня, чтобъ я не думалъ объ этомъ, и это думанье вовсе не веселое и не легкое. Соколъ съ мѣста, ворона на мѣсто. Тяжело и грустно! Какъ мы ни волнуемся, а придетъ же время, когда и кости наши обратятся въ пыль.

И будетъ спать въ землѣ безгласно
То сердце, гдѣ кипѣла кровь,
Гдѣ такъ безумно, такъ напрасно
Съ враждой боролася любовь" [185]).

„Строгановъ вышелъ въ отставку", извѣщалъ тотъ же Бѣлинскій Анненкова,— „и расказываютъ, вотъ по какому случаю. Онъ получилъ именное секретное предписаніе (что-то въ родѣ того, какъ носятся темные слухи, чтобы наблюдать надъ Словенофилами) и отвѣчалъ Уварову, что, находя исполненіе этого предписанія противнымъ своей совѣсти, онъ скорѣе готовъ выйти въ отставку. Разумѣется, Уваровъ поспѣшилъ изложить это дѣло какъ явный бунтъ, и Строгановъ былъ уволенъ. На мѣсто его утвержденъ... Голохвастовъ. То и другое большое несчастіе для Московскаго Университета" [186]).

Словенофилы, въ лицѣ Хомякова, тоже по поводу отставки Строганова выразили сожалѣніе. „Для Университета",

писалъ Хомяковъ Попову, — „думаю, отставка Строганова и особенно назначеніе его преемника мало чѣмъ легче холеры. Жаль мнѣ alma mater. Плохо ей придется отъ новаго опекуна. Выместитъ онъ на ней долгое пренебреженіе, въ которомъ онъ находился“ [187]).

Оставя постъ попечителя, графъ С. Г. Строгановъ сохранилъ званіе предсѣдателя Императорскаго Московскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ. Секретарь Общества О. М. Бодянскій (14 декабря 1847 года) писалъ Сахарову: „О перемѣнахъ по Университету нашему вы уже изъ газетъ знаете. Да, переворотъ крутый, и многіе уже пошатнулись, а другіе даже падоша ницъ. Теперь у насъ все кипитъ и бродитъ; что-то будетъ! Общество стоитъ невредимо“.

Въ 1879 году, приготовляя къ печати переписку Бодянскаго съ Сахаровымъ для помѣщенія оной въ моей книжкѣ *Русскіе Палеологи сороковыхъ годовъ*, я обратился за коментаріемъ вышеприведенныхъ строкъ къ К. Д. Кавелину, и въ отвѣтъ получилъ отъ него слѣдующее: „Перемѣна тогдашняго попечителя Московскаго Учебнаго Округа графа С. Г. Строганова произвела тогда большую сенсацію и въ Университетѣ, и въ цѣлой Москвѣ. Съ графомъ Строгановымъ кончился блестящій періодъ Московскаго Университета, начавшійся съ 1835 года, когда началъ дѣйствовать новый университетскій уставъ, пріѣхала масса новыхъ профессоровъ, приготовившихся къ каѳедрѣ за границей... Графъ Строгановъ поддерживалъ въ Университетѣ западную партію“ [188]).

Къ чести и Погодина слѣдуетъ замѣтить, что онъ, враждуя съ Строгановымъ, когда тотъ былъ въ силѣ, не злорадствовалъ его паденію. Въ то время, когда положеніе Строганова уже колебалось, Погодинъ совершенно неожиданно получаетъ отъ него слѣдующую записку: „Полагая, что вы не безъ удовольствія получите вами давно затерянную часть сочиненій Шлецера съ его собственноручными замѣтками, я спѣшу доставить вамъ эту книгу, случайно, на дняхъ, попавшую мнѣ въ руки“.

По поводу этихъ строкъ въ *Дневникѣ* Погодина мы находимъ слѣдующія записи:

Подъ *23 октября 1847 года.* „Письмо неожиданное отъ графа Строганова, который нашелъ гдѣ-то мою книгу и возвращаетъ. Отвѣчалъ благодарностію. Что это значитъ".

— *26* — — „Къ Строганову. Почти не засталъ."

— *30* — — „Къ Строганову, который осыпаетъ ласками".

На другой же день Погодинъ извѣщаетъ Шевырева: „Былъ у графа Строганова, и принятъ со всѣми возможными знаками ласки и пріязни". Но въ томъ же письмѣ Погодина читаемъ и слѣдующее: „Взялъ ли ты для студенческой библіотеки мои *Изслѣдованія и Отрывки* и *Москвитянина.* То-то, что мы пренебрегаемъ слишкомъ даже законными дѣйствіями, а противъ насъ всѣ беззаконныя въ ходу". Но когда Погодинъ сообщилъ о своихъ отношеніяхъ къ Строганову И. И. Давыдову, то тотъ писалъ: „Нѣжности, оказанныя вамъ графомъ Строгановымъ, принадлежатъ къ тысячѣ несообразностей и несовмѣстностей, антилогическихъ и антипсихологическихъ, которымъ мы бывали свидѣтелями и которыя сами испытывали; а насъ съ вами сколько разъ *онъ* обижалъ и оскорблялъ. Такъ можно ли довѣрять этой спокойной наружности, подъ которою таится гибельный ядъ?"

Извѣстіе объ отставкѣ графа Строганова Погодинъ получилъ на обѣдѣ у оберъ-полицеймейстера Лужина, и вотъ что записалъ, подъ 25 ноября 1847 года, въ своемъ *Дневникѣ:* „Не обрадовался и вспомнилъ выраженіе лѣтописи о слезахъ народа по великомъ князѣ добромъ и худомъ. Можетъ быть, и хуже будетъ. А хорошій пригласилъ бы меня въ помощники, и я могъ бы быть ему полезенъ. Впрочемъ буде воля Божія".

Въ позднѣйшихъ воспоминаніяхъ Погодина мы находимъ слѣдующую характеристику графа С. Г. Строганова какъ попечителя Московскаго Учебнаго Округа: „Этотъ попечитель дѣятельный и совершенно преданный своей обязанности. Съ утра до вечера онъ занимался Университетомъ по крайнему

своему разумѣнію. Онъ умѣлъ возбудить къ себѣ уваженіе и даже страхъ, чему, разумѣется, содѣйствовало его имя, значеніе, сила, богатство. Профессоры и всѣ чиновники въ округѣ, сознавая его бдительное наблюденіе, старались быть исправными. Это очень важно. Съ студентами обходился онъ очень хорошо, входилъ въ ихъ состояніе, помогалъ имъ, былъ снисходителенъ, чѣмъ и пріобрѣлъ ихъ расположеніе. Много помогъ ему въ этомъ отношеніи инспекторъ Платонъ Степановичъ Нахимовъ, очень способный для исполненія этой должности. Система же его оставалась тогда тайною для большинства, и слѣдовательно, не могла подавать повода къ его обвиненію. На профессоровъ онъ смотрѣлъ какъ на орудія, и покровительствовалъ только своимъ, то-есть, привезеннымъ съ собою молодымъ путешественникамъ, съ которыми думалъ начать новую эру въ Университетѣ. Всѣхъ старыхъ по тѣмъ или другимъ причинамъ онъ старался стѣснять или удалять: меня, Дядьковскаго, Павлова, Перевощикова, Давыдова, Шевырева, Кубарева. Молодые профессоры, вѣроятно, содѣйствовали ему въ этомъ настроеніи и поддерживали его, но сами они не долго оставались на этой степени, да и онъ не умѣлъ поддержать въ нихъ того жара, съ которымъ они начали свое поприще. Объ нихъ впрочемъ въ другомъ мѣстѣ.

Ни одной черты добродушія въ графѣ Строгановѣ я никогда не подмѣтилъ; кажется, это человѣкъ сухой, эгоистъ, аристократъ и систематикъ.

Гимназіи при графѣ Строгановѣ находились въ удовлетворительномъ положеніи, потому что онъ занимался ими еще больше, чѣмъ Университетомъ. Онъ имѣлъ строгій надзоръ за употребленіемъ казенныхъ денегъ, и при немъ тратить ихъ попусту для правленія было гораздо труднѣе.

Выбирать людей онъ не имѣлъ способности, и выборы его большею частью были не только неудачные, но даже нелѣпые. Напримѣръ, я, въ началѣ, при хорошихъ еще съ нимъ отношеніяхъ, приставалъ къ нему о порученіи Венелину Словенскихъ нарѣчій, а онъ доставилъ ему мѣсто инспектора

въ Екатериненскомъ женскомъ институтѣ, къ чему онъ былъ совершенно неспособенъ. Послѣ онъ представилъ туда Брашмана, который одной своею фигурою, поселясь въ воображеніи молодыхъ дѣвушекъ, долженъ былъ, кажется, испортить нѣсколько поколѣній, имѣющихъ отъ нихъ произойти. Въ Воспитательный Домъ онъ представилъ Армфельда, также не очень пригоднаго по своей распущенности и лѣнности.

Въ Дворянскомъ Институтѣ Ржевскій, провинившійся въ другомъ отношеніи, въ типографіи Грековъ, не оправдали его ожиданій.

Въ Университетѣ графъ Строгановъ не умѣлъ отличить искренней преданности наукѣ отъ шарлатанства и своекорыстныхъ цѣлей.

Отчужденіе его отъ меня смѣю считать несчастіемъ для Русскаго Просвѣщенія, ибо, оставаясь посредникомъ между имъ и Министромъ, съ полнымъ знаніемъ дѣла, усердіемъ и безпристрастіемъ, я могъ бы принести много пользы.

Обвиню и себя, что не хотѣлъ сдѣлать ни малѣйшаго себѣ насилія, и шелъ всегда напроломъ. Надо бы пожертвовать сколько-нибудь своею гордостію и поприладиться, ради общей пользы..."

„Послѣ своего увольненія", свидѣтельствуетъ Погодинъ,— „графъ С. Г. Строгановъ прожилъ въ Москвѣ въ совершенномъ уединеніи, оставленный почти всѣми. Разумѣется, при его гордости это было очень тяжело, и желчь у него копилась..." И. И. Давыдовъ на это замѣтилъ: „Все, что вы пишете о бывшемъ попечителѣ, есть кара нравственнаго закона, отъ котораго никто укрыться не можетъ. Если въ немъ не исчезло собственное сознаніе, то какимъ онъ представляется самъ себѣ? Право неимовѣрно, что̀ мы съ вами пережили. Да вамъ еще легче было пережить этотъ періодъ: вы прежде сами сочувствовали графу Строганову и многаго отъ него ожидали, хотя довольно посмотрѣть на него и поговорить съ нимъ нѣсколько минутъ, чтобы разгадать, что̀ это за птица! Не помяни, Господи, грѣховъ

нашей юности! Такъ вы, тогда еще юные, ошибались и увлекались".

Въ концѣ концовъ И. И. Давыдовъ писалъ Погодину (отъ 6 декабря 1847 года:) „Послѣ праздниковъ едва ли не соберется въ Москву Министръ, чтобъ поговорить съ Университетомъ, по случаю новаго начальника, и дать полезные совѣты молодымъ профессорамъ" [189]).

Убытки отъ *Москвитянина* и траты по Древлехранилищу заставили Погодина мечтать о службѣ. И вотъ, по выходѣ въ отставку Строганова, Погодинъ сталъ безуспѣшно хлопотать о занятіи мѣста помощника попечителя Московскаго Учебнаго Округа. Въ *Дневникѣ* его мы находимъ слѣдующія записи:

Подъ *11 января 1848 г.*: „Мѣсто поправило бы мнѣ обстоятельства".

— *14* — — „Снегиревъ о томъ и о семъ, и ввернулъ между прочимъ, что помощникомъ представленъ Коншинъ".

Между тѣмъ А. А. Григорьевъ писалъ Погодину: „Распространившійся кое-гдѣ слухъ подаетъ всѣмъ преданнымъ вамъ пріятную надежду поздравить помощникомъ попечителя и Университетъ съ новымъ бытіемъ". Получивъ это извѣстіе, Погодинъ отправился къ Г. В. Грудеву „узнать, если основаніе въ слухахъ о помощничествѣ" и узналъ, что *никакого*. „Вотъ тебѣ и разъ", съ отчаяніемъ записываетъ Погодинъ въ *Дневникѣ* своемъ (27 января 1848), „горько было, и горечь излилась въ рѣчи. Съ горестію думалъ дома о своемъ положеніи. Мраченъ горизонтъ".

Тогда Погодинъ обратился къ И. И. Давыдову съ просьбою похлопотать за него у Министра о полученіи желаемаго мѣста; но Давыдовъ (9 февраля 1848 г.) отвѣчалъ ему: „Мѣсто, о которомъ вы пишете, по мнѣнію графа Сергія Семеновича, едва ли могло бы васъ успокоить. Должность помощника Попечителя административная, исполнительная. Нельзя предполагать, чтобъ Попечитель согласился жить головою своею помощника. Въ административномъ же отноше-

нія и попечитель, и помощникъ его стали бы прихрамывать, кажется, даже на одну ногу. Что жъ бы изъ этого вышло? Впрочемъ, это дѣло не рѣшится до пріѣзда Графа въ Москву. И все-таки скажу вашими словами: *это не ваша миссія. Исторія, Исторія...* Да, Исторія да будетъ вашею звѣздою путеводною! Не должно вамъ сходить съ вашего поприща".

Въ то время, когда Погодинъ такъ беззуспѣшно хлопоталъ о занятіи мѣста помощника попечителя, въ *Сѣверной Пчелѣ* обратила на себя вниманіе опечатка, вкравшаяся въ Высочайшій приказъ о назначеніи преемника Строганову: „Высочайшимъ приказомъ по гражданскому вѣдомству, 25 ноября, дѣйствительный статскій совѣтникъ Голохвастовъ назначенъ попечителемъ Московскаго Учебнаго Округа, *и помощникъ попечителя того округа, статскій совѣтникъ Коркуновъ, утвержденъ въ званіи адъюнкта Отдѣленія Русскаго языка о Словесности.*

Указывая на эту опечатку, И. И. Давыдовъ писалъ Погодину: „*Сѣверная Пчела*, вѣроятно, васъ переполошила ошибочнымъ наименованіемъ помощника попечителя. Въ № 276 ошибка исправлена и оговорена". Вмѣстѣ съ тѣмъ Давыдовъ выражаетъ свое душевное сочувствіе новому попечителю: „Поздравляю васъ, душевно уважаемый Михаилъ Петровичъ, съ праздникомъ Университета, общаго нашего святилища. Теперь уже и новый начальникъ назначенъ, какъ я полагаю, по сердцу членамъ Университета. Ученыхъ учить—портить; имъ нуженъ не опекунъ, не дядька, а посредникъ между ими и Министромъ. Таковъ будетъ новый попечитель". Въ томъ же письмѣ Давыдова мы читаемъ: „Я давно поздравлялъ Д. П. Голохвастова. О немъ писали, будто онъ намѣренъ оставить Министерство Просвѣщенія, но теперь, полагаю, не оставитъ его и не сойдетъ съ того поприща, гдѣ онъ такъ взысканъ и возвеличенъ. Совѣтую вамъ побывать у него, разговориться о дѣлахъ Университета и показать, что нужно Университету — именно одно благодушіе и одушевленіе.

Этимъ прославились Шуваловы, Муравьевы, Уваровы; а на противоположной сторонѣ стоятъ Магницкіе, Руничи, Писаревы и... многіе другіе".

XXIX.

27 февраля 1848 года С. Т. Аксаковъ писалъ Погодину: „Въ Парижѣ революція. Франція—республика. Луи-Филиппъ бѣжалъ, тоже Гизо и пр. Тюльери, Палерояль сожжены. Дошли ли до васъ такія новости?" Въ тотъ же день и Шевыревъ сообщалъ Погодину: „Слышалъ ли ты, что произошло въ Парижѣ? Ужасъ! Король прогнанъ и скрывается. Палерояль сожженъ. Парижъ опять вверхъ дномъ. 21 февраля эта вѣсть черезъ телеграфъ дошла до Государя... Что будетъ въ Европѣ?" [190]).

Извѣстіе это застигло Погодина въ то время, когда онъ писалъ статью *Объ отношеніяхъ Италіи*, которая, по его собственному сознанію, „очень хороша съ важными истинами". „Въ среду", пишетъ онъ,—„окончилъ статью, какъ вдругъ извѣстіе, что во Франціи республика... Novus nascitur ordo!" [191]).

Это потрясающее событіе произвело у насъ сильное впечатлѣніе. „Что дѣлается во Франціи", писалъ митрополитъ Филаретъ къ своему Лаврскому намѣстнику Антонію,—„теперь уже читается въ *Вѣдомостяхъ*. Съ одной стороны оправданія Господни явишася. Филиппъ корону, повѣренную Карломъ для храненія, взялъ себѣ: и принужденъ отдать. Оттолкнулъ наслѣдника: и его наслѣдника оттолкнули. Мятежники 1830 г., пріятели Гизо, напали на министерскій домъ Полиньяка: мятежники 1848 года напали на министерскій домъ Гизо, тотъ же самый. Но затѣмъ горе Франціи, и, вѣроятно, горе Европѣ! Господь да помилуетъ Россію" [192]). „Ну вотъ", писалъ И. С. Аксаковъ князю Д. А. Оболенскому,—„и настали событія, отъ которыхъ духъ захватываетъ! Въ какое время живемъ мы: въ очію совершается Исторія, ощупью слышишь великія судьбы міра! И кто бы могъ ожидать этого. Теперь-

то, когда весь Западъ отрекается отъ всѣхъ началъ, которыми управлялся во всю свою Исторію, когда онъ такъ запутался въ лабиринтѣ своихъ умствованій, что и выйти не можетъ, теперь-то выростаетъ огромное значеніе Россіи и всякій пойметъ, что одно спасеніе намъ въ нашей самостоятельности. Теперь дѣло обращенія къ самимъ себѣ будетъ гораздо легче: не за что ухватиться на Западѣ, все кругомъ раскачалось и качается. Великое время для насъ. Уничтожили они тамъ себѣ аристократовъ и вообще праздный богатый классъ, а теперь, я самъ читалъ въ одной газетѣ, взываютъ къ богатымъ, чтобы они продолжали свою роскошную, развратную жизнь, ибо иначе сотни тысячъ работниковъ останутся безъ хлѣба. Тамъ, при развитіи промышленности мануфактурной, нельзя иначе. Отвратительно сердятся Нѣмцы и въ то же время смѣшны. Говорятъ, что въ княжествѣ Рейсъ смущеніе, и что Правительство увеличило войско восьмью человѣками. Правда ли? Прошу покорно теперь заниматься Сенатомъ и писать стихи! Въ Москвѣ думаютъ, что Государь надѣнетъ скоро или позволитъ носить Русское платье" [193]).

Застигнутый политическою бурею въ чужихъ краяхъ, Жуковскій писалъ въ Москву къ А. Я. Булгакову: „Что скажешь о скачкѣ по желѣзной дорогѣ политическаго міра? Что сдѣлалось въ послѣдніе двѣнадцать дней! Бывало, такія событія происходили въ теченіе вѣковъ. Нынѣ хронологія перемѣнилась. Дни стали вѣкомъ. Это значитъ, что скоро наступитъ вѣчность... Россія есть теперь убѣжище покоя. Сохрани Богъ Царя и укрѣпи въ рукѣ его Самодержавіе! Посмотрѣвъ въ глаза этой свободѣ, убѣждаешься въ томъ, какое твердое народное благо можетъ быть устроено на фундаментѣ Самодержавія; этотъ фундаментъ у насъ есть, нашъ Самодержавный Строитель можетъ еще спокойно и самобытно строить Русское зданіе великаго царства по плану Божіей правды... Всѣ Русскіе теперь крѣпче, нежели когданибудь, должны слиться въ одну силу съ Царемъ своимъ..." [194]).

И вотъ съ высоты престола раздалось по Россіи:

Божіею Милостію,
Мы, Николай Первый,
Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій,
и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ всенародно:

Послѣ благословеній долголѣтняго мира Западъ Европы внезапно взволнованъ нынѣ смутами, грозящими ниспроверженіемъ законныхъ властей и всякаго общественнаго устройства.

Возникнувъ сперва во Франціи, мятежъ и безначаліе скоро сообщились сопредѣльной Германіи и, разливаясь повсемѣстно съ наглостію, возраставшею по мѣрѣ уступчивости правительствъ, разрушительный потокъ сей прикоснулся, наконецъ, и союзныхъ намъ Имперіи Австрійской и Королевства Прусскаго. Теперь, не зная болѣе предѣловъ, дерзость угрожаетъ, въ безуміи своемъ, и Нашей, Богомъ Намъ ввѣренной, Россіи.

Но да не будетъ такъ!

По завѣтному примѣру Православныхъ Нашихъ предковъ, призвавъ въ помощь Бога Всемогущаго, Мы готовы встрѣтить враговъ Нашихъ, гдѣ бы они ни предстали, и, не щадя Себя, будемъ, въ неразрывномъ союзѣ съ *Святою* Нашею *Русью*, защищать честь имени Русскаго и неприкосновенность предѣловъ Нашихъ.

Мы удостовѣрены, что всякій Русскій, всякій вѣрноподданный Нашъ отвѣтитъ радостно на призывъ своего Государя; что древній нашъ возгласъ: *за Вѣру, Царя и Отечество* и нынѣ предукажетъ намъ путь къ побѣдѣ, и тогда, съ чувствомъ благоговѣйной признательности, какъ теперь въ чувствахъ святаго на Него упованія, мы всѣ вмѣстѣ воскликнемъ: *Съ нами Богъ! разумѣйте языцы и покоряйтеся: яко съ нами Богъ!*

Данъ въ С.-Петербургѣ въ 14-й день марта мѣсяца, въ лѣто отъ Рождества Христова 1848-е, Царствованія же Нашего двадцать-третіе.

На подлинномъ собственно Его Императорскаго Величества рукою подписано:

Николай.

Вслѣдъ за Царемъ раздался, по древнему чину, и гласъ помазавшаго его на Царство Святителя:

„Когда темнѣетъ на дворѣ: усиливаютъ свѣтъ въ домѣ. Береги, Россія, и возжигай сильнѣй твой домашній свѣтъ: потому что за предѣлами твоими, по слову пророческому, *тьма покрываетъ землю, и мракъ на языки* (Иса. LX. 2). *Шаташася языцы, и людіе поучишася тщетнымъ* (Пс. II. 1). Переставъ утверждать государственныя постановленія на славѣ и власти Того, Кѣмъ царіе царствуютъ, они уже не умѣли ни чтить, ни хранить царей. Престолы стали тамъ нетверды; народы объюродили. Не то, чтобы уже совсѣмъ не стало разумѣвающихъ: но дерзновенное безуміе взяло верхъ и попираетъ малодушную мудрость, не укрѣпившую себя премудростію Божіею. Изъ мысли о народѣ выработали идолъ: и не хотятъ понять даже той очевидности, что для столь огромнаго идола недостанетъ никакихъ жертвъ. Мечтаютъ пожать миръ, когда сѣютъ мятежъ. Не возлюбивъ свободно повиноваться законной и благотворной власти царя, присуждены раболѣпствовать предъ дикою силою своевольныхъ скопищъ. Такъ твердая земля превращается тамъ въ волнующееся море народовъ, которое частію поглощаетъ уже, частію грозитъ поглотить учрежденія, законы, порядокъ, общественное довѣріе, довольство, безопасность.

„Но благословенъ Запрещающій морю (Матѳ. VIII, 26)! Для насъ еще слышенъ въ событіяхъ Его гласъ: *до сего дойдеши, и не прейдеши* (Іов. XXXVIII. 11). Крѣпкая благочестіемъ и самодержавіемъ Россія стоитъ твердо и спокойно, подобно каменной горѣ, у подножія которой *сокрушаются волны моря*. Она спокойна, потому что державная рука Помазанника Божія держитъ ея миръ...

„*Съ нами Богъ!* да взываетъ каждый изъ насъ заедино съ Благочестивѣйшимъ Самодержцемъ нашимъ. *Съ нами*

Богъ благодатію Православныя Вѣры. Съ нами Богъ благодатнымъ даромъ благословеннаго наслѣдственнаго Самодержавія...

„*Съ нами Богъ*, вѣрные Богу и Царю, Россіяне! Въ Богѣ наша крѣпость. Въ Немъ надежда. Отъ Него миръ, и если нужно будетъ, отъ Него побѣда. Аминь“ [195]).

„Слава Государю“, писалъ высокопреосвященный Иннокентій Погодину,—„который, какъ опытный кормчій, является твердъ и благодушенъ“.

Счастливый жребій быть выразителемъ чувствъ народныхъ въ то страшное время выпалъ на долю одного изъ героевъ Бородина, нашего знаменитаго писателя князя П. А. Вяземскаго. *Святая Русь* его возбуждала и возбуждаетъ, и уповаемъ, что еще долго, долго будетъ возбуждать сердечный трепетъ:

Когда народнымъ бурямъ внемлю
И съ тайнымъ трепетомъ гляжу,
Какъ Божій гнѣвъ караетъ землю
Предавъ народы мятежу...
О, какъ въ тѣ дни борьбы мятежной
Еще любовнѣй и сильнѣй
Я припадаю съ лаской нѣжной
На лоно матери моей!..
Какъ я люблю твое значенье
Въ земномъ, всемірномъ бытіи,
. . . .
. . . .
Мнѣ святы всѣ твои скрижали,
. . . .
. . . .
. . . .
Мнѣ святы старины могилы
И дней грядущихъ колыбель
И наша Церковь . . . .
. . . .
И онъ, Царей престолъ наслѣдный
. . . .
. . . .
. . . .
Мнѣ святъ языкъ нашъ величавый—
Столѣтья въ немъ отозвались;
. . . .
. . . .

На немъ мы призываемъ Бога;
Имъ братья мы семьи одной
И у послѣдняго порога
На немъ прощаемся съ землей.
Святая Русь!. . . . .
О, будь всегда, какъ и до нынѣ,
Ковчегомъ нашимъ подъ грозой,
И сердцу Русскому святыней,
И нашей силой предъ враждой [196]).

Стихи эти произвели сильное впечатлѣніе на томящагося среди всѣхъ ужасовъ революціи на чужбинѣ Жуковскаго, и онъ излилъ свои чувства въ большомъ письмѣ къ автору: „Вяземскій! какъ тронули меня при видѣ всего этого, столь болѣзненнаго и отвратительнаго, твои стихи: я не могъ читать ихъ безъ слезъ и не могу иначе перечитывать. Твои стихи не поэзія, но чистая правда. Но что же поэзія, какъ не чистая, высшая правда? Твои стихи *правда*, потому что въ нихъ просто, вѣрно, безъ всякой натяжки, выражается то, что глубоко живетъ въ душѣ, не подлежитъ произвольному умствованію, не требуетъ никакихъ доказательствъ разума, что живетъ въ душѣ какъ всякая Божія истина, не изъ ума человѣческаго исходящая, потому именно гордостію его отвергаемая, что она внѣ его существуетъ... Твои стихи — поэтическій крикъ души, производятъ очаровательное дѣйствіе въ присутствіи чудовищныхъ происшествій нашего времени. *Святая Русь*—какое глубокое значеніе получаетъ это слово теперь..., когда... святое утрачено... Между тѣмъ, наша звѣзда, *Святая Русь*, сіяетъ высоко, сіяетъ въ сторонѣ... *Святая Русь*—это слово ровесникъ христіанской Россіи... и никогда не потеряетъ своего глубокаго смысла, хотя и вошло въ разрядъ обыкновенностей. Скажу мимоходомъ, что я выше всего ставлю эти такъ называемыя обыкновенности: они въ языкѣ и жизни то же, что воздухъ, невидимо насъ окружающій, безъ котораго ни дышать, ни жить не возможно... Въ выраженіи *Святая Русь* отзывается вся наша особенная Исторія; это имя Россія ведетъ отъ Крещатика..." Обращаясь къ Европѣ, Жуковскій пишетъ: „Дерзкое непризнаніе участія

всевышней власти въ дѣлахъ человѣческихъ выражается во всемъ, что теперь происходитъ въ собраніяхъ народныхъ. Эгоизмъ и мертвая матеріальность царствуютъ. Чего тутъ ожидать живого? Какое человѣческое благо можетъ быть построено на такомъ фундаментѣ? Вѣра въ святое исчезла— печальный результатъ реформаціи" [197]).

Между тѣмъ, по свидѣтельству Жуковскаго, „гроза становится все грознѣе; тучи подходятъ ближе и ближе. Того и гляди, что вспыхнетъ война по всей Германіи, внѣшняя и внутренняя... Въ Россіи есть такъ еще много святого, котораго и слѣдовъ не осталось въ этой Германіи, раздавленной грузомъ своей цивилизаціи" [198]).

Изъ Петербурга И. И. Давыдовъ писалъ Погодину: „И внѣшнія, внезапныя событія, и внутреннія заботы и волненія духа такъ поразили всѣхъ насъ, что обыкновенный порядокъ дѣлъ измѣнился, и не можешь сообразить, *откуда мнѣ сіе*. Богъ и Государь вотъ наша надежда, ограда въ наше настоящее и будущее. Боже Всемогущій! Сохрани и укрѣпи здравіемъ Великаго Самодержца нашего! Въ этой тоскѣ и душевной травлѣ едва можешь передать ежедневныя происшествія и то нескладно, кое-какъ" [199]).

„До какой поры", писалъ Жуковскій Плетневу,—„мы дожили! Право, невольно завидуешь достигнувшимъ вѣчнаго успокоенія. Что впереди ждетъ Европу?.. Главное бѣдствіе въ томъ, что во всеобщемъ волненіи нѣтъ нигдѣ пріюта мирному человѣку. И это называется свободою! При старомъ порядкѣ, въ тюрьмѣ было больше свободы и счастія. Человѣка считали человѣкомъ и охраняли его личность. Теперь, помчавшись за идеею человѣчества, на пути губятъ всякаго человѣка безъ разбора. Итакъ, для воплощенія фантома, надобно истребить всѣ недѣлимыя, надъ трупами которыхъ возсядетъ идея, изъ нихъ образовавшаяся? Вотъ куда повлекли разнузданныя страсти и безвѣріе" [200]).

„Въ какое время мы живемъ", восклицаетъ Погодинъ,— „тяжело молчать. Исторія есть для меня и убѣжище"; а по-

На немъ мы призываемъ Бога;
Имъ братья мы семьи одной
И у послѣдняго порога
На немъ прощаемся съ землей.
Святая Русь!. . . . .
О, будь всегда, какъ и до нынѣ,
Ковчегомъ нашимъ подъ грозой,
И сердцу Русскому святыней,
И нашей силой предъ враждой [196]).

Стихи эти произвели сильное впечатлѣніе на томящагося среди всѣхъ ужасовъ революціи на чужбинѣ Жуковскаго, и онъ излилъ свои чувства въ большомъ письмѣ къ автору: „Вяземскій! какъ тронули меня при видѣ всего этого, столь болѣзненнаго и отвратительнаго, твои стихи: я не могъ читать ихъ безъ слезъ и не могу иначе перечитывать. Твои стихи не поэзія, но чистая правда. Но что же поэзія, какъ не чистая, высшая правда? Твои стихи *правда*, потому что въ нихъ просто, вѣрно, безъ всякой натяжки, выражается то, что глубоко живетъ въ душѣ, не подлежитъ произвольному умствованію, не требуетъ никакихъ доказательствъ разума, что живетъ въ душѣ какъ всякая Божія истина, не изъ ума человѣческаго исходящая, потому именно гордостію его отвергаемая, что она внѣ его существуетъ... Твои стихи— поэтическій крикъ души, производятъ очаровательное дѣйствіе въ присутствіи чудовищныхъ происшествій нашего времени. *Святая Русь*—какое глубокое значеніе получаетъ это слово теперь..., когда... святое утрачено... Между тѣмъ, наша звѣзда, *Святая Русь*, сіяетъ высоко, сіяетъ въ сторонѣ... *Святая Русь*—это слово ровесникъ христіанской Россіи... и никогда не потеряетъ своего глубокаго смысла, хотя и вошло въ разрядъ обыкновенностей. Скажу мимоходомъ, что я выше всего ставлю эти такъ называемыя обыкновенности: они въ языкѣ и жизни то же, что воздухъ, невидимо насъ окружающій, безъ котораго ни дышать, ни жить не возможно... Въ выраженіи *Святая Русь* отзывается вся наша особенная Исторія; это имя Россія ведетъ отъ Крещатика...“ Обращаясь къ Европѣ, Жуковскій пишетъ: „Дерзкое непризнаніе участія

всевышней власти въ дѣлахъ человѣческихъ выражается во всемъ, что теперь происходитъ въ собраніяхъ народныхъ. Эгоизмъ и мертвая матеріальность царствуютъ. Чего тутъ ожидать живого? Какое человѣческое благо можетъ быть построено на такомъ фундаментѣ? Вѣра въ святое исчезла— печальный результатъ реформаціи" [197]).

Между тѣмъ, по свидѣтельству Жуковскаго, „гроза становится все грознѣе; тучи подходятъ ближе и ближе. Того и гляди, что вспыхнетъ война по всей Германіи, внѣшняя и внутренняя... Въ Россіи есть такъ еще много святого, котораго и слѣдовъ не осталось въ этой Германіи, раздавленной грузомъ своей цивилизаціи" [198]).

Изъ Петербурга И. И. Давыдовъ писалъ Погодину: „И внѣшнія, внезапныя событія, и внутреннія заботы и волненія духа такъ поразили всѣхъ насъ, что обыкновенный порядокъ дѣлъ измѣнился, и не можешь сообразить, *откуда мнѣ сіе.* Богъ и Государь вотъ наша надежда, ограда въ наше настоящее и будущее. Боже Всемогущій! Сохрани и укрѣпи здравіемъ Великаго Самодержца нашего! Въ этой тоскѣ и душевной травлѣ едва можешь передать ежедневныя происшествія и то нескладно, кое-какъ" [199]).

„До какой поры", писалъ Жуковскій Плетневу,—„мы дожили! Право, невольно завидуешь достигнувшимъ вѣчнаго успокоенія. Что впереди ждетъ Европу?.. Главное бѣдствіе въ томъ, что во всеобщемъ волненіи нѣтъ нигдѣ пріюта мирному человѣку. И это называется свободою! При старомъ порядкѣ, въ тюрьмѣ было больше свободы и счастія. Человѣка считали человѣкомъ и охраняли его личность. Теперь, помчавшись за идеею человѣчества, на пути губятъ всякаго человѣка безъ разбора. Итакъ, для воплощенія фантома, надобно истребить всѣ недѣлимыя, надъ трупами которыхъ возсядетъ идея, изъ нихъ образовавшаяся? Вотъ куда повлекли разнузданныя страсти и безвѣріе" [200]).

„Въ какое время мы живемъ", восклицаетъ Погодинъ,— „тяжело молчать. Исторія есть для меня и убѣжище"; а по-

тому онъ въ это мятежное время не разставался съ своими любезными изслѣдованіями по Русской Исторіи. Однажды, когда онъ сидѣлъ „надъ Черниговомъ и междоусобіями“, его посѣтили князь М. А. Оболенскій и графъ А. С. Уваровъ съ извѣстіемъ „о республикѣ въ Берлинѣ, слѣдовательно, вездѣ“. На это Погодинъ не безъ самодовольствія замѣтилъ своимъ гостямъ: „*Все происходитъ по моему предвидѣнію*“. И дѣйствительно въ статьѣ своей *Параллель Русской Исторіи съ Исторіей Западныхъ Европейскихъ государствъ* Погодинъ предвидѣлъ выступленіе пролетаріата, который и заявилъ о себѣ въ 1848 году [201]).

Въ это время М. А. Дмитріевъ уединился въ свое Симбирское имѣніе Богородское и оттуда дѣлился съ Погодинымъ своими мыслями и чувствами. „Христосъ Воскресе, любезнѣйшій Михаилъ Петровичъ!“ писалъ онъ,—„благодарю васъ за письмо отъ 24 марта. Письма ваши меня оживляютъ; точно поговоришь съ вами. Да! происшествія Европы меня ошеломили! Можно ли было ожидать этого? Хотя взаимное неудовольствіе правительства и палаты депутатовъ было давно замѣтно, но едва ли кто могъ предполагать, чтобы Франція, усталая отъ революцій и столько лѣтъ довольная королемъ, котораго называла мудрымъ, котораго называла le Napoléon de la paix, доведена была до такого взрыва!—Но не могло это сдѣлаться такъ, вдругъ, ни съ того, ни съ другого; не могли же всѣ мысли случайно сложиться въ одну; надобно, чтобъ съ начала игры всѣ ходы вели къ тому, чтобы шашки расположились такъ, а не этакъ; случайности нѣтъ, вся Исторія есть логическій выводъ, котораго только не всѣ термины извѣстны; тѣ, которые не видятъ въ этомъ невидимой руки и обвиняютъ въ историческомъ мистицизмѣ, по словамъ Филарета, бѣгутъ отъ встрѣчи съ Провидѣніемъ!—Но для меня теперь не столько любопытна Франція, сколько другія государства, особенно Австрія, которой неподвижный правительственный характеръ извѣстенъ: если уже она при теперешнихъ обстоятельствахъ не затягиваетъ вожжи и отмѣняетъ цензуру, то

ужъ конечно по необходимости, конечно, что-нибудь такое видитъ, что мы не видимъ; а ее нельзя укорить въ вѣтренности!—Замѣчателенъ еще Папа, который за два года до этихъ происшествій началъ дѣйствовать такъ, какъ будто онъ хотѣлъ предупредить въ своихъ владѣніяхъ то, что дѣлается теперь въ прочей Италіи, и вѣроятно, предупредилъ многое, нельзя же, чтобъ онъ предвидѣлъ, а просто понялъ духъ своего времени! Теперь подождемъ мая, подождемъ національнаго собранія: это будетъ любопытно!—Но мнѣ кажется, по нѣкоторымъ примѣтамъ, что революція у нихъ только начинается, и что временное правительство теперь же боится, чтобы не дошло до гильотины: не даромъ оно при самомъ началѣ поспѣшило уничтожить смертную казнь за политическія преступленія? На этомъ уничтоженіи можно будетъ по крайней мѣрѣ, въ случаѣ нужды, опереться, какъ на законѣ!—Не даромъ не дали и красное знамя; а народъ однако хотѣлъ его!—Что-то будетъ!—А Турки играютъ въ жмурки!—Но вы, господа столичные, аристократы цивилизаціи! вы смотрите на сцену и на ложи; а я въ провинціи сижу, въ райкѣ! Здѣсь совсѣмъ не понимаютъ піесы. Въ народѣ прошелъ слухъ, что Французы въ Москвѣ; а дворяне глядятъ на Европу, по Нѣмецкой пословицѣ, какъ корова на новыя ворота, то-есть, выпуча глаза и нисколько не понимая, что это подѣлалось, и изъ чего все это? Они больше наблюдаютъ домашніе, ближайшіе интересы; и въ этомъ правы, по Русской пословицѣ: своя рубашка къ тѣлу ближе. И потому не пропускаютъ мимо ушей ни одного новаго постановленія, хотя бы издали и косвенно до нихъ касающихся“.

Между тѣмъ въ народѣ разнесся слухъ о явленіи антихриста. „Мѣсяца три тому назадъ“, писалъ Погодину Буцкій изъ села Лозовки, Новосильскаго уѣзда, Тульской губерніи,—„наши крестьянскія бабы, неизвѣстно откуда, взяли и разнесли слухи, будто „изъ моря, въ которое каждый день опускается солнце, вышелъ антихристъ съ желѣзными ногами и пошелъ

на Востокъ; но какъ большая дорога отъ Запада до Востока очень длинна и гориста, то антихристъ оттопталъ себѣ ноги по колѣна и уже кой-какъ на четверенькахъ доползъ до мѣстечка Парижа и тамъ застрѣлъ въ ожиданіи, не подрастутъ ли ноги". А старики наши, слушая эти разсказы, говорятъ: „По всему видно, что этотъ чортовъ сынъ дуракъ-дуракомъ и лаптей-то сплесть не умѣлъ, чтобъ не оттоптать ногъ; такого урода намъ нечего бояться; у насъ дуракамъ законъ не писанъ; мы по шеямъ его вытуримъ и оглянуться не дадимъ". Вотъ какое странное столкновеніе мечты съ дѣйствительностью! Вотъ что называется гласъ народа — гласъ Божій!"

XXX.

Судьбы Австрійской Имперіи и соединенныхъ съ нею Словенскихъ племенъ привлекали особенное вниманіе и участіе какъ Погодина, такъ и нашихъ Словенофиловъ. „Завтра до свѣту", писалъ 20 апрѣля 1848 года, И. В. Кирѣевскій Погодину, — „Австрія развалится. Словенскія государства начнутъ кристаллизоваться; вся великая задача міра заключается въ томъ, какое направленіе примутъ эти государства: Нѣмецкое то, Польское то, или настоящее Словенское? Не только судьба Россіи отъ этого зависитъ, но и всей Европы. Въ такую минуту даже и въ Россіи журналистъ имѣетъ нѣкоторую силу. Твой *Москвитянинъ* читаютъ и въ Петербургѣ, и въ Прагѣ. Знаніе дѣлъ и ясный взглядъ на вещи не можетъ не быть полезенъ. Что же вы молчите и хлопочите о пустякахъ".

Вслѣдъ за Парижскою февральскою Революціею, 13 марта 1848 года, вспыхнулъ мятежъ въ Вѣнѣ, имѣвшій такой быстрый успѣхъ, что самъ князь Меттернихъ отказался отъ своей высокой должности и удалился на нѣкоторое время въ Англію. Вслѣдъ затѣмъ немедленно рушился прежній порядокъ вещей, и анархія водворилась въ столицѣ. Почтенный старецъ, историкъ Галиціи, Денисъ Зубрицкій писалъ Погодину: „По-

среди глупостей, революцію сопровождающихъ, и ужасовъ холеры, которая уже и насъ посѣтила и довольно строго нами располагаетъ, получилъ я ваше письмо, почтеннѣйшій другъ, и тороплюсь съ отвѣтомъ, не зная, что послѣ можетъ приключиться человѣку. Что же вамъ больше писать? Вы знаете, что у насъ революція! Холера есть строгій бичъ Божій, но въ сравненіи съ революціею она безделица—описывать вамъ всѣ произшествія отъ 14 марта доселѣ стоило бы списать обширную книгу. Довольно сказать, что, не взирая на многостоящую дремливую полицію, марта 14 числа вспыхнулъ мятежъ въ Вѣнѣ, котораго дряхлое Правительство по своей нерѣшимости не было въ состояніи утушить, и какъ молнія разнесся по всѣхъ предѣлахъ Монархіи. 18 уже марта толпы Поляковъ волновались съ воплемъ *вольносць! рувносць! братерство!* по улицамъ Русскаго Львова. Слѣдовательно, тайная революційная цѣпь расширилась уже заранѣе во всѣхъ большихъ городахъ Государства. Съ того-то времени завелися у насъ всѣ сумасбродства Запада: Katzenmusiken, Kokarden, Gänseriche, Nationalgarden, Fenstereinwerfen, Fahnen, Studentencomando, Pressfreiheit, Placato, Schmähschriften, offene und geheime Associationen и другія дурачества сего рода; а за эти революційныя блага лишились мы торговли, довѣренности и промышленности, серебренаго цванцигера едва узрѣшь. Въ Вѣнѣ доселѣ управляли государственными дѣлами студенты, жиды, псевдогелертеры, чернь, и что-то въ родѣ слабаго Министерства. Теперь собрался сеймъ и что-нибудь укрѣпилось, но сомниваюсь, будетъ ли то прочное. Вы знаете изъ газетъ, въ каковомъ изнеможеніи наша Монархія, и когда бы не побѣда Радецкаго въ Италіи (войско держится вѣрно престола), она бы конечно рушилась, итакъ еще не знаю, не збудется ли ваше во второмъ томѣ историческихъ *Изслѣдованій* умѣщенное предсказаніе, что могущественная Россія предназначена Промысломъ водворить порядокъ на западѣ Европы. Касательно нашего края въ особенности тако же много, много бы мнѣ оставалось

писать вамъ, но тогда бы я слишкомъ распространился; я лишь только скажу, что Поляки по своему обыкновенію хотѣли возстать, Галицію отъ Австріи отторгнуть, Россіи войну объявить и пр.—Край наполнился эмигрантами изъ Франціи, бѣглецами изъ Россіи, и мы, Львовскіе горожане, находились въ крайной опасности; но сильный гарнизонъ и отвращеніе Русскаго народа участвовать въ этомъ намѣреніи спасли городъ нашъ на время, съ одной стороны, отъ барикадъ, а съ другой—отъ бомбардированія, которое въ Прагѣ и Краковѣ послѣдовало, и отъ ужасовъ, которые княжество Познанское испытало. Съ сей поры вражда между обоими народами болѣе и болѣе усиливалась и усиливается. Многократно старались Поляки помириться съ Руссинами, но послѣдніе отвергнули всѣ предложенія, стоятъ при своей народности и никогда не сліются въ Польскую. Руссины держутся консервативной системы, Поляки притворяются демократами, радикалистами, хотя у нихъ другое на умѣ. Они завязали народную раду въ Львовѣ и малыя рады по циркулахъ, Руссины тоже. Кромѣ главной Русской Рады въ Львовѣ, есть уже тридцать шесть радъ по меньшимъ городамъ, центральной радѣ подвѣдомственныхъ. Еще разъ попытались Поляки—эти, коихъ предки когда-то были Руссинами, какъ-то Сапѣга, Пузина и другіе, желали вступить въ наше собраніе, утверждая, что они Руссины и только Латинскаго вѣроисповѣданія, но имъ отказано; ибо по нашимъ статутамъ только исповѣдующіе православный или уніатскій обрядъ, какъ истинные Руссины, могутъ быть въ нашемъ народномъ собраніи. Огорченные отказомъ, присоединивъ къ себѣ за деньги нѣсколько измѣнниковъ, между другими и Вигилевича, открыли особый Рускопольскій комитетъ; но онъ не нашелъ ни малѣйшаго соучастія въ народѣ, и есть уже въ развязкѣ. Въ нашей радѣ предсѣдательствуетъ Епископъ за благословеніемъ Митрополита. На основаніи конституціи подали Поляки требованіе до Рейхстагу и Министерства о введеніи въ правительственныхъ и судебныхъ мѣстахъ исключительно Поль-

скаго языка въ Галиціи. Руссины, напротивъ, подали свое прошеніе съ подписами ста тысяча лицъ о раздѣленіи провинціи на Русскую и Польскую, издали письменно и въ печати народный Манифестъ, что они въ числѣ двухъ съ половиною милліоновъ душъ, особый, языкомъ, происхожденіемъ, обычаями, вѣроисповѣданіемъ и письменностію различающійся, составляютъ народъ, не суть и не хотятъ быти Поляками и отправили въ Германію три тысяча экземплярей этого Манифеста. Русское прошеніе еще не рѣшено, и мы, не взирая на это, что Министерство кажется къ намъ благорасположеннымъ (естьли на Нѣмцевъ полагаться можно), въ немаломъ затрудненіи, ибо Поляки противные раздѣлу располагаютъ многими деньгами, у нихъ есть большое число дѣятельныхъ лицъ, и довольно значительное число депутатовъ въ Рейхстагѣ состоитъ изъ республиканцевъ и радикалистовъ, и тѣ по многимъ причинамъ, а именно питая злобу къ Россіи, равно какъ и Поляки, симпатисируютъ съ Поляками. Будь какъ будь, мы готовы употребить всѣ возможныя средства, и не посрамимъ Русскаго народа. Манифестомъ нашимъ мы принесли и Россіи услугу, бо ежели Галиція не есть частію Польши, то тѣмъ меньше Волынь, Подолія и пр.".

Въ томъ же письмѣ Зубрицкій сообщаетъ Погодину и слѣдующее: „Издается у насъ съ 15 мая еженедѣльно журналецъ въ одинъ листъ для простаго Русскаго народа на простонародномъ нарѣчіи, подъ заглавіемъ *Галицкая Зоря*, съ цѣлею обучать народъ о потребностяхъ и отношеніяхъ его въ настоящомъ состояніи и онъ читается радостно въ сельскихъ собраніяхъ. Пренумерантовъ есть тысячу пять сотъ. Псевдорускій комитетъ началъ такожъ подъ редакціею Вигилевича издавать свой журналъ Латинскими буквами, но онъ не имѣетъ успѣха". Далѣе Зубрицкій пишетъ, что „революція ускорила улучшеніе состоянія нашего поселянина, и то есть единственное ея благое послѣдствіе. Поляки помѣщики, желая сдѣлать съ простаго народа себѣ приверженцевъ до вооруженнаго востанія намѣревались освободить крестьянъ отъ барщины; Правитель-

ство, предупреждая эту хитрость, обнародовало для Галиціи съ 15 мая освобожденіе крестьянъ отъ всякихъ барскихъ повинностей и узнало ихъ полными наслѣдственными владѣльцами земли и угодія, которыя доселѣ имѣли за собою, принимая вознагражденіе помѣщиковъ за ихъ убытокъ на счетъ Государства. Рейхстагъ распростирая это учрежденіе на всю Монархію упрочилъ ему законную силу. Наши поселяне находятся теперь въ таковомъ состояніи, въ какомъ свободные хлѣбопашцы въ Россійской Имперіи" [202]).

Еще до революціи въ Вѣнѣ, то-есть, 10 марта 1848 года, Ганка писалъ Бодянскому: „У насъ все перемѣнилось и, дастъ Богъ, кончится безъ всякаго кровопролитія. Чехи прекрасно держатся. Вы не повѣрите, когда я вамъ скажу, что я военный. Я вступилъ рядовымъ въ Свято-Вячеславское отдѣленіе и черезъ два дня сдѣлали меня сотникомъ, и я долженъ учить другихъ военной службѣ" [203]). Но ожиданія Ганки не оправдались. 14 марта 1848 г. Шафарикъ съ грустью писалъ Погодину: „Бываютъ времена, когда надо благодарить Бога, когда находишься въ живыхъ и здоровъ. Настоящая минута очень неблагопріятна для высшихъ литературныхъ стремленій".

По свидѣтельству Н. Н. Мурзакевича, въ апрѣлѣ 1848 года, въ Прагѣ собрался Словенскій съѣздъ, составленный изъ Хорватовъ, Сербовъ, Словаковъ, Далматинцевъ, Поляковъ, Руссиновъ, Моравовъ, въ началѣ подъ видомъ Литературнаго сейма, на которомъ присутствовали Шафарикъ... съ представителями національностей — Палацкимъ, Вразомъ, Павломъ Стаматовичемъ, священникомъ Сегединскимъ (послѣдній въ это время рѣшился показать Чехамъ прежнюю ихъ литургію, отслуживъ всенародно, на площади, православную обѣдню)... Сеймъ этотъ, замышлявшій самостоятельное, федеративное, устройство Словенъ, вычеканившій въ память этого событія медаль, гдѣ четыре націи подавали другъ другу руки единенія, къ несчастію, посреди стоящему поляку, былъ разогнанъ Австрійскими пушками. Бѣдный Шафарикъ почетнымъ образомъ былъ, яко профессоръ университета, помѣщенъ въ іезуитскую

клаузуру, за рѣшетчатую дверь, куда посторонняго не впускаютъ [204]).

Погодинъ же въ *Дневникѣ* своемъ, подъ 17 іюля 1848 г., записалъ слѣдующее: „Печальное извѣстіе изъ Праги. Картечью разразили несчастныхъ, а за всякую Нѣмецкую каплю вопіетъ вся Европа! Подлецы, а всѣхъ подлѣе мы—грустно, тяжело!“ Но на другой день къ нему пріѣзжаетъ Бодянскій съ извѣстіями о Чешскихъ дѣлахъ, и Погодинъ отмѣчаетъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Не такъ дурны, какъ я полагалъ“ и вмѣстѣ съ тѣмъ писалъ Шевыреву: „Цѣлую недѣлю я былъ въ страхѣ о Прагѣ, но вчера Бодянскій сказывалъ, что граждане одержали верхъ послѣ трехъ дней сраженія. Какія времена! Писалъ ли я тебѣ, что на алтарѣ св. Войтеха Стаматовичъ, протопопъ Карловецкій, съ которымъ я въ два дня подружился, служилъ обѣдню Кирилловскую и поминалъ Петра Русскаго, Душана Сербскаго и Жижку Чешскаго“. На это Шевыревъ отвѣчалъ: „Вопросъ религіозный тутъ весьма важенъ. Обѣдня меня весьма утѣшила. Въ ней я вижу спасеніе Чеховъ. Тутъ нужна не Katzenmusik и не контра съ Виндишгрецомъ, а что-нибудь повыше“. Вообще же Шевыревъ не особенно увлекался Пражскими происшествіями. „Дѣла Пражскія“, писалъ онъ Погодину, 22 іюля 1848 года,— „грустны. Чехи слишкомъ онѣмечились. Не такъ бы имъ надо дѣйствовать. Что это Katzenmusik? Что-то будетъ? Народъ сельскій какъ себя покажетъ? Національная гвардія? Другіе Словене? Они ставятъ Словенскій вопросъ на карту“.

Въ другомъ письмѣ, отъ 15 августа 1848 года, Шевыревъ писалъ Погодину: „Чеховъ и не слышно. Изъ чего же заключать, что они дѣйствуютъ благоразумно? Видно никакъ не дѣйствуютъ. Гавличекъ депутатъ! Ужъ тутъ все кончено. Ты меня Чехами не прельстишь“.

Отъ Степановича изъ Петербурга Погодинъ получилъ слѣдующія свѣдѣнія: „Австрійскіе Сербы избрали себѣ патріарха. Въ это достоинство возведенъ митрополитъ Австрійскихъ Сербовъ Іосифъ Раячичъ. Сербы Австрійскіе избрали

себѣ и воеводу. Воеводство это въ дружеской связи съ тройнымъ королевствомъ Кроаціи, Славоніи и Далмаціи, въ которой, какъ вамъ, вѣроятно, извѣстно, распоряжается Банъ Елачичъ, воеводою же избранъ генералъ-маіоръ Шуплыскацъ. Всѣ эти Сербы *знать не хотятъ* Венгерцевъ! Я свѣдѣнія эти почерпнулъ изъ выходящей въ Пестѣ *Сербской всеобщей Юго-Славянской газеты*, которую получаю. Тамъ, между прочимъ, было напечатано, что въ Аграмѣ или *Загребѣ* въ одномъ изъ безпрерывно державшихъ собраній, сожгли, въ присутствіи Бана, изображенія Палатина Венгерскаго и всѣхъ Венгерскихъ министровъ! О Сербахъ Задунайскихъ и Засавскихъ ничего не слышно". „Но что дѣлается въ Сербіи", писалъ В. А. Пановъ Погодину, — „неужели митрополитъ Раячичь въ самомъ дѣлѣ является передъ народомъ съ крестомъ въ одной и съ мечомъ въ другой рукѣ, какъ я читалъ въ Journal des Debats? Что онъ объявилъ до конца жизни борьбу врагамъ своей церкви и народа—это отрадно; но его борьба должна быть не съ мечомъ въ рукахъ—крестъ съ мечомъ въ православной церкви никогда не сочетался" [205]).

Слѣдя съ напряженнымъ вниманіемъ за революціоннымъ движеніемъ на Западѣ, Хомяковъ писалъ А. Н. Попову: „Паденіе Австріи или, лучше сказать, распаденіе ея, совершилось или совершается. Для иныхъ это дѣло чисто политическое, для насъ дѣло историческое. Исчезаетъ слѣдъ Карловской Имперіи. Первенство Германской стихіи, по крайней мѣрѣ въ отношеніи вещественномъ, миновалось. Папа, раскачавъ Италію и пустивъ въ ходъ силы неподвѣдомственныя ему, сидитъ себѣ въ уголкѣ Рима грустненькій и слабенькій. Папство Григорія идетъ туда же, куда Карлова Имперія, въ историческій архивъ. Туда же за нимъ протестанство и католицизмъ. Поле чисто. Православіе на міровомъ череду. Словенскія племена на міровомъ череду. Минута великая, предугаданная, но не приготовленная нами. Теперь вопросъ, сумѣемъ ли мы воспользоваться ею?... У большей части Словенъ порча Германо-Римская (Богемія и Польша) прошла

до костей и мозга. У другихъ менѣе испорченныхъ (Словаки, Краинцы и др.) была и есть склонность къ намъ; но первая радость, первое опьяненіе свободы, вѣроятно, увлекутъ ихъ къ той области, изъ которой исходитъ видимое движеніе, то-есть, къ Западу. Чистѣйшіе народы, наименѣе подвергшіеся вліянію Запада (Сербскіе), вѣроятно, подпадутъ двойному соблазну политическаго настроенія и вещественнаго просвѣщенія, которое насъ увлекло съ Петровской эпохи. Вотъ опасности вѣроятныя и едва ли не вѣрныя, которыя предстоятъ намъ; вотъ съ чѣмъ намъ приходится бороться... Перевоспитать общество, оторвать его совершенно отъ вопроса политическаго и заставить его заняться самимъ собою, понять свою пустоту, свой эгоизмъ и свою слабость, вотъ дѣло истиннаго просвѣщенія, которымъ наша Русская земля можетъ и должна стать впереди другихъ народовъ. Корень и начало дѣла—Религія, и только явное, сознательное и полное торжество Православія откроетъ возможность всякаго другого развитія" [206]).

Между тѣмъ въ Парижѣ происходили ужасы. Подъ 6 іюля 1848 года Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Парижъ горитъ! Какія времена!" А 26 іюля 1849 года князь П. М. Волконскій изъ Петергофа писалъ графу А. А. Закревскому: „Въ Парижѣ дрались нѣсколько дней, сами не знаютъ за что и за кого; много убитыхъ и раненыхъ. Генералъ Кавеньякъ всѣмъ завѣдывалъ, одержалъ поверхность надъ бунтовщиками и назначенъ президентомъ республики народнымъ собраніемъ, но на долго ли?" Вспоминая 1812 годъ, И. М. Снегиревъ писалъ Погодину: „Въ газетахъ иностранныхъ пишутъ, что Парижъ горитъ. Это возмездіе за Москву 1812 г.; видно, что прогрессисты дѣйствуютъ тамъ желѣзомъ и огнемъ. Да сохранитъ насъ Богъ отъ подобныхъ прогрессовъ и реставрацій!.. Французы не перестаютъ быть подъ вліяніемъ *символическихъ* словъ, ясаковъ, крамолы, мятежа и кровопійства, кои играютъ главную роль тамъ, гдѣ народъ *преданъ за свое нечестіе въ умъ не искусенъ творити непо-*

добная". 25 іюля Шевыревъ писалъ Погодину: „Во Франціи опять рѣзались двое сутокъ сряду. Ужасъ! Генералъ Кавеньякъ диктаторствуетъ" [207]).

Мы уже знаемъ, что Погодинъ былъ занятъ біографіей Ермолова, и чтобы освѣжить свою душу въ это ужасное время, онъ обращается къ герою Бородина съ слѣдующимъ письмомъ: „Осмѣливаюсь напомнить вашему высокопревосходительству о завѣтной тетрадкѣ: въ настоящемъ у насъ поношеніе (поносъ сказать неприлично), такъ надо заботиться хоть о прежней славѣ. Не угодно ли вамъ назначить день, когда бы я могъ пріѣхать къ вамъ въ деревню и переписать нѣкоторыя вещи, напримѣръ, письма Багратіона и т. под., или не пришлете ли мнѣ чего-нибудь, хотя написанное вами, дабы я могъ вставить новые скопившіеся вопросы. Что дѣлается въ Европѣ, Богъ знаетъ. Со времени свободы книгопечатанія до правды не доберешься. Судя по частнымъ слухамъ, послѣднее Парижское возстаніе—это былъ *бой гладіаторовъ*, подкупленныхъ легитимистами, орлеанистами и бонапартистами, къ которымъ присоединились охотники изъ коммунистовъ. Были въ игрѣ и разныя Европейскія деньги... Въ Италіи, кажется, ни тпру, ни ну. Люди вздумали воевать, когда воевать разучились съ обѣихъ сторонъ. Вотъ извнутри города такъ мастера бомбардировать Австрійцы! Пражскихъ происшествій я не понимаю; газеты врутъ, но кажется, что Словенамъ Западнымъ плохо, если южные имъ не помогутъ. А восточные, то-есть, мы, все еще думаемъ, что можемъ имѣть союзницами Австрію, Пруссію, а не племена единокровныя. Въ Прагѣ передъ схваткою служили обѣдню Русскую на алтарѣ Св. Войтеха, и поминали за упокой Русскаго Петра I, Сербскаго царя Душана, Чешскаго Жижку и пр..."

Въ сентябрѣ 1848 года Гоголь въ Петербургѣ встрѣтился съ П. В. Анненковымъ, только что вернувшимся изъ чужихъ краевъ, и вотъ что писалъ по поводу этой встрѣчи А. С. Данилевскому: „Въ Петербургѣ я успѣлъ видѣть Ан-

нистовъ, анархистовъ и злодѣевъ; еще хотѣлось бы быть на полчасика Николаемъ Павловичемъ, чтобъ призвать на лицо всѣхъ Московскихъ либераловъ и демократовъ и покорно попросить ихъ, яко не любящихъ монархическаго правленія, прогуляться за границу и поселиться въ любомъ Европейскомъ государствѣ, гдѣ демократы ввели такое чудесное благоустройство и общее и личное спокойство. А Папа мой?.. *Чудны дѣла твоя, Господи*! можемъ сказать, выжидая, чѣмъ кончится этотъ многокосящій високосный годъ".

Волею судебъ барону Ѳ. А. Бюлеру довелось прожить около трехъ лѣтъ въ тѣ мятежныя времена за границей, и онъ сохранилъ любопытное воспоминаніе: „1847—1850 годы прожилъ я въ Германіи, Италіи, Франціи, всюду присутствовалъ на конституціонныхъ празднествахъ; но нигдѣ не видѣлъ я ни баррикадъ, ни кровопролитія. Хотя судьба какъ-то хранила меня, 1848 годъ оставилъ во мнѣ отвращеніе къ народнымъ волненіямъ, къ peuple souverain и suffrage universel: все это эгоизмъ и надувательство зѣвакъ" [211]).

XXXI.

Лѣтомъ 1848 года, въ Москвѣ въ резиденціи Н. В. Сушкова*), у Стараго Пимена, появилась политическая записка Ѳ. И. Тютчева, подъ слѣдующимъ заглавіемъ: *La Russie et la Révolution*, которая впослѣдствіи, а именно въ 1873 году, была напечатана въ *Русскомъ Архивѣ*. 22 іюля 1848 года Шевыревъ писалъ Погодину: „У Чаадаева есть меморія, Тютчевымъ написанная и читанная Государемъ, который желалъ, чтобы она была отпечатана. Въ ней просто объявленіе войны Нѣмцамъ за Словенъ. Чаадаевъ хотѣлъ бы тебѣ сообщить эту меморію. Достань. Это весьма важно". „Записки Тютчева", отвѣчалъ Погодинъ,—„я не видалъ до сихъ поръ. Прошу тебя достать ее и прислать мнѣ повѣрнѣй". Шевыревъ пи-

*) Сушковъ былъ женатъ на сестрѣ Тютчева—Дарьѣ Ивановнѣ.

зданіе библіотеки, но внутри не причинило никакого вреда. Миклошичъ отправляется въ Кремсъ депутатомъ въ Національное Собраніе". Письмо свое о. Раевскій заключаетъ такими словами: „Многое же иное творится здѣсь, такъ что еще *по единому писано быша, ни самому мню всему міру не вмѣстити пишемыхъ* дѣлъ" [209]).

Въ библіотекѣ профессора Ивана Васильевича Помяловскаго хранятся, переданныя ему по духовному завѣщанію о. Раевскаго, собственноручныя записки Отца Протоіерея О политическомъ положеніи Австріи въ это время.

Историкъ нашей церкви, преосвященнѣйшій Филаретъ, страстотерпствуя въ Ригѣ, зорко слѣдилъ за событіями міра. „Благодареніе Господу", писалъ онъ А. В. Горскому, — „охраняющему Россію отъ западной холеры! Какъ ужасна тамошняя холера. Теперь и здѣшніе Нѣмцы не нахвалятся Россіею. Каждый французъ, каждый нѣмецъ, пріѣзжающій сюда, теперь повторяетъ: счастлива Россія. А что кричали предъ тѣмъ?" Въ другомъ письмѣ Преосвященный писалъ: „Охъ, эти универсальные люди! Взялъ бы метлу да и вымелъ ихъ изъ Святой Руси, которая такъ тѣсна и дурна для нихъ. И зачѣмъ они не спѣшатъ переѣхать въ Франкфуртъ на тамошній сеймъ? Вѣдь имъ тамъ и мѣсто! Знаете ли кто вице-президенты сейма? Два жида. Кто основатель сейма? Булочникъ и адвокатъ. Какъ жаль, что Лифляндскіе негодяи отступились отъ рѣшимости своей вступить въ союзъ Франкфуртскій!.." [210]).

Единомысленно съ Преосвященнымъ графиня Е. П. Ростопчина, изъ своего Воронова писала Погодину: „Въ наше смутно-противное время право не до поэзіи, особенно не до женской; надо молиться за гибнущихъ и благодарить за насъ, еще спокойныхъ; мнѣ же особенно грустно за многихъ друзей и прекрасныхъ людей, моихъ путевыхъ знакомцевъ, которые теперь по всѣмъ краямъ Европы терпятъ и пропадаютъ. Хотѣлось бы на часочекъ быть Богомъ, чтобъ вторымъ, добрымъ потопомъ утопить всевозможныхъ комму-

пистовъ, анархистовъ и злодѣевъ; еще хотѣлось бы быть на полчасика Николаемъ Павловичемъ, чтобъ призвать на лицо всѣхъ Московскихъ либераловъ и демократовъ и покорно попросить ихъ, яко не любящихъ монархическаго правленія, прогуляться за границу и поселиться въ любомъ Европейскомъ государствѣ, гдѣ демократы ввели такое чудесное благоустройство и общее и личное спокойствіе. А Папа мой?.. *Чудны дѣла твоя, Господи*! можемъ сказать, выжидая, чѣмъ кончится этотъ многокосящій високосный годъ".

Волею судебъ барону Ѳ. А. Бюлеру довелось прожить около трехъ лѣтъ въ тѣ мятежныя времена за границей, и онъ сохранилъ любопытное воспоминаніе: „1847—1850 годы прожилъ я въ Германіи, Италіи, Франціи, всюду присутствовалъ на конституціонныхъ празднествахъ; но нигдѣ не видѣлъ я ни баррикадъ, ни кровопролитія. Хотя судьба какъ-то хранила меня, 1848 годъ оставилъ во мнѣ отвращеніе къ народнымъ волненіямъ, къ peuple souverain и suffrage universel: все это эгоизмъ и надувательство зѣвакъ" [211]).

XXXI.

Лѣтомъ 1848 года, въ Москвѣ въ резиденціи Н. В. Сушкова*), у Стараго Пимена, появилась политическая записка Ѳ. И. Тютчева, подъ слѣдующимъ заглавіемъ: *La Russie et la Révolution*, которая впослѣдствіи, а именно въ 1873 году, была напечатана въ *Русскомъ Архивѣ*. 22 іюля 1848 года Шевыревъ писалъ Погодину: „У Чаадаева есть меморія, Тютчевымъ написанная и читанная Государемъ, который желалъ, чтобы она была отпечатана. Въ ней просто объявленіе войны Нѣмцамъ за Словенъ. Чаадаевъ хотѣлъ бы тебѣ сообщить эту меморію. Достань. Это весьма важно". „Записки Тютчева", отвѣчалъ Погодинъ,—„я не видалъ до сихъ поръ. Прошу тебя достать ее и прислать мнѣ повѣрнѣй". Шевыревъ пи-

*) Сушковъ былъ женатъ на сестрѣ Тютчева—Дарьѣ Ивановнѣ.

салъ: „Меморія Тютчева теперь у Бодянскаго. Ее можно имѣть отъ Сушкова. Пошли къ нему записку“.

Свою статью о *Россіи и Революціи* Тютчевъ начинаетъ прямо слѣдующимъ положеніемъ: „Уже съ давнихъ поръ въ Европѣ только двѣ дѣйствительныя силы, двѣ истинныя державы: *Революція* и *Россія*. Онѣ теперь сошлись лицомъ къ лицу, а завтра, можетъ быть, схватятся. Между тою и другою не можетъ быть ни договоровъ, ни сдѣлокъ. Что для одной жизнь — для другой смерть. Отъ исхода борьбы зависитъ на многіе вѣка вся политическая и религіозная будущность человѣчества. Это соперничество бьетъ теперь всѣмъ въ глаза,—но, не смотря на то, такова несмысленность вѣка, притупленнаго мудрованіемъ, что современное поколѣніе въ виду такого громаднаго факта далеко еще не сознало его настоящаго значенія и его причинъ. Ему искали разъясненія въ соображеніяхъ политическихъ; пытались истолковать различіемъ понятій, чисто-человѣческихъ, о благоустройствѣ. Нѣтъ. Противоборство Революціи съ Россіей исходитъ изъ причинъ несравненно болѣе глубокихъ; вотъ онѣ: Россія прежде всего держава христіанская; Русскій народъ христіанинъ не въ силу только Православія своихъ вѣрованій, но еще въ силу того, что еще задушевнѣе вѣрованія. Онъ христіанинъ по той способности къ самоотверженію и къ самопожертвованію, которая составляетъ какъ бы основу его нравственной природы. Революція же, прежде всего, врагъ христіанства. Анти-христіанскимъ духомъ одушевлена Революція: вотъ ея существенный, ей именно свойственный характеръ. Тотъ, кто этого не разумѣетъ, не болѣе какъ слѣпецъ, шестьдесятъ лѣтъ присутствующій при зрѣлищѣ, представляемомъ вселенной. Человѣческое *я*, хотящее зависѣть только отъ самого себя, не признающее никакого иного закона, кромѣ собственнаго изволенія, — человѣческое *я*, однимъ словомъ, поставляющее себя вмѣсто Бога, явленіе конечно не новое межъ людьми, но что было ново—это самовластіе человѣческаго *я*, возведенное на степень политическаго и соціаль-

наго права, и его притязаніе, въ силу такого права, овладѣть человѣческимъ обществомъ. Эта-то новизна и назвалась въ 1789 году *Французской Революціей*. Но никогда Революція не чувствовала себя въ такой степени самой собою, такъ искренно проникнутою анти-христіанскимъ духомъ, какъ именно тогда, когда присвоила себѣ лозунгъ христіанъ: *братство...*" Февральская Революція, по словамъ Тютчева, оказала великую услугу тѣмъ, что сокрушила призраки, окутывавшіе дѣйствительность. Ясно стало всѣмъ, что „исторія Европы за послѣдніе тридцать три года была лишь долгою мистификаціей". Кто же не понимаетъ теперь, продолжаетъ Тютчевъ, — „какъ смѣшны были притязанія этой мудрости вѣка, которая пренаивно вообразила, что ей уже совсѣмъ удалось смирить Революцію конституціонными заклинаніями, — обуздать ея страшную энергію формулами законности?..."

Вторая часть статьи Тютчева *Революція и Россія* относится къ Нѣмцамъ и къ Западному Словенству. По поводу успѣха революціонныхъ идей въ Германіи Тютчевъ говоритъ, что „шестьдесятъ лѣтъ отрицательной философіи совершенно разрушили въ ней всѣ христіанскія вѣрованія и развили, въ этой пустотѣ безвѣрія, чувство революціонное по преимуществу: умственную гордость, — такъ что эта язва времени, въ настоящую минуту, можетъ быть, нигдѣ такъ не глубока, такъ не ядовита, какъ въ Германіи. „Партія революціонная сумѣла воспользоваться такою почвой, и восемнадцать лѣтъ происковъ и подкоповъ достигли своей цѣли. Вслѣдъ за февральской Французской Революціей явила зрѣлище революціи и Германія. Едва ли это не безпримѣрный въ исторіи фактъ", замѣчаетъ Тютчевъ, „видѣть, какъ цѣлый народъ промышляетъ чужимъ добромъ, заимствованнымъ у другого народа, и въ ту самую минуту, какъ этотъ послѣдній предается самымъ крайнимъ неистовствамъ".

Доказывая Нѣмцамъ несостоятельность ихъ политическихъ мечтаній объ единствѣ, Тютчевъ напоминаетъ имъ объ элементѣ Словенскомъ въ предѣлахъ Западной Европы, и такъ

объясняетъ имъ его значенiе: „Поднимая вопросъ *племенной*, забываютъ, что въ самомъ центрѣ Германiи, въ Богемiи и Словенскихъ земляхъ, ее окружающихъ, живутъ шесть—семь миллiоновъ людей, для которыхъ изъ рода въ родъ, въ теченiе вѣковъ, германецъ былъ и есть хуже, чѣмъ чужой. Если съ утратою Ломбардiи и съ окончательнымъ отдѣленiемъ Венгрiи, Австрiйская Имперiя распадется, что сдѣлаетъ тогда Богемiя съ окружающими ее народностями—Моравами и Словаками? Согласится ли она включить себя въ нелѣпую рамку этого будущаго Германскаго единства? Сомнительно. Но въ такомъ случаѣ, чтобъ обрѣсти независимость, на кого опереться Богемiи? Конечно, не на Венгрiю. Нужно ли указывать ту державу, къ которой неминуемо привлечетъ Богемiю самая сила вещей?“ При этомъ Тютчевъ приводитъ слова Ганки, сказанныя ему въ Прагѣ, въ 1841 году: „Богемiя будетъ только тогда свободна и независима—когда Россiя вступитъ вновь въ обладанiе Галицiей..“ Указывая на сочувствiе къ Россiи въ кругу поборниковъ Чешской народности въ Прагѣ, Тютчевъ говоритъ: „Всякiй русскiй, посѣтившiй Прагу въ теченiе послѣднихъ лѣтъ, можетъ удостовѣрить, что единственный упрекъ, слышанный имъ, относился лишь къ той осторожности и какъ бы холодности, съ которыми нацiональныя симпатiи Богемiи принимались между нами. Высокiя, великодушныя соображенiя предписывалъ намъ въ то время подобный образъ дѣйствiй; теперь же это было бы положительнымъ безсмыслiемъ: тѣ жертвы, которыя мы тогда приносили дѣлу порядка, намъ пришлось бы отнынѣ совершать въ пользу революцiи“. Но особенно замѣчательны, по мнѣнiю И. С. Аксакова, тѣ строки, которыми характеризуетъ Тютчевъ нацiональное движенiе у Чеховъ, и которыми точнѣе опредѣляется его собственный взглядъ на Западное Словенство. Вотъ онѣ: „Дѣло идетъ, разумѣется, не о литературномъ патрiотизмѣ нѣкоторыхъ Пражскихъ ученыхъ, какъ бы почтененъ онъ ни былъ. Эти люди уже оказали и еще окажутъ великiя услуги своей странѣ; но

истинная жизненная сила Богеміи не въ этомъ. Жизненность народа вовсе не въ книгахъ, для него издаваемыхъ,— исключая развѣ народа Нѣмецкаго; она—въ его инстинктахъ, его вѣрованіяхъ, а книги, надо признаться, скорѣе способны разслаблять и изсушать ихъ, чѣмъ оживлять и воодушевлять. Все, что осталось у Богеміи истинной народной жизни, все заключается въ ея *Гусситскихъ вѣрованіяхъ*, въ этомъ постоянно живучемъ протестѣ ея угнетенной Словенской народности противъ захватовъ Римской Церкви, такъ же, какъ и противъ господства Нѣмцевъ. Вотъ гдѣ ея связь со всѣмъ ея прошлымъ, исполненнымъ борьбы и славы,—вотъ также то звено, которое когда-нибудь свяжетъ Чеховъ Богеміи съ ихъ восточными братьями. На это особенно нужно налегать вниманіемъ, потому что именно въ этихъ-то сочувственныхъ воспоминаніяхъ о Восточной Церкви, въ этихъ-то попыткахъ возврата къ старой вѣрѣ—и заключается глубокое различіе между Богеміею и Польшею: между Богеміею, противъ воли претерпѣвающею иго западнаго церковнаго общенія,—и этою крамольно-католическою Польшею, фанатическою пособницею Запада, вѣчною предательницею *своихъ*. Знаю, что до сихъ поръ вопросъ Чешскій еще не поставленъ на своемъ истинномъ основаніи, и что все настоящее волненіе и смятеніе на поверхности страны—не болѣе какъ самый дешевый либерализмъ, съ примѣсью коммунизма въ городахъ, и вѣроятно жакеріи по деревнямъ. Но это временное опьяненіе скоро разсѣется, и истинная сущность дѣла не замедлитъ выясниться...“

Послѣдняя часть статьи Тютчева *Революція и Россія* указываетъ на опасность, грозящую Словенамъ отъ Мадьяръ, „которые, подбитые Польскою эмиграціей и надутые революціонными вѣтрами, но сохраняя грубость Азіатской орды, воображаютъ себя призванными Исторіей держать въуздѣ Словенство и Россію“. Тютчевъ, по словамъ И. С. Аксакова, съ замѣчательною вѣрностью предсказываетъ неминуемость вооруженной схватки между Мадьярами съ одной стороны,—

Хорватами и Сербами-Граничарами—съ другой. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ не скрываетъ опасности, угрожающей и Россіи. „Мало вѣроятія“, говоритъ онъ,—„чтобъ всѣ эти удары землетрясенія, раздающіеся на Западѣ, остановились на порогѣ Восточныхъ странъ. Если весь этотъ крестовый походъ безбожія, предпринятый революціей, всѣ эти раздирающія пропаганды, и католическая и революціонная, соединенныя въ одномъ общемъ чувствѣ ненависти къ Россіи и ко всему Словено-православному Востоку, обрушатся на голову Словенскаго Востока, могутъ ли Словенскія племена быть покинуты единственною властью, которую они призываютъ въ своихъ молитвахъ? Въ какую ужасную смуту низверглись бы эти страны при схваткѣ съ революціей, еслибы законный Монархъ, православный Царь Востока, замедлилъ долѣе своимъ появленіемъ...“

Статью свою Тютчевъ заканчиваетъ слѣдующимъ диѳирамбомъ: „Нѣтъ, это не возможно! Тысячелѣтнія предчувствія не обманываютъ. Россія, страна вѣры, не оскудѣетъ вѣрою въ верховный мигъ. Она не устрашится величія своихъ судебъ и не отступитъ предъ своимъ призваніемъ. И когда же это призваніе было яснѣе и очевиднѣе? Можно сказать, что Богъ начерталъ его огненными словами на этомъ небѣ, черномъ отъ бурь. Западъ отходитъ, все рушится, все гибнетъ въ этомъ общемъ пожарѣ: Европа Карла Великаго такъ же, какъ и Европа трактатовъ 1815 года, Римское папство и всѣ Западныя Царства, католичество и протестантство,—вѣра давно потерянная, разумъ, доведенный до нелѣпости; порядокъ отнынѣ невозможный, — свобода отнынѣ невозможная, и надъ всѣми этими развалинами, ею же нагроможденными — цивилизація, убивающая себя собственными руками... И когда надъ такимъ громаднымъ крушеніемъ мы видимъ всплывающею святымъ ковчегомъ эту Державу, еще болѣе громадную,—кто дерзнетъ усумниться въ ея призваніи, и намъ ли, ея сынамъ, являть себя невѣрующими и малодушными“ [212]).

Между тѣмъ, изъ Петербурга, И. И. Давыдовъ писалъ Погодину (8 іюня 1848 г.): „Мечту Словенскую пора бросить Московскимъ литераторамъ и перемѣнить на дѣйствительность—на нашу дражайшую Русь, любезное наше Отечество, которымъ мы должны гордиться. Видите, что̀ затѣяли Чехи. Да и можно ли Исторіи питаться мечтой, когда и Поэзія оставила міръ мечтательный, а обратилась къ міру дѣйствительному? Гдѣ жъ для Исторіи точка опоры въ Словенствѣ? Не Россія ли одна представляетъ стройное, органически развитое государство?“ [213]). Шевыревъ, прочитавши это письмо, писалъ Погодину: „Въ наше время еще менѣе можно пренебрегать Словенскимъ вопросомъ. Не можемъ же мы остаться вовсе безъ союзниковъ. Какая эта мечта? Это дѣйствительность. Давыдовъ смѣшиваетъ Московскихъ Словенофиловъ съ Словенами. Прочти меморію Тютчева. Это важно. Здѣсь видно, что̀ нравится Царю. Онъ смотритъ на это дѣло, не какъ Уваровъ и Давыдовъ“.

Но мысль Государя намъ извѣстна изъ замѣчанія его, сдѣланнаго собственноручно на слѣдственномъ дѣлѣ объ И. С. Аксаковѣ: *Подъ видомъ участія къ мнимому утѣсненію Словенскихъ племенъ въ другихъ государствахъ таится преступная мысль соединенія съ сими племенами, не смотря на подданство ихъ сосѣднимъ и частію союзнымъ государствамъ; а достиженія сего ожидали не отъ Божьяго опредѣленія, а отъ возмутительныхъ покушеній на гибель самой Россіи.* На слова же И. С. Аксакова: „Признаюсь, меня гораздо болѣе всѣхъ Словенъ занимаетъ Русь, а брата моего Константина даже упрекаютъ въ совершеннѣйшемъ равнодушіи ко всѣмъ Словенамъ, кромѣ Россіи, и то даже не всей, а собственно Великороссіи“, Государь замѣтилъ: *И дѣльно, потому что все прочее мечта. Одинъ Богъ можетъ опредѣлить, чему быть въ дальнемъ будущемъ; но ежели стеченіе обстоятельствъ и привело бы къ сему единству, оно будетъ на гибель Россіи* [214]).

„Ты долженъ выразиться непремѣнно“, писалъ Шевы-

встрѣчаемся съ слѣдующею записью: „Просто Петербургъ не имѣетъ ни смысла, ни ума, испугался и потерялся и даже опасается Москвы: не будетъ ли чего тамъ. Доносы Строганова и пр.“ Возвратившійся изъ Петербурга Грановскій смутилъ Погодина сообщенными извѣстіями. „Встрѣтился вчера со мной на улицѣ Грановскій“, писалъ онъ Шевыреву,—„и разсказалъ столько ужасовъ о Петербургѣ, теперешнемъ направленіи, что морозъ по кожѣ подираетъ. Или уединеніе приготовляетъ слишкомъ воспріимчивость впечатлѣній, и они бываютъ сильнѣе обыкновенныхъ... Въ ужасномъ времени мы живемъ... Я непремѣнно уничтожилъ бы журналъ, не смотря на всѣ виды, еслибы не опасался такою внезапностью подать повода къ обвиненіямъ и подозрѣніямъ. О Строгановѣ сказалъ Грановскій: Онъ такія вещи сдѣлалъ въ послѣднее время, которыхъ искупить трудно. Булгарину орденъ. Гречь — тайный совѣтникъ. Въ Прагѣ ужасы. О какое время! Совѣстно даже быть спокойну. Мы зачерствѣли всѣ!... Уваровъ сказалъ Грановскому, что все Министерство Просвѣщенія вообще было въ опасности... Не говорите ни слова о Литературѣ, ни о вліяніи ея. Мы сами были обвинены“. Желая все это лично сообщить Шевыреву, Погодинъ восклицаетъ: „О разстояніе! Ѣхать я не могу подѣлиться, а тяжело одному!“

Вскорѣ Комитетъ, учрежденный для разсмотрѣнія дѣйствій цензуры періодическихъ изданій, приступилъ къ дѣйствію. 11 марта 1848 года онъ пригласилъ редакторовъ въ свое засѣданіе, на которомъ имъ было прочитано слѣдующее: „Государь Императоръ изволилъ обратить вниманіе на появленіе въ нѣкоторыхъ періодическихъ изданіяхъ статей, въ которыхъ авторы переходятъ отъ сужденія о Литературѣ къ намекамъ политическимъ, или въ которыхъ вымышленные разсказы имѣютъ направленіе предосудительное, оскорбляя правительственныя званія, или заключая въ себѣ идеи и выраженія, противныя нравственности и общественному порядку. Вслѣдствіе сего Государь Императоръ Высочайше повелѣть

27 февраля 1848 года графъ А. Ѳ. Орловъ писалъ графу С. С. Уварову: „По дошедшимъ до Государя Императора изъ различныхъ источниковъ свѣдѣніямъ о весьма сомнительномъ направленіи нашихъ журналовъ, Его Императорское Величество на докладѣ моемъ по сему предмету собственноручно написать соизволилъ: „Необходимо составить Комитетъ, чтобы разсмотрѣть правильно ли дѣйствуетъ цензура и издаваемые журналы соблюдаютъ ли данныя каждому программы. Комитету донести мнѣ съ доказательствами, гдѣ найдетъ какія упущенія цензуры и ея начальства, то-есть, Министерства Народнаго Просвѣщенія, и которые журналы и въ чемъ вышли изъ своей программы. Комитету состоять подъ предсѣдательствомъ генералъ-адъютанта князя Меньшикова, изъ дѣйствительнаго тайнаго совѣтника Бутурлина, генералъ-адъютанта графа Строганова 2-го, генералъ-лейтенанта Дубельта и статсъ-секретаря Дегая. Увѣдомить о семъ кого слѣдуетъ и генералъ-адъютанта графа Левашова, а занятія Комитета начать не медля... Имѣю честь покорнѣйше просить васъ приказать немедленно доставить къ князю Меньшикову программы всѣхъ издаваемыхъ у насъ журналовъ".

„Въ Петербургѣ образовался", писалъ Шевыревъ Погодину, — „Цензурный Комитетъ подъ предсѣдательствомъ барона Корфа, и грозятъ переборкой всѣхъ журналовъ. Кромѣ того, хотятъ отнять цензуру у Министра Народнаго Просвѣщенія".

„Цѣль и значеніе этого Комитета", по свидѣтельству А. В. Никитенка, „были облечены таинственностью... Наконецъ, постепенно выяснилось, что Комитетъ учрежденъ для изслѣдованія нынѣшняго направленія Русской Литературы и для выработки мѣръ обузданія ея на будущее время... Министръ Народнаго Просвѣщенія не былъ приглашенъ въ засѣданія Комитета..." Такимъ образомъ положеніе Уварова заколебалось. Въ мартѣ 1848 года посѣтилъ Москву сынъ его—графъ Алексѣй Сергѣевичъ и сообщилъ Погодину, „что его отецъ отставленъ" [216]).

Въ *Дневникѣ* Погодина подъ 17 апрѣля 1848 года мы

встрѣчаемся съ слѣдующею записью: „Просто Петербургъ не имѣетъ ни смысла, ни ума, испугался и потерялся и даже опасается Москвы: не будетъ ли чего тамъ. Доносы Строганова и пр.“ Возвратившійся изъ Петербурга Грановскій смутилъ Погодина сообщенными извѣстіями. „Встрѣтился вчера со мной на улицѣ Грановскій“, писалъ онъ Шевыреву,—„и разсказалъ столько ужасовъ о Петербургѣ, теперешнемъ направленіи, что морозъ по кожѣ подираетъ. Или уединеніе приготовляетъ слишкомъ воспріимчивость впечатлѣній, и они бываютъ сильнѣе обыкновенныхъ... Въ ужасномъ времени мы живемъ... Я непремѣнно уничтожилъ бы журналъ, не смотря на всѣ виды, еслибы не опасался такою внезапностью подать повода къ обвиненіямъ и подозрѣніямъ. О Строгановѣ сказалъ Грановскій: Онъ такія вещи сдѣлалъ въ послѣднее время, которыхъ искупить трудно. Булгарину орденъ. Гречь — тайный совѣтникъ. Въ Прагѣ ужасы. О какое время! Совѣстно даже быть спокойну. Мы зачерствѣли всѣ!... Уваровъ сказалъ Грановскому, что все Министерство Просвѣщенія вообще было въ опасности... Не говорите ни слова о Литературѣ, ни о вліяніи ея. Мы сами были обвинены“. Желая все это лично сообщить Шевыреву, Погодинъ восклицаетъ: „О разстояніе! Ѣхать я не могу подѣлиться, а тяжело одному!“

Вскорѣ Комитетъ, учрежденный для разсмотрѣнія дѣйствій цензуры періодическихъ изданій, приступилъ къ дѣйствію. 11 марта 1848 года онъ пригласилъ редакторовъ въ свое засѣданіе, на которомъ имъ было прочитано слѣдующее: „Государь Императоръ изволилъ обратить вниманіе на появленіе въ нѣкоторыхъ періодическихъ изданіяхъ статей, въ которыхъ авторы переходятъ отъ сужденія о Литературѣ къ намекамъ политическимъ, или въ которыхъ вымышленные разсказы имѣютъ направленіе предосудительное, оскорбляя правительственныя званія, или заключая въ себѣ идеи и выраженія, противныя нравственности и общественному порядку. Вслѣдствіе сего Государь Императоръ Высочайше повелѣть

соизволилъ: созвать редакторовъ и объявить имъ, что долгъ ихъ не только отклонять всѣ статьи предосудительнаго направленія, но содѣйствовать своими журналами Правительству въ охраненіи публики отъ зараженія идеями вредными нравственности и общественному порядку. Его Императорское Величество повелѣлъ предупредить редакторовъ, что за всякое дурное направленіе статей ихъ журналовъ, хотя бы оно выражалось косвенными намеками, они лично подвергнутся строгой отвѣтственности, независимо отъ отвѣтственной цензуры".

Это внушеніе, чрезъ Московскаго Попечителя, доведено было до свѣдѣнія и исполненія также Московской цензуры, и самъ цензоръ В. Н. Лешковъ въ письмѣ своемъ къ Погодину воскликнулъ: „У, какое время!" Мельгуновъ же писалъ: „Наступаютъ времена тяжелыя: надо собираться съ силами, чтобы перенесть ихъ" [217]). „Лешковъ говорилъ мнѣ", писалъ съ отчаяніемъ Шевыревъ Погодину,—„что пришло строжайшее повелѣніе, касающееся всѣхъ журналовъ... Не знаешь право, что́ и писать. Лучше всего говорить о буквахъ, да о словахъ, да и тутъ еще найдутъ что-нибудь... Петербургскіе журналы найдутъ средства какъ вывернуться, потому что тамъ все купить можно, а у насъ въ невинной честной Москвѣ будетъ самое добросовѣстное исполненіе предписанія, которое обрушится на *Москвитянинъ*. Впрочемъ ништо тебѣ. Говорилъ я: не возобновляй. Тратимъ силы, тратимъ время, тратимъ деньги, истощаемъ себя и свои самыя цвѣтущія мужественныя силы на журнальныя статейки, забываемъ важнѣйшія занятія—и все изъ чего? Изъ того, чтобы валандаться съ цензурою, и для чего? Для трехсотъ подписчиковъ, изъ которыхъ пятьдесятъ, чай, даровыхъ. По дѣло́мъ тебѣ, Михайло Петровичъ. Кабы ты меня разъ въ жизни послушалъ,—дѣло-то было бы лучше". Какъ бы для удостовѣренія правды, сказанной Шевыревымъ, Погодинъ посѣтилъ Лешкова и записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Къ Лешкову о цензурномъ предписаніи. Ужасы" [218]).

Не легче было и въ Петербургѣ. „Здѣсь цензура", пи-

салъ почтенный И. Я. Горловъ Погодину,—„дошла до того, что на дняхъ не пропустила объявленіе въ *Сѣверной Пчелѣ* о книгѣ Куторги: *Исторія Аѳинской республики...* Заглавіе казалось революціоннымъ... Ваше цензурное привидѣніе, вампиръ съ обагренными пальцами, для меня противно. Впрочемъ и здѣсь разъ Елагинъ не пропускалъ, что картофель боленъ. Пожалуй, и здѣсь можно видѣть хулу противъ Промысла. Въ Петербургѣ теперь рѣшительно паническій страхъ между литераторами“. Даже самъ П. А. Плетневъ былъ заподозрѣнъ Комитетомъ 2 апрѣля въ неблагонамѣренности, на что онъ съ негодованіемъ жаловался Жуковскому: „Моя служба осталась въ прежнемъ мѣстѣ, а недавно еще покачивалась... Стороною я узналъ, что Бутурлинскій Комитетъ и на меня подалъ Государю доносъ, находя въ моихъ лекціяхъ и годичныхъ отчетахъ слѣды либеральныхъ идей. Я написалъ Наслѣднику письмо, изложивши въ немъ правила моей жизни, службы и всѣхъ сочиненій моихъ. Онъ прочиталъ это Государю, который велѣлъ меня успокоить. Тогда Министерство Просвѣщенія снова представило меня въ ректоры — и Государь утвердилъ. Но Уваровъ увѣряетъ, что еслибы я не поступилъ такъ рѣшительно, то не былъ бы утвержденъ, и (по словамъ его) перемѣна въ способѣ избранія ректоровъ устроена была для благовиднаго удаленія меня отъ должности. Послѣ того, когда я былъ у Наслѣдника, Государь, проходя мимо меня, спросилъ меня, доволенъ ли я студентами, прибавивъ, что всѣмъ внѣшнимъ и онъ въ нихъ доволенъ, но желаетъ, чтобы у нихъ поболѣе было тутъ, показывая на сердце“ [219]). Вернувшись изъ Петербурга, Н. И. Крыловъ тоже напугалъ Погодина, и послѣдній подъ 15 іюля 1848 года записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Пріѣхалъ Крыловъ и напугалъ извѣстіемъ о Петербургскомъ духѣ. Національное направленіе-де есть самое опасное. Уже не бросить ли журналъ и замолчать. Къ Исторіи, Исторіи“; такъ же писалъ Погодинъ и Н. Ф. Павлову: „Я былъ бы радъ, чтобы запретили *Москвитянинъ*, и я принужденъ буду укрыться въ свое убѣжище—

Исторію и позабыть все. Направленіе наше, говорятъ, самое опасное".

Московская цензура запретила какую-то статью самого Погодина. Узнавъ объ этомъ, М. А. Дмитріевъ писалъ своему другу: „Мнѣ сказывали, что будто Голохвастовъ запретилъ вашу статью. Да что же это такое... До чего же наконецъ хочетъ онъ довести нашу Литературу и человѣческую мысль Русскаго человѣка? Неужели мы одни во всемъ мірѣ лишены права мыслить и печатать? Ибо цензура Голохвастова равняется запрещенію печатать... Да пожалуйтесь хоть разъ Министру. Онъ васъ, кажется, любитъ".

Уединившійся въ свое Долбино И. В. Кирѣевскій просилъ Погодина: „Извѣсти пожалуйста о томъ, что у васъ дѣлается съ цензурою, и есть ли надежда, что наша Литература еще кое-какъ будетъ чахнуть, или уже ей пропѣта вѣчная память". Вмѣсто отвѣта мы встрѣчаемся съ слѣдующею записью въ *Дневникѣ* Погодина: „Страстная недѣля. Говѣлъ. Молился съ меньшимъ усердіемъ и лѣнивѣе. Непріятности цензурныя" [220]).

Между тѣмъ изъ Петербурга И. И. Давыдовъ писалъ Погодину: „Христосъ Воскресе! душевно уважаемый Михаилъ Петровичъ, Христосъ Воскресе! Поздравляю васъ съ свѣтлымъ праздникомъ; желаю, чтобъ и на душѣ было свѣтло. Вѣра Александровна поручила сказать вамъ, что вамъ надобно избѣгать меланхоліи. А я привелъ ей слова Цицерона Aristoteles ait, omnes ingeniosos melancholicos. Такъ мудрено измѣнять природу... Туча, висѣвшая надъ журналистикою, слава Богу, разсѣялась... Къ барону Корфу обращаться не совѣтую: изъ этого ничего не выйдетъ, кромѣ смутъ и недоразумѣній. Напрасно предполагаете вы различныя махинаціи: разумѣется, борьба духа свѣта и тьмы продолжается непрерывно; но ничего нѣтъ необыкновеннаго. Одно разстроенное воображеніе можетъ пугать себя не существующими фантомами. Благодать Господа Бога да будетъ съ нами: и никто же на ны! Въ какую же деревню вы собираетесь? Неужели въ Карачарово? Подождите

лѣта: тогда лучше отправляйтесь въ Порѣчье, гдѣ будетъ Графъ. Долгомъ почитаю напомнить вамъ, что мы всѣ несемъ тотъ или другой крестъ. Разница между нами та, что одинъ нетерпѣливъ, ропщетъ, а другой все съ терпѣньемъ переноситъ и безмолствуетъ. Едва ли бы мы не ошиблись, еслибъ помѣнялись своимъ положенiемъ. Предоставимъ судьбу свою Провидѣнiю. Оно лучше насъ вѣдаетъ, что кому нужно и полезно. Ограничимъ желанiя свои, обуздаемъ самолюбiе, и мы будемъ покойны".

До слуха Шевырева дошло, что И. И. Давыдовъ къ своему директорству пожелалъ присоединить и службу по цензурѣ. „Говорятъ", писалъ Шевыревъ Погодину,—„будетъ пошлина на всѣ книги, даже и на ученые,—и эта пошлина составляетъ жалованье И. И. Давыдова на его новомъ мѣстѣ ревизора всей заграничной учености и литературы, къ намъ поступающей. Увы!!"

Мало того, Давыдовъ желалъ привлечь и Погодина на службу по цензурѣ. „Давно я не бесѣдовалъ съ вами", писалъ онъ ему,—„желая вамъ предоставить досугъ для изслѣдованiя Половецкихъ набѣговъ. Теперь полагаю, что вы вдоволь насытились Половцами: поэтому можно обратиться къ современности. И я, кромѣ прямыхъ обязанностей, былъ озабоченъ дѣломъ постороннимъ, котораго бо̀льшая часть окончена—и я могу вздохнуть посвободнѣе, переселясь мысленно въ Москву бѣлокаменную, съ золотыми маковками. Вамъ на Дѣвичьемъ Полѣ разсказываютъ новости не бывалыя, какова, напримѣръ, молва о Курбатовѣ *). Вмѣсто того, чтобы быть смотрителемъ Типографiи университетской и имѣть дѣло съ синдикомъ и другими, лучше принять званiе цензора, по новому положенiю, которое, вѣроятно, въ этомъ году утвердится Это званiе будетъ возвышено и нравственно, и матерiально. Объ этомъ уже говорено было графу С. С. Уварову". Само собою разумѣется, что Шевыревъ съ негодованiемъ отнесся къ этому предложенiю. „Давыдовъ хочетъ", писалъ онъ По-

*) Начальникъ Типографiи Московскаго Университета.

годину,—„вербовать тебя въ свою секту. Онъ пошелъ по цензурной части. Грустно, что Уваровъ ему поддается. Всѣ книгопродавцы жалуются, что книги задерживаются. Надобно же отдѣлять ученыя сочиненія отъ романовъ. Надѣлали тамъ пустяковъ и скверностей, а теперь прижимаютъ науку и все доброе“. Въ другомъ письмѣ Шевырева читаемъ: „Хорошо мѣсто тебѣ предлагаютъ. Историкъ—не будь профессоромъ, а будь цензоромъ. Давыдовъ золъ на Университетъ и настраиваетъ Министра противъ него. Это нехорошо“.

Строгости тогдашней цензуры коснулись произведеній и благонамѣреннаго чиновника Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, какъ В. И. Даля. 25 ноября 1848 года Д. П. Бутурлинъ писалъ графу С. С. Уварову: „При разсмотрѣніи помѣщенной въ десятомъ нумерѣ *Москвитянина* повѣсти Даля, подъ названіемъ *Ворожейка*, въ которой разсказываются разныя плутни и хитрости, употребленныя цыганкою проходившаго черезъ деревню табора для обмана простодушной крестьянки и покражи ея имущества, Комитетъ 2 апрѣля остановился на заключеніи этого разсказа, гдѣ прибавлено: „На деревнѣ сдѣлалась тревога, кто дома былъ изъ мужиковъ кинулись верхомъ по Чердынской дорогѣ — но табора уже съ утра и слѣдъ простылъ. Кидались по сторонамъ, наконецъ заявили начальству — тѣмъ, разумѣется, дѣло кончилось, но бѣдная Марья лишилась забавнымъ образомъ всего приданаго своего и всѣхъ подарковъ мужа“. Находя, что двусмысленно выраженный въ словахъ: *заявили начальству—тѣмъ, разумѣется, дѣло кончилось*—намекалъ на обычное, будто бы, бездѣйствіе начальства, ни въ какомъ случаѣ не слѣдовало пропускать въ печать... Комитетъ полагалъ сдѣлать цензору, пропустившему эту неумѣстную остроту, строгое замѣчаніе. Таковое заключеніе Комитета Государь Императоръ Высочайше изволилъ утвердить“. Впрочемъ, на печатаемыя въ *Москвитянинѣ* произведенія В. И. Даля, подъ заглавіемъ *Картины изъ Русскаго быта*, было обращено вниманіе Московскимъ цензоромъ В. Н Лешковымъ, и онъ писалъ Погодину: „Что это за картины

Русскаго быта! Какъ на смѣхъ все уроды! И это Русь" [221]). Въ *Дневникѣ* Никитенка мы находимъ объ этомъ слѣдующія свѣдѣнія: „Бутурлинъ дѣйствуетъ въ качествѣ предсѣдателя какого-то высшаго негласнаго Комитета въ цензурѣ и дѣйствуетъ такъ, что становится невозможнымъ что бы то ни было писать и печатать. Вотъ недавній случай. Далю запрещено писать. Какъ? Далю, этому умному, доброму, благородному Далю! Неужели и онъ попалъ въ коммунисты и соціалисты? Въ *Москвитянинѣ* напечатаны его два разсказа. Въ одномъ изъ нихъ изображена цыганка-воровка. Бутурлинъ отнесся къ Министру Внутреннихъ Дѣлъ съ запросомъ, не тотъ ли это самый Даль, который служитъ у него въ Министерствѣ? Перовскій призвалъ къ себѣ Даля, выговорилъ ему за то, что, дескать, охота тебѣ писать что-нибудь, кромѣ бумагъ по службѣ, и въ заключеніе предложилъ ему на выборъ любое: писать—такъ не служить; служить—такъ не писать" [222]).

Самъ же Даль писалъ Погодину (18 декабря 1848): „Времена шатки, береги шапки; тяжело будетъ вамъ теперь издавать журналъ... боюсь даже, что бросите. О моихъ похожденіяхъ вамъ теперь, конечно, уже давно извѣстно, по выговору цензору; разумѣется, что я теперь ужъ болѣе печатать ничего не стану, покуда не измѣнятся обстоятельства".

Предъ этою непріятною исторіею Даль былъ въ Москвѣ и пользовался гостепріимствомъ Погодина и Шевырева и, повидимому, по старому знакомству,—ихъ полнымъ довѣріемъ и расположеніемъ, а между тѣмъ вотъ что записалъ Погодинъ въ своемъ *Дневникѣ* 1848 года, подъ 14 мая: „Непріятныя извѣстія отъ Загряжскаго о свойствахъ Даля. Не пріѣзжалъ ли онъ соглядатаемъ. Что за гадкое время!"

Утѣшая Погодина, В. Н. Лешковъ писалъ ему: „Что у васъ? Отчего и грустно и тяжело? Мнѣ право весьма жаль, сердечно жаль, если, не дай Богъ, у васъ въ домѣ не все благополучно: во всѣхъ другихъ отношеніяхъ васъ могутъ утѣшать и ваша дѣятельность, и ваша извѣстность, и общее къ вамъ сочувствіе, мужайтесь; время великое".

Между тѣмъ наличные цензора выбились изъ силъ, и Начальникъ Петербургской цензуры былъ вынужденъ довести объ этомъ до свѣдѣнія Уварова, которому 10 апрѣля 1848 г. онъ писалъ: „При увеличивающихся занятіяхъ цензоровъ по періодическимъ изданіямъ, разсмотрѣніе которыхъ требуетъ теперь гораздо болѣе времени и значительно усиленнаго вниманія, цензорамъ нѣтъ никакой физической возможности исполнять съ успѣхомъ требованія по разсмотрѣнію рукописей“ и просилъ объ увеличеніи числа цензоровъ.

XXXIII.

Шевыревъ предвидѣлъ, что отъ цензурныхъ строгостей „Петербургскіе журналы найдутъ средства какъ вывернуться“. И дѣйствительно нашли.

3 апрѣля 1848 года князь А. С. Меншиковъ сообщилъ графу А. С. Уварову, что Государь Императоръ Высочайше изволилъ 2-го сего апрѣля повелѣть: „На *Отечественныя Записки* и *Современникъ*, замѣченныя особенно въ помѣщеніи статей и выраженій сомнительнаго духа, обратить самое строгое вниманіе цензуры и объявить редактору первыхъ, равно какъ редактору и отвѣтственнымъ издателямъ послѣдняго, что по духу ихъ журналовъ Правительство имѣетъ за ними особенное наблюденіе, и если впредь замѣчено будетъ въ оныхъ что-либо предосудительное, или двусмысленное, то они лично подвергнуты будутъ не только запрещенію продолжать свои журналы, но и строгому взысканію“.

Вслѣдъ за полученіемъ этого сообщенія Уваровъ собственноручно сдѣлалъ Попечителю С.-Петербургскаго Округа слѣдующее предписаніе: „Предлагаю вашему превосходительству, призвавъ издателя *Отечественныхъ Записокъ* Краевскаго, объявить ему, что если онъ не измѣнитъ въ основаніяхъ направленія издаваемаго имъ журнала и собственнымъ наблюденіемъ и выборомъ надежныхъ сотрудниковъ, то журналъ его въ скоромъ времени неминуемо подлежать будетъ запре-

щенію, а онъ самъ строгому взысканію. Такимъ образомъ прошу ваше превосходительство внушить Краевскому, что даруемый ему на нѣкоторое время послѣдній срокъ онъ долженъ считать дѣйствіемъ снисходительности, въ оправданіе коей онъ обязанъ рѣшительно принять прямыя мѣры, дабы не подвергнуться сугубой отвѣтственности".

Исполнивъ относительно Краевскаго приказаніе Министра, Попечитель Петербургскій 10 апрѣля 1848 года доносилъ ему: „Во исполненіе предписанія вашего сіятельства Краевскій былъ мною приглашенъ 9 сего апрѣля. Я, въ присутствіи цензоровъ *Отечественныхъ Записокъ* Фрейганга и Срезневскаго, объявилъ ему содержаніе предписанія вашего сіятельства и старался внушить ему, что онъ обязанъ оправдать дѣлаемую ему снисходительность. Краевскій принялъ съ должнымъ уваженіемъ и полною признательностью сообщенныя ему мною замѣчанія и объяснилъ въ подпискѣ, что предписаніе вашего сіятельства онъ принимаетъ къ подлежащему и точному исполненію".

И вотъ, когда Бѣлинскій лежалъ на смертномъ одрѣ и ему оставалось нѣсколько дней жизни, въ Петербургѣ редакторомъ *Отечественныхъ Записокъ* писалась статья, которая была окончена 25 мая 1848 года, и въ іюльской книжкѣ *Отечественныхъ Записокъ*, безъ подписи автора, явилась въ печати подъ заглавіемъ *Россія и Западная Европа въ настоящую минуту*.

Статья эта обратила на себя благосклонное вниманіе негласнаго Комитета 2-го апрѣля, и предсѣдатель онаго Д. П. Бутурлинъ писалъ графу С. С. Уварову: „При обозрѣніи выходившихъ въ теченіе минувшаго іюля періодическихъ изданій, книгъ, отдѣльныхъ сочиненій и пр. Комитетъ, Высочайше утвержденный во 2-й день апрѣля сего года, остановился на статьѣ, помѣщенной въ седьмомъ нумерѣ *Отечественныхъ Записокъ* подъ заглавіемъ *Россія и Западная Европа въ настоящую минуту*, статьѣ, написанной самимъ редакторомъ журнала и отличающейся вѣрнымъ взглядомъ на описываемый

предметъ, безпристрастнымъ, чуждымъ какого-либо ласкательства и внушающимъ тѣмъ болѣе довѣрія изложеніемъ, особою теплотою религіознаго чувства и патріотическимъ увлеченіемъ, достойнымъ всякой похвалы. Замѣчанія сіи Комитетъ счелъ долгомъ повергнуть на Высочайшее воззрѣніе, вслѣдствіе чего Государю Императору благоугодно было повелѣть предоставить вашему сіятельству объявить коллежскому совѣтнику Краевскому, что означенная статья удостоилась обратить на себя Всемилостивѣйшее вниманіе Его Императорскаго Величества".

Но иное впечатлѣніе произвела эта статья въ Москвѣ на редактора *Москвитянина*. Прочитавъ ее, Погодинъ, подъ 13 іюля 1848 года, записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: *Омерзѣніе, произведенное Отечественными Записками*, и на другой же день писалъ Шевыреву: „Прочелъ статью вчера *въ Отечественныхъ Запискахъ*. Ты не можешь вообразить омерзѣнія, произведеннаго ею въ душѣ: просто тошнота, что написали подлецы, но прочти самъ, доставъ книгу немедленно у кого-нибудь. А нашей не посылаю: я пишу статьи, ибо стерпѣть и промолчать теперь нельзя. Я разражу ихъ".

Такъ какъ статья *Отечественныхъ Записокъ* была безымянная, то явились разныя предположенія. Одни думали, что авторъ ея Блудовъ, другіе—Устряловъ, а иные предполагали, что Надеждинъ; вслѣдствіе сего Погодинъ обратился къ послѣднему съ запросомъ, но тотъ положительно отвѣчалъ: „Не только писать какія-нибудь глупости для журналовъ, да и читать ихъ у меня теперь нѣтъ ни досуга, ни охоты. Вотъ тебѣ отвѣтъ на счетъ *Отечественныхъ Записокъ*. Прими его къ свѣдѣнію и напредки во всѣхъ подобныхъ случаяхъ. Объ извѣстной статьѣ, которой я и не читалъ, да и читать не намѣренъ, самъ редакторъ предварительно извѣщалъ меня съ самодовольствомъ, говоря, что онъ такъ напишетъ, что самъ Булгаринъ расчихается. Впрочемъ другіе говорятъ, что она написана Ксенофонтомъ Полевымъ".

Съ своей стороны и Шевыревъ писалъ Погодину: „Статью

Отечественныхъ Записокъ писалъ самъ Краевскій. Это ясно. Въ статьѣ противъ *Отечественныхъ Записокъ* надобно сначала рѣзко дать замѣтить, что сходство между имъ и *Москвитяниномъ* въ этой статьѣ только наружное... Статья *Отечественныхъ Записокъ* во мнѣ рѣшительно не произвела никакого негодованія. Во многихъ мѣстахъ я отъ всей души смѣялся. Вотъ такъ-то и надо. Это всего лучше. А ты сердишься. Да такія статьи—ордена мнѣ и *Москвитянину*".

Какъ бы то ни было патріотическая статья *Отечественныхъ Записокъ* заставила Погодина съ своей стороны написать:

Нѣсколько словъ и выписокъ по поводу статьи: Россія и Западная Европа въ настоящую минуту.

„*Москвитянинъ* семь лѣтъ настаиваетъ на противоположность Исторіи Русской съ Исторіею Запада (а *Московскій Вѣстникъ* начиналъ говорить это еще двадцать лѣтъ тому назадъ). *Отечественныя Записки* съ *Современникомъ* безпрестанно издѣвались надъ этой мыслію, а теперь они выписываютъ почти слово въ слово положенія и разсужденія *Москвитянина* и доводятъ ихъ даже до крайностей, какъ увидимъ ниже. Не вѣришь глазамъ своимъ, читая седьмой нумеръ. Не повѣрятъ и читатели,—но мы честь имѣемъ представить осязательныя доказательства. Извольте сличить:

Москвитянинъ, 1844 г., № 1.	*Отеч. Зап.*, № 7, 1848 г., с. 2.
Западныя Европейскія государства обязаны происхожденіемъ своимъ *завоеванію*, которое опредѣлило и всю послѣдующую ихъ Исторію, даже до настоящаго времени.	Начало почти всѣхъ новыхъ государствъ Западной и Средней Европы было одинаково. Почти вездѣ политическое ихъ существованіе началось *завоеваніемъ*.
Пришельцы побѣждаютъ туземцевъ и поселяются между ними. Предводитель дѣлитъ зем-	Сильные народы, подвигаясь съ Востока, покоряли туземцевъ, и, оставаясь на ихъ зем-

лю между своими сподвижниками, которые (феодалы) въ крѣпкихъ замкахъ становятся *господами*, угнетаютъ народъ, отдѣляютъ его отъ государя,— и живутъ на счетъ племени побѣжденнаго. Возникаетъ непримиримая *ненависть* между сими племенами, которая усиливается тѣмъ болѣе, чѣмъ долѣе должна бываетъ таиться.

Въ городахъ укрываются немногіе жители, кои въ теченіе вѣковъ, послѣ многихъ тщетныхъ усилій и жертвъ, мало-по-малу освобождаются отъ ихъ вліянія... образуется среднее сословіе, а при дворѣ аристократія, происходящая отъ феодаловъ, которые... присвоиваютъ себѣ всѣ привилегіи и начинаютъ угнетать народъ подъ другою формою. Среднее сословіе... не уступаетъ, и борьба... оканчивается революціей.

Всѣ эти происшествія имѣютъ тѣсную связь между собою... и ведутъ свой родъ совершенно генеалогически отъ завоеванія.

Завоеваніе, раздѣленіе, феодализмъ, ненависть, борьба, ляхъ, дѣлались безотчетными ихъ *повелителями*. Такъ начался, утвердился и образовался феодализмъ во всей Западной Европѣ. Онъ представляетъ безпрерывную *борьбу*, сначала покоренныхъ рабовъ съ завоевателями; потомъ горожанъ съ помѣщиками, борьбу городовъ и ленныхъ владѣльцевъ съ королями, наконецъ борьбу разныхъ сословій и учрежденій съ правительствами.

Наконецъ власть королей и другихъ державныхъ владѣтелей казалась утвержденною; но борьба нравственная и даже вещественная не прекращалась. Стоитъ только вспомнить о волненіяхъ..., гдѣ то своевольные помѣщики, то города и сословія возставали противъ власти королей. Въ XVIII столѣтіи, когда все, повидимому, покорялось законнымъ государямъ, прежнія борьбы слились въ одну общую, извѣстную подъ именемъ *революціи*.

Такъ феодализмъ былъ одною изъ причинъ, которыя въ развитіи своемъ вели къ борьбѣ государственныхъ стихій, и борьба почти непрерывная раздражала страсти и вела къ революціи, то-есть, къ ниспро-

освобожденіе городовъ, — это первая трагедія Европейской трилогіи.

Единодержавіе, аристократія, борьба средняго сословія, революція—это вторая.

Уложенія, борьба низшихъ классовъ... будущее въ руцѣ Божіей.

Обратимся теперъ къ Русской исторіи — представляетъ ли она эти главныя характеристическія явленія Западныхъ исторій.

Мы имѣемъ положительное сказаніе лѣтописи, что наше государство началось не вслѣдствіе завоеванія, а вслѣдствіе призванія. Вотъ источникъ различій! Какъ на Западѣ все произошло отъ завоеванія, такъ у насъ происходитъ отъ призванія, безпрекословнаго занятія и полюбовной сдѣлки. Съ перваго взгляда мы примѣчаемъ, что у насъ въ началѣ ея нѣтъ рѣшительно ни одного, по крайней мѣрѣ въ томъ видѣ: нѣтъ ни раздѣленія, ни феодализма, ни убѣжищныхъ городовъ, ни средняго сословія, ни рабства, ни ненависти, ни гордости, ни борьбы....

верженію существовавшаго порядка и хаотическому состоянію общества.

Таковы историческіе факты съ одной стороны. Посмотрите на исторію и событія въ другой нашей части Европы.

Государство Россійское началось не завоеваніемъ, сдѣлавшимъ на Западѣ туземцевъ рабами, а свободнымъ призваніемъ властителей, которые съ самаго начала стали управлять Россіею не на основаніяхъ феодализма, и на основаніяхъ патріархальной, отеческой самодержавной власти. Еслибы и не находили мы извѣстія о томъ въ сумракѣ нашихъ лѣтописей, то открыли бы ту же истину, въ событіяхъ, ознаменовавшихъ самое начало нашей исторіи.

„Мы повторимъ еще здѣсь кстати заключеніе статьи *Москвитянина* о различіяхъ Исторіи Русской и Западной:

„Эти различія развивались впослѣдствіи и представили изъ Русской Исторіи, при общемъ (родовомъ) ея пособіи, при единствѣ цѣли, совершенную противоположность съ Исторіей Западныхъ государствъ, что касается до ея путей, средствъ, обстоятельствъ, формы происшествій, — противоположность, которую представляетъ наша жизнь и теперь, не смотря на всѣ усилія, преобразованія, перевороты, время....

„Вотъ что надо имѣть непремѣнно въ виду, разсуждая о Русской Исторіи, въ какомъ бы то ни было ея періодѣ; произнося приговоръ ея событіямъ, разбирая ея достоинства и недостатки, хваля и порицая дѣйствующія лица, изъявляя желанія или опасенія для будущаго времени. Иначе мы будемъ впадать въ дѣтскія ошибки, то-есть, искать такихъ плодовъ, для которыхъ не было сѣмянъ, и оставлять безъ вниманія другіе, можетъ быть, драгоцѣннѣйшіе, потому что ихъ нѣтъ индѣ.

„*Москвитянинъ* постоянно впродолженіе семи лѣтъ доказывалъ *важность древней Русской Исторіи*, и чтобъ яснѣе выразить свою противоположность съ Петербургскими журналами выставилъ на первомъ мѣстѣ въ своей программѣ 1843 г.: благоговѣніе къ древней Русской Исторіи! *Отечественныя Записки* и потомъ *Современникъ* постоянно отвергали Русскую Исторію до Петра I, поносили ее всячески, а теперь вотъ какъ они парафразируютъ *Москвитянинъ*.

Москвитянинъ, 1844 г., № 1.	*Отеч. Зап.*, № 7, 1848 г.
Въ основаніе государства у насъ положена *любовь*, а на Западѣ ненависть. Въ этомъ признаются многіе изъ западныхъ писателей: Сенсимонисты	Здѣсь начало величія Россіи, она *свободно* приняла единодержавіе и вѣру, постепенно укрѣплялась въ нихъ, и никогда не представляла тѣхъ

даже выходятъ изъ того начала, что вся общественная жизнь у нихъ составлена на началѣ *оппозиціи*, то-есть, *вражды*, слѣдовательно, должна быть преобразована.

противорѣчій, какія встрѣчаемъ мы въ исторіи другихъ Европейскихъ народовъ.

У насъ не было рабства, не было пролетаріевъ, не было ненависти, не было гордости, не было инквизиціи, не было феодальнаго тиранства.

Вѣра не вооружалась у насъ ни инквизиціею, ни лицемѣрствомъ орденовъ монашескихъ, ни притѣсненіемъ и преслѣдованіемъ невинныхъ.

Москвитянинъ, 1846 г., № 1.

Русская Исторія представляетъ всегда Россію однимъ семействомъ, въ которомъ государь отецъ, а поданные дѣти. Отецъ сохраняетъ надъ дѣтьми полную власть, предоставляя имъ полную свободу; между отцомъ и дѣтьми не можетъ быть недовѣрчивости, измѣны; судьба, счастіе и спокойствіе ихъ общія. Пока этотъ союзъ святъ и нерушимъ, до тѣхъ поръ спокойствіе и счастіе, — лишь только, гдѣ бы то ни было, онъ начинаетъ колебаться, какъ и безпорядокъ, замѣшательство, тревога. Вотъ тайна Русской Исторіи, тайна, которой не можетъ постигнуть ни одинъ западный мудрецъ *).

Отеч. Записки, № 7, 1848 г.

Убѣжденіе (о единствѣ Царя и Царства) это вѣками обратившееся въ непреложное вѣрованіе, составляетъ взаимную силу Царя и Царства. Государь Русскій выражаетъ собою все могущество и всѣ силы Россіи, и слово его есть не только повелѣніе, но и сама воля и сила цѣлаго государства, съ нимъ нераздѣльнаго.

*) Эти слова были сказаны въ объясненіе одного мѣста изъ письма Карамзина къ Дмитріеву.

„*Москвитянинъ* настаивалъ на *неразрывность* Древней Русской Исторіи съ Новою и утверждалъ, что Русской Исторіи нельзя начинать съ Петра I, какъ того хотѣли *Отечественныя Записки* и *Современникъ*, а теперь они говорятъ совершенно то же.

Москвитянинъ, 1848 г., № 1.

Напрасно эти дѣятели въ нашей Литературѣ имѣютъ привычку ссылаться на Петра Великаго и отъ его существенной мысли вести свое происхожденіе. Это значитъ только, что они не обозрѣли всѣхъ его подвиговъ, не вникли во все движеніе исторіи его царствованія. Петръ въ началѣ своего поприща обнаружилъ нѣкоторое пристрастіе ко всему иностранному, но по мѣрѣ дѣйствій своихъ пріобрѣтая бòльшую и бòльшую опытность, видѣлъ самъ потребность возвращаться наболѣе и болѣе къ основамъ Русской жизни и на нихъ утверждать зданіе новой Россіи. Они могутъ сослаться на одно только: на измѣненіе одежды, внѣшней формы Русскаго человѣка, но это, конечно, не составляетъ существенной стороны Петрова преобразованія.

Отечественныя Записки.

Петръ не измѣнилъ коренныхъ основаній ея величія и славы, а только утвердилъ ихъ.

Вникните въ сущность преобразованій Петра Великаго и его преемниковъ, и сообразите, въ чемъ заключались эти преобразованія, они обращались на такіе предметы, отъ которыхъ не могутъ перемѣниться ни нравственныя убѣжденія, ни вѣрованія.

Какъ геній, видѣвшій все благо просвѣщенія и образованности для своихъ народовъ, Петръ водворилъ у насъ науки и искусства и не пренебрегъ ни одного, такъ сказать, вещественнаго улучшенія въ нашемъ быту.

„Присоединимъ еще совершенно тожественное мѣсто изъ *Москвитянина* вмѣстѣ съ мнѣніемъ его о прежнихъ *Отечественныхъ Запискахъ*.

(*Москвитянинъ* 1844 г.). Есть другая крайняя сторона, болѣе вредная, чѣмъ та (старовѣры), особенно въ наше время; это исключительные защитники Руси Петровой, которые думаютъ, что Россія могла начаться вчера, волею одного человѣка; они отрицаютъ важность древней, обходятъ ее равнодушіемъ, даже презрѣніемъ, или разсматриваютъ, какъ мертвую древность историческую, чуждую всякаго современнаго значенія, утратившую для насъ весь прежній смыслъ свой. Это люди новые, необходимое порожденіе послѣднихъ на насъ вліяній, отколки отъ жизни Русской въ сближеніи ея съ западнымъ образованіемъ, неизбѣжныя жертвы нѣкоторыхъ крайностей нашего всемірнаго развитія и эпохи намъ современной. Въ этихъ людяхъ слышится одинъ безпрерывно измѣнчивый отголосокъ послѣднихъ мнѣній Запада въ наукѣ, въ общественной жизни, въ литературѣ, въ модахъ свѣта. Въ нихъ нѣтъ никакого уваженія къ прошедшему Россіи, даже и въ новомъ ея періодѣ, а одно гордое и безсильное стремленіе начать ея бытіе съ самихъ себя. Въ нихъ особенная антипатія къ Москвѣ, какъ средоточію и представительницѣ древней Русской жизни. Въ нихъ одна бездушная, хотя щеголеватая снаружи, копія со всей внѣшней, матеріальной стороны просвѣщенія западнаго, безъ всякаго внутренняго его значенія, безъ мысли живой и грѣющей. Это повапленные гробы Россіи, одѣтые во фраки послѣдняго покроя, украшенные всѣми причудами послѣднихъ модъ Парижа, его духами прикрывающіе запахъ внутренняго своего гніенія, принявшіе формы повѣствователей на подрядъ, журналистовъ безъ цѣли, нравоописателей безъ народа и безъ жизни, нравоучителей безъ нравственности, грамматиковъ безъ родного языка, литераторовъ безъ мнѣній и убѣжденій. Таковъ неизбѣжный характеръ жизни чужой, украденной у другихъ народовъ на прокатъ, не изъ своего народнаго начала біющей, при всемірномъ содѣйствіи другихъ, а измѣняющей чистому роднику своему.

„И здѣсь, и тамъ, разумѣется, крайность: тамъ, у старо-

вѣровъ, по крайней мѣрѣ, своя былая жизнь, но оцѣпенѣвшая въ омертвѣломъ прошедшемъ; здѣсь у новаго безпокойнаго безвѣрія — жизнь чужая, шатающаяся безъ корня и не знающая, къ чему привиться. По мнѣнію тѣхъ и другихъ, все бытіе Русское, вся жизнь народа, въ его настоящую минуту, какъ и во всемъ его прошедшемъ, разрывается на двѣ половины, которыя уже никакимъ образомъ соединены быть не могутъ. Разрывъ, по ихъ мнѣнію, характеръ бытія Русскаго.

„Я отрицаю совершенно присутствіе этого разрыва въ самой *сущности* жизни нашего Отечества. Обѣ половины Русской Исторіи совсѣмъ не находятся въ такомъ неразрѣшимомъ противорѣчіи, какъ разумѣютъ многіе. Это явленіе мнимое, наружное, несущественное. Русская древняя жизнь до Петра Великаго въ существѣ своемъ не заключала никакого противорѣчія преобразованію Петрову: сама она, по силѣ, или правильнѣе, по слабости, вещей человѣческихъ, дожила въ народѣ до такого оцѣпенѣнія, которое мѣшало существу и душѣ развиваться далѣе. Преобразованіе Петрово не отрицало Древнюю Россію въ томъ, что она заключала въ себѣ существеннаго, неизмѣннаго, непреложнаго, а отрицало ее только въ тѣхъ формахъ внѣшнихъ, которыя препятствовали развитію сущности ея духа. Съ своей стороны, Древняя Россія дала этому преобразованію ту твердую почву, безъ которой оказалось бы оно непрочнымъ и легкомысленнымъ. Само оно, еслибы когда-нибудь вздумалось ему отвергнуть почву и существо древней Русской жизни, можетъ дожить до другой вредной крайности; но это только временно и падетъ на немногія поколѣнія. Все же бытіе Русскаго народа едино, цѣльно и полно — и никакого разрыва и противорѣчія во *внутренней святынѣ существа* своего не допускаетъ.

„Не нужно распространяться о мнѣніи, какое *Москвитянинъ* имѣлъ и имѣетъ о *Карамзинѣ*. Петербургскіе журналы не ставили его ни во что, и это было ясно всякому опытному читателю, тѣмъ болѣе, что ограниченность, посредственность и слабость не умѣли прикрывать даже и для толпы

своихъ выходокъ. *Москвитянинъ* въ порывѣ негодованія принужденъ былъ иногда отвѣчать имъ рѣзко и позволялъ себѣ выраженія, кои не позволилъ бы себѣ ни въ какомъ другомъ отношеніи,—напримѣръ, при объявленіи о новомъ изданіи *Исторіи Государства Россійскаго* онъ возглашалъ: „Юноши, бѣгите, бѣгите толпами къ этому чистому источнику Русскаго слова, Русскаго ума, Русскаго и человѣческаго чувства. Не вѣрьте, не вѣрьте тѣмъ неучамъ, наглецамъ, невѣжамъ, которые твердятъ вамъ, что Карамзинъ устарѣлъ, и что у него учиться нечему. Вкусъ падаетъ, образованность прекращается, сказалъ бы я съ грустію, еслибъ замѣтилъ, что такое нелѣпое мнѣніе распространяется дальше тлетворной атмосферы того болота, гдѣ оно возникло".

„А въ другомъ мѣстѣ *Москвитянинъ* примѣнилъ даже стихъ Грибоѣдова о Репетиловѣ къ автору одной выходки о Карамзинѣ.

„Нынѣ *Отечественныя Записки*, называя Карамзина краснорѣчивымъ историкомъ, приводятъ его въ свидѣтели и распространяютъ еще далѣе его положенія.

„Довольно доказательствъ для читателя!

„Но можетъ быть, это статья сообщенная. Въ такомъ случаѣ *Отечественныя Записки* должны бы были дать знать это и не поднимать на себя руки такъ торжественно и величаво. Мы, съ своей стороны, пожалѣемъ, что авторъ не открылъ своего имени. Мы были бы очень рады согласиться съ нимъ во многихъ историческихъ положеніяхъ, тѣмъ болѣе, что эти положенія исконныя наши: о противоположности Русской Исторіи съ Исторіей Запада, о важности Древней Русской Исторіи, о неразрывности Петрова времени съ предшествовавшимъ; мы были бы готовы повторить за нимъ нѣкоторыя другія, напримѣръ, объ историко-политическихъ непріязненныхъ отношеніяхъ между властями и народами Запада; наконецъ, намъ было бы пріятно поспорить съ нѣкоторымы крайностями, до коихъ никогда не доходилъ и не дойдетъ *Москвитянинъ*, ибо крайности ни въ чемъ не бываютъ хороши и никогда не бываютъ благонадежны, какъ завѣщеваетъ мудрость вѣковъ.

Напримѣръ, *Отечественныя Записки* говорятъ теперь, что даже въ Удѣльномъ періодѣ вѣра не мѣшала, а только способствовала процвѣтанію и всѣмъ успѣхамъ государства и народа. Вѣра, разумѣется, не мѣшала ничему, но „*процвѣтанія* и *всѣхъ успѣховъ* Государства и народа“ въ то несчастное время не было и быть не могло.

„Напримѣръ, *Очественныя Записки* говорятъ теперь, что „мы соперничаемъ съ самыми просвѣщенными народами въ наукѣ, искусствѣ и даже промышленности“. Въ искусствѣ, положимъ, намъ можно указать на нѣсколько живописцевъ и музыкантовъ; въ промышленности на нѣсколько фабрикъ,— на какую же науку и на какое сочиненіе можемъ мы указать Европейцамъ?

„Наконецъ, *Москвитянинъ* никакъ не согласится съ авторомъ этой статьи, будто употребленіе Французскаго языка никакъ невредно,—не согласится, и во имя Ломоносова, Карамзина, Дмитріева, Шишкова и всѣхъ нашихъ отцевъ, готовъ спорить съ нимъ до послѣдней капли крови или хоть чернилъ“.

Въ одномъ изъ позднѣйшихъ писемъ Погодина къ Ѳ. П. Корнилову (отъ 23 января 1853 г.) мы читаемъ: „Въ седьмомъ нумерѣ *Отечественныхъ Записокъ* 1848 года помѣщена была статья подъ заглавіемъ *Россія и Европа*, несогласная во многихъ отношеніяхъ съ прежними статьями этого журнала, и на оборотъ повторившая многія мысли *Москвитянина*, противъ которыхъ Петербургскій журналъ возставалъ. Помню, что я хотѣлъ выставить это и напечатать противорѣчія *Отечественныхъ Записокъ* и заимствованіе многихъ мыслей изъ *Москвитянина*. Мое объясненіе было уже въ корректурѣ, но я отдумалъ послѣ пускать оное въ свѣтъ, чтобъ не причинить вреда своимъ противникамъ, при ихъ невзгодѣ. Между тѣмъ это Русское направленіе, которое *Москвитянинъ* ставилъ себѣ всегда въ заслугу, литературные враги старались оглашать опаснымъ. Вотъ почему я думалъ тогда оставить журналъ и предаться исключительно Исторіи“.

Это позднѣйшее свидѣтельство нѣсколько исправляется

современнымъ. Дѣло въ томъ, что статья Погодина противъ *Отечественныхъ Записокъ* была просто остановлена тогдашнею цензурою. 27 августа 1848 года попечитель Московскаго Учебнаго Округа, Д. П. Голохвастовъ, писалъ управляющему Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія князю П. А. Ширинскому-Шихматову: „Цензоръ Лешковъ представилъ Комитету назначаемую для помѣщенія въ *Москвитянинѣ* статью подъ заглавіемъ: *Нѣсколько словъ и выписокъ по поводу статьи Россія и Западная Европа въ настоящую минуту*—съ такимъ мнѣніемъ, что статья эта, подавая поводъ внести въ журнальчую полемику важнѣйшіе вопросы государственной жизни Россіи, представляетъ для него затрудненіе въ этомъ отношеніи, требующее разрѣшенія высшаго начальства". Въ докладной запискѣ по поводу этой бумаги сказано: „Статья въ *Отечественныхъ Запискахъ* удостоилась одобренія Его Императорскаго Величества. *Москвитянинъ* не пишетъ противъ нея; а доказываетъ, что мысли этой статьи заимствованы у него и ему принадлежатъ, и только безмолвно присвоены *Отечественными Записками*. *Москвитянинъ* большею частію повторяетъ прежде въ немъ напечатанное". На эту записку, 4 сентября 1848 года, послѣдовала слѣдующая резолюція князя П. А. Ширинскаго-Шихматова: *Считаю неудобнымъ дозволить эту статью къ напечатанію.*

„Итакъ", писалъ В. И. Даль Погодину,—„знаменитая статья удостоилась вашего особеннаго вниманія и конечно благоволенія. Ее писалъ, разумѣется, самъ хозяинъ заведенія. Если грозятъ закрыть и запечатать фабрику, которая кормитъ, такъ чай запоешь и не то!" [223]).

Чтобъ сколько-нибудь поднять упадающій гражданскій духъ, у Погодина явилась отважная мысль подать адресъ Государю. Вскорѣ мысль воплотилась въ слово. Въ *Дневникѣ* его мы читаемъ: „Не дѣлается, а думается. Писалъ о войнахъ. Ужасныя вымарки цензора. Вотъ тебѣ разъ! Хорошо соотвѣтствуемъ мы времени! Читалъ Иннокентія. *Переписалъ письмо къ Царю*" [224]).

Но противъ этого энергически возсталъ И. В. Кирѣевскій и писалъ Погодину: „...Ты пишешь ко мнѣ, что не худо бы литераторамъ представить адресъ Императору о излишнихъ и стѣснительныхъ дѣйствіяхъ цензуры. Сначала я оставилъ эту мысль безъ большаго вниманія, какъ несбыточную. Потомъ однако, когда я обдумалъ твой характеръ, и что у тебя часто отъ первой мысли до дѣла бываетъ полъ-шага,—тогда я испугался и за тебя, и за дѣло. Подумай: при теперешнихъ безтолковыхъ переворотахъ на Западѣ *время ли* подавать намъ *адресы* о Литературѣ? Конечно цензурныя стѣсненія вредны для просвѣщенія и даже для Правительства, потому что ослабляютъ умы безъ всякой причины; но всѣ эти отношенія ничего не значатъ въ сравненіи съ текущими важными вопросами, которыхъ правильнаго рѣшенія намъ надобно желать отъ Правительства.—Не велика еще бѣда, если наша Литература будетъ убита на два или на три года. Она оживетъ опять. А между тѣмъ подавать просительные адресы въ теперешнее время, значило бы поставить Правительство во враждебное или по крайней мѣрѣ въ недовѣрчивое отношеніе къ литераторамъ, что гораздо хуже, потому что можетъ повести къ слѣдствіямъ неправильнымъ и вреднымъ. Правительство теперь не должно бояться никого изъ благомыслящихъ. Оно должно быть увѣрено, что въ теперешнюю минуту мы всѣ готовы жертвовать всѣми второстепенными интересами для того, чтобы только спасти Россію отъ смутъ и безполезной войны. Мы должны желать только того, чтобы Правительство не вмѣшало насъ въ войну по какой-нибудь прихоти или по дружбѣ къ какому-нибудь Шведскому или.... королю; чтобы оно не пошло давить нашихъ Словенъ вмѣстѣ съ Нѣмцами; чтобы оно *не возмущало народъ ложными слухами о свободѣ и не вводило бы никакихъ новыхъ законовъ, покуда утишатся и объяснятся дѣла на Западѣ, чтобы, напримѣръ, оно не дѣлало инвентарей къ помѣщичьимъ имѣніямъ, что волнуетъ умы несбыточными предположеніями;* чтобы оно не позволяло фабрикамъ безъ всякой нужды заводиться внутри

городовъ и особенно столицъ, когда они съ такою же выгодою могутъ стоять за нѣсколько верстъ отъ заставы, и пр. и пр. Впрочемъ всего въ письмѣ не перескажешь" [225]).

На это Погодинъ отвѣчалъ Кирѣевскому: „О какой просьбѣ Царю говоришь ты, любезный Иванъ Васильевичъ, я право не понимаю. Или ты не понялъ меня, или я неясно выразилъ мысль свою. Я очень понимаю, что теперь не до Литературы. Не помню даже, по какому поводу я писалъ къ тебѣ: столько происшествій общихъ и частныхъ, столько впечатлѣній, что, право, забываешь часто самое памятное. У насъ разносился слухъ, что Государю непріятно молчаніе литераторовъ, а цензура не позволяетъ говорить ничего, сама устрашенная безпрерывными строгими, но общими предписаніями. Я, можетъ быть, изъявилъ желаніе, чтобъ Государь узналъ какъ-нибудь объ этомъ фальшивомъ положеніи Литературы,— и не гнѣвался на невинныхъ вмѣстѣ съ виноватыми. Общее замѣшательство увеличивается теперь холерою, которая рветъ ежедневно въ Москвѣ, вѣроятно, на половину, а въ Петербургѣ по цѣлой тысячи! Господи помилуй насъ грѣшныхъ! Я оставляю все настоящее—Исторія мое убѣжище".

XXXIV.

Въ 1847 году въ Правительствѣ нашемъ происходило большое движеніе по вопросу объ уничтоженіи крѣпостного права. Императоръ Николай вновь и съ большею противъ прежняго энергіею изъявилъ свою рѣшительную волю касательно этого вопроса. „Вы знаете", писалъ Бѣлинскій П. В. Анненкову (декабрь 1847),—„что послѣ выборовъ назначается обыкновенно двое депутатовъ отъ дворянства, чтобы благодарить Государя Императора за продолженіе дарованныхъ дворянству правъ, и вы знаете, что въ настоящее царствованіе эти депутаты никогда не были допускаемы до Государя Императора. Теперь вдругъ Смоленскимъ депутатамъ велѣно было явиться въ Питеръ. Государь Императоръ милостиво принялъ

ихъ, говорилъ, что онъ всегда былъ доволенъ Смоленскимъ Дворянствомъ и пр., и потомъ вдругъ перешелъ къ слѣдующей рѣчи: Теперь я буду говорить съ вами не какъ Государь, а какъ первый дворянинъ Имперіи. Земли принадлежатъ намъ, дворянамъ, по праву, потому что мы пріобрѣли ее нашею кровію, пролитою за Государство; но я не понимаю, какимъ образомъ человѣкъ сдѣлался вещью, и не могу себѣ объяснить этого иначе, какъ хитростію и обманомъ, съ одной стороны, и невѣжествомъ — съ другой. Этому должно положить конецъ. Лучше намъ отдать добровольно, нежели допустить, чтобы у насъ отняли. Крѣпостное право причиною, что у насъ нѣтъ торговли, промышленности. Затѣмъ онъ сказалъ имъ, чтобы они ѣхали въ свою губернію и, держа это въ секретѣ, побудили бы Смоленское Дворянство къ совѣщаніямъ о мѣрахъ, какъ приступить къ дѣлу". Бѣлинскій радуется, что движеніе это отразилось и въ Литературѣ. „Проскальзываютъ тамъ и сямъ", пишетъ онъ,— „то статьи, то статейки, очень осторожныя и умѣренныя по тону, но понятныя по содержанію. Вы, вѣрно, уже получили статью Заблоцкаго *). Въ другое время нельзя было бы и думать напечатать ее, а теперь она прошла. Мало этого: недавно въ *Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія* ее разбирали съ похвалою и выписали мѣсто о злѣ обязательной ренты. Помѣщики наши проснулись и затолковали. Очень интересна теперь *Земледѣльческая Газета*, органъ мнѣній помѣщиковъ. Толкуютъ о съѣздахъ помѣщиковъ и т. д." [226]).

Въ бумагахъ Погодина сохранились записанныя имъ, во время пребыванія въ Порѣчьѣ, мысли объ этомъ вопросѣ графа С. С. Уварова, съ краткими замѣтками самого Погодина, сдѣланными карандашемъ. Эти замѣтки мы помѣщаемъ въ выноскахъ. „Случай доставилъ мнѣ", писалъ онъ,— „счастіе воспользоваться бесѣдою одного государственнаго мужа. Отмѣчу нѣкоторыя слова его о крестьянахъ, которые такъ часто бы-

---

*) Андрея Парѳеновича Заблоцкаго-Десятовскаго: *О колебаніи цѣнъ на хлѣбъ.*

современнымъ. Дѣло въ томъ, что статья Погодина противъ *Отечественныхъ Записокъ* была просто остановлена тогдашнею цензурою. 27 августа 1848 года попечитель Московскаго Учебнаго Округа, Д. П. Голохвастовъ, писалъ управляющему Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія князю П. А. Ширинскому-Шихматову: „Цензоръ Лешковъ представилъ Комитету назначаемую для помѣщенія въ *Москвитянинѣ* статью подъ заглавіемъ: *Нѣсколько словъ и выписокъ по поводу статьи Россія и Западная Европа въ настоящую минуту*—съ такимъ мнѣніемъ, что статья эта, подавая поводъ внести въ журнальную полемику важнѣйшіе вопросы государственной жизни Россіи, представляетъ для него затрудненіе въ этомъ отношеніи, требующее разрѣшенія высшаго начальства". Въ докладной запискѣ по поводу этой бумаги сказано: „Статья въ *Отечественныхъ Запискахъ* удостоилась одобренія Его Императорскаго Величества. *Москвитянинъ* не пишетъ противъ нея; а доказываетъ, что мысли этой статьи заимствованы у него и ему принадлежатъ, и только безмолвно присвоены *Отечественными Записками*. *Москвитянинъ* большею частію повторяетъ прежде въ немъ напечатанное". На эту записку, 4 сентября 1848 года, послѣдовала слѣдующая резолюція князя П. А. Ширинскаго-Шихматова: *Считаю неудобнымъ дозволить эту статью къ напечатанію.*

„Итакъ", писалъ В. И. Даль Погодину,—„знаменитая статья удостоилась вашего особеннаго вниманія и конечно благоволенія. Ее писалъ, разумѣется, самъ хозяинъ заведенія. Если грозятъ закрыть и запечатать фабрику, которая кормитъ, такъ чай запоешь и не то!" [223]).

Чтобъ сколько-нибудь поднять упадающій гражданскій духъ, у Погодина явилась отважная мысль подать адресъ Государю. Вскорѣ мысль воплотилась въ слово. Въ *Дневникѣ* его мы читаемъ: „Не дѣлается, а думается. Писалъ о войнахъ. Ужасныя вымарки цензора. Вотъ тебѣ разъ! Хорошо соотвѣтствуемъ мы времени! Читалъ Иннокентія. *Переписалъ письмо къ Царю*" [224]).

Но противъ этого энергически возсталъ И. В. Кирѣевскій и писалъ Погодину: „...Ты пишешь ко мнѣ, что не худо бы литераторамъ представить адресъ Императору о излишнихъ и стѣснительныхъ дѣйствіяхъ цензуры. Сначала я оставилъ эту мысль безъ большаго вниманія, какъ несбыточную. Потомъ однако, когда я обдумалъ твой характеръ, и что у тебя часто отъ первой мысли до дѣла бываетъ полъ-шага,—тогда я испугался и за тебя, и за дѣло. Подумай: при теперешнихъ безтолковыхъ переворотахъ на Западѣ *время ли* подавать намъ *адресы* о Литературѣ? Конечно цензурныя стѣсненія вредны для просвѣщенія и даже для Правительства, потому что ослабляютъ умы безъ всякой причины; но всѣ эти отношенія ничего не значатъ въ сравненіи съ текущими важными вопросами, которыхъ правильнаго рѣшенія намъ надобно желать отъ Правительства.—Не велика еще бѣда, если наша Литература будетъ убита на два или на три года. Она оживетъ опять. А между тѣмъ подавать просительные адресы въ теперешнее время, значило бы поставить Правительство во враждебное или по крайней мѣрѣ въ недовѣрчивое отношеніе къ литераторамъ, что гораздо хуже, потому что можетъ повести къ слѣдствіямъ неправильнымъ и вреднымъ. Правительство теперь не должно бояться никого изъ благомыслящихъ. Оно должно быть увѣрено, что въ теперешнюю минуту мы всѣ готовы жертвовать всѣми второстепенными интересами для того, чтобы только спасти Россію отъ смутъ и безполезной войны. Мы должны желать только того, чтобы Правительство не вмѣшало насъ въ войну по какой-нибудь прихоти или по дружбѣ къ какому-нибудь Шведскому или.... королю; чтобы оно не пошло давить нашихъ Словенъ вмѣстѣ съ Нѣмцами; чтобы оно *не возмущало народъ ложными слухами о свободѣ и не вводило бы никакихъ новыхъ законовъ, покуда утишатся и объяснятся дѣла на Западѣ*, чтобы, *напримѣръ, оно не дѣлало инвентарей къ помѣщичьимъ имѣніямъ, что волнуетъ умы несбыточными предположеніями;* чтобы оно не позволяло фабрикамъ безъ всякой нужды заводиться внутри

городовъ и особенно столицъ, когда они съ такою же выгодою могутъ стоять за нѣсколько верстъ отъ заставы, и пр. и пр. Впрочемъ всего въ письмѣ не перескажешь" [225]).

На это Погодинъ отвѣчалъ Кирѣевскому: „О какой просьбѣ Царю говоришь ты, любезный Иванъ Васильевичъ, я право не понимаю. Или ты не понялъ меня, или я неясно выразилъ мысль свою. Я очень понимаю, что теперь не до Литературы. Не помню даже, по какому поводу я писалъ къ тебѣ: столько происшествій общихъ и частныхъ, столько впечатлѣній, что, право, забываешь часто самое памятное. У насъ разносился слухъ, что Государю непріятно молчаніе литераторовъ, а цензура не позволяетъ говорить ничего, сама устрашенная безпрерывными строгими, но общими предписаніями. Я, можетъ быть, изъявилъ желаніе, чтобъ Государь узналъ какъ-нибудь объ этомъ фальшивомъ положеніи Литературы,— и не гнѣвался на невинныхъ вмѣстѣ съ виноватыми. Общее замѣшательство увеличивается теперь холерою, которая рветъ ежедневно въ Москвѣ, вѣроятно, на половину, а въ Петербургѣ по цѣлой тысячи! Господи помилуй насъ грѣшныхъ! Я оставляю все настоящее—Исторія мое убѣжище".

XXXIV.

Въ 1847 году въ Правительствѣ нашемъ происходило большое движеніе по вопросу объ уничтоженіи крѣпостного права. Императоръ Николай вновь и съ большею противъ прежняго энергіею изъявилъ свою рѣшительную волю касательно этого вопроса. „Вы знаете", писалъ Бѣлинскій П. В. Анненкову (декабрь 1847),—„что послѣ выборовъ назначается обыкновенно двое депутатовъ отъ дворянства, чтобы благодарить Государя Императора за продолженіе дарованныхъ дворянству правъ, и вы знаете, что въ настоящее царствованіе эти депутаты никогда не были допускаемы до Государя Императора. Теперь вдругъ Смоленскимъ депутатамъ велѣно было явиться въ Питеръ. Государь Императоръ милостиво принялъ

ихъ, говорилъ, что онъ всегда былъ доволенъ Смоленскимъ Дворянствомъ и пр., и потомъ вдругъ перешелъ къ слѣдующей рѣчи: Теперь я буду говорить съ вами не какъ Государь, а какъ первый дворянинъ Имперіи. Земли принадлежатъ намъ, дворянамъ, по праву, потому что мы пріобрѣли ее нашею кровію, пролитою за Государство; но я не понимаю, какимъ образомъ человѣкъ сдѣлался вещью, и не могу себѣ объяснить этого иначе, какъ хитростію и обманомъ, съ одной стороны, и невѣжествомъ — съ другой. Этому должно положить конецъ. Лучше намъ отдать добровольно, нежели допустить, чтобы у насъ отняли. Крѣпостное право причиною, что у насъ нѣтъ торговли, промышленности. Затѣмъ онъ сказалъ имъ, чтобы они ѣхали въ свою губернію и, держа это въ секретѣ, побудили бы Смоленское Дворянство къ совѣщаніямъ о мѣрахъ, какъ приступить къ дѣлу". Бѣлинскій радуется, что движеніе это отразилось и въ Литературѣ. „Проскальзываютъ тамъ и сямъ", пишетъ онъ,— „то статьи, то статейки, очень осторожныя и умѣренныя по тону, но понятныя по содержанію. Вы, вѣрно, уже получили статью Заблоцкаго *). Въ другое время нельзя было бы и думать напечатать ее, а теперь она прошла. Мало этого: недавно въ *Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія* ее разбирали съ похвалою и выписали мѣсто о злѣ обязательной ренты. Помѣщики наши проснулись и затолковали. Очень интересна теперь *Земледѣльческая Газета*, органъ мнѣній помѣщиковъ. Толкуютъ о съѣздахъ помѣщиковъ и т. д." [226]).

Въ бумагахъ Погодина сохранились записанныя имъ, во время пребыванія въ Порѣчьѣ, мысли объ этомъ вопросѣ графа С. С. Уварова, съ краткими замѣтками самого Погодина, сдѣланными карандашемъ. Эти замѣтки мы помѣщаемъ въ выноскахъ. „Случай доставилъ мнѣ", писалъ онъ,— „счастіе воспользоваться бесѣдою одного государственнаго мужа. Отмѣчу нѣкоторыя слова его о крестьянахъ, которые такъ часто бы-

---

*) Андрея Парѳеновича Заблоцкаго-Десятовскаго: *О колебаніи цѣнъ на хлѣбъ.*

вали предметомъ моихъ тихихъ размышленій. Жалѣю, что не могу передать въ растянутыхъ фразахъ той быстрой, живой, блистательной рѣчи, исполненной силы, движенія, остроумія, глубокомыслія, противъ которой устоять трудно, когда стоишь подъ ея дождемъ. Позволяю себѣ только теперь опомнившись заявить нѣкоторыя сомнѣнія.

1) Вопросъ о крѣпостномъ правѣ тѣсно связанъ съ вопросомъ о самодержавіи и даже единодержавіи.

2) Это двѣ параллельныя силы, кои развивались вмѣстѣ. У того и другого одно историческое начало; законность ихъ одинакова.

3) Что было у насъ прежде Петра I, то все прошло, кромѣ крѣпостного права, которое, слѣдовательно, не можетъ быть тронуто безъ всеобщаго потрясенія [а]).

4) Крѣпостное право существуетъ, каково бы ни было, и нарушеніе его повлечетъ за собою неудовольствіе дворянскаго сословія, которое будетъ искать себѣ вознагражденія гдѣ-нибудь, а искать негдѣ, кромѣ области самодержавія.

5) Кто поручится, что тотчасъ не возникнетъ какой-нибудь Тамбовскій Мирабо или Костромской Лафайетъ, хотя и въ своихъ костюмахъ.

6) Оглянутся тогда на сосѣдей, и начнутся толки, что и какъ тамъ устроено.

7) Наши революціонеры или реформаторы произойдутъ не изъ низшаго класса, а въ красныхъ и голубыхъ лентахъ. Уже слышатся ихъ желанія, даже и безъ этого повода [б]).

8) Вопросъ этотъ въ продолженіе двадцати лѣтъ представляемъ былъ нѣсколько разъ, и всегда съ такою неловкостію, односторонностію (однажды былъ планъ отдать всю

а) Но крѣпостное право падаетъ едва ли на четверть Россіи, а при Петрѣ I на десятую долю; за сто лѣтъ до него и того менѣе!

М. П.

б) Птицы предвѣщаютъ безотчетно погоду. Такъ и въ Исторіи примѣчаются часто такія невольныя желанія, часто ко вреду желающихъ.

М. П.

землю помѣщикамъ), что невольно ощущается страхъ въ благомыслящихъ людяхъ, не повлечетъ ли исполненіе вредныхъ слѣдствій для настоящей Россіи [в]).

9) Положимъ, здѣсь не будетъ никакого jacquerie, никакой рѣзни, но произойдетъ множество новыхъ отношеній, среди коихъ измѣнится навѣрное существующій порядокъ вещей, и зданіе Петра I поколеблется.

10) Могутъ отдѣлиться даже части — Остзейскія провинціи, самая Польша [г]).

11) У насъ не было завоеванія, но и не было, какъ и почему—я не знаю, крестьянъ-владѣльцевъ. Земля досталась особому сословію—положимъ—дворянамъ, хоть я и не понимаю этого слова. Отнять у нихъ землю—они скажутъ: чѣмъ намъ жить, какъ то было въ Лифляндіи [д]).

12) Оставить имъ землю - крестьяне не поймутъ своей отвлеченной свободы и откажутся отъ своего положенія между небомъ и землею [е]).

13) А теперь, напротивъ, они по какому-то таинственному чувству, которое однакожъ составляетъ нашъ палладіумъ, считаютъ себя какъ-то связанными съ своими господами, какими-то общими владѣтелями даже надъ всѣмъ достояніемъ сихъ послѣднихъ: *у насъ въ Порѣчьѣ*, говорятъ они, *нашъ домъ*, *нашъ баринъ*, и проч. [ж]).

14) Правительство не пріобрѣтетъ ничего посредствомъ этого дѣйствія: низшій классъ и теперь ему преданъ, а бояться его ни въ какомъ случаѣ нечего: крестьяне могутъ поджечь домъ, поколотить исправника, но не болѣе [з]).

в) Великая государственная истина! Исполненіе—вотъ въ чемъ главное. *М. П.*

г) Ни въ какомъ великомъ историческомъ происшествіи никогда нельзя было предвидѣть всѣхъ слѣдствій, никогда нельзя было взвѣсить всю пользу и весь вредъ. Богъ знаетъ что выйдетъ. *М. П.*

д) А такъ-называемые казенные крестьяне. *М. П.*

е) Но мало ли у насъ пустопорожнихъ земель. *М. П.*

ж) А сколько Порѣчьевъ въ Россіи? *М. П.*

з) Но эгоизмъ чуждъ Правительства. *М. П.*

15) Правительство не пріобрѣтетъ ничего, а потерять можетъ много. Другая оппозиція опаснѣе ему. Неужели однимъ словомъ цѣлуйтесь—можетъ оно произвести согласіе и дружбу? Нѣтъ, но гораздо вѣрнѣе кровопролитіе, послѣ приглашенія раздѣлиться и разойтиться.

Заключеніе: Къ такому многосложному вопросу должно приступать съ величайшей осторожностію.

Это дерево пустило далеко корень: оно осѣняетъ и Церковь, и Престолъ. Вырвать его съ корнемъ не возможно. Надо постепенно.

Довольно теперь пустить мысль эту въ оборотъ, чтобъ поколѣнія приготовились постепенно къ ея воспріятію.

Одно образованіе, просвѣщеніе можетъ приготовить ея исполненіе наилучшимъ образомъ“ [и]).

Между тѣмъ среди Словенофиловъ въ 1846 и 1847 гг. шли оживленные толки о необходимости прекращенія крѣпостного состоянія, и изъ нихъ, какъ увидимъ, одинъ только И. В. Кирѣевскій былъ недалекъ отъ мыслей по этому вопросу графа С. С. Уварова.

Еще въ 1846 году Ю. Ѳ. Самаринъ, въ качествѣ помощника дѣлопроизводителя при Комитетѣ по устройству Лифляндскихъ крестьянъ, составилъ историческую записку о мѣропріятіяхъ по этому устройству, и въ заключеніи выразилъ мысль о нераздѣльности крестьянъ съ землею и о возстановленіи права Лифляндскихъ крестьянъ на землю. Въ 1848 г. Хомяковъ писалъ Самарину: „Для насъ, Русскихъ, теперь одинъ вопросъ всѣхъ важнѣе, всѣхъ настойчивѣе. Вы его поняли и поняли вѣрно. Давно уже ношусь я съ нимъ и старался его истинный смыслъ выразить елико возможно ясно. Спасибо вамъ за то, что вы попали на ту юридическую форму, которая выражаетъ этотъ смыслъ съ наибольшею ясностію и отчетливостью“. Самъ же Хомяковъ въ это время былъ озабоченъ *рядою* съ своими крестьянами. „Пора въ

и) Аминь. *М. П.*

Москву", писалъ онъ А. Н. Попову,—„надобно только еще побывать въ трехъ деревняхъ и предложить *ряду* съ крестьянами. Впрочемъ, поѣздка при теперешнихъ трескучихъ морозахъ и совершенномъ безснѣжіи, съ повѣркою счетовъ и бранью со старостами, не представляетъ мнѣ ничего особенно веселаго, и не будь этой *ряды*, я бы предпочелъ моей двухнедѣльной поѣздкѣ цѣлый мѣсяцъ ѣзды по Англіи и Италіи. Аксаковъ не простилъ бы такой ереси: я надѣюсь, что вы будете снисходительнѣе" [227]). Погодину же Хомяковъ писалъ: „Я писалъ тебѣ, что ѣду въ деревню предлагать крестьянамъ *ряду* на вѣчныя времена. Это я сдѣлалъ, и хотя дѣло не окончено, но замѣтно было, что мысль *объ рядѣ* имъ очень и очень нравится" [228]).

Въ то время, когда Хомяковъ съ Ю. Ѳ. Самаринымъ вели горячую переписку объ освобожденіи крестьянъ, И. С. Аксаковъ на пути къ Сѣрнымъ водамъ встрѣтилъ подъ Муромомъ Ѳ. В. Самарина, „ѣдущаго въ каретѣ на девяти лошадяхъ" [229]).

Самымъ горячимъ поборникомъ освобожденія крестьянъ былъ А. И. Кошелевъ. „Когда я нѣсколько успокоился", пишетъ онъ въ своихъ *Запискахъ*,—„на счетъ своихъ финансовыхъ дѣлъ, то-есть, *до передачи откуповъ* лѣтомъ 1847 года, я погрузился въ чтеніе богословскихъ книгъ. Зимнія бесѣды съ Хомяковымъ и И. В. Кирѣевскимъ были главною побудительною причиною къ этимъ занятіямъ... Вмѣстѣ съ богословскими чтеніями я не покидалъ и политическихъ книгъ и журналовъ. Въ особенности начинала меня сильно занимать мысль объ освобожденіи крѣпостныхъ людей. Осенью 1847 года я рѣшился возбудить противъ себя гнѣвъ благороднаго дворянства. Какъ въ декабрѣ должно было Рязанское дворянство собраться на выборы, то я вздумалъ сдѣлать ему предложеніе на счетъ упорядоченія отношеній помѣщиковъ къ ихъ крѣпостнымъ людямъ. Составленное въ этомъ смыслѣ предложеніе было мною предъявлено Рязанскому губернскому предводителю дворянства, который пришелъ отъ него въ ужасъ и объявилъ мнѣ, что безъ разрѣшенія изъ Петербурга онъ,

конечно, не рѣшится передать мое предположеніе на обсужденіе дворянства. Тогда я рѣшился обратиться съ письмомъ прямо къ Министру Внутреннихъ Дѣлъ. Благородное дворянство негодовало, находило, что за это мало меня четвертовать". Въ ноябрѣ 1847 года А. И. Кошелевъ получаетъ отвѣтъ отъ графа Л. А. Перовскаго, въ которомъ онъ сообщалъ, „что докладывалъ" предложеніе Кошелева Государю Императору, „что хотя оно вполнѣ согласно съ видами Правительства, однако Его Величество находитъ неудобнымъ въ настоящее время подвергать это дѣло обсужденію дворянства". Къ этому Министръ присовокупилъ, что еслибы самъ Кошелевъ „желалъ подать такой благой примѣръ по своимъ имѣніямъ, то такія его дѣйствія вполнѣ заслужили бы одобреніе Его Величества", но Кошелевъ, кажется, не воспользовался этимъ дарованнымъ правомъ, и его многочисленные крѣпостные остались въ томъ же положеніи [230]). „Въ февралѣ 1848 года", пишетъ онъ въ своихъ *Запискахъ* какъ бы въ свое оправданіе, — „произошла во Франціи Революція, которая отозвалась у насъ самымъ тяжкимъ образомъ: всякія предполагавшіяся преобразованія были отложены и всякія стѣсненія мысли, слова и дѣла были умножены и усилены". Но тѣмъ не менѣе А. И. Кошелевъ предложилъ своимъ друзьямъ хотя частнымъ образомъ освободить своихъ людей отъ произвола и для этого устроить между крестьянами самоуправленіе, совершенно отдѣлить ихъ земли отъ господскихъ земель и установить положительныя точныя правила какъ къ отправленію барщинскихъ работъ, такъ и къ уплатѣ оброка.

Сохранилось любопытное письмо Петра Васильевича Кирѣевскаго, этого, можно сказать, святаго мужа, къ Кошелеву, въ отвѣтъ на его предложенія, въ которомъ между прочимъ читаемъ: „Мы съ вами расходимся не во мнѣніи нашемъ о свойствѣ крѣпостнаго права, а только въ оцѣнкѣ лекарствъ противъ этой глубокой и страшной язвы нашего государственнаго и общественнаго быта. Вы знаете, что я не защитникъ крѣпостнаго права... Вы знаете также, что я не принадлежу къ числу

тѣхъ мечтателей, которые воображаютъ, будто бы можетъ помѣщикъ, или человѣкъ вообще поручиться за самого себя, что онъ, силою своей воли или своего просвѣщенія, удержитъ свои страсти и прихоти въ должныхъ границахъ, не поставивъ себѣ внѣшней и для него самого неодолимой преграды. Самымъ краснорѣчивымъ отвѣтомъ на сіе самонадѣянное мнѣніе можетъ служить примѣръ высокихъ подвижниковъ вѣры, которые обрекали свою пустынную жизнь исключительно борьбѣ съ самимъ собою, далеко превосходили насъ и крѣпостію воли, и высотою просвѣщенія, а не смотря на то, должны были признать, что и они бы не устояли безъ огражденія внѣшняго. Итакъ, спорная сторона вопроса заключается только въ томъ, какими средствами и до какой степени мы, помѣщики, можемъ истребить это зло, чтобы беззащитность нашихъ крестьянъ, зависящихъ отъ нашихъ страстей и прихотей, была замѣнена правдою закона... А если крестьянинъ, выходя изъ-подъ власти помѣщика, поступитъ не подъ защиту закона, а подъ такой же помѣщичій произволъ... безнравственныхъ чиновниковъ..., развѣ это будетъ значить, что помѣщикъ далъ своимъ крестьянамъ свободу, что онъ свои страсти и прихоти замѣнилъ дѣйствіемъ закона?“ На положеніе Кошелева, что *чиновничеству даетъ силу не что иное, какъ крѣпостное право*, и *что всѣ почти чиновники изъ нашего сословія и должны быть безнравственны, какъ душевладѣльцы*, Кирѣевскій возражаетъ: „Большая часть чиновниковъ, и самая худшая, происходитъ не изъ душевладѣльцевъ, а поступаетъ въ душевладѣльцы уже изъ чиновниковъ. Припомните только имена ихъ: это все почти Беневоленскіе, Здравомысловы, Борисоглѣбскіе, Ризположенскіе, Пирожковы, Огурчиковы и пр., которые поступаютъ въ различные суды и палаты либо изъ духовенства, либо изъ дѣтей вольноотпущенныхъ. Сверхъ того, независимость чиновничества отъ душевладѣнія доказывается консисторіями, которыя во всѣхъ чиновническихъ качествахъ могутъ получить пальму первенства. Думы и магистраты также не во мно-

гомъ уступятъ палатамъ и правленіямъ. Изъ этого, мнѣ кажется, ясно, что чиновничество опирается не на крѣпостномъ правѣ, а вообще на отсутствіи правды, на которомъ опирается крѣпостное право". Вообще Кирѣевскій совсѣмъ не раздѣляетъ мнѣнія Кошелева о полезности *частныхъ сдѣлокъ* помѣщиковъ съ крестьянами и находитъ, что „помочь можетъ только одна коренная, центральная, слѣдовательно, правительственная, мѣра, потому что одно правительство можетъ единовременно остановить всѣ потоки злоупотребленій, которые одинъ другимъ взаимно поддерживается. Оно одно можетъ въ одно и то же время уничтожить и чиновничество, и крѣпостное право" [231]).

Въ апрѣлѣ 1848 года В. В. Григорьевъ былъ командированъ въ Москву по одному секретному порученію. Для изслѣдованія порученнаго ему вопроса предпринялъ онъ даже путешествіе пѣшкомъ въ Сергіеву Лавру. Свои наблюденія надъ крестьянами и надъ отношеніемъ ихъ къ помѣщикамъ выразилъ онъ такимъ образомъ: „Существованіе въ помѣщичьихъ крестьянахъ желанія свободы никакъ нельзя отвергать: если оно не проявляется такъ сильно, какъ можно было бы ожидать, то причиною этому — что каково бы ни было положеніе помѣщичьихъ крестьянъ, они во многихъ случаяхъ находятъ его лучшимъ для себя, чѣмъ существованіе подъ управленіемъ вѣдомства Государственныхъ Имуществъ" [232]).

„Весь погруженный въ мистическое созерцаніе", свидѣтельствуетъ біографъ А. И. Кошелева, — „и не обращавшій почти никакого вниманія на вопросы практической жизни, Иванъ Васильевичъ Кирѣевскій холодно относился къ дѣлу освобожденія". Это возмущало Кошелева, и онъ съ упрекомъ писалъ ему: „Не понимаю, любезный другъ Кирѣевскій, какъ тебя, христіанина, не терзаетъ мысль имѣть у себя людей въ крѣпости. Въ послѣднее мое пребываніе въ Москвѣ ты даже надо мною смѣялся, считая эту мысль во мнѣ едва ли не мономаніей... Знаю, что ты говоришь: я своихъ людей не притѣсняю, за-

бочусь о томъ, чтобы имъ было тепло и сытно; увѣренъ, что при освобожденіи ихъ состояніе будетъ хуже, а потому считаю долгомъ сохранить до времени это положеніе".

Не знаемъ, что отвѣчалъ на это И. В. Кирѣевскій, но знаемъ, что крѣпостнымъ братьевъ Кирѣевскихъ жилось и *тепло*, и *сытно*.

Въ семействѣ Аксаковыхъ касательно возникшаго тогда вопроса мы не примѣчаемъ единомыслія. Само собою разумѣется, что И. С. Аксаковъ былъ самымъ ревностнымъ поборникомъ освобожденія крестьянъ. По поводу поставленнаго его матерью вопроса о продовольствіи крестьянъ во время голода онъ писалъ: „Вы пишете, что намъ приходится кормить крестьянъ, и что безъ помѣщиковъ имъ было бы плохо. При лучшемъ устройствѣ магазиновъ можно было бы ихъ легко наполнить запасомъ года на два неурожая; а при лучшемъ устройствѣ путей сообщенія можно было бы не бояться и неурожаевъ. Разумѣется, это все легко сказать, но трудно выполнить. Хотя, по убѣжденію Константина, Русскій народъ равнодушенъ къ управленію, потому что ищетъ только Царствія Божія, однако я никакъ не могу примѣнить этого къ торгующему сословію, которое постоянно ищетъ прибыли и вовсе не для одной поддержки своего земнаго существованія". Въ другомъ письмѣ И. С. Аксаковъ еще яснѣе выражаетъ свой взглядъ на крѣпостное право: „Итакъ Гриша дѣлается помѣщикомъ", писалъ онъ,—„конечно, ему иначе нельзя: но я уже по одному этому боюсь женитьбы. Еслибъ я былъ женатъ и имѣлъ дѣтей, я, разумѣется, хлопоталъ бы изо всѣхъ силъ о ихъ благосостояніи, а въ Россіи это благосостояніе пріобрѣтается помѣществованіемъ. Я же далъ себѣ слово никогда не имѣть у себя крѣпостныхъ и вообще крестьянъ; что бы ни говорили, а искусительныя выгоды помѣщичьяго званія нарушаютъ чистоту взгляда на крестьянъ, мѣшаютъ дѣйствовать. Нѣтъ, Богъ съ ними. Я же держусь того мнѣнія, что помѣщики непремѣнно должны и нести правомѣрный убытокъ при эмансипаціи крестьянъ за

то, что цѣлыя столѣтія пользовались безобразными правами надъ собственностію и лицомъ крестьянина; я считаю или, лучше сказать, я не вывожу этого логически, но душа моя говоритъ мнѣ, что крестьянинъ, обработывающій землю, крестьянинъ, для котораго она единственная мать и кормилица, болѣе меня имѣетъ на нее правъ. И странно какъ-то въ настоящее время пріобрѣтать помѣстье! Одинъ братъ дѣлается помѣщикомъ, другой изо всѣхъ силъ будетъ хлопотать лишить его многихъ помѣщичьихъ выгодъ!“ [233]).

Къ столичнымъ толкамъ того времени объ освобожденіи крестьянъ неравнодушно относился М. А. Дмитріевъ и изъ своего Богородскаго (19 апрѣля 1848 г.) писалъ Погодину: „Новыхъ мѣръ, клонящихся къ извѣстной цѣли, не такъ опасаются, какъ прежде, скорѣе ихъ испугались бы крестьяне, еслибы знали: имъ теперь не лучше прежняго; но лучше и вольнѣе, чѣмъ ихъ вольнымъ сосѣдямъ. Вы знаете на этотъ счетъ мой образъ мыслей; слѣдовательно, не можете подозрѣвать меня въ пристрастіи или въ помѣщичьей закоренѣлости: да и какой же я помѣщикъ! Но о взаимныхъ отношеніяхъ можете судить по слѣдующимъ двумъ примѣрамъ, которые не суть исключенія: 1) Нѣкоторые изъ моихъ крестьянъ, во время бытности моей еще въ Москвѣ, крали у меня сжатый хлѣбъ, платя за него дешевую цѣну сыну моего управителя, впрочемъ и не могли не покупать такимъ образомъ, потому что онъ этого требовалъ съ угрозами, а жаловаться отцу на сына не смѣли! Я бы такъ и не узналъ этого! Что же? По пріѣздѣ моемъ начали по одиночкѣ приходить ко мнѣ: кто самъ признается, кто о другомъ скажетъ; и тотъ запрется! Иные берегли хлѣбъ до моего пріѣзда, и привезли на дворъ сами; другіе — придутъ, повинятся и говорятъ: „а хлѣбъ, виноваты, смолотили и съѣли“. Одинъ, какъ привезъ хлѣбъ на гумно къ отцу, тотъ пошелъ и объявилъ священнику; священникъ хотя мнѣ и не сказалъ, но по моемъ пріѣздѣ сынъ самъ пришелъ ко мнѣ съ повинной. Натурально, что всѣхъ ихъ за кражу я пожурилъ, а за при-

знаніе похвалилъ; который хлѣбъ привезли, тотъ взялъ, который съѣли, такъ и остался въ ихъ пользу; но ни одинъ не былъ наказанъ, ибо тогда повинная была бы не въ повинную. Видите ли, что при убыткахъ помѣщика и при винахъ ихъ крестьянъ берется въ соображеніе сторона нравственная! Это у всѣхъ такъ, ибо помѣщикъ смотритъ на человѣка, смотритъ на вещи впередъ: онъ дѣйствуетъ не по слѣпому закону. Теперь 2) Въ понедѣльникъ на Святой недѣлѣ загорѣлся верстахъ въ четырехъ отъ меня лѣсъ, принадлежащій къ деревнѣ однодворцевъ и къ другой деревнѣ Чувашской. Онъ загорѣлся въ трехъ мѣстахъ вдругъ, и очевидно былъ подожженъ, потому что пожаръ произошелъ въ самой срединѣ, гдѣ ни проѣзда, ни пастбища, слѣдовательно, заронить было некому. Я тотчасъ отправился къ сосѣдямъ, и отправилъ къ нимъ человѣкъ до ста мужиковъ. Сгорѣло-таки довольно, но погасили. На другой день явились ко мнѣ однодворцы, потомъ Чуваши; вопервыхъ, благодарить за сосѣдскую помощь, вовторыхъ, просить совѣта и защиты: лѣсъ хоть и ихъ давнишній, да вѣдь онъ теперь удѣльный, казенный; его велѣно беречь, такъ они за убытокъ должны будутъ отвѣчать. Ихъ же убытокъ, съ нихъ же взыщутъ! Вотъ вамъ два примѣра; а вы выводите изъ нихъ заключенія сами, какія угодно или какія выдутъ. Крестьянинъ работаетъ на господина три дня, а три на себя: въ эти три дня въ недѣлю и четвертый въ воскресенье онъ вольный: ѣдетъ на базаръ *безъ спросу* и дѣлаетъ, что хочетъ; а тамъ все со спросами, и проч. Вотъ здѣшніе интересы; а между тѣмъ Европа горитъ, и погасить ее будетъ труднѣе Чувашскаго и однодворскаго лѣсу!“

Лѣтомъ 1848 года Погодинъ узналъ отъ Грановскаго, что министръ Государственныхъ Имуществъ, П. Д. Киселевъ, сказалъ своему племяннику Милютину: *вопросъ о крестьянахъ лопнулъ*.

Прошло много лѣтъ. Задушевное желаніе А. И. Кошелева исполнилось. Русскихъ крестьянъ освободили отъ ихъ

крѣпостной зависимости. Но когда послѣ этого событія самому Кошелеву (1863—1866 гг.) довелось присутствовать при освобожденіи Польскихъ крестьянъ, совершаемомъ тѣми же Н. А. Милютинымъ и княземъ В. А. Черкасскимъ, то вотъ что онъ писалъ: „Въ теченіе перваго мѣсяца моего пребыванія въ Варшавѣ я старался и имѣлъ возможность близко познакомиться съ ходомъ крестьянскаго дѣла въ Царствѣ Польскомъ и съ правилами, которыми руководились гласные дѣятели по этой части, то-есть, князь Черкасскій и Соловьевъ, и которыя они внушали предсѣдателямъ и членамъ мѣстныхъ коммиссій по крестьянскимъ дѣламъ“. Были почти ежедневныя собранія Русскихъ дѣятелей, „и самыя оживленные толки; а руководители не скупились на самыя откровенныя указанія и наставленія. Въ это первоначальное время князь Черкасскій и Соловьевъ еще говорили и дѣйствовали при мнѣ вполнѣ свободно, безъ всякой прикрышки; а потому я имѣлъ возможность все видѣть и слышать и про себя дѣлать наблюденія. Я не замедлилъ убѣдиться, что справедливость и законность не были ихъ непремѣнными руководителями, и что они имѣли въ виду доконать Польскихъ землевладѣльцевъ, то-есть, шляхту и пановъ. Конечно, я не питалъ къ послѣднимъ никакого особеннаго сочувствія, вовсе не былъ одушевленъ какими-либо аристократическими убѣжденіями и стремленіями, я считалъ главную мѣру, положенную въ основу предпринятыхъ реформъ, то-есть, надѣленіе крестьянъ землею, отчуждаемою отъ помѣщиковъ, необходимою, даже справедливою и вполнѣ оправданною какъ прежними злоупотребленіями дворянства въ его отношеніяхъ къ крестьянамъ, такъ и недавними его дѣйствіями противъ Русскаго Правительства;— но мнѣ непріятно было и казалось противнымъ интересамъ Россіи, ежедневно, ежечасно, при всякихъ возможныхъ случаяхъ, высказывать Польскому дворянству вражду и желаніе его притѣснять и изводить“.

Въ маѣ 1848 года къ Погодину на Дѣвичье Поле, явился молодой человѣкъ и вручилъ ему два письма. Одно изъ нихъ

было отъ почтеннаго адмирала П. И. Рикорда, въ которомъ Погодинъ прочелъ: „Вручитель сего письма Александръ Васильевичъ Головнинъ, сынъ покойнаго друга моего, адмирала Головнина, посѣщая въ первый разъ Москву, желалъ бы осмотрѣть достопримѣчательности древней нашей столицы. Вы чувствительно обяжете меня, оказавъ ваше благосклонное содѣйствіе къ удовлетворенію его любопытства и почтивъ вашимъ дружескимъ пріемомъ". Другое письмо было отъ А. П. Заблоцкаго-Десятовскаго слѣдующаго содержанія: „Вручитель этого письма есть добрый мой пріятель Александръ Васильевичъ Головнинъ, бывшій секретарь Министра Внутреннихъ Дѣлъ и Географическаго Общества, оставившій на время службу съ цѣлію поѣздить по нашей широкой Руси, поглядѣть ей прямо въ очи. Я позволю себѣ рекомендовать его въ ваше расположеніе съ полною увѣренностью, что вы не откажетесь удовлетворить любознательности Александра Васильевича, интересующагося столько же настоящимъ Россіи, сколько и ея прошедшимъ" [234]).

Такъ началось знакомство Погодина съ человѣкомъ, которому впослѣдствіи вручены были судьбы Русскаго Просвѣщенія, и который въ Исторіи Царствованія Императора Александра Второго займетъ не одну страницу.

Въ это время А. В. Головнинъ готовился опредѣлиться на службу подъ начальство генералъ-адмирала Великаго Князя Константина Николаевича. 30 августа того же 1848 года Великій Князь вступилъ въ бракъ съ Великою Княжною Александрою Іосифовною. Это событіе Шевыревъ привѣтствовалъ одою, въ которой обращаясь къ Великому Князю, между прочимъ, писалъ:

Про тебя молва такое
Говоритъ, что пылокъ умъ,
Что кипуче ретивое,
Полно чистыхъ Русскихъ думъ;
Что всѣ отзвуки родные
Милы сердцу твоему,
Жизни блага коренныя
Ясны Русскому уму [235]).

Въ Москвѣ А. В. Головнинъ провелъ время и пріятно, и полезно. Изъ своего Рязанскаго имѣнія Гулынки онъ писалъ Погодину: „Прошу васъ передать мое душевное уваженіе нашимъ общимъ Московскимъ знакомымъ И. М. Снегиреву и С. П. Шевыреву и признательность за благосклонное вниманіе, которымъ они меня удостоили. Я никогда не сомнѣвался, что любовь ко всему Русскому и желаніе изучить свое родное встрѣтитъ сочувствіе въ Москвѣ, не смотря на слабыя силы того, кто одушевленъ ими. И. М. Снегиреву передайте поговорку, бывшую нѣкогда во всеобщемъ употребленіи въ сорока верстахъ отъ Рязани, по большой Астраханской дорогѣ. Проѣзжавшіе это мѣсто говорили: *близки Гулынки, подымайте дубинки*. Гулынки это село, принадлежащее теперь мнѣ, лежало нѣкогда въ густомъ лѣсу между двумя болотами и, какъ должно полагать, славилось недоброй славой. Теперь жители его мирные хлѣбопашцы и уже нѣсколько лѣтъ какъ здѣсь не было ни одного случая воровства“.

Желая выразить Погодину чувства своей признательности болѣе вещественнымъ образомъ, А. В. Головнинъ принесъ даръ въ его Древлехранилище: „При послѣднемъ свиданіи нашемъ въ Москвѣ“, писалъ онъ ему,—„вы изъявили желаніе имѣть автографъ покойнаго родителя моего вице-адмирала Василія Михайловича Головнина. Пріѣхавъ въ деревню, я тотчасъ же сталъ искать въ бумагахъ покойнаго собственноручную записку его, которая была бы любопытна и по содержанію.—Съ особеннымъ удовольствіемъ посылаю вамъ изъ путевого журнала, веденнаго имъ въ проѣздъ по Сибири въ 1814 году, списокъ Тунгузскихъ и Якутскихъ словъ, доказывающихъ, по мнѣнію батюшки, что между этими двумя языками нѣтъ никакого сходства. — Располагая напечатать въ небольшомъ числѣ экземпляровъ подробное жизнеописаніе его, для лицъ, которыя любили и уважали покойнаго, съ историческими разысканіями о нашей фамиліи, я вмѣню себѣ въ особенное удовольствіе доставить вамъ экземпляръ онаго“.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Головнинъ доставилъ Погодину статью

Гакстгаузена *о послѣднемъ указѣ, касающемся крѣпостныхъ крестьянъ*.

XXXV.

Затихшая къ концу 1847 года холера, одновременно съ февральскою Революціею 1848 г., обнаружила снова свое разрушительное дѣйствіе и въ Москвѣ, и въ Петербургѣ, и по всей Россіи.

25 іюня 1848 года Шевыревъ писалъ Погодину: „Въ Петербургѣ, говорятъ, умираетъ по шестисотъ человѣкъ въ день". Даль писалъ оттуда (въ августѣ 1848 г.): „Много знакомыхъ какъ косой срѣзало... Проходу не было отъ гробовъ, которые, буквально, тянулись весь день по улицамъ обозами" [236]).

Хомяковъ же писалъ своему Петербургскому другу Веневитинову: „*Московскія Вѣдомости* объявляютъ, любезный другъ, о холерѣ въ Петербургѣ и, кажется, хоть она и не очень разыгралась, что она попрежнему мало спуска даетъ. Спѣшу тебѣ напомнить, вопервыхъ, что гомеопатическіе пріемы Veratrum Arsenicum каждые четверть часа лекарство несомнѣнное; вовторыхъ, что Veratrum Tinet три капли на штофъ чистаго спирта есть предохранительное вѣрнѣйшее, при которомъ бояться рѣшительно нечего, этого сами гомеопаты не знаютъ еще. Пріемъ изъ этого штофа по утру натощакъ три капли въ ложкѣ воды. Не пренебрегай этимъ и сообщи другимъ. Но вотъ тебѣ еще просьба, лечивши болѣе трехъ сотъ человѣкъ въ полной холерѣ съ корчами, я не видалъ почти ни одного смертнаго случая. Лекарство мое полърюмки (дессертной или ликерной) чистаго дегтя и столько же конопляннаго масла. Это останавливаетъ холеру почти мгновенно и производитъ сильный потъ. Случается, но рѣдко, необходимость повторить половинный пріемъ этой же смѣси черезъ восемь часовъ, а еще рѣже черезъ сутки. Не мѣшаетъ положить горчичникъ подъ ложечку и необходимо послѣ прекра-

щенія припадковъ не давать пить ничего холоднаго и сырого, но вареннаго и особенно слегка ароматическаго въ волю: всего лучше сыворотка, но такъ какъ ее не всегда достанешь, то хорошо проваренный квасъ съ мятой и укропомъ. При этихъ средствахъ я считаю холеру едва ли опаснѣе насморка: по крайней мѣрѣ таковъ мой опытъ. Добейся этого опыта въ какой-нибудь больницѣ при добросовѣстномъ докторѣ и потрудись самъ присутствовать. Я убѣжденъ, что успѣхъ изумитъ васъ всѣхъ. Пожалуйста сдѣлай и публикуйте потомъ въ газетахъ. Этого требуетъ совѣсть... Мы застряли въ деревнѣ".

Передъ отъѣздомъ изъ Москвы въ самый разгаръ холеры Хомяковъ писалъ А. Н. Попову: „Завтра выѣзжаемъ мы изъ Москвы. Пора, давно пора! Жара смертельна, холера сильнѣе, чѣмъ когда-нибудь, всѣ перепуганы, и даже тѣ, которые къ испугу не очень способны, тревожатся невольно отъ безпрестанныхъ толковъ, отъ которыхъ отбиться не возможно. Медицина отвратительна" [237]). Въ іюлѣ будучи въ Москвѣ, Хомяковъ писалъ Погодину: „Я здѣсь проѣздомъ только на нѣсколько часовъ. Спѣшу выбраться изъ еще нездороваго города. Я въ деревнѣ лечилъ много и самыхъ отчаянныхъ случаевъ холеры, и не было ни одного несчастнаго случая; а у доктора въ нашемъ сосѣдствѣ умирало постоянно двадцать изъ тридцати" [238]).

Погодинъ же въ продолженіе всего этого страшнаго лѣта не оставлялъ своего Дѣвичьяго Поля, не взирая на то, что холера бушевала не только окрестъ его, но даже заглядывала въ его домъ. Его между прочимъ очень оскорбила оффиціальная бумага, полученная имъ отъ Оберъ-Полиціймейстера, и онъ написалъ Шевыреву: „Ты, вѣроятно, увидишь Лужина, скажи ему, что за *честь* увѣдомлять ему о холерѣ! Зачѣмъ не просто: 11 іюня занемогла, и пр.". Самъ же Погодинъ переносилъ это бѣдствіе съ достойнымъ мужествомъ. Онъ „цѣловалъ холерныхъ живыхъ и мертвыхъ", продолжалъ спокойно заниматься Русскою Исторіею. „Я", писалъ онъ, — „такъ углубленъ въ развязываніе узловъ всѣхъ междоусобныхъ войнъ,

что мнѣ не приходитъ и въ голову мысль о холерѣ, которая въ нашей сторонѣ однакоже свирѣпствуетъ". Съ Дѣвичьяго Поля писалъ онъ въ Сокольники Шевыреву: „Холера у насъ дѣйствуетъ: вчера на дворѣ у насъ умерла молодая женщина, жена лавочника. Въ началѣ ея болѣзни я былъ у нея, при соборованіи, и былъ свидѣтелемъ прекрасной Русской народной сцены. Какое благочестіе, преданность въ волю Божію. Какъ хорошо духовенство: священникъ нашъ, совершенно простой сельскій, показалъ себя совершеннымъ отцомъ, а меня онъ не видалъ. Истинно прекрасный народъ, когда дойдетъ дѣло до глубины. А на поверхности, разумѣется, мы его испортили". Не смотря на бушеваніе холеры, Погодинъ не уклонился однако отъ роскошнаго обѣда у князя М. А. Оболенскаго, и подъ 8 іюня 1848 года записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Обѣдалъ у князя Оболенскаго. Съѣлъ и выпилъ лишнее, а холера дѣйствуетъ сильно". По возвращеніи домой, онъ отправился въ садъ и тамъ въ аллеѣ увидѣлъ „за деревьями упавшую звѣзду почти надъ домомъ". Это его поразило, и онъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Не знакъ ли это моей смерти. Жаль не написать Исторіи и не сказать послѣдняго своего слова. Буди воля Божія! Написалъ распоряженіе на случай моей смерти, легъ не безъ смущенія". И дѣйствительно, въ тотъ же вечеръ онъ написалъ слѣдующее завѣщаніе:

Похоронить въ Университетской Церкви. Послать дружескій поцѣлуй прощальный Шафарику, Стульцу, Стоматовичу и проч. Дай Богъ Словенамъ пробудиться и начать человѣческое дѣланіе. Это было нынѣ мое послѣднее пріятное и сладкое ощущеніе.

Похороны—простые, духовникъ, приходскій священникъ и кто пожелаетъ.

Москвитянинъ пусть кончитъ Шевыревъ, а послѣ—какъ ему угодно.

Музей предложить Государю. Есть черновое письмо къ нему въ конторкѣ. Онъ благороденъ и повѣритъ, что Музей стоитъ той цѣны, которую я назначаю — сто тысячъ сер.

Есть еще бумага въ пакетѣ — отдать ему лично, не распечатывая.

Дѣтямъ всѣмъ по двадцати тысячъ сереб., изъ тѣхъ денегъ.

Маменькѣ и брату по пяти изъ заемныхъ писемъ.

Елизаветѣ Ѳоминичнѣ двѣ—оттуда же.

Бѣляеву одну—оттуда же, съ тѣмъ, чтобъ писалъ Исторію Администраціи Московскаго Государства.

Митю отдать въ Дворянскій Институтъ.

Прочія дѣти съ маменькой должны жить у Груши.

Домъ Митѣ. Библіотеку мою ему или Ванѣ, смотря по тому, кто будетъ заниматься болѣе науками.

На содержаніе дѣтей пенсія, а прочее все въ ломбардъ.

На печатаніе *Москвитянина*... взять тысячу отъ Надеждина асс., отъ Гоголя проценты съ той суммы, которую онъ былъ долженъ и заплатилъ, а впрочемъ можно и не издавать *Москвитянина*. Съ публикой...., говорятъ, не совсѣмъ я расплатился, ибо съ двумя стами пятьюдесятью подписчиками нельзя больше сдѣлать ничего. Кончить можетъ тотъ на свой счетъ, кто захочетъ продолжать, а впрочемъ, Богъ дастъ останусь.

Простите, Христа ради, всѣ! Прощаю всѣхъ.

Людей остальныхъ отпустить и наградить.

Прежнее завѣщаніе, запечатанное, принять къ соображенію.

С. И. Симонъ подарить тысячу рубл асс. М. Ѳед. пятьсотъ руб.

По погребенію деньги въ конторкѣ—пенсія.

Пригласить знакомыхъ обѣдать.

Проснувшись на другой день, Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Всталъ, но не слишкомъ горячо поблагодарилъ, яко здраво и невредимо воздвиглъ мя еси".

Между тѣмъ всеобщее настроеніе было самое мрачное. „Вчера я проѣхалъ по улицѣ", писалъ Погодинъ,—„и никого не встрѣтилъ—только около больницы народъ, такъ что стало жутко". 14 іюня Шевыревъ писалъ Погодину: „Грустное время! Въ Москвѣ болѣзнь слабѣетъ, но по деревнямъ разсказываютъ ужасы. Въ первый разъ она такъ не проникала

въ села и деревни. Они были отъ нея свободны, а теперь едва ли она тамъ не сильнѣе. Въ народѣ страхъ и отчаяніе. Въ селеніяхъ, гдѣ живутъ помѣщики, лучше, потому что берутся мѣры предосторожности и подаются пособія".

Для подтвержденія справедливости этихъ послѣднихъ строкъ мы ограничимся только двумя-тремя примѣрами, а ихъ конечно было многое множество.

Хомяковъ во время холеры жилъ въ своемъ Богучаровѣ. „Эврика", писалъ онъ А. Н. Попову, „холера меня такъ задѣла за живое опустошеніями, которыхъ полный размѣръ еще не извѣстенъ, я полагаю въ слишкомъ милліонъ убылыхъ... Я рѣшительно вступилъ въ бой съ холерой, и эта двухмѣсячная борьба не случайная, а веденная съ намѣреніемъ и рѣшительностью, отозвалась порядкомъ на моемъ здоровьѣ. Я въ продолженіе всего этого времени испыталъ все волненіе битвы" [239]).

Подобно Хомякову подвизался въ своемъ Долбинѣ и И. В. Кирѣевскій, о чемъ писала Погодину его жена: „Иванъ Васильевичъ весь погруженъ въ леченіе отъ холеры. Богъ благословилъ его труды, почти всѣ выздоравливаютъ".

Благодѣтельную помощь своимъ страждущимъ крестьянамъ оказывалъ въ своемъ Богородскомъ и М. А. Дмитріевъ. „По возвращеніи моемъ изъ Симбирска", писалъ онъ Погодину,— „у меня въ селѣ открылась холера. Продолжалась она, благодаря Бога, недолго; но дѣйствіе ея было сильно и быстро. Въ продолженіе десяти дней занемогло сто-четыре человѣка, и изъ нихъ умерло восемнадцать. Въ эти же дни случился нашъ приходскій праздникъ, Троицынъ день; народъ гулялъ и не воздерживался отъ пищи, ѣлъ много свинины: отъ этого болѣзнь усиливалась. Я лечилъ ихъ тремя средствами: вопервыхъ—каплями, баней и натираніемъ тѣла виномъ съ краснымъ перцемъ; вовторыхъ, въ обоихъ селахъ было молебствіе; а втретьихъ, старался отогнать уныніе, ободряя ихъ хороводы, которые съ улицы заходили къ намъ на дворъ, гдѣ вмѣстѣ съ крестьянками мѣшались въ хороводы наши

бы зналъ навѣрно, сколько гдѣ умерло"... О дальнѣйшемъ своемъ путешествіи Головнинъ писалъ: „На дняхъ предполагаю отправиться въ Нижній Новгородъ и оттуда, если холера не будетъ сильна, въ Казань и Екатеринбургъ. Въ противномъ случаѣ нужно будетъ переждать это тяжелое время, ибо путешествовать съ цѣлію изученія Россіи не возможно; всѣ заняты одною мыслію, когда вездѣ видишь погребенія и плачъ. Теперь могъ бы съ пользой путешествовать медикъ, помогая больнымъ, которые въ деревняхъ остаются безъ всякаго призора и пособія, и изучая дѣйствіе болѣзни въ разныхъ мѣстахъ" [240]).

Вѣрующая душа Шевырева не унывала, а проникалась богобоязненнымъ чувствомъ. „Въ половинѣ сентября 1847 г. посѣтила насъ болѣзнь", писалъ онъ,—„мы приняли ее съ молитвами... Икона Иверской Богоматери совершала безчисленныя посѣщенія. Въ одномъ и томъ же домѣ являлась она и у богатаго, и бѣднаго" [241]).

Въ самый разгаръ холеры, *въ іюлѣ 1848 года*, онъ писалъ:

Время стоновъ, время муки,
Время страха Божьихъ грозъ,
Время скорби и разлуки,
И сиротскихъ горькихъ слезъ!

***

Боже правый! въ это время
Насъ молиться научи
И губительное бремя
Язвы лютой облегчи.

XXXVI.

Удрученный лѣтами и болѣзнями, Московскій генералъ-губернаторъ князь Алексѣй Григорьевичъ Щербатовъ, 6 мая 1848 года, оставилъ высокую чреду служенія своего Престолу и Отечеству. „Въ то время", писалъ Шевыревъ,—„когда другіе отходятъ къ покою, усталые отъ трудовъ жизни, шестидесятивосьмилѣтній воинъ и государственный мужъ принесъ еще послѣднія пять лѣтъ своей дѣятельности древней столицѣ,

деревнѣ Солнушкахъ. „Свербѣевы въ деревнѣ“, писалъ Шевыревъ Погодину,—„около нихъ холера свирѣпствовала. Они тамъ уцѣлѣли, *„утѣшалъ“*.

Въ письмѣ А. В. Головнина (отъ 28 іюля 1848 года) къ Погодину мы имѣемъ краснорѣчивое описаніе ужасовъ, холеры въ Рязанской губерніи. „Путешествіе мое“, писалъ онъ,—„со времени выѣзда изъ Москвы, ограничилось разными уѣздами Рязанской губерніи и походило на прогулку по кладбищамъ болѣе, чѣмъ на поѣздку по деревнямъ. Вездѣ встрѣчалъ я или похороны, или могильщиковъ съ лопатами, или крестные ходы, или общее причащеніе Св. Таинъ въ ожиданіи скорой смерти. Видѣлъ цѣлыя фабрики гробовъ, ряды избъ, въ которыхъ остались въ живыхъ одни ребятишки, поля съ хлѣбомъ, котораго некому убирать, потому что тѣ, которые посѣяли его, сами разсѣяны по нивѣ Божіей. Народъ въ большомъ унынiи и мѣстами толковали объ отравленіяхъ. Безуміе доходило до того, что разсказывали, будто въ Св. Тайны примѣшивается отрава, чтобъ разомъ всѣхъ уморить, и кое-гдѣ бабы боялись причащаться. Впрочемъ нигдѣ не было безпорядковъ. Холера дѣйствовала чрезвычайно странно. Въ иномъ селѣ нѣсколько недѣль сряду умирали однѣ женщины, а потомъ нѣсколько времени одни мужчины. Щадила болѣзнь дѣтей, стариковъ, людей издавна больныхъ и увѣчныхъ. Вездѣ она вырывала цѣлыми семьями и, опустошивъ нѣсколько домовъ, никого не касалась въ другихъ. Къ этому бѣдствію присоединился совершенный неурожай травъ и яроваго хлѣба. Лѣтомъ умирали люди—зимой будетъ падать скотъ. Если болѣзнь будетъ дѣйствовать такъ же сильно еще въ теченіе нѣкотораго времени, то здѣсь перестанутъ жаловаться на малоземельность. Цифры больныхъ и умершихъ, печатаемыя губернскимъ начальствомъ, крайне невѣрны и всегда показываются менѣе дѣйствительнаго числа. Впрочемъ винить тутъ некого. Мнѣ самому стоило большого труда имѣть точное свѣдѣніе о числѣ больныхъ въ моихъ имѣніяхъ, разбросанныхъ по четыремъ уѣздамъ, и я даже не ручаюсь, что-

бы зналъ навѣрно, сколько гдѣ умерло"... О дальнѣйшемъ своемъ путешествіи Головнинъ писалъ: „На дняхъ предполагаю отправиться въ Нижній Новгородъ и оттуда, если холера не будетъ сильна, въ Казань и Екатеринбургъ. Въ противномъ случаѣ нужно будетъ переждать это тяжелое время, ибо путешествовать съ цѣлію изученія Россіи не возможно; всѣ заняты одною мыслію, когда вездѣ видишь погребенія и плачъ. Теперь могъ бы съ пользой путешествовать медикъ, помогая больнымъ, которые въ деревняхъ остаются безъ всякаго призора и пособія, и изучая дѣйствіе болѣзни въ разныхъ мѣстахъ" [240]).

Вѣрующая душа Шевырева не унывала, а проникалась богобоязненнымъ чувствомъ. „Въ половинѣ сентября 1847 г. посѣтила насъ болѣзнь", писалъ онъ,—„мы приняли ее съ молитвами... Икона Иверской Богоматери совершала безчисленныя посѣщенія. Въ одномъ и томъ же домѣ являлась она и у богатаго, и бѣднаго" [241]).

Въ самый разгаръ холеры, *въ іюлѣ 1848 года*, онъ писалъ:

Время стоновъ, время муки,
Время страха Божьихъ грозъ,
Время скорби и разлуки,
И сиротскихъ горькихъ слезъ!

***

Боже правый! въ это время
Насъ молиться научи
И губительное бремя
Язвы лютой облегчи.

XXXVI.

Удрученный лѣтами и болѣзнями, Московскій генералъ-губернаторъ князь Алексѣй Григорьевичъ Щербатовъ, 6 мая 1848 года, оставилъ высокую чреду служенія своего Престолу и Отечеству. „Въ то время", писалъ Шевыревъ,—„когда другіе отходятъ къ покою, усталые отъ трудовъ жизни, шестидесятивосьмилѣтній воинъ и государственный мужъ принесъ еще послѣднія пять лѣтъ своей дѣятельности древней столицѣ,

честно, добросовѣстно, сколько ему позволяли тѣ его силы. Достойная супруга его возбудила въ столицѣ прекрасные порывы благотворительности. Но угрожавшій недугъ требовалъ отдыха... Спокойно и благородно сошелъ князь А. Г. Щербатовъ съ своего блистательнаго мѣста въ тишину уединенія" [241]). Государь возобновилъ ему свою признательность Высочайшимъ рескриптомъ, въ которомъ между прочимъ начертано: „При назначеніи васъ Московскимъ военнымъ генералъ-губернаторомъ я не могъ не оцѣнить той вѣрноподданнической готовности, съ какою вы, не взирая на преклонныя лѣта и разстроенное уже прежними трудами здоровье ваше, приняли это назначеніе".

По древнему обычаю, Москва простилась съ своимъ достопочтеннымъ начальникомъ самымъ задушевнымъ образомъ. 16 мая 1848 года въ домѣ Благороднаго Собранія, по взаимному согласію должностныхъ и не служащихъ дворянъ изъ высшаго круга здѣшняго общества, назначенъ былъ обѣдъ въ честь князя Алексѣя Григорьевича Щербатова. „Единодушное желаніе", повѣствуетъ Московскій лѣтописецъ,—„почтить сердечнымъ привѣтомъ маститаго сановника и выказать ему сердечную признательность,—было единственною причиною этого празднества. Не нужно здѣсь много говорить ни о блестящемъ обществѣ, ни о роскошномъ угощеніи; довольно будетъ сказать, что это былъ прощальный обѣдъ первенствующаго Московскаго Дворянства своему любимому Градоначальнику, данный со всею искренностію чувствъ, со всѣмъ безразсчетнымъ довольствомъ, такъ свойственными Русскимъ Москвичамъ. За обѣдомъ, послѣ шумнаго тоста за здравіе Государя Императора и всей Августѣйшей Фамиліи, г. губернскій предводитель Московскаго Дворянства, его превосходительство Александръ Дмитріевичъ Чертковъ произнесъ краткую, но одушевленную искреннимъ чувствомъ рѣчь, въ которой, отъ лица всѣхъ собравшихся дворянъ, благодарилъ его сіятельство, князя Алексѣя Григорьевича, за незабвенное время, проведенное подъ его управленіемъ. Въ заключеніе г. Пред-

водитель сказалъ, что хотя, къ общему сожалѣнію, разстроенное уже прежними трудами здоровье его сіятельства вынудило его просить Всемилостивѣйшаго увольненія отъ почетнаго званія Московскаго Военнаго Генералъ-Губернатора, но Дворянство Московское всегда помнитъ, что оно имѣетъ честь считать князя Алексѣя Григорьевича въ числѣ своихъ дворянъ и помѣщиковъ, и что эта пріятная мысль—жить всегда съ нимъ, въ настоящее время доставляетъ Московскому Дворянству истинное утѣшеніе. Его сіятельство, тронутый искреннимъ привѣтомъ, отвѣчалъ присутствующимъ: „Въ избыткѣ чувствъ я не нахожу словъ изобразить, сколь много трогаетъ меня настоящее выраженіе расположенія ко мнѣ жителей Москвы. Разставаясь съ вами, я вѣчно помнить буду незабвенныя для меня пять лѣтъ, тѣсно сроднившія, меня съ вами. Отъ глубины преисполненнаго чувствами сердца пью за непоколебимое благоденствіе родной мнѣ Москвы и Московской губерніи“. Живыя изъявленія признательности и любви понеслись со всѣхъ сторонъ въ отвѣтъ на слова доблестнаго гостя, и, вѣроятно, въ сердцѣ каждаго надолго останется памятнымъ этотъ день прощальнаго семейнаго торжества“.

Вслѣдъ за Дворянствомъ и Купечество почтило князя А. Г. Щербатова прощальнымъ обѣдомъ, который состоялся 18 мая въ домѣ Мѣщанскаго Училища. „Всѣ правительственныя лица и почетнѣйшіе жители Москвы были приглашены на этотъ торжественный обѣдъ; къ концу роскошнаго обѣда, во время тоста за здравіе Государя, раздался любимый нашъ народный гимнъ: *Боже царя храни!*, пропѣтый согласнымъ хоромъ воспитанниковъ Училища. Вслѣдъ за этимъ градской голова, коммерціи совѣтникъ и кавалеръ С. Л. Лепешкинъ, привѣтствовалъ доблестнаго гостя слѣдующею рѣчью: „Сіятельнѣйшій князь! Жители Первопрестольной Столицы, по завѣтному древнему преданію предковъ своихъ, не могутъ иначе разстаться съ вами, какъ не раздѣля послѣдней хлѣба-соли. Ваше сіятельтельство, вы были, какъ и всегда, внима-

тельны къ послѣднему привѣту нашему. Мы, граждане, преисполнены къ вамъ глубокою благодарностію во все время пребыванія вашего въ столицѣ. Вы, сіятельнѣйшій князь, во всякое время были доступнымъ начальникомъ, правосуднѣйшимъ судьею и чадолюбивѣйшимъ покровителемъ бѣдныхъ. Говорить много—значило бы говорить похвальное слово: но вы выше всякой похвалы! Это краткое слово невольно вырывается изъ моего сердца. Итакъ, мы, граждане, всѣ благодаримъ, благодаримъ, благодаримъ васъ! и желаемъ отъ души, да укрѣпится здоровье ваше во дни отдохновенія. Ваше сіятельство разстаетесь съ Москвою, но Москва не разстается съ вами!“—„Я считаю долгомъ сердца“, отвѣчалъ на это привѣтствіе князь Алексѣй Григорьевичъ,—„изъявить именитому Московскому купечеству всю признательность за лестное для меня расположеніе его. Въ теченіе пятилѣтняго моего управленія Москвою я находилъ его всегда готовымъ подвизаться на пользу общую. Нынѣ служебныя отношенія прошли, но не изгладится во мнѣ никогда глубокое чувство уваженія къ сословію вашему. Да процвѣтетъ Московское купечество и да сохранитъ навсегда то почетное мѣсто, которое оно имѣетъ въ торговлѣ Россійской Имперіи“ [242]).

Одновременно съ выходомъ въ отставку князя А. Г. Щербатова старшій сынъ его, князь Григорій Алексѣевичъ, былъ назначенъ помощникомъ попечителя Московскаго Учебнаго Округа. „Я читалъ“, писалъ М. А. Дмитріевъ Погодину,—„въ Московскихъ газетахъ произнесенную княземъ Щербатовымъ рѣчь на прощальномъ обѣдѣ! Какъ онъ хорошо говорить нынче рѣчи. У васъ и новый помощникъ попечителя! Поздравляю: этотъ выборъ дѣлаетъ честь начальству, принесетъ честь и Университету“ [243]).

12 іюня 1848 года въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* было обнародовано: „Его Сіятельство господинъ Московскій генералъ-губернаторъ, генералъ отъ инфантеріи графъ Арсеній Андреевичъ Закревскій прибылъ въ Москву изъ С.-Петербурга сего іюня 8-го числа, въ 6-мъ часу пополудни“ [244]).

Семнадцать лѣтъ провелъ графъ Арсеній Андреевичъ въ тишинѣ частной жизни, занимаясь устройствомъ благосостоянія своихъ крестьянъ, которые, по истинѣ, наслаждались довольствомъ подъ управленіемъ своего заботливаго и сердобольнаго помѣщика. Государственное поприще свое онъ оставилъ въ ноябрѣ 1841 года, ознаменовавъ оное достохвальными подвигами противъ страшной, безпощадной, стихійной и невѣдомой тогда силы холеры. И вотъ, когда опять посѣтилъ Россію этотъ бичъ Божій и когда сосѣднія намъ страны Запада были объяты пламенемъ революціи, когда по слову поэта:

Адъ ли, адская ли сила
Подъ клокочущимъ котломъ
Огнь гіенскій разложила
И пучину взворотила,
И поставила вверхъ дномъ? [245])

Въ это-то страшное и грозное время императору Николаю I благоугодно было снова призвать графа Закревскаго на службу.

По свидѣтельству князя Д. В. Друцкаго-Соколинскаго, графъ Закревскій, „считая себя принадлежащимъ другому времени, ряды представителей котораго все болѣе рѣдѣли, положительно не хотѣлъ вступать на службу, но когда императоръ Николай самъ лично высказалъ ему свое желаніе, онъ повиновался Самодержавной волѣ, и 6 мая 1848 года былъ назначенъ Московскимъ генералъ-губернаторомъ“.

26 іюля того же 1848 года князь П. М. Волконскій уже писалъ ему изъ Петергофа: „Весьма сожалѣю о вашихъ заботахъ, берегите ваше здоровье и менѣе сердитесь. Хотя сіе и трудно, что знаю по себѣ и по вашей дѣятельности по службѣ, и что вы не любите безпорядка, но что дѣлать съ Москвичами, они не привыкли къ дѣятельности и любятъ праздность и веселіе. Я всегда говорю, что они служатъ только изъ-за наградъ, и тогда только, какъ узнаютъ, что ѣдетъ въ Москву Государь. Какъ же скоро онъ выѣдетъ за заставу, то перекрестясь говорятъ: *Слава Богу*, *уѣхалъ*, и

тотчасъ мундиръ и штаны долой, надѣваютъ халатъ и закуриваютъ сигарки, растянувшись на диванѣ. Вотъ вся ихъ служба, къ которой мы съ вами не привыкли, и потому не можетъ нравиться".

Первымъ дѣломъ графа Закревскаго по прибытіи его въ Москву была забота о несчастныхъ сиротахъ „лицъ разныхъ сословій и изъ разныхъ губерній, умершихъ въ Москвѣ отъ холеры". По его приказанію въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* было обнародовано: „Московскій военный Генералъ-губернаторъ, озабочиваясь призрѣніемъ таковыхъ сиротъ и приличнымъ обезпеченіемъ ихъ участи, сдѣлалъ распоряженіе, чтобы мѣстныя городскія и земскія полиціи собрали объ этихъ сиротахъ самыя вѣрныя и подробныя свѣдѣнія и представили къ нему оныя... Независимо отъ сихъ его распоряженій, онъ считаетъ нужнымъ объявить, что желающіе обратиться къ нему непосредственно съ просьбами о подобныхъ сиротахъ, могутъ подавать ему лично или присылать къ нему по городской почтѣ о томъ просьбы на простой бумагѣ. Присылаемыя по городской почтѣ просьбы должны имѣть на конвертахъ слѣдующій адресъ: *господину Московскому военному Генералъ-губернатору о безпріютномъ сиротѣ, въ собственныя руки*" [246]).

Къ этому христіанскому дѣлу весьма сочувственно отнесся Шевыревъ и 25 іюля 1848 года писалъ Погодину: „Генералъ-губернаторъ затѣялъ добрую мысль—учредить заведеніе для сиротъ послѣ холеры. Надо, чтобы наука и литература оказали свое содѣйствіе. Хорошо бы нѣсколькимъ профессорамъ соединиться и прочесть по двѣ публичныя лекціи. Хорошо бы возобновить Общество Любителей Россійской Словесности и дать нѣсколько чтеній за деньги. Какъ думаешь?"

Мысль о возобновленіи Общества Любителей Россійской Словесности была постоянно любимою мыслію Погодина, но не совсѣмъ раздѣлялась Шевыревымъ, и предъ тѣмъ между ними происходила переписка по этому предмету. За пять дней до вышеприведеннаго письма Шевыревъ писалъ Пого-

дину: „Сушкову хочется, чтобы возобновилось Общество Любителей Россійской Словесности и открылась ему возможность читать публично статьи свои. Одна изъ причинъ, почему трудно возобновить Общество—въ этихъ шмеляхъ литературныхъ. Явятся и Араповъ, и Сушковъ, и Василевскій—все члены. Поди раздѣлывайся съ ними. А срамъ-то публичный показать ихъ всему свѣту, сидѣть вмѣстѣ съ ними за однимъ столомъ въ Обществѣ Литературномъ. Вотъ почему возобновить трудно". Но Погодинъ настаивалъ на необходимости возобновленія: „Общество", писалъ онъ,—„возстановить непремѣнно надо, а отъ сверчковъ нигдѣ никогда никакое не было свободно. Вспомни басню Хемницера. Власть у насъ въ рукахъ, слѣдовательно, справиться съ ними было бы можно. А не сидѣть рядомъ—это уже черезчуръ! Антонскій управлялся же съ сверчками своего времени! Пріуготовительный комитетъ—вотъ и гарантія". На это Шевыревъ отвѣчалъ: „Возстановить Общество Любителей Россійской Словесности хорошо, да надобно Обществу имѣть капиталъ, а у него всего двѣсти асс. На свѣчи не станетъ. Къ тому же нужна поддержка. Въ комъ найти ее?"

Замышленію Погодина возстановить Общество Любителей Россійской Словесности весьма сочувствовалъ и С. Д. Нечаевъ, котораго онъ просилъ быть предсѣдателемъ. На второй день новаго 1849 года Нечаевъ писалъ Погодину: „Сердечно порадовался я вашему извѣстію о возрожденіи Общества Русской Словесности. Она всегда была главною моею отрадою въ жизни. Я люблю ее съ нѣкоторымъ даже благоговѣніемъ. Не она ли отличаетъ человѣка отъ *безсловесныхъ*, проистекая отъ самаго *Слова, Имъ же вся бысть?*.. Но быть президентомъ не слишкомъ ли это много чести для меня, такъ давно оторваннаго отъ литературныхъ занятій другими трудами и заботами. Многимъ изъ здѣшнихъ любителей Словесности я совсѣмъ не извѣстенъ. И вообще я всегда уклонялся отъ произвола баллотированія, потому что никогда не игралъ въ азартныя игры. Шутки въ сторону, мнѣ очень будетъ пріятно по-

толковать съ вами о новой счастливой мысли вашей и вашихъ достойныхъ сподвижниковъ. Надо, непремѣнно надо возстановить въ Москвѣ настоящее средоточіе Русскаго Слова, потому что оно отсюда именно возсіяло нынѣшнимъ своимъ блескомъ. Опять скажу: *мужайтесь*".

Но мысли Погодина въ то время неудалось воплотиться.

Къ величайшей чести Закревскаго слѣдуетъ отнести и то, что въ правители своей канцеляріи онъ избралъ Ѳедора Петровича Корнилова *).

Долгомъ считаемъ сообщить о немъ, хотя краткія, біографическія свѣдѣнія. Ѳ. П. Корниловъ родился 7 марта 1809 года въ мѣстечкѣ Домбровицы Волынской губерніи. Воспитаніе получилъ въ Царскосельскомъ Благородномъ Пансіонѣ. Гражданскую службу свою онъ началъ 17 октября 1829 г. въ канцеляріи Комитета Министровъ; здѣсь онъ прослужилъ недолго и 8 декабря 1830 г. поступилъ въ Департаментъ разныхъ податей и сборовъ „въ число чиновниковъ при Директорѣ". Въ январѣ 1838 г. онъ былъ опредѣленъ непремѣннымъ членомъ Вятской Коммиссіи народнаго продовольствія; въ томъ же году онъ былъ назначенъ непремѣннымъ членомъ въ Тамбовскій Приказъ общественнаго призрѣнія. Въ Тамбовѣ Ѳ. П. Корниловъ прослужилъ пять лѣтъ, и 8 января 1844 года опредѣленъ исправляющимъ должность начальника Третьяго Отдѣленія Департамента Общихъ Дѣлъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ; а 30 октября 1848 года назначенъ правителемъ Канцеляріи Московскаго военнаго Генералъ-губернатора[247]). Вотъ что писалъ о немъ (18 декабря 1848 г.) В. И. Даль Погодину: „Корниловъ человѣкъ весьма хорошій; идите къ нему просто, коли что нужно, да кланяйтесь отъ меня. Вы найдете въ немъ очень образованнаго, умнаго, любознательнаго и благороднаго человѣка".

Получивъ первое извѣстіе о назначеніи Закревскаго, Погодинъ, подъ 9 мая 1848 года, записалъ въ своемъ *Дневникѣ*:

---

*) Нынѣ статсъ-секретарь, членъ Государственнаго Совѣта.

„Закревскій генералъ-губернаторъ. Это для меня имѣетъ выгоду, ибо Ермоловъ можетъ помочь въ случаѣ нужды“.

Мы уже знаемъ, что Погодинъ намѣревался быть біографомъ Ермолова, а потому довольно часто посѣщалъ нашего полководца и обо всякомъ посѣщеніи отмѣчалъ въ своемъ *Дневникѣ*.

Подъ *13 февраля 1848*. Къ Ермолову. Взопрѣлъ. Спокойнѣе на сердцѣ.

— *19 марта*. — Утро у Ермолова.

— *19 апрѣля* — Нынѣшнее число у меня всегда примѣчательно. Къ Ермолову проситься на мѣсто Егора Борисовича Фукса, чтобы написать реляцію о взятіи Константинополя. Доставилъ ему много удовольствія и провелъ почти все утро.

Но съ назначеніемъ Закревскаго Погодину показалось, можетъ быть и ошибочно, охлажденіе къ нему Ермолова. По этому поводу въ *Дневникѣ* Погодина мы встрѣчаемъ такія записи:

Подъ *23 ноября 1848*. Къ Ермолову, о котораго болѣзни слышалъ. Какъ-то холоденъ и сухъ. Не дошли ль до него какія сплетни, или не слыхалъ ли чего отъ Закревскаго.

— 26 — —. Къ Ермолову, и не принялъ. Я начинаю сомнѣваться: не имѣетъ ли онъ какого извѣстія отъ Закревскаго. Какое печальное у насъ положеніе.

Но тѣмъ не менѣе друзья Погодина, зная отношенія къ нему Ермолова, обращались къ нему съ такими просьбами: „Ты, слышу я“, писалъ къ нему Мельгуновъ,—„очень хорошо знакомъ съ Ермоловымъ; Ермоловъ же единственное лицо въ городѣ, которое говоритъ Закревскому: *ты*, и вообще въ самыхъ дружескихъ съ нимъ отношеніяхъ. Не возьмешь ли ты на себя трудъ поговорить о моей просьбѣ (касательно разрѣшенія ѣхать женѣ за границу) Алексѣю Петровичу?“ [248])

25 іюня 1848 года, въ день рожденія Государя, Шевыревъ обѣдалъ у Закревскаго и объ этомъ писалъ Погодину: „Я сейчасъ съ обѣда отъ Генералъ-губернатора. Утромъ мы

были у него съ поздравленіемъ. Ректоръ и я были приглашены къ обѣду".

Самъ же Погодинъ долго не рѣшался представиться Закревскому, но очень интересовался имъ. Онъ толковалъ о немъ и съ княземъ М. А. Оболенскимъ, и съ Вельтманомъ. *Дѣйствуетъ*, записываетъ онъ въ *Дневникѣ* своемъ. А. Д. Чертковъ предлагалъ Погодину представить его Закревскому, но онъ отказался. „Я не поѣхалъ", писалъ онъ Шевыреву, — „къ Закревскому, потому что А. Д. Чертковъ везъ съ собою цѣлую фалангу депутатовъ-кавалеровъ. Какой же я кавалеръ, сказалъ я ему, и отправился къ тебѣ". Послѣ долгихъ размышленій Погодинъ рѣшился на мѣру, о которой онъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Написалъ объявленіе о холерѣ для народа, и долго думалъ, послать ли съ почтой Генералъ-губернатору. Послалъ" [249]).

Отправляя *объявленіе*, онъ писалъ Закревскому: „Вы человѣкъ Русскій, и вѣрно позволите говорить съ собою по Русски, — просто и откровенно. Объявленія о холерѣ и мѣрахъ противъ нея, кои печатаются въ нашихъ газетахъ, сочинены слишкомъ учено, замысловато и красиво. Народъ ихъ не понимаетъ или толкуетъ вкривь. Съ нимъ надо говорить иначе. Честь имѣю представить на усмотрѣніе вашего сіятельства одно простое объявленіе, которое, кажется, будетъ дѣйствительнѣе". При письмѣ приложено и слѣдующее написанное Погодинымъ *объявленіе*:

„Много разъ начальство толковало православнымъ, какъ себя держать и поступать, что дѣлать и чего не дѣлать, чтобъ справляться съ постылою болѣзнью, а все что-то имъ не въ прокъ. Они ухомъ не ведутъ, и знай себѣ норовятъ напиться кваску покислѣе, да рыбки посолонѣе накушаться, а водицей похолоднѣе запить, либо огурчикомъ закусить.

„Конечно — холера есть наказаніе Божіе за грѣхи наши. Прежде всего и больше всего надо молиться Богу и предавать себя въ Его Святую волю, но не мѣшаетъ и ухо держать востро̀. Береженаго Богъ бережетъ; на Бога надѣйся, а

самъ не плошай, говорятъ наши старики. Кому холера въ наказаніе, а кому только въ острастку, въ назиданіе, такъ и слѣдуетъ не склавши руки и разиня ротъ идти ей на встрѣчу, или звать еще къ себѣ въ гости своими дуростями, а отмахиваться да отбиваться, чѣмъ ни попадя, сколько силы есть.

„На всякую болѣзнь есть лекарство, да есть и поблажка всякой болѣзни: попробуй-ка напиться молока въ лихорадкѣ, такъ и протянешь ноги какъ разъ, а здоровому молочка похлебать любо! Потому молока въ лихорадкѣ никто и не нюхаетъ. Точно такъ и холера: одно она любитъ, какъ лихорадка молоко, а другого, какъ чортъ ладану боится. Вотъ объ этомъ другомъ и надо похлопотать. А что оно такое, и какъ тутъ быть? Вотъ какъ:

„Не объѣдаться, не опиваться, не надсѣдаться, студенаго не пить, чулокъ шерстяныхъ съ ногъ не спускать; не худо, кто позажиточнѣе, и фуфаечкой на животъ запастись, особенно къ вечеру, либо у жены хоть душегрѣйку по нуждѣ прихватить, на землѣ не валяться, на вѣтру не сидѣть, держать себя почище, похаживать въ баню почаще; баня, что каша, мать наша.

„Чуть въ брюхѣ заворчитъ, аль станетъ не по себѣ, затошнитъ, голова начнетъ кружиться, ты и норови лечь гдѣнибудь въ уголку, укрыться и угрѣться, да напейся чегонибудь горяченькаго, всего лучше мяты, а самъ не робѣй; что робѣть, то хуже,—но дожидайся, что будетъ.

„Хуже будетъ, иди къ лекарю. Гдѣ найдти его? Спроси у бутошника, а бутошникъ, хоть жидъ, хоть чухонецъ, скажетъ тебѣ тотчасъ, гдѣ живетъ лекарь. Отыщи его, разскажи ему толкомъ, что съ тобой дѣлается, и исполни, что онъ прикажетъ, а всего лучше ступай въ больницу. Тамъ горницы свѣтлыя, постели мягкія, халаты просторные, сидѣлки неусыпныя, а пуще всего студенты университетскіе, ребята все молодые, здоровые, ретивые, — какъ начнутъ тебя поворачивать съ боку-на-бокъ да растирать на обѣ корки, такъ тотчасъ покажется испаринка, ее-то и надо, вотъ и выздоровѣлъ,

и молись Богу, да попивай чаекъ, ѣшь калачи казенные. Нашъ Царь батюшка то и твердитъ: казны не жалѣйте, дѣтушекъ лечите, здоровье всего дороже, выздоровѣютъ, заслужутъ.

„А кому случится умереть, ау, братъ, дѣлать нечего. Двухъ смертей не бывать, а одной не миновать. Такъ видно на роду написано; прости, Господи, согрѣшеніе! Засимъ желаемъ вамъ здравствовать.

„Ну вотъ и вся недолга! Если сказать еще покороче и яснѣе, пожалуй:

„Берегися. Занемогъ—иди въ больницу. Не хочешь—лечись дома. Боишься лечиться — по крайней мѣрѣ не дури. Не послушаешься, такъ не пеняй, а окутывайся въ саванъ и ложись въ гробъ: и то сказать—на кладбищѣ мѣста много.

„Засимъ желаю вамъ здравствовать!“

Намъ неизвѣстно, какое впечатлѣніе произвело на Закревскаго это оригинальное *объявленіе*; но знаемъ, что вскорѣ послѣ того Погодинъ сталъ хлопотать о личномъ представленіи Генералъ-губернатору, и съ этою цѣлію онъ написалъ письмо къ правителю его Канцеляріи Ѳ. П. Корнилову, которое предварительно послалъ для прочтенія къ Шевыреву. „Посылаю тебѣ“, писалъ онъ,—„прочесть письмо къ Правителю Канцеляріи графа Закревскаго. Всѣ говорятъ, что какъ человѣкъ публичный долженъ непремѣнно ему представить себя и журналъ. А письма вообще столько надѣлали въ жизни моей непріятностей, что я пересталъ вѣрить себѣ, и потому прошу другихъ ихъ разсматривать. Прочти, запечатай и отдай для доставленія“.

Ѳ. П. Корниловъ не замѣшкалъ отвѣтомъ. „Тотчасъ по полученіи письма вашего“, писалъ онъ Погодину (2 декабря 1848 г.),—„я имѣлъ честь докладывать о немъ его сіятельству графу Арсенію Андреевичу, который, принявъ съ благодарностью доставленный вами экземпляръ *Москвитянина* за 1848 годъ, изволилъ приказать препроводить къ вамъ слѣдующія деньги, а между тѣмъ поручилъ мнѣ увѣдомить васъ,

22

что, желая познакомиться съ вами, онъ назначилъ для сего, по вашему выбору, одиннадцатый часъ утра во всѣ дни недѣли, кромѣ среды и субботы".

Подъ *3 декабря 1848 г.* Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Къ графу Закревскому. Очень любезенъ, пригласилъ прочесть о Словенахъ".

XXXVII.

Прочитавъ случайно въ газетахъ, что 21 апрѣля 1848 г., на семьдесятъ восьмомъ году жизни, скончалась Екатерина Ѳедоровна Муравьева, Погодинъ, по его собственному свидѣтельству, „поспѣшилъ самъ не зная куда, почти невольно, какъ будто посылаемый всѣми своими почившими учителями отдать послѣдній долгъ супругѣ, — ихъ и слѣдовательно моего благодѣтеля—благодѣтеля Московскаго Университета".

„Вдова Михаила Никитича Муравьева!" восклицаетъ Погодинъ,—„сколько воспоминаній пробудило это незабвенное въ лѣтописяхъ Отечества имя! Воспитатель Императора Александра, сочинитель всѣхъ учебныхъ уставовъ въ началѣ его царствованія, первый Попечитель Московскаго Университета, пламенный ревнитель Просвѣщенія, другъ Русской Словесности, доставившій Карамзину средства посвятить себя Исторіи, талантливый писатель, добрѣйшій, благороднѣйшій человѣкъ — вотъ кого судьба даровала ей въ спутники жизни! Какимъ блескомъ и славою озарено было ея вступленіе въ свѣтъ! Какими цвѣтами усыпанъ былъ ея первый путь! Въ какихъ прекрасныхъ удовольствіяхъ протекло начало ея жизни. Домъ Муравьевыхъ былъ тогда средоточіемъ всего возвышеннаго, отличнаго, лучшаго въ обществѣ и литературѣ, сборнымъ мѣстомъ всѣхъ достоинствъ, заслугъ, дарованій: Батюшковъ здѣсь воспитывался; Державинъ, Дмитріевъ, Карамзинъ, Жуковскій, одинъ за другимъ принадлежали къ этому семейству. Нечего говорить о членахъ Московскаго Университета, которые являлись здѣсь, какъ въ отеческомъ домѣ: стоило только

профессору, студенту, учителю, гимназисту, произнести свое имя, какъ уже и было готово все, кому что нужно—пособіе, ободреніе, покровительство, сочувствіе.

„Чрезъ пятнадцать лѣтъ по кончинѣ Муравьева вступилъ я студентомъ въ Московскій Университетъ. Моими учителями были его ученики, профессоры, имъ поставленные, уже въ старости, — но я помню, какъ голосъ Мерзлякова дрожалъ, когда онъ начиналъ разсказывать о пріемѣ его Муравьевымъ въ Петербургѣ, какъ суровое лицо Тимковскаго прояснялось, когда онъ говорилъ объ отправленіи своемъ въ чужіе края. Съ какимъ чувствомъ поминали его Мудровъ, Цвѣтаевъ, Геймъ! Я читалъ письма къ нему Буле, Маттея, Шлецера, Страхова. Это былъ ихъ общій отецъ, другъ, слуга, наставникъ, совѣтникъ, защитникъ, покровитель".

Но „другія мысли, другія чувства наполнили душу" Погодина, когда онъ вошелъ въ Новоспасскій монастырь и „увидѣлъ гробъ, вмѣщавшій въ себѣ останки покойницы". „Мнѣ", писалъ онъ,—„представилась послѣдняя половина ея долговременной, почти осьмидесяти-лѣтней жизни! Боже мой! Какія горести, какія страданія, какіе удары! Какою страшной чередой, одни другихъ сильнѣе, убійственнѣе, разражались они надъ этой бѣдной женщиной! Она похоронила мужа, дѣтей, внучатъ, — всѣ свои чувства, желанія, радости, надежды—развѣ кромѣ небесной, и помертвѣла на землѣ, прежде чѣмъ умерла.

„Близкихъ родныхъ ея не много было въ церкви,—но кому же изъ людей несчастіе не сродни? Она жила долго, она испытала и вытерпѣла много, она плакала часто, плакала горько... Не довольно ли было узнать только это—даже всякому незнакомцу, зашедшему случайно въ церковь, — не довольно ли было для того, чтобъ, безъ разсужденія объ ея свойствахъ, добродѣтеляхъ или порокахъ, положить за нея усердный поклонъ, и повторить съ чувствомъ святую молитву и христіанское напутствіе.

„Миръ душѣ твоей, страдалица! Преплывъ житейское море,

которое для тебя въ особенности *воздвизалось напастей бурею*, да найдешь ты наконецъ упокоеніе въ томъ тихомъ пристанищѣ, гдѣ всѣ и все упокоевается" [250]).

Сердечныя строки эти произвели на многихъ сильное впечатлѣніе. „Твоя статейка о Муравьевой", писалъ Максимовичъ, съ своей Михайловой Горы, Погодину, — „истинно восхитительна: вотъ эти-то твои статьи я люблю паче меда дивія, когда ты пишешь не мудрствуя лукаво" [251]).

Вслѣдъ за Муравьевой сошелъ въ могилу и Антонъ Антоновичъ Антонскій-Прокоповичъ. Еще на новый годъ посѣтивъ Антонскаго, Шевыревъ писалъ Погодину: „Антонскій вчера надавалъ мнѣ много прекрасныхъ наставленій. Какой еще бодрый и свѣжій старецъ!"

По свидѣтельству Шевырева, Антонскій „зиму (1848 г.) проводилъ въ домѣ своемъ, что въ Леонтьевскомъ переулкѣ; лѣтомъ предполагалъ жить въ деревнѣ. Холера, унесшая столько жертвъ, постигла и его, но крѣпкое его сложеніе сначала устояло было противъ ея сокрушающей силы. Однако, старецъ долго не могъ оправиться. Къ тому же слабый, онъ оступился идучи по комнатѣ и упалъ. Паденіе еще болѣе его обезсилило. Но и тутъ природа боролась, стояла за жизнь. Больной совсѣмъ было оправился, собирался даже въ деревню, близъ Хотькова монастыря, какъ вдругъ болѣзнь новымъ ударомъ поразила его—и онъ не могъ устоять: 6-го іюля, въ седьмомъ часу пополудни его не стало". Число лѣтъ, прожитыхъ Антонскимъ, „осталось загадкою для всѣхъ, знавшихъ его близко. Въ послужномъ спискѣ его *за 1830 годъ* показано ему было шестьдесятъ семь лѣтъ".

8 іюля Шевыревъ писалъ Погодину: „Но вотъ кто умеръ — грустно вспомнить — Антонъ Антоновичъ. Завтра хоронятъ. Я буду непремѣнно на похоронахъ. Надобно для слѣдующаго нумера *Москвитянина* приготовить объ немъ статью. Въ Университетѣ я спрошу его послужной списокъ. Нѣтъ ли у тебя какихъ матеріаловъ? Говорятъ—много у Сушкова. Мнѣ вчера это сказалъ И. М. Снегиревъ, который между

прочимъ просилъ меня переслать къ тебѣ прилагаемое извѣстіе о сочиненіи Сушкова: *Исторія Университетскаго Пансіона*... Завтра я буду въ мундирѣ...".

Отпѣваніе происходило 9 іюля. „Немногіе изъ его учениковъ и бывшихъ сослуживцевъ", повѣствуетъ Шевыревъ,— „собрались около его гроба на отпѣваніи въ церкви св. Николы въ Хлыновѣ, гдѣ довольно долго онъ былъ церковнымъ старостой; преосвященный Іосифъ *) совершалъ служеніе. архимандритъ Знаменскій Митрофанъ почтилъ память мудраго разумнымъ словомъ. Между двумя зданіями Университета на Никитской, близъ самой Университетской церкви, совершена была преосвященнымъ же Іосифомъ литія въ память того, кто такъ долго подвизался на пользу Университета. Донская обитель приняла останки покойнаго. За литургіею читался Апостолъ, гдѣ находится текстъ: *Повинуйтеся наставникамъ вашимъ и покоряйтеся: тіи бо бдятъ о душахъ вашихъ*" [252]).

Возвратившись съ похоронъ Антонскаго, Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „На похоронахъ у Антонскаго. Ни Университета, ни Пансіона нѣтъ. О невѣжество! Радъ, что узналъ могилу Хераскова и, можетъ быть, Сумарокова" [253]).

Давнія отношенія связывали И. И. Давыдова съ Антонскимъ. „Изъ Москвы получили", писалъ онъ Погодину,—„печальное извѣстіе о кончинѣ благодѣтеля моего и друга, Антона Антоновича. Подробностей о кончинѣ еще не знаю. Писалъ о доставленіи мнѣ бумагъ, касающихся его жизни, чтобъ написать біографію, какъ приношеніе усопшему. Но думаю, что теперь наслѣдникамъ не до біографіи: они скорѣе займутся крѣпостными актами, купчими да ломбардными билетами. Жаль, что Провидѣніе не судило мнѣ быть при послѣднихъ минутахъ жизни этого замѣчательнаго человѣка... Тяжело и грустно, любезнѣйшій Михаилъ Петровичъ, становится, когда видишь, какъ отходятъ отъ насъ друзья и близкіе. Новыхъ друзей наживать уже поздно, а безъ дружбы и теплоты оставаться въ этомъ мірѣ тяжко. Или это чувство уже старческое?"

*) Впослѣдствіи архіепископъ Воронежскій и Задонскій.

Шевыревъ помянулъ своего наставника прекрасною статьею, которая возбудила всеобщее сочувствіе. „Я пробѣжалъ статью объ Антонскомъ“, писалъ ему Погодинъ. „Эге братъ. По моимъ стопамъ пошелъ! Вотъ это на чистую! Спасибо“. И. И. Давыдовъ писалъ Погодину: „За статью объ Антонскомъ я благодарилъ С. П. Шевырева. Между прочимъ я писалъ ему, что лицевую сторону медали онъ изобразилъ вполнѣ и вѣрно; остается другая сторона, задняя. Но для кого она нужна? Поэтому удовольствуемся этимъ прекраснымъ воспоминаніемъ“ [254]). Въ письмѣ своемъ къ Шевыреву князь П. А. Вяземскій вмѣстѣ съ тѣмъ сообщаетъ и автобіографическія свѣдѣнія: „Титовъ пишетъ мнѣ изъ Константинополя, что онъ съ большимъ удовольствіемъ читалъ статью вашу *о дѣдушкѣ и пѣстунѣ трикраты-Антонскомъ*, какъ называли его въ пансіонѣ, что напоминаетъ мнѣ какіе-то мои шуточные стихи:

Тремя помноженный Антонъ,
А на закуску Прокоповичъ,

а въ рифму выходилъ тутъ Василій Львовичъ. Жаль, что вы въ статьѣ своей не упомянули и о томъ, что по зимамъ едва ли не до 1812 года Жуковскій живалъ въ его казенномъ домикѣ, который выходилъ въ Газетный переулокъ. Мнѣ этотъ домъ очень памятенъ, потому что тутъ началось мое сближеніе съ Жуковскимъ. Возвращаясь съ бала или съ веселаго ужина, часу въ шестомъ утра, я заѣзжалъ къ нему, находилъ его или еще въ постели, или уже вставшаго тогда, когда я еще не ложился; безпорядочные мои наѣзды смущали тишину и святость иноческой обители и, вѣроятно, не очень нравились отцу-игумену“ [255]).

Одновременно съ Шевыревымъ и Н. В. Сушковъ написалъ *Нѣкоторыя свѣдѣнія о службѣ и трудахъ Антона Антоновича Прокоповича-Антонскаго*, а подъ статьею, напечатанною въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* 13 іюля, отмѣтилъ: *3-го іюля 1848. Москва*, слѣдовательно, когда Антонскій былъ еще живъ.

Статью свою онъ снабдилъ слѣдующимъ примѣчаніемъ: „Эта статья входитъ въ приложенія къ *Воспоминаніямъ о Университетскомъ Благородномъ Пансіонѣ*... Прислушиваясь къ разсказамъ о старинѣ и пользуясь замѣчаніями Антона Антоновича, которому я читалъ многіе отрывки, я уже намѣренъ былъ печатать мои *Воспоминанія о Пансіонѣ*... Въ прошлое воскресенье *4 іюля*, читалъ ему тогда его *Біографію*— теперь черезъ два дня, уже *Некрологію*! Онъ, какъ бы предчувствуя свою близкую кончину, сказалъ, прощаясь со мною: *Благодарю*! *Я знаю, что вы всегда любили меня*; *но не зналъ, что такъ сильно любите... Только уже это послѣ смерти моей будетъ напечатано*... Девяностолѣтній старецъ прослезился,—что-то и мнѣ сдѣлалось грустно... Во вторникъ 6-го числа не стало" [256]).

По напечатаніи статьи Сушкова Шевыревъ получаетъ отъ Погодина слѣдующую записочку:

Прочелъ статью я Шевырева
И разомъ о двоихъ вздохнулъ:
Антонскаго онъ помянулъ
И схоронилъ Сушкова.

„Ты можешь вообразить, что Михаилъ Александровичъ у меня, и мы вмѣстѣ жалѣемъ, что нѣтъ тебя. *Въ томъ свидѣтельствую и подписуюсь М. Дмитріевъ*".

Въ то время, когда опустили въ могилу чуть не столѣтняго старца и наставника многихъ поколѣній, въ это время еще бродилъ между живыми тоже наставникъ многихъ поколѣній и поэтъ Раичъ. Онъ въ то время, по свидѣтельству Погодина, *умиралъ съ голоду* [257]) и пѣлъ *Благотворительность*:

Бываютъ сладкія минуты,—
Къ намъ отъ небеснаго Отца,
Какъ въ освященные пріюты,
Нисходитъ благодать въ сердца.
Въ завѣтныя минуты эти
Бываемъ мы добры какъ дѣти,
И обновленная душа,
Благоговѣніемъ дыша,
На все высокое готова:

Ни безпріютной нищеты,
Ни безпомощной сироты
Мы не оставимъ безъ покрова...

Въ это же самое время судьба послала бѣдному Раичу и другое тяжкое испытаніе—онъ лишился нѣжно любимой жены. Въ постигшемъ его несчастіи онъ нашелъ утѣшеніе въ стихахъ, посвященныхъ ему М. А. Дмитріевымъ:

На землѣ, гдѣ при закатѣ
Всякій сниметъ свой шатеръ,
Не печалься объ утратѣ,
Не приковывай свой взоръ!

* * *

Такъ разсудокъ намъ холодный
На уста кладетъ печать!
Онъ наставникъ превосходный;
Но ему ли утѣшать!

* * *

Услажу-ль твое я горе!
Я и самъ средь этой мглы,
Проплывая жизни море,
Разбивался о скалы!

* * *

Не вплести цвѣтка живова
Мнѣ въ терновый твой вѣнецъ!
Да! судьба къ тебѣ сурова!
Старость, дѣти и вдовецъ!

* * *

Вспомнимъ молодость мы нашу!
О! предательски мила
Намъ надежда жизни чашу,
Улыбаясь, подала!

* * *

И поэзія манила!
И любовь узнали мы!
Но цвѣтовъ не сохранила
Мать-природа до зимы!

* * *

Вотъ и мы уже подъ снѣгомъ
И печалей, и годовъ!
Кое-какъ нарвали бѣгомъ
Только горькихъ мы плодовъ!

* * *

Что за міръ, гдѣ все ничтожно,
Вѣренъ только путь скорбей!

Наше счастье—призракъ ложный
Намъ невидимыхъ вещей!
* * *
Вѣрь мнѣ: каждому на долю
Бремя жизни не легко!
Предадимся въ Божью волю;
Намъ идти не далеко! [258]).

15 декабря того же 1848 года скончался въ Москвѣ и князь Алексѣй Григорьевичъ Щербатовъ. „Свѣтское общество Москвы“, свидѣтельствуетъ Шевыревъ, „видѣло его въ послѣдній разъ 20 ноября; въ день восшествія на престолъ Государя Императора на блистательномъ балѣ у новаго Градоначальника явился князь А. Г. Щербатовъ скромнымъ гостемъ въ тѣхъ самыхъ залахъ, гдѣ такъ недавно еще былъ хозяиномъ“.

Смертные останки его покоятся въ Донскомъ монастырѣ, вблизи отъ своего предмѣстника, сослуживца и родственника князя Дмитрія Владиміровича Голицына.

5 октября 1848, въ Новгородскомъ-Юрьевомъ монастырѣ, скончалась графиня Анна Алексѣевна Орлова-Чесменская. Товарищъ Министра Народнаго Просвѣщенія, князь П. А. Ширинскій-Шихматовъ, писалъ Юрьевскому архимандриту Мануилу: „Мы лишились живого, назидательнаго примѣра древняго христіанскаго благочестія, столь рѣдкаго въ наше время, но мы обрѣли новую теплую молитвенницу у престола Божія. Она не забудетъ насъ и въ чужихъ селеніяхъ, какъ не забывала въ дальнихъ послѣдняго изъ братій Христовыхъ, требовавшаго ея помощи. Между тѣмъ и здѣсь въ житейскомъ морѣ, воздвизаемомъ напастей бурею, священная память ея еще долго, долго будетъ путеводительною звѣздою къ тихому пристанищу спасенія и разрѣшать едва ли не самую трудную задачу о соединеніи строгой христіанской жизни и подвиговъ келейныхъ съ обязанностями высшаго званія въ мірѣ и приличіями свѣтскаго обращенія“.

Въ бумагахъ Погодина сохранилось письмо (отъ 20 августа 1849 г.) Юрьевскаго ризничаго іеромонаха Владиміра, кото-

рый читалъ надъ умирающею отходную, къ нѣкоему о. Петру; въ немъ мы читаемъ: „Покорнѣйше благодарю васъ за пріятнѣйшеее письмо ваше, которымъ я былъ утѣшенъ, видя изъ онаго уваженіе и память вашу о незабвенной и общей всѣхъ благодѣтельницѣ графинѣ Аннѣ Алексѣевнѣ; спаси васъ, Господи!—Но простите медленность моего отвѣта,—встрѣчали и провожали милостиваго нашего Архипастыря и Владыку, который гостилъ у насъ въ Юрьевѣ недѣлю и служилъ два раза,—суеты и хлопотъ было много; вчера, то-есть, 19-го числа, Высокопреосвященный нашъ Владыка отправился въ обратный путь въ С.-Петербургъ, и теперь на свободѣ скажу вамъ, что о Графинѣ есть уже нѣчто, помѣщенное въ *Твореніяхъ Свв. Отцевъ*, произведеніе пера А. Н. Муравьева; оно кратко, но онъ обѣщаетъ современемъ написать болѣе; еще трудится о семъ человѣкъ весьма умный, добрый и хорошій сочинитель Н. В. Елагинъ, цензоръ; по просьбѣ о. Архимандрита и князя П. А. Шихматова-Ширинскаго, онъ желаетъ описать подробно всѣ благодѣянія Графини и ея жизнь и составить небольшую книжку, помѣстивъ въ оной нѣчто о Юрьевѣ; на счетъ же моего васъ увѣдомленія о кончинѣ Анны Алексѣевны писалъ я вамъ въ разстройствѣ и разсѣяніи и что писалъ — не помню; впрочемъ предоставляю на волю вашу. Простите. Достопочтеннѣйшій отецъ Петръ, не забывайте меня въ молитвахъ вашихъ,—Христосъ посредѣ насъ есть и будетъ! 1848 году и въ С.-Петербургѣ“.

26 мая, въ 6-мъ часу утра, того же 1848 года скончался, въ Петербургѣ, Виссаріонъ Григорьевичъ Бѣлинскій. „Никакія журнальныя отношенія“, писалъ А. А. Краевскій,—послѣдняго времени не помѣшаютъ намъ сказать, что Бѣлинскій, будучи человѣкомъ чрезвычайно даровитымъ, отличался въ то же время непреклонною честностью и благородствомъ поступковъ въ частной жизни. Очень нерѣдко заблуждался онъ въ своихъ литературныхъ мнѣніяхъ; заблужденія его происходили иногда, можетъ быть, отъ недостатка знанія,

иногда отъ пылкости впечатлительной души... Да и кто изъ насъ не заблуждался? Кто такъ самоувѣренъ, что почтетъ себя въ правѣ бросить камень въ эту свѣжую могилу, вмѣсто христіанскаго напутствія: да покоится въ мирѣ усопшій братъ нашъ!“ [259])

По поводу этого некролога и Погодинъ, съ своей стороны, написалъ *Нѣсколько словъ* о Бѣлинскомъ. „Краевскій свидѣтельствуетъ,“ пишетъ онъ, - „что покойный былъ очень честенъ; Полевой свидѣтельствуетъ, что онъ былъ очень уменъ. Охотно вѣримъ этимъ свидѣтельствамъ, — и поговоримъ объ его литературныхъ достоинствахъ. Сочиненія его сами по себѣ, конечно, не давали бы большаго права на воспоминаніе въ литературномъ некрологѣ, но они имѣли много читателей, и даже поклонниковъ, производили въ свое время дѣйствіе, и потому имъ должно посвятить нѣсколько словъ. Покойный Бѣлинскій имѣлъ воображеніе довольно живое, сердце пылкое и можетъ быть теплое, умъ понятливый, нѣсколько природнаго вкуса и легкость писать, но онъ лишенъ былъ всякаго образованія, не занимался никогда ни одною наукою, не имѣлъ понятія и ни объ одной литературѣ, не зналъ никакого языка, развѣ кромѣ Французскаго отчасти, не былъ знакомъ ни съ одною исторіей. Безпокойно-покойный *Телеграфъ* былъ для него гимназіей, университетомъ, академіей и библіотекой для чтенія. Всю премудрость свою почерпнулъ онъ въ своей молодости изъ этого мутнаго источника, а подновлялась она по слухамъ изъ вторыхъ и третьихъ устъ о новыхъ произведеніяхъ Французской Словесности. Въ такомъ легкомъ вооруженіи вздумалъ онъ преобразовать совершенно Русскую Словесность и уничтожить всѣ авторитеты. *Отечественныя Записки* и провозгласили его своимъ диктаторомъ. Ломоносовъ, Карамзинъ, Державинъ должны были трепетать въ своихъ могилахъ отъ его бранныхъ возгласовъ; о Сумароковѣ, Херасковѣ, Богдановичѣ—не смѣй никто и вспоминать. Невѣжи, отсталые, восклицалъ удалой молодецъ Русской Словесности, какъ прозвалъ его мѣтко одинъ литераторъ—и продолжалъ махать направо и налѣво!

„Безпрестанно твердилъ Бѣлинскій свою докучную сказку, которая всегда начиналась опять съ конца: Кантемиръ, Тредьяковскій, Ломоносовъ... Кантемиръ, Тредьяковскій, Ломоносовъ... Кантемиръ, Тредьяковскій, Ломоносовъ..., за ними слѣдовали двѣнадцать статей о Пушкинѣ и чуть ли не сто двадцать эпизодовъ о Лермонтовѣ и Гоголѣ. Варіаціи его были безконечныя и утомительныя. Между тѣмъ найдите мнѣ въ этихъ почти пятнадцати-лѣтнихъ разсужденіяхъ хоть одну мысль собственную, теоретическую или критическую. Ни одной! Или общія мѣста, или чужія мысли! Кое-гдѣ встрѣчается страница, написанная съ чувствомъ, нѣкоторыя изъ общихъ мѣстъ выражены хорошо, кое-гдѣ попадается вѣрное замѣчаніе—и только. А заимствованія его, какъ называетъ остроумный Сенковскій подобныя продѣлки, доходили до смѣшнаго: Лежа въ машинѣ съ переломленной ногой въ 1844 году, я долженъ былъ читать что-нибудь самое легкое: разумѣется, легче Петербургскихъ журналовъ, при всей ихъ тяжести, сыскать трудно, и мнѣ позволили сначала перелистывать *Отечественныя Записки*. Попадается мнѣ похвала діаволу (прости, Господи, согрѣшеніе) при разсужденіи о Демонѣ, котораго Лермонтовъ будто бы взялъ себѣ въ друзья, и потому возвысился, а Пушкинъ имѣлъ слабость испугаться, и потому упалъ. Это оригинально, по крайней мѣрѣ, подумалъ я, но гдѣ оно попадалось мнѣ прежде, не могъ вспомнить. Вскорѣ послѣ сталъ я читать *Consuelo* мадамъ Жоржъ-Зандъ, и что же? Какъ тутъ нахожу я всю тираду *Отечественныхъ Записокъ* въ монологѣ графа Альберта Рудольштадта. Этого мало: Тирада мадамъ Зандъ относится къ вѣрованіямъ Чешскихъ сектъ, и я тотчасъ вспомнилъ, теперь, по связи идей, что въ извѣстномъ мнѣ древнемъ словѣ Пресвитера Козмы о Болгарской ереси Богумиловъ есть подобное разсужденіе о дьяволѣ. Тогда же думалъ я написать шутливую статью: *Ересь Богумиловъ, Пресвитеръ Козма, мадамъ Зандъ и Отечественныя Записки;* но вскорѣ поднялся на ноги и позабылъ про это смѣшное путешествіе нашей

журнальной учености. Вотъ каковы наши критики, судіи и рецензенты, а это былъ еще самый способный. Каковы же остальные герои *Современника* и *Отечественныхъ Записокъ*, каковы же преемники Бѣлинскаго!

„Но gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo, говоритъ пословица, и Бѣлинскій имѣлъ успѣхъ. Старшіе литераторы его не читали, пренебрегали возражать ему, а молодежь его слушала, молодежь, которой всегда бываетъ пріятно, по свойству человѣческой натуры, всякое отрицаніе, сомнѣніе, возраженіе, слушала, читала и приняла его мысли. Разнощики чужихъ сужденій и вѣстей, компиляторы, и историки Русской Словесности, не только повторяли его мнѣнія, но даже внесли ихъ въ учебники. Успѣхъ Бѣлинскаго служитъ, по моему мнѣнію, вопервыхъ, урокомъ для журналистовъ не пренебрегать никакимъ явленіемъ литературнымъ, какъ бы сначала ни было оно маловажно и ничтожно, а вовторыхъ, доказательствомъ слабости нашего образованія. Если Бѣлинскій съ такими бѣдными свѣдѣніями, съ такимъ ограниченнымъ горизонтомъ, съ такимъ тѣснымъ кругомъ понятій могъ успѣть, то его почитатели, значитъ, были еще слабѣе его, а о поклонникахъ и говорить нечего!

„Но все-таки онъ принадлежалъ къ нашей братіи, онъ зналъ грамотѣ, развертывалъ съ участіемъ всякую новую Русскую книжку и особенно всякій новый нумеръ журнала, читалъ, писалъ, желалъ по своему добра, любилъ просвѣщеніе, сколько понималъ его, былъ бѣденъ,—пожалѣемъ же о талантѣ, которому недосталось образованіе, о вкусѣ, которому не случилось изостриться, о благонамѣренности, которая приняла ложное направленіе, о добромъ сердцѣ, которое несчастныя обстоятельства вели къ грубости, и наконецъ о способности писать, для которой недоставало предмета. Посвятимъ ему сердечный вздохъ воспоминанія и пожелаемъ, чтобъ разрѣшились его сомнѣнія, чтобъ научилъ онъ молодыхъ людей своею смертію, если не могъ жизнію, трудиться, уважать преданіе, не слишкомъ довѣрять своимъ мечтамъ,

переносить съ кротостью и терпѣніемъ всякія невзгоды, и всегда, вездѣ, во всемъ, больше надѣяться, вѣрить и любить“ [260]).

„Немногіе Петербургскіе друзья“, повѣствуетъ И. И. Панаевъ, — „провожали тѣло Бѣлинскаго до Волкова кладбища. Покойнаго отпѣли, опустили въ могилу, и огорченные друзья его бросили молча, по христіанскому обычаю, горсть земли въ его могилу, въ которой уже начинала проступать вода“ [261]).

Возвратившійся лѣтомъ 1848 года изъ Петербурга Грановскій сообщилъ Погодину: „Какой-то дѣйствительный статскій совѣтникъ Поповъ сказалъ о сборѣ для вдовы Бѣлинскаго: *„это все равно, что собирать для Рылѣевой“*.

Глубокою осенью высокопреосвященный Иннокентій, архіепископъ Херсонскій и Таврическій, по свидѣтельству его біографа, „принужденъ былъ, бросивъ свою епархію, снова отправиться въ С.-Петербургъ для присутствованія въ Св. Сvнодѣ“ [262]). Въ Петербургѣ ему довелось *видѣть кончину* первосвятителя Русской церкви митрополита Новгородскаго и С.-Петербургскаго Антонія, который въ Бозѣ почилъ 16 ноября 1848 года. Когда графъ Н. А. Протасовъ доложилъ объ этомъ Государю, то Государь изволилъ сказать ему: *Да! У меня митрополитъ будетъ, но Антонія уже не будетъ*! Послѣдній долгъ почившему Владыкѣ отдалъ самъ Государь своимъ присутствіемъ при его погребеніи въ Александро-Невской Лаврѣ [263]). Надгробное слово произносилъ Иннокентій и въ заключеніи сказалъ: „А мы, братія моя, препровождая въ нѣдра земли гробъ сей, возьмемъ отъ него въ напутствіе себѣ на всю жизнь, если не что другое, то — память о нашей смерти; ибо нѣтъ сомнѣнія, что давно ростутъ, а можетъ быть, и подъ рукою сѣкущаго тѣ древа, изъ коихъ будетъ устроенъ и нашъ гробъ“.

XXXVIII.

„Слѣдя за движеніемъ умственной жизни обѣихъ Русскихъ столицъ“, пишетъ одинъ обозрѣватель *Москвитянина*, „невольно поражаешься однимъ явленіемъ, страннымъ, но конечно не лишеннымъ значенія. Это-различіе характера и судьбы литературныхъ предпріятій и въ особенности журналовъ. Тогда какъ Московскіе журналы начались блестящимъ образомъ, и потомъ постепенно нисходили, Петербургскіе отъ посредственныхъ началъ поднимались больше и больше. Не о внутреннемъ ихъ достоинствѣ идетъ рѣчь, а о дѣйствіи на общество. Петербургскій журналъ идетъ обыкновенно правильнымъ, мѣрнымъ шагомъ... Московскій то идетъ быстро, то вдругъ отстаетъ, какъ будто утомляется. Послѣ прекращенія *Вѣстника Европы*, *Телеграфа*, *Телескопа*, *Наблюдателя*, основался въ Москвѣ единственный литературный журналъ *Москвитянинъ*. Онъ хорошо началcя, хорошо держался второй годъ, третій, а на четвертый сталъ опускаться, разумѣя внѣшнюю его сторону. Опасеніе и сожалѣніе всѣхъ чтущихъ Православно-Русское направленіе *Москвитянина* особенно усилилось въ 1847 году, когда вмѣсто двѣнадцати книжекъ стало выходить четыре“ [264]).

Видя паденіе своего журнала, Погодинъ въ 1847 году писалъ В. В. Григорьеву: „Я радъ отдать вамъ *Москвитянинъ* совсѣмъ, съ подписчиками, съ связями, съ сотрудниками, съ матеріалами, со всѣми доходами и расходами. Готовъ помогать вамъ, сколько могу,—не требую себѣ ничего, кромѣ того, что вы сами представить мнѣ заблагоразсудите. Исторія меня призываетъ, и я снятіе журнальнаго бремени сочту себѣ за одолженіе. Такъ зачѣмъ же вы не уничтожите просто, скажете вы. Совѣстно, совѣстно предъ тѣнями Карамзина, Пушкина. Смѣю думать, что сохранять доброе преданіе возложено на насъ, неужели оставить попеченіе Русскаго слова для Петербургскихъ мародеровъ? По крайней мѣрѣ

Не понимаютъ насъ, не слушаютъ, а если читаютъ, такъ только изъ любопытства или изъ личнаго участія къ тому или другому изъ насъ. Я по-неволѣ долженъ вамъ говорить о себѣ, потому что сообщаю вамъ результатъ моихъ наблюденій. Я служилъ въ Сенатѣ годъ слишкомъ и находился въ ежедневныхъ самыхъ близкихъ сношеніяхъ съ молодыми людьми, вышедшими изъ Училища Правовѣдѣнія, большею частью безъ опредѣленнаго направленія. Можетъ быть, я имѣлъ вліяніе на нѣкоторыхъ изъ нихъ, но это было вліяніе личное. Познакомившись со мною, убѣдившись, что я въ состояніи сочинить докладъ и написать резолюцію не хуже другого, они рѣшили, что хотя этотъ человѣкъ и принадлежитъ къ школѣ Московскихъ Словенофиловъ, однако онъ не совсѣмъ глупъ. Черезъ меня, какъ личность, иные изъ нихъ начали мириться съ образомъ мыслей школы. Но странно: всякій разъ, когда я начиналъ споръ или простое изложеніе моихъ мнѣній, я чувствовалъ, что вліяніе, какое я могъ пріобрѣсти на нихъ, какъ будто исчезало, по крайней мѣрѣ ослабѣвало. Я читалъ на ихъ лицахъ: странно! не глупый человѣкъ, а что за дикія понятія. То же самое я могъ замѣтить и въ другихъ обществахъ. Не думайте, впрочемъ, чтобы такъ смотрѣли только на нашъ образъ мыслей — нѣтъ, такова участь всякаго опредѣленнаго образа мыслей. Такъ же смотритъ большинство на *Отечественныя Записки*, на *Современникъ* и пр. У насъ не ложное направленіе мысли, а безмысліе господствуетъ. Противъ него литературныя средства безсильны. И вотъ почему я пришелъ къ тому убѣжденію, что пора общественнаго вліянія журнальной дѣятельности или прошло, или еще не наступило. Мнѣ кажется, что теперь намъ надобно бы не соединяться для литературныхъ предпріятій, а разойтись врознь и дѣйствовать въ одномъ духѣ, каждый въ своемъ кругу, примѣромъ и личнымъ вліяніемъ. Такъ мнѣ кажется, можетъ очень быть, что и ошибаюсь. Итакъ, это въ сторону Предположимъ, что нуженъ въ Москвѣ журналъ, и перейдемъ къ *Москвитянину*. Я долженъ вамъ сказать, и вы сами знаете,

что *Москвитянинъ* ужасно упалъ во мнѣніи публики. *Москвитянина* не читаютъ: худшей участи для журнала быть не можетъ. При современныхъ требованіяхъ, въ томъ видѣ, въ какомъ онъ издавался до сихъ поръ, онъ, мнѣ кажется не можетъ и не долженъ издаваться долѣе. Онъ имѣлъ два существенные недостатка. Вопервыхъ: неаккуратность выхода и прочее, что̀ очень важно. Вовторыхъ: въ составѣ каждой книжки замѣтна была какая-то случайность. Точно какъ будто статьи выдергивались на удачу изъ разныхъ портфелей. Объ иномъ важномъ литературномъ произведеніи или значительномъ происшествіи ни слова, а рядомъ о какой-нибудь вздорной книженкѣ цѣлая статья. Выборъ повѣстей и прочаго, до изящной литературы относящагося, вообще былъ неудаченъ. Наконецъ интересныя статьи, какъ-то: записки и пр. слишкомъ отрывочны, и очень интересные матеріалы для Исторіи Русской Литературы вы предлагали, такъ сказать, натурою, въ сыромъ видѣ, и потому только очень немногіе могли ихъ оцѣнить. Мнѣ кажется, что всякій матеріалъ въ журналѣ долженъ появляться не иначе, какъ съ комментаріемъ. Надобно растолковать, почему онъ важенъ, что въ немъ особенно важно, и по возможности связать его значеніе съ современнымъ вопросомъ, показать, какъ и во сколько онъ служитъ доказательствомъ въ пользу или противъ того или другого изъ настоящихъ мнѣній. Другой вопросъ: можетъ ли *Москвитянинъ* исправиться и сдѣлаться тѣмъ, чѣмъ долженъ быть органъ Московской мысли? Не думаю, ибо для успѣха недостаетъ двухъ условій: редактора и сотрудниковъ. Если сколько-нибудь есть правды въ упрекахъ, которые я сдѣлалъ *Москвитянину*, то вы сами должны согласиться, что для редактора журналъ долженъ быть главное; для васъ онъ былъ и будетъ очень и очень второстепеннымъ дѣломъ. Вы всетаки будете заниматься имъ между другимъ дѣломъ; а если для васъ журналъ, вами издаваемый, будетъ не существеннымъ занятіемъ, то для кого жъ онъ будетъ существенный? Сотрудниковъ у васъ тоже нѣтъ. С. П. Шевыревъ напишетъ

вамъ много три или четыре прекрасныя критики, но этого мало. Кому вы скажете: вотъ вышла книга, на которую надобно непремѣнно написать критику. Вообще можете ли вы распредѣлять работу, заказывать. Нѣтъ! Вы будете ждать: авось придетъ статья изъ Калуги, авось изъ Казани, и какъ-нибудь наполнится нумеръ. Что касается до меня лично, то я тоже ненадежный сотрудникъ. Я самъ работаю на заказъ и до такой степени заваленъ работою, что не только писать статей, даже прочесть книженки внѣ круга моихъ занятій не успѣваю. Я теперь оканчиваю Исторію Рижскихъ сословій или, лучше, окончилъ первую самую длинную и трудную половину. При этомъ ревизую цехи, при этомъ составляю сводъ правиламъ, при этомъ на дняхъ буду производителемъ дѣлъ въ комитетѣ для ревизіи городскихъ счетовъ. Довольно? Я, кажется, писалъ вамъ, что вижу возможность извлечь нѣкоторыя интересныя вещи для Русской Исторіи изъ здѣшнихъ источниковъ—и этого я не успѣю сдѣлать. Хорошо еще, если удастся сдѣлать выписки. Ко всему этому вы должны прибавить, что, живучи въ Ригѣ и занимаясь ревизіею, нѣтъ почти возможности отвлечься отъ впечатлѣнія окружающаго общества. Я могу сказать, что теперь все здѣсь дышетъ ненавистью къ намъ, ненавистью слабаго къ сильному, облагодѣтельствованнаго къ благодѣтелю и вмѣстѣ гордымъ презрѣніемъ выжившаго изъ ума учителя къ переросшему его ученику. Здѣсь все окружающее таково, что ежеминутно сознаешь себя какъ русскаго и какъ русскій оскорбляешься. Мое дѣло чисто литературное, но и тутъ ужаснаго усилія стоитъ сохранить въ себѣ ученое безпристрастіе и не допустить желчныхъ побужденій. Я думаю, что въ январѣ или февралѣ мы отсюда выѣдемъ; что со мною будетъ послѣ, не знаю. Вѣроятно, я поѣду за границу. Все это я говорю къ тому, что я теперь по обстоятельствамъ моимъ не могу быть постояннымъ сотрудникомъ, не могу ничего обѣщать; но въ доброй волѣ моей вы не должны сомнѣваться, если будете издавать журналъ. По моему мнѣнію, лучше бы отло-

жить изданіе до болѣе благопріятныхъ обстоятельствъ, но имѣть это дѣло постоянно въ виду и копить матеріалы“.

Не смотря на безотрадный взглядъ, изложенный въ этомъ письмѣ Ю. Ѳ. Самарина, Погодинъ все-таки вошелъ въ переговоры о *Москвитянинѣ* съ К. С. Аксаковымъ. 3 октября 1847 года онъ обѣдалъ у Аксаковыхъ, игралъ у нихъ въ карты и толковалъ съ Константиномъ Аксаковымъ о журналѣ. На другой же день послѣдній обѣщался быть у Погодина, но не былъ. „Вчера“, писалъ онъ, — „никакъ не могъ я быть у васъ; ибо утромъ были гости, а весь вечеръ ждалъ Панова, который пріѣхалъ поздно. Я было думалъ поговорить съ Пановымъ о журналѣ; кажется, дѣло идетъ у насъναладъ“, но „ладу“, какъ и слѣдовало ожидать, не было, о чемъ свидѣтельствуютъ слѣдующія записи *Дневника* Погодина:

Подъ *23 октября 1847 года*: „Аксаковъ о журналѣ, въ которомъ вызывается участвовать. Толки о сотрудникахъ, и мнѣ тяжело было говорить о Давыдовѣ, Дмитріевѣ, Глинкѣ. Слабость характера и даже думаю неблагородство“.

— *26* — —: „Обѣдать къ Аксаковымъ. Игралъ и имѣлъ глупость проиграть имъ сто рублей. Молодцы не позволяютъ поставить своего имени. Я сказалъ имъ, что радъ. Приведя въ ясность свои литературныя сношенія съ ними я щадить ихъ не буду“.

Вслѣдъ засимъ Погодинъ получаетъ отъ К. С. Аксакова слѣдующее письмо: „Мнѣ надобно ѣхать сегодня въ противоположную сторону; а до завтра откладывать не хочется. Скажите намъ вашъ рѣшительный отвѣтъ. Мы готовы купить журналъ за тысячу пятьсотъ рублей серебромъ; больше дать не можемъ, еслибы хотѣли; но еслибы журналъ пошелъ хорошо и было бы не менѣе восьми сотъ подписчиковъ, то мы могли бы дать вамъ еще столько же. — Я уже предчувствовалъ вашъ отказъ изъ нашихъ съ вами разговоровъ, и не удивился сему. Разумѣется, это меня огорчаетъ. Я было горячо схватился за мысль о журналѣ; теперь надобно ее оставить. Мысль о журналѣ была для меня такъ

привлекательна, потому что я надѣялся имѣть журналъ въ полномъ нашемъ распоряженіи. На журналъ я смотрю какъ на что-то цѣлое, органическое, которое, какъ Переяславское озеро, не принимаетъ въ себя ничего чуждаго. Журналъ, по моему мнѣнію, есть самъ одно произведеніе, а не вмѣстилище только статей, хотя и согласныхъ между собою, но слагающихся въ одинъ общій образъ. Создать журналъ по *нашей мысли* — вотъ чего мнѣ хотѣлось. Конечно, мнѣнія *Москвитянина* къ намъ близки, но въ немъ было помѣщено многое такое, чего бы мы никакъ не одобрили, и помѣщалось даже противорѣчащее основнымъ убѣжденіямъ. Припомните разборъ книгъ, издаваемыхъ для народа. Слѣдовательно, тутъ вопросъ не о самоотреченіи, а просто журналъ не будетъ тотъ. Но дальнѣйшіе разговоры я надѣюсь повести съ вами лично. Вотъ наконецъ программа. Если вы согласны съ нею безъ всякихъ перемѣнъ, то въ добрый часъ. Отъ программы этой ни въ чемъ отступиться не можемъ и не отступимся“ [266]).

Получивъ это письмо, Погодинъ отправился къ Аксакову, который потребовалъ „напечатать свою программу безъ перемѣнъ“ [267]).

Въ концѣ концовъ они ни въ чемъ не сговорились, и Аксаковъ рѣшительно заявилъ Погодину: „Мы... прекращаемъ всякіе толки о журналѣ“.

Участью *Москвитянина* продолжалъ интересоваться И. В. Кирѣевскій и изъ своего Долбина писалъ Погодину: „Твое извѣстіе о возстановленіи *Москвитянина* было бы мнѣ очень пріятно, еслибы только другая причина заставила тебя рѣшиться на это. Думаю, впрочемъ, что если ты настоящимъ образомъ примешься за изданіе журнала, то, безъ сомнѣнія, и скоро вознаградишь свою археологическую расточительность. Но, разумѣется, для этого надобно, чтобы ты отказался отъ двухъ вещей: отъ излишняго презрѣнія къ публикѣ и отъ излишняго уваженія къ ней. Не надобно, чтобы ты помѣщалъ въ журналѣ своемъ кой-какихъ статей, думая, что публика

не стоитъ лучшаго, и не надобно, чтобъ ты хорошее и дѣльное писалъ кое-какъ, думая, что публика такъ умна, что сквозь небрежную отдѣлку оцѣнитъ драгоцѣнный камень. — Очень бы желалъ знать подробнѣе твои планы.—Если Шевыревъ берется доставлять по два листа критики въ каждую книжку, то успѣхъ журнала почти несомнѣнный. Однако надобно, чтобы и остальная книжка соотвѣтствовала Шевыревскимъ статьямъ. Я говорю не объ ученой части, которою, вѣроятно, ты будешь завѣдывать самъ, но о литературной, которою завѣдывать ты мало способенъ. Есть ли у тебя человѣкъ на это? Нельзя ли тебѣ соединиться съ Чижовымъ?— Если его журналъ теперь еще не можетъ состояться, то вѣроятно, онъ не откажется участвовать въ твоемъ, потому что онъ, кажется, всегда желалъ этого рода дѣятельности.—Онъ могъ бы быть тебѣ очень полезенъ, а ты ему. Онъ уменъ, дѣятеленъ, имѣетъ много связей, именно тѣ, которыя или оборвались, или ослабли и у тебя, такъ что съ его участіемъ къ *Москвитянину* присоединились бы всѣ оттѣнки одного мнѣнія. А это вещь важная и дастъ много силы, между тѣмъ какъ внутреннія разногласія ослабляютъ больше, чѣмъ нападенія противниковъ. Чижовъ имѣетъ нѣкоторыя излишнія пристрастія; но они прямо противоположны твоимъ, и потому вмѣстѣ могли бы уравновѣситься въ полезную середину.—Что касается до меня, то я очень бы желалъ что-нибудь тебѣ послать, но до сихъ поръ еще не принимался писать и не знаю въ состояніи ли буду что-нибудь сдѣлать. Я теперь совсѣмъ отсталъ отъ текущей словесности. Всего нужнѣе былъ бы тебѣ Хомяковъ, особливо теперь, когда онъ только-что освѣжился своимъ путешествіемъ. Очень бы желалъ имѣть какое-нибудь извѣстіе объ немъ и очень бы благодаренъ былъ тебѣ, еслибы ты сообщилъ мнѣ, что о немъ узнаешь.—Послѣ путешествія его Семирамида, вѣроятно, потолстѣла; можетъ быть, старушка беременна какимъ-нибудь многоголовымъ дѣтищемъ: тебѣ бы слѣдовало его выхлопотать въ свой *Москвитянинъ*".

XXXIX.

Не сойдясь съ Словенофилами, Погодинъ тѣмъ не менѣе рѣшился не *прерывать преданія добраго* и въ союзѣ съ Шевыревымъ положилъ продолжать *Москвитянинъ* и въ многомятежный 1848 годъ.

„Радуюсь“, писалъ ему Максимовичъ,—„что *Москвитянинъ* опять, какъ говоришь ты, *возстановляется*. Что жъ это значитъ? То ли, что опять въ двѣнадцати книжкахъ будетъ? И то хорошо: надо только хоть не толстыхъ, да непремѣнно двѣнадцать, и непремѣнно въ срокъ: одинъ разъ опоздалъ — и все вверхъ дномъ, и ни во что прежнее. Ты много зла причинилъ въ два послѣдніе года *Москвитянину*, который такъ необходимъ и важенъ въ настоящее время. Ты сдѣлалъ то, что его здѣсь почти не знаютъ, что онъ сталъ почти косноязычень для нашей публики. И я очень на тебя золъ за это. Хочешь издавать, значитъ—хочешь дѣйствовать на публику; а не хочешь приняться порядкомъ—скупишься и умственно, и карманно... Если издавать, то надо всемѣрно дѣйствовать на расширеніе своего *добраго* начала на Руси и на попраніе *злаго* начала, которое такъ жирно течетъ изъ Питера по всей Русской землѣ; оно упитываетъ публику Всероссійскую словно свинью на убой; а Погодинъ изволитъ манить къ себѣ то корочками, то крошками, то щепотками, словно цыплятъ... Нѣтъ, братъ, стараго воробья на мякинѣ не поймаешь... Хочешь работать *Москвитяниномъ*, такъ брось другое, да собери дружину могучую; вотъ тогда *возстановится* ужъ подлинно *Москвитянинъ*... станетъ тошно чертямъ! А не то, они рѣшительно восторжествуютъ, и ты будешь безуспѣшенъ.. Напиши поименно, въ комъ ты нашелъ себѣ подмогу“.

Въ это же время князь П. А. Вяземскій писалъ Погодину: „Сердечно радуюсь возрожденію *Москвитянина* въ первобытномъ видѣ. Желаю ему здравія и долгоденствія. Этотъ журналъ полезенъ и нуженъ въ наше время. Должно противодѣйствовать пагубному направленію нынѣшней журнали-

стики. Но для того нужно бодрствовать. Точность, то-есть, точное соблюденіе срочности, не только вѣжливость царей, какъ говорилъ Французскій король, но вѣжливость и обязанность журналистовъ. Безсрочные журналы никуда не годятся и противорѣчатъ значенію и цѣли своей. Если трудно вамъ управиться съ книжкою въ мѣсяцъ, то дайте себѣ шесть недѣль. Выдавайте по двѣ книжки въ три мѣсяца. Но платите публикѣ въ срокъ. Здѣшніе журналы не держатся вполнѣ правила Молчалина. Въ нихъ нѣтъ *умѣренности*, но есть примѣрная *акуратность*, и этимъ они много берутъ. Русскіе читатели, какъ наши дѣды, знаютъ и любятъ свой *адмиральскій часъ*. Этимъ нужно было непремѣнно въ 12 часовъ выпить чарку водки, а читателямъ въ извѣстный день получить свой журналъ. Ваша водка Московская и сладка, и крѣпительна, и спасительна для души и тѣла, но подаете ее безпорядочно и несвоевременно. Иной успѣетъ уже два раза напиться пьянъ брагою *Отечественныхъ Записокъ* въ ожиданіи вашей православной настойки. Радъ былъ бы на первый случай услужить вамъ статьею въ прозѣ, но подъ рукою ничего нѣтъ теперь готоваго. Надѣюсь однакоже что-нибудь изготовить, а пока примите мое посильное приношеніе. Если имя мое можетъ вамъ пригодиться, то прошу выставить его въ числѣ сотрудниковъ. Это будетъ для меня и пріятно, и лестно. Напишу къ Жуковскому о желаніи вашемъ имѣть отрывокъ изъ его *Одиссеи*. Она печатается имъ въ Карлсруэ—вмѣстѣ съ полнымъ собраніемъ его сочиненій" [268]).

Письмо это произвело на Погодина весьма пріятное впечатлѣніе [269]).

Съ своей стороны и Жуковской писалъ Хомякову: „Вяземскій пишетъ ко мнѣ, что въ конституціи *Москвитянина* произошло измѣненіе, что онъ теперь управляется дуумвирами, и что Шевыревъ подалъ могучую свою руку Погодину. Я этому радуюсь: *Москвитянинъ* всегда былъ честнымъ журналомъ. Теперь онъ будетъ и блистателенъ, и привлекательнѣе прежняго" [270]).

Замѣчательно, что Погодинъ обратился съ просьбою о сотрудничествѣ въ *Москвитянинѣ* къ самому П. Я. Чаадаеву. Эта просьба удивила и тронула почтеннаго старца. „Благодарю васъ", писалъ онъ,—„за лестное приглашеніе участвовать въ *Москвитянинѣ*. Не почитаю себя въ правѣ отказаться, но долженъ вамъ напомнить, что имя мое, хотя и мало извѣстное въ литературномъ мірѣ, считалось по сіе время принадлежащимъ мнѣніямъ, не совершенно согласнымъ съ мнѣніями *Москвитянина*. Если принятіемъ меня въ ваши сотрудники вы желаете обнаружить стремленіе менѣе исключительное, то мнѣ пріятно будетъ по силамъ сопутствовать вашему журналу. Я полагаю, что, приглашая меня, вы имѣли это въ виду. Примиренія съ противоположными мнѣніями, въ наше спѣсивое время, ожидать нельзя, но менѣе исключительности вообще и болѣе простора въ мысляхъ, я думаю, можно желать—умѣренность, терпимость и любовь ко всему доброму, умному, хорошему, въ какомъ бы цвѣтѣ оно ни явилось, вотъ мое исповѣданіе. Оно, вѣроятно, будетъ и исповѣданіемъ возобновленнаго *Москвитянина*". На просьбу Погодина написать воспоминанія о Пушкинѣ Чаадаевъ отвѣчалъ: „Что касается до воспоминаній о Пушкинѣ, то не знаю, успѣю ли съ ними сладить во-время. Очень знаешь, чтó объ немъ сказать, но какъ быть съ тѣмъ, чего нельзя сказать? Здоровье мое плохо, но за доброю волею дѣло не станетъ" [271]).

Здѣсь кстати будетъ привести слѣдующія строки Мельгунова по поводу участія Шевырева въ возобновленномъ *Москвитянинѣ*: „Судя по именамъ его редакторовъ, я боюсь, что онъ будетъ лишь случайнымъ compromis между обѣими партіями. Аксаковъ, Константинъ, мнѣ сказывалъ, будто ты объявилъ ему, что намѣренъ публично отречься отъ его направленія; а между тѣмъ опять соединяешься съ Шевыревымъ, который—чтò ни говори, — а по своимъ убѣжденіямъ стоитъ гораздо ближе къ нему, чѣмъ къ тебѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ ты требуешь и моего содѣйствія, пригласилъ къ себѣ

Лясковскаго и другихъ ученыхъ, *въ сущности* принадлежащихъ направленію западной науки. Какъ согласить все это? Одна половина журнала будетъ въ явномъ противорѣчіи съ другою: въ одной все будетъ истекать изъ идеи паденія, въ другой—изъ идеи законнаго и нормальнаго развитія жизни. А на этой-то послѣдней идеѣ и зиждется вся западная наука, со включеніемъ Исторіи народовъ и человѣчества".

„Люблю Дмитріева", писалъ Шевыревъ къ Погодину,— „всегда тотъ же". Дѣйствительно, М. А. Дмитріевъ отличался необыкновеннымъ постоянствомъ въ своихъ привязанностяхъ. Это качество примѣчается въ его отношеніяхъ къ Погодину. Сочувствія его какъ къ дѣятельности, такъ и къ личности нашего героя были неизмѣнны. „Итакъ", писалъ онъ къ нему изъ своего Богородскаго, 20 ноября 1847 года,— „*Москвитянинъ* возобновляется? Очень радъ! Вы знаете, что я всегда смотрѣлъ на вашъ журналъ, какъ на послѣднее убѣжище доброй мысли и благонамѣреннаго слова, какъ на единственное средство къ противуборству антирелигіознымъ идеямъ и литературной анархіи петербургскихъ журналовъ. Одно это уже дѣлаетъ его необходимымъ, хотя слабыя средства, должно признаться, доселѣ дѣйствовали слабо, а Московская цензура, убивающая всякую мысль и истину, не давала пользоваться и тѣми!—Но теперь, судя по именамъ людей, раздѣлившихъ между собою постоянный трудъ каждый по своей части, должно надѣяться, что *Москвитянинъ* возстанетъ съ новыми и свѣжими силами. Вамъ остается отстранить послѣднее препятствіе: произволъ цензуры! Если вы и съ этимъ сладите, то достоинство журнала будетъ зависѣть совершенно отъ васъ. Въ этомъ случаѣ, мнѣ кажется, надобно съ самаго начала на что-нибудь рѣшиться и заранѣе попытаться, чтобъ начальство положило предѣлы самовластія цензоровъ, и указать на Петербургскихъ. Это будетъ и легче, и благовиднѣе, нежели жаловаться послѣ. Тутъ вы не будете жаловаться ни на того, ни на другого; но предварительно будете просить обороны и устройства. Я всѣмъ говорилъ, и теперь той мысли, что эти двѣ

цензуры Московская и Петербургская действуютъ столь различно, что какъ будто у нихъ разные законы и какъ будто онѣ принадлежатъ къ разнымъ государствамъ: только одного этого и ненадобно; требованіе самое законное. Еще одно замѣчаніе: труды разобраны—каждое отдѣленіе имѣетъ сотрудника; еслибы къ этому вы присовокупили еще одного дѣйствователя, самаго необходимаго, который бы завѣдывалъ общимъ составомъ, то-есть, распредѣленіемъ статей, сообразно принятому плану, такъ, чтобы вамъ оставалось только главное наблюденіе надъ составленіемъ каждой книжки. Строгая точность въ распредѣленіи статей — необходима. Не годится ли на это Бергъ? — Онъ уменъ, добрый малый, силы молодыя, любитъ васъ и литературу. Какъ вы думаете?“.

Къ участію въ *Москвитянинѣ* Погодинъ, кажется, стремился привлечь и барона Модеста Андреевича Корфа, который, по крайней мѣрѣ, писалъ Погодину слѣдующее: „Душевно радъ намѣренію вашему возобновить *Москвитянина*: это былъ у насъ единственный журналъ истинно-серьезный, Русскій и съ обильными матеріалами для Русской жизни, настоящей и минувшей. Вредила ему только неточность появленія, и искренно желаю, чтобъ вамъ, при возрожденіи его, удалось отстранить этотъ недостатокъ, виною въ которомъ, можетъ быть, и матеріальныя Московскія средства“.

И. И. Давыдовъ также весьма сочувственно отнесся къ возобновленію Погодинскаго журнала. „*Москвитянина* привѣтствую“, писалъ онъ,—„дай Богъ ему силы и свѣжести юношеской. Публика недовольна перепечатаніемъ грамотъ, спорами и междоусобіями, разглагольствіемъ о Суворовѣ: давайте чаще Святославовъ, свѣдѣній о Москвѣ, о Россіи — свѣдѣній всякаго рода: историческихъ, статистическихъ, этнографическихъ и т. п. Напишите сами повѣсть въ родѣ тѣхъ, какъ прежде писали: это лучшія изъ вашихъ произведеній. Короче, и въ этомъ надобно представить въ образецъ Карамзина. Журналы его были не толстые, но изящные, потому что у него въ каждой книжкѣ свѣтился *талантъ*. Нынѣшніе

же журналы—чучела, набитыя сѣнною трухой; отъ того они толстые". Но вмѣстѣ съ тѣмъ И. И. Давыдовъ писалъ и слѣдующее: „Продолжать *Москвитянина* по прежнему должно; но нельзя ли вамъ сдать его кому-либо? Вы опять собьетесь съ тона историческаго на журнальный".

Для большаго успѣха *Москвитянина* Погодинъ домогался привлечь къ нему В. И. Даля; но послѣднiй не находилъ для себя возможнымъ безкорыстно въ немъ участвовать. „Нисколько, любезнѣйшiй и многоуважаемый Михаилъ Петровичъ", писалъ онъ,—„нисколько не дуюсь я, и никакого недоразумѣнiя съ моей стороны нѣтъ,—а выразился я, въ торопяхъ, можетъ быть, крутенько и пряменько, и это, можетъ быть, васъ поставило въ недоразумѣнiе. Но я отвѣчалъ рѣзко на ваши слова: *Москвитянинъ возобновляется на основанiи требованiй нынѣшняго вѣка, то-есть, съ платою* и пр. Вы этимъ порицали заведенiе нынѣшняго вѣка, а слѣдовательно и людей, которые его держатся; вотъ почему я и сказалъ, что вы-де чай издаете журналъ не въ убытокъ, и каждый изъ насъ старается, если можно, печатать свои сочиненiя также съ выгодою. Прибавлю къ этому, не пересчитывая статей, что я съ давняго времени не совсѣмъ мало переслалъ въ Москву, въ журналы и сборники, безплатно, собственно потому, что мнѣ бы захотѣлось участвовать въ тамошнихъ изданiяхъ, тогда какъ я чуть ни одной строки не печатаю иначе, какъ за наличный почетъ,—и не вижу никакой причины, почему бы этого не дѣлать. У меня за столъ садится одиннадцать душъ, а на долго ли силъ моихъ хватитъ—не знаю. Поэтому я съ удовольствiемъ готовъ идти къ вамъ въ сотрудники, на предложенныхъ вами основанiяхъ, то-есть, считая листъ *Отечественныхъ Записокъ* въ шестьдесятъ шесть р. с. Но все-таки теперь ничего не могу дать, потому что ничего нѣтъ. Деньги отъ Юнгмейстера я получилъ; а не присылалъ ничего послѣ того не столько потому, что плата нѣсколько низка, сколько отъ незнанiя, нужно ли вамъ участiе мое и выгодно ли, то-есть, не обременитъ ли оно васъ, между тѣмъ какъ здѣсь

безотступно требуютъ оригинальца и вырываютъ изъ-подъ пера. Согласитесь же сами, какъ же мнѣ тутъ отказать и послать туда, гдѣ, за давностію времени, разсчеты и отношенія издателя могли измѣниться и ему подобная навязчивость могла бы быть въ тягость? Краевскому я отдалъ одну повѣсть и до сорока повѣстушекъ; Панаеву—разсказы Лезгина (которые прошу прочитать, это истое отъ слова въ слово) и три повѣстушки, да еще обязанъ дать нѣсколько за то, что онъ будетъ печатать также мое собраніе пословицъ; что затѣмъ напишется, то ваше; а если понадобится,—смотря по будущимъ обстоятельствамъ, —еще, то увѣдомьте тогда, при разсчетѣ; въ противномъ случаѣ можетъ случиться, что опять передамъ кому иному. Вотъ вамъ открытое, прямое изъясненіе съ рукопожатіемъ".

Въ томъ же письмѣ Даль совѣтовалъ: „Я думаю, если хотите разсчитывать на большое число покупателей, то надо бы сдѣлать изданіе ваше немного *поживѣе* и не ограничиваться статьями любопытными почти только для ученаго. Какъ вы, при вашихъ способахъ, не опредѣлите, напримѣръ, цѣлаго отдѣленія на *народоописаніе* Русское, не войдете въ письменныя сношенія со всѣми губерніями о разработкѣ этого предмета самымъ обширнымъ образомъ? Этнографія останется навсегда дорогимъ памятникомъ, тогда какъ географія и статистика теряютъ цѣну черезъ нѣсколько лѣтъ, по случаю безпрестанныхъ перемѣнъ". Въ другомъ письмѣ Даль еще рѣзче выражаетъ свой взглядъ на гонораръ: „Не пеняйте", писалъ онъ,— „за малое содѣйствіе въ вашемъ изданіи: здѣсь коли что напишется, то его въ ту минуту и нѣтъ, даже все, что въ головѣ дѣлается, поневолѣ раздается впередъ. Нѣтъ никакихъ способовъ прислать вамъ что-нибудь къ январю; это у насъ пора тяжелая, и люди, которымъ *товаръ* нуженъ, давно уже обиваютъ пороги; многимъ отказываешь. Я могъ припасти только кой-что для *Отечественныхъ Записокъ* и *Современника*. Не пеняйте также, что мы цѣнимъ трудъ свой на рубли, когда за него всегда платятъ наличными рублями; повѣсть

та же ассигнація, и лучше я отдамъ половину цѣны съ наличными деньгами, чѣмъ подарить цѣлую. Вы бы сами назвали меня дуракомъ, еслибъ я, отецъ большого семейства — у меня теперь за столъ садится одиннадцать душъ,—отдавалъ бы работу свою даромъ, когда за нее даютъ порядочныя деньги. Если буду въ состояніи что-нибудь написать въ будущемъ году, то пришлю; разсчетъ короткій: за листъ *Библіотеки* пятьдесятъ шесть р. с., *Отечественныхъ Записокъ* шестьдесятъ шесть, разочтите, что за *Москвитянина!*"

Профессоръ И. Я. Горловъ былъ также привлеченъ Погодинымъ къ участію въ *Москвитянинѣ*. „Нѣтъ сомнѣнія", писалъ Горловъ,—„что ваше предпріятіе, если оно будетъ утверждено на основаніи взаимныхъ выгодъ, пойдетъ отлично и доставитъ вамъ самимъ значительный доходъ, какъ справедливое вознагражденіе трудовъ. Примѣръ Петербургскихъ журналовъ доказываетъ это неоспоримо. Вамъ впрочемъ, какъ отличному практику, богатому опытами, это должно быть извѣстно лучше, чѣмъ кому-нибудь. Итакъ я очень радъ предложить вамъ свое содѣйствіе. Я имѣю уже кое-что готовое; но вы знаете, что я трудовъ не избѣгаю и готовъ бы былъ тотчасъ же работать, еслибъ только было нужно. Что касается до моихъ занятій, то скажу вамъ, что я составилъ *Обзоръ Экономической Статистики Россіи*, который уже одобренъ С.-Петебургской Цензурой, и о напечатаніи котораго идутъ теперь переговоры. Вы спрашиваете, кому бы поручить сообщеніе короткихъ новостей, не редактору ли *Казанскихъ Губернскихъ Вѣдомостей?* то-есть, Артемьеву? Это очень хорошо. Онъ хотя и не имѣетъ бойкаго пера, но человѣкъ для такого назначенія очень полезный. Только можно ли вамъ положиться на правильность корреспонденцій его и многихъ другихъ лицъ изъ Кіева, Харькова, Одессы, Астрахани, Закавказья и пр? Сомнительно, если вы не будете ихъ вознаграждать. А вознагражденіе стольких корреспондентовъ вамъ не возможно. Слѣдовательно, не лучше ли бы вамъ имѣть одного редактора для Внутреннихъ извѣстій, который бы дѣлалъ извле-

безотступно требуютъ оригинальца и вырываютъ изъ-подъ пера. Согласитесь же сами, какъ же мнѣ тутъ отказать и послать туда, гдѣ, за давностію времени, разсчеты и отношенія издателя могли измѣниться и ему подобная навязчивость могла бы быть въ тягость? Краевскому я отдалъ одну повѣсть и до сорока повѣстушекъ; Панаеву—разсказы Лезгина (которые прошу прочитать, это истое отъ слòва въ слòво) и три повѣстушки, да еще обязанъ дать нѣсколько за то, что онъ будетъ печатать также мое собраніе пословицъ; что затѣмъ напишется, то ваше; а если понадобится,—смотря по будущимъ обстоятельствамъ, —еще, то увѣдомьте тогда, при разсчетѣ; въ противномъ случаѣ можетъ случиться, что опять передамъ кому иному. Вотъ вамъ открытое, прямое изъясненіе съ рукопожатіемъ".

Въ томъ же письмѣ Даль совѣтовалъ: „Я думаю, если хотите разсчитывать на большое число покупателей, то надо бы сдѣлать изданіе ваше немного *поживѣе* и не ограничиваться статьями любопытными почти только для ученаго. Какъ вы, при вашихъ способахъ, не опредѣлите, напримѣръ, цѣлаго отдѣленія на *народоописаніе* Русское, не войдете въ письменныя сношенія со всѣми губерніями о разработкѣ этого предмета самымъ обширнымъ образомъ? Этнографія останется навсегда дорогимъ памятникомъ, тогда какъ географія и статистика теряютъ цѣну черезъ нѣсколько лѣтъ, по случаю безпрестанныхъ перемѣнъ". Въ другомъ письмѣ Даль еще рѣзче выражаетъ свой взглядъ на гонораръ: „Не пеняйте", писалъ онъ,— „за малое содѣйствіе въ вашемъ изданіи: здѣсь коли что напишется, то его въ ту минуту и нѣтъ, даже все, что въ головѣ дѣлается, поневолѣ раздается впередъ. Нѣтъ никакихъ способовъ прислать вамъ что-нибудь къ январю; это у насъ пора тяжелая, и люди, которымъ *товаръ* нуженъ, давно уже обиваютъ пороги; многимъ отказываешь. Я могъ припасти только кой-что для *Отечественныхъ Записокъ* и *Современника*. Не пеняйте также, что мы цѣнимъ трудъ свой на рубли, когда за него всегда платятъ наличными рублями; повѣсть

метомъ — сообщать свѣдѣнія объ Отечествѣ, Россіи, столь мало намъ еще извѣстной, не опуская изъ виду важнѣйшихъ Европейскихъ явленій, особенно тѣхъ, кои могутъ имѣть на насъ вліяніе.

Издатель, преданный занятіямъ совсѣмъ другого рода, оставляющимъ ему весьма мало досуга, не могъ согласиться на исполненіе ихъ желанія иначе, какъ съ условіемъ, чтобы бóльшая часть бремени изданія была съ него снята. Съ сею цѣлію приглашено нѣсколько лицъ, взявшихъ въ свое вѣдѣніе разныя отдѣленія, и комитетъ редакціи образовался такъ:

Академикъ *М. П. Погодинъ* — по части Исторіи.

Профессоръ *С. П. Шевыревъ* — Литературы Русской и Иностранной.

Петровъ — Литературы Духовной.

Профессоръ *И. Я. Горловъ* — Политической Экономіи и соприкосновенныхъ съ нею наукъ.

Профессоръ *П. Л. Страховъ* — Экономическихъ и Коммерческихъ свѣдѣній.

И. М. Снегиревъ — Достопримѣчательностей Москвы.

И. Д. Бѣляевъ — Историческихъ матеріаловъ.

И. Т. Кокоревъ — Внутреннихъ извѣстій.

А. А. Григорьевъ — Европейскаго обозрѣнія.

И. В. Левитскій и *П. П. Пятериковъ* — Смѣси.

Публика видѣла въ *Москвитянинѣ* въ продолженіе семи лѣтъ изданія слѣдующія имена литераторовъ:

Н. В. Берга, П. М. Бакуниной, О. М. Бодянскаго, А. Ѳ. Вельтмана, А. И. Вороновой, князя П. А. Вяземскаго, Р. Ѳ. Германа, А. П. Глинки, Ѳ. Н. Глинки, В. И. Григоровича, Н. В. Гоголя, А. В. Горскаго, И. И. Давыдова, М. А. Дмитріева, Я. Г. Десанлена, В. И. Даля, Н. И. Желѣзнова, В. А. Жуковскаго, М. Н. Загоскина, А. И. Зражевской, Н. В. Калачева, К. А. Коссовича, И. В. Кирѣевскаго, М. Н. Лихонина, М. А. Максимовича, Н. А. Мельгунова, князя М. А. Оболенскаго, Ѳ. Б. Миллера, Н. Ф. Павлова, К. К. Павловой, Д. М. Перевощикова, Н. Д. Иванчина-Писарева, А. А. Ригельмана, С. Е. Раича,

ченіе изъ *Губернскихъ Вѣдомостей?* Это было бы очень любопытное и совершенно *новое* отдѣленіе вашего журнала, потому что доселѣ мы читаемъ только въ Журналѣ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ объ уродахъ и необыкновенныхъ рожденіяхъ въ губерніяхъ. Вознагражденіе такому редактору, который бы *правильно и постоянно* наполнялъ вашъ журналъ внутренними извѣстіями, для васъ не будетъ обременительно: этотъ редакторъ можетъ быть молодой, небогатый человѣкъ, которыми изобилуетъ Москва. Я полагаю, что такія мѣсячныя обозрѣнія, хроника внутреннихъ событій, придастъ *Москвитянину* много разнообразія и свѣжести".

Но Н. Д. Иванчинъ-Писаревъ въ возобновленномъ *Москвитянинѣ* желалъ видѣть болѣе старины, чѣмъ новизны. „Вы", писалъ онъ Погодину, — „такъ богаты матеріалами, которые даютъ намъ отдыхать отъ *современнаго*, отъ котораго уши вянутъ!" Того же желалъ *Москвитянину* и молодой графъ А. С. Уваровъ. На приглашеніе Погодина участвовать въ *Москвитянинѣ* онъ между прочимъ писалъ: „Благодарю васъ за лестное предложеніе быть сотрудникомъ *Москвитянина*, но боюсь, чтобъ вы сами объ этомъ скоро не пожалѣли и не исключили бы недостойнаго *магната*.... Я очень радъ, что вы опять принялись за *Москвитянина;* оставьте вы повѣсти и романы, въ особенности же переводы, а дайте вы ему еще большее Словенское направленіе" [272]).

XL.

Заручившись сочувствіемъ лицъ извѣстныхъ и уважаемыхъ, Погодинъ рѣшился сдѣлать объявленіе:

Возобновленный Москвитянинъ, учено-литературный журналъ на 1848 годъ, по прежнему плану и въ прежнемъ объемѣ, 12 книгъ, выходящихъ помѣсячно.

Многіе Московскіе и другіе Литераторы желали непремѣнно, чтобы былъ возобновленъ въ прежнемъ объемѣ этотъ журналъ, единственный въ Москвѣ, имѣющій главнымъ пред-

Объ отдѣленіи *Естественныхъ Наукъ* докторъ Лясковскій сообщилъ редакціи слѣдующій планъ:

Предметомъ статей этого отдѣла будутъ преимущественно вопросы всеобщаго интереса, къ рѣшенію которыхъ будутъ содѣйствовать безразлично всѣ отрасли Естествовѣдѣнія, какъ чистаго, такъ и прикладнаго. Систематическая исключительность принадлежитъ учебникамъ; въ журналѣ, который назначается для читателей разнообразныхъ, каждая оригинальная статья по части Естественныхъ наукъ должна по возможности представлять независимое цѣлое: она должна содержать необходимыя вводныя понятія и данныя поясняющія,—все равно, будутъ ли эти данныя причисляемы школами къ Физикѣ, Сельскому Хозяйству, Зоологіи, Медицинѣ или Технологіи. Главное дѣло въ томъ, чтобы пріобрѣтеніе науки сдѣлать возможно-понятнымъ и приложимымъ къ жизни. Кромѣ статей этого рода, нашъ отдѣлъ будетъ содержать извѣстія о новыхъ открытіяхъ, о новыхъ сочиненіяхъ, критику послѣднихъ, и вообще всякаго рода свѣдѣнія, имѣющія отношенія къ исторіи познанія внѣшняго міра и къ улучшенію нашей матеріальной жизни.

Профессоръ Казанскаго Университета *Горловъ*, только что возвратившійся изъ своего путешествія по Европѣ, сообщитъ публикѣ свои наблюденія и замѣчанія по части получающей нынѣ безпрестанно бо̀льшую и бо̀льшую важность— *Политической Экономіи*.

Въ отдѣленіи *Сельскаго Хозяйства* обѣщались участвовать почти всѣ Русскіе профессоры по этой части и нѣкоторые просвѣщенные помѣщики.

Обязанность Редактора *Европейскаго Обозрѣнія* состоитъ въ сообщеніи извѣстій о важнѣйшихъ современныхъ явленіяхъ по части гражданственности, промышленности, учености, искусства (музыки, живописи, ваянія, о театрѣ) и проч.

Къ *Смѣси* принадлежатъ иностранныя *повѣсти* и *романы*, съ соблюденіемъ строгаго выбора, разсказы, анекдоты, вы-

писки и замѣчанія, краткія извѣстія. Во *Внутреннихъ извѣстіяхъ* — новости изъ городовъ и областей Русскаго Государства. Новости *Московскія*.

Духъ и направленіе *Москвитянина* неизмѣнны. Своенародность — вотъ его характеръ. Познай самого себя — его цѣль. Почтеніе къ Исторіи, къ преданію, вмѣстѣ съ желаніемъ успѣха поступательному движенію впередъ,—его правила. Петербургскіе журналы смотрятъ больше на Европу, *Москвитянинъ* на Россію, сочувствуя впрочемъ Европѣ. Такъ шелъ онъ семь лѣтъ, такъ пойдетъ онъ и въ слѣдующемъ, только съ бóльшею твердостію и точностію, воспользуясь новыми благопріятными для него обстоятельствами.

Напечатавъ это объявленіе, Погодинъ писалъ Шевыреву: „Книгопродавцы похваляютъ объявленіе и говорятъ, что журналъ такъ пойдетъ, если будетъ исправенъ. Въ конторѣ явился уже подписчикъ".

По поводу этого объявленія у Погодина завязалась оригинальная полемика съ однимъ Симбирскимъ помѣщикомъ, близко знакомымъ Аксаковымъ, А. Н. Анненковымъ. Увидавъ свое имя въ объявленіи, Анненковъ напечаталъ въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* слѣдующее письмо: „Съ удивленіемъ прочелъ я объявленіе профессора Погодина о возобновленномъ *Москвитянинѣ*. Отъ души желаю профессору Погодину всевозможнаго успѣха, съ благодарностью вижу, что въ числѣ литераторовъ онъ помѣстилъ мое имя на ряду съ именами Вельтмана, Даля, Загоскина, Кирѣевскаго, Мельгунова, Павловой, Хомякова,—тѣмъ искреннѣе благодарю Погодина, что хотя въ *Москвитянинѣ* 1843 года и были помѣщены мои статьи подъ заглавіемъ *Путевыя впечатлѣнія*, но безъ моей подписи, такъ что Русской читающей публикѣ я сдѣлался извѣстенъ только по короткой статьѣ о хлѣбной торговлѣ, помѣщенной въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ*, и эту статью я рѣшился подписать не какъ литераторъ, но какъ Русскій помѣщикъ... Но благодаря Погодина отъ себя лично за сдѣланную имъ мнѣ честь, я почелъ долгомъ предувѣдомить читающую публику, что онъ обѣщаетъ

ей мои труды, не испросивъ на то предварительно моего согласія, и что подобнымъ поступкомъ онъ воспрещаетъ мнѣ всякое участіе въ издаваемомъ имъ журналѣ, доколѣ онъ будетъ редакторомъ его; не могу также не посѣтовать на него, что подобнымъ обнародованіемъ онъ вынуждаетъ меня печатать впредь мои труды не иначе, какъ подписывая мое имя" [273]).

Прочитавъ эту статью, Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Прочелъ скверное письмо Анненкова въ газетахъ и приписалъ участію дѣйствительному или страдательному Аксаковыхъ. Поѣхалъ съ упреками. Говорятъ, что это считали дѣломъ смѣшнымъ. Не совсѣмъ искренно и благородно! Между тѣмъ пріѣхалъ Анненковъ и, перемолвивши, сѣли играть въ карты. Послѣ обѣда Аксаковъ разсказывалъ о своемъ семейномъ горѣ. Утѣшалъ ихъ, а къ Шевыреву, куда сбирался, ѣхать не хотѣлось, чтобъ не разругаться" [274]).

Не смотря на это, Погодинъ рѣшился печатно отвѣтить Анненкову и до печати отправилъ свой отвѣтъ для прочтенія Шевыреву, которому вмѣстѣ съ тѣмъ писалъ: „Посылаю тебѣ письмо мое, посмѣйся! Мнѣ было очень досадно вчера при мысли, что Аксаковы въ немъ участвовали, потому Анненковъ живетъ почти у нихъ. Я поѣхалъ къ нимъ съ упреками. Они объяснили, что считали это дѣло слишкомъ смѣшнымъ—и потому не противорѣчили. Я думаю однакоже, что участіе по крайней мѣрѣ отрицательное было. Впрочемъ они теперь въ великомъ горѣ (секретъ до свиданія), и я, разумѣется, позабылъ у нихъ о своей ничтожной досадѣ. Хотѣлъ ѣхать къ тебѣ и побоялся. Заругаетъ онъ меня, подумалъ я, и воротился съ дороги. А нынѣ получилъ отъ тебя всемилостивый манифестъ и благодарю. Замѣть что хочешь, и потомъ пошли съ моимъ кучеромъ къ Павлову прочесть".

Подъ *всемилостивымъ манифестомъ* Погодинъ разумѣлъ слѣдующее письмо къ нему Шевырева (1 ноября 1847): „Надѣюсь, во вторникъ ты будешь отвѣчать Анненкову на его нелѣпое письмо. Надобно отвѣчать по моему въ такомъ смыслѣ: Съ чего онъ взялъ, что онъ одинъ Анненковъ во всей Рос-

графини Е. П. Ростопчиной, *И. П. Сахарова*, *И. И. Срезневскаго*, *А. Е. Студитскаго*, *А. С. Стурдзы*, *Н. В. Сушкова*, *В. М. Ундольскаго*, *А. С. Хомякова*, *П. М. Языкова* и проч. и проч.

Издатель надѣется, что они не оставятъ его Журнала и впредь своимъ участіемъ, а равно, что онъ будетъ имѣть труды и новыхъ сотрудниковъ, которыхъ имена увидитъ публика съ первой книги.

Высокопреосвященные митрополитъ Филаретъ и архіепископъ Иннокентій позволяли всегда издателю украшать журналъ новыми произведеніями ихъ пера. Онъ смѣетъ надѣяться на ихъ пастырскую благосклонность и въ слѣдующемъ году, а равно и на полученіе трудовъ преосвященнаго Филарета Рижскаго и о. архимандрита Макарія.

Главныя отдѣленія возобновленнаго *Москвитянина*: Литература, Исторія, Европейское обозрѣніе и Смѣсь.

Въ первомъ профессоръ Шевыревъ будетъ предлагать по прежнему критическіе разборы всѣхъ замѣчательныхъ произведеній Отечественной и Иностранной Словесности, имѣя въ виду эстетическое достоинство ихъ и общественное значеніе. Всѣ статьи его будутъ означаться его именемъ.

Что касается до *Исторіи*, о коей появляются безпрестанно сочиненія оригинальныя, то издатель постарается сообщать читателямъ подробныя объ нихъ свѣдѣнія и вмѣстѣ вѣрную по возможности оцѣнку.

Объ *Историческихъ матеріалахъ* самые противники *Москвитянина* отдавали ему справедливость, и богатѣйшая въ Россіи библіотека издателя дастъ ему средства и въ нынѣшнемъ году знакомить публику болѣе и болѣе съ древними и новыми Русскими памятниками: Записки или отрывки изъ записокъ И. И. Дмитріева, Лопухина, Храповицкаго, письма Петра I, Екатерины II, Потемкина, Карамзина, Пушкина и пр. помѣстятся въ этомъ отдѣленіи. Здѣсь будутъ печататься также отрывки изъ *Исторіи Государства Россійскаго, сочиняемой академикомъ Погодинымъ.*

Объ отдѣленіи *Естественныхъ Наукъ* докторъ Лясковскій сообщилъ редакціи слѣдующій планъ:

Предметомъ статей этого отдѣла будутъ преимущественно вопросы всеобщаго интереса, къ рѣшенію которыхъ будутъ содѣйствовать безразлично всѣ отрасли Естествовѣдѣнія, какъ чистаго, такъ и прикладнаго. Систематическая исключительность принадлежитъ учебникамъ; въ журналѣ, который назначается для читателей разнообразныхъ, каждая оригинальная статья по части Естественныхъ наукъ должна по возможности представлять независимое цѣлое: она должна содержать необходимыя вводныя понятія и данныя поясняющія,—все равно, будутъ ли эти данныя причисляемы школами къ Физикѣ, Сельскому Хозяйству, Зоологіи, Медицинѣ или Технологіи. Главное дѣло въ томъ, чтобы пріобрѣтеніе науки сдѣлать возможно-понятнымъ и приложимымъ къ жизни. Кромѣ статей этого рода, нашъ отдѣлъ будетъ содержать извѣстія о новыхъ открытіяхъ, о новыхъ сочиненіяхъ, критику послѣднихъ, и вообще всякаго рода свѣдѣнія, имѣющія отношенія къ исторіи познанія внѣшняго міра и къ улучшенію нашей матеріальной жизни.

Профессоръ Казанскаго Университета *Горловъ*, только что возвратившійся изъ своего путешествія по Европѣ, сообщитъ публикѣ свои наблюденія и замѣчанія по части получающей нынѣ безпрестанно бо́льшую и бо́льшую важность—*Политической Экономіи*.

Въ отдѣленіи *Сельскаго Хозяйства* обѣщались участвовать почти всѣ Русскіе профессоры по этой части и нѣкоторые просвѣщенные помѣщики.

Обязанность Редактора *Европейскаго Обозрѣнія* состоитъ въ сообщеніи извѣстій о важнѣйшихъ современныхъ явленіяхъ по части гражданственности, промышленности, учености, искусства (музыки, живописи, ваянія, о театрѣ) и проч.

Къ *Смѣси* принадлежатъ иностранныя *повѣсти* и *романы*, съ соблюденіемъ строгаго выбора, разсказы, анекдоты, вы-

писки и замѣчанія, краткія извѣстія. Во *Внутренних извѣстіях* — новости изъ городовъ и областей Русскаго Государства. Новости *Московскія*.

Духъ и направленіе *Москвитянина* неизмѣнны. Своенародность — вотъ его характеръ. Познай самого себя — его цѣль. Почтеніе къ Исторіи, къ преданію, вмѣстѣ съ желаніемъ успѣха поступательному движенію впередъ,—его правила. Петербургскіе журналы смотрятъ больше на Европу, *Москвитянинъ* на Россію, сочувствуя впрочемъ Европѣ. Такъ шелъ онъ семь лѣтъ, такъ пойдетъ онъ и въ слѣдующемъ, только съ бóльшею твердостію и точностію, воспользуясь новыми благопріятными для него обстоятельствами.

Напечатавъ это объявленіе, Погодинъ писалъ Шевыреву: „Книгопродавцы похваляютъ объявленіе и говорятъ, что журналъ такъ пойдетъ, если будетъ исправенъ. Въ конторѣ явился уже подписчикъ“.

По поводу этого объявленія у Погодина завязалась оригинальная полемика съ однимъ Симбирскимъ помѣщикомъ, близко знакомымъ Аксаковымъ, А. Н. Анненковымъ. Увидавъ свое имя въ объявленіи, Анненковъ напечаталъ въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* слѣдующее письмо: „Съ удивленіемъ прочелъ я объявленіе профессора Погодина о возобновленномъ *Москвитянинѣ*. Отъ души желаю профессору Погодину всевозможнаго успѣха, съ благодарностью вижу, что въ числѣ литераторовъ онъ помѣстилъ мое имя на ряду съ именами Вельтмана, Даля, Загоскина, Кирѣевскаго, Мельгунова, Павловой, Хомякова,—тѣмъ искреннѣе благодарю Погодина, что хотя въ *Москвитянинѣ* 1843 года и были помѣщены мои статьи подъ заглавіемъ *Путевыя впечатлѣнія*, но безъ моей подписи, такъ что Русской читающей публикѣ я сдѣлался извѣстенъ только по короткой статьѣ о хлѣбной торговлѣ, помѣщенной въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ*, и эту статью я рѣшился подписать не какъ литераторъ, но какъ Русскій помѣщикъ... Но благодаря Погодина отъ себя лично за сдѣланную имъ мнѣ честь, я почелъ долгомъ предувѣдомить читающую публику, что онъ обѣщаетъ

ей мои труды, не испросивъ на то предварительно моего согласія, и что подобнымъ поступкомъ онъ воспрещаетъ мнѣ всякое участіе въ издаваемомъ имъ журналѣ, доколѣ онъ будетъ редакторомъ его; не могу также не посѣтовать на него, что подобнымъ обнародованіемъ онъ вынуждаетъ меня печатать впредь мои труды не иначе, какъ подписывая мое имя" [273]).

Прочитавъ эту статью, Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Прочелъ скверное письмо Анненкова въ газетахъ и приписалъ участію дѣйствительному или страдательному Аксаковыхъ. Поѣхалъ съ упреками. Говорятъ, что это считали дѣломъ смѣшнымъ. Не совсѣмъ искренно и благородно! Между тѣмъ пріѣхалъ Анненковъ и, перемолвивши, сѣли играть въ карты. Послѣ обѣда Аксаковъ разсказывалъ о своемъ семейномъ горѣ. Утѣшалъ ихъ, а къ Шевыреву, куда сбирался, ѣхать не хотѣлось, чтобъ не разругаться" [274]).

Не смотря на это, Погодинъ рѣшился печатно отвѣтить Анненкову и до печати отправилъ свой отвѣтъ для прочтенія Шевыреву, которому вмѣстѣ съ тѣмъ писалъ: „Посылаю тебѣ письмо мое, посмѣйся! Мнѣ было очень досадно вчера при мысли, что Аксаковы въ немъ участвовали, потому Анненковъ живетъ почти у нихъ. Я поѣхалъ къ нимъ съ упреками. Они объяснили, что считали это дѣло слишкомъ смѣшнымъ—и потому не противорѣчили. Я думаю однакоже, что участіе по крайней мѣрѣ отрицательное было. Впрочемъ они теперь въ великомъ горѣ (секретъ до свиданія), и я, разумѣется, позабылъ у нихъ о своей ничтожной досадѣ. Хотѣлъ ѣхать къ тебѣ и побоялся. Заругаетъ онъ меня, подумалъ я, и воротился съ дороги. А нынѣ получилъ отъ тебя всемилостивый манифестъ и благодарю. Замѣть что хочешь, и потомъ пошли съ моимъ кучеромъ къ Павлову прочесть".

Подъ *всемилостивымъ манифестомъ* Погодинъ разумѣлъ слѣдующее письмо къ нему Шевырева (1 ноября 1847): „Надѣюсь, во вторникъ ты будешь отвѣчать Анненкову на его нелѣпое письмо. Надобно отвѣчать по моему въ такомъ смыслѣ: Съ чего онъ взялъ, что онъ одинъ Анненковъ во всей Рос-

сіи? Мнѣ дѣйствительно обѣщалъ г. А. А. Анненковъ свои статьи. Имя его еще неизвѣстно, но это ничего не значитъ. Въ прошломъ году *Современникъ* объявилъ нѣсколько именъ, вовсе въ литературѣ неизвѣстныхъ, и одно изъ нихъ, имя г. Гончарова, съ необыкновеннымъ удовольствіемъ встрѣтила публика подъ его *Обыкновенною Исторіею*. Что же касается до г. Анненкова помѣщика, то я дѣйствительно не приглашалъ его въ участники и не знаю, почему онъ мое объявленіе принялъ на свой счетъ. Что же касается до удивленія, съ какимъ онъ прочелъ объявленіе мое о возобновленіи *Москвитянина*, то я могу увѣрить его, что я еще болѣе удивился его письму къ вамъ, г. редакторъ, нежели онъ моему объявленію. Непремѣнно это сдѣлай. Если ты съ перваго раза позволишь себѣ наступить на ногу, то дѣло твое до конца будетъ проиграно... Но при этомъ не могу тебѣ не прибавить урока: вотъ такъ-то ты все дѣлаешь. Ну, къ чему тебѣ имя Анненкова?"

На другой же день въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* появился отвѣтъ Погодина, въ которомъ читаемъ: „Въ объявленіи на изданіе *Москвитянина* на 1848 годъ, между именами литераторовъ—поставлено не безъ причины, а вслѣдствіе недоразумѣнія, имя А. Н. Анненкова. Прочитавъ письмо его, я почитаю себя обязаннымъ извиниться въ этой слишкомъ невинной ошибкѣ предъ нимъ и предъ публикою. Предъ нимъ я исполняю это съ особеннымъ удовольствіемъ посредствомъ этого письма моего. Что касается до публики, потеря ея въ полномъ смыслѣ невознаградимая, ибо Анненковъ рѣшительно отказался отъ помѣщенія статей своихъ въ *Москвитянинѣ*, пока я остаюсь его редакторомъ. Я могу только приказать своей конторѣ, чтобъ она выдала обратно деньги тѣмъ изъ гг. субскрибентовъ, которые поспѣшили подписаться въ продолженіе послѣднихъ трехъ дней на этотъ журналъ, единственно въ надеждѣ читать тамъ обѣщанныя будто бы произведенія Анненкова. Я не понимаю только, почему онъ сѣтуетъ на меня, считая себя принужденнымъ открывать впредь

свое имя при статьяхъ. Это зависитъ, какъ мнѣ кажется, совершенно отъ его воли, и минутная, случайная извѣстность отнюдь не помѣшаетъ ему во всякомъ случаѣ оставаться неизвѣстнымъ“ [275]).

Эта апологія понравилась Шевыреву, и онъ писалъ Погодину: „Отвѣтъ твой Анненкову производитъ на всѣхъ самое пріятное впечатлѣніе. Спасибо ему. Онъ помогъ *Москвитянину*“. Но М. А. Дмитріевъ упрекалъ Погодина: „Что вамъ за охота была помѣстить въ сотрудникахъ нашего Симбирскаго Анненкова? Я читалъ въ Московскихъ газетахъ его строчки на вашъ отвѣтъ. Развѣ вы его не знаете?“ Съ своей стороны и Горловъ писалъ: „Очень было огорчила меня статейка г. Анненкова, но когда я въ слѣдующемъ же нумерѣ прочелъ вашъ прекрасный отвѣтъ, то совершенно успокоился. Я надѣюсь, что дѣло этимъ кончится“.

Своихъ друзей, знакомыхъ и незнакомыхъ Погодинъ обязалъ содѣйствовать къ распространенію *Москвитянина*. „Билеты надо разсылать незнакомымъ“, писалъ онъ Шевыреву, „и говорить всѣмъ, чтобъ толковали. Аксакову вчера я отдалъ для Симбирска двадцать пять. Пошли Бакунину и проч.“ Изъ Петербурга И. И. Давыдовъ увѣдомлялъ Погодина: „Билеты на *Москвитянина*, по указанію вашему, вручены графу А. С. Уварову и Г. В. Грудеву... Дай Богъ *Москвитянину* успѣховъ! Онъ слишкомъ важенъ и ученъ; надо бъ ему иногда и поразвеселиться“. Но отъ С. Д. Нечаева Погодинъ получаетъ билеты обратно съ слѣдующимъ извѣщеніемъ: „Билетовъ вашихъ не могу я взяться раздавать. Всѣ они съ подправленными и подскобленными годами и нумерами... Не взыщите за правду на старомъ поклонникѣ строгой Ѳемиды“. Горловъ же писалъ изъ Казани: „Хотя мнѣ и очень жаль, но я не имѣю надежды помѣстить присланные вами пять билетовъ на *Москвитянина*. У насъ здѣсь недовольны тѣмъ, что доселѣ (то-есть, до 14 ноября 1847 г.) вы только выдали за прошлый годъ два нумера, и опасаются, что остальные два нумера совсѣмъ не выйдутъ. Это ожиданіе произвело здѣсь невыгод-

сіи? Мнѣ дѣйствительно обѣщалъ г. А. А. Анненковъ свои статьи. Имя его еще неизвѣстно, но это ничего не значитъ. Въ прошломъ году *Современникъ* объявилъ нѣсколько именъ, вовсе въ литературѣ неизвѣстныхъ, и одно изъ нихъ, имя г. Гончарова, съ необыкновеннымъ удовольствіемъ встрѣтила публика подъ его *Обыкновенною Исторіею*. Что же касается до г. Анненкова помѣщика, то я дѣйствительно не приглашалъ его въ участники и не знаю, почему онъ мое объявленіе принялъ на свой счетъ. Что же касается до удивленія, съ какимъ онъ прочелъ объявленіе мое о возобновленіи *Москвитянина*, то я могу увѣрить его, что я еще болѣе удивился его письму къ вамъ, г. редакторъ, нежели онъ моему объявленію. Непремѣнно это сдѣлай. Если ты съ перваго раза позволишь себѣ наступить на ногу, то дѣло твое до конца будетъ проиграно... Но при этомъ не могу тебѣ не прибавить урока: вотъ такъ-то ты все дѣлаешь. Ну, къ чему тебѣ имя Анненкова?"

На другой же день въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* появился отвѣтъ Погодина, въ которомъ читаемъ: „Въ объявленіи на изданіе *Москвитянина* на 1848 годъ, между именами литераторовъ—поставлено не безъ причины, а вслѣдствіе недоразумѣнія, имя А. Н. Анненкова. Прочитавъ письмо его, я почитаю себя обязаннымъ извиниться въ этой слишкомъ невинной ошибкѣ предъ нимъ и предъ публикою. Предъ нимъ я исполняю это съ особеннымъ удовольствіемъ посредствомъ этого письма моего. Что касается до публики, потеря ея въ полномъ смыслѣ невознаградимая, ибо Анненковъ рѣшительно отказался отъ помѣщенія статей своихъ въ *Москвитянинѣ*, пока я остаюсь его редакторомъ. Я могу только приказать своей конторѣ, чтобъ она выдала обратно деньги тѣмъ изъ гг. субскрибентовъ, которые поспѣшили подписаться въ продолженіе послѣднихъ трехъ дней на этотъ журналъ, единственно въ надеждѣ читать тамъ обѣщанныя будто бы произведенія Анненкова. Я не понимаю только, почему онъ сѣтуетъ на меня, считая себя принужденнымъ открывать впредь

свое имя при статьяхъ. Это зависитъ, какъ мнѣ кажется, совершенно отъ его воли, и минутная, случайная извѣстность отнюдь не помѣшаетъ ему во всякомъ случаѣ оставаться неизвѣстнымъ" [275]).

Эта апологія понравилась Шевыреву, и онъ писалъ Погодину: „Отвѣтъ твой Анненкову производитъ на всѣхъ самое пріятное впечатлѣніе. Спасибо ему. Онъ помогъ *Москвитянину*". Но М. А. Дмитріевъ упрекалъ Погодина: „Что вамъ за охота была помѣстить въ сотрудникахъ нашего Симбирскаго Анненкова? Я читалъ въ Московскихъ газетахъ его строчки на вашъ отвѣтъ. Развѣ вы его не знаете?" Съ своей стороны и Горловъ писалъ: „Очень было огорчила меня статейка г. Анненкова, но когда я въ слѣдующемъ же нумерѣ прочелъ вашъ прекрасный отвѣтъ, то совершенно успокоился. Я надѣюсь, что дѣло этимъ кончится".

Своихъ друзей, знакомыхъ и незнакомыхъ Погодинъ обязалъ содѣйствовать къ распространенію *Москвитянина*. „Билеты надо разсылать незнакомымъ", писалъ онъ Шевыреву, „и говорить всѣмъ, чтобъ толковали. Аксакову вчера я отдалъ для Симбирска двадцать пять. Пошли Бакунину и проч." Изъ Петербурга И. И. Давыдовъ увѣдомлялъ Погодина: „Билеты на *Москвитянина*, по указанію вашему, вручены графу А. С. Уварову и Г. В. Грудеву... Дай Богъ *Москвитянину* успѣховъ! Онъ слишкомъ важенъ и ученъ; надо бъ ему иногда и поразвеселиться". Но отъ С. Д. Нечаева Погодинъ получаетъ билеты обратно съ слѣдующимъ извѣщеніемъ: „Билетовъ вашихъ не могу я взяться раздавать. Всѣ они съ подправленными и подскобленными годами и нумерами... Не взыщите за правду на старомъ поклонникѣ строгой Ѳемиды". Горловъ же писалъ изъ Казани: „Хотя мнѣ и очень жаль, но я не имѣю надежды помѣстить присланные вами пять билетовъ на *Москвитянина*. У насъ здѣсь недовольны тѣмъ, что доселѣ (то-есть, до 14 ноября 1847 г.) вы только выдали за прошлый годъ два нумера, и опасаются, что остальные два нумера совсѣмъ не выйдутъ. Это ожиданіе произвело здѣсь невыгод-

ное впечатлѣніе, особенно при аккуратности толстыхъ журналовъ. Даже Университетская библіотека на этотъ годъ не располагаетъ выписывать *Москвитянина*. Для васъ конечно одинъ субскрибентъ не составляетъ никакой потери; но я хотѣлъ выставить этотъ фактъ только за тѣмъ, чтобъ показать, какъ здѣшнее мнѣніе невыгодно. Я надѣюсь однакожъ, что вы не растолкуете въ дурную сторону моихъ словъ и все это примете за знакъ моего точнаго доброжелательства вашему предпріятію. Его успѣхъ тѣсно соединенъ съ нашими общими выгодами". Болѣе сострадательнымъ оказался Гоголь. „Подпиши за меня на *Москвитянинъ* мимо свѣдѣнія Погодина. Даромъ мнѣ не хотѣлось... Мнѣ кажется, что и всѣ прочіе пріятели Погодина и *Москвитянина* должны бы поступать такъ же: оно, кажется, бездѣлица, но сдѣлай это человѣкъ семь — восемь да посовѣтуй и другимъ то же, — отъ этого обстоятельства Погодина все бъ таки были лучше".

Погодинъ не безъ утѣшенія замѣтилъ, что одинъ изъ первыхъ подписчиковъ на *Москвитянинъ* 1848 года былъ архіепископъ Тверской Григорій. 9 января 1848 года Высокопреосвященный писалъ Погодину: „Желая получать въ семъ 1848 году *возобновленный Москвитянинъ*, покорнѣйше прошу доставлять ко мнѣ это изданіе въ Тверь".

Не смотря однако на принимаемыя мѣры, подписка на *Москвитянинъ* шла очень плохо, что Шевыревъ постоянно ставилъ на видъ своему другу. Мы имѣемъ цѣлый рядъ записочекъ его по этому предмету:

7 января 1848 года: „Плоха подписка—больно плоха: хуже прошлогодней. Я не унываю, но ты видишь тоже, что я тебѣ правду предсказывалъ".

21 — — : „Подписка идетъ плохо. Я это предвидѣлъ. А ты все увлекаешься надеждами".

4 февраля — : „Поздравляю съ похвалами Дмитріева, цензора, Кораблева. Онѣ утѣшительны, но утѣшительнѣе было бы видѣть прибавляющееся число подписчиковъ. Всего двѣсти

тридцать четыре съ даровыми. Грустный фактъ, который я предсказывалъ!"

6 — — : „Подписка пошла какъ будто побыстрѣе. Ободрись.

12 апрѣля — : „Возвращаю письма. Всѣ извѣстія и похвалы очень утѣшительны. Еще утѣшительнѣе было бы число подписчиковъ, а этого утѣшенія не видно. Впрочемъ и это можно было предвидѣть".

Съ своей стороны и И. И. Давыдовъ писалъ Погодину изъ Петербурга мало утѣшительнаго: „Подписка идетъ худо: послѣдніе два года подорвали довѣренность позднимъ, неправильнымъ появленіемъ книжекъ. Въ журналѣ точность—важное условіе". Еще неутѣшительнѣе писалъ Давыдовъ въ другомъ письмѣ: „*Москвитянина* можно тянуть до послѣдней возможности. Здѣсь не любятъ Московскаго журнала—а потому нѣтъ сбыта билетовъ. Можетъ быть, къ будущему году не случится ли перемѣны въ періодическихъ изданіяхъ. Изъ этого вы видите разность вкуса древней и новой столицы. Насильно милъ не будешь, или надобно угождать".

Самъ же Погодинъ писалъ Шевыреву: „Подписки можно только ждать... Не вѣрятъ да и только. А каковы пріятели и меценаты! Хоть бы одинъ рукою тронулся для содѣйствія". На замѣчаніе же Шевырева: „Ты слишкомъ сердитъ. Общественная дѣятельность раздражаетъ. Я это на себѣ знаю", Погодинъ отвѣчалъ: „Точно, общественная дѣятельность раздражаетъ!"

Но за то всякая прибавка числа подписчиковъ очень оживляла Погодина, и онъ торопился сообщать объ этомъ Шевыреву: „*Москвитянинъ* идетъ очень хорошо: четвертое сто".

Не смотря на такую несчастную подписку, Шевыревъ рекомендовалъ напечатать въ *Москвитянинѣ* какую-то Санскритскую статью почтеннаго К. А. Коссовича.

Погодинъ, препровождая Шевыреву проектъ содержанія девятаго нумера, писалъ ему: „Я получилъ статью К. А. Коссовича Санскритскую. Ее выйдетъ листовъ пять! Книги (то-есть,

Москвитянина) остаются самыя важныя въ году, коими условливается подписка. Ты знаешь, что отъ нея зависитъ благосостояніе не только журнала, но мое. Я взялъ на себя долгу тысячу двѣсти рублей. Въ одну типографію къ концу года будетъ долгъ около восьми!—Если не удастся еще, то я просто банкрутъ! Какъ же можно помѣщать теперь Санскритскія статьи. И такъ моя слабость и совѣстливость не можетъ отдѣлываться отъ подобныхъ статей во всякой книгѣ, листа по четыре, напримѣръ; и въ девятой печатается разборъ Спасскаго Академическаго Словаря въ отношеніи къ горнымъ словамъ. Кто будетъ читать его, а если наподдать еще Индѣйщиной, то просто значитъ убить книгу. Даже занимательныя статьи, по нашему, не слишкомъ занимательны для публики, а объ сухихъ и говорить нечего! И потому скажи Коссовичу, что мы по общемъ разсужденіи рѣшили въ нынѣшнемъ году въ остальныхъ книгахъ помѣщать все самое легкое и пріятное. Если журналъ пойдетъ, если можно будетъ увеличить объемъ, то помѣстимъ въ томъ году".

Успѣшному ходу редакціонныхъ дѣлъ много препятствовало разстояніе, отдѣлявшее мѣсто жительства двухъ друзей. Шевыревъ жилъ въ Дегтярномъ переулкѣ, близъ Тверской, а Погодинъ, какъ извѣстно, на отдаленномъ и тогда пустынномъ Дѣвичьемъ Полѣ и велъ своеобычный образъ жизни. „Филаретъ", писалъ ему Шевыревъ,—„устроилъ скитъ для уединенія по временамъ, а не превратилъ дома своего въ скитъ. На масляницу въ скиты не ѣздятъ. На первой недѣлѣ поста буду въ скитѣ твоемъ..." Сношенія между друзьями еще болѣе затруднились лѣтомъ 1848 года, когда Шевыревъ поселился въ Сокольникахъ. Какъ-то однажды Погодинъ позвалъ къ себѣ Шевырева заѣхать къ нему *по дорогѣ*. На это послѣдній иронически отвѣчалъ: „Ты меня звалъ *по дорогѣ*—да куда же я ѣзжу (изъ Сокольниковъ) *по дорогѣ* къ тебѣ? Да и кто же кромѣ Газа да игуменьи Дѣвичья монастыря и ея доктора ѣздитъ *по дорогѣ* къ тебѣ? Удивительный человѣкъ! Какъ знаетъ топографію Москвы!" Въ другой своей

записочкѣ Шевыревъ писалъ своему другу: „Письмо твое отъ 9 августа я получилъ 14-го. Что ты—гдѣ живешь? Какъ же тутъ хотѣть срочнаго полученія газетъ и современности въ изданіи?“

Въ то же лѣто въ Сокольникахъ жилъ и А. Я. Булгаковъ. Посылая къ Погодину полученное имъ письмо отъ В. А. Жуковскаго, Булгаковъ писалъ ему: „Очень бы желалъ часочекъ съ вами побесѣдовать. Ежели паче чаянія вздумалось бы вамъ сегодня или завтра поѣхать въ Сокольники подышать чистаго воздуха, я весьма охотно предложилъ бы вамъ чашку чаю—Сокольники совершенный рай! И чтобы не не быть мнѣ изъ онаго выгнаннымъ, я избѣгаю змій, женщинъ и даже яблоковъ“ [276]).

XLI.

Мы уже знаемъ, что какъ въ основаніи *Московскаго Вѣстника* принималъ участіе Пушкинъ, такъ *Москвитянинъ* обязанъ почти своимъ существованіемъ Жуковскому, а потому участіе его въ обновленномъ *Москвитянинѣ* было весьма цѣнно какъ для Погодина, такъ и для Шевырева. Четвертая книга *Москвитянина* 1848 года была украшена письмомъ Жуковскаго къ Гоголю *О поэтѣ и современномъ его значеніи*. Въ заключеніи этого письма мы читаемъ: „Но должно ли, смотря съ уныніемъ и тревогою на то, что кругомъ насъ происходитъ, терять вѣру въ Поэзію и въ ея великое земное назначеніе? Нѣтъ! и посреди судорогъ нашего времени, не заботясь о славѣ, нынѣ уже не желанной и даже невозможной (поелику она раздается всѣмъ и каждому, на площади, подкупными судьями въ отрепьяхъ), не думая о корысти, которая всѣхъ очумила, поэтъ, вѣрный своему призванію, скрываясь отъ толпы, исповѣдуетъ своему генію:

Не счастія, не славы здѣсь
Ищу я;—быть хочу крыломъ могучимъ,
Подъемлющимъ родныя мнѣ сердца
На высоту,—зарей побѣду дня

Предвозвѣщающей,—великихъ думъ
Воспламенителемъ, глаголомъ правды,
Лекарствомъ душъ, безвѣріемъ крушимыхъ,
И сторожемъ нетлѣнной той завѣсы,
Которою предъ нами горній міръ
Задернутъ, чтобъ порой для смертныхъ глазъ
Ее приподымать и святость жизни
Являть во всей красѣ ея небесной—
Вотъ долгъ поэта, вотъ мое призванье!"

Изъ Одессы (21 апрѣля 1848 г.) Гоголь писалъ Шевыреву: „Въ письмѣ Жуковскаго, бывшемъ для меня истинно пріятною нечаянностью, есть столько утѣшительнаго! Оно, вѣрно, сказало тебѣ много и ободрило. Я замѣтилъ уже силу и твердость въ тѣхъ строкахъ твоихъ, которыя успѣлъ пробѣжать въ *Москвитянинѣ*. Я вижу, что ты не напрасно взялся за журналъ. Голосъ твой теперь нуженъ, но мнѣ кажется, всѣмъ намъ слѣдуетъ умѣрить себя, помня ежеминутно, что мы всѣ нервически-неспокойны въ нынѣшнюю эпоху" [277]).

„Письмо Жуковскаго", писала графиня Е. П. Ростопчина Погодину, — „было схвачено мною не разрѣзанное и прочтено со слезами благоговѣнія; онъ все тотъ же и теперь, какъ въ цвѣтущіе года молодости, та же теплота сердечная, та же вѣра, то же кроткое, чистое воззрѣніе на міръ, столь скверный теперь; при немъ, право, свѣтлѣетъ на умѣ, какъ при свѣтломъ и возвышенномъ существѣ; а я же люблю его кромѣ того".

Письмо Жуковскаго пришлось по душѣ и М. А. Дмитріеву. „Статья Жуковскаго", писалъ онъ Погодину, — „прекрасна: ее можно назвать теоріей вдохновенія, если для вдохновенія можетъ быть теорія. Она должна идти рядомъ съ статьей Батюшкова о нравственныхъ качествахъ поэта (заглавія не помню), гдѣ онъ говоритъ, что для поэта должна быть особенная нравственная діэтетика. Обѣ эти статьи вмѣстѣ должны быть хартіей для основныхъ законовъ поэтическаго міра!" [278])

Самому же Жуковскому Шевыревъ писалъ: „Вы насъ ободряете и укрѣпляете вашимъ привѣтомъ и лаской. Письмо ваше къ Гоголю произвело сильное впечатлѣніе и, что мнѣ

особенно пріятно, на молодежь. Это—начало для будущей Русской эстетики на христіанскомъ основаніи“ [279]).

Вмѣстѣ съ тѣмъ Жуковскій прислалъ въ *Москвитянинъ* богословскую статью подъ заглавіемъ *Двѣ сцены изъ Фауста*, въ которой говорится о поправкѣ Фауста первой главы Евангелія Іоанна Богослова. „Фаустъ“, писалъ Жуковскій,—„хочетъ поправить и выразить по своему мысль Евангелиста, и такою гордостью становится доступенъ губительному искушенію. Недовольный выраженіемъ: *Въ началѣ бѣ Слово*, онъ пишетъ: *Въ началѣ была мысль* (Sinn)—потомъ: *въ началѣ была сила* (Kraft)—отвергаетъ то и другое, и наконецъ останавливается на выраженіи: *въ началѣ было дѣло* (That), которое кажется ему болѣе точнымъ, нежели Іоанново, но которое столь достойно отверженія, какъ оба первыя. Никакой человѣческій умъ не придумаетъ ничего выше и всеобъятнѣе этого дивнаго евангельскаго *Слова*; съ нимъ на ряду можно поставить только то, которое слышалъ Моѵсей изъ пламенной Купины *Азъ есмь сый*“ [280]).

Но статья эта, къ сожалѣнію, встрѣтила цензурныя затрудненія. „Ваше замѣчаніе“, писалъ Шевыревъ Жуковскому,—„есть замѣчаніе православнаго христіанина всѣмъ Нѣмецкимъ богословамъ, которые думаютъ, что лучше понимаютъ Евангеліе, нежели сами Евангелисты“; но въ то же время и самъ Шевыревъ счелъ долгомъ замѣтить Жуковскому: „Позвольте мнѣ сказать нѣсколько словъ о томъ богословскомъ мѣстѣ, которое у васъ находится на второй и третьей страницахъ. Я боюсь, чтобы оно не дало повода къ какому-нибудь недоразумѣнію. У васъ сказано: *Слово Божіе, напротивъ, есть Богъ—и Богъ, какъ творецъ, и Богъ какъ твореніе отъ вѣка бывшее въ Богѣ и съ Богомъ, изъ воли Его истекшее и въ Немъ заключенное, но съ Нимъ не сліянное и съ Нимъ не тожественное, имѣвшее начало, ибо оно твореніе*... У Іоанна Богослова говорится о Сынѣ, подъ именемъ Слова, Единородномъ отъ Отца, а Сынъ не сотворенъ, а предвѣчно рожденъ: *рожденна не сотворенна* (въ Сѵмволѣ Вѣры). Потому вмѣсто

Творецъ нельзя ли поставить *Отецъ*, а вмѣсто твореніе—*рожденіе*? Могутъ православные богословы упрекнуть въ Аріанизмѣ. Позвольте мнѣ привести вамъ два отрывка изъ нашихъ древнихъ Русскихъ Отцевъ о томъ же предметѣ. Вотъ какъ выражается Іосифъ Волоколамскій, писавшій въ концѣ XV и въ началѣ XVI вѣка о Словѣ Божіемъ: „Слово Божіе не якоже мое, отъ чрева орудіемъ гласнымъ износимо и на воздусѣ разливаемо, но Слово живо, суще и составно (Нѣмецъ бы сказалъ конкретно), еже къ Богу въ началѣ и самъ Богъ сый; и ниже Духъ Божій, якъ же мой духъ, исходяй изъ устъ и на воздусѣ разливаяйся: Духъ устъ Божіихъ — духъ истины и отъ Отца исходяй и Самъ Богъ сый, существа Божія имѣяй составъ совершенъ". Вотъ еще другой инокъ, Отенскій, Зиновій, ученикъ Максима Грека, писавшій въ XVI вѣкѣ, такъ разсуждаетъ о Богѣ Словѣ. Сначала доказываетъ онъ, что Богъ истинный долженъ быть Богъ живой, а живой Богъ долженъ имѣть слово и духъ; иначе онъ былъ бы безсловесенъ и бездушенъ; и далѣе говоритъ: „И якоже убо истинный Богъ живой присносущенъ есть, безначаленъ, безконеченъ, нестарѣющся, всесиленъ: такожъ и Слово Ему подобаетъ своего Ему естества, существа блаженнаго, нетлѣннаго; такожъ и Духъ ему подобаетъ свой сопрісносущенъ, того жъ блаженнаго, нетлѣннаго естества. Да якожъ вѣруется истинный Богъ живъ, безначаленъ, безконеченъ, присносущенъ, такожъ вѣровати подобаетъ, и Слово Ему Его живо, истинно, соприсносущно, собезначально, а не на воздусѣ разсыпаемо..., *не сотворено бо Слово Божіе, но безтѣлесно рожено*. Понеже Богъ безплотенъ, не плотски и Слово Свое роди; и Слово, рождаяся отъ безсмертнаго, безстрастнаго Бога, живо, безстрастно, безсмертно: ибо и мы страстны и смертны суще, умъ же имамъ безплотенъ, и слово присно рожаетъ безстрастно. Ты не можеши домыслитися, како въ тебѣ, созданнымъ тлѣннѣмъ естествѣ, безплотный умъ твой Слово тебѣ рождаетъ безстрастно; какожъ тлѣненъ ты, хощеши тлѣнными мысльми безплотное, нетлѣнное Божіе рожество

Слово Его живому испытати, но точію вѣровати подобаетъ, яко Богъ не безсловесенъ, но имать Свое Слово Богъ. Слово же Бога живаго, по блаженному Его естеству, живо, составно, присносущно, нетлѣнно, безплотно, дѣйственно, рожено, а не сотворено. И въ нашемъ убо тлѣнномъ плотскомъ существѣ слово ума нашего не сотворяемо, но рожаемо безплотнымъ умомъ нашимъ; не имать бо умъ нашъ руку творити слово, безплотенъ сый, ниже требуетъ умъ нашъ женска полу на зачатіе словеси своему, и безъ зачатія умъ нашъ слово наше рожаетъ безъ мѣшканія и безъ предѣла; вкупѣ же и наше слово уму спребываетъ, и внезапу рожается слово наше отъ ума нашего." Не посѣтуйте на меня за то, что я привожу вамъ эти разсужденія нашихъ древнихъ богослововъ, которые любятъ повторяться, какъ будто никогда недовольные словами своими для того, чтобы выразить всю полноту истины Бога Слова... Они здѣсь кстати пришлись къ вашей мысли. Есть въ нихъ чрезвычайно глубокія мысли, а въ языкѣ ихъ могъ бы быть зародышъ для языка нашей народной философіи" [281]).

Съ своей стороны Погодинъ отправилъ статью Жуковскаго прежде всего на разсмотрѣніе И. В. Кирѣевскаго, который возвратилъ ее при слѣдующихъ строкахъ: „Возвращаю тебѣ статью Жуковскаго: посмотри перемѣны, которыя я сдѣлалъ; кажется, теперь ничего нѣтъ противнаго Православію. Если это не очень портитъ ее въ риторическомъ отношеніи, то рѣшись печатать въ этомъ видѣ. Но во всякомъ случаѣ мнѣ кажется, что о риторикѣ думать нечего, когда дѣло идетъ о Православіи".

Но В. Н. Лешковъ затруднился пропустить ее и въ исправленномъ видѣ. „Дѣло въ статьѣ Жуковскаго", писалъ онъ Погодину, — „вамъ нужно было бы, какъ думаетъ и С. П. Шевыревъ, поговорить объ ней съ его высокопреосвященствомъ Митрополитомъ. Тутъ все еще есть много запятыхъ, и я не могу рѣшиться пропустить ее, а послать въ духовную цензуру жалко".

Тѣмъ не менѣе Погодинъ отправилъ статью Жуковскаго въ Московскую Духовную Цензуру. Этимъ остался недоволенъ Шевыревъ и писалъ Погодину: „Зачѣмъ ты послалъ статью Жуковскаго въ духовную цензуру? Какимъ образомъ Голубинскій будетъ цензоровать статью о Фаустѣ, Мефистофелѣ и Гретхенъ? Что за нелѣпость! Можно было посовѣтоваться съ какимъ—нибудь духовнымъ лицомъ, опытнымъ въ дѣлѣ, даже съ самимъ Митрополитомъ, но не отправлять въ духовную цензуру, которая такой статьи цензоровать не можетъ и не должна. Если они понимаютъ смыслъ своихъ дѣйствій, то должны оборотить статью назадъ. Смотри, Жуковскій ничего тебѣ не пришлетъ“.

Какъ бы то ни было, протоіерей Ѳ. А. Голубинскій, разсмотрѣвъ, по просьбѣ Погодина, статью Жуковскаго, сдѣлалъ о ней такой отзывъ: „Трудно исправлять слова человѣка, богатаго живыми мыслями. Но вы предложили мнѣ это; потому только и рѣшился я замѣнить нѣкоторыя его выраженія своими. Онъ говоритъ о вѣчномъ Словѣ въ смыслѣ Платона и Плотина, и разумѣетъ едва ли не то, что у нихъ κόσμος νοητὸς, τόπος (или πλήρωμα) τῶν ἰδεῶν, и въ этомъ смыслѣ могъ написать „твореніе“. Мы другому научились у апостоловъ Іоанна и Павла, у которыхъ я и заимствовалъ вставленныя мною выраженія. Если этотъ begeisterter Mann крѣпко держится умозрѣній Платоническихъ въ этомъ пунктѣ, то хотя и есть сердечное желаніе ему лучшаго убѣжденія, но имѣемъ ли мы право писать за него вопреки его убѣжденію?.. Предаю это на ваше разсмотрѣніе и рѣшеніе. Если примете вписанныя мною выраженія, то такъ и напечатаете ихъ, какъ вписаны. Если же усумнитесь принять, то зачеркнутыя слова прошу васъ не печатать, а навести, гдѣ нужно, связь, какъ сами знаете“.

Въ это время въ Москвѣ находился А. Н. Муравьевъ и пользовался житіями Русскихъ Святыхъ изъ Древлехранилища Погодина. Онъ рѣшительно писалъ Погодину: „Сдѣлайте милость, не печатайте статьи Жуковскаго. Митрополитъ прямо

сказалъ, что она *вся негодится*, и такъ какъ онъ теперь о ней знаетъ, то легко можетъ быть—онъ замѣтитъ въ печати и повлечетъ неудовольствіе; нельзя же мірскимъ прекословить духовенству въ богословіи и еще Филарету. Право лучше примите мой совѣтъ, а потомъ вы сами жалуетесь на цензуру. Когда разъ раздражите ее, то послѣ долго отзывается".

Не взирая на это предостереженіе, *Двѣ сцены изъ Фауста* были напечатаны въ *Москвитянинѣ* 1849 года.

Въ это же время вышло забавное недоразумѣніе съ однимъ четверостишіемъ Языкова, которое Шевыревъ пожелалъ напечатать въ *Москвитянинѣ*. Получивъ его, Погодинъ писалъ Шевыреву: „Четверостишія твоего не понимаю. Для знающаго лица и обстоятельство это можетъ быть смѣшно и остро, а для не знающаго это похабство (*для моего тѣла ты слишкомъ великъ*), подъ которымъ ни за что на свѣтѣ я не допущу твоего имени. Помилуй, скажи—что ты это вздумалъ. Ахъ, ты сѣдина! И эти господа толкуютъ еще и претендуютъ на знаніе приличій". Шевыревъ, разумѣется, обидѣлся и отвѣчалъ Погодину: „Помилуй, ты съ ума сходишь. Я тебѣ посылаю четверостишіе Языкова, а ты вообразилъ, что четверостишіе принадлежитъ мнѣ—да и еще мораль читать! Плохой ты и отгадчикъ стиховъ: впрочемъ, благодарю за комплиментъ". Въ свое оправданіе Погодинъ писалъ: „Я не виноватъ, что подъ стихами Языкова ты подписалъ самымъ четкимъ шрифтомъ: С. *Шевыревъ*, въ удостовѣреніе чего ихъ и посылаю, ибо иначе ты не повѣришь и будешь продолжать писать".

XLII.

Въ самый первый день 1848 года вышелъ въ свѣтъ первый нумеръ *Москвитянина*. Эта точность была совершенно необычна для *Москвитянина*, и 2 января Шевыревъ писалъ Погодину: „Всѣ удивились выходу *Москвитянина* своевременно". Разсматривая этотъ нумеръ, Погодинъ записалъ въ

своемъ *Дневникѣ*: „Перебиралъ *Москвитянинъ*, хорошъ, а подписчиковъ нѣтъ, и стало жутко". Съ своей стороны и Шевыревъ писалъ Погодину: „Нумеръ всѣмъ былъ бы хорошъ, еслибы больше Европы — и еслибы повѣсть Вельтмана не подгуляла. Охъ! куды плоха! И за это пятьсотъ рублей!!! Какъ бы зналъ, ужъ я бы сваляль какую-нибудь за ночь. Да ты бы могъ тряхнуть стариной — вышло бы лучше. Сюжетъ готовый: *Талантъ или пять главъ повѣсти*. Главное дѣйствующее лицо Н. Ф. Павловъ. Вѣдь забавно. Другой сюжетъ: *Друзья*. Сюжетовъ куда не оберешься — пропасть. Какъ древніе живописцы употребляли моделями друзей своихъ, такъ и тутъ пришлось бы, но съ тѣмъ, чтобы выставить имъ все ихъ доброе и хорошее и всѣ увлеченія ихъ". Въ томъ же письмѣ Шевырева читаемъ: „Примись самъ за Европейское Обозрѣніе. Это - твоя *обязанность* какъ историка. Отдавай этому вечеръ. У меня утро отнынѣ посвящено наукѣ. Вечеръ литературѣ современной. Надо чаще видѣться" [282]).

Повѣсть Вельтмана, о которой говоритъ Шевыревъ въ письмѣ своемъ, подъ заглавіемъ: *Два маіора* была напечатана въ первомъ нумерѣ *Москвитянина* 1848 года.

Погодинъ дѣйствительно хотѣлъ *тряхнуть стариной* и написать повѣсть. Въ этомъ удостовѣряетъ насъ слѣдующая запись въ его *Дневникѣ*: „Съ вечера пришло въ голову, не написать ли мнѣ самому романъ по давно задуманному плану. Перечелъ книги для него. Можетъ быть. Только здѣсь насиліе исторіи мучительно" [283]).

Не найдя въ первомъ нумерѣ *Московскихъ Вѣдомостей* 1848 года объявленія о выходѣ *Москвитянина*, Шевыревъ забилъ тревогу: „Отчего же въ нынѣшнемъ нумерѣ *Вѣдомостей*", писалъ онъ Погодину, — „нѣтъ объявленія о выходѣ *Москвитянина*? Если это чья-нибудь умышленная вина, то непремѣнно надобно дать знать о томъ. А все виновата твоя безпечность; какъ же ты могъ вчера уѣхать изъ типографіи, не увѣрившись въ томъ, что объявленіе напечатано будетъ? Ты знаешь отношенія. Вотъ уже большой вредъ нанесенъ

началу дѣла. Сдѣлай милость, разузнай причину и не оставляй ея такъ безъ опубликованія, если она тебя оправдываетъ... Есть партія сильная противъ насъ—и дѣйствуетъ всѣми средствами. Духомъ я не упадаю нисколько, другъ. Сейчасъ готовъ уйти въ свое уединеніе отъ всѣхъ этихъ дрязговъ. Намъ надобно поговорить серьезно о состояніи дѣлъ. Я увѣренъ въ правдѣ Божіей, что всѣ эти мерзости падутъ на голову тѣхъ, которые ихъ сплетаютъ".

Необычайная аккуратность выхода въ свѣтъ перваго нумера *Москвитянина* и самому Погодину казалась удивительною. „Почему, напримѣръ, не сказали вы", писалъ онъ фельетонисту *Московскихъ Полицейскихъ Вѣдомостей*,—„ни слова о выходѣ *Москвитянина* 1-го января? Развѣ это не новость и притомъ небывалая? Одно стихотворное его отдѣленіе, котораго давно нѣтъ почти ни въ одномъ Петербургскомъ журналѣ, съ именами графини Ростопчиной, князя Вяземскаго, Дмитріева, Шевырева, Берга, повѣсть Вельтмана и цѣлый романъ неизвѣстной, кажется, заслуживали какое-нибудь упоминовеніе, *хотя за неимѣніемъ другихъ новостей*, когда наша общественная жизнь, какъ говорите вы, такъ мало развита, и ежедневный бытъ такъ однообразенъ и безцвѣтенъ. Редакторъ можетъ указать еще на одну причину, почему фельетонистъ долженъ бы былъ замѣтить появленіе *Москвитянина*. Онъ вышелъ 1-го числа, какъ никогда не выходилъ, кажется. Многіе подписчики не вѣрили въ конторѣ, чтобъ это была правда. Многіе знакомые обращались къ редактору не шутя съ вопросами: отчего *Москвитянинъ* вышелъ 1-го числа? Отгадайте, господа!"

Какъ Погодина, такъ и Шевырева очень огорчало равнодушіе къ *Москвитянину* ихъ ближайшихъ Московскихъ друзей. Посѣтивъ Свербеевыхъ, Погодинъ подъ 6 февраля 1848 года, записалъ въ своемъ *Дневникѣ:* „Вечеръ у Свербеевыхъ. На столѣ всѣ журналы, кромѣ *Москвитянина*. Не говоритъ никто—о скоты! А претендуютъ на національное". На другой же день Шевыревъ писалъ ему: „Каково же вчера? *Москви-*

тянина нѣтъ на столѣ у Свербеевыхъ, а лежитъ *Современникъ*. Я сдѣлалъ замѣчаніе о *Поджабринѣ* Дмитрію Николаевичу: не мудрено де, что и дочери его прочтутъ на столѣ. Ни о *Москвитянинѣ*, ни о *Двойной жизни* ни слова. Впрочемъ такъ было всегда. Не отсюда жди чего-нибудь, а если придетъ, то отъ немногихъ изъ публики. Я увѣренъ, что вторая книжка возбудитъ участіе въ Петербургѣ". На такое равнодушіе Шевыревъ горько жаловался и Хомякову, который по этому поводу писалъ Погодину: „Послѣ тебя Шевыревъ еще минутъ съ пять горячился, потомъ сталъ на тебя плакаться и потомъ чуть-чуть не плакалъ о тебѣ, говоря, что ты сердишься отъ того, что разстроенъ, а разстроенъ отъ того, что никто ни въ какомъ дѣлѣ тебѣ не помогаетъ, при чемъ разумѣется онъ бранился на не помогающихъ, а тебя хвалилъ. Будь здоровъ и увѣренъ во мнѣ".

Шевыревъ имѣлъ полное право и плакаться, и жаловаться. Онъ одинъ изъ всѣхъ друзей Погодина, не смотря на множество обременяющихъ его трудовъ, ратовалъ въ *Москвитянинѣ* въ защиту *добраго преданія* противъ сильныхъ и числомъ, и талантами, и единодушіемъ, и трудолюбіемъ Западниковъ. До какой степени былъ обремененъ Шевыревъ трудами и какъ деканъ, и какъ профессоръ, всего лучше явствуетъ изъ слѣдующихъ строкъ его къ Погодину: „Да помилуй, отчего же ты не можешь пріѣхать ко мнѣ отобѣдать, если хочешь со мною скорѣе переговорить? Я отъ 10 часовъ до 4 занятъ въ Университетѣ. Вечеромъ я читаю упражненія студентовъ, которыхъ болѣе шестисотъ. У меня дѣла деканскія, протоколы, экзамены учителей, учительницъ, Финляндскихъ уроженцевъ и проч. Ты полный властелинъ своего времени — и я же къ тебѣ ѣзди". Не смотря на это тотъ же Шевыревъ писалъ своему другу: „Я радъ всѣмъ жертвовать — лишь бы пошло дѣло, и ты возвратилъ бы духъ бодрости и спокойствія". Всей душой сочувствуя *Москвитянину*, М. А. Дмитріевъ писалъ Погодину: „Прошу васъ дружески поклониться С. П. Шевыреву. Съ нетерпѣніемъ буду ожидать его статей, его по-

двиговъ противъ Искандера. Это дѣло за религію и философію; не надобно только давать отдыхать оружію въ правой войнѣ за истину" [284]).

За нѣсколько мѣсяцевъ до своей кончины Бѣлинскій напечаталъ въ *Современникѣ* 1848 года *Взглядъ на Русскую Литературу 1847 года*. Въ этомъ *Взглядѣ* онъ пропѣлъ хвалу такъ-называемой *натуральной школѣ*, къ которой принадлежали молодые писатели западнаго направленія: А. И. Герценъ, И. А. Гончаровъ, Н. А. Некрасовъ, И. С. Тургеневъ, Д. В. Григоровичъ, Ѳ. М. Достоевскій и др. „Натуральная школа", писалъ Бѣлинскій,—„стоитъ теперь на первомъ планѣ Русской Литературы. Съ одной стороны мы можемъ сказать, что публика, то-есть, большинство читателей, за нее: это фактъ, а не предположеніе. Теперь вся литературная дѣятельность сосредоточилась въ журналахъ: а какіе журналы пользуются бо̀льшею извѣстностью, имѣютъ болѣе обширный кругъ читателей и бо̀льшее вліяніе на мнѣніе публики, какъ не тѣ, въ которыхъ помѣщаются произведенія натуральной школы? Какіе романы и повѣсти читаются публикою съ особеннымъ интересомъ, какъ не тѣ, которые принадлежатъ натуральной школѣ? Какая критика пользуется бо̀льшимъ вліяніемъ на мнѣніе публики, или, лучше сказать, какая критика болѣе сообразна съ мнѣніемъ и вкусомъ публики, какъ не та, которая стоитъ за натуральную школу, противъ реторической?.. Къ этому должно прибавить, что школы непріязненныя натуральной не въ состояніи представить ни одного сколько-нибудь замѣчательнаго произведенія, которое доказало бы дѣломъ, что можно писать хорошо, руководствуясь правилами, противоположными тѣмъ, которыхъ держится натуральная школа. Всѣ попытки ихъ въ этомъ родѣ послужили къ торжеству натурализма и паденію реторизма" [285]).

Вотъ противъ этой-то школы и выступилъ Шевыревъ. Въ первомъ нумерѣ *Москвитянина* 1848 года онъ напечаталъ *Очерки Современной Русской Словесности*, въ которыхъ старался характеризовать произведенія писателей той школы,

которая — какъ говоритъ онъ — „называетъ себя западною, хотя мы и не признаемъ такою, школою прогресса, хотя мы этого прогресса также въ ней не замѣчаемъ, школою натуральною, чѣмъ мы также не назовемъ ея, потому что натуральное, на сколько оно принадлежитъ искусству, ей, по нашему мнѣнію, кажется совершенно чуждо. Школу эту представляютъ у насъ два дѣятельнѣйшіе журнала, соревнующіе другъ другу въ желаніи угодить публикѣ, сходствующіе именами сотрудниковъ, хотя и враждебные по отношеніямъ издателей, а главное, братья по началамъ — *Современникъ* и *Отечественныя Записки*". Сказавъ кратко, но сильно, о состояніи нашей литературной критики, о ея пристрастіи и неуваженіи къ личностямъ, о нашихъ анонимныхъ и неанонимныхъ герояхъ критики, авторъ говоритъ о произведеніяхъ Искандера, Некрасова, Гончарова, Тургенева, Григоровича.

Изъ всѣхъ писателей этой школы Шевыревъ съ бо́льшимъ сочувствіемъ относится къ произведеніямъ И. А. Гончарова и Д. В. Григоровича и особенно послѣдняго. „Григоровичъ", писалъ Шевыревъ, — „дарованіе идущее впередъ. Онъ вышелъ изъ той же школы, но въ немъ есть и другіе зародыши... Много свѣжести въ языкѣ, много силы и жизни, потому что эта личность всѣхъ болѣе коснулась къ землѣ и народу Русскому, хотя далеко не дошла до всей глубины его, до его сущности".

Въ письмѣ же къ Погодину Шевыревъ говоритъ: „*Антонъ Горемыка* прекрасная повѣсть. Изъ всѣхъ этихъ это одно рѣшительное дарованіе. Старайся пріобрѣсти Григоровича для *Москвитянина*. Они едва ли его оцѣнятъ, а испортятъ, того и гляди".

Познакомившись лично съ этимъ писателемъ, Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Григоровичъ представилъ изображеніе молодого Петербурга и новое направленіе. Пагубное и вмѣстѣ пустое, хоть и не безъ хорошихъ порывовъ, а литература вся продажная".

Словенофилы также весьма сочувственно относились къ

произведеніямъ Д. В. Григоровича. „Встрѣтилъ я на дняхъ Григоровича“, писалъ И. С. Аксаковъ своему отцу,—„котораго не узналъ сначала, но который меня узналъ и искренно обрадовался. Мнѣ самому весело было на него смотрѣть. У него есть положительный талантъ, и талантъ чисто свалившійся съ неба“.

Продолжая разбирать произведенія писателей натуральной школы, Шевыревъ указываетъ на одно противорѣчіе этой школы. „Она“, пишетъ онъ,—„считаетъ себя послѣднимъ лучшимъ плодомъ ново-Европейской Россіи, цвѣтомъ Петровскаго періода, который достигъ въ ней до полнаго сознанія; она отнимаетъ вовсе всякое значеніе Древней Руси и видитъ въ ней совершенное отсутствіе нравственнаго и умственнаго просвѣщенія, которое началось только отъ Петра,—а между тѣмъ никто до сихъ поръ съ такимъ ожесточеніемъ не изображалъ новую нашу дѣйствительность, какъ эта школа, а если и вывела что-нибудь подобное въ своемъ смыслѣ, то какъ существо отвлеченное, потерянное, безъ поприща, безъ сцены дѣйствія.... Во всей этой грустной дѣйствительности хорошее признаетъ школа только развѣ въ самой себѣ, въ своихъ личностяхъ, развившихъ внутренно роковое и ужасное сознаніе о пустотѣ великаго цѣлаго. Тутъ опять высокомѣріе личностей выдается рѣзко надъ презрѣніемъ всѣхъ“ [256]).

Съ своей стороны и Погодинъ, хотя лаконически, но все-таки печатно высказалъ свое мнѣніе о „натуральной школѣ“: „А въ *Современникѣ* все еще являются повѣсти на прежній ладъ натуральной школы. Читатели помнятъ *Колыбельную пѣснь* г. Некрасова, въ коей мать (?) поетъ сыну:

Спи, подлецъ, покуда честный!..

Этотъ же г. Некрасовъ, вмѣстѣ съ г. Станицкимъ, начинаетъ повѣсть *Три страны свѣта* описаніемъ женщины въ родахъ. Пощадите, господа натуралисты! Младенца подкинули. Кто-то пошелъ смотрѣть его: онъ лежалъ красный и сморщенный. Пощадите, господа натуралисты!“

Между тѣмъ Плетневъ, задыхаясь отъ подобныхъ произведеній, взывалъ къ Жуковскому: „Вамъ, Василій Андреевичъ, предлежитъ важнѣйшій теперь подвигъ: составленіе въ видѣ записокъ всего того изъ вашей жизни, что можно передать въ публику. Это лучшее, полезнѣйшее и пріятнѣйшее дѣло для васъ и современниковъ вашихъ. Умоляю васъ приступить къ этому. Дмитріевъ, Карамзинъ, Крыловъ, Батюшковъ и Пушкинъ — сколько главъ одни они доставятъ вамъ для работы. Другія ваши занятія прекрасны — спору нѣтъ; но это необходимѣе, даже священнѣе. Это будетъ завѣтъ вашъ потомству, которое безъ него останется во слѣпотѣ на счетъ прекраснаго прошлаго, бывъ отуманено скаредностью настоящаго, усиливающагося разрушить все лучшее въ Литературѣ".

Само собою разумѣется, что изъ всѣхъ Петербургскихъ журналовъ одно только *Сѣверное Обозрѣніе*, о которомъ скажемъ ниже, и душою котораго былъ В. В. Григорьевъ, отнеслось съ сочувствіемъ и уваженіемъ къ этимъ *Очеркамъ* Шевырева. Тамъ мы прочли: „Г. Шевыревъ принадлежитъ, безспорно, къ лучшимъ нашимъ литературнымъ критикамъ. У него много вкуса, любви къ искусству и — главное, чего недостаетъ бо̀льшей части нашихъ литературныхъ критиковъ — много положительныхъ знаній. Мы во многомъ раздѣляемъ убѣжденія Московскаго критика, и особенно о недостаткѣ въ нашихъ мнимыхъ натуралистахъ животворной любви, которой самое названіе они изгнали, замѣнивъ его языческимъ терминомъ гуманность. Понятіе, которое выражается *гуманностью*, судя по проявленіямъ ея въ нашей Литературѣ, гораздо ниже понятія, которое мы имѣемъ о любви. Любовь налагаетъ на насъ обязанность любить ближняго во всякомъ человѣкѣ, каковъ бы онъ ни былъ. Гуманность же сортируетъ людей и къ большинству ихъ питаетъ даже ненависть или отвращеніе, а изъ ненависти не выйдетъ ничего изящнаго, ничего глубокомысленнаго, ничего возбуждающаго" [287]).

Эти *Очерки* втянули Шевырева въ полемику, и ему пришлось

отвѣчать и *Отечественнымъ Запискамъ*, и *Современнику*, и даже барону Розену и Булгарину [288]).

Въ *Сѣверной Пчелѣ* Булгаринъ напечаталъ свои сужденія о первыхъ двухъ книжкахъ *Москвитянина*, въ которыхъ онъ хвалитъ журналъ и даже *Очерки* Шевырева „по стольку, по скольку въ нихъ есть сужденія, неблагопріятныя представителямъ натуральной школы" [289]).

Противъ этихъ сужденій Булгарина и прочихъ возсталъ Шевыревъ и написалъ отвѣты, которые съ крайнимъ неудовольствіемъ Погодинъ принужденъ былъ напечатать въ *Москвитянинѣ*. „Рецензія Булгарина", писалъ онъ Шевыреву,— „съ похвалами чуть ли не сверху, по моимъ примѣтамъ. Вѣрно, тамъ что-нибудь понравилось, и по этому чутью явилась вдругъ похвала. Булгарину похвалить такъ тебя, а для этого нужно большое усиліе! Мы промолчимъ, а брыкаться не должно, какъ ты говоришь. Недоразумѣніе объяснить, разумѣется, всегда можно, то-есть, что касается до именъ, кои поставлены вмѣстѣ. О Никитенкѣ, какъ собратѣ, судить строго можно, но безъ насмѣшекъ и презрѣнія—такъ я думаю. Онъ виноватъ предъ нами за то, что пропускалъ противъ насъ, не исполняя правилъ цензурнаго Устава,—а что касается до его мнѣній, то это другое дѣло. Впрочемъ брось пока все на эти дни святые". Шевыревъ на это отвѣчалъ: „Да гдѣ же ты видишь похвалу мнѣ отъ Булгарина? Онъ хвалитъ меня во столько, во сколько я нападаю на *Современникъ*. Что тутъ *за сверху*? Ты принимай его похвалы какъ хочешь, а мнѣ онѣ не нужны. Брыкаться съ честными людьми не должно, а съ Булгаринымъ всегда должно. Я молчать не буду—а отвѣтъ мой уже готовъ. Это нисколько не нарушаетъ святыхъ дней моихъ, хотя, конечно, журналъ вовлекаетъ въ такія занятія, которыя скучны и отнимаютъ время у важнѣйшаго". Въ другомъ письмѣ къ Погодину Шевыревъ писалъ: „Сдѣлай милость, не мѣшай ты моимъ распоряженіямъ на счетъ *Отвѣтовъ*. Ни одного я не отложу... Дорожить связью съ *Сѣверною Пчелою* и съ Булгаринами!!!... Неужели таково назначеніе *Москвитянина*?"

Познакомившись съ обновленнымъ *Москвитяниномъ*, М. А. Максимовичъ писалъ Погодину: „Съ перваго дня Свѣтлаго праздника я обрѣтаюсь на моей Михайловой Горѣ, гуляю да и только. На дняхъ получилъ *Москвитянинъ*, и мнѣ напомянулъ счастливыя времена *Московскаго Вѣстника*... для Петербуржцевъ это было бы бранью; но мнѣ тѣмъ именно нравится... *Очерки* Шевырева отмѣнно важны; также и первые *Отвѣты*, гдѣ высказано такъ много дѣльнаго на пользу науки. Вторые *Отвѣты* мнѣ что-то не показались, какъ-то растянуты, хотя кисели, данные молокососу барону разомъ и прочей братіи, удачны“.

Прочитавъ это письмо, Шевыревъ писалъ Погодину: „Максимовичу поклонись отъ меня и поблагодари его за сочувствіе“.

XLIII.

Въ это же время въ *Москвитянинѣ* появилась замѣчательная статья М. А. Дмитріева, подъ слѣдующимъ заглавіемъ: *О натуральной школѣ и народности*.

Еще до напечатанія Дмитріевъ прочелъ свою статью Погодину, и послѣдній подъ 14 іюля 1848 года записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Къ Дмитріеву который прочелъ прекрасную свою статью о натуральной школѣ“.

Наконецъ, 1 августа 1848 года, предъ отъѣздомъ въ деревню, Дмитріевъ препровождаетъ свою статью Погодину при слѣдующемъ письмѣ: „Вотъ вамъ моя статья. И такъ ужъ отдавайте скорѣе, чтобы мнѣ успѣть самому исправить ее въ корректурѣ; или пошлите за одно въ Петербургъ: какъ хотите. Если уже ваша статья, чисто историческая и критическая, подверглась запрещенію, то въ моей, я думаю, каждое слово будетъ камнемъ преткновенія. Одно слово *національность* возбудитъ ужасъ въ людяхъ, которые полагаютъ себя приставленными къ тому, чтобы не пропускать ни одной истины, ни одной мысли. Какъ же это во всѣхъ отчетахъ Министерства Просвѣщенія, во всѣхъ газетныхъ статьяхъ твердятъ,

что Правительство развиваетъ народность и проч., а въ самомъ дѣлѣ боятся, чтобы народъ себя не понялъ. Никогда запрещеніе мысли не доходило до этой степени! Насъ надуваютъ знаніями, какъ пузырь; а послѣ его и завяжутъ, чтобъ они не выскочили наружу. Никогда этого не было. А какъ лопнетъ? Я перечитывалъ на дняхъ многія письма, писанныя въ двадцатыхъ годахъ къ покойному дядѣ, между прочимъ письма Измайлова. Въ нихъ пропасть мелкихъ извѣстій, литературныхъ анекдотовъ и проч. Какъ тогда въ литературѣ все жило, все двигалось и шевелилось. А теперь?.. Нахожу тоже много жалобъ на тогдашнюю цензуру, много стиховъ на цензоровъ и проч. Но думали ли они тогда, что цензура дойдетъ до теперешняго угнетенія слова и мысли. Это было въ сравненіи съ нашимъ временемъ блаженное время, золотое время литературы! Перечитывалъ еще нѣкоторыхъ Нѣмцевъ, писавшихъ еще до Гете, или въ его молодости, даже не очень знаменитыхъ. Какъ они единодушно и съ усердіемъ любви вели, такъ сказать, на помочахъ, мысль народа въ читателяхъ всѣхъ классовъ, чтобы дать имъ ясное, но свободное понятіе и о литературѣ, и о важнѣйшихъ истинахъ! — А у насъ? Допустятъ ли до этого? Между тѣмъ не лучше ли допустить писателей, какъ людей просвѣщенныхъ объяснять понемногу тѣ истины, которыя когда-нибудь вѣдь представятся же людямъ сами собою, но представятся въ кучѣ, безъ яснаго порядка, безъ сознанія, и тогда произведутъ хаосъ, который будетъ болѣе опасенъ, чѣмъ постепенное воспитаніе мысли! Возьмите теперь Исторію. Никогда въ Русской Исторіи не было столько открытій, столько изслѣдованій. И къ чему это? Вотъ вамъ все; берегитесь, только не трогайте и не выводите изъ этого никакихъ результатовъ!—Да къ чему же будетъ намъ служить наша Исторія, ежели ее только помнить, какъ сказку?—А какъ бы нашему писателю написать исторію какого-нибудь Европейскаго народа, когда въ *Москвитянинѣ* запрещено было напечатать, что въ Англіи въ 1399 году финансы были въ дурномъ состояніи? Повѣрятъ ли потомки?

О поэтахъ и говорить нечего: они признаны уже всѣ гуртомъ людьми опасными!—Попробовалъ бы Крыловъ начать въ наше время писать свои басни, или какой-нибудь Милоновъ свои сатиры, или Державинъ свои философическія оды, или князь Долгорукой свои шутливыя оды, и другія, гдѣ много горькихъ истинъ! Да ничего нельзя; отъ того ничего и нѣтъ! Вотъ въ какомъ положеніи наша мысль и наша литература! Одно сердце какого-нибудь Голохвастова можетъ не содрогнуться при этой картинѣ! Желалъ бы, чтобы будущій историкъ нашего времени не пропустилъ этого въ своихъ страницахъ, когда можно будетъ посвятить ихъ истинѣ. Горько и грустно все это!“ Во время печатанія статьи и по поводу цензорскихъ исправленій Дмитріевъ писалъ Погодину: „Старъ я, любезнѣйшій Михаилъ Петровичъ! Прежде расхорохорился бы, а нынче больше всего берегу свое спокойствіе! Богъ съ ними, цензорами...! Да и стоитъ ли труда хлопотать, чтобы въ какой-нибудь фразѣ былъ смыслъ, когда его ни въ чемъ нѣтъ! И кто же это замѣтитъ, когда никто и не прочитаетъ!.. Я нахожу, что цензоръ былъ даже очень милостивъ, что не уничтожилъ всей статьи! Итакъ, возвращаю вамъ и вашу корректуру, и мою: прикажите только окончательно исправить всѣ опечатки“ [290]).

Познакомимся теперь покороче съ самою статьею М. А. Дмитріева.

„Чтобъ изобразить Русскаго человѣка“, писалъ М. А. Дмитріевъ, „вопервыхъ, нужно знать его... Это знаніе даетъ Исторія и обращеніе съ народомъ. Нравы народа объясняются историческою жизнію народа; а Исторія отражается въ нихъ, какъ въ моральномъ своемъ разультатѣ. Но до Исторіи въ произведеніяхъ натуральной школы и дѣла нѣтъ... Какъ объяснить Исторіей нравы чиновниковъ, нанимающихъ чердаки въ захолустьи Петербурга? Кромѣ того, авторы, составляющіе эту школу, изображаютъ чиновниковъ только Петербургскихъ, а чиновники не вездѣ одинаковы. Въ Москвѣ они имѣютъ другіе обычаи, а въ провинціяхъ

опять другіе... Напримѣръ, Московскіе чиновники любятъ болѣе семейную жизнь; а Петербургскіе общественную, внѣшнюю. Петербургскій нанимаетъ на лѣто уголокъ въ болотѣ, который онъ называетъ дачею; а Московскій на эти деньги заведется лошадкой и ѣздитъ въ Сокольники и въ Марьину рощу... Гдѣ же общій типъ чиновниковъ, въ Москвѣ или въ Петербургѣ?.. Не говорю о томъ, но для читателей несравненно любопытнѣе будутъ черты чиновниковъ провинціальныхъ, потому что тамъ они сливаются съ народомъ, составляютъ съ съ нимъ одно и живутъ въ одномъ обществѣ со всѣми жителями города, состоятъ съ ними во взаимной связи... Далѣе эта школа любитъ изображать помѣщиковъ. Но гдѣ такіе люди, какъ, напримѣръ, въ поэмѣ И. С. Тургенева *Помѣщикъ одѣтый стеганымъ халатомъ?* Неужели это типъ помѣщика, деревенскій дворянинъ, котораго бьетъ жена? Неужели такая хватъ-баба, какъ жена этого дворянина, есть типъ деревенскихъ барынь? Послѣ этого никто изъ молодыхъ дворянъ не сталъ бы жениться".

Пользуясь этимъ случаемъ М. А. Дмитріевъ представляетъ намъ прекрасный очеркъ быта и характера деревенскихъ помѣщиковъ. „Главное занятіе помѣщика", пишетъ онъ, „разумѣется, хозяйство, которое требуетъ большихъ попеченій. Эта привычка къ дѣльному труду, эта безпрестанная попечительность о домѣ, о семействѣ, о устройствѣ имѣнія, однимъ словомъ, эта заботливая жизнь, даетъ обыкновенно физіогноміи деревенскаго жителя видъ степенный, нѣсколько суровый: черты его не такъ часто разглаживаются улыбкой, какъ у жителя столицы. Но за то у послѣднихъ никогда не вырвется изъ груди такого громкаго, беззаботнаго хохота, какъ у него! Вообще въ большихъ, столичныхъ обществахъ мы встрѣчаемъ мало физіогномій, мало характеровъ; въ деревняхъ лица—характернѣе, отъ того, что и самые характеры менѣе стерты: штемпель свойствъ природныхъ отъ малаго употребленія рѣзче, грубѣе, но за то яснѣе и чище.

„Кругъ ихъ идей, конечно, не столь обширенъ, какъ у насъ;

но мысли ихъ точнѣе, и мнѣнія свои они высказываютъ опредѣленнѣе нашего. Вопервыхъ, потому, что предметомъ ихъ разговоровъ бываютъ обыкновенно вещи, вполнѣ имъ извѣстныя; вовторыхъ, потому, что въ языкъ ихъ не вошли еще общія фразы, общія условныя выраженія: слѣдовательно, каждый изъ нихъ выражается по своему. Отъ этого выраженіе ихъ оригинальнѣе нашего. У насъ часто недостаетъ формы для мысли, потому что мысль привитая; у нихъ этого не бываетъ: у нихъ всегда мысль, родившаяся на домашней почвѣ, слѣдовательно, выраженіе всегда готово и всегда точно и свойственно языку Русскому.

„Будучи ближе нашего къ землѣ и къ народу и будучи соединены съ послѣднимъ общими выводами, они лучше нашего понимаютъ свои и его выгоды и судятъ объ нихъ обстоятельно, основываясь на опытѣ, а не на теоріяхъ, составленныхъ a priori. Справедливость этого замѣчанія прекрасно выразилъ Крыловъ въ баснѣ *Орелъ и Кротъ*, гдѣ говоритъ послѣдній

Случаясь близъ корней,
Здорово ль дерево, я знать могу вѣрнѣй!

Это могло бы дать большой вѣсъ ихъ мнѣніямъ, еслибы горизонтъ ихъ былъ обширнѣе, еслибы связь различныхъ частей, составляющихъ государство, не ускользала отъ нихъ, по недостатку другихъ свѣдѣній и по незнанію многаго, о чемъ мы знаемъ, гдѣ по близости къ источникамъ, гдѣ по наслышкѣ.

„Деревенскій дворянинъ смѣлъ съ своимъ братомъ дворяниномъ и готовъ сказать въ лицо всю правду, особливо въ досадѣ; но робокъ, остороженъ, уклончивъ передъ высшими и боится прямо высказать свои мысли. Это, конечно, черта нехорошая; но въ ней извиняетъ человѣка то, что онъ живетъ въ захолустьи, не имѣетъ связей и бережетъ болѣе всего свое спокойствіе!

„Старинное Русское хлѣбосольство въ деревняхъ еще въ употребленіи: тамъ живутъ не роскошно, но вообще зажиточно, что стоитъ не дешево, хотя вообще не то, что въ столицѣ.

Конечно, въ деревнѣ многое свое, домашнее; но это многое состоитъ только изъ грубыхъ съѣстныхъ матеріаловъ. Трудность доставать все прочее поставляетъ ихъ въ необходимость быть запасливыми. Въ деревнѣ всѣмъ запасаются заранѣе и въ большомъ количествѣ, по большей части разъ въ годъ, на ярмаркахъ. Эта необходимость сдѣлала деревенскихъ помѣщиковъ разсчетливыми; а разсчетливость вмѣстѣ съ невѣрностью дохода, съ опасеніемъ неурожаевъ и дурныхъ цѣнъ, дала ихъ характеру и во всѣхъ другихъ случаяхъ предупредительность, которая вмѣстѣ съ разсчетливостью, при всемъ ихъ хлѣбосольствѣ, составляетъ тоже не послѣднюю черту ихъ характера.

„Отъ этого происходитъ, что въ деревняхъ меньше мотовства, но меньше и скупости, чѣмъ въ столицахъ. Въ большихъ городахъ люди богатѣютъ иногда игрой, процентами, аферами, предпріятіями! Въ деревняхъ деньги достаются труднѣе, но, смѣло можно сказать, честнѣе!

„У деревенскихъ дворянъ есть тоже нѣкоторыя, общія помѣщичьи слабости. Напримѣръ, ихъ хлѣбосольство, самое радушное, соединяется почти всегда съ нѣкоторою хвастливостію, съ нѣкоторымъ чванствомъ, или по крайней мѣрѣ съ видомъ самодовольствія (чуть было не сказалъ какъ наши Гегелисты: самоосклабленія!). Помѣщикъ любитъ похвастаться и столомъ, и садомъ, и конскимъ заводомъ; иногда даже прихвастнетъ и доходомъ, котораго не получаетъ. Показать себя—это черта Русскаго характера; а имъ какъ не похвастаться! все это трудовое, потовое; всякій рубль—знаютъ, чего стоитъ; всякая копѣйка добыта многими лишеніями.

„Въ деревняхъ не знаютъ еще комфорта (красиваго удобства), тамъ еще дѣйствуетъ Русская пословица: не красна изба углами, красна пирогами. Но любятъ, чтобы было всего вдоволь. Опрятство никогда не было добродѣтелью Словенъ: объ этомъ упоминаетъ Карамзинъ въ своей Исторіи; и понынѣ эта западная добродѣтель не дошла еще до захолустья, и почитается не то, чтобы лишнею, а такъ, до нея дѣло не доходитъ.

„Но за то хлѣбосольство, угощеніе доходятъ иногда до живого, громкаго разгула, особливо на охотѣ. На охотѣ помѣщикъ дѣлается лицомъ истинно характернымъ и любопытнымъ. Тутъ въ жару подвига, въ полнотѣ удовольствія, все забыто, всѣ равны; тутъ на всѣхъ лицахъ какая-то гордость; и не смотря на это, послѣдній дворовый псарь, если онъ знаетъ свое дѣло, въ полѣ, можетъ спорить съ своимъ господиномъ, можетъ при всѣхъ его переспорить, можетъ сказать ему грубость. Тутъ все забывается, все, кромѣ (должно упомянуть и объ этой чертѣ помѣщика), кромѣ тяжбы! Съ кѣмъ тяжба о землѣ, о порубкѣ лѣса, и проч., съ тѣмъ самый добродушный помѣщикъ становится врагомъ, почти непримиримымъ. Отчего это? Какъ согласить это съ прочими ихъ качествами? Очень понятно! Вопервыхъ, зная истинную цѣну земли и всѣхъ угодій, деревенскій помѣщикъ, какъ хозяинъ, дорого цѣнитъ ихъ потерю; ему не такъ легко отступиться отъ своихъ выгодъ, какъ столичнымъ заочнымъ хозяевамъ. Вовторыхъ, и это главное: уступить, проиграть тяжбу—тутъ страдаетъ самолюбіе передъ другими помѣщиками. Да и опасно, чтобы, глядя на это, какъ на признакъ слабости духа или политическаго безсилія въ уѣздѣ, не навязались другіе съ процессами! А литературное удовольствіе писать бумаги и подавать громкія возраженія на исковую просьбу! А искушеніе славы, чтобы заставить говорить о себѣ въ городѣ, въ цѣломъ уѣздѣ—и сдѣлаться на время громкимъ человѣкомъ! Все это питаетъ самолюбіе, которое долго не питалось ничѣмъ... это тоже чего-нибудь стоитъ!

„Чтобы дополнить изображеніе помѣщика, необходимо упомянуть и объ отношеніи его къ крестьянамъ, или, лучше сказать, о взаимныхъ ихъ отношеніяхъ. Русскій человѣкъ, какъ ни склоненъ къ лукавству, но любитъ, чтобъ съ нимъ поступали справедливо. Какъ ни балуй крестьянина, какія ни давай ему льготы, какія ни дѣлай послабленія, но если не будешь съ нимъ справедливъ, если будешь дозволять себѣ требованія, хотя неотяготительныя, но пустыя, недѣльныя,

несвоевременныя, все равно по незнанію ли хозяйства, или по самоволію, и если не будешь твердъ въ своихъ требованіяхъ и приказаніяхъ, они не будутъ любить тебя! Странное противорѣчіе: сами обмануть готовы, а къ себѣ требуютъ справедливости; однако это такъ. Они любятъ справедливость и уважаютъ твердость! Изъ этого происходитъ, что помѣщикъ, хотя и строгій, но знающій хозяйство и справедливый, любимъ крестьянами; а о добромъ, но слабомъ и неразсудительномъ, часто они отзываются съ неуваженіемъ! Хотя и перваго они готовы обмануть при удобномъ случаѣ, но съ осторожностью; а со временемъ, видя его знаніе и правду, и увѣрясь въ его твердости, могутъ и отвыкнуть отъ обмановъ. Но второго они ставятъ ни во что, лѣнятся работать, сперва на него, потомъ на себя, и такимъ образомъ по большей части сами приходятъ въ бѣдность. Патріархальныя отношенія такъ еще сильны въ Россіи, что крестьяне вообще не любятъ посредствующей власти управленія между ими и господиномъ: управитель для нихъ всегда тяжелѣе помѣщика; они всегда предпочитаютъ личное объясненіе съ господиномъ, и въ нуждахъ, и въ жалобахъ. Они любятъ, когда господинъ разговариваетъ съ ними объ ихъ бытѣ, и ничѣмъ такъ не заслужишь ихъ уваженія, какъ если они замѣтятъ, что господинъ разумѣетъ ихъ бытъ, знаетъ свою землю и всѣ ея угодья и выгоды, разсуждаетъ дѣльно и распоряжается основательно. Умные помѣщики всегда довольны своими крестьянами, а тѣ ими! На этихъ простыхъ основаніяхъ, въ романѣ или повѣсти, можно бы представить отношенія помѣщика и крестьянъ въ самой любопытной и живой картинѣ.

„Занимаясь безпрерывно хозяйствомъ, ведя жизнь заботливую, помѣщики любятъ однако и покой, и когда предаются ему въ промежуткахъ между дѣлъ, то уже предаются совершенно: это нѣкоторымъ образомъ Азіатскій кейфъ!—Это переходъ отъ крайности къ крайности, отъ хлопотливости къ бездѣйствію, на которое остается таки довольно времени, но которому они предаются по большей части во второй поло-

винѣ своей жизни, когда имѣніе уже устроено и хлопотъ становится меньше. — Это лѣнивое бездѣйствіе (конечно, и тутъ не безъ исключенія) производитъ то, что послѣ зрѣлаго мужества, они, по наружности своей, быстро приближаются къ старости.—Въ столицѣ некогда состарѣться! Тамъ служба и свѣтская жизнь, обязанность быть всякій день или въ мундирѣ, или во фракѣ, однимъ словомъ, или вытяжка, или приличіе, поддерживаютъ и въ старости наружную бодрость, живость; въ деревнѣ помѣщикъ вдругъ опускается, начинаетъ одѣваться широко, покойно, и пятидесяти лѣтъ смотритъ уже старикомъ. Такимъ образомъ, вопреки мнѣнію знаменитаго Циммермана, въ деревняхъ старость приходитъ ранѣе, по крайней мѣрѣ по наружности, по крайней мѣрѣ къ помѣщикамъ. — Надобно замѣтить, что въ деревнѣ никто и не обидится, если ему скажутъ, что онъ состарѣлся; напротивъ, крестьянинъ, приходя къ помѣщику, который былъ нѣсколько лѣтъ въ отсутствіи, говоритъ ему, какъ привѣтствіе участія: „вотъ и ты, батюшка, ужъ состарѣлся!"—Подъ этимъ скрывается тоже черта патріархальности; старость даетъ право на уваженіе, а уваженіе всякому пріятно.

„Вотъ главныя и общія черты быта и характера деревенскаго помѣщика!—Что же въ нихъ особенно дурного? Похожи ли онѣ на тѣ портреты, которые представляютъ намъ повѣсти новыхъ писателей? Составляютъ ли типъ помѣщика тѣ каррикатуры, которыми они потѣшаютъ своихъ читателей, и узнаешь ли лицо помѣщика въ изображеніяхъ той школы, которая будто бы списываетъ съ натуры? — Нисколько! И не смотря на то, что имъ и чиновникамъ посвящена у насъ цѣлая новѣйшая литература, остается сожалѣть, что наши повѣсти и романы мало изображали тотъ классъ людей, который, по столькимъ причинамъ, заслуживаетъ быть узнаннымъ подробно и представленнымъ въ настоящемъ своемъ видѣ".

Позволимъ себѣ привести еще одно замѣчаніе М. А. Дмитріева о писателяхъ натуральной школы. „Читая ихъ произведенія", пишетъ онъ, „можно подумать, что въ Россіи нѣтъ

честнаго и порядочнаго человѣка! Глупцы, плуты, невѣжи, безнравственные и жалкіе чиновники, смѣшные и презрѣнные помѣщики — вотъ герои большей части тѣхъ повѣстей и романовъ, которыми наполнены нынѣшніе журналы!“ [291])

Въ дополненіе къ этому очерку и ради исторической правды приведемъ здѣсь нѣсколько строкъ изъ *Воспоминаній* автора *Тарантаса*. Въ 1822 году онъ вмѣстѣ съ своею матерью (изъ рода Архаровыхъ) посѣтилъ Симбирское имѣніе Никольское. Какъ столичный житель, онъ былъ пораженъ самою наружностью своихъ крѣпостныхъ крестьянъ: „ихъ сановитость, спокойное выраженіе ихъ лицъ, задушевная простота ихъ пріема. Они скорѣе были похожи на ареопагъ Греческихъ мудрецовъ, чѣмъ на мужицкую толпу. Въ рѣчахъ ихъ постоянно повторялась одна фраза: *Вы отцы наши, а мы дѣти ваши*; это говорилось твердымъ голосомъ, и ничего низкопоклоннаго, рабскаго при этомъ не выказывалось. А между тѣмъ они стояли на колѣняхъ“. Къ пріѣзжимъ господамъ крестьяне оказали свое обычное радушіе. „Густая масса“, повѣствуетъ графъ Сологубъ, „пестраго, мѣстнаго населенія, стоя на колѣняхъ, покрывала почти всю площадь. Мужики безъ шапокъ молчали, бабы всхлипывали, дѣти пищали. Вдругъ послышались возгласы: *Въ добрый часъ, архангельскій, мы вашей милостью довольны, добро пожаловать*! Каждый несъ въ рукахъ какое-нибудь приношеніе отъ своего усердія. Иной держитъ въ рукахъ индѣйку, или курушу, по мѣстному выраженію, другой гуся или утку, кто тарелку съ медомъ, кто тарелку съ яйцами; женщины подносили расшитыя полотенцы. Еле живыя старушки подступали ко мнѣ и къ брату, протягивая пряники. *Возьми, касатикъ, возьми, красавчикъ — Господь привелъ взглянуть на васъ!...*“

Прошло послѣ этого посѣщенія почти сорокъ лѣтъ. Крестьянъ освободили, и графъ В. А. Сологубъ писалъ: „Много есть теперь людей, воображающихъ, что во времена крѣпостного права, когда помѣщики встрѣчались съ своими

крестьянами, то они тотчасъ начинали сѣчь крестьянъ и крестьяне издыхали въ мученіяхъ. Конечно, отъ меня далека мысль написать элегію объ утратѣ крѣпостного права, — изображать о немъ идилліи смѣшно и ложно, — но зачѣмъ же не сказать правды, зачѣмъ не вывести изъ видѣннаго, слышаннаго, испытаннаго, что, помимо ужасающихъ злоупотребленій, бывшій порядокъ вещей поддерживалъ между помѣщиками и крестьянами близкую, такъ сказать, родственную связь" [292]).

XLIV.

Въ теченіе 1846 — 1847 года А. И. Герценъ, подъ псевдонимомъ Искандеръ, печаталъ въ *Отечественныхъ Запискахъ* и *Современникѣ* свой замѣчательный романъ, подъ заглавіемъ: *Кто Виноватъ?* Бѣлинскій въ предсмертной статьѣ своей восторженно привѣтствовалъ это произведеніе друга своего. „Что составляетъ задушевную мысль Искандера, которая служитъ ему источникомъ его вдохновенія?" спрашиваетъ онъ и отвѣчаетъ: „Мысль о достоинствѣ человѣческомъ, которое унижается предразсудками, невѣжествомъ, и унижается то несправедливостію человѣка къ своему ближнему, то собственнымъ добровольнымъ искаженіемъ самого себя... Искандеръ — по преимуществу *поэтъ гуманности*" [293]). „На этихъ дняхъ прочли мы съ Арнольди", писалъ И. С. Аксаковъ изъ Калуги, — „романъ Герцена. Это не художественное произведеніе, если хотите, — но, не говоря о болѣзненномъ желаніи всюду острить, въ немъ много чудесныхъ вещей! Такъ тяжело и тоскливо стало у меня на сердцѣ, когда я прочелъ его, тѣмъ болѣе, что это произведеніе современное, XIX вѣка, болѣзнямъ котораго мы всѣ болѣе или менѣе сочувствуемъ" [294]).

Въ то время, когда *поэтъ гуманности* навсегда порвалъ свои связи съ Отечествомъ, Шевыревъ въ *Москвитянинѣ* началъ печатать *Словарь солецизмовъ, варваризмовъ и всякихъ*

измовъ современной Русской Литературы и въ предисловіи къ нему между прочимъ заявилъ: „Въ числѣ дѣятелей нашей современной Словесности является псевдонимъ, г. Искандеръ. Никто, конечно, не отвергаетъ живого, замѣчательнаго ума въ этомъ писателѣ; но личность, излишне развитая во вредъ Русскимъ понятіямъ и Русской рѣчи, чрезвычайно вредитъ ему самому и его произведеніямъ. Романъ его *Кто Виноватъ?* — вышедшій въ прошломъ году спутникомъ перваго нумера *Современника*, доставилъ намъ обильную жатву для нашего *Словаря*. Мы позволили себѣ назвать эти выраженія, въ честь ихъ изобрѣтателя, *искандеризмами*... Предлагаемыя теперь послужатъ отчасти и матеріаломъ для разбора самого произведенія. Г. Искандеръ можетъ оправдаться въ нихъ развѣ оправданіемъ, подобнымъ тому, какое приноситъ герой его романа, Бельтовъ: какъ передъ симъ послѣднимъ виновата, конечно, Исторія, что онъ ей не занадобился, такъ и передъ г. Искандеромъ виноватъ, конечно, Русскій языкъ, еще не доросшій до такой замѣчательной, такъ широко развившейся личности... Языкъ, приходившійся по мѣркѣ генію Ломоносова, Державина, Карамзина, Крылова, Жуковскаго, Пушкина, не пришелся только по требованіямъ личности господина Искандера". Въ заключеніе своего предисловія Шевыревъ пишетъ, что „одинъ нашъ знакомый составилъ весьма остроумное опредѣленіе Искандеризмовъ словами же самого автора. Эта мозаика, очень забавная, можетъ служить достойнымъ заголовкомъ для нашего собранія: *Искандеризмы, или очень ячныя* (стр. 167) *ненужности* (стр. 144) *Русскаго языка, взлелѣянныя на тухломъ* (стр. 119) *знаніи роднаго слова и мѣшающія господину Искандеру, вообще испорченному западнымъ нововведеніемъ* (стр. 157), *прыгнуть къ намъ съ видомъ Русскаго писателя* (стр. 20)" [295]). Источникомъ для подобнаго словаря послужило также вступительное слово П. М. Леонтьева, и Погодинъ писалъ Шевыреву: „Варваризмы лучше изъ Леонтьева, а то неловко объ одномъ Искандерѣ". Шевыревъ отвѣчалъ: „Леонтьева мнѣ жаль. Можно

помѣстить ихъ да не называть имени, Искандеръ псевдонимъ—другое дѣло. Вообще въ варваризмахъ именъ я называть не буду".

Противъ этого словаря возсталъ умирающій Бѣлинскій. „Самая болѣзненная выходка Шевырева", писалъ онъ,—„касается Искандера: крайне неспокойное отношеніе духа Шевырева къ этому заставило его взять на себя тонъ вовсе не литературный: онъ выписалъ изъ романа: *Кто Виноватъ?* всѣ фразы и слова, въ которыхъ ему захотѣлось увидѣть искаженіе Русскаго языка. Нѣкоторыя изъ этихъ фразъ и словъ дѣйствительно могутъ быть подвергнуты осужденію; но большая часть доказываетъ только нелюбовь Шевырева къ Искандеру. Не понимаемъ, когда находитъ Шевыревъ время заниматься такими мелочами, достойными трудолюбія только извѣстнаго блаженной памяти профессора элоквенціи и хитростей піитическихъ! А что если кому-нибудь придетъ въ голову мысль выписывать изъ статьи г. Шевырева цѣлые періоды, въ родѣ слѣдующаго: *А что теперь иной Русской душѣ, не понимающей настоящаго смысла Древней Русской жизни, кажется исключительно Византійскимъ и какимъ-то мистическимъ и теоретическимъ мудрованіемъ, и даже мелочнымъ умозрѣніемъ, то, что въ себѣ содержитъ самыя простыя и высочайшія истины, такъ это ничего другого не значитъ, какъ только то, что та Русская душа расторгла союзъ съ коренными основами жизни Русскаго народа и уединилась въ свою отвлеченную личность, изъ тѣсныхъ рамокъ которой видитъ собственно свои признаки, а не дѣло.* Впрочемъ, въ такомъ періодѣ мы не можемъ видѣть искаженіе Русскаго языка, а видимъ только искаженіе языка Шевырева, и конечно въ этомъ отношеніи къ Искандеру надо быть строже, какъ къ писателю съ вліяніемъ; но всетаки придираться къ такимъ мелочамъ, значитъ обнаруживать больше нелюбви къ противнику, нежели любви къ Русскому языку и литературѣ, и грозить издалека своему противнику шпилькой или булавкой, когда нѣтъ возможности достать его копьемъ" [296]). На

это Шевыревъ отвѣчалъ, но отвѣта его уже не прочелъ Бѣлинскій: „При видѣ иныхъ явленій нашей Словесности, по моему мнѣнію, безпокойство бываетъ благороднѣе и плодотворнѣе чѣмъ преждевременное старческое равнодушіе другихъ, которые или благоразумно безмолвствуютъ, или малодушно по расчету протягиваютъ руку туда, куда нельзя послать разумнаго сочувствія. Двѣсти семнадцать варварскихъ выраженій въ языкѣ Искандера для Бѣлинскаго кажутся мелочами... Ломоносовъ не любилъ Тредьяковскаго не за иное что, какъ за искаженіе Русскаго языка... Бѣлинскій не такъ думаетъ, какъ Ломоносовъ... Онъ даже подноситъ мнѣ сравненіе съ Тредьяковскимъ за то, что я нападаю на языкъ Искандера, подноситъ, не знаю, который разъ. Благодарю Бѣлинскаго“ [297]).

Бѣлинскій умеръ; живъ Бѣлинскій!

сказалъ князь П. А. Вяземскій [298]).

Что литературныя мнѣнія Бѣлинскаго вошли въ учебники наши, о томъ можетъ между прочимъ свидѣтельствовать книжка почтеннаго Александра Петровича Милюкова, вышедшая въ Петербургѣ въ 1847 году, подъ заглавіемъ: *Очерки Исторіи Русской Поэзіи*, имѣвшая, какъ извѣстно, большой успѣхъ въ учебныхъ заведеніяхъ того времени. Міровоззрѣніе свое А. П. Милюковъ выразилъ въ *Введеніи къ Очерку Исторіи Русской Поэзіи*:

„Лермонтовъ сравнилъ судьбу Россіи съ судьбою одного изъ героевъ нашихъ старинныхъ сказокъ, который тридцать лѣтъ сидѣлъ сиднемъ, и вдругъ, по могучему слову колдуна, очнулся и изумилъ всѣхъ своими подвигами. Въ этихъ словахъ—Исторія Россіи и Русской поэзіи. Въ самомъ дѣлѣ, что такое древняя Русь и что такое новая Россія? Одна — еще грубая, отдѣленная отъ образованнаго міра Китайскою стѣною своихъ нравовъ и предразсудковъ, полная упорнаго презрѣнія ко всему иноземному; другая—юная, могучая, съ жаждою къ просвѣщенію и горячимъ сочувствіемъ къ идеямъ обще-человѣческимъ. Колоссальный образъ Петра стоитъ на рубежѣ двухъ міровъ и, подобно гиганту Родосскому, соединяетъ ихъ,

опираясь одной стопою на пустынный, темный берегъ прошедшаго, другою—на новый, свѣтлый міръ будущаго.

„Поэзія, какъ вѣрная картина народной жизни, дагерротипный снимокъ его духовной дѣятельности, нравовъ и обычаевъ, должна была проявить въ себѣ характеръ этихъ двухъ противоположныхъ міровъ,—и въ ней, дѣйствительно, какъ въ зеркалѣ, отразились тотъ и другой. Разсматривая древнюю нашу поэзію, видимъ слѣды неподвижно-однообразныхъ понятій, продолжительнаго сна, лишеннаго даже видѣній; обозрѣвая новую поэзію, находимъ произведенія, свидѣтельствующія о быстромъ пробужденіи духовной жизни, согрѣтыя благороднымъ чувствомъ, запечатлѣнныя свѣтлыми идеями. Въ одной—едва примѣтное проявленіе духа, огрубѣлаго отъ продолжительнаго бездѣйствія; въ другой — быстрый полетъ ума и фантазіи, воспрянувшихъ отъ вѣковой дремоты и озаренныхъ животворнымъ лучомъ Европейскаго образованія. Такимъ образомъ, исторія нашей Поэзіи, какъ и исторія политической жизни, представляя двѣ совершенно отдѣльныя картины, распадается на двѣ части: на древнюю поэзію — до временъ Петра Великаго, и новую—съ эпохи преобразованія Россіи.

„Что же было причиною бѣдности и продолжительнаго застоя нашей древней Поэзіи и быстрыхъ успѣховъ новѣйшей?

„Поэзія Европейскихъ народовъ возникла изъ двухъ началъ: она или родилась отъ знакомства съ литературою древнихъ, или проистекла изъ самой народной жизни. Которое же изъ этихъ двухъ началъ могло служить источникомъ Поэзіи для древней Руси? Ни то, ни другое!—Войдя въ концѣ X вѣка въ тѣсную связь съ Константинополемъ, Русскіе, повидимому, должны были бы скорѣе другихъ Европейцевъ познакомиться съ поэзіею Греческою, и черпать идеи прямо изъ этого обильнаго источника, тогда какъ западные народы изучали древній міръ изъ литературы Латинской, которая сама была прививною вѣткою, занесенною въ Римъ вмѣстѣ съ другими трофеями. Но вышло иначе. Связи съ Греціею и знакомство съ Греческимъ языкомъ нисколько не послужили къ усвоенію

поэзіи древней Эллады, и еще удалили всякую возможность къ сближенію съ ней. Хотя у насъ и знали о существованіи Гомера, но поэзія древнихъ, какъ памятникъ язычества, считалась еретическимъ гнилословіемъ, не только ничтожнымъ и безполезнымъ, но даже опаснымъ и вреднымъ. Свѣтская поэзія казалась грѣховною, ее преслѣдовали и гнали какъ язву. Знакомство съ литературою Латинскою было еще невозможнѣе; ненависть къ католицизму налагала на Латинскій языкъ печать отверженія. Оставалось Русской поэзіи развиваться изъ собственныхъ началъ жизни. Но могло ли быть значительнымъ это развитіе?.. Удѣльная система, необходимая для сплоченія въ одно цѣлое разнородныхъ элементовъ нашего государства, въ то же время была пагубна, лишивъ его послѣдняго участія въ судьбахъ человѣчества и заключивъ всю жизнь его въ тѣсныхъ предѣлахъ внутреннихъ смутъ и разбоевъ. Отчужденная отъ образованнаго міра Россія вскорѣ назначена была Провидѣніемъ въ число очистительныхъ жертвъ для спасенія Европы отъ нашествія варваровъ и Корана, и, отдѣленная отъ нея нравами и религіею, она не слыхала ни одного слова утѣшенія. Правда, на сѣверѣ былъ уголокъ, гдѣ проявлялось что-то подобное народной жизни. Почти незнакомый съ Татарскимъ игомъ и удѣльными смутами, Новгородъ одинъ былъ въ связи съ Европою; но къ несчастію духъ торгашества препятствовалъ и тамъ полному развитію поэзіи. Впрочемъ, есть причины думать, что лучшія изъ народныхъ пѣсенъ и сказокъ принадлежатъ Новгороду. Могла ли при такихъ обстоятельствахъ возникнуть у насъ поэзія изъ самой жизни, когда эта жизнь, пораженная еще въ самомъ началѣ, принуждена была столько вѣковъ таиться подъ ледяной корою, не согрѣваемая образованіемъ, мертвая и неподвижная?

„Такимъ образомъ особенный способъ воззрѣнія на литературу Греческую мѣшалъ намъ познакомиться съ древними, а несчастныя обстоятельства, въ которыя Россія поставлена была сближеніемъ съ Греціею, удѣльною системою и Монголь-

скимъ порабощеніемъ, подавили въ ней самобытное развитіе народнаго духа. Погруженная въ продолжительный сонъ Русская жизнь не могла проснуться безъ сильнаго потрясенія. Ни призывъ иностранцевъ при Іоаннѣ III, ни просвѣщенныя идеи Годунова, ни сближеніе съ Польшею въ началѣ XVII вѣка, ни Кіевская и Московская Академіи—не въ состояніи были потрясти народный духъ и пробудить умственную дѣятельность. Нужны были геніальный умъ, могучая рука и желѣзная воля, чтобы расшевелить спавшаго богатыря и заставить его сознать свои силы. Явился Петръ. Быстро потрясъ онъ народъ свой, вывелъ изъ темницы, гдѣ столько вѣковъ погрязалъ онъ въ бездѣйствіи—и Россія твердыми, исполинскими шагами пошла по пути къ образованію и славѣ. Начало этой новой жизни, полной духовною дѣятельностію, было и началомъ новой поэзіи. Разумѣется, эта поэзія, какъ и самая жизнь, не могла получить характера самобытнаго, а заключалась въ одномъ усвоеніи чужихъ идей и формъ, въ одномъ безпрерывномъ пріобрѣтеніи того, что было утрачено во время продолжительнаго застоя.

„Ясно, что характеръ древней нашей поэзіи не могъ имѣть ничего общаго съ характеромъ новой, потому что одна выражала постоянный застой неподвижныхъ идей, а другая безпрерывный прогрессъ быстраго развитія. До Петра Великаго все безжизненно: литературные памятники XVII вѣка не только не превосходятъ древнѣйшія произведенія поэзіи, но во многомъ уступаютъ имъ. Напротивъ со временъ Петра все кипитъ жизнію: идеи Кантемира нисколько не сходны съ идеями Симеона Полоцкаго; Державинъ, кажется, цѣлымъ вѣкомъ отдѣленъ отъ эпохи Ломоносова, а поэзія Пушкина шагнула неизмѣримо далеко отъ поэзіи Державина. Не значитъ ли это, что вѣковая неподвижность древней Руси составляетъ совершенно отдѣльную картину отъ кипучей, безпримѣрной дѣятельности новой Россіи? Исторія древней нашей поэзіи показываетъ, что Русскій человѣкъ восемь вѣковъ находился въ неподвижномъ положеніи куколки, и можетъ быть,

долго еще остался бы неподвижнымъ, еслибы не повѣяло на него теплое дыханіе Европейскаго образованія; изъ новой поэзіи видимъ, что тѣсная кокона распалась, мотылекъ отростилъ крылья и готовъ порхнуть въ тотъ очаровательный міръ, гдѣ живутъ и наслаждаются его собраты, ранѣе освѣщенные и согрѣтые божественнымъ лучемъ образованія".

Это міровоззрѣніе, съ сочувствіемъ принятое и *Отечественными Записками*, и *Современникомъ*, само собою разумѣется встрѣтило отпоръ со стороны историка *Русской Словесности, преимущественно Древней*, которая, по убѣжденію его, была *искони сосудомъ вѣры*, и Шевыревъ посвятилъ сочиненію А. П. Милюкова обширную рецензію, которую заключаетъ такими словами:

„Вотъ книжка, которая въ *Современникѣ* была названа очень пріятнымъ явленіемъ и даже явленіемъ рѣдкимъ (дай Богъ, чтобъ такія явленія были у насъ рѣже), и за которую *Отечественныя Записки* благодарили Милюкова. Оно такъ и слѣдуетъ. *Очеркъ* Милюкова есть плодъ *Отечественныхъ Записокъ* и родня *Современнику*, который отроился отъ того же улья, хотя и не пчелинаго. Какъ же *Отечественнымъ Запискамъ* не любоваться плодомъ своимъ, тѣмъ болѣе, что всѣ мнѣнія Милюкова о Русскихъ писателяхъ заимствованы изъ нихъ, какъ онѣ сами сознаются? Впрочемъ нельзя не замѣтить, что и *Современникъ*, и *Отечественныя Записки* хвалятъ Милюкова съ нѣкоторыми ограниченіями и какъ будто робѣютъ того, что сами же произвели? *Отечественныя Записки*, напримѣръ, находятъ уже, что теперь надобно обращать вниманіе и на религіозную, и на нравственную, и на политическую сторону нашей жизни, чтобы объяснять художественныя произведенія; онѣ думаютъ уже, что для уразумѣнія нашей древней жизни нужно писать не Исторію поэзіи, а Исторію литературы, которая обнимаетъ не однѣ пѣсни и сказки, но и литературу историческую и религіозную. Слѣдовательно, неправъ *Современникъ*, что будто бы Милюковъ современенъ, что у него есть взглядъ!... *Отечественныя За-*

писки развиваются, идутъ впередъ. Онѣ начинаютъ даже соглашаться съ тѣмъ, что религія составляетъ главную, существенную основу древней жизни нашей, съ чѣмъ прежде вовсе не соглашались, когда разбирали мою книгу. Вотъ какъ времена переходчивы! Но только къ этой мысли онѣ прибавляютъ свою и вовсе искажаютъ дѣло. „Религія есть то знамя", говорятъ *Отечественныя Записки*, „подъ которымъ подвизалась Древняя Русь. Она исключительно жила этою жизнію и изжила ее въ царствованіе Петра". Это, конечно, lapsus, если не linguae, то пера. Оно же и противорѣчитъ предыдущему. Религія выше названа Божественнымъ Откровеніемъ, вѣчнымъ началомъ. Изжить вѣчное начало нельзя. Можно бы было прибавить къ этому, что мы, благоговѣя передъ обрядами религіи, изображающими для насъ всѣ высочайшія истины, въ ней хранимыя, должны полагать ее теперь не въ одномъ соблюденіи внѣшнихъ обрядовъ, какъ полагала обрядная часть нашихъ предковъ, а стараться вносить ея вѣчныя непреложныя начала въ науку, искусство, жизнь общественную, которыя въ Древней Россіи у насъ не развивались. Вотъ съ этимъ мы совершенно согласимся. Если *Отечественныя Записки*, ловкія на заимствованіе чужихъ мыслей, которыя прежде сами же преслѣдовали, хотятъ брать ихъ на прокатъ для своихъ нумеровъ, то пускай берутъ ихъ уже цѣликомъ безъ своего произвольнаго искаженія. Не все же имъ создавать господъ Милюковыхъ съ ихъ очерками. Дай Богъ дожить имъ до болѣе плодотворныхъ созданій!"

Прочитавъ эту рецензію, М. А. Дмитріевъ писалъ Погодину: „Разборъ С. П. Шевырева *Исторіи Русской Словесности* Милюкова и уменъ, и забавенъ! Вотъ послѣ этакихъ книгъ извольте охранять литературу! Кто-нибудь учившійся по *Отечественнымъ Запискамъ* напишетъ этакую исторію; а тамъ пожалуй ее введутъ и въ употребленіе, какъ *Христоматію* Галахова! Такихъ критикъ надобно побольше".

Одновременно съ обновленіемъ *Москвитянина* въ Петербургѣ, въ 1848 году, изъ *Финскаго Вѣстника* возникло *Сѣ-*

верное Обозрѣніе. Еще 11 іюня 1847 г. В. В. Григорьевъ писалъ Погодину: „Теперь новость, и надѣюсь не непріятная для васъ, если вамъ дорого Русское чувство, если васъ огорчаетъ враждебность Петербургскихъ журналовъ ко всему отечественному, и вообще западная безтолковость и исключительность молодыхъ поколѣній. Я и Савельевъ (оріенталисты) овладѣваемъ духовною частію одного Петербургскаго журнала, и, по мѣрѣ силъ, будемъ стараться заставить его говорить обо всемъ съ точки зрѣнія Русскаго ума и съ Русскимъ чувствомъ. Нашъ журналъ будетъ другомъ *Москвитянину*, если сей послѣдній не опочилъ на вѣки отъ трудовъ... На дняхъ явится къ вамъ Надеждинъ: можете у него разспросить о подробностяхъ касательно нашего журнала. Онъ былъ такъ добръ, такъ благородно помогъ намъ, что я не знаю какъ его благодарить... Я прошу васъ сказать ему, когда увидитесь, какъ дорого намъ участіе его въ дѣлѣ" [299]). На это Погодинъ отвѣчалъ довольно благодушно: „*Москвитянинъ*, кажется, хочетъ подняться. Шевыревъ хочетъ работать, а я не прочь. Тогда намъ, съ однимъ духомъ и направленіемъ, хорошо бъ было поддерживать другъ друга и стоять противъ *духовъ лестчіихъ* .... И незнакомымъ между собою людямъ, но хотя отчасти согласнымъ между собою, не мѣшало бы знать о планахъ взаимныхъ дѣйствій, чтобы успѣшнѣе достигать цѣли, но видно на роду написано нелѣпымъ потомкамъ Словенъ дѣйствовать всегда врознь и... опять скучно писать!" [300])

На запросы Погодина касательно его предпріятія Григорьевъ отвѣтилъ только 2 января 1848 года. „Теперь", писалъ онъ,—„когда дѣло прояснилось, я могу отвѣчать на ваши запросы и отвѣчаю: 1) Контора *Сѣвернаго Обозрѣнія* объявлена у Базунова, стало быть, перенести ее въ контору *Москвитянина* нельзя — по крайней мѣрѣ въ этомъ году. На слѣдующій—дѣло другое. Между тѣмъ и въ нынѣшнемъ году ничто не мѣшаетъ Конторѣ вашей принимать подписку на *Сѣверное Обозрѣніе*, если будутъ являться желающіе. Прошу

извѣстить объ этомъ г. Кораблева. 2) Въ Петербургѣ наша Контора открыта при книжномъ магазинѣ Исакова. Можете поручить ему же и подписку на *Москвитянинъ* въ Петербургѣ. И сдѣлайте это поскорѣе, потому что охотники на *Москвитянинъ* есть, да не знаютъ, у кого подписываться. Напишите мнѣ объ этомъ толкомъ; въ такомъ случаѣ я скажу Исакову, и онъ объявитъ, что подписка принимается у него. 3) Объявленіе о *Сѣверномъ Обозрѣніи* при семъ прилагается. Перепечатывать его въ *Москвитянинѣ* не нужно, а скажите о нашемъ журналѣ толкомъ, когда выдетъ первый нумеръ. Мы тоже по поводу выхода первой книжки *Москвитянина* дадимъ объ немъ нашъ дружескій отзывъ. 4) Экземпляръ *Сѣвернаго Обозрѣнія* будетъ высылаться на ваше имя. Въ замѣнъ вы будете высылать *Москвитянинъ* на мое; но пожалуйста поаккуратнѣе, не черезъ мѣсяцъ по выходѣ книжекъ въ Москвѣ. Подтвердите это г. Кораблеву. 5) Надеждина вы увидите въ Москвѣ прежде меня; отъ него самого и узнаете, гдѣ онъ пропадалъ. 6) Савельевъ доставитъ вамъ свою книгу чрезъ меня, ибо азъ грѣшный думаю въ началѣ февраля явиться въ Москву; тогда же привезу вамъ и разныя разности отъ Бартоломея. 7) Тогда же разскажу и обо всемъ, что касается до *Сѣвернаго Обозрѣнія*. Покуда знайте, что мы намѣрены какъ можно менѣе толковать о Словенофиліи и какъ можно болѣе давать дѣльныхъ статей въ отдѣлѣ критики и наукъ. По многимъ частямъ еще нѣтъ сотрудниковъ, потому что бо̀льшая часть пишущихъ заражена до нельзя западнымъ духомъ. О другихъ журналахъ будемъ говорить въ самомъ умѣренномъ тонѣ; мелочныхъ перебранокъ изъ-за пустяковъ избѣгать; когда зайдетъ дѣло о вопросѣ серьезномъ—драться до послѣдней капли крови. Впрочемъ на успѣхъ я надѣюсь. Воюя я имѣю въ виду лишь требованія моихъ убѣжденій и моего чувства. Fais ce qui dois. 8) Статьи отъ васъ я не просилъ, потому что некогда еще было просить; а если вы такъ добры, что сами вздумали предложить прежде просьбы, принимаемъ съ благо-

дарностію и ожидаемъ съ нетерпѣніемъ. Но уговоръ лучше денегъ: давайте намъ что-нибудь изъ вашихъ историческихъ трудовъ, а не отрывки изъ путешествій. Изъ Петербургскихъ Москвичей намъ усерднѣе всѣхъ помогаетъ А. Н. Поповъ. Будетъ, можетъ быть, работать и Лакьеръ. Собственно же на Московскихъ Москвичей мы покуда ни на кого не можемъ возлагать упованій. Грановскій, хоть и пріятель мнѣ, принадлежитъ къ враждебному лагерю. Соловьевъ—я не беру на себя разгадывать, что это за человѣкъ; прочаго юношества Московскаго я не знаю. Въ заключеніе, позвольте сказать, что издавать разомъ два журнала, какъ это лежитъ теперь на моей шеѣ, и съ моими понятіями объ обязанностяхъ редактора и при теперешнемъ неумѣньи писать правильно по Русски и потому необходимости исправлять языкъ едва ли не всѣхъ и каждаго, чего-нибудь да стоитъ, особенно, когда бо̀льшую половину работы по *Сѣверному Обозрѣнію* несешь gratis, и тогда какъ другимъ сотрудникамъ платится. Ну да что объ этомъ толковать: взялся за гужъ, не говори, что недюжъ" [301]).

Такимъ образомъ учредилось въ 1848 году въ Петербургѣ *Сѣверное Обозрѣніе*, душею котораго былъ В. В. Григорьевъ, привлекшій къ участію въ немъ: П. С. Савельева, А. Н. Попова и И. И. Срезневскаго.

Біографъ В. В. Григорьева въ своей книгѣ приводитъ profession de foi *Сѣвернаго Обозрѣнія*, „или точнѣе—самого В. В. Григорьева". Тамъ сказано, что *Сѣверное Обозрѣніе* „будетъ издаваться въ томъ же религіозно-патріотическомъ духѣ, который всегда болѣе или менѣе проявлялся въ *Финскомъ Вѣстникѣ*... Питая полное уваженіе и сочувствіе ко всему, что есть высокаго и безкорыстнаго въ умственномъ и соціальномъ движеніи Запада, Редакція и бо̀льшая часть сотрудниковъ журнала не ослѣпляется однако же и не увлекается этимъ движеніемъ, находя, что между истинно высокимъ и человѣческимъ есть въ немъ и много суетнаго, мелочнаго, ложнаго . . . . .; что Россія и Западныя Государства

Европы развились и существуютъ подъ совершенно различными условіями, что потому умѣстное и своевременное тамъ можетъ быть у насъ совершенно безвременнымъ и неумѣстнымъ, слѣдственно, не только безполезнымъ, но и вреднымъ; что Россія, не чуждаясь Запада, должна тѣмъ не менѣе развиваться и двигаться къ общимъ цѣлямъ человѣчества самостоятельно, выходя изъ собственныхъ своихъ началъ, иныхъ, чѣмъ западныя, съ величавымъ спокойствіемъ и обдуманностію, противоположными безпокойной суетливости бывшихъ нашихъ учителей; что мы долго дѣтски и слѣпо увлекались ихъ примѣромъ, не сознавая собственнаго достоинства, требованій нашей собственной природы, и увлекались во вредъ себѣ; но что этотъ періодъ пассивнаго увлеченія отживаетъ уже свою пору, настаетъ для насъ періодъ разумнаго самосознанія и самостоятельной дѣятельности, почему въ настоящее время Русскому человѣку слѣдуетъ прежде всего обращаться къ изученію той среды, въ которой онъ живетъ, и направлять свое усиліе къ уясненію задачи существованія того народа, къ которому духомъ и плотію принадлежитъ онъ самъ" [302]). Это исповѣданіе вѣры В. В. Григорьева встрѣтило полное сочувствіе со стороны и Хомякова, и Шевырева, и Погодина. „Въ Петербургѣ молодые люди", писалъ Хомяковъ въ Лондонъ къ священнику Е. И. Попову,—„вышедшіе изъ здѣшняго Университета, стали издавать журналъ *Сѣверное Обозрѣніе* въ духѣ нашего направленія" [303]).

„Честь и слава вамъ", писалъ Шевыревъ самому В. В. Григорьеву,—„что вы рѣшились на подвигъ. Вы, конечно, соберете около себя многихъ. Постоянно выдержанное дѣйствіе укрѣпитъ и силы лицъ отдѣльныхъ. Публика ждетъ другого мнѣнія—и мнѣнія самостоятельнаго Русскаго. Легче быть эхомъ чужаго, нежели выработать свое. *Отечественныя Записки* и *Современникъ* будто бы Западъ, но это—Русская ворона въ западныхъ перьяхъ Люблю я Западъ на Западѣ, но куда пошелъ онъ у насъ. Онъ такъ похожъ на Русское надувательство, что избави Боже! Вотъ пожалуй и *Сынъ Оте-*

чества тоже назовется представителемъ западнаго Просвѣщенія. Послѣдняя книжка его какъ будто бы вышла изъ кабака. Помогай вамъ Богъ ратоборствовать съ этою стоглавою гидрою невѣжества и грубости". „Статья *) для васъ была готова", писалъ Погодинъ В. В. Григорьеву,—„лежала мѣсяца три,—я потерялъ наконецъ терпѣніе, разругалъ васъ на пропалую, и отослалъ статью къ Сербиновичу.... Я радъ, что получилъ отъ васъ письмо. Мнѣ какъ-то было досадно сердиться на васъ".

„Но дѣйствительность", повѣствуетъ Н. И. Веселовскій, „не оправдала ни ожиданія издателей *Сѣвернаго Обозрѣнія*, ни предположеній ихъ доброжелателей... Призывъ къ самостоятельной работѣ мысли и обращенію къ духовной жизни народа, къ самобытности былъ не своевременъ. Публика не оцѣнила направленія *Сѣвернаго Обозрѣнія*, не поддержала журнала, какъ не поддержала она и *Москвитянина*" [304]).

Памятникомъ этого благороднаго усилія В. В. Григорьева остался въ Русской Литературѣ лежащій передъ нами томикъ *Сѣвернаго Обозрѣнія* 1848 года, въ которомъ между прочимъ находимъ: Стихотвореніе графини Е. П. Ростопчиной: *Донна Марія Колонна-Манчини*. Отрывокъ изъ разсказа М. Н. Загоскина: *Московская сваха въ 1711 году*. *Записки* фельдмаршала графа Стединга. Статьи: А. Н. Попова—*Объ Италіанской живописи въ среднихъ вѣкахъ*. *Общій взглядъ на Философію Словесности* графа С. С. Уварова. *Погрѣшности при вычисленіи процентовъ* М. В. Остроградскаго. Романъ Іосифа Корженевскаго—*Спекулатъ*. Статью И. И. Срезневскаго—*О производительности или пользѣ жизни народонаселеній* и пр.

XLV.

Въ то время, когда *Очерки Исторіи Русской Поэзіи* Милюкова вызывали полное сочувствіе со стороны нашихъ вліятельныхъ журналовъ, пять журнальныхъ рецензентовъ, скрывъ

*) Вѣче въ древней Россіи.

„великодушно“ имена свои, употребили все стараніе на то, чтобы „раскрыть“ публикѣ всевозможные недостатки въ *Исторіи Русской Словесности* Шевырева. Имѣя нѣкоторое основаніе думать, что рецензію въ *Сынѣ Отечества* писалъ Н. И. Надеждинъ, Шевыревъ посвятилъ ему въ *Москвитянинѣ* обширную антикритику. Приступая къ написанію ея, Шевыревъ писалъ Погодину: „Первое свободное время я долженъ употребить на отвѣты за мою книгу—и первый отвѣтъ написать твоему же пріятелю Надеждину“. Дѣйствительно, въ *Москвитянинѣ* вскорѣ появилась *Антикритика на рецензіи первыхъ двухъ выпусковъ книги: Исторія Русской Словесности, преимущественно древней*, съ эпиграфомъ изъ Аристофана.

Τὴν παροιμίαν δ'ἐπαινῶ
Τὴν παλαιὰν ὑπὸ λίθου γὰρ
Παντί που χρὴ
Μὴ δάκῃ ῥήτωρ ἀθρεῖν,

то-есть, *Похваляю эту древнюю пословицу: подъ каждымъ камнемъ должно смотрѣть, чтобы изъ-подъ него не укусилъ какой-нибудь риторъ.*

Въ одномъ мѣстѣ своей Антикритики Шевыревъ задѣлъ и И. И. Давыдова. „Напрасно думаетъ *Сынъ Отечества*“, писалъ Шевыревъ,—„чтобы я не занимался Исторіею Русскаго Языка потому только, что я ея не издалъ... Съ 1836 года я началъ преподаваніе Исторіи Русскаго Языка на первомъ курсѣ. Въ 1837 и 38 годахъ я продолжалъ эти занятія—и въ 1838 г. первый началъ читать въ такомъ обширномъ объемѣ Исторію Русской Словесности и пр.“ [305]). Эти строки не ускользнули отъ вниманія И. И. Давыдова, который по поводу ихъ писалъ Погодину: „Отвѣтъ Шевырева другимъ журналистамъ никому не нравится по докторскому тону, несносному для людей грамотныхъ и неприличному для публики. Для кого же такая критика? Въ ней однѣ только controversiae, ни для кого незанимательныя и въ сущности несправедливыя. Такъ, онъ безъ всякой пощады трудовъ другихъ увѣряетъ, будто въ Московскомъ Университетѣ

впервые началъ преподавать Исторію Русскаго Языка и Словесности по памятникамъ, тогда какъ цѣлый легіонъ кандидатовъ и студентовъ найдется, которые засвидѣтельствуютъ, что они слушали Исторію Русской Словесности и Языка прежде его также по памятникамъ. Конечно, послѣ изданія памятниковъ историческихъ и юридическихъ Археографической Коммиссіи, Остромирова Евангелія, Нестора и другихъ преподаваніе Исторіи Языка и Словесности Русской стало обширнѣе, но вмѣстѣ съ тѣмъ и легче, потому что теперь больше способовъ для каждаго преподавателя. Гдѣ же Евангельское ученіе *тою бо мѣрою, ею же мѣрите, возмѣрится вамъ*" [306]).

Между тѣмъ лежавшій въ то время на смертномъ одрѣ Бѣлинскій въ своей лебединой пѣснѣ пропѣлъ Шевыреву слѣдующее: „Въ первомъ нумерѣ *Сына Отечества* за прошлый годъ былъ напечатанъ разборъ лекцій Шевырева. Въ этой статьѣ было сказано и доказано, что трудъ Шевырева — „прекрасный замокъ, построенный изъ облаковъ, очаровательная утопія, обращенная назадъ". Это относится болѣе къ теоретической части лекцій; въ фактической же рецензія видитъ только компиляцію. Рецензентъ *Сына Отечества* скрылъ свое имя, но не скрылъ своей учености, своего знакомства съ Византійскими и Болгарскими источниками. Поэтому статья его такъ сильно подѣйствовала на Шевырева, что онъ не прежде, какъ черезъ годъ, нашелся въ состояніи отвѣчать на нее. Чѣмъ сильнѣе было нападеніе на Шевырева, тѣмъ больше достоинства должно было ожидать отъ его защитника. Такъ ли поступилъ Шевыревъ? Прежде всего онъ изъявилъ свое неудовольствіе, что критикъ *Сына Отечества* скрылъ свое имя, какъ будто бы тутъ дѣло идетъ объ именахъ, а не о наукѣ, не объ идеяхъ, не объ убѣжденіяхъ. Вѣроятно, подъ вліяніемъ своего неудовольствія на эту досадную ему безыменность, Шевыревъ ни съ того, ни съ сего напалъ на Надеждина. Онъ называетъ его иронически „сей ученый мужъ", „высокоученымъ филологомъ", глумится надъ его мнѣніями о Словен-

скихъ нарѣчіяхъ, ни мало не подозрѣвая, что его Аттическая соль сильно сбивается на Словенскій бузунъ. Можно и должно опровергать чужія мнѣнія, если они вамъ кажутся несправедливыми; но это слѣдуетъ дѣлать, вопервыхъ, кстати, вовторыхъ — съ уваженіемъ къ приличію. Шевыреву не худо было бы не забывать, что онъ ученый, что онъ въ Русской литературѣ пользуется по крайней мѣрѣ двадцатилѣтнею извѣстностью, и что все это обязываетъ его быть для молодыхъ литераторовъ примѣромъ положительнымъ, а не отрицательнымъ. Не мѣшало бы также Шевыреву вспомнить, что Надеждинъ нѣкогда былъ его товарищемъ по Университету, такимъ же, какъ онъ, профессоромъ. Но Шевыревъ вовсе лишенъ того литературнаго спокойствія, которое составляетъ силу людей, развившихся наукою и опытомъ жизни: онъ, напротивъ, въ литературѣ безпокоенъ и треноженъ, и оттого безпрестанно вдается въ крайности и промахи, свойственные молодымъ людямъ, только-что бросившимся въ литературную дѣятельность со школьной скамьи“ [307]).

Бѣлинскому уже не удалось прочесть отвѣта Шевырева и на эту свою статью; а отвѣтъ между тѣмъ воспослѣдовалъ: „Бѣлинскій“, писалъ Шевыревъ, — „съ важностью напоминаетъ мнѣ о моемъ званіи какъ ученаго, о моей двадцатилѣтней извѣстности. Въ первый разъ еще слышу такое слово уваженія Бѣлинскаго въ отношеніи ко мнѣ и къ моему ученому званію. Догадываюсь, что все это внушилъ ему мой товарищъ по званію, Никитенко... Бѣлинскій сталъ фешьенабельнѣе въ *Современникѣ*. Какія бѣлыя у него перчатки! Какое достоинство! Какія претензіи на тонъ важный, нравоучительно-назидательный! О немъ скоро можно будетъ сказать то же самое, что сказалъ, кажется, онъ же о Дрезденской Мадоннѣ: c'est le sublime du comme il faut“ [308]).

Одновременно съ Бѣлинскимъ за Надеждина вступились и въ дружественномъ *Москвитянину Сѣверномъ Обозрѣніи*. „Авторъ Антикритики“, сказано тамъ, — „вообразилъ себѣ, кажется, что разборъ его книги въ *Сынѣ Отечества* напи-

салъ Н. И. Надеждинъ, и по этому безпрестанно противопоставляетъ печатныя сужденія Надеждина сужденіямъ *Сына Отечества*. Мы можемъ однакожъ увѣрить Шевырева, что статья *Сына Отечества* писана не Надеждинымъ, и онъ вѣрно будетъ жалѣть о многихъ выходкахъ, сорвавшихся у него съ пера, противъ этого ученаго" [309]). Собираясь самъ возражать *Сѣверному Обозрѣнію*, Погодинъ писалъ Шивыреву: „Кажется, лучше отложить твои замѣтки до окончанія моихъ, а то, увидя два имени вмѣстѣ, закричатъ наши друзья: „Ну, вотъ— выступили вмѣстѣ инвалиды и хотятъ учить" и т. п. Впрочемъ это мнѣ только кажется, а ты поступи, какъ хочешь". Тѣмъ не менѣе Шевыревъ отвѣчалъ: „Благодарю *Сѣверное Обозрѣніе* за дружелюбный привѣтъ статьямъ моимъ въ *Москвитянинѣ*. Мнѣ онъ тѣмъ пріятнѣе, что я самъ сочувствую благородному направленію этого журнала, хотя, можетъ быть, въ отношеніи къ идеямъ и основаніямъ не вполнѣ ясно высказанному. Въ моей Антикритикѣ на рецензію *Сына Отечества* противъ моей *Исторіи Русской Словесности* *Сѣверное Обозрѣніе* нашло „много фактовъ, дѣльныхъ замѣчаній и нѣсколько пристрастныхъ выходокъ, какъ, напримѣръ, противъ Надеждина". Для полноты сужденія слѣдовало бы *Сѣверному Обозрѣнію* выразить съ тою же искренностью мнѣніе свое и о самой рецензіи *Сына Отечества*. Оно о ней ничего не сказало. Выходки мои противъ Надеждина не пристрастны, а всѣ основаны на положительныхъ данныхъ, за достовѣрность которыхъ я ручаюсь своимъ именемъ. Ошибки, сдѣланныя Надеждинымъ въ его изслѣдованіяхъ объ Исторіи Русскаго языка, напечатанныхъ въ Вѣнскихъ *Jahrbücher*, ошибки, скажу словами *Сѣвернаго же Обозрѣнія*, колоссальныя!" По поводу же увѣренія *Сѣвернаго Обозрѣнія*, что статья въ *Сынѣ Отечества* писана не Надеждинымъ, Шевыревъ замѣчаетъ, что „въ этомъ увѣрять надо было прежде. У насъ есть міръ литературныхъ слуховъ, которыми пренебрегать извѣстнымъ ученымъ и литераторамъ не должно. И въ Петербургѣ, и въ Москвѣ до-

скихъ нарѣчіяхъ, ни мало не подозрѣвая, что его Аттическая соль сильно сбивается на Словенскій бузунъ. Можно и должно опровергать чужія мнѣнія, если они вамъ кажутся несправедливыми; но это слѣдуетъ дѣлать, вопервыхъ, кстати, вовторыхъ — съ уваженіемъ къ приличію. Шевыреву не худо было бы не забывать, что онъ ученый, что онъ въ Русской литературѣ пользуется по крайней мѣрѣ двадцатилѣтнею извѣстностью, и что все это обязываетъ его быть для молодыхъ литераторовъ примѣромъ положительнымъ, а не отрицательнымъ. Не мѣшало бы также Шевыреву вспомнить, что Надеждинъ нѣкогда былъ его товарищемъ по Университету, такимъ же, какъ онъ, профессоромъ. Но Шевыревъ вовсе лишенъ того литературнаго спокойствія, которое составляетъ силу людей, развившихся наукою и опытомъ жизни: онъ, напротивъ, въ литературѣ безпокоенъ и встревоженъ, и оттого безпрестанно вдается въ крайности и промахи, свойственные молодымъ людямъ, только-что бросившимся въ литературную дѣятельность со школьной скамьи" [307]).

Бѣлинскому уже не удалось прочесть отвѣта Шевырева и на эту свою статью; а отвѣтъ между тѣмъ воспослѣдовалъ: „Бѣлинскій", писалъ Шевыревъ, — „съ важностью напоминаетъ мнѣ о моемъ званіи какъ ученаго, о моей двадцатилѣтней извѣстности. Въ первый разъ еще слышу такое слово уваженія Бѣлинскаго въ отношеніи ко мнѣ и къ моему ученому званію. Догадываюсь, что все это внушилъ ему мой товарищъ по званію, Никитенко... Бѣлинскій сталъ фешьенабельнѣе въ *Современникѣ*. Какія бѣлыя у него перчатки! Какое достоинство! Какія претензіи на тонъ важный, правоучительно-назидательный! О немъ скоро можно будетъ сказать то же самое, что сказалъ, кажется, онъ же о Дрезденской Мадоннѣ: c'est le sublime du comme il faut" [308]).

Одновременно съ Бѣлинскимъ за Надеждина вступились и въ дружественномъ *Москвитянину Сѣверномъ Обозрѣніи*. „Авторъ Антикритики", сказано тамъ, — „вообразилъ себѣ, кажется, что разборъ его книги въ *Сынѣ Отечества* напи-

салъ Н. И. Надеждинъ, и по этому безпрестанно противопоставляетъ печатныя сужденія Надеждина сужденіямъ *Сына Отечества*. Мы можемъ однакожъ увѣрить Шевырева, что статья *Сына Отечества* писана не Надеждинымъ, и онъ вѣрно будетъ жалѣть о многихъ выходкахъ, сорвавшихся у него съ пера, противъ этого ученаго" [309]). Собираясь самъ возражать *Сѣверному Обозрѣнію*, Погодинъ писалъ Шивыреву: „Кажется, лучше отложить твои замѣтки до окончанія моихъ, а то, увидя два имени вмѣстѣ, закричатъ наши друзья: „Ну, вотъ— выступили вмѣстѣ инвалиды и хотятъ учить" и т. п. Впрочемъ это мнѣ только кажется, а ты поступи, какъ хочешь". Тѣмъ не менѣе Шевыревъ отвѣчалъ: „Благодарю *Сѣверное Обозрѣніе* за дружелюбный привѣтъ статьямъ моимъ въ *Москвитянинѣ*. Мнѣ онъ тѣмъ пріятнѣе, что я самъ сочувствую благородному направленію этого журнала, хотя, можетъ быть, въ отношеніи къ идеямъ и основаніямъ не вполнѣ ясно высказанному. Въ моей Антикритикѣ на рецензію *Сына Отечества* противъ моей *Исторіи Русской Словесности Сѣверное Обозрѣніе* нашло „много фактовъ, дѣльныхъ замѣчаній и нѣсколько пристрастныхъ выходокъ, какъ, напримѣръ, противъ Надеждина". Для полноты сужденія слѣдовало бы *Сѣверному Обозрѣнію* выразить съ тою же искренностью мнѣніе свое и о самой рецензіи *Сына Отечества*. Оно о ней ничего не сказало. Выходки мои противъ Надеждина не пристрастны, а всѣ основаны на положительныхъ данныхъ, за достовѣрность которыхъ я ручаюсь своимъ именемъ. Ошибки, сдѣланныя Надеждинымъ въ его изслѣдованіяхъ объ Исторіи Русскаго языка, напечатанныхъ въ Вѣнскихъ *Jahrbücher*, ошибки, скажу словами *Сѣвернаго* же *Обозрѣнія*, колоссальныя!" По поводу же увѣренія *Сѣвернаго Обозрѣнія*, что статья въ *Сынѣ Отечества* писана не Надеждинымъ, Шевыревъ замѣчаетъ, что „въ этомъ увѣрять надо было прежде. У насъ есть міръ литературныхъ слуховъ, которыми пренебрегать извѣстнымъ ученымъ и литераторамъ не должно. И въ Петербургѣ, и въ Москвѣ до-

вольно единогласно говорили, что статья принадлежитъ Надеждину. Люди достовѣрные объявляли, что слышали это будто отъ самого Надеждина. Его имя, довѣренность къ его учености дали этой статьѣ значеніе, котораго безъ этихъ слуховъ она бы не получила. Вотъ почему и я рѣшился прежде всѣхъ отвѣчать ему, потому что другія рецензіи не обратили на себя такого вниманія. До Надеждина или до его пріятелей, вѣроятно, эти слухи доходили: отчего же они не отвергли ихъ печатно? Надеждину точно непріятно бы было, особенно теперь, признать себя авторомъ статьи, изъ которой ясно видно, что авторъ не знаетъ даже Апостола. Сознаюсь искренно, что въ отвѣтѣ своемъ я имѣлъ въ виду Надеждина, какъ своего противника. Но онъ и его пріятели должны меня благодарить за то, что я искренностью своихъ нападеній, хотя направленныхъ не въ ту цѣль, далъ имъ поводъ снять съ Надеждина отвѣтственность за рецензію, которую напрасно ему почти всѣ приписали. Многіе пріемы рецензента, признаюсь мнѣ, показались весьма похожими на пріемы Надеждина. Статья, казалось, если и не имъ писана, то подъ его диктовку или подъ его непосредственнымъ вліяніемъ. Баронъ Розенъ побоялся тоже, чтобы статью не приписали ему, и объявилъ о томъ въ *Сѣверной Пчелѣ*, хотя никто и не спрашивалъ его объ этомъ. Баронъ выдалъ головою какого-то *Г. Выш-скаго*, котораго полное имя не рѣшился выставить. Вся эта комедія, признаюсь, очень забавна. Но Г. Выш-скій можетъ утѣшиться тѣмъ, что Бѣлинскій признаетъ въ немъ ученость и обширныя свѣдѣнія въ Византійскихъ и Болгарскихъ источникахъ. Бѣлинскій вѣдь и самъ, конечно, опытный знатокъ въ этомъ дѣлѣ. Иначе, конечно, онъ не рѣшился бы такъ выразиться о г. Выш-скомъ. Кому неизвѣстна добросовѣстность Бѣлинскаго?“ [310])

Между тѣмъ Погодинъ писалъ Надеждину: „Ты ли писалъ рецензію на Шевырева? Я не вѣрю и рецензію приписываю барону Розену“. По поводу этого предположенія Шевыревъ писалъ Погодину: „Однимъ изъ сильныхъ возраженій противъ мнѣнія тво-

его, что это статья Розена служатъ его же выраженія: *наша церковь* и т. п. Розенъ протестантъ. Если Надеждинъ объявитъ, что писалъ не онъ,—надобно объявить автора. Объявитъ Розенъ—я объявлю радость, что онъ обратился".

Какъ бы то ни было, но и Хомяковъ статью противъ Шевырева приписывалъ Надеждину; а Антикритику Шевырева причислялъ къ отраднымъ явленіямъ нашей Литературы и писалъ въ Лондонъ къ протоіерею Е. И. Попову: „Недавно вышла весьма дѣльная статья Шевырева въ оправданіе его лекцій о Русской Словесности противъ нападковъ Надеждина" [311]). Погодинъ же, въ свое оправданіе за защиту Надеждина, писалъ Шевыреву: „Разбирая мои письма, нашелъ я нечаянно копію одного письма къ Надеждину *)... Прочти— и ты увидишь, слѣпъ ли я. Я вижу сучье въ глазахъ ближняго, но я вижу и достоинства. Можно имѣть такой-то порокъ и вмѣстѣ другую добродѣтель. О шарлатанствѣ или пыли въ глаза я писалъ ему въ глаза тоже. Надеждинъ дѣлалъ мнѣ точно тѣ же требованія, какъ и профессору Древней Русской Словесности".

XLVI.

23 ноября 1847 года князь П. А. Вяземскій писалъ Погодину: „Занимаюсь теперь корректурою приложеній своихъ къ *Фонъ-Визину*. Текстъ уже отпечатанъ. Надѣюсь, что книга явится къ новому году. Мой *Фонъ-Визинъ*—настоящее дитя холеры. Въ первую холеру онъ родился, а во вторую поступилъ въ люди. Чувствую невыгоду долгаго держанія его подъ домашнимъ кровомъ. Многое, что, можетъ быть, было ново за семнадцать лѣтъ тому, теперь сказано и пересказано и успѣло даже быть искажено. Но видно такая моя судьба. Я никогда не умѣлъ барышничать ни обстоятельствами, ни собою, ни временемъ. Напротивъ, я впадалъ въ другую крайность. Я всегда какъ будто выжидалъ убытка. У меня свои

*) См. *Жизнь и Труды М. П. Погодина*. С.-Пб. 1892. Кн. VI, стр. 97—99.

два правила: не спѣши, сдѣлаешь скорѣе; не дѣлай сегодня того, что́ можешь отложить до завтра: рѣже будешь раскаяваться. Но правду сказать и то, что я эти правила употребилъ во зло; а какъ доберешься до сущности, то окажется, что главная причина всему: Русская, православная лѣнь и безпечность“ [312]).

Наконецъ, въ 1848 году Русская Литература обогатилась драгоцѣнною книгою: *Фонъ-Визинъ*. Сочиненіе князя Петра Вяземскаго.

Гоголь сказалъ объ авторѣ: „Въ его книгѣ *біографія Фонъ-Визина* обнаружилось еще виднѣе обиліе всѣхъ даровъ, въ немъ заключенныхъ. Тамъ слышенъ въ одно и то же время, политикъ, философъ, тонкій оцѣнщикъ и критикъ, положительный государственный человѣкъ и даже опытный вѣдатель практической стороны жизни, словомъ, всѣ тѣ качества, которыя долженъ заключать въ себѣ глубокій историкъ въ значеніи высшемъ, и еслибы такимъ же перомъ, какимъ начертана біографія Фонъ-Визина, написано было все царствованіе Екатерины, которое уже и теперь кажется намъ фантастическимъ отъ чрезвычайнаго обилія эпохи и необыкновеннаго столкновенія необыкновенныхъ лицъ и характеровъ, то можно сказать почти навѣрно, что подобнаго, по достоинству, историческаго сочиненія не представила бы намъ Европа“ [313]).

Въ предисловіи къ своей книгѣ авторъ между прочимъ заявляетъ: „Знаю, что объявляя о возрастѣ книги моей, подвергаю ее предварительному подозрѣнію и осужденію нѣкоторыхъ критиковъ. Они рѣшили, что книги стараго поколѣнія никуда не годятся, и что въ послѣднее пятнадцатилѣтіе Литература наша такъ далеко ушла, что все прежнее должно быть предано забвенію или равнодушно принято къ свѣдѣнію. Но опасеніе съ этой стороны на меня нисколько не дѣйствуетъ. Мнѣ никакъ не вѣрится, что послѣдній періодъ литературной дѣятельности Карамзина и Пушкина долженъ быть признанъ за младенчество, а нынѣшній періодъ за періодъ возмужалости и совершеннолѣтія Литературы нашей. Каюсь

въ невѣріи своемъ и откровенно и смѣло выставляю годъ рожденія книги моей“.

Когда книга князя П. А. Вяземскаго вышла въ свѣтъ, то Погодинъ писалъ Шевыреву: „Получилъ ли ты *Фонъ-Визина*. Вотъ его надо разобрать. Цензурная гроза прошла. — Литературно мы должны теперь ихъ доколачивать, и это можно ловко, напримѣръ, по поводу книги стараго писателя Вяземскаго“.

Книга эта нашла себѣ въ лицѣ Шевырева достойнаго цѣнителя. Въ *Москвитянинѣ* онъ напечаталъ разборъ ея и выразилъ въ немъ много прекрасныхъ, поучительныхъ мыслей. „Въ то время“, писалъ онъ, — „какъ журнальная литература наша, суетно взявши на себя едва ли данное ей право быть представительницею молодыхъ поколѣній, разрываетъ связи настоящаго съ прошедшимъ и празднуетъ шабашъ замѣчательныхъ личностей во имя какого-то отвлеченнаго понятія всей литературы, — старѣйшіе представители нашей славной, нашей истинной Словесности, которая не пройдетъ, подобно эфемернымъ листамъ журналовъ, напоминаютъ намъ о себѣ произведеніями, достойными ихъ имени и славы нашего отечества на поприщѣ мысли и слова. Нетерпѣливо ждемъ мы, когда явится у насъ *Одиссея* въ мраморныхъ стихахъ Жуковскаго. Младшій сверстникъ и другъ его, князь Вяземскій, даритъ намъ въ біографіи Фонъ-Визина живую картину умственной стороны Екатеринина вѣка, опытъ въ Литературѣ Русской еще небывалый, плодъ мысли не отвлеченной, а зрѣлой и опытной, воспитанной трудомъ жизни, — наблюденіемъ внимательнымъ, добросовѣстными изысканіями, многостороннею начитанностью. Авторъ показалъ младшимъ поколѣніямъ примѣръ скромности, рѣдкой въ наше время. Осмнадцать лѣтъ пролежала эта рукопись въ портфелѣ Автора. Мы знали ее только по нѣкоторымъ отрывкамъ, напечатаннымъ въ *Утренней Зарѣ*, и ожидали съ нетерпѣніемъ вполнѣ. Но осмнадцатилѣтній искусъ не даромъ прошелъ для этого сочиненія: онъ послужилъ къ тому, чтобы болѣе обнаружить внутреннюю цѣнность его и достоинство“.

Замѣтивъ, что „пятнадцатилѣтнее самохвальство Петербургскихъ журналовъ“ стремилось къ тому, чтобы „разорвать навсегда связи со всею нашею Литературою и начать съ самихъ себя ея существованіе“, Шевыревъ продолжаетъ: „Въ Исторіи Русской Словесности есть черта особенная, приносящая честь нравственному характеру нашихъ славнѣйшихъ писателей: это память благоговѣйнаго преданія и уваженія, которая преемственно переходитъ отъ одного къ другому и всегда постоянно хранится, не смотря на движеніе мыслей, на измѣненіе потребностей времени, формъ словесныхъ произведеній и языка. Ломоносовъ выразилъ уваженіе свое ко всѣмъ писателямъ древней Руси, указавъ на пользу книгъ церковныхъ въ Россійскомъ языкѣ, и тѣмъ связалъ древнее съ новымъ. Мы знаемъ благоговѣніе его къ Дмитрію Ростовскому. Державинъ славилъ Ломоносова. Взглядъ на сего послѣдняго и краткій разговоръ съ нимъ подѣйствовали на Фонъ-Визина. Карамзинъ воспѣлъ барда Невы, Державина, стихами; его кольнуло въ сердце, когда онъ услыхалъ о смерти пѣвца *Фелицы.* Постоянная, неразрывная, чистая дружба между земляками, Карамзинымъ и Дмитріевымъ, почти съ самаго дѣтства, есть достопамятная черта въ біографической Исторіи Русской Литературы. Крыловъ признательно помнилъ, что Дмитріевъ вызвалъ его на поприще баснописца, готовя въ немъ себѣ опаснаго соперника. Батюшковъ первый почувствовалъ необходимость воссоздавать характеры нашихъ славныхъ писателей въ двухъ своихъ опытахъ о Ломоносовѣ и Кантемирѣ; въ посланіи къ Жуковскому и Вяземскому онъ изобразилъ бесѣду свою съ лучшими нашими поэтами; Карамзину высказалъ онъ, что умѣлъ чувствовать его геній. Жуковскій въ своемъ посланіи къ Дмитріеву выразилъ благодарность ему, какъ своему предшественнику и учителю, и благоговѣніе къ памяти Карамзина:

О, какъ при немъ все сердце разгоралось!
Какъ онъ для насъ всю землю украшалъ!
Въ младенческой душѣ его, казалось,
Небесный ангелъ обиталъ!

Лежитъ вѣнецъ на мраморѣ могилы;
Ей молится Россіи вѣрный сынъ,
И будитъ въ немъ для дѣлъ прекрасныхъ силы
Святое имя: Карамзинъ.

Пушкинъ въ посланіи къ Жуковскому, какъ къ непосредственному своему учителю, словомъ благодарности помянулъ всѣхъ тѣхъ, которые воспитали его музу и вызвали ее къ дѣятельности. Ломоносовъ у него — веселье Россіянъ, полуночное диво! Въ частныхъ бесѣдахъ выражался онъ такъ объ Ломоносовѣ, что говорить объ немъ надо Русскому человѣку, снимая шляпу. Сердце его забилось и отроческій голосъ зазвенѣлъ, когда въ Лицеѣ, передъ семидесятилѣтнимъ Державинымъ, онъ читалъ эти стихи:

Державинъ и Петровъ героямъ пѣснь бряцали
Струнами громозвучныхъ лиръ.

Признательно вспоминалъ онъ, какъ старикъ Державинъ, сходя въ гробъ, благословилъ его. Памяти Карамзина посвятилъ онъ *съ благоговѣніемъ и благодарностію трудъ, геніемъ его вдохновенный*, лучшее свое произведеніе: *Бориса Годунова*".

Переходя затѣмъ къ князю Вяземскому и къ его книгѣ, Шевыревъ писалъ: „Книга, которая теперь передъ нами, если взглянуть на нее съ нравственной стороны, представляетъ также дань признательнаго уваженія, которую приноситъ одинъ изъ старѣйшихъ представителей нашей Словесности ея славному прошедшему. Здѣсь эта дань нашла выраженіе уже не въ восторженномъ стихѣ, не въ порывѣ благороднаго чувства, не въ скромномъ посвященіи, а въ ясномъ разумномъ сознаніи, въ трудѣ аналитическомъ и отчетливомъ, который, обнимая Фонъ-Визина, объемлетъ собою почти весь первоначальный періодъ нашей литературы въ ново-Европейскихъ формахъ, вплоть до Дмитріева и Карамзина. Въ Карамзинскомъ періодѣ князь Вяземскій занимаетъ мѣсто дружелюбнаго посредника между четырьмя или пятью поколѣніями. Родственныя и дружественныя отношенія связывали его съ Карамзинымъ. По Карамзину онъ былъ близокъ и къ Дмитріеву. Не даромъ судьба ему присудила быть дружкой у

Крылова на его золотой свадьбѣ съ музою и славить этотъ достопамятный пиръ отъ имени всей Русской Словесности. Въ предпріятіи соорудить памятникъ Крылову участвовало его теплое слово. Самъ онъ младшій сверстникъ того поколѣнія, во главѣ котораго стоитъ Жуковскій. Пушкинъ питалъ къ нему постоянное чувство дружбы. Сверстники Пушкина, Баратынскій, Дельвигъ и другіе были съ нимъ также въ самыхъ близкихъ сношеніяхъ. Черезъ это поколѣніе князь Вяземскій протягивалъ всегда дружелюбную руку и тому, которое слѣдовало за нимъ. Онъ готовъ протянуть ее и всѣмъ поколѣніямъ во имя благороднаго званія литератора, которымъ самъ всегда гордился и которое умѣлъ цѣнить въ себѣ и въ другихъ выше иныхъ случайныхъ титловъ".

Эту свѣтлую черту въ своей характеристикѣ князь Вяземскій, по замѣчанію Шевырева, „конечно, раздѣляетъ со всѣми нашими даровитыми дѣятелями въ словѣ, но немногіе такъ сильно, такъ убѣдительно, такъ постоянно дѣйствовали въ этомъ смыслѣ". Далѣе Шевыревъ примѣчаетъ въ характерѣ князя Вяземскаго и другую любезную черту: „Житейская любезная общительность — яркая черта въ характерѣ сего писателя, — и пребываніе его то въ Москвѣ, то въ Петербургѣ много содѣйствовало къ тому, чтобы утвердить за нимъ это мѣсто посредника между поколѣніями писателей" [314]).

Разборомъ Шевырева князь П. А. Вяземскій былъ очень доволенъ и вотъ что писалъ своему критику:

„Я еще не благодарилъ васъ, любезнѣйшій Степанъ Петровичъ, за вашъ внимательный и благосклонный разборъ моего *Фонъ-Визина*... Но за внѣшними революціями и за внутреннею холерою, право, какъ-то не писалось. Не стану хвалить вашъ разборъ, потому что такою похвалою я косвенно себя похвалю, а это негодится и неприлично. Скажу вамъ одно и скажу искренно, что прочитавъ ваши замѣчанія, я почувствовалъ, что книга моя имѣетъ нѣкоторое достоинство. Вы меня законнымъ образомъ разрѣшили полюбить мой трудъ... Отъ здѣшнихъ критикъ я ровно ничего не пріобрѣлъ. Въ нашихъ

критикахъ вообще замѣчательно удивительное мастерство не понимать автора, котораго они разбираютъ... Въ вашей критикѣ, напротивъ, авторъ себя повѣряетъ и какъ въ чистомъ зеркалѣ видитъ себя... Помните, вы нѣкогда оказали подобную заслугу и Гете. Послѣ вашего разбора новаго его *Фауста* онъ лучше понялъ твореніе свое. Если и Гёте пришлось благодарить васъ за такое пособіе, то легко можете вообразить себѣ, сколько я, недостойный и смиренный, обязанъ вамъ благодарностью и самодовольствіемъ“ [315]).

Кромѣ критикъ, Шевыревъ печаталъ въ *Москвитянинѣ* и отрывки изъ своего путешествія по Сѣверу Россіи, такъ въ мартовской книжкѣ появились *Александровъ* и *Переяславль-Залѣскій*. Эти отрывки вызвали ѣдкое замѣчаніе недружелюбнаго къ Шевыреву И. И. Давыдова, писавшаго Погодину: „Вообще журналъ вашъ хорошъ, но сдѣлайте милость, оберегайте С. П. Шевырева... Вѣдь онъ въ кабинетѣ своемъ думаетъ, что можно съ публикою говорить, какъ съ учениками-школьниками. Посмотрите, что онъ говоритъ въ мартовскомъ *Москвитянинѣ*: *Да, встрѣчается нерѣдко на Руси, что крестьянину отъ работы некогда и къ обѣднѣ сходить, бываютъ иные только на Пасху, разъ въ годъ. А послѣ тѣ же самые, которые къ тому причиною, готовы въ своихъ пышныхъ салонахъ укорять крестьянина въ недостаткѣ религіознаго образованія*. Возможно ли писать, а вамъ съ Лешковымъ пропускать такую нелѣпость, вредную для васъ самихъ! Когда же дворяне и помѣщики мѣшаютъ крестьянамъ ходить въ церковь? Напротивъ, они ихъ къ тому побуждаютъ. Да этимъ-то все и держится“.

Въ отдѣлѣ критики обновленнаго *Москвитянина* выступилъ и анахоретъ Кубаревъ, не смотря на то, что по своей крайней мнительности, онъ находился въ паническомъ страхѣ отъ холеры. „Мнѣ, кажется“, писалъ онъ Погодину, — „ты совсѣмъ потерялъ разсудокъ. Можно ли думать о чемъ-нибудь въ такое страшное время? *Я теперь думать объ этомъ не могу*. Отвѣтъ Гофману давно уже готовъ у меня, но какъ теперь объ этомъ думать? Да приведетъ Господь увидѣться

намъ по прежнему. Можетъ быть, къ сентябрю, а можетъ быть и раньше, холера прекратится, а къ тому времени и студенты соберутся, и тогда отвѣтъ будетъ ко времени“ [316]).

Дѣло въ томъ, что профессоръ Греческой Словесности Московскаго Университета Карлъ Карловичъ Гофманъ издалъ учебную книгу Латинскаго языка (Донатъ). Кубаревъ, скрывшись подъ псевдонимомъ *А—а*, написалъ ѣдкую критику на отрывокъ изъ рѣчи господина профессора Гофмана, произнесенной имъ еще 10 іюня 1844 года и содержавшей въ себѣ *очеркъ новѣйшей философіи, съ непрерывнымъ экзегетическимъ и грамматическимъ комментаріемъ по случаю изданной имъ книги Доната* [317]).

Шевыревъ былъ противъ напечатанія этой критики. „Я боюсь“, писалъ онъ Погодину, — „что ты напечатаніемъ статьи Кубарева поссоришь меня съ Гофманомъ, который будетъ вымещать на студентахъ вражду свою ко мнѣ. Къ чему разбирать рѣчь, которая написана тому назадъ четыре года? Это просто желаніе придраться и разругать. Если это разборъ Доната — другое дѣло. Ученый разборъ такой книги — вещь желанная. А разборъ рѣчи къ чему“.

Въ 1848 году на поприще критики въ *Москвитянинѣ* выступилъ ученикъ Рѣдкина и Кавелина, Михаилъ Николаевичъ Капустинъ, тогда студентъ Московскаго Университета *). 11 октября того года онъ обратился къ Погодину съ слѣдующимъ письмомъ: „Покорнѣйше прошу васъ помѣстить прилагаемый разборъ *Руководства* Рождественскаго, этого неумышленнаго грѣха Петербургскаго профессора, въ *Москвитянинѣ*, если вы найдете статью мою достойною вашего журнала и сообразною съ его направленіемъ. Если вамъ угодно будетъ, то я съ удовольствіемъ стану доставлять вамъ разборы всѣхъ юридическихъ книгъ, выходящихъ въ Россіи и для слѣдующей книжки приготовлю рецензію *Записокъ о Церковномъ Законовѣдѣніи*. Въ случаѣ такого обязательства съ моей стороны я буду имѣть право безденежно пользоваться

*) Нынѣ попечитель С.-Петербургскаго Учебнаго Округа.

однимъ экземпляромъ вашего журнала. Согласіе ваше или несогласіе потрудитесь передать или прямо письмомъ ко мнѣ, или чрезъ контору *Москвитянина*. Жительство имѣю близъ Никитскихъ воротъ на Тверскомъ бульварѣ въ домѣ княгини Ухтомской“ [318]).

Предметомъ критики въ этомъ случаѣ была книга стараго Петербургскаго профессора Николая Ѳедоровича Рождественскаго: *Руководство къ Россійскимъ Законамъ*. Погодинъ нашелъ статью М. Н. Капустина достойною печати и напечаталъ ее въ *Москвитянинѣ* [319]).

Какъ напечатаніемъ статьи Кубарева, по разнымъ соображеніямъ былъ недоволенъ Шевыревъ, такъ точно напечатаніемъ статьи Капустина остался недоволенъ Горловъ. „Пожалуйста не задирайте и не зацѣпляйте“, писалъ онъ Погодину изъ Петербурга; „это не приноситъ денегъ, а истина пусть сама пролагаетъ себѣ путь. Есть въ *Москвитянинѣ* рецензія на книгу профессора Рождественскаго, въ которой рецензентъ не находитъ ученой системы и ученыхъ достоинствъ. Но надо знать, что эта книга составлена по программѣ Министерства Юстиціи, какъ *руководство въ гимназіяхъ*, гдѣ открыты юридическіе курсы, и что въ два мѣсяца разошлось ея тысячу экземпляровъ. При томъ она совсѣмъ маловажное явленіе для того, чтобъ объ ней говорить. Послѣ того надо будетъ распространяться въ журналѣ о всякой ариѳметикѣ и грамматикѣ, введенныхъ въ училищахъ, и смотрѣть на нихъ съ высшей точки философіи и науки!... Мнѣ нельзя теперь просить и Попечителя послѣ одиннадцатаго нумера *Москвитянина*, а я ему показывалъ часто вашъ журналъ. Онъ покровительствовалъ книгѣ Рождественскаго, и она дѣйствительно по цѣли очень хороша“.

XLVII.

Послѣ Шевырева самымъ вѣрнымъ сотрудникомъ *Москвитянина* былъ М. А. Дмитріевъ. Мало того, что Дмитріевъ дѣлалъ постоянные вклады въ этотъ журналъ, онъ, кромѣ

того, слѣдилъ за его ходомъ и дѣлалъ Погодину свои замѣчанія. Такъ, по поводу напечатаннаго во второй книжкѣ журнала *Обзора поэтическихъ произведеній за 1847 годъ* г. *Н. Г.* Дмитріевъ писалъ: „Разборъ стихотвореній нехорошъ! Шутливость дается только человѣку веселому, насмѣшка въ критикѣ прощается только остротѣ, а онъ шутитъ безъ веселости, и очень не остро! Посовѣтуйте ему призвать тѣнь А. И. Писарева и у него поучиться! — Извините, еще одно замѣчаніе о критикѣ. *Москвитянинъ* разбираетъ больше тѣ книги, которыя для него самого имѣютъ цѣну по цѣли и содержанію; а нужно бы разбирать и тѣ, на которыя бросается толпа читателей: разборы этихъ произведеній будутъ больше интересовать ихъ и, можетъ быть, выводить на хорошій путь; а за ними и тѣ найдутъ большій кругъ читателей и надоумятъ на другое, лучшее чтеніе!—Этимъ *Москвитянинъ* ни мало не потеряетъ своего характера и нисколько не пойдетъ по слѣдамъ другихъ журналовъ: тѣ угождаютъ, а онъ будетъ переучивать: онъ будетъ истиннымъ оплотомъ Литературы и Исторіи!—А между тѣмъ, когда издаешь журналъ, нужны подписчики; а подписчики тѣ же покупатели, требующіе товаръ, который имъ нуженъ! — Здѣсь сосѣди присылаютъ мнѣ *Отечественныя Записки*: только и разрѣзаны повѣсти, а иногда литературная лѣтопись; вотъ что́ читаетъ масса подписчиковъ! Хорошъ и *Современникъ*! *Отечественныя Записки* иностранныя слова берутъ цѣликомъ, а онъ переводитъ: напримѣръ, штемпель или чеканъ для монеты—у него называется: *уголъ* (потому что по Французски le coin). До чего эти люди доведутъ наконецъ Русскій языкъ! Объ этомъ прошу васъ представить отъ меня Степану Петровичу рапортомъ, потому что это по его вѣдомству“. Въ томъ же письмѣ читаемъ и слѣдующее: „Жалко, до чего мы дошли съ заботами о просвѣщеніи, о Европеизмѣ, что нельзя сказать никакой мысли; это, что ли, называется прогрессъ?—А признаюсь, мало въ наше время описывать въ стихахъ природу; хотѣлось бы выражать въ нихъ тѣ

мысли, которыхъ у насъ не переноситъ проза! По крайней мѣрѣ въ послѣднія десять лѣтъ моего писанья я всячески выбивался, чтобы сказать какую-нибудь правду-истину, не выносимую безпокойной прозой; а безъ этого у насъ человѣку въ зрѣломъ возрастѣ, а особенно подъ старость, какъ мнѣ, не стоитъ заниматься поэзіей. Право, подумаешь, еще у насъ много крѣпкихъ соковъ, которые сами просятся наружу! А безъ того—изъ чего это появляются новые таланты—Бергъ, Миллеръ и другіе?... Для кого и изъ какой надежды?"

Погодинъ весьма также дорожилъ участіемъ въ *Москвитянинѣ* А. С. Стурдзы, который съ своей стороны писалъ ему: „Въ настоящемъ случаѣ у меня двоякая передъ глазами цѣль: одна—посильно содѣйствовать успѣхамъ любимаго мною журнала; другая—и признаюсь главная—возбуждать и возгрѣвать усыпленное невѣдѣніемъ вниманіе и сочувствіе христіанскихъ душъ на Руси къ тому, что̀ дѣется въ колыбели христіанства, не чуждой намъ", то-есть, въ Палестинѣ; но „хирургическіе пріемы духовной цензуры", какъ онъ выражается, должны были остепенить рвеніе его въ содѣйствіи *Москвитянину* своими трудами.

Пострадавшій за участіе въ Украйно-Словенскомъ Обществѣ и въ то время Тульскій заточникъ Кулѣшъ имѣлъ также влеченіе къ *Москвитянину*. „Не смотря на грозную тучу, помрачившую дни мои", писалъ онъ Погодину,—„вы, уповаю, не перестали считать меня человѣкомъ еще живущимъ и не безплодно живущимъ. Можетъ быть, временемъ засіяетъ и надо мною солнце и позволитъ мнѣ явить на свѣтъ то, что̀ нынѣ пишется, но не смѣетъ показаться въ печати. Можетъ быть, не разъ еще явимся мы съ грубоватою, мужиковатою моею музою и въ *Москвитянинѣ*. Чего не можетъ быть? Въ этомъ-то отрадномъ упованіи дерзаю вознести къ вамъ гласъ свой въ качествѣ бывшаго и, по закону вѣроятностей, будущаго сотрудника *Москвитянина*, и просить васъ бросить ко мнѣ въ Тулу нѣсколько лучей ва-

шего разума, а попросту сказать—распорядиться о высылкѣ мнѣ по прежнему вашего *Москвитянина*". О своемъ житьѣ-бытьѣ Кулѣшъ писалъ: „Я въ Тулѣ принятъ какъ нельзя хуже; не знакомъ ни съ одной душою; живу съ женой какъ на необитаемомъ острову; учусь, читаю, пишу и—сказать ли вамъ удивительную вещь?—предоволенъ своею участью!" Въ другомъ своемъ письмѣ Кулѣшъ сообщаетъ Погодину: „Я не получилъ еще позволенія печатать свои сочиненія и не получу его до тѣхъ поръ, пока не представлю въ Третье Отдѣленіе Канцеляціи Его Императорскаго Величества такого произведенія, которое бы показало Правительству, что современные политическіе вопросы для меня, какъ для писателя, не существуютъ, и что одно безотносительно прекрасное сдѣлалось моею цѣлью. Съ этимъ намѣреніемъ я приступилъ къ роману изъ временъ Самозванца Отрепьева и завязываю его въ Сѣверной Украйнѣ, гдѣ скопище сподвижниковъ Косолапа вмѣстѣ съ людьми опальныхъ бояръ, вмѣстѣ съ безсильными командами воеводъ и ихъ чиновниковъ и жизнь приграничная, всегда отличная отъ жизни странъ центральныхъ, представляютъ довольно романтическій концепцій (люблю я очень это слово, да не могу перевести; оно у насъ покамѣстъ ново, и врядъ ли быть ему въ чести). Я по возможности намѣренъ избѣгать извѣстныхъ историческихъ картинъ, а больше буду стараться ловить такіе случаи, гдѣ историкъ и радъ бы что-нибудь сказать да не смѣетъ въ важномъ своемъ парадѣ своротить съ большой дороги на проселочную, неизвѣстную, не означенную верстами. Все это пишется къ вамъ, вы уже и сами знаете для чего. Вопервыхъ, для того, чтобы вспомнить старину, когда молодые писатели уважали свое дѣло и не иначе къ нему приступали, какъ съ одобренія людей опытныхъ и почитаемыхъ. Въ этомъ отношеніи вы для меня безцѣнный кодексъ Русской Исторіи и старины, равно какъ и наставникъ, воспріявшій отъ рожденія не одинъ талантъ нашей литературы и видѣвшій собственными глазами значеніе, образованіе и твореніе не одного великаго

произведенія. Вовторыхъ, для того, что вы обладаете матеріальными средствами для поддержанія моего сочиненія. Многое вы сами издали, многое вы имѣете. Я же здѣсь въ Тулѣ, отчужденный отъ общества какою-то непонятной ко мнѣ непріязнью вездѣ, гдѣ я ни пробовалъ показываться, имѣю подъ рукою весьма немного книгъ. Поэтому, еслибы предположить, что вы благоволите снабдить меня на извѣстное время кой-какими матеріалами, то я съ радостью принялъ бы на свой счетъ пересылку ихъ изъ Москвы и доставилъ бы ихъ обратно въ назначенное время. Скупить же всѣ книги, изъ которыхъ я могу заимствовать свѣдѣнія о данной эпохѣ, не позволяетъ мнѣ разсудокъ, потому что я до сихъ поръ считаюсь на службѣ безъ всякаго жалованья и не знаю, сколько мѣсяцевъ и лѣтъ буду безъ жалованья. Губернатора я не вижу, и онъ обратилъ на меня не больше вниманія, какъ на самаго обыкновеннаго канцелярскаго чиновника. Вотъ-то какія обстоятельства: истинно поэтическія!“ Вскорѣ послѣ того Кулѣшъ извѣщаетъ Погодина, что вмѣсто романа написалъ онъ *Исторію Бориса Годунова* и *Димитрія Самозванца*, которую въ рукописи отправилъ на цензуру въ Третье Отдѣленіе съ упованіемъ, что оно отворитъ ему дверь въ типографію. Вмѣстѣ съ тѣмъ Кулѣшъ такъ отзывается о *Москвитянинѣ:* „Какъ мнѣ нравится *Москвитянина* солидный тонъ и религіозно-философскій характеръ! Всякая книжка его непремѣнно заронитъ въ душу нѣсколько мыслей, коимъ оставаться тамъ вѣчно. Спасибо Москвѣ: она многое отстояла и отстоитъ еще въ будущемъ“.

Не смотря на то, что А. Д. Галаховъ всецѣло принадлежалъ къ Западной партіи, тѣмъ не менѣе онъ обратился къ Погодину съ предложеніемъ напечатать въ *Москвитянинѣ* свою повѣсть. Погодинъ, съ своей стороны, обратился за совѣтомъ къ Шевыреву, и послѣдній отвѣчалъ: „Если повѣсть Галахова соотвѣтствуетъ духу *Москвитянина*, отчего же и не напечатать? Онъ забѣгала извѣстный“.

Въ выборѣ сотрудниковъ Погодинъ не рѣдко руковод-

ствовался столь присущимъ ему чувствомъ человѣколюбія къ *людямъ отчаяннымъ*. Такъ, одинъ бѣдняга, по имени Василій Дементьевъ, обратился къ нему (30 ноября 1848 г.) съ слѣдующимъ письмомъ: „Не имѣю чести знать титула вашего, да здѣсь онъ и не нуженъ: я пишу это къ *человѣку*, забывая о его славѣ. Что̀ можно знать и понимать человѣку, то вы знаете и понимаете *прямо*, и такое странное объясненіе васъ не удивитъ. Покинувъ родителей, я далеко зашелъ искать знанія,—а тамъ родители, быть можетъ, умираютъ... Борьба съ ужасной нищетой истощила мои силы: выбиться же собою изъ этого ужаснаго положенія силъ я не имѣлъ: я мало учился. Отчаяніе!.. Пришла необыкновенная мысль прибѣгнуть къ человѣку, котораго я даже не видалъ, но котораго, какъ мнѣ кажется, хорошо знаю, что̀ и заставило меня забыть дистанцію между мною и имъ. Не думаю, чтобъ мои стихи можно было напечатать въ издаваемомъ вами журналѣ: они дурны; я никогда и не мечталъ быть поэтомъ. Но я хочу учиться; клянусь вамъ всѣмъ, что есть святого,—я всему хочу учиться; (я боюсь, чтобъ этого не приняли за заученную роль Шекспира, Ломоносова) и стихи мои я представилъ вамъ въ мысли, — нельзя ли изъ нихъ заключить, что я способенъ хоть къ чему-нибудь, что я могу довольно четко и правильнѣе многихъ писать. Въ моемъ ужасномъ положеніи я не могъ ничего кончить, если и хотѣлъ высказаться (сколько успѣлъ выстрадать) и предпринималъ, хотя грубо и слабо, очертить какіе-нибудь характеры. Я живу въ Хамовническомъ частномъ домѣ, гдѣ сначала содержался арестантомъ. Не нужна исторія моей жизни,—лишь *теперь* ужасная безжизненность, или жизнь не моя окружаетъ меня. Выдти мнѣ не въ чемъ: я полунагой,—потому я и рѣшился съ отчаянія такъ странно объясниться съ вами. Чего же я хочу отъ васъ?... Не благоволите ли доставить мнѣ средствъ снискивать какимъ угодно трудомъ кусокъ хлѣба, лишь бы оставалось сколько-нибудь свободнаго времени, въ которое я могъ бы учиться... Ожидать, чтобъ прислали платье—конечно, дерзко, странно! На-

дѣюсь! Но надежда не можетъ сопровождать меня до гроба... Ужели и вы скажете, что это глупость? (Я и самъ не знаю, что это, какъ не знаю, что и для чего я существую; но все-таки я страдаю). Послѣ этого ничего не остается мнѣ. Неужели говорить о благодарности?.. Если это—глупая выходка, то простите меня. Если моя просьба будетъ исполнена, и исполнена вами!.. Или не будетъ конца моимъ ужаснымъ, ужаснымъ страданіямъ".

Къ письму этому Погодинъ не остался глухъ и сталъ собирать свѣдѣнія о писавшемъ. Частный приставъ Хамовнической части доставилъ Погодину слѣдующія біографическія о немъ данныя: „Василій Дементьевъ есть уволенный ученикъ Костромской Духовной Семинаріи изъ курса Философіи; ему выдано было свидѣтельство срокомъ на одинъ годъ для пріисканія рода жизни: срокъ въ маѣ мѣсяцѣ сего года онъ пропустилъ и не приписался никуда, потому что не только бы было на что ему хлопотать, но не имѣлъ даже средствъ купить гербовой бумаги. Въ августѣ мѣсяцѣ сего года, явясь ко мнѣ въ часть, объявилъ, что онъ подлежитъ суду за пропущеніе срока; я, по обязанности службы, Дементьева представлялъ генералу *), и дѣло было представляемо къ его сіятельству **). Графъ дѣло его передалъ на разсмотрѣніе губернскому правленію: въ правленіи дѣло было предположено обратить по дистанціи; между тѣмъ мною дознано, что Дементьевъ, явившись ко мнѣ въ первый разъ, былъ доволенъ принятіемъ въ часть, въ счетъ арестантовъ, потому что не ѣлъ нѣсколько сутокъ, просить подаянія не рѣшался. Обслѣдовавъ все, я за удовольствіе принялъ участіе въ Дементьевѣ, помѣстилъ въ число писарей канцеляріи, принялъ хлопоты по его дѣлу, и онъ безъ всякаго штрафа долженъ быть причисленъ къ обществу. О увольненіи отъ себя я жалѣю о Дементьевѣ; но за грѣхъ поставляю лишать счастія—бѣднаго человѣка". Къ этому же

*) И. Д. Лужину.

**) Графу А. А. Закревскому.

письму частный приставъ приписалъ и слѣдующее: „Позвольте надѣяться, что вы меня на будущее время не лишите какихъ-либо могущихъ услугъ по службѣ, для меня будетъ лестно и пріятно“.

Такимъ образомъ участь Дементьева рѣшилась: онъ поступилъ въ число сотрудниковъ Погодина.

Въ то же время обратилась къ Погодину другая личность и тоже изъ несчастныхъ. Нѣкто Григорій Павловичъ Хлоповъ писалъ ему:

„Слава *Москвитянина* гремитъ повсюду, а издатель его такой человѣкъ, который, кромѣ свѣтлаго ума и обширныхъ знаній, имѣетъ добродѣтельную душу. Она отражается въ его сочиненіяхъ, согрѣтая любовію къ Богу и ближнимъ, полная вѣры въ святое Провидѣніе и чистая какъ небесная голубица. Къ такому-то человѣку я осмѣливаюсь прибѣгнуть. Разскажу въ короткихъ словахъ все дѣло. Еще въ младенческихъ лѣтахъ я лишился моихъ родителей. До теперешняго двадцатичетырехъ-лѣтняго возраста судьба играла мною, перебрасывая въ разныя стороны. Кончивши курсъ въ одномъ изъ среднихъ учебныхъ заведеній, я прослужилъ три года деревенскимъ учителемъ, а эту должность оставилъ назадъ тому четыре мѣсяца. Въ продолженіе сихъ четырехъ мѣсяцевъ, живя здѣсь въ Москвѣ безъ должности, я сильно разстроился въ своихъ дѣлахъ, ибо не могъ поступить на службу, не могъ пріискать себѣ ни одной кондиціи и никакого занятія. Впрочемъ безъ благодѣтелей, безъ друзей и безъ денегъ иначе и быть не могло, а между тѣмъ что-нибудь да нужно, чтобы существовать. Теперь же мнѣ остаются два средства: или просить милостыню, или умирать съ голоду. Первое стыдно, а второе можетъ случиться, если никто не обратитъ на меня вниманія. Васъ я еще съ отроческихъ моихъ лѣтъ привыкъ считать вторымъ Карамзинымъ, а потому и рѣшился обезпокоить васъ моимъ письмомъ, въ надеждѣ, что вы примете во мнѣ хотя маленькое участіе. Я порядочный каллиграфъ, если не могъ до сихъ поръ пріобрѣсти кондицій, то желаю за-

няться хотя перепиской; почеркъ мой вы можете видѣть изъ сего письма. Я сочиняю стихи и повѣсти, конечно, не смѣю просить васъ помѣщать ихъ въ журналѣ, но изъ нѣсколькихъ стихотворныхъ и прозаическихъ сочиненій, представленныхъ вамъ ежемѣсячно, быть можетъ, что-нибудь вы и удостоите вашего вниманія. Я желалъ бы быть полезнымъ отечеству и на ученомъ поприщѣ, но не имѣю средствъ и источниковъ, потому что нѣтъ у меня нужныхъ для сего книгъ, и ни одна библіотека для меня не открыта. Сдѣлайте милость, не допустите меня исчезнуть въ горькомъ горѣ. Буду ждать отъ васъ отрадной строки. Какъ истинный Русскій человѣкъ я всегда уважалъ и почиталъ такихъ великихъ мужей нашего отечества какъ вы, и теперь съ истиннымъ почтеніемъ и благоговѣніемъ къ особѣ вашей имѣю честь быть..." [320]).

Дальнѣйшая судьба Хлопова намъ неизвѣстна.

XLVIII.

Не смотря на то, что Погодинъ съ Шевыревымъ были связаны узами тѣсной неразрывной дружбы, между ними происходили непрерывныя столкновенія. Такъ было прежде, такъ стало и теперь, когда въ 1848 году Шевыревъ принялъ горячее участіе въ изданіи *Москвитянина*.

Въ своемъ объявленіи объ изданіи возобновленнаго *Москвитянина* на 1848 годъ Погодинъ между прочимъ заявилъ объ учрежденіи при редакціи *Москвитянина* комитета, состоявшаго изъ нѣсколькихъ лицъ, „взявшихъ въ свое вѣдѣніе разныя отдѣленія". Но комитетъ этотъ, разумѣется, бездѣйствовалъ, и это бездѣйствіе раздражало Шевырева. „Какъ же ты хочешь", писалъ онъ Погодину,—„чтобы публика тебѣ вѣрила, когда ты вновь передъ нею несостоятеленъ, и когда объявленіе твое оказалось пуфомъ? Объявленъ *комитетъ*—гдѣ онъ? Весь *комитетъ*—я да ты, ты да я".

Не касаясь другихъ господъ членовъ этого несчастнаго комитета, скажемъ только о двухъ: И. Я. Горловѣ и А. А. Григорьевѣ.

Завѣдующій отдѣленіемъ Политической Экономіи и соприкосновенныхъ съ нею наукъ, И. Я. Горловъ былъ въ это время поглощенъ своими служебными дѣлами и потому лишенъ былъ возможности принимать дѣятельное участіе по своему отдѣленію, такъ какъ именно въ это время онъ перебирался изъ Казани въ Петербургъ для занятія въ здѣшнемъ Университетѣ „опустѣвшей съ увольненіемъ Порошина“ каѳедры Политической Экономіи и Статистики.

Внукъ извѣстнаго автора *Записокъ* о цесаревичѣ Павлѣ, Викторъ Степановичъ Порошинъ, въ 1847 году оставилъ Петербургскій Университетъ, гдѣ онъ занималъ каѳедру Политической Экономіи. Въ Университетскомъ Словарѣ сказано только: „домашнія обстоятельства и заботы принудили Порошина оставить нашъ Университетъ“ [321]); но И. И. Давыдовъ писалъ Погодину: „Увольненіе Порошина загадочное. Кажется, причины не важныя; болѣе всего дѣйствовало удальство. Онъ имѣетъ независимое состояніе—и слѣдовательно, смотритъ на службу по барски“.

Преемникъ Порошина и начальникъ отдѣленія въ *Москвитянинѣ* И. Я. Горловъ, переселившись въ Петербургъ, 22 января 1848 года писалъ Погодину: „Я наконецъ отыскалъ себѣ квартиру на Васильевскомъ островѣ, въ Биржевой линіи... Весною устрицъ сколько, самыхъ свѣжихъ, и эти подвозы будутъ совершаться въ виду моей квартиры, которой окна выходятъ на Неву. Пожалуйста пріѣзжайте въ Петербургъ покушать свѣжихъ устрицъ; вы увидите, что я васъ угощу самыми знаменитыми. Теперь мнѣ остается хлопотать о мебели. Среди такого обнаженія, которое представляетъ теперь моя квартира, я дома почти не живу. Не терплю мерзости запустѣнія. По той причинѣ я покорно прошу васъ меня извинить, если въ настоящемъ мѣсяцѣ не пришлю статей; но постараюсь за это въ будущемъ“.

Что же касается до завѣдовавшаго отдѣленіемъ Европейскаго Обозрѣнія А. А. Григорьева, то онъ еще въ 1847 году откровенно писалъ Погодину: „Прежде всего всѣ на свѣтѣ

вещи должны быть опредѣлены съ точностью: это же нужно сдѣлать съ моими отношеніями къ вашему журналу—и кромѣ того, къ вамъ собственно. Вамъ угодно было назначить меня редакторомъ одного отдѣленія въ *Москвитянинѣ*—но вмѣсто того чтобы ограничить мою обязанность сообщеніемъ современныхъ извѣстій, вы поручили мнѣ работу Египетскую — исторію 1847 года, чего, говоря о нашихъ условіяхъ, я не имѣлъ вовсе въ виду. За эту работу я взялся и могъ бы весьма спокойно сократить краткія и безъ того краткія извѣстія *Сына Отечества*, — но я рылся въ двухъ-аршинныхъ листахъ *Дебатовъ*... Чтобы сколько-нибудь помочь сухости моего отдѣла, я пользовался превосходными статьями *Revue des deux Mondes*—а вы ни съ того, ни съ сего упрекаете меня въ перепискѣ статей В. П. Боткина, весьма мною уважаемыхъ, но которыхъ я, признаться откровенно, не читалъ. Доказательство на лицо—въ статьяхъ *Revue des deux Mondes*. Далѣе я предлагалъ вамъ, чтобы ко мнѣ носили корректуру статей,—вмѣсто того вы требуете моего личнаго присутствія. Видѣть васъ лично — я всегда очень радъ, вы это знаете и надѣюсь въ этомъ увѣрены, но теперешнія мои обстоятельства таковы, что я только за слишкомъ необходимымъ выѣзжаю изъ дому или, какъ вы выражаетесь, путешествую со звѣздою. Я предлагалъ вамъ раздѣлить отдѣлъ мой на двѣ части: въ одной помѣщать постепенно исторію 1847 года, въ другой—новѣйшія происшествія съ августа. Вмѣсто отвѣта на это и доставленія мнѣ *Дебатовъ* вы упрекаете меня въ томъ, что въ Португаліи надѣлалось много новаго, о чемъ мои источники знать мнѣ не дали. Наконецъ отъ статей, имѣющихъ значеніе только минутное, отъ черновой журнальной работы, вы требуете качествъ художественнаго произведенія. Вы любите правду и потому простите мнѣ мой цинизмъ. Я могу работать за весьма умѣренную плату какъ волъ, но мнѣ больше всего нужно довѣріе и извѣстная независимость. В. А. Драшусовъ понималъ это—и спросите его—доволенъ ли онъ мною? Возьмите же меня и вы такимъ, какимъ ужъ Богъ меня создалъ".

Въ январѣ же 1848 года Григорьевъ писалъ: „Я рѣшительно въ отчаяніи отъ *Европейскаго Обозрѣнія*: переписывать изъ *Сына Отечества* я не могу; вмѣстить въ одну статью что-нибудь поболѣе рѣшительно не умѣю. Что я могъ, то я дѣлалъ. Прошу васъ или освободить меня отъ этого отдѣла, или напечатать въ слѣдующей книжкѣ—Португалію, Испанію, Италію и Грецію, въ мартовской—Англію и Францію, въ апрѣльской — Германію и все остальное. Какъ вы съ вашимъ благороднымъ и человѣческимъ взглядомъ на вещи не хотите понять, что чернорабочему некогда отличаться, что я добиваюсь одной только репутаціи—репутаціи честной возовой лошади? Извините за цинизмъ выраженій—я, да и вы, кажется, ненавидимъ только внутренній цинизмъ. Я не хочу надувать никого, тѣмъ менѣе васъ—и, ей Богу, въ ужасномъ отчаяніи. Чтобы написать порядочное введеніе въ современную исторію — надобно *годъ* позаняться предметомъ, имѣть подъ руками нѣсколько книгъ и проч. Если Богъ дастъ, *Москвитянинъ* (начавшійся блестяще) будетъ продолжаться въ 1849 году — я даю вамъ слово этотъ годъ заняться современной исторіей и написать введеніе, подъ которымъ мнѣ не стыдно будетъ подписать свое имя; теперь же берите отъ меня, что можно брать отъ журнальнаго работника, набившаго руку въ литературной промышленности. Языкъ мой хорошъ—говорите вы — и прекрасно. Дайте же мнѣ—пожалуй и Европейское обозрѣніе, но подъ этимъ именемъ я буду помѣщать передѣланныя статьи изъ *Revue des deux Mondes*—такъ и не иначе, но полностью. Но подписать свое имя подъ сокращеніемъ изъ *Сына Отечества*—значитъ подвергнуть опасности даже единственную мою репутацію, репутацію работника... А еще моя личная просьба: мнѣ нужны деньги, деньги и деньги—сердитесь за это, какъ хотите. Дайте мнѣ еще тридцать рублей серебромъ—я буду долженъ *Москвитянину* семьдесятъ рублей, считая шесть рублей серебромъ за переведенный листъ".

Вмѣстѣ съ тѣмъ Шевыревъ и самого Погодина обвинялъ

въ бездѣйствіи. „Твоей дѣятельности“, писалъ онъ,—„никакой, отрывокъ изъ Исторіи не журнальная статья. Максимовичъ правъ, что эти отрывки болѣе отнимутъ у книги, нежели прибавятъ къ журналу; двѣ странички объ Фундуклеѣ да нѣсколько остротъ *Полицейскимъ Вѣдомостямъ* — вотъ все, что ты сдѣлалъ въ теченіе мѣсяца для *Москвитянина*. Это редакторъ. Я не понимаю, куда идетъ у тебя время. *Европейское Обозрѣніе* долженъ составлять ты. Это тебѣ и для науки твоей нужно. Какъ профессору Исторіи не слѣдить *Дебатовъ* и *Allgemeine Zeitung*? А изъ нихъ можно бы составлять все... Ты обрадовался мнѣ и моимъ статьямъ—и думаешь, что главное есть. Но и дѣйствію моихъ статей помѣшаетъ неисполненіе твоихъ обѣщаній. Кромѣ того, меня уже конечно обвиняютъ многіе за то, что я наполняю *Москвитянинъ* и забылъ третій выпускъ книги *)—дѣла важнѣйшаго. Опять журналу приносится въ жертву идея. Я думалъ-таки, что будутъ дѣйствовать многіе, какъ и ты обѣщалъ, а дѣйствую все-таки я одинъ. При многихъ мое дѣйствіе было бы полезно, а то все оно одиноко. Я не отчаяваюсь и не отстану... На жертвы, кажется, я готовъ. Приношу въ жертву двѣ книги; работаю за десятерыхъ—будетъ ли толкъ, не знаю. Но все-таки скажу—безъ Европы, безъ взгляда на все, безъ извѣстія объ ея явленіяхъ въ политикѣ, наукѣ, искусствѣ и литературѣ *Москвитянинъ* будетъ односторонній и дрянной журналъ. Ты какъ ни утѣшайся - обманывать себя можно--это тебѣ не въ первый разъ. *Москвитянину* всегда этого недоставало—и онъ тѣмъ вредилъ идеѣ. Твое дѣло объ этомъ заботиться. Ты ничего не дѣлаешь. Я рѣшительно не понимаю, куда идетъ твое время. Купилъ бы у тебя его, еслибы продавалось... Въ твоемъ бездѣйствіи мысленномъ есть какая-то тайна, о которой я не постигаю. Я желалъ бы разбудить тебя“.

По поводу того, что Плетневу не посылался *Москвитянинъ,* Шевыревъ снова обрушивается на Погодина. „Плетневъ проситъ Коссовича“, писалъ онъ,—„купить для него *Мо-*

*) Исторіи Русской Словесности.

сквитянинъ за 1847 годъ... Ни на что не похоже, что ты лучшихъ людей отъ себя удаляешь своимъ обращеніемъ съ ними. Вѣдь ужъ и безъ того я у тебя одинъ одинехонекъ. Но если и я черезъ тебя разсорюсь со всѣми, что же будетъ хорошаго?... Хороши у тебя распоряженія. Плетневъ пишетъ, что въ Петербургѣ невозможно купить *Москвитянина*, какъ бы кто ни желалъ. Вотъ какъ ты самъ заботишься о своихъ выгодахъ. Я увѣренъ, что есть много желающихъ, но не знаютъ, какъ получить. Никто не заботится—и объявленій нигдѣ нѣтъ. Ты бы написалъ хотя Горлову или Бычкову... Министръ приказалъ Петербургскому Университету не выписывать ни одного журнала. Потому ты не можешь сердиться на Плетнева, что онъ не выписываетъ *Москвитянина* для Петербургскаго Университета. А между тѣмъ онъ обрадовался первой книжкѣ (1848 г.) и выражаетъ намъ полное сочувствіе. А мы-то съ тобою то и дѣло брыкаемся. Вѣдь уже всѣхъ отбрыкали"... Въ другомъ своемъ письмѣ Шевыревъ упрекалъ Погодина за А. П. Елагину. „Мнѣ совѣстно было", писалъ онъ,—„передъ Авдотьей Петровной. Въ воскресенье она еще не имѣла билета на *Москвитянинъ*. Ты во всемъ вредишь себѣ. Кажется, имя и статья Жуковскаго стоятъ двухъ билетовъ... Послалъ ли Кирѣевскому?—Ты рѣшительно не занимаешься журналомъ и, кажется, чѣмъ дальше, тѣмъ хуже. Богъ знаетъ, зачѣмъ ты зачиналъ эту мистификацію *комитета возобновленія* и прочаго?"

XLIX.

Предъ самымъ разгаромъ непріятной переписки между Погодинымъ и Шевыревымъ первый получаетъ отъ графини Е. П. Растопчиной извѣстіе о болѣзни Шевырева. „Съ душевнымъ участіемъ и безпокойствомъ слышала я", писала графиня,—„о болѣзни нашего Степана Петровича, и молилась за него какъ за отца семейства и за отца нашей расколами волнуемой литературной церкви: въ обоихъ качествахъ онъ нуженъ, полезенъ, незамѣняемъ, и тѣ, кто привыкли любить

въ немъ человѣка и уважать дѣлателя, вѣроятно, всѣ раздѣлятъ мои чувства и мои желанія".

Въ самый первый день Пасхи 11 апрѣля 1848 г. Погодинъ писалъ Шевыреву: „Христосъ воскресе! Цѣлую и поздравляю всѣхъ. Посылаю милое письмо Растопчиной. Вездѣ хорошіе слухи. Всѣ говорятъ: перетерпится, но каково терпѣть". На другой же день праздника Шевыревъ отвѣчалъ: „Во истину воскресе!... Съ чего же взяла графиня Растопчина, что я умиралъ? *Мы* будемъ доканчивать, хорошо, еслибы *мы*, а то все только я одинъ колочу. Кто же пособляетъ? Всякій въ сторонѣ. Въ четырехъ нумерахъ я помѣстилъ двадцать листовъ печатныхъ. Теперь надобно образумиться—и помѣщать по листочку, и по два много, то-есть, возвратиться къ тому, что̀ обѣщалъ. Мое рвеніе излишнее вредно и мнѣ, и тебѣ: мнѣ, потому что меня отвлекаетъ отъ другого важнѣйшаго дѣла и вводитъ въ литературныя непріятности со всѣми; тебѣ потому, что ты на плечѣ моемъ засыпаешь и самъ ничего не дѣлаешь. Ну что̀ за критики ты помѣстилъ въ этихъ нумерахъ! Горловъ и Лясковскій были только обѣщаны. Прочіе тоже. Вообще программа оказалась комедіей. Поднялась занавѣсь—и комедію разыгрываю одинъ я. Я не отстану, но не буду уже такимъ рьянымъ... Все болѣе и болѣе ощущаю потребность дѣйствовать одному; пора перестать быть жертвою другихъ. Можетъ быть, тогда всѣ соединятся вмѣстѣ и пойдутъ дружнѣе. Дѣйствія мои сильнѣйшія были два курса, а тутъ я дѣйствовалъ одинъ. Въ журналѣ я не одинъ—и это нехорошо, потому что съ другими и я другимъ мѣшаю, и мнѣ мѣшаютъ".

Прочитавъ это письмо, Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ* (12 апрѣля 1848 г.): „Досада отъ Шевырева, который просто выводитъ изъ терпѣнія", и въ тотъ же день написалъ ему слѣдующее: „Хотя бы для святыхъ дней ты пощадилъ меня и пересталъ пилить. Разсуди самъ—ни одной записки отъ тебя я не получаю и ни одного свиданія не имѣю безъ того, чтобы ты не осыпалъ меня упреками. Объ

одномъ Лясковскомъ и Горловѣ по крайней мѣрѣ двадцать разъ ты поешь мнѣ одно и то же! Я началъ журналъ—предпріятіе безумное, положимъ, ну я и терплю! Я просилъ твоего участія до двухъ листовъ, и предлагалъ вознагражденія двѣ тысячи четыреста рублей. Это условіе остается во всей силѣ своей—разница въ томъ, что эти деньги ты ждешь съ меня. Впрочемъ и жданье я оставилъ на твою волю,—сказавъ, что ежели тебѣ крайне нужны деньги, то я займу и исполню свою обязанность. Слѣдовательно, неуспѣхъ журнала падаетъ на одного меня, а ты даешь мнѣ въ заемъ по двѣсти рублей своими ассигнаціями. По мнѣ кажется, я обидѣлъ бы тебя, еслибъ усомнился, что ты не дашь мнѣ взаемъ двадцати тысячъ въ случаѣ нужды, давая такія суммы прочимъ знакомымъ и имѣя во мнѣ болѣе гарантіи, чѣмъ въ другихъ. Если нищаго кормить даже своимъ хлѣбомъ, да безпрестанно твердить ему это, то наконецъ и кусокъ не пойдетъ ему въ горло! Ты трудишься слишкомъ много, но на это твоя добрая воля! Я просилъ у тебя и теперь прошу только около двухъ листовъ. Знаю, что читая эти строки, ты говоришь: я же трудился, да я же и виноватъ,—но это несправедливо!... Больше двухъ листовъ не нужно ни отъ какого автора и ни въ какомъ журналѣ. Надъ моими статьями ты глумишься какъ угодно,—я молчу,—но еслибъ сказать тебѣ одно слово о твоей, что бы ты почувствовалъ! Не печатаю я потому, что негдѣ, негдѣ! — А ты пишешь мнѣ за это оскорбленія, и чѣмъ больше я переношу, тѣмъ они сильнѣе возобновляются. Горлова статьи я могу печатать во всякомъ нумерѣ, но я не печатаю потому, что за нихъ долженъ заплатить по сту р. за листъ, а что Лясковскій отстранился теперь, я очень радъ, ибо ему долженъ бы былъ заплатить двѣ тысячи четыреста, то-есть, понести бы убытокъ пятнадцать тысячъ вмѣсто десяти. Однимъ словомъ ты загонялъ меня до такой степени, что мнѣ самому даже стыдно себя. Если ты получишь какую статью, я непремѣнно печатай ее, иначе неудовольствіе. Напечатай я, поднимутся крики!.. Всѣ неудовольствія происхо-

дять отъ неуспѣха. Но неуспѣхъ, повторяю, есть моя бѣда. Ты получаешь должное, сколько бъ получалъ и при успѣхѣ, лишь съ обожданіемъ, и то по своему благоусмотрѣнію. Ждешь—я благодаренъ; не хочешь ждать—я не сѣтую. Присылай мнѣ по два листа, по полтора, къ 15 числу,—и больше я ничего не желаю. Изъ чего ты безпокоишь себя, изъ чего терзаешь меня, я понять не могу! Не хочешь ты этого дѣлать — Богъ съ тобою, скажи прямо, безъ мучительныхъ и безпрерывныхъ попрековъ, и я въ ту же минуту прекращу журналъ, и кончено дѣло! Словеномъ не суждено видно быть согласнымъ даже и попарно. Еще косвенный упрекъ употребилъ ты, что навлекаешь на себя неудовольствіе другой партіи. Ты никогда не могъ быть съ нею въ согласіи, и какъ честный профессоръ Русской Словесности такъ обязанъ былъ ратовать противъ нее“.

Съ своей стороны и Шевыревъ не остался безъ отвѣта. 15 апрѣля 1848 года онъ писалъ Погодину: „Не съ тѣмъ я написалъ къ тебѣ записку, чтобъ огорчить тебя, а чтобъ побудить къ большей дѣятельности. Есть въ моемъ письмѣ и упреки, но ты, принуждая меня къ изданію журнала и не хотѣвши послушаться, тѣмъ уже самъ вызывалъ себя на нихъ. Все мною предсказанное тебѣ сбылось. Публика не имѣетъ къ тебѣ довѣренности — и потому журналъ твой никогда не пойдетъ. Но какъ тебя было убѣдить до изданія въ этомъ? Ты хочешь, чтобъ я теперь молчалъ и не указалъ бы теперь на это. Было бы великодушно съ моей стороны, но неискренно. Надо же тебѣ открывать глаза, потому что ты давно подверженъ самообольщеніямъ. О деньгахъ ты говоришь все превратно. Не потребую я у тебя денегъ, когда я знаю, что ты долженъ ихъ занять, чтобы дать мнѣ... Ссужать деньгами и работать для журнала, какъ я работаю, два дѣла совершенно разныя. Я приношу въ жертву двѣ книги, которыя у меня остановились. Я приношу въ жертву важнѣйшее свое дѣло. Этого нельзя оцѣнить ничѣмъ. Тутъ и мысль, и слава, и деньги. Ты смотришь на мое участіе въ *Москвитянинѣ*, какъ на денежную ссуду! Я вижу

изъ этого только, какъ мало понимаешь ты жертву, которую я принесъ тебѣ рѣшительно изъ одной дружбы. Это мнѣ урокъ. *Я работаю слишкомъ много, потому что это моя добрая воля!* Я работаю для того, что безъ работы моей журналъ бы не поднялся во мнѣніи, что я не могу, какъ ты, принявшись за дѣло, черезъ пень колоду валить, не могу являться неряхой въ публику, какъ ты привыкъ являться. Я работаю наконецъ потому, что покинутъ одинъ и тобою, и всѣми твоими членами выдуманнаго тобою комитета. Я думалъ и самъ, что будутъ трудиться многіе, но надутъ вмѣстѣ съ публикою остался одинъ. Впрочемъ это уже со мною столько разъ бывало, что авось впередъ никогда не будетъ. Втолковать тебѣ, что ты своимъ пуфомъ — объявленіемъ—уничтожилъ и послѣднюю довѣренность публики къ себѣ—невозможно. Ты начнешь оправдываться тѣмъ, что какъ бы ты сталъ платить Лясковскому и Горлову? Да кому до этого дѣло? У тебя важно не обѣщаніе исполнить, тобою всѣмъ данное, а какъ бы только не заплатить. Ты оправдываешься въ томъ, что не помѣщаешь своихъ статей тѣмъ..., что ты уступаешь мѣсто другимъ. Что за смиреніе! Причина простѣе: ты не помѣщаешь своихъ статей потому, что не пишешь ихъ, а не пишешь потому, что тебѣ лѣнь писать... Противъ журналовъ ты выходишь вмѣстѣ со мною. Да гдѣ же? Когда и выходилъ, такъ внизу подписывался *Редакторомъ* въ примѣчаніяхъ, какъ будто писалъ не ты. Мнѣніе свое о направленіи современной литературы я могъ бы выражать и отдѣльными брошюрами, и даже теперь въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ*, но не срочной работой, которая меня не утомляла бы, еслибы я не чувствовалъ въ журналѣ своего полнаго одиночества.... Да, *Москвитянинъ* отнимаетъ у меня время для приготовленія новыхъ публичныхъ курсовъ — это правда.... Что же? Я очутился работникомъ въ деревнѣ у помѣщика, который самъ отчаялся въ своей деревенькѣ и ею плохо занимается. Это и грустно, и обидно. Вотъ то, что̀ меня раздражаетъ и огорчаетъ. Есть

мѣры и пожертвованію. Надобно же въ пожертвованіи сохранять свое достоинство и достоинство той мысли, которую представляешь. Но на этотъ разъ я основывалъ свое пожертвованіе и давалъ свое согласіе, воображая, что я со многими—и главное съ тобою. Но та бѣда, что я одинъ болѣе, чѣмъ когда-нибудь. Жуковскій утѣшилъ меня въ моемъ одиночествѣ. Заключаю: обѣщаніе я сдержу. Листъ или два въ каждый нумеръ я давать буду. На бо̀льшее не надѣйся...“ Не довольствуясь этою длинною отповѣдью, Шевыревъ въ тотъ же день отправилъ къ Погодину другое письмо, въ которомъ между прочимъ читаемъ: „Главная мысль моего отвѣта та: мнѣ непріятно чувствовать себя одинокимъ въ *Москвитянинѣ*. Ты самъ, видно, сознаешь законность моего чувства въ этомъ отношеніи—и потому посылаешь письмо Горлова. Зачѣмъ же откладывать до сентября? Ты охладишь его совершенно... Я тебѣ говорю, правда, непріятныя вещи, но право потому, что я считаю и тебя, и себя уже доросшими до того, чтобы правдою ни съ чьей стороны не оскорбляться. Защищайся, оправдывайся, а все-таки доброе что-нибудь останется. Мнѣ скучны всѣ эти гуманныя и фальшивыя замашки. Коль любишь кого, говори искренно, что̀ думаешь. Лишь бы была увѣренность въ любви взаимной, тогда ничто не можетъ быть обидно. Въ томъ, что я люблю тебя, ты сомнѣваться не можешь“.

Въ то время, когда шла эта непріятная переписка между друзьями, И. И. Давыдовъ изъ Петербурга писалъ Погодину: „Теперь говорятъ съ прикрасами о рукоплесканіяхъ на лекціяхъ Шевырева... Сдѣлайте милость, посовѣтуйте ему, чтобы онъ не допускалъ этого: такое своевольное выраженіе студентами своего мнѣнія можетъ разразиться бѣдою на голову профессора. И къ чему это? Съ одной стороны малодушіе, съ другой captatio benevolentiae. Вѣдь намъ эта грамота знакома—Timeo Danaos et dona ferentes“. Это извѣстіе, разумѣется, встревожило Шевырева, но Давыдовъ не торопился его успокоить и только черезъ нѣсколько мѣсяцевъ писалъ

Погодину: „Съ этой же почтою я пишу къ С. П. Шевыреву. Я очень радъ, что графъ С. С. Уваровъ не помнилъ прежнихъ недоразумѣній и уважилъ въ Степанѣ Петровичѣ достоинства какъ профессора и какъ человѣка. Много ли такихъ сильныхъ земли? До будущей бесѣды простите! Да будетъ надъ вами благословеніе Божіе, а въ васъ миръ и спокойствіе!"

Вскорѣ однако между Погодинымъ и Шевыревымъ заключилось „перемиріе до новой ссоры". „Видно, на верху написано намъ", писалъ Погодинъ Шевыреву,—„съ тобою вѣкъ свѣковать, то-есть, на канунѣ нашей смерти, еслибъ она случилась даже, когда будетъ намъ по семидесяти лѣтъ, поссориться точно такъ же, какъ ссорились за пятьдесятъ лѣтъ предъ нею, въ первый годъ *Московскаго Вѣстника*! Нѣсколько разъ я закаявался тебѣ совѣтовать, говорить и проч., но никакъ не могу выдержать долѣе недѣли никакого заклятія".

Посѣтивъ какъ-то Шевырева, Погодинъ засталъ у него Оберъ-Прокурора Св. Сvнода и записалъ въ своемъ *Дневникѣ* (4 мая 1848): „Вечеръ у Шевырева. Разговоръ о Словарѣ и языкѣ. Встрѣтился съ Протасовымъ, который ласковъ и никакихъ замѣчаній не сдѣлалъ".

Столкновенія съ Шевыревымъ, неуспѣхъ *Москвитянина* и бездѣйствіе комитета очень огорчали Погодина. Въ *Дневникѣ* его за это время (13 августа 1848) мы находимъ слѣдующую запись: „Расположеніе духа очень скучное. Записка отъ Шевырева не прибавила удовольствія. При всемъ своемъ добродушіи несноснѣйшій человѣкъ".

Все это заставило Погодина обратиться къ В. И. Далю и А. Ѳ. Вельтману съ просьбою о принятіи участія въ изданіи *Москвитянина*. Подъ 7 мая 1848 года Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Съ Вельтманомъ и Далемъ о *Москвитянинѣ*, за который они хотятъ приняться непосредственно". Сохранилось письмо Даля къ Погодину, въ которомъ онъ откровенно выражаетъ свои мысли объ изданіи журнала. „Лаконическое приглашеніе ваше", писалъ Даль,—„получилъ

—и порадовался благому намѣренію, дай Богъ на сто лѣтъ *Москвитянину*! Но того, что мы видимъ и слышимъ—мало; давайте дѣла, а не слова: это я говорю въ качествѣ не сотрудника, а публики. Видывали мы объявленія, обѣщанія, преобразованія..., все это извѣрилось, намъ давайте дѣло, тогда мы повѣримъ безъ объявленій. Если вы не освоитесь съ неопровержимой истиной, что журналъ требуетъ жизни, живыхъ струнъ, бойкости и бѣглости, а вовторыхъ, требуетъ капитала, какъ всякое торговое, оборотливое предпріятіе,—да втретьихъ, что умственные капиталы такія же наличныя деньги,—если вы захотите сомнѣваться въ томъ, другомъ и въ третьемъ, то журналу хода не дадите. Одинъ журналъ на всю Москву—да чтобъ ему не дать ходу!!! Но убить его можно легко, это не требуетъ доказательства, а оживить убитаго трудно. *Вы должны рѣшиться работать два года въ убытокъ, выплачивая сотрудникамъ наличныя деньги съ купеческою точностью*, иначе дѣло не пойдетъ. Вы, кромѣ того, должны предоставить самый выборъ статей другому. Что вамъ кажется чудо-занимательнымъ, того никто, *никто* не разрѣзываетъ. Для кого вы издаете журналъ, на того и угождайте. *Изящная* словесность требуется, повѣстей хорошихъ давайте, безъ этого нельзя жить. Обзоровъ литературныхъ, лѣтопись книгъ, легкой руки критика—это необходимо. Преосвященные и Стурдзы—балластъ. Куньи мордки, Новгородцы, Васильковичи—для двадцати пяти человѣкъ, а вы должны писать на двѣ тысячи пятьсотъ! Если вы сладите съ Вельтманомъ, если затѣмъ будете очень исправно платить всѣмъ, то черезъ годъ, два, пойдетъ дѣло, и вы разбогатѣете. Если нѣтъ, то *Москвитянинъ* сѣлъ, не смотря ни на какія объявленія".

Обращаясь къ себѣ, Даль пишетъ: „Не могу я теперь заняться обзорами. Будетъ съ васъ, если доставлять буду *повѣстушекъ*, коли признаются онѣ нужными и будутъ уплачиваться немедленно по полученіи ихъ, такъ какъ мы сдаемъ ихъ въ здѣшніе склады. Нашъ товаръ не залеживается, а потому на сроки отпускать его не приходится. Повторяю, вы

должны обдумать и рѣшиться, хотите ли приплатить въ годъ двадцать, тридцать тысячъ въ чаяніи будущихъ барышей?— Коли нѣтъ, то закрывайте лавочку. А если да, то я вамъ нашелъ сотрудника *), который готовъ писать здѣшнія обозрѣнія и напишетъ вамъ самъ условія свои, приложивъ тотчасъ же образчикъ работы. Думаю, что обзоръ мѣсячныхъ журнальныхъ лѣтописей, со сводкой ихъ на очную ставку,— да еще обзоръ всей журнальной дѣятельности, которая одна только и дышетъ еще кой-какъ—думаю, что это придастъ *Москвитянину* небывалую жизнь и занимательность. Но однако этого мало: давайте повѣстей и пр. Почему бы не помѣщать также обзора всѣхъ губернскихъ вѣдомостей? Поручите это моему же работнику, онъ сдѣлаетъ. Но ради Бога не откладывайте вы улучшенія до того времени, когда у васъ будетъ двѣ тысячи подписчиковъ; вы должны теперь издать четыре книжки за этотъ годъ, образцовыхъ, показавъ, что̀ вы намѣрены и можете сдѣлать; тогда пишите *объявленія*, ссылаясь на то, что сдѣлано, а не на то, что̀ бы могло быть сдѣлано; тогда у васъ на 1849 годъ прибудетъ — немного, можетъ быть, нѣсколько десятковъ подписчиковъ, а вы должны выдержать весь годъ, чтобъ одна книжка была лучше и занимательнѣе другой, да въ теченіе года разсылать по одной разрозненной книжкѣ, поочередно, во всѣ губернскіе города, то на имя почтмейстера, то предводителя, то прокурора и пр., для того, чтобы поневолѣ ознакомить со своимъ журналомъ—а между тѣмъ печатать въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* объявленія, указывая на вышедшія уже книжки. Вотъ тогда дѣло пойдетъ, и вы въ 1850 году зашибете копѣйку, а въ 1860 будете милліонеромъ! Покупайте у Загоскина романъ его, у Вельтмана все, что у него есть; нельзя ли заставить Павлова, или ее? да издавайте книги потолще! Поручите надежному человѣку—а если его нѣтъ у васъ, то я его найду здѣсь, но съ условіемъ самой точной и добросовѣстной, немедленной платы—человѣка, который бы обрабо-

*) В. М. Лазаревскаго.

тывалъ статьи о современномъ состояніи естественныхъ наукъ, отдѣлъ очень важный, который читается охотно, а у васъ его нѣтъ вовсе; ведите всѣ науки въ уровень, не жалѣя бумаги и печати, тогда и ваши историческія статьи будутъ на своемъ мѣстѣ, не представляя уже видъ частности, а дополняя общность и многосторонность. Вотъ я вамъ сколько надавалъ совѣтовъ!!! А еслибъ самому пришлось исполнять?.. Не знаю; но живи я въ Москвѣ, при нынѣшнихъ обстоятельствахъ, ни на минуту не призадумался бы положить на предпріятіе это капиталъ. Безъ этого—ни шагу. Еще последнее слово: коли *одна* книжка въ году выйдетъ не въ срокъ, опоздаетъ хоть двумя днями—вы потеряли сто подписчиковъ. Помните это. Еще *самое* послѣднее слово: коммиссіонеры ваши не годятся; вы должны устроить эту часть, и въ концѣ года напечатать три тысячи объявленій и разослать повсюду. Покажите писаніе мое Вельтману, что онъ скажетъ?"

Долго не получая отвѣта отъ Погодина на это дѣловое письмо, Даль съ упрекомъ писалъ ему:

„Ну, любезный Михаилъ Петровичъ, человѣкъ вы истинно добрый и хорошій—а пива съ вами не сваришь. Кто бы могъ ожидать, что послѣ всѣхъ предварительныхъ разговоровъ нашихъ и переписокъ на присланное вамъ предложеніе и работу послѣдовало—молчаніе!!! Воля ваша, а этакъ никакого путнаго дѣла не сдѣлаешь. Въ какое жъ вы меня положеніе ставите, и для чего было затѣвать? Поймите меня, Михайло Петровичъ, я бы нисколько не прогнѣвался *отказу*, потому ли, что дорого, потому ли, что гнило—это вашъ разсчетъ и вы въ своемъ правѣ; но какъ же не отвѣчать вовсе..."

Не смотря однако на все вышеизложенное, кто-то изъ Петербурга поручилъ Погодину передать слѣдующее: „Скажите Погодину, что въ Петербургѣ очень хвалятъ его *Москвитянина* и рѣшительно признаютъ первымъ журналомъ въ Россіи, теперь время поднять его на плечи".

L.

Въ то время, когда Западники и по смерти Бѣлинскаго привлекали къ себѣ всеобщее вниманіе свѣжими, сильными талантами своей натуральной школы и своими распространенными журналами, между Московскими Словенофилами продолжали, къ сожалѣнію, происходить внутренніе раздоры.

Въ 1848 году яблокомъ раздора между Аксаковыми и Погодинымъ съ Шевыревымъ послужили двѣ книги, и одна изъ нихъ принадлежитъ перу К. К. Павловой, подъ заглавіемъ: *Двойная жизнь*, а другая—К. С. Аксакову, его драма: *Освобожденіе Москвы въ 1612 году*.

Произведеніе К. К. Павловой нашло себѣ достойнаго цѣнителя въ лицѣ Шевырева, который въ *Москвитянинѣ* напечаталъ разборъ его въ высшей степени сочувственный и безпристрастный. Разборомъ этимъ Шевыревъ занимался съ такимъ увлеченіемъ, что Погодинъ иронически писалъ ему: „Наталія Петровна Кирѣевская поручила мнѣ напомнить тебѣ объ ускореніи изданія сочиненій Паисія. Я отвѣчалъ, что ты очень занятъ какимъ-то и, кажется, многогрѣшнымъ романомъ Каролины Карловны, который такъ очаровалъ тебя, что о святомъ старцѣ Паисіѣ ты и думать позабылъ“.

Критика Шевырева по своему достоинству была оцѣнена М. А. Дмитріевымъ. „Разборъ Степана Петровича *Двойной Жизни*“, писалъ онъ Погодину,—„отмѣнно хорошъ и безпристрастенъ; въ похвалу же ея книги я прибавлю одно: въ поэтическомъ отношеніи—это прекрасная фантазія; въ основной мысли—это прекрасный маленькій трактатецъ о воспитаніи свѣтскихъ женщинъ. Но читали ли вы въ *Сынѣ Отечества* разборъ барона Розена?—Вообразите, что онъ обвиняетъ Павлову въ схоластикѣ и говоритъ, что ее завоевали Словене! Нѣмецъ не понялъ нѣмку; а мы Русскіе и поняли, и оцѣнили по достоинству, но безпристрастно“. Въ другомъ же письмѣ М. А. Дмитріевъ писалъ: „*Отечественныя Записки*

придрались, канальи, къ Московскому обществу и къ Московскимъ дамамъ, какъ будто они бывали въ этомъ обществѣ! И откуда у нихъ эта ненависть къ Москвѣ! — А въ *Современникѣ* есть длинный разборъ прошлогодней повѣсти Гончарова: *Обыкновенная Исторія*, въ которомъ однако не замѣтили самаго замѣчательнаго,—это то, что характеръ дяди— есть совершеннѣйшій типъ Петербургскаго человѣка, какихъ въ Москвѣ не найдется. Мнѣ кажется, что характеръ нынѣшней нашей литературы (я говорю не объ ученой) состоитъ именно въ томъ, что ей хочется что-то сказать, да не выговариваетъ.—Отчего это? Не знаетъ ли хоть Николай Васильевичъ Сушковъ?“ [322])

Въ *Библіотекѣ для Чтенія* былъ также помѣщенъ подробный разборъ *Двойной Жизни*, и этотъ разборъ былъ помѣщенъ въ той книжкѣ, которая вышла постомъ; разборъ этотъ заключается такими словами: „Оставимъ поскорѣе это любезное злословіе. Постъ!... Грѣхъ!... Вотъ книга гораздо сходнѣе съ предстоящими обстоятельствами: *Путешествіе къ семи церквамъ, упомянутымъ въ Апокалипсисѣ*, Авраама Норова“ [323]).

Но къ разбору Шевырева *Двойной Жизни* весьма враждебно отнеслись Аксаковы и усмотрѣли въ немъ то, чего въ немъ нѣтъ. 5 марта 1848 года Погодинъ получаетъ слѣдующую записку отъ С. Т. Аксакова: „Сегодня вечеромъ будетъ у меня Томашевскій и сообщитъ много интереснаго, а потому не благоугодно ли будетъ и вамъ пожаловать? Зачѣмъ это вы помѣстили злонамѣренную и несправедливую критику на *Двойную Жизнь*? Да еще просите стиховъ у сочинительницы? Хороши, нечего сказать“; а въ другомъ письмѣ Аксаковъ спрашиваетъ Погодина: „Вразумили ли Шевырева?“ Послѣ посѣщенія Аксаковыхъ Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Аксаковъ упрекаетъ, зачѣмъ помѣстилъ злонамѣренный и несправедливый разборъ Шевырева. Поѣхалъ къ Аксакову по его приглашенію, оказалось, ошибочному. Вопіютъ противъ Шевырева, такъ что противно стало слушать.

Защищалъ и радъ, что былъ тамъ Хомяковъ, съ которымъ и отправился къ Шевыреву. Чувствую, какъ долженъ онъ быть взбѣшенъ отъ такой несправедливости и неблагодарности. Такъ и есть. Онъ уже писалъ ко мнѣ, но я не получилъ его письма. Толковали о всѣхъ этихъ господахъ. Ловкость въ Хомяковѣ“ [324]).

Въ тотъ же день Шевыревъ писалъ Погодину: „К. К. Павлову увѣрили, что я въ критикѣ своей обвиняю ее въ безбожіи. Особенно позаботились о томъ Аксаковы, отецъ и сынъ. Этимъ подвигомъ они увѣнчали себя въ отношеніи ко мнѣ за добро, которое я имъ сдѣлалъ. Теперь кончено. Я съ ними не знаюсь. Константинъ Аксаковъ можетъ двигать стулья на меня—Богъ съ нимъ, но двигать такія мнѣнія—ужъ это слишкомъ. Павловъ даже, умѣренный во всѣхъ этихъ сплетняхъ, хотѣлъ вчера написать ругательное письмо къ тебѣ за мою статью, что ты допустилъ меня ее напечатать. Я говорилъ ему, что еслибы ты подозрѣвалъ хоть что-нибудь малѣйшее въ этомъ родѣ, то конечно сказалъ бы мнѣ. Мнѣ въ голову не приходила возможность такого обвиненіе. Я увѣренъ, что Аксаковъ Константинъ принялъ тутъ на свой счетъ поэта и сплелъ эту сплетню. Мнѣ она надоѣла. Неблагодарность гнуснѣйшій порокъ. Я знаться съ ними не могу болѣе... Я Павлову послалъ записку о разрывѣ съ Аксаковыми“ [325]).

Дѣйствительно, въ своей *Двойной Жизни* К. К. Павлова выводитъ на сцену поэта, который былъ приглашенъ на вечеръ къ одной Московской свѣтской барынѣ, но котораго затмилъ „Испанскій грандъ, преинтересный, смуглый, гордый карлистъ съ блестящими глазами, который случайно забѣжалъ въ Москву, и на этомъ вечерѣ забыли о поэтѣ и отдали иностранцу свою *неизлечимую привѣтливость*“ [326]).

Будучи наблюдателемъ всего происходившаго, Хомяковъ равнодушно писалъ А. Н. Попову: „О Москвѣ мнѣ вамъ писать новаго нечего, кромѣ того, что по случаю поэмы *Двойная Жизнь* и Шевыревскаго разбора произошли опять смуты между Шевыревымъ, Павловымъ и Аксаковыми“ [327]). Между тѣмъ

Гоголь принялъ сердечное участіе въ Шевыревѣ и далъ ему благой совѣтъ: „Чтó сказать тебѣ“, писалъ онъ, — „объ этихъ сплетняхъ, въ которыя иногда впутываются люди, близкіе намъ: я испыталъ эти положенья. Мнѣ не мало удавалось слышать о себѣ всякихъ сплетней; въ этихъ сплетняхъ мнѣ открывалось только нѣсколько глубже человѣческое сердце; а выводъ я сдѣлалъ себѣ тотъ, что нужно быть съ людьми, которые распустили про васъ сплетни, такъ, какъ бы они о насъ ничего не распускали. Нужно входить всюду просто, съ открытымъ лицомъ; нужно, чтобы увѣрились наконецъ люди, что ты такой человѣкъ, надъ которымъ сплетни не имѣютъ никакой власти: тогда, мнѣ кажется, сплетни и всякія путанья исчезнутъ сами собою“ [328]).

Драма К. С. Аксакова *Освобожденіе Москвы въ 1612 году* была семейнымъ торжествомъ, семейнымъ событіемъ у Аксаковыхъ. Драма на цензуру посылалась въ Петербургъ, и И. С. Аксаковъ писалъ князю Д. А. Оболенскому: „Вчера братъ Константинъ отправилъ къ тебѣ драму, а я хочу просить тебя поспѣшить этимъ дѣломъ, вопервыхъ, потому, что съ высылкой билета конецъ всѣхъ хлопотамъ о ней, и вовторыхъ, потому, что 29 марта день рожденія Константина, и я желалъ бы, чтобы драма могла получиться въ этотъ день, или къ этому дню. Сдѣлай одолженіе, любезный другъ, Митя, хлопочи“. Наконецъ драма явилась въ Москвѣ. Хомяковъ писалъ о ней или по поводу ея къ А. Н. Попову, „Любовь глубокая, истинная, терпѣливая, не смотря на порывистыя проявленія, получила свою награду въ Аксаковѣ. Его драма есть награда ему самому; но надобно помнить, что онъ художникъ. Теоретическому сознанію отъ него пойти трудно: у него анализъ слишкомъ въ зависимости отъ внутренняго синтеза, и это очевидно для всѣхъ, и во всѣхъ возбуждаетъ недовѣріе. Напримѣръ, его православіе, хотя искреннее, имѣетъ характеръ слишкомъ мѣстный, подчиненный народности, слѣдовательно, не вполнѣ достойный. Опять же Аксаковъ невозможенъ въ приложеніи практическомъ. Буду-

щее для него должно непремѣнно сей же часъ перейти въ настоящее, а про временныя уступки настоящему онъ и знать ничего не хочетъ; а мы знаемъ, что безъ нихъ обойтись нельзя" [329]).

Но драма Аксакова произвела неблагопріятное впечатлѣніе какъ на Погодина, такъ и Шевырева, и послужила другимъ поводомъ разрыва ихъ съ семействомъ Аксаковыхъ. „Драмы я не читалъ", писалъ Шевыревъ Погодину, — „потому вѣроятно, что получать ее, слава Богу, недостоинъ. Пришли мнѣ свой экземпляръ. Разбирать ее не буду. Богъ съ ними. Я, кромѣ Ольги Семеновны, ихъ оставилъ. Неблагодарность ихъ въ отношеніи ко мнѣ гадка". Передъ выходомъ въ свѣтъ драмы Погодинъ посѣтилъ Аксаковыхъ и вотъ что̀ записалъ въ своемъ *Дневникѣ:* „Поѣхалъ къ Аксаковымъ. Очень сухо со стороны молодыхъ. Ихъ товарищи начинаютъ говорить о Русской Исторіи такъ, что уши вянутъ. Грустно и досадно. Домой и думалъ о людяхъ, обществѣ, знакомствахъ. О еслибы мнѣ оберегаться. Какъ бы я желалъ бросить все и всѣхъ. Но неужели всѣ такъ дурны! Удивительно!" Но когда Погодинъ прочелъ драму К. С. Аксакова, то отозвался о ней въ своемъ *Дневникѣ* такъ: „Такая дрянь, что изъ рукъ вонъ!" [330]). Съ своей же стороны и Шевыревъ писалъ Погодину: „Охота тебѣ еще ѣздить къ этимъ Аксаковымъ, которые *не стоютъ* нашей доброты и нашего великодушія. Я ужъ къ нимъ не ѣздокъ. То грустно, что у насъ неблагодарные поступки ни по чемъ. Одинъ Аркадій Тимоѳеевичъ сказалъ только хорошо на дняхъ: „Узнавъ о поступкѣ Константина съ вами, я ему сказалъ просто, что онъ свинья".

Между тѣмъ Погодинъ написалъ рецензію на драму Аксакова и до напечатанія послалъ ее на разсмотрѣніе автора, которому писалъ: „Просто — я не знаю, что̀ дѣлать съ драмою. Мнѣ не хочется сдѣлать вамъ никакой непріятности даже мимо идущей литературной, какъ бы ни казалось мнѣ справедливо мое мнѣніе. Научите же меня, что̀ дѣлать. Выписать содержаніе драмы я хотѣлъ сначала, но это содер-

жаніе сдѣлается самою лютой критикой. Можетъ быть, не такъ я дѣлаю его—сдѣлайте сами и пришлите. Промолчать мнѣ вовсе — закричатъ журналы Петербургскіе, зачѣмъ мы молчимъ, и обвинятъ въ пристрастіи. Согласиться съ драмою —я не могу, ибо это значило бы отказаться отъ своихъ понятій, сто разъ напечатанныхъ. Развѣ написать частное, личное свое мнѣніе, избѣгая всякихъ сужденій" [331]).

Отвѣтъ Аксакова на эти строки, по замѣчанію Погодина, былъ „какъ будто безъ неудовольствія", и онъ напечаталъ въ майской книжкѣ *Москвитянина* свою рецензію, въ которой читаемъ: „Драма, говоритъ авторъ, есть воспроизведенная жизнь! —Нѣтъ, не только воспроизведенная, но и сосредоточенная. Взять нѣсколько времени изъ жизни и воспроизвести его искусствомъ—не значитъ еще сочинить драму: это будетъ только отрывокъ изъ жизни. Драма должна быть однимъ цѣлымъ, обнимать одно происшествіе, которое имѣетъ свое начало, свою средину и свой конецъ, завязку и развязку, въ которой нѣтъ ничего лишняго и недостаточнаго, а все основано на законѣ необходимости. Смотря съ этой точки, въ сочиненіи Аксакова мы не видимъ драмы, хотя она раздѣляется на дѣйствія и состоитъ изъ явленій: она не имѣетъ необходимаго начала и необходимаго конца. Ее можно начать прежде и начать послѣ, а кончить даже непремѣнно иначе; ибо освобожденіе Москвы безъ избранія Михаилова ничего не значитъ: теперь зритель остается въ недоумѣніи, не возобновятся ли опять прежнія смущенія и не найдутся ли новыя препятствія. Сценъ можно исключить и можно прибавить сколько угодно.

„Если смотрѣть на сочиненіе какъ на Исторію въ дѣйствіи, то въ ней недостанетъ множества важнѣйшихъ, существенныхъ частей событія—освобожденія Москвы: тогда должно будетъ сказать, что значительныя происшествія смѣшаны съ незначительными; можно будетъ спрашивать: эпизодъ Смоленскій, Тушинскій, столько же важенъ въ этомъ событіи, какъ и Ляпуновскій — отчего одинъ, такъ или иначе, воспроизве-

денъ, а другой нѣтъ? Можно ли оставить безъ вниманія Троицкія грамоты съ Іоасафомъ и Діонисіемъ, Сапѣгу, Лисовскаго и проч.

„Посмотримъ съ третьей точки, какъ на отдѣльныя сцены, не связанныя между собой.

„19 марта была схватка въ Москвѣ у Русскихъ съ Поляками, рѣзня,—слѣдовательно, первое спокойное явленіе драмы, съ разсужденіями и извѣстіями, не могло имѣть тогда мѣста. („Народъ медленно расходится").—Не могло быть тогда спокойнаго разсужденія бояръ, перебранки Салтыкова, спокойнаго разговора Салтыкова съ Гонсѣвскимъ, далѣе разговоровъ Андронова и Грамотина. Какія это драматическія приготовленія къ кровопролитію и сраженію? И какъ начинается кровопролитіе въ 9-мъ уже явленіи? „Сцена нѣсколько пуста. Выходятъ двое, потомъ немедленно, но постепенно, наполняется вся сцена народомъ, а съ другой стороны является Польская дружина! Полякъ спрашиваетъ: гдѣ же народъ? 2-й указываетъ: вонъ онъ стоголовый звѣрь. 3-й. Эй вы мужичье! Расходитесь, маршъ!" И начинается схватка. А въ драмѣ это дѣйствіе не составляетъ никакой существенной части. Къ освобожденію Москвы оно принадлежитъ какъ двадцать другихъ происшествій.

„Дѣйствующія или лучше говорящія лица всѣ одинакія: что Антонъ, что Елизаръ, что Елисѣичъ, что Мининъ, что Пожарскій. Иногда скажетъ первый, второй согласится; иногда скажетъ второй, первый согласится. Можетъ быть, авторъ хотѣлъ представить такимъ образомъ народъ, но народъ дѣйствуетъ не иначе, какъ чрезъ своихъ представителей; представители же его бываютъ всегда люди высшіе умомъ, характеромъ, силою, даромъ слова, или другими способностями. Въ историческомъ Mининѣ несравненно болѣе жизни, чѣмъ въ драматическомъ. Ляпунова и Салтыкова авторъ только представилъ не похожими на прочихъ, но совершенно не въ Русскомъ духѣ. Русскій человѣкъ, и честный, и плутъ, — себѣ на умѣ, а Ляпуновъ у него—пустозвонъ и благонамѣренный, Салтыковъ пустозвонъ злонамѣренный.

„Похвалить, по моему мнѣнію, можно въ нѣкоторыхъ случаяхъ простоту языка, какое-то движеніе въ рѣчахъ, впрочемъ неумѣстныхъ, Ляпунова, сцену проѣзжаго гонца въ деревнѣ, сцену народа въ Кремлѣ по освобожденіи Москвы. А въ исторіи искусства, можетъ быть, это не лишній опытъ вмѣстѣ съ нѣкоторыми изъ прежнихъ для будущей Русской драмы" [332]).

Въ самый день появленія въ свѣтъ этой рецензіи, то-есть, 1-го мая, былъ вечеръ у Хомякова по поводу дня его рожденія, и на этомъ вечерѣ Погодинъ встрѣтился съ Аксаковыми и вотъ что записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Вечеръ и ночь у Хомякова. Аксаковы не смотрятъ, и двадцатилѣтней дружбы какъ не бывало".

Погодинъ не ошибся. Вотъ что писалъ С. Т. Аксаковъ къ Гоголю, въ день имянинъ автора драмы, то-есть, 21 мая 1848 года: „Имянинникъ мой съ матерью у обѣдни... На дняхъ вы получите драму Константина. Прочтите ее на досугѣ, сбросивъ съ себя всѣ чужія понятія, усвоенныя всѣми нами съ младенчества. Вдумайтесь глубоко въ старую Русскую жизнь и произнесите судъ нелицепріятный. Погодинъ облаялъ ее, какъ взбѣсившаяся собака. Давно затаенная злоба на Константина, въ которой онъ и самъ много виноватъ, наконецъ, выбилась ключемъ бѣшеной слюны и помрачила даже его разсудокъ" [333]). Но Гоголь, повидимому, не раздѣлялъ семейнаго восторга и въ сужденіи о драмѣ склонялся къ рецензіи Погодина. По крайней мѣрѣ вотъ что онъ писалъ Шевыреву: „Драму Аксакова пробѣжалъ, но такъ бѣгло, что, безъ сомнѣнія, еще не могу дать никакого рѣшительнаго своего сужденія. Покуда, развѣ вотъ вопросъ: отчего же она пробѣжалась бѣгло и не заставила втянуться въ себя? И еще вопросъ: отчего историческія драмы наши кажутся блѣднѣй и одностороннѣй исторіи?" [334]).

М. А. Дмитріевъ тоже стоялъ за Погодина, которому писалъ: „Вашъ разборъ драмы Аксакова—совершенная истина: по крайней мѣрѣ я такъ долженъ думать, потому что мы

съ вами совершенно сошлись въ нашемъ взглядѣ; я, прочитавши драму, то же самое написалъ въ Москву къ сыну Ѳедору. Драмы нѣтъ! Вы написали о Самозванцѣ *Исторію въ лицахъ*, и это самое вѣрное названіе, потому что тутъ всѣ лица живыя; а у Аксакова — это сухая лѣтопись въ разговорахъ".

Съ своей стороны и Шевыревъ писалъ Жуковскому: „Драма Аксакова никакого сочувствія, ни даже вниманія не возбудила".

Въ обозрѣніи Русской Словесности за 1848 годъ, напечатанномъ въ *Москвитянинѣ* 1849 года, о драмѣ К. С. Аксакова *Освобожденіе Москвы* сказано: „Примѣчательно какъ опытъ, хотя неудачный".

„Жаль мнѣ Аксаковыхъ", писала А. П. Елагина къ Погодину,— „это щекотливое самолюбіе непростительно. *Умалишася истины отъ сыновъ человѣческихъ, суетная глагола кійждо ко искреннему своему.*—Не хотятъ люди и отъ друга слышать правды, а избави насъ Богъ отъ похвалы! Куда она годится!"

И. С. Аксаковъ изъ Ярославля писалъ своему отцу: „Да, забылъ сказать. Не знаю, знаетъ ли Константинъ, что въ послѣдней книжкѣ *Отечественныхъ Записокъ* за 1849 годъ есть огромная статья о князѣ Дмитріѣ Михайловичѣ Пожарскомъ. Онъ представленъ въ самомъ хорошемъ видѣ, со всѣмъ своимъ смиреніемъ, словомъ, такъ, какъ и въ драмѣ. Я статьи самъ не читалъ, но видѣлъ ее; искалъ въ многочисленныхъ ссылкахъ ея на историческіе документы, лѣтописи и книги — ссылки на драму Константина, но не нашелъ".

Не смотря на неуспѣхъ драмы, К. С. Аксаковъ въ 1850 году вздумалъ поставить ее на Московскую сцену. Узнавъ объ этомъ намѣреніи, И. С. Аксаковъ писалъ своему отцу: „Можетъ быть, драма будетъ имѣть и огромный успѣхъ, можетъ быть, и вовсе не будетъ имѣть успѣха, если въ театрѣ, кромѣ знакомыхъ, будетъ еще публика (то есть, всякій сбродъ, обыкновенно посѣщающій театръ),—и въ послѣднемъ

случаѣ ничего не будетъ удивительнаго. Мы привыкли къ пряностямъ, а предлагаемая пища слишкомъ прѣсна и здорова. Добродѣтель хорошая вещь, но иногда весьма скучная и способная произвесть зѣвоту. Не спорю, что иконопись имѣетъ свое значеніе, но въ области искусства я предпочту Мадонну Рафаэля Русскимъ изображеніямъ святыхъ. Надѣюсь, что Константинъ не посѣтуетъ на меня за эти замѣчанія: я ихъ высказывалъ уже не разъ и отъ всей души желаю, чтобъ я ошибся".

Какъ бы то ни было, но драма *Освобожденіе Москвы въ въ 1612 году* была представлена на Московскомъ театрѣ. Новый попечитель Московскій, В. И. Назимовъ, счелъ долгомъ обратить на нее вниманіе князя П. А. Ширинскаго-Шихматова. „Не могу умолчать", писалъ онъ,—„предъ вашимъ сіятельствомъ, что драма Аксакова, хотя и написана въ духѣ Православія, однако содержитъ въ себѣ такія мысли, которыя легко могутъ возбудить въ простомъ народѣ враждебное расположеніе противъ высшихъ сословій и вообще подать поводъ къ превратнымъ толкованіямъ. Сочиненіе сіе, по моему мнѣнію, не должно бы быть допускаемо къ печатанію и тѣмъ менѣе являться на сценѣ". Вслѣдствіе этого князь Ширинскій-Шихматовъ пожелалъ познакомиться съ этимъ сочиненіемъ и просилъ Назимова прислать ему самую книгу. Исполняя это желаніе, Назимовъ писалъ Министру: „Во время представленія этой драмы на Московской сценѣ 14 декабря 1850 года былъ въ театрѣ большой шумъ. На всѣ возгласы актера при порицаніи бояръ раекъ кричалъ: *правда*, *правда*! Особенно слова *гласъ народа—гласъ Божій* вызвали сильныя рукоплесканія и громогласное одобреніе райка".

Съ своей стороны И. С. Аксаковъ писалъ своему отцу: „Въ Ярославль я пріѣхалъ часовъ въ 10 вечера. По пріѣздѣ я узналъ, что Константинъ Булгаковъ за день до меня пріѣхалъ также изъ Москвы и разсказывалъ, что драма не имѣла успѣха, впрочемъ, самъ онъ на представленіи не былъ. Разумѣется, я далъ нужное объясненіе, почему она, драма,

Булгакову не должна нравиться...“ Въ другомъ же письмѣ Аксаковъ писалъ: „Изъ письма Вѣры вижу, что толковъ о драмѣ много, но не могу толкомъ понять, будетъ или нѣтъ второе представленіе. Сколько можно догадаться, второе представленіе отложено до полученія отвѣта изъ Петербурга. Вчера я получилъ письмо отъ Хлѣбникова: онъ пишетъ, что слышалъ отъ одного купца (Ѳедора Ивановича Соболева), который самъ былъ въ театрѣ во время представленія драмы, что театръ былъ биткомъ набитъ, и публика была въ восторгѣ. А не справлялись ли вы въ книжныхъ магазинахъ, не пошла ли продажа драмы снова въ ходъ? Справьтесь, это любопытно“.

Въ это время А. О. Смирнова помирилась съ И. С. Аксаковымъ и писала Гоголю изъ Петербурга: „Какъ хорошъ *Бродяга* Ивана Аксакова, и какъ онъ самъ мнѣ понравился теперь. Я люблю его трезвость; займитесь его меньшой сестрой Машей; бѣдняжка уже теперь хандритъ. Свѣтъ въ дали, а Константинъ, съ топоромъ его разрушающій,—все это на дѣвочку сильно подѣйствовало. Мать озабочена, а отцу лишь до литературы“. Гоголь на это отвѣчалъ: „Вашимъ совѣтомъ позаняться хандрящею дѣвицею не воспользовался. Я думаю, что обращаться съ дѣвушкой есть дѣло женщины... Повѣрьте, дѣвушка неспособна почувствовать возвышенно-чистой дружбы къ мужчинѣ; непремѣнно заронится инстинктивно другое чувство, ей сродное, и бѣда обрушится на несчастнаго доктора, который съ истинно братскимъ, а не другимъ какимъ, чувствомъ подбросилъ ей лекарство. Все, что я сдѣлалъ, это было то, что я, вслѣдствіе письма вашего, постарался узнать, которая изъ дочерей Аксакова называется Маріей. Надобно вамъ сказать, что я былъ въ пріязни только со стариками да съ дѣтьми мужского пола; что же до женскаго, то я зналъ только имена двухъ старшихъ дочерей, съ остальными же только раскланивался, не говоря ни слова“ [335]).

Не смотря на сердечный отзывъ, сдѣланной А. О. Смир-

новой объ И. С. Аксаковѣ, сей послѣднiй писалъ своему отцу: „А. О. Смирнова все нездорова; она сдѣлалась гораздо лучше прежней, но вдесятеро скучнѣе. Она прилѣпилась къ набожности со всею ея внѣшностью, знаетъ, кажется, наизусть всѣ святцы, уничтожила всѣ свои цвѣтныя одежды, оставивъ однѣ черныя, также всю излишнюю роскошь“.

Не смотря на распрю съ Аксаковыми, Шевыревъ въ *Москвитянинѣ* продолжалъ ратовать за Словенофиловъ противъ Западниковъ. „Въ 1844 и 45 годахъ имя Словенъ и Словенофиловъ“, писалъ онъ, — „начало часто показываться въ Петербургскихъ журналахъ и подвергалось съ тѣхъ поръ неутомимымъ преслѣдованiямъ, какъ имя какой-то особенной партiи, непрiятной ихъ духу и направленiю. Первая, кажется, во зло употребила это имя *Библiотека для Чтенiя*. За нею послѣдовали *Отечественныя Записки*. А тамъ уже всѣ журналы хоромъ стали гремѣть противъ выдуманныхъ ими Словенъ и до сихъ поръ не умолкаютъ. Откуда произошло это названiе и кому оно приписано? Въ нѣкоторыхъ ученыхъ и литераторахъ, особенно Москвы, обнаружилась сильная потребность сознать то, чтò составляетъ существенную основу Русскаго человѣка, его характеръ, его религiозныя и нравственныя начала, его первоначальное устройство общественное, его коренныя свойства, его взглядъ на мiръ, его отношенiя семейныя, его отношенiя къ народамъ иноземнымъ — и утвердившись въ этомъ сознанiи, съ новой своей точки зрѣнiя безъ предубѣжденiй постороннихъ, безъ убѣжденiй навязанныхъ, изъ сферы своей народной жизни, взглянуть и на развитiе другихъ народовъ: словомъ, сказалась потребность самобытности Русской въ дѣлѣ сознанiя, потребность науки живой, а не чуждой и отвлеченной. Это стремленiе чрезвычайно какъ оскорбило тѣхъ, которые давнымъ-давно отказавшись отъ существенныхъ основъ Русской жизни, все бытiе Русскаго человѣка полагаютъ въ томъ только, чтобы передразнивать внѣшними формами жизни и языкомъ все то, чтò составляетъ одну внѣшность западнаго образованiя, не вникая въ

коренныя его основы, въ его сущность, въ особенность его явленій. Эти люди, видя стремленіе въ нѣкоторыхъ быть и въ мысли Русскими, разсердились на нихъ за то. Русскими они назвать ихъ не могли, потому что это было бы обидно для нихъ самихъ и приводило ихъ къ неизбѣжному вопросу: а мы-то что? Потому они изобрѣли хитрость: давай назовемъ ихъ Словенами и Словенофилами—и частное видовое значеніе обратили въ общее. Средство было придумано очень хитро— и удалось. Имя пошло въ ходъ и сопровождалось всевозможными насмѣшками. Между тѣмъ изобрѣтатели имени Словенъ, дѣйствуя имъ противъ людей имъ непріятныхъ, сами безсознательно обличали свое направленіе; приписывая имъ въ насмѣшку имя Словенъ, они сами тѣмъ отказывались отъ имени Русскихъ, которое общими своими признаками непремѣнно заключается въ первомъ, и тѣмъ безсознательно сами наказали себя за злой умыселъ.

„Имя Словенъ никогда у насъ не подвергалось насмѣшкамъ. Вспомнимъ славную эпоху Отечества, въ эпоху двѣнадцатаго года. Тогда Жуковскій, представитель современныхъ мыслей и чувствъ въ поэзіи, въ своихъ произведеніяхъ не отдѣлялъ имени Словенскаго отъ имени Русскаго. Надобно еще сказать, что Жуковскій по сочувствіямъ своимъ принадлежалъ тому поколѣнію, которое обнаружило сопротивленіе защитнику Словенства, Шишкову. Еще въ пѣсни 1806 года имя Словенъ раздавалось вмѣстѣ съ именемъ Русскимъ, а въ 1812 году раздавалось еще громче. Припомнимъ стихи изъ *Пѣвца въ станѣ Русскихъ воиновъ*.

„Если въ славную эпоху нашей жизни поэты такіе, какъ Жуковскій, гордились именемъ Словенъ,—какъ же могло случиться, что теперь такое высокое имя нашего племени употребляется въ насмѣшку?“ [336])

Тѣмъ не менѣе въ 1848 году разобщеніе между Словенофилами достигло до того, что когда наступило *15 марта*, день священный для Словенофиловъ старшаго поколѣнія, то Шевыревъ писалъ Погодину: „Въ понедѣльникъ *15 марта*:

соберемся ли опять въ Троицкомъ трактирѣ, какъ въ прошломъ году? Кому сказать о томъ? Хомякову я напишу. А ты не возьмешься ли за Мельгунова? Павлову, я уже не знаю, кто скажетъ? Вотъ какъ обстоятельства въ теченіе года измѣняются".

Обѣдъ въ память Д. В. Веневитинова состоялся, и Погодинъ, подъ 15 марта 1848 года, записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Обѣдалъ съ Шевыревымъ, Хомяковымъ и Павловымъ въ Троицкомъ трактирѣ. Лишнее съѣлъ и выпилъ. Вечеромъ завалился спать".

LI.

Въ то время, когда происходили описанныя нами распри Шевырева съ Аксаковыми и Павловыми, съ одной стороны, и Погодина съ Аксаковыми—съ другой, Гоголь съ оливой мира возвратился отъ Св. Гроба въ Россію.

Еще въ концѣ 1847 года Гоголь изъ Неаполя писалъ Погодину: „Мнѣ очень теперь хочется ѣхать въ Россію, но замираетъ малодушный духъ мой при одной мысли о томъ, какой длинный мнѣ предстоитъ переѣздъ и все почти моремъ, котораго я не въ силахъ выносить и отъ котораго страдаю ужасно. Не ѣхать же въ Іерусалимъ какъ-то стало даже совѣстно. Если нѣтъ внутренняго желанья, такъ сильнаго, какъ прежде, то все-таки слѣдуетъ хотя поблагодарить за все случившееся, потому что случилось многое изъ того, что, я думалъ, безъ Іерусалима не случится. Духъ освѣтило и силы обновились..." Наконецъ въ январѣ 1848 года Гоголь поплылъ изъ Неаполя въ Іерусалимъ. Изъ Мальты онъ писалъ Шевыреву. Содержаніе письма Шевыревъ сообщилъ Погодину: „Отъ Гоголя получилъ письмо изъ Мальты. Онъ на пути въ Іерусалимъ и страдалъ отъ моря. Проситъ писать къ нему въ Константинополь на имя Титова. Вотъ его слова къ тебѣ: *милаго Погодина проси также: скажи ему, что мнѣ будетъ особенно пріятно получить отъ него письмецо*".

28 февраля 1848 года Гоголь уже былъ въ Святомъ Градѣ и оттуда писалъ Жуковскому: „И я, по примѣру многихъ другихъ, удостоился видѣть мѣсто и землю, гдѣ совершилось дѣло искупленія нашего. Прибылъ я сюда благополучно, едва примѣтивши, что изъ Европы переступилъ въ Азію. Уже успѣлъ произнесть твое имя у Гроба Господня. О, да поможетъ намъ Богъ, и тебѣ, и мнѣ, всѣ силы наши посвятить на произведенье твореній, нами несенныхъ въ глубинѣ душъ нашихъ... Я здѣсь не остаюсь долго, спѣша возвратиться въ Россію вмѣстѣ съ моимъ старымъ школьнымъ товарищемъ Базили, съ которымъ я прибылъ сюда и который, будучи нашимъ генеральнымъ консуломъ въ Сиріи, завѣдываетъ дѣлами Іерусалима. Базили написалъ преудивительную вещь, которая покажетъ Европѣ Востокъ, подъ заглавіемъ: *Сирія и Палестина*". Въ другомъ письмѣ къ Жуковскому изъ Бейрута, на обратномъ пути въ Россію (6 апрѣля 1848 г.), Гоголь писалъ: „Уже мнѣ почти не вѣрится, что и я былъ въ Іерусалимѣ. А между тѣмъ я былъ точно, я говѣлъ и пріобщился у самаго Гроба Святаго. Литургія совершалась на самомъ Гробовомъ камнѣ. Какъ это было поразительно!.. Я стоялъ... одинъ; передо мною только священникъ, совершавшій литургію; діаконъ... уже былъ позади меня, за стѣнами Гроба; его голосъ уже мнѣ слышался въ отдаленіи. Голосъ же народа и хора .... былъ еще отдаленнѣе. Соединенное пѣніе Русскихъ поклонниковъ, возглашавшихъ: *Господи помилуй* и пр., едва доходило до ушей... Все это было такъ чудно! Я не помню, молился ли я. Мнѣ кажется, я только радовался потому, что помѣстился на мѣстѣ, такъ удобномъ для моленья и такъ располагающемъ молиться... Литургія неслась ..Я не успѣлъ почти опомниться, какъ очутился передъ чашей, вынесенной священникомъ изъ вертепа для пріобщенія меня недостойнаго .. Вотъ тебѣ всѣ мои впечатлѣнія изъ Іерусалима" [337]).

Письма Гоголя доставляли Жуковскому великую радость. „И съ изумленіемъ, и радостію, милѣйшій Гоголь", писалъ онъ, — „получилъ я твое письмо изъ Іерусалима. Въ то время,

какъ я полагалъ, что вокругъ тебя шумитъ возмутившійся Неаполь, ты спокойно стоялъ у Гроба Господня и, смотря на него, глубже понималъ и значеніе человѣческихъ тревогъ на землѣ, и тайну небеснаго мира души человѣческой" [338]).

На просьбу Жуковскаго изобразить Палестину со всѣми мѣстными красками Гоголь между прочимъ отвѣчалъ: „Къ чему эти бѣдныя черты, когда всякое событіе Евангельское и безъ того уже обстанавливается въ умѣ христіанина такими окрестностями, которыя гораздо ближе даютъ чувствовать *минувшее* время, чѣмъ всѣ нынѣ видимыя мѣстности, обнаженныя, мертвыя? Что̀ могутъ сказать, напримѣръ, нынѣ мѣста, по которымъ прошелъ *скорбный путь* Спасителя ко кресту, которыя всѣ теперь собраны подъ одну крышу храма, такъ что и Св. Гробъ, и Голгоѳа, и мѣсто, гдѣ Спаситель показанъ былъ Пилатомъ народу, и жилище архіерея... все очутилось вмѣстѣ? Что̀ могутъ всѣ эти мѣста, которыя привыкли мы мѣрить разстояніями, произвести другого, какъ развѣ только сбить съ толку любопытнаго наблюдателя, если только они уже не врѣзались заблаговременно и прежде въ его сердце и, въ свѣтѣ пламенѣющей вѣры, не предстоятъ ежеминутно предъ мысленными его очами?.. Что́ могутъ проговорить тебѣ эти мѣста (Іерусалимъ, Виѳлеемъ, Іорданъ), если не увидишь мысленными глазами надъ Виѳлеемомъ звѣзды, надъ струями Іордана голубя, сходящаго изъ разверстыхъ небесъ, въ стѣнахъ Іерусалимскихъ страшный день крестной смерти... Другъ, сообразилъ ли ты, чего просишь, прося отъ меня картинъ и впечатлѣній для той повѣсти (*Вѣчный Жидъ*), которая должна быть вмѣстѣ и внутренней исторіей твоей собственной души. Нѣтъ, всѣ эти Святыя Мѣста уже должны быть въ твоей душѣ. Соверши же, помолясь жаркой молитвой, это внутреннее путешествіе — и всѣ святыя окрестности возстанутъ предъ тобою въ томъ свѣтѣ и колоритѣ, въ какомъ они должны возстать. Какую великолѣпную окрестность поднимаетъ вокругъ себя всякое слово въ Евангеліи! Какъ бѣденъ предъ этимъ неизмѣримымъ кругозоромъ, открываю-

щимся живой душѣ, тотъ узкій кругозоръ, который озирается мертвыми очами ученаго изслѣдователя!“ [339]).

Переѣздъ черезъ Сирійскія пустыни Гоголь совершилъ въ сообществѣ своего товарища по гимназіи, К. М. Базили, который, въ качествѣ генеральнаго консула въ Сиріи, пользовался особеннымъ вліяніемъ на умы Арабовъ. „Для поддержанія этого вліянія“, разсказываетъ П. А. Кулѣшъ, — „Базили долженъ былъ играть роль полномочнаго вельможи, который признаетъ надъ собой только власть великаго падишаха. Каково же было изумленіе Арабовъ, когда они увидѣли его въ явной зависимости отъ его тщедушнаго и невзрачнаго спутника! Гоголь, изнуряемый зноемъ песчаной пустыни и выходя изъ терпѣнія отъ разныхъ дорожныхъ неудобствъ, не разъ увлекался за предѣлы обыкновенныхъ жалобъ и сопровождалъ свои жалобы такими жестами, которые въ глазахъ Арабовъ были доказательствомъ ничтожности грознаго сатрапа. Это не нравилось Базили; мало того: это было даже опасно въ ихъ странствованіи черезъ пустыни, такъ какъ ихъ охраняло больше всего только высокое мнѣніе Арабовъ о значеніи Базили въ Русскомъ государствѣ. Тогда Базили рѣшился вразумить Гоголя самимъ дѣломъ и принялъ съ нимъ такой тонъ, какъ съ послѣднимъ изъ своихъ подчиненныхъ. Это заставило Гоголя молчать, а мусульманамъ дало почувствовать, что Базили все-таки полновластный визирь великаго Падишаха, и что выше его нѣтъ визиря въ Имперіи“ [340]).

Наконецъ 12 апрѣля 1848 года А. С. Стурдза извѣщаетъ Погодина: „Н. В. Гоголь и К. М. Базили прибыли на дняхъ въ нашу Одесскую пристань“; а гастрономъ Мурзакевичъ пишетъ: „Гоголь пріѣхалъ и выдерживаетъ карантинъ. 30 апрѣля выходитъ въ городъ Одессу, и мы его встрѣчаемъ обѣдомъ у Отона“ [341]).

Узнавъ о прибытіи Гоголя въ Одессу, К. С. Аксаковъ привѣтствовалъ его такими словами: „Наконецъ вы на Русской землѣ, любезнѣйшій Николай Васильевичъ! Наконецъ я пишу

къ вамъ не за границу“ [342]). Отецъ же Константина Аксакова писалъ Гоголю: „Здравствуйте, здравствуйте на Святой Руси, мой любезный другъ, Николай Васильевичъ! Давно должны были написаться эти строки, но... всѣ человѣческія предположенія прахъ и суета!“ Съ своей стороны и Шевыревъ извѣщалъ Надежду Николаевну Шереметеву: „Сію минуту получилъ я письмо отъ Н. В. Гоголя изъ Одессы отъ 21 апрѣля. Слава Богу, онъ прибылъ благополучно. Пишетъ ко мнѣ изъ карантина. Духомъ спокоенъ и счастливъ. Ѣдетъ къ своей матери въ Полтаву, въ деревню Васильевку . . . . Когда я прочелъ его письмо, первою мыслію моею было благодарить Бога за то, что онъ по милосердію Своему услышалъ наши молитвы о благополучномъ возвращеніи нашего друга въ Россію. Второю мыслію было писать къ вамъ...“ [343]).

Изъ Одессы Гоголь отправился въ свое Полтавское имѣніе Васильевку и по пути заѣхалъ въ Кіевъ, гдѣ встрѣтился съ Ѳ. В. Чижовымъ. Объ этой встрѣчѣ сохранилось воспоминаніе у послѣдняго, и вотъ что онъ повѣствуетъ: „Послѣ Италіи мы встрѣтились съ Гоголемъ, въ 1848 году, въ Кіевѣ, и встрѣтились истинными друзьями. Мы говорили мало, но разбитой тогда и сильно больной душѣ моей стала понятна болѣзнь души Гоголя. Мы встрѣтились у А. С. Данилевскаго, у котораго остановился Гоголь и очень искалъ меня; потомъ провели вечеръ у М. В. Юзефовича. Гоголь былъ молчаливъ, только при разставаньи онъ просилъ меня, не можемъ ли мы сойтись на другой день рано утромъ въ саду. Я пришелъ въ общественный садъ рано, часовъ въ 6 утра; тотчасъ же пришелъ и Гоголь! Мы много ходили по Кіеву, но больше молчали; не смотря на то, не знаю, какъ ему, а мнѣ было пріятно ходить съ нимъ молча. Онъ спросилъ меня: гдѣ я думаю жить?—Не знаю, говорю я: вѣроятно, въ Москвѣ. — Да, — отвѣчалъ мнѣ Гоголь; — кто сильно вжился въ жизнь Римскую, тому послѣ Рима только Москва и можетъ нравиться. Мы назначили вечеромъ сойтись въ Лаврѣ, но тамъ видѣлись только на нѣсколько минутъ: онъ торопился“ [344]).

Въ маѣ Гоголь былъ уже въ своей родной Васильевкѣ и оттуда 16 числа писалъ Данилевскому: „Ты спрашиваешь меня о впечатлѣніяхъ, какія произвелъ во мнѣ видъ давно покинутыхъ мѣстъ. Было нѣсколько грустно, вотъ и все. Подъѣхалъ я вечеромъ. Деревья — одни разрослись и стали рощей, другія вырубились... Матушка и сестры, вѣроятно, были рады до nec plus ultra моему пріѣзду, но наша братья, холодный мужской полъ, не скоро растапливается. Чувство непонятной грусти бываетъ къ намъ ближе, чѣмъ что-либо другое“.

Въ началѣ сентября 1848 года Гоголь пріѣхалъ въ Москву и остановился, по обычаю, у Погодина на Дѣвичьемъ Полѣ. Въ октябрѣ онъ ѣздилъ на короткое время въ Петербургъ, и 1-го октября 1848 г. Шевыревъ писалъ Надеждѣ Николаевнѣ Шереметевой: „Гоголь пробылъ здѣсь весьма короткое время и наружностью не перемѣнился нисколько. Здоровье его хорошо. Боится зимнихъ холодовъ. Духомъ онъ бодръ. Слово его такое же, какъ было прежде. Собирается здѣсь работать“.

Наружный видъ Гоголя, по возвращеніи его въ Россію, весьма живописно изображенъ И. С. Тургеневымъ, который при посѣщеніи знаменитаго писателя нашелъ его въ такомъ видѣ: „Гоголь былъ одѣтъ въ темное пальто, зеленый бархатный жилетъ и коричневыя панталоны. Меня поразила перемѣна, происшедшая въ немъ съ 1841 года. Я раза два встрѣтилъ его тогда у А. П. Елагиной. Въ то время онъ смотрѣлъ приземистымъ и плотнымъ малороссомъ; теперь онъ казался худымъ и испитымъ человѣкомъ, котораго успѣла уже на порядкахъ измыкать жизнь. Какая-то затаенная боль и тревога, какое-то грустное безпокойство примѣшивались къ постоянно-проницательному выраженію его лица. Его бѣлокурые волосы, которые отъ висковъ падали прямо, какъ обыкновенно у казаковъ, сохранили еще цвѣтъ молодости, но уже замѣтно порѣдѣли; отъ его покатаго, гладкаго, бѣлаго лба по прежнему такъ и вѣяло умомъ. Въ небольшихъ карихъ глазахъ искрилась по временамъ веселость — именно веселость,

а не насмѣшливость; но вообще взглядъ ихъ казался усталымъ. Длинный, заостренный носъ придавалъ физіономіи Гоголя нѣчто хитрое, лисье; невыгодное впечатлѣніе производили также его одутловатыя мягкія губы подъ остриженными усами; въ ихъ неопредѣленныхъ очертаніяхъ выражались—такъ, по крайней мѣрѣ, мнѣ показалось—темныя стороны его характера: когда онъ говорилъ, онѣ непріятно раскрывались и выказывали рядъ нехорошихъ зубовъ; маленькій подбородокъ уходилъ въ широкій, бархатный, черный галстухъ. Въ осанкѣ Гоголя, въ его тѣлодвиженіяхъ было что-то не профессорское, а учительское—что-то, напоминающее преподавателей въ провинціальныхъ институтахъ и гимназіяхъ... Какое ты умное, и странное, и больное существо! Невольно думалось, глядя на него. Гоголь говорилъ много, съ оживленіемъ, размѣренно отталкивая и отчеканивая каждое слово—что не только не казалось неестественнымъ, но, напротивъ, придавало его рѣчи какую-то пріятную вѣскость, впечатлительность“ [345]).

Изъ Петербурга Гоголь писалъ Погодину: „Вотъ тебѣ нѣсколько строчекъ, мой добрый и милый! Едва удосужился. Петербургъ беретъ столько времени. Ѣзжу и отыскиваю людей, отъ которыхъ можно сколько-нибудь узнать, что̀ дѣлается на нашемъ грѣшномъ свѣтѣ. Все такъ странно, такъ дико. Какая-то нечистая сила ослѣпила глаза людямъ, и Богъ попустилъ это ослѣпленіе. Я нахожусь точно въ положеніи иностранца, пріѣхавшаго осматривать новую, никогда дотолѣ невиданную землю: его все дивитъ, все изумляетъ и на всякомъ шагу попадается какая-нибудь неожиданность...“

Въ Петербургѣ Гоголь засталъ А. О. Смирнову. По возвращеніи въ Москву Гоголь получилъ отъ нея слѣдующее письмо: „Вамъ надобно видѣться непремѣнно съ Филаретомъ; пожалуйста, ради меня, повидайтесь съ нимъ: у него чувствуешь что-то радостное, такъ онъ *высвѣтлѣлъ*. Это ваше слово какъ разъ ему приходится. Явленіе такое рѣдко въ этомъ санѣ. Вспомните его слова на освященіи скита, когда онъ заливался слезами и всѣ предстоящіе рыдали. Это были по-

слѣднія слезы человѣка тлѣннаго, потому что скитъ открытъ, когда онъ почувствовалъ, что никогда не будетъ въ Петербургѣ и Сvнодѣ. Съ той поры замѣтили въ немъ ту значительную духовную перемѣну. Меня именно прельщало въ немъ то, чтó казалось Хомякову и многимъ несносно, то-есть, его учтивость и кроткая любезность съ прескучными дамами. Человѣкъ не имѣетъ никакого права отталкивать просящаго у него, и вотъ почему бѣдный владыка сидитъ съ барынями. Вы у него научитесь любить Троицкій посадъ и преподобнаго Сергія, а тамъ много утѣшенія возлѣ Святого Чудотворца". Гоголь воспользовался этимъ совѣтомъ и вмѣстѣ съ А. Н. Верстовскимъ посѣтилъ Митрополита.

Возвратившись въ Москву, Гоголь опять поселился у Погодина и прожилъ у него до декабря 1848 года. Сынъ хозяина примѣтилъ слѣдующій его обычай: „Послѣ обѣда до семи часовъ Гоголь уединялся къ себѣ, и въ это время къ нему уже никто не ходилъ; а въ семь часовъ онъ спускался внизъ, широко распахивалъ двери всей амфилады переднихъ комнатъ, и начиналось хожденіе... Въ крайнихъ комнатахъ ставились большіе графины съ холодной водой. Гоголь ходилъ и черезъ каждыя десять минутъ выпивалъ по стакану. На отца, сидѣвшаго въ это время въ своемъ кабинетѣ за Несторомъ, это хожденіе не производило никакого впечатлѣнія, онъ преспокойно сидѣлъ и писалъ. Изрѣдка только бывало подниметъ голову на Гоголя и спроситъ: *Ну, что находился ли?* Гоголь ходилъ чрезвычайно быстро и какъ-то порывисто, производя при этомъ такой вѣтеръ, что стеариновыя свѣчи оплывали, къ немалому огорченію моей бережливой бабушки. Когда же Гоголь очень ужъ расходится, то моя бабушка, сидѣвшая въ одной изъ комнатъ, закричитъ бывало горничной: *Груша, а Груша, подай-ка теплый платокъ, тальянецъ,* "такъ звала она Гоголя, *столько вѣтру напустилъ, такъ страсть*" [346]).

Въ это же время, проѣздомъ изъ Одессы въ Петербургъ, пребывалъ въ Москвѣ высокопреосвященный Иннокентій. Въ честь высокаго гостя А. И. Лобковъ сдѣлалъ обѣдъ, на ко-

торый приглашалъ Погодина и Гоголя. „Вотъ и владыка къ намъ изъ теплыхъ странъ пожаловалъ“, писалъ Лобковъ Погодину, — „нынче я имѣлъ честь его видѣть и убѣдить завтрашній день у меня раздѣлить трапезу, къ которой я васъ покорнѣйше прошу пожаловать. Владыка еще поручилъ пригласить ко мнѣ же г. Гоголя, но я его не знаю, и потрудитесь это устроить“.

Не знаемъ, воспользовался ли Гоголь этимъ приглашеніемъ, но знаемъ, что Погодинъ воспользовался онымъ, о чемъ гласитъ запись его въ *Дневникѣ*, подъ 21 октября 1848 года: „Обѣдать къ Лобкову не хотѣлъ было ѣхать и поѣхалъ для Музея...“

Дарованіе Гоголя весьма цѣнилось и въ средѣ Троицкихъ ученыхъ, одинъ изъ нихъ, С. К. Смирновъ, писалъ Погодину: „Слышалъ, что у васъ гоститъ Русская знаменитость: Н. В. Гоголь. Горю нетерпѣливымъ желаніемъ видѣть этого чуднаго мужа, котораго я почитаю до безпредѣльности“; а Ѳ. И. Иноземцовъ, поручая Погодину поклониться Гоголю, замѣчаетъ о немъ: *чай, хандритъ*.

О житьѣ Гоголя подъ одною кровлею съ Погодинымъ мы встрѣчаемъ въ *Дневникѣ* послѣдняго слѣдующія записи:

Подъ *14 октября 1848 года*: „Съ Гоголемъ объ Аксаковѣ“.

— *15* — — : „Вечеромъ съ Гоголемъ о нынѣшнемъ времени и о Русскомъ человѣкѣ“.

— *16* — —: „Съ Гоголемъ о нынѣшней администраціи“.

— *17* — —: „Пріѣзжалъ Шевыревъ просить обѣдать завтра. Слава Богу, не сердится за объясненіе. Съ Гоголемъ обѣдали вдвоемъ и толковали о людяхъ и ихъ дѣйствіяхъ“.

— *18* — —: „Глубокое замѣчаніе Гоголя: *Спасеніе Россіи, что Петербургъ въ Петербургѣ*“.

— *1 ноября*: „Думалъ о Гоголѣ. Онъ все тотъ же. Я убѣдился. Только ряса подчасъ другая. Люди ему ни почемъ“.

— *2* — —: „Гоголь по два дня не показывается; хоть бы спросилъ: чѣмъ ты кормишь двадцать пять человѣкъ?“

— *19* — —: „Православіе и Самодержавіе у меня въ домѣ: Гоголь служилъ всенощную—неужели для восшествія на престолъ?“

— *20* — —: „Гоголь нынѣ пріобщался. Вотъ почему вчера онъ служилъ всенощную“.

— *22* — —: „Студенты изъ Семинаріи. О Семинаріи. Показывалъ Гоголю“.

24 декабря 1848 года Погодинъ писалъ М. А. Максимовичу: „Гоголь въ Москвѣ жилъ у меня два мѣсяца, а теперь переѣхалъ къ графу А. П. Толстому, ибо я самъ переѣзжаю во флигель: изъ дома выживаютъ рукописи, боюсь огня запаху. Онъ здоровъ, спокоенъ и пишетъ. Вотъ такъ нагрубилъ, или лучше—обругалъ онъ меня передъ лицомъ всей Россіи, да я и то снесъ,—значитъ—что̀ я гордъ, или добръ?“

По свидѣтельству современниковъ, „трудно представить себѣ болѣе избалованнаго литератора и съ большими претензіями, чѣмъ былъ въ то время Гоголь... Московскіе друзья Гоголя, точнѣе сказать *приближенные*,—дѣйствительнаго друга у Гоголя, кажется, не было во всю жизнь,—окружали его неслыханнымъ, благоговѣйнымъ вниманіемъ. Онъ находилъ у кого-нибудь изъ нихъ все, что̀ нужно для самаго спокойнаго и комфортабельнаго житья: столъ съ блюдами, которыя онъ наиболѣе любилъ; тихое, уединенное помѣщеніе и прислугу, готовую исполнять всѣ его малѣйшія прихоти. Этой прислуги съ утра до ночи строго внушалось, чтобы она отнюдь не входила въ комнату гостя безъ требованія съ его стороны; отнюдь не дѣлала ему никакихъ вопросовъ; не подглядывала, сохрани Богъ! за нимъ. Всѣ домашніе снабжались подобными же инструкціями. Даже близкіе знакомые хозяина, у кого жилъ Гоголь, должны были знать, какъ вести себя, если неравно съ нимъ встрѣтятся и заговорятъ. Имъ сообщалось между прочимъ, что Гоголь терпѣть не можетъ говорить о Литературѣ, въ особенности о своихъ произведеніяхъ...“

Переселившись съ Дѣвичьяго Поля на Никитскій бульваръ

къ графу Толстому, Гоголь занялъ переднюю часть нижняго этажа, окнами на бульваръ. „Здѣсь за Гоголемъ ухаживали какъ за ребенкомъ, предоставивъ ему полную свободу во всемъ. Онъ не заботился ровно ни о чемъ. Обѣдъ, завтракъ, чай, ужинъ подавались тамъ, гдѣ онъ прикажетъ. Бѣлье его мылось и укладывалось въ комоды невидимыми духами, если только не надѣвалось на него тоже невидимыми духами. Кромѣ многочисленной прислуги дома, служилъ ему въ его комнатахъ собственный его человѣкъ, изъ Малороссіи, именемъ Семенъ, парень очень молодой, смирный и чрезвычайно преданный своему барину. Тишина въ домѣ была необыкновенная. Гоголь либо ходилъ по комнатѣ, изъ угла въ уголъ, либо сидѣлъ и писалъ. Когда писаніе утомляло или надоѣдало, Гоголь поднимался на верхъ къ хозяину, не то — отправлялся пѣшкомъ по Никитскому бульвару, большею частію налѣво изъ воротъ“. Графъ А. П. Толстой сказывалъ князю Д. А. Оболенскому, что „ему не разъ приходилось слышать какъ Гоголь писалъ свои *Мертвыя Души*: проходя мимо дверей, ведущихъ въ его комнату, онъ не разъ слышалъ, какъ Гоголь одинъ, въ запертой горницѣ, будто бы съ кѣмъ-то разговаривалъ, иногда самымъ неестественнымъ голосомъ“ [347]).

Когда Гоголь пріѣхалъ изъ Малороссіи въ Москву, то не засталъ въ ней Аксаковыхъ. Они были въ деревнѣ и только въ октябрѣ переселились въ городъ. Изъ писемъ В. С. Аксаковой мы узнаемъ, что ея братъ Константинъ „въ минуту свиданія съ Гоголемъ забылъ все и задушилъ было его обнимая. Гоголь по прежнему бывалъ часто у Аксаковыхъ. По замѣчанію С. Т. Аксакова, онъ никогда не видалъ Гоголя такимъ здоровымъ, крѣпкимъ и бодрымъ физически, какъ въ ноябрѣ и декабрѣ 1848 и въ январѣ и февралѣ 1849 года. Надобно замѣтить, что зима была необыкновенно жестокая и постоянная, что Гоголь прежде никогда не могъ выносить сильнаго холода, и что теперь онъ одѣвался очень легко. Съ появленіемъ же первыхъ оттепелей Гоголь сталъ задумчивѣе вялѣе, и хандра очевидно стала имъ овладѣвать. Однако

19 марта 1849 года, въ день своего рожденія, который онъ всегда проводилъ у Аксаковыхъ, С. Т. Аксаковъ получилъ отъ него слѣдующую довольно веселую записку: „Любезный другъ Сергѣй Тимоѳѣевичъ, имѣютъ сегодня подвернуться вамъ къ обѣду два пріятеля: П. М. Языковъ и я, оба грѣховодники и скоромники. Упоминаю объ этомъ обстоятельствѣ по той причинѣ, чтобы вы могли приказать прибавить кусокъ бычачины на одно лишнее рыло“ [348]).

Въ честь пребыванія Гоголя въ Москвѣ Погодинъ торжественно отпраздновалъ день своего рожденія (11 ноября 1848 г.) во фракахъ и бѣлыхъ галстукахъ. Еще на канунѣ начались приготовленія къ вечеру 11 ноября. Приглашенныхъ было много. Изъ сохранившихся письменныхъ свидѣтельствъ мы узнаемъ, что на этотъ вечеръ, между прочимъ, былъ приглашенъ новый помощникъ Попечителя Московскаго учебнаго округа князь Г. А. Щербатовъ, который на приглашеніе отвѣчалъ: „Я воспользуюсь съ величайшимъ удовольствіемъ вашимъ приглашеніемъ пріѣхать праздновать вмѣстѣ съ вами день вашего рожденія и съ своей стороны надѣюсь, что вы не откажете мнѣ пріѣхать ко мнѣ во вторникъ провести вечеръ. Вы меня очень обяжете, если уговорите Гоголя принять тоже мое приглашеніе и тѣмъ доставить мнѣ случай возобновить старое наше съ нимъ знакомство“.

Въ самый день торжества П. П. Новосильцовъ писалъ новорожденному: „Отъ души благадарю за новое доказательство старой и дорогой мнѣ дружбы вашей, почтеннѣйшій Михаилъ Петровичъ; я зналъ, что сегодня день вашего рожденія и сейчасъ только хотѣлъ писать къ вамъ, а послѣ обѣда пріѣхать обнять васъ съ чувствами, коими преисполнено мое сердце къ вамъ. Вы меня предупредили, вспомнили обо мнѣ и истинно обязали меня. Еще разъ благодарю. Дозволите ли вы мнѣ привести съ собою моего юношу?“ *) Не отказался отъ приглашенія Погодина и И. В. Кирѣевскій, но отъ приглашенія уклонились Ю. Ѳ. Самаринъ и П. М. Строевъ; пер-

*) Ивана Петровича.

вый уклонился по причинамъ политическимъ *); по другимъ причинамъ уклонился отъ приглашенія П. М. Строевъ, которыя изложены въ слѣдующемъ письмѣ его къ Погодину: „Усерднѣйше поздравляю васъ, почтеннѣйшій Михаилъ Петровичъ, съ прошедшимъ днемъ рожденія вашего: дай Богъ, чтобы сто была грань *половины* жизни вашей. При всемъ желаніи моемъ я не могъ явиться на приглашеніе ваше, въ чемъ прошу извинить меня: огромное разстояніе, надѣваніе фрака и опасеніе простуды устрашили и заставили меня сидѣть дома".

Но вечеръ кажется не удался, благодаря герою торжества. По крайней мѣрѣ вотъ что записалъ Погодинъ въ *Дневникѣ* о своемъ вечерѣ: „Приготовленіе къ вечеру. Письмо отъ Самарина. *Гоголь испортилъ и досадно*".

LII.

20 мая 1848 года Хомяковъ у себя на вечерѣ прочелъ свое письмо *объ Англіи*. Въ числѣ гостей былъ и Погодинъ, и онъ въ *Дневникѣ* своемъ записалъ: „Вечеръ у Хомякова, который прочелъ прекрасную статью. Думалъ объ отвѣтѣ. Толковалъ о Востокѣ и Западѣ".

Письмо свое Хомяковъ пожелалъ напечатать въ *Москвитянинѣ*. Явились цензурныя затрудненія, по поводу коихъ онъ писалъ А. Н. Попову: „Мою статью объ Англіи не пропустила цензура. Еслибы вы только могли видѣть, что именно не пропущено, вы бы едва повѣрили своимъ глазамъ; а замѣтьте, что это не особенная строгость ко мнѣ, а просто страхъ, принятый за правило здѣшними цензорами, которыхъ будто пугаютъ изъ вашихъ сторонъ. Да гдѣ же тутъ толкъ? Неужели генералы, и даже адмиралы разные, какъ говоритъ Гоголь, не понимаютъ уже ровно ничего въ теперешнемъ положеніи дѣлъ? Видѣть, что нѣтъ никакой возможности принести хоть какую-нибудь пользу, это несносно... Москва съ

*) См. ниже: *дѣло о Флетчерѣ*.

своимъ Кремлемъ и тройнымъ оцѣпленіемъ Святыхъ мѣстъ, охватывающихъ ее со всѣхъ сторонъ, это Оксфордъ Россіи, но Оксфордъ огромный, много сильнѣе Англійскаго. Въ ней сосредоточивается и выражается сила историческая, сила преданія, сила устойчивости общественной; но этой силѣ нужно выраженіе, этому выраженію нужна свобода, хотя бы въ свободѣ и проглядывало какое-нибудь повидимому оппозиціонное начало. Это мнимая оппозиція есть истинное и единственное консерваторство. Пусть этому началу положатъ совершенную преграду, пусть отнимутъ всякую возможность выраженія у этой силы преданія и общественной устойчивости; пусть заморятъ ее совершеннымъ молчаніемъ, и тогда черезъ нѣсколько лѣтъ пусть поищутъ съ фонаремъ живой силы охранной—и не найдутъ. Теперь не только можно, но должно поощрить, развязать умственное движеніе въ центрѣ жизни нашей, въ Москвѣ, а цензура дѣлается неслыханнымъ бичемъ. Словесность должна замолкнуть, всякая жизнь умственная должна замолкнуть въ Москвѣ, и тогда я желалъ бы посмотрѣть, что положитъ преграды умственной контрабандѣ... Я знаю, кто радуется этому молчанію словесности нашей, кто съ насмѣшкой говоритъ: tu l'as voulu, какой духъ торжествуетъ въ безсиліи доброй мысли" [319]).

Какъ Погодинъ, такъ и Шевыревъ приняли всѣ мѣры, чтобы статья Хомякова миновала цензурныя препятствія. „Къ Лешкову я написалъ апологическое письмо въ пользу статьи Хомякова", писалъ Шевыревъ Погодину;—„надобно отстоять ее всѣми силами. Нельзя ли подѣйствовать на молодого помощника Попечителя *), только что вступившаго въ должность? Да будетъ это его первымъподвигомъ. Мнѣ грустно, если эта статья не пройдетъ. Сейчасъ я ѣду къ Окуловымъ въ деревню **) освѣжиться воздухомъ". Дружеское отношеніе Лешкова къ редактору *Москвитянина* много помогло дѣлу. „Посылаю вамъ", писалъ Лешковъ Погодину,—„статью Хомя-

*) То-есть, на князя Г. А. Щербатова.

**) Близъ Остафьева.

кова, которую еще разъ пробѣжалъ сегодня вмѣстѣ съ С. П. Шевыревымъ. Особенно одно мѣсто надѣлало много хлопотъ; не желая его выпустить, хотѣлось измѣнить. Слово *сила* замѣняется словомъ *духъ единомыслія*. Кажется, я оказалъ все снисхожденіе къ статьѣ" [350]).

Но самъ Хомяковъ, хотя и жаловался на цензуру, къ хлопотамъ же объ своей статьѣ относился довольно безразлично, и Погодинъ жаловался Шевыреву: „Удивительный человѣкъ Хомяковъ. Я послалъ къ нему статью съ замѣчаніями для цензора, дабы онъ изъявилъ свое согласіе и несогласіе препроводить къ нему. Теперь слышу, что онъ уѣхалъ, не рѣшивъ дѣла. Если тебѣ нельзя быть въ пятницу ко мнѣ (нарочно ѣхать не надо), то побывай въ четвергъ у Лешкова. Онъ живетъ близко къ тебѣ, и, услышавъ твое разсужденіе, передастъ его мнѣ въ пятницу. Если не сговоримся, то пошлемъ въ Петербургъ къ Уварову или Вяземскому, или Корфу или Давыдову".

Хлопоты Погодина и Шевырева увѣнчались успѣхомъ, и статья Хомякова была напечатана. Авторъ ея писалъ А. Н. Попову: „Статью мою наконецъ пропустили. Не знаю, какъ, ибо цензура рѣшительно сперва отказала; но знаю, что Погодинъ и Шевыревъ лѣзли изъ кожи. Кажется, безъ самолюбія могу сказать, что она того стоитъ. Англичане, которымъ она читана была, говорятъ, что она была бы подаркомъ для Англіи" [351]). Когда эта статья появилась въ іюльскомъ *Москвитянинѣ*, то И. И. Давыдовъ писалъ Погодину: „Въ *Москвитянинѣ* Хомякова парадоксы объ Англіи многимъ нравятся. Дѣйствительно, тутъ много остроумнаго, животрепещущаго; но сколько тезисовъ и для спора" [352]).

Оттискъ своей статьи, Хомяковъ чрезъ А. Н. Попова представилъ графинѣ А. Д. Блудовой и при этомъ писалъ: „Посылаю вамъ посылочку для графини А. Д. Блудовой. Это *Англія*... Пожалуйста, скажите ей, что мнѣ стыдно взглянуть на бумагу, на которой напечатана *Англія*: я просилъ Погодина лишніе экземпляры для меня напечатать на порядочной

бумагѣ, а онъ по своей привычной экономіи употребилъ на это бракованную". Самой же графинѣ Блудовой Хомяковъ писалъ: „Журнальная дѣятельность никогда меня не веселила, и никогда бы, можетъ быть, не напечаталъ я и строки въ журналѣ; но я не умѣлъ придумать другого пути для удобнаго выраженія своей мысли и печаталъ статьи въ никѣмъ нечитаемомъ *Москвитянинѣ*. Я хотѣлъ... высказать завѣтную мысль, которую носилъ въ себѣ съ самаго дѣтства, и которая долго казалась странною и дикою даже моимъ близкимъ пріятелямъ. Эта мысль состоитъ въ томъ, что, какъ бы каждый изъ насъ не любилъ Россію, мы всѣ, какъ общество, постоянные враги ея... Мы враги ея, потому что мы иностранцы, потому что мы господа крѣпостныхъ соотечественниковъ, потому что одуряемъ народъ и въ то же время себя лишаемъ возможности истиннаго просвѣщенія. Вопросы политическіе не имѣютъ для меня никакого интереса; одно только важно, это вопросы общественные. Напримѣръ, у насъ правительство самодержавно, это прекрасно; но у насъ общество деспотическое: это ужъ никуда не годится" [353]).

Въ формѣ письма къ Хомякову Погодинъ напечаталъ въ *Москвитянинѣ* и свои *Нѣсколько словъ*: „Всеобщая Исторія", писалъ онъ, – „вотъ наука, въ коей Русскіе должны, кажется, успѣть преимущественно. Ихъ натура и прожитая жизнь представляетъ имъ всѣ нужныя для того свойства и условія. Прочіе Европейскіе народы, по религіи, происхожденію, взаимнымъ отношеніямъ, обстоятельствамъ, настоящему положенію, организму, темпераменту, не могутъ быть судіями безпристрастными другъ объ другѣ: англичанинъ никогда не отдастъ должной справедливости французу, французъ не оцѣнитъ англичанина, нѣмецъ не можетъ судить хладнокровно о словенинѣ, словенинъ не въ силахъ произнести имени нѣмца безъ того, чтобы вся желчь не поднялась у него въ головѣ. Католики ненавидятъ протестантовъ. Протестанты презираютъ католиковъ. Сочтите всѣ историческія враждебныя происшествія, оставившія неизгладимое впечатлѣніе въ душахъ народовъ

Европейскихъ; присоедините характеръ—у однихъ гордости, у другихъ хвастовства, у третьихъ эгоизма, наконецъ недостатокъ въ образованіи. Странно и смѣшно покажется съ перваго взгляда, что русскій осмѣливается упрекать Европейцевъ въ недостаткѣ образованія; но это точно такъ. Французы, говоря вообще, знакомы только съ Латинскимъ языкомъ, нѣкоторые еще съ Англійскимъ или Италіанскимъ, съ Нѣмецкимъ немногіе, съ Словенскимъ почти никто. Англичане никакихъ языковъ не жалуютъ, кромѣ древнихъ. Нѣмцы, готовые изучать языки луны и всѣхъ планетъ, съ ихъ путниками, никакъ не могутъ преодолѣть себя, чтобъ приняться за нарѣчія Словенскія, среди коихъ живутъ. Слѣдовательно, никто не можетъ пользоваться источниками Исторіи въ совокупности. Одни Русскіе владѣютъ всѣми языками безъ различія (за исключеніемъ иногда своего, что, говорятъ *Отечественныя* (!) *Записки*, нисколько не вредно), не питаютъ никакого пристрастія къ своему народу, а напротивъ готовы отдать преимущество всякому предъ своимъ; одни Русскіе никому не завидуютъ, однимъ словомъ люди sine ira et studio, историки по преимуществу, а исторій не пишутъ!

„Краткое письмо твое служитъ доказательствомъ моему мнѣнію: въ немъ столько вѣрныхъ и острыхъ историческихъ замѣчаній, что оно знакомитъ читателя во многихъ отношеніяхъ съ Англіею больше, чѣмъ иная книга и толстая диссертація. Какъ хорошъ этотъ старый многовѣтвистый дубъ, который представляется тебѣ торіемъ, и эти думы, навѣваемыя лѣсами Англіи на ея поэтовъ, и эти кляченки, которыя красуются въ Регентовомъ паркѣ наравнѣ съ знаменитѣйшими производителями, какъ называютъ нынѣ заводскихъ скакуновъ...

„Но все-таки я долженъ тебѣ сказать, что ты посмотрѣлъ на Англію только съ хорошей стороны, такъ какъ на Францію только съ дурной. Притомъ чтеніе всей твоей статьи показываетъ, что внутри души твоей таится пристрастіе къ Англіи, въ которомъ ты самъ не можешь дать себѣ отчета. Да—такія симпатіи къ народамъ, исторіямъ, періодамъ, нау-

камъ, существуютъ въ насъ и имѣютъ начало въ тайныхъ аналогіяхъ нашего умственнаго и нравственнаго организма. Это имѣлъ я случай замѣчать часто впродолженіи долгаго обращенія между учащимися и учащими.

„Темза съ своими многочисленными кораблями, Вестминстеръ съ великолѣпными гробницами и уголкомъ поэтовъ, Виндзоръ съ мрачными и гордыми башнями, Ричмондъ съ зелеными дубами и лугами, парламенты съ богатыми лордами, столь простыми по наружности, произвели во мнѣ впечатлѣніе могущественное, но я не... однако возвратимся лучше къ твоему письму, чтобы ты не упрекнулъ меня въ нарушеніи о единствѣ предмета.

„Я, ячество Шишкова, ячность Искандера, эгоизмъ въ исторіи, политикѣ, обществѣ, литературѣ, семействѣ, дома, на сторонѣ, на сушѣ, на морѣ, опущенъ тобою изъ виду, или только тронутъ слегка, между тѣмъ какъ это свойство, съ хорошей и дурной стороны, есть отличительный характеръ Англіи. Выпишу тебѣ нѣсколько мыслей объ немъ изъ своей тетради историческихъ афоризмовъ, которые я началъ было когда-то печатать, вмѣстѣ съ нѣкоторыми новыми замѣчаніями.

„Ты знаешь любимую мою мысль во Всеобщей Европейской Исторіи: *Исторія всякаго государства есть ни что иное, какъ развитіе его начала; настоящая и будущая его Исторія такъ происходитъ изъ начала, какъ изъ крошечнаго сѣмени выростаетъ то или другое огромное деревцо, какъ въ человѣческихъ поколѣніяхъ правнуки сохраняютъ тончайшіе оттѣнки голоса или легчайшія черты тѣлодвиженія своихъ прадѣдовъ. Начало государства есть самая важная, самая существенная часть, краеугольный камень его Исторіи, и рѣшаетъ судьбу его на вѣки вѣковъ.* Отъ различія удѣльныхъ частей, ингредіентовъ начала, ихъ количества, качества, способа соединенія и прочихъ обстоятельствъ, происходятъ въ нѣкоторомъ смыслѣ различныя исторіи, какъ отъ различной перестановки буквъ въ алгебрѣ разныя формулы, или отъ различ-

ныхъ сотрясеній въ калейдоскопѣ различныя фигуры. Даже колоніи Европейскія представляютъ подтвержденіе этому мнѣнію: исторія каждой соотвѣтствуетъ ея началу.

„Въ началѣ государствъ Европейскихъ мы видимъ: завоеваніе, занятіе, завоеваніе издали, и съ водвореніемъ, завоеваніе при сопротивленіи и безъ сопротивленія, различныя степени сопротивленій, различную пропорцію завоевателей къ покореннымъ племенамъ, сходство съ ними, и различіе, образованность бо́льшую и ме́ньшую, также съ различными степенями и проч. Ни одно государство не началось совершенно, какъ другое: родовые признаки бываютъ одинакіе, но за нимъ и начинаются уже отмѣны. И каждая видовая, экземплярная отмѣна обозначается въ теченіе времени явственнѣе и явственнѣе, болѣе и болѣе—отсюда проистекаетъ и разнообразіе въ исторіяхъ.

„Въ началѣ Англійскаго государства дикіе Нѣмецкіе пришельцы, которымъ собственно принадлежитъ чувство личности, взяли тотчасъ рѣшительно и верхъ надъ старожилами; они слишкомъ живо сознали, почувствовали свою силу и преимущество, и вотъ почему въ Англіи развилось, и очень рано, право личности, право—я.

„Могущественная, гордая и богатая аристократія Англійская ведетъ свое начало отъ того же безусловнаго, совершеннаго первенства пришельцевъ.

„Чувство личности принадлежитъ впрочемъ не однимъ завоевателямъ Англіи. Покоренные, защищаясь столько времени, не на животъ, а на смерть, развивали его также съ своей стороны,—среди кровопролитной борьбы. Притомъ замѣтить надо вотъ что: первые завоеватели были иноплеменниками въ отношеніи къ туземцамъ, Бриттамъ, а послѣ Англы, Саксонцы, Датчане, Французскіе Норманны—единоплеменники между собою. Если первые (Бритты), какъ говоришь ты, „или погибли, или удалились въ западныя области“, и это доказывается тѣмъ, что почти всѣ мѣста и урочища восточной и средней Англіи утратили свои прежнія названія и получили

названія Саксонскія (мимоходомъ—однакожъ не Словенскія?), то послѣднимъ Саксонцамъ, Датчанамъ, легко было, разумѣется, современемъ сочетаться и слиться съ побѣдителями Норманнами, сохраняя почти всю свою національность. Твоя правда, что „Саксонское царство пало подъ ударами Французскихъ Норманновъ; но подавленная Саксонская стихія не утратила силы и нѣкоторой самобытности. Въ ней побѣдитель норманнъ уважалъ нравственное достоинство, доказанное самимъ сраженіемъ при Гастингсѣ, въ которомъ несчастный Гарольдъ оспаривалъ цѣлый день побѣду противъ непріятеля втрое многочисленнѣйшаго. Раздоры между Норманнами снова возвысили значеніе Саксонскаго народонаселенія. Бароны вызвали его къ новой жизни для того, чтобы найти въ немъ опору". Это совершенно подтверждаетъ мою мысль, что чувство личности принадлежитъ вообще англичанину, какъ лорду, такъ и простолюдину. Есть лордъ, помотокъ норманна, потомокъ послѣдняго побѣдителя, а простолюдинъ происходитъ отъ предпослѣдняго. Туземцы разошлись среди многократныхъ иноплеменныхъ наводненій, или удалились въ сторону. Плодомъ этого чувства между государственными законами является древнѣйшій въ Европѣ *Habeas corpus*, а въ народныхъ вѣрованіяхъ пословица: *домъ мой—крѣпость моя*.

„Съ большимъ удовольствіемъ встрѣтилъ я однажды слѣдующее мѣсто въ рецензіи Бульверова сочиненія объ Англіи и Англичанахъ, которое служитъ къ подтвержденію моего историческаго замѣчанія объ Англійской личности: La gloire du Français est d'appartenir à une nation aussi grande que la sienne. L'Anglais se glorifie au contraire de ce qu'une aussi grande nation lui appartient. L'idée de la propriété domine dans nos sentiments comme dans nos lois. L'Anglais n'est fier de son pays, que par ce que ce pays a eu l'avantage de le produire. C'est un sentiment personnel, qui est au fond du patriotisme de l'Anglais.

„Личное, частное, господствуетъ у Англичанъ и въ управленіи. Обращу вниманіе на Банкъ, Остъ-Индскую компанію,

гдѣ оно беретъ не рѣдко верхъ надъ государственнымъ и общимъ и даетъ ему направленіе. Частный интересъ, частное оскорбленіе, частная потеря нигдѣ не подавали и не подаютъ столько поводовъ къ общимъ происшествіямъ, какъ въ Англіи. Такихъ примѣровъ множество во всей ихъ исторіи, даже до Причардова иска. Недавно еще (6-го сентября) сказалъ Дальманъ во Франкфуртскомъ собраніи: „Всякій англичанинъ вѣситъ для Англіи столько же, сколько и вся Англія".

„О введеніи христіанства въ Англіи говорить теперь не буду, ибо это завело бы насъ слишкомъ далеко, но замѣчу, что и богословіе Англійское представляетъ явленіе, совершенно параллельное съ *Habeas corpus*: у Бретонскихъ священниковъ еще въ III—V вѣкѣ были свои собственныя вѣрованія: они утверждали, что человѣкъ самъ по себѣ можетъ возвыситься до нравственнаго добра, за что Французы называли ихъ еретиками. Пелагій (также бретонецъ), возставшій за liberum arbitrium, сдѣлался ихъ представителемъ. Это ученіе досталось, какъ говорятъ, изъ поэмъ Кельтическихъ бардовъ съ незапамятныхъ временъ. Слѣдовательно, въ вѣроисповѣданіи развивалось то же начало, что и при государственномъ управленіи, независимо одно отъ другого.

„Тебѣ надо объяснить еще, скажу мимоходомъ, одно важное явленіе: Генрихъ VIII, defensor fidei, установилъ первенство правительства въ дѣлахъ вѣры, а законъ Генриха VIII есть только распространеніе древнихъ Кларендонскихъ условій Генриха II.

„Чтобы уразумѣть исторію Англіи, надо вникнуть въ эту тѣснѣйшую связь (это сліяніе), въ какой находятся тамъ религія, правительство, торговля и частный человѣкъ. Мнѣ остается сказать еще нѣсколько словъ о лицѣ, о человѣкѣ самомъ въ себѣ: и здѣсь находится новое подтвержденіе моей основной мысли. Скажи — у кого столько странностей, какъ у Англичанъ. Что же значатъ эти странности? Развитіе личности. Всякій хочетъ быть собою и не походить на другихъ. Многія странности можно назвать даже злоупотребленіями

личности. Отсюда личное господствуетъ и въ Англійской литературѣ: романъ, гдѣ личное и индивидуальное, домашнее и семейное, занимаетъ первое мѣсто, у нихъ процвѣтаетъ: Ричардсонъ, Фильдингъ, Гольдсмитъ, Вальтеръ-Скоттъ, Диккенсъ. И все это соотвѣтствуетъ отдѣльному, одинокому положенію Англіи какъ острова; вотъ кстати и отношеніе Географіи къ Исторіи.

„Надѣюсь, что я, по старой памяти, доказалъ тебѣ достаточно значеніе Англійскаго я. Развѣ прибавить, что пороки, принадлежащіе въ особенности къ личности, развились наиболѣе въ Англіи, напримѣръ, себялюбіе, гордость, корыстолюбіе... О себялюбіи я уже говорилъ, а теперь обращу только твое вниманіе на прежнее управленіе Ирландіей и Индіей.

„О корыстолюбіи. Деньги играютъ важную роль въ Англійской жизни: въ „другихъ странахъ", говоритъ самъ Бульверъ, „нищета есть несчастіе, а у насъ преступленіе". In der Englischen Ansicht sey der Krieg nichts anders als ein Handelsmittel, замѣтилъ недавно одинъ изъ членовъ Франкфуртскаго сейма, nicht ein Mittel des Ruhms und der Ehre wie ehemals bey den Franzosen. Такую же роль играютъ онѣ и въ Исторіи государства Англіи: Magna charta, парламенты, паденіе Стюартовъ, отторженіе Америки, все изъ-за денегъ и отъ денегъ вполнѣ, или по большей части. Деньги есть рычагъ, на которомъ обращается Англійская политика, иногда цѣль, иногда средство. Укажу еще на послѣднюю роль Англіи въ исторіи Наполеона, игранную деньгами.

„Политическая экономія есть представительница Англійской исторіи, передняя сторона ея, какъ Философія, заключаетъ въ себѣ исторію новой Германіи, вопреки всѣмъ толкамъ Франкфуртскаго собранія, а искусство — Италіи. Потому-то и Англія произвела Адама Смита, основателя науки о народномъ богатствѣ. Она должна произвести и новаго Адама Смита, который бы перевернулъ или измѣнилъ понятіе о народномъ богатствѣ, государственномъ и частномъ. Ужасное богатство, доходящее въ Англіи даже до крайности,

и ужасная нищета Англичанъ вмѣстѣ съ несмѣтнымъ долгомъ Англіи, доведутъ непремѣнно Англійское правительство или науку также до какой-нибудь государственной мысли, которая будетъ имѣть великія слѣдствія для государствъ.

„Для шутки продолжимъ сравненіе: всякое государство, говорятъ, имѣетъ свою смерть; будущею смертію Англіи, согласно съ предложенными замѣчаніями, должно быть банкротство. Это будетъ банкровство незлостное.

„Наконецъ, мнѣ надо говорить объ Англійской гордости, какъ порокѣ личности, но здѣсь уже я совершенно увѣренъ въ побѣдѣ, потому что въ рукахъ моихъ твое оружіе—слушай:

Островъ пышный, островъ чудный!
Ты краса подлунной всей,
Лучшій камень изумрудный
Въ голубомъ вѣнцѣ морей!
Грозный стражъ твоей свободы,
Сокрушитель чуждыхъ силъ,
Вкругъ тебя широко воды
Океанъ сѣдой разлилъ.
Онъ бездоненъ и просторенъ,
И враждуетъ онъ съ землей;
Но смиренъ, но покоренъ,
Онъ любуется тобой;
Для тебя онъ укрощаетъ
Свой неистовый набѣгъ,
И ласкаясь обнимаетъ
Твой бѣлѣющійся брегъ.
Дочь любимая природы,
Благодатная земля!
Какъ кипятъ твои народы,
Какъ цвѣтутъ твои поля!
Какъ державно надъ волною
Ходитъ твой широкій флагъ!
Какъ кроваво надъ землею
Мечь горитъ въ твоихъ рукахъ!
Какъ свѣтло вѣнецъ науки
Блещетъ надъ твоей главой,
Какъ высоки пѣсенъ звуки,
Миру брошенныхъ тобой!
Вся облита блескомъ злата,
Мыслью вся озарена,
Ты счастлива, ты богата,
Ты роскошна, ты сильна.
И далекія державы,

Робко взоръ стремя къ тебѣ,
Ждутъ, какіе вновь уставы
Ты предпишешь ихъ судьбѣ.

Но за то, что ты лукава,
Но за то, что ты горды,
Что тебѣ мірская слава
Выше Божьяго суда:
Но за то, что церковь Божью
Святотатственной рукой
Приковала ты къ подножью
Власти суетной земной...
Для тебя, морей Царица,
День придетъ,—и близокъ онъ—
Блескъ твой, злато, багряница,
Все пройдетъ, минетъ какъ сонъ:
Громъ въ рукахъ твоихъ остынетъ,
Перестанетъ мечь сверкать,
И сыновъ твоихъ покинетъ
Мысли ясной благодать,
И забывъ твой флагъ державный,
Вновь свободна и грозна,
Заиграетъ своенравно
Моря шумная волна.

И другой странѣ смиренной,
Полной вѣры и чудесъ,
Богъ отдастъ судьбу вселенной,
Громъ земли и гласъ небесъ!

Аминь!“ [354])

КОНЕЦЪ КНИГИ ДЕВЯТОЙ.

21 Октября 1894 г.
Село Гіевка
Харьковской губерніи и уѣзда

1) *Русская Мысль* 1892, январь, стр. 108—110.

2) *И. С. Аксаковъ*. М. 1888. I, 390. *Современникъ* 1846, XLIV, стр. 240—250.

3) *Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя*. С.-Пб. 1857. VI, стр. 296—297.

4) *Русская Мысль* 1892, январь, стр. 108—110.

5) *П. В. Анненковъ и его друзья*. Изданіе А. С. Суворина. С.-Пб. 1892, стр. 548, 596—597.

6) *С.-Петербургскія Вѣдомости* 1869, №№ 187—188. *Русская Мысль* 1892, январь, стр. 124—125.

7) *Сочиненія А. И. Герцена*. Женева. 1879, VII, стр. 380.

8) *Т. Н. Грановскій*. М. 1869, стр. 224.

9) *П. В. Анненковъ и его друзья*, стр. 550.

10) *Т. Н Грановскій*, стр. 226—227.

11) *Отчетъ Имп. Публ. Библіотеки за 1889*. Прил., стр. 78—79.

12) *Русская Мысль* 1892, январь, стр. 112.

13) *Записки и Дневникъ А. В. Никитенка*. С.-Пб. 1893. I, стр. 480.

14) *Сочиненія и Переписка П. А. Плетнева*. III, стр. 583.

15) *Письма*, XVII.

16) *В. В. Григорьевъ*. С.-Пб. 1887, стр. 98.

17) *Письма*, XVII.

18) *Дневникъ* 1847, подъ 30 мая.

19) *Письма*, XVII. *Сѣверная Пчела* 1846, № 284. *Записки и Дневникъ А. В. Никитенка*. С.-Пб. 1893. I, стр. 480—482. *Письма* XVIII.

20) *Современникъ* 1847, IV. Смѣсь, стр. 114—126.

21) *Письма*, XVII.

22) *Современникъ* 1847, IV. Смѣсь, стр. 126.

23) *Письма*, XVII.

24) *Русскій Архивъ* 1879, № 11, стр. 326—327.

25) *Письма*, XVII.

26) *Москвитянинъ* 1847, ч. II, стр. 133—135.

27) *Письма*, XVII.

28) *Современникъ* 1847, ч. VI. Отд. III, стр. 23—75; 109—134.

29) *П. В. Анненковъ и его друзья*, стр. 594—595.

30) *Русская Мысль* 1892, январь, стр. 113, 118, 114, 119—123.

31) *Москвитянинъ* 1848, ч. I. Моск. Лѣтопись, стр. 35—36; 1847, ч. III, стр. 147—158.

32) *Письма*, XVII.

33) *Русскій Архивъ* 1884, № 4, стр. стр. 284—285.

34) *И. С. Аксаковъ*. I, 434.

35) *Русскій Архивъ* 1884, № 4, стр. 281—283.

36) *Дневникъ* 1847, подъ 23 — 29 марта.

37) *Письма*, XVIII.

38) *Отчетъ Имп. Публ. Библіотеки за 1890*. Прилож., стр. 68. *П. В. Ан-*

ненковъ и его друзья, стр. 529—530, 533. *Московскій Сборникъ* 1847, стр. 327—328.

39) *Русскій Архивъ* 1884, № 4, стр. 282.

40) *Отечественныя Записки* 1847. LI. Смѣсь, стр. 200—203.

41) *Московскій Городской Листокъ* 1847, № 86.

42) Московскія *Вѣдомости* 1847, № 50.

43) *Письма*, XVII.

44) *Московскій Городской Листокъ* 1847, № 97.

45) *Дневникъ* 1847, подъ 28 апрѣля

46) *П. В. Анненковъ и его друзья*, стр. 538—540.

47) *Русскій Архивъ* 1884, № 4, стр. 286—287; 1879, № 11, стр. 328, 358—359; 1866, стр. 1073—1074.

48) *Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя*, VI, стр. 414.

49) *Собраніе отдѣльныхъ статей и замѣтокъ А. С. Хомякова.* М. 1861. I, стр. 106.

50) *Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя.* VI, стр. 424.

51) *Русскій Архивъ* 1879, № 11, стр. 358—359.

52) *Письма*, XVII.

53) *Русскій Архивъ* 1879, № 11, стр. 358—359.

54) *Исторія моего знакомства съ Гоголемъ*, стр. 151.

55) *Собраніе отдѣльныхъ статей и замѣтокъ А. С. Хомякова.* М. 1861. I, стр 605—606.

56) *Письма*, XVII.

57) *И. С. Аксаковъ*. I, стр. 408. *Русская Старина* 1890, августъ, стр. 290—291.

58) *Московскія Вѣдомости* 1847, № 20.

59) *И. С. Аксаковъ*. I, стр. 421, 424.

60) *И. С. Аксаковъ*. II, стр. 239—240. *Московскія Вѣдомости* 1847, № 21.

61) *Современникъ* 1847. III. Смѣсь, стр. 138—149.

62) *Дневникъ* 1847, подъ 20 февраля.

63) *Письма*, XVII.

64) *И. С. Аксаковъ*. I, стр. 410.

65) *П. В. Анненковъ и его друзья*, стр. 535.

66) *И. С. Аксаковъ*. I, стр. 416—418, 431—433, 435.

67) *П. В. Анненковъ и его друзья*, стр. 538—540.

68) *Московскій Городской Листокъ* 1847, № 3.

69) *Письма*, XVII.

70) *П. В. Анненковъ и его друзья*, стр. 538—540.

71) *Письма*, XVII.

72) *Автобіографич. Записки* (гр. Строгановъ), л. 5 об., 6.

73) *Письма*, XVII.

74) *Автобіогр. Записки* (гр. Строгановъ), л. 5 об., 6.

75) *Москвитянинъ* 1847, ч. II, стр. 9—30; ч. III, стр. 17 и пр.

76) *Письма Московскаго митрополита Филарета къ покойному архіепископу Тверскому Алексію.* М. 1883, стр. 77—78. *Письма*, XVII—XVIII.

77) *Русскій Архивъ* 1888, стр. 486.

78) *Поѣздка въ Кирилловъ - Бѣлозерскій монастырь.* М. 1850, стр. 1—3.

79) *Письма*, XVII.

80) *Москвитянинъ* 1850, ч. III. Критика и Библіографія, стр. 90—91.

81) *Дневникъ* 1846, подъ 13 ноября.

82) *Письма*, XVII

83) *Письма М. П. Погодина*. С.-Пб. 1882, стр. 38.

84) *Письма*, XVI—XVII.

85) *Отечественныя Записки* 1847, L. Критика, стр. 39—76; LI, стр. 29—46.

86) *Москвитянинъ* 1847, ч. III, стр. 75—108; ч. I, 155—184. *Русская Мысль* 1892, январь, стр. 130—135.

87) *Русская Мысль* 1892, январь, стр. 122—123. *С.-Петербургскія Вѣдомости* 1868, №№

88) *П. В. Анненковъ и его друзья*, стр. 538—540. *Отчетъ Импер. Публ. Библіотеки за 1889.* Прил., стр. 78, 76, 80—82.

89) *Русскій Архивъ* 1888, № 8, стр. 486.
90) *Письма*, XVII.
91) *Дневникъ* 1847, подъ 9 апрѣля.
92) *Письма*, XVII.
93) *Московскій Городской Листокъ* 1847, № 130.
94) *Русскій Архивъ* 1888, № 8, стр. 488.
95) *П. В. Анненковъ и его друзья*, стр. 544.
96) *Современникъ* 1847, IV. Отд. III, стр. 27—58; VI. Отд. III, стр. 161—222. *Біографіи и Характеристики*. С.-Пб. 1882, стр. 264.
97) *Письма*, XVII.
98) *Москвитянинъ* 1847.
99) *Современникъ* 1847.
100) *Русская Мысль*.
101) *Современникъ*. Отд. III, стр. 88—90. *Дневникъ* 1847, подъ 17 іюля 1893 г.
102) *Письма*, XVII.
103) *Московскія Вѣдомости* 1847, № 88.
104) *Письма*, XVII.
105) *Московскія Вѣдомости* 1847, № 89.
106) *Москвитянинъ* 1847, ч. II, стр. 162—163.
107) *Московскія Вѣдомости* 1847, № 89.
108) *Письма*, XVII.
109) *Москвитянинъ* 1847, ч. II, стр. 223—236.
110) *Дневникъ* 1847, подъ 30 сентября; 1848, подъ 8 февраля.
111) *Москвитянинъ* 1849, № 6. Смѣсь, стр. 9—13.
112) *Письма*, XVII, XIX.
113) *Пятидесятилѣтіе гражданской и ученой службы М. П. Погодина*. М. 1872, стр. 64—65.
114) *Письма*, XVII.
115) *Творенія Св. Отцевъ*. М. 1884. I, стр. 330.
116) *Письма Филарета архіепископа Черниговскаго къ А. В. Горскому*. М. 1888, стр. 216.
117) *Православное Обозрѣніе* 1878, мартъ, стр. 485—494.
118) *Письма*, XVII.
119) *Москвитянинъ* 1847, I, стр. 129—138.
120) *Письма*, XVII.
121) *Москвитянинъ* 1847, ч. I, стр. 85—112; 1850. III. Науки и Художества, стр. 1—4.
122) *Письма*, XVII.
123) *Древняя и Новая Россія* 1880. II, стр. 641, 645—646.
124) *Истор. обозр. царствованія имп. Николая I*. С.-Пб. 1847, стр. 37—38.
125) *Письма*, XVII.
126) *Древняя и Новая Россія* 1880, II, 654.
127) *Письма*, XVII.
128) *Дневникъ* 1847 г., подъ 18 октября.
129) *Письма*, XVII.
130) *Дневникъ* 1847, подъ 8 апрѣля.
131) *Письма*, XVII.
132) *Дневникъ* 1847, подъ 3 августа.
133) *Письма*, XVII.
134) Буткевичъ. *Иннокентій Борисовъ*. С.-Пб. 1887, стр. 322—323.
135) Н. Барсовъ. *Матеріалы для Біографіи Иннокентія архіепископа Херсонскаго и Таврическаго*. С.-Пб. 1888. II, стр. 87—88. *Русская Старина* 1879. XXIV, стр. 668.
136) *Дневникъ* 1847, подъ 13 марта, 4—6 іюня.
137) *Иннокентій Борисовъ*, стр. 324.
138) *Письма*, XVII
139) *Записки Имп. Одесск. Общества Исторіи и Древностей*, XV.
140) *Письма*, XVII, XVIII; *Записки Имп. Одесск. Общ. Ист. и Древн.*, XV. *Иннокентій Борисовъ*, стр. 328, 330.
141) *Москвитянинъ* 1847, ч. I, стр. 248—249; III, стр. 120; II, стр. 246. *Письма*, XVII.
142) *Письма М. П. Погодина къ М. А. Максимовичу*. С.-Пб. 1882, стр. 40.
143) *Письма*, XVII.
144) *Письма М. П. Погодина къ М. А. Максимовичу*, стр. 39—41.
145) *Письма*, XVII.

146) *Москвитянинъ* 1847, I. М. Лѣтопись, стр. 38—39.

147) *Письма*, XVII.

148) *Русскій Архивъ* 1888, № 8, стр. 483.

149) *Біограф. Слов. Московскаго Университета*. I, стр. 453—455.

150) *Московскія Вѣдомости* 1847, №№ 129 130.

151) *Письма*, XVII.

152) *Москвитянинъ* 1848, ч. I, стр. 222.

153) *Русскій Архивъ* 1887, № 8, стр. 523.

154) *Отчетъ Импер. Публ. Библіотеки за 1889 годъ*, стр. 77.

155) *П. В. Анненковъ и его друзья*, стр. 537.

156) *Бѣлинскій*, II, стр. 279—280.

157) *П. В. Анненковъ и его друзья*, стр. 548—549, 620.

158) *Русскій Архивъ* 1888, № 8, стр. 489.

159) *Т. Н. Грановскій*. М. 1869, стр. 165.

160) *Письма митрополита Московскаго Филарета къ архимандриту Антонію*. М. 1878, II, стр. 348—349.

161) *Сочиненія Филарета митрополита Московскаго*. М. 1882, IV, стр. 511.

162) *Письма*, XVII.

163) *Дневникъ* 1847, подъ 14 сентября.

164) *Письма митрополита Московскаго Филарета къ архимандриту Антонію*. М. 1878, II, стр. 348.

165) *Дневникъ* 1847, подъ 14 сентября.

166) *Письма*, XVII.

167) *Русскій Архивъ* 1892, № 7, стр. 337.

168) *Письма*, XVII.

169) *Записки и Дневникъ А. В. Никитенка*, I, стр. 485—486.

170) *П. В. Анненковъ и его друзья*, стр. 604—606.

171) *Русскій Архивъ* 1892, № 7, стр. 336; 1879, № 11, стр. 327—328.

172) *Письма М. П. Погодина къ высокопреосвященному Иннокентію архіепископу Херсонскому и Таврическому*, стр. 1—2.

173) *Письма*, XVII.

174) *Русскій Архивъ* 1878, № 1, стр. 132—133.

175) *Записки и Дневникъ А. В. Никитенка*, I, стр. 487—488.

176) *Русскій Архивъ* 1892, № 7, стр. 336; 1879, № 11, стр. 327; 1878, № 1, стр. 133; 1892, № 7, стр. 347—351.

177) *Записки и Дневникъ А. В. Никитенка*, I, стр. 488—489.

178) *Письма*, XVII.

179) *Русскій Архивъ* 1892, № 7, стр. 351—354.

180) *Письма*, XVII.

181) *Русскій Архивъ* 1892, № 7, стр. 355.

182) *Письма*, XVII.

183) *Русскій Архивъ* 1892, № 7, стр. 356—357.

184) *Письма*, XVII.

185) *Русская Мысль* 1892, январь, стр. 119.

186) *П. В. Анненковъ и его друзья*, стр. 604.

187) *Русскій Архивъ* 1884, № 4, стр. 304.

188) *Русскіе Палеологи сороковыхъ годовъ*. С.-Пб. 1880, стр. 87—98.

189) *Письма*, XVII.

190) *Письма*, XVIII.

191) *Дневникъ* 1848, подъ 20 — 29 февраля.

192) *Письма митрополита Московскаго Филарета къ архимандриту Антонію*. М. 1878, II, стр. 391.

193) *И. С. Аксаковъ*. М. 1888, стр. 438—439.

194) *Русскій Архивъ* 1868, стр. 1470.

195) *Сочиненія Филарета митрополита Московскаго*. М. 1882. IV, стр. 553—555.

196) *Полное собраніе сочиненій князя П. А. Вяземскаго*. Изданіе графа С. Д. Шереметева. С.-Пб. 1880. IV, стр. 311—315.

197) *Сочиненія В. А. Жуковскаго.* Изд. 8-е П. А. Ефремова. С.-Пб. 1885. VI, стр. 160–169.

198) *Русскій Архивъ* 1868, стр. 1471—1472.

199) *Письма*, XVIII.

200) Гротъ. *Сочиненія и Переписка П. А. Плетнева.* С.-Пб. 1885. III, стр. 600—601.

201) *Дневникъ* 1848, подъ 7 іюня.

202) *Письма*, XVIII.

204) *Письма Вячеслава Ганки къ О. М. Бодянскому.* М. 1888, стр. 23.

204) *Автобіографія Н. Н. Мурзакевича.* С.-Пб. 1889, стр. 207—208.

205) *Письма*, XVIII.

206) *Русскій Архивъ* 1884, № 4, стр. 290—291.

207) *Сборникъ И. Р. Ист. Общ.* LXXIII, стр. 101. *Письма*, XVIII.

208) *Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя.* С.-Пб. 1857, VI, 472. *Сборникъ И. Р. Ист. Общества.* С.-Пб. 1890, LXXIII, стр. 100, 103.

209) *Письма*, XVIII.

210) *Письма Филарета архіепископа Черниговскаго къ А. В. Горскому.* М. 1885, стр. 229, 235.

211) *Письма*, XVIII. *Московскія Вѣдомости* 1893, № 243.

212) Аксаковъ. *Біографія Ѳ. И. Тютчева.* М. 1886, стр. 135—148.

213) *Письма*, XVIII.

214) Сухомлиновъ. *Изслѣдованія и статьи по Русской Литературѣ и Просвѣщенію.* С.-Пб. 1889, II, стр. 505, 510.

215) *Полное Собраніе Сочиненій князя Вяземскаго.* С.-Пб. 1887, XI, стр. 293. *Жизнь и Труды П. С. Савельева.* С.-Пб. 1861, стр. 85—86.

216) *Записки и Дневникъ А. В. Никитенка.* С.-Пб. 1893, I, стр. 493—496. *Дневникъ* 1848 г., подъ 24 марта.

217) *Письма*, XVIII.

218) *Дневникъ* 1848, подъ 21 марта.

219) *Письма*, XVIII. *Сочиненія и Переписка П. А. Плетнева.* С.-Пб. 1885, III, стр. 623–625.

220) *Письма*, XVIII. *Дневникъ* 1849, подъ 4—10 апрѣля.

221) *Письма*, XVIII.

222) *Записки и Дневникъ А. В. Никитенка*, I, стр. 495.

323) *Письма*, XVIII.

324) *Дневникъ* 1848, подъ 18 марта.

225) *Письма*, XVIII.

226) *П. В. Анненковъ и его друзья*, стр. 599—603.

227) *Русскій Архивъ* 1879, III, стр. 331; 1884, № 4, стр. 300.

228) *Письма*, XVIII.

229) *И. С. Аксаковъ*, М. 1888, I, стр. 443.

230) *Записки А. И. Кошелева.* Берлинъ. 1884, стр. 64—66.

231) *Русскій Архивъ* 1873, № 8, стр. 1345—1360.

232. *В. В. Григорьевъ.* С.-Пб. 1887, стр. 104—105.

233) Колюпановъ. *Біографія А. И. Кошелева.* М. 1892. II, стр. 89—90, 83—84. *И. С. Аксаковъ.* II, стр. 195, 108—109.

234) *Письма*, XVIII. *Записки А. И. Кошелева*, стр. 149–150.

235) *Москвитянинъ* 1848, VI, стр. 1—10.

236) *Письма*, XVIII.

237) *Семейный Архивъ М. А. Веневитинова*; *Русскій Архивъ* 1884, № 4, стр. 292.

238) *Письма*, XVIII.

239) *Русскій Архивъ* 1884, № 4, стр. 294, 298.

240) *Письма*, XVIII.

241) *Москвитянинъ* 1848, ч. I; 1849. I, Лѣтопись, стр. 25–36.

242) *Московскія Вѣдомости* 1848, №№ 58, 62.

243) *Письма*, XVIII.

244) *Московскія Вѣдомости* 1848, № 71.

245) *Стихотворенія Ѳ. Тютчева.* М. 1862, стр. 111.

246) *Сборн. И. Р. Истор. Общ.*, LXXVIII, стр. XIII, 102. *Московскія Вѣдомости* 1848, № 84.

247) *Письма*, XIX. *Формулярный Списокъ* о службѣ члена Государственнаго Совѣта статсъ-секретаря дѣйствительнаго статскаго совѣтника Θ. П. Корнилова.

248) *Письма*, XVIII.

249) *Дневникъ* 1848, подъ 25 ноября, 20 іюня.

250) *Письма*, XVIII. *Москвитянинъ* 1848, № 5. Науки, стр. 76—78

251) *Письма*, XVIII.

252) *Біографич. Словарь Импер. Московскаго Университета*. I, стр. 36.

253) *Дневникъ* 1848, подъ 9 іюля.

254) *Письма*, XVIII.

255) *Русскій Архивъ* 1885, № 6, стр. 312—313.

256) *Московскія Вѣдомости* 1848, № 84.

257) *Дневникъ* 1848, подъ 30 ноября.

258) *Москвитянинъ* 1848, № 8, стр. 85—86; 1850. II, Русск. Слав., стр. 167—168.

259) Елагинъ. *Жизнь графини А. А. Орловой-Чесменской*. С.-Пб. 1853, стр. 145—146. *Письма*, XIX. *Отечественныя Записки* 1848. LVIII. Смѣсь, стр. 157—158.

260) *Москвитянинъ* 1848, ч. IV. Критика, стр. 43—45.

261) *Литературныя Воспоминанія И. И. Панаева*. С.-Пб. 1876, стр. 413.

262) О. Буткевичъ. *Иннокентій Борисовъ, бывшій архіепископъ Херсонскій*. С.-Пб. 1887, стр. 335.

263) *Историческія и Статистическія свѣдѣнія о С.-Петербургской епархіи*. С.-Пб. 1884, VIII, стр. 51.

264) *Московскія Вѣдомости* 1848, №№ 155, 135.

265) *В. В. Григорьевъ*. С.-Пб. 1887, стр. 98.

266) *Письма*, XVIII, XVII.

267) *Дневникъ* 1847, подъ 24 октября.

268) *Письма*, XVII.

269) *Дневникъ* 1847, подъ 29 ноября.

270) *Русскій Архивъ* 1884, № 5, стр. 228.

271) *ВѣстникъЕвропы* 1871, ноябрь.

272) *Письма*, XVII.

273) *Московскія Вѣдомости* 1847, № 131.

274) *Дневникъ* 1847, подъ 1 ноября.

275) *Московскія Вѣдомости* 1847, № 132.

276) *Письма*, XVII—XVIII. *Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя*. С.-Пб. 1857. VI, стр. 458—459.

277) *Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя*. С.-Пб. 1857. VI, стр. 458.

278) *Письма*, XVIII.

279) *Русскій Архивъ* 1875, III, стр. 370.

280) *Сочиненія В. А. Жуковскаго*. Изд. П. А. Ефремова. С.-Пб. 1885. VI, стр. 105—110.

281) *Русскій Архивъ* 1875, III, стр. 371—372.

282) *Письма*, XVIII.

283) *Дневникъ* 1848, подъ 1 января 1847, подъ 3 ноября.

284) *Письма*, XVIII.

285) *Современникъ* 1848, ч. VII. Русск. Литер., стр. 9—11.

286) *Москвитянинъ* 1848, № 1. Критика, стр. 30—54; *И. С. Аксаковъ*, II, 112; *Дневникъ* 1847, подъ 13 января.

287) *Москвитянинъ* 1848, VI, стр. 185—186. *Сочиненія и Переписка П. А. Плетнева*, III, стр. 622—623. *Сѣверное Обозрѣніе* 1848, II, Библіографія, стр. 50—62.

288) *Москвитянинъ* 1848, № 2, стр. 105—123.

289) *Сѣверная Пчела* 1848, № 36.

290) *Письма*, XVIII.

291) *Москвитянинъ* 1848, № 9, стр. 15—41 (Критика).

292) *Воспоминанія графа В. А. Соллогуба*. С.-Пб. 1887, стр. 76—77.

293) *Современникъ* 1848, VIII, Русская Литер., стр. 6.

294) *И. С. Аксаковъ*. М. 1888, I, стр. 420—421.

295) *Москвитянинъ* 1848, № 1, Критика, стр. 55—67.

296) *Современникъ* 1848, VIII, Русская Литер., стр. 45–46.

297) *Москвитянинъ* 1848, II, стр. 122—123.

298) *Полное Собраніе Сочиненій князя П. А. Вяземскаго*. С.-Пб., 1887, XI, стр. 439.

299) *Письма* XVIII, XVII.

300) *В. В. Григорьевъ*. С.-Пб., 1887, стр. 99.

301) *Письма*, XVIII.

302) *В. В. Григорьевъ*, стр. 100—103.

303) *Русскій Архивъ* 1879, III, стр. 360.

304) *В. В. Григорьевъ*, стр. 103.

305) *Москвитянинъ* 1848, I, стр. 93—142.

306) *Письма*, XVIII.

307) *Современникъ* 1848. Русск. Литер., стр. 44—45.

308) *Москвитянинъ* 1848, II, Критика, стр. 123.

309) *Сѣверное Обозрѣніе* 1848, II, Библіограф., стр. 59—62.

310) *Москвитянинъ* 1848, IV, Критика, стр. 124—125.

311) *Русскій Архивъ* 1879, III, стр. 359—360.

312) *Письма*, XVIII.

313) *Полное Собраніе Сочиненій Н. В. Гоголя*. М. 1867. III, стр. 525.

314) *Москвитянинъ* 1848, V, стр. 40, 42, 43, 45.

315) *Русскій Архивъ* 1885, № 6, стр. 311—312.

316) *Письма*, XVIII.

317) *Москвитянинъ* 1848, II, Критика, стр. 57—80.

318) *Письма*, XVIII.

319) *Москвитянинъ* 1848, XI, Критика, стр. 30—35.

320) *Письма*, XVIII.

321) *И. С.-Пб. Университетъ*. С.-Пб. 1870, стр. 170, 169.

322) *Письма*, XVIII, XVII.

323) *Библіотека для Чтенія*, 1848. LXXXVII, Литер. лѣтопись, стр. 1—17.

324) *Дневникъ* 1848, подъ 6 марта

325) *Письма*, XVIII.

326) *Двойная жизнь*. М. 1848, стр. 41—50.

327) *Русскій Архивъ* 1884. № 4, стр. 292.

328) *Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя*, VI, стр. 458.

329) *Русскій Архивъ* 1879, № 11, стр. 330.

330) *Дневникъ* 1848, подъ 20 февраля, 8 апрѣля.

331) *Письма*, XVIII.

332) *Москвитянинъ* 1848. III, стр. 27—29.

333) *Исторія моего знакомства съ Гоголемъ*. М. 1890, стр. 179.

334) *Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя*. VI, стр. 467.

335) *Письма*, XVIII. *Москвитянинъ* 1849, № 1, Крит. и библіогр., стр. 9. *И. С. Аксаковъ*, II, стр. 271, 362, 364—365, 207. *Русскій Архивъ* 1875, III, 373; *Русская Старина* 1890, ноябрь, стр. 356. *Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя*, VI, стр. 475.

336) *Москвитянинъ* 1848, ч. II, Вн. изв., стр. 29—30, 32.

337) *Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя*, VI, стр. 452, 455—456.

338) *Отчетъ И. Публ. Библіотеки за 1887*, Прил., стр. 64.

339) *Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя*, VI, стр. 477—481.

340) *Записки о жизни Н. В. Гоголя*. С.-Пб. 1856. II, стр. 165.

341) *Письма*, XVIII.

342) *Русскій Архивъ* 1890, № 1, стр. 159.

343) *Исторія моего знакомства съ Гоголемъ*, стр. 178—179. *Покровскій Архивъ*.

344) *Записки о жизни Н. В. Гоголя*, стр. 240—241.

345) *Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя*, VI, стр. 463. *Покровскій Архивъ*. *Полное Собраніе Сочиненій И. С. Тургенева*. С.-Пб. 1891. X, стр. 65—67.

346) *Русская Старина* 1890, ноябрь, стр. 356. *Историческій Вѣстникъ* 1892, апрѣль, стр. 43.

347) *Письма*, XVIII. *Письма М. П. Погодина къ М. А. Максимовичу*, стр. 48, 123. *Русская Старина* 1872, январь, стр. 118; 1873, декабрь, стр. 944.

348) *Исторія моего знакомства съ Гоголемъ*, стр. 184—185.

349) *Русскій Архивъ* 1884, № 4, стр. 292—294.

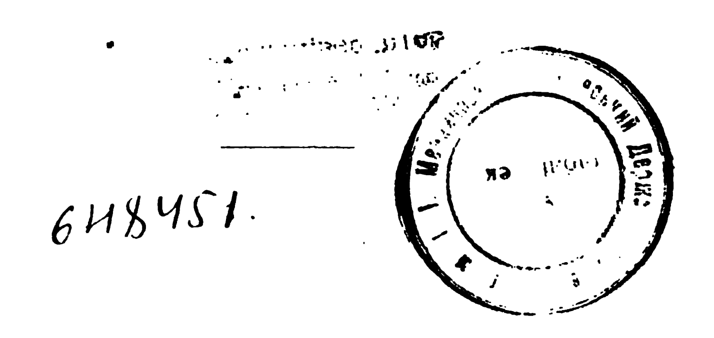
350) *Письма*, XVIII.

351) *Русскій Архивъ* 1884, № 4, стр. 297.

352) *Письма*, XVIII.

353) *Русскій Архивъ* 1884, № 4, стр. 299; 1879, № 3, стр. 379.

354) *Москвитянинъ* 1848, ч. VI, Науки, стр. 1—10.


6Н8451.

Дополненіе и исправленіе къ главѣ XXIV-й, стр. 202.

Часть бумагъ Михаила Никитича Муравьева была пріобрѣтена Погодинымъ и вмѣстѣ съ его Древлехранилищемъ поступила въ Императорскую Публичную Библіотеку (см. *Лѣтописи Русской Литературы и Древностей*, Н. С. Тихонравова, томъ IV, стр. 69, прим.). Этими бумагами Муравьева пользовались С. П. Шевыревъ въ своей *Исторіи Московскаго Университета* при обозрѣніи дѣятельности М. Н. Муравьева, какъ попечителя этого Университета (за что принесена имъ въ предисловіи, стр. X—XI, благодарность Погодину) и Л. Н. Майковъ при изданіи имъ сочиненій К. Н. Батюшкова (въ біографич. замѣткѣ о Муравьевѣ, т. II, стр. 418—423). Самимъ Погодинымъ въ *Москвитянинѣ* 1855 г., № 6, была напечатана находившаяся въ этихъ бумагахъ біографія Н. А. Львова.

36

15p.

Stanford University Libraries
3 6105 013 551 499

DK
38.7
P56B3
v.9

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

JUL 15 1985